А. З. Манфред

Наполеон Бонапарт

«Мысль»

А. З. Манфред

Наполеон Бонапарт

Четвертое издание



Москва
«Мысль»
1987

ББК 63.3(0)52
М 24

РЕДАКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Albert Manfred

Napoléon Bonaparte

Quatrième édition

Editions «Misl»
Moscou. 1987

М $\frac{0506000000\text{-}138}{004(01)\text{-}87}$ без объявл.

Предисловие ко второму изданию

Первое издание монографии «Наполеон Бонапарт», выпущенное двумя заводами в 1971 и 1972 годах, разошлось в самое короткое время. Издательство и автор получили от читателей множество писем, в которых выражались пожелания скорейшего выпуска нового издания книги. Работе была дана оценка в центральной советской печати, она подверглась разбору на страницах специальных — советских и зарубежных — научных журналов, на читательских конференциях. В ходе обсуждения было высказано много ценных и важных для автора суждений.

Вместе с тем многие читатели, благосклонно оценивая книгу в целом, высказывали мнение, что ее следовало бы расширить. Пожелания — и это было вполне естественно — не всегда совпадали. Справедливо указывалось на то, что последним годам империи, завершившимся после похода 1812 года на Россию крушением империи и личным крушением Наполеона, в книге уделено меньше места, чем это хотелось бы видеть. Высказывались также мнения о том, что следовало бы больше внимания обратить на деятельность Наполеона как полководца, подвергнуть более тщательному рассмотрению собственно военную историю эпохи и дать обстоятельный анализ сражений, выигранных и проигранных Наполеоном. Наконец, третьи хотели видеть в новом издании более полное освещение не внешней, не государственной деятельности Наполеона Бонапарта, а скорее того, что можно назвать личной судьбой человека,— мира его мыслей и чувств, его увлечений, его взаимоотношений с окружавшими его и близкими ему людьми. Было высказано немало и иных, в большинстве случаев обоснованных и справедливых пожеланий.

Автор отнесся с полным вниманием к суждениям и замечаниям читателей. Конечно, удовлетворить все пожелания было невозможно прежде всего вследствие строго определенных размеров книги. Но в той мере,

в какой это позволяли установленный объем книги и ее задачи, автор стремился учесть высказанные пожелания. Текст монографии был заново пересмотрен и подвергся частичным сокращениям и исправлениям; некоторые разделы книги существенно дополнены.

Автор приносит искреннюю благодарность читателям, выразившим в той или иной форме свои суждения о книге и высказавшим много ценных и полезных мыслей.

Москва, ноябрь 1972 г.

От автора

Стендаль в предисловии к «Жизни Наполеона» писал: «Поскольку каждый имеет определенное суждение о Наполеоне, это жизнеописание никого не сможет удовлетворить полностью. Одинаково трудно удовлетворить читателей, когда пишешь о предметах либо малоинтересных, либо представляющих слишком большой интерес»[1].

Это мнение великого романиста было верным не только для того времени, когда были написаны приведенные строки,— февраля 1818 года: и сегодня, полтораста лет спустя, оно остается столь же справедливым.

Писать об удивительном корсиканце, приковавшем внимание всего мира к своему имени, было всегда трудно прежде всего по причинам, на которые указал Стендаль. Но по мере того как шло время и в научный оборот вовлекалось неудержимо возраставшее количество источников — документов, писем, мемуаров, свидетельств современников, а литература о Наполеоне становилась почти необозримой, писать о нем год от году было все труднее. Преимущества, связанные с непрерывно расширявшимся потоком книг об эпохе Наполеона, легко превращались в свою противоположность. Легенды, так называемые общепринятые мнения, устоявшиеся суждения, незыблемые догмы, наслаиваясь одни на другие, создавали искусственные преграды, затруднявшие доступ к живой ткани исторического процесса. Каждый новый исследователь, возвращавшийся к этой теме, оказывался в более трудном положении, чем его предшественник. Чтобы остаться вполне самостоятельным и оригинальным в суждениях, он должен был, преодолевая давление сложившихся концепций и схем, пробиваться к живительной подпочве первоисточников и прослеживать их течение по всем изгибам русла от истоков до устья. Это значило, говоря иными словами, всякий раз начинать все сначала.

К этим общим трудностям, стоящим на пути исследования наполеоновской темы, для меня лично прибавилась еще одна, о которой не могу не сказать в предисловии.

Как известно, в нашей стране и за ее пределами заслуженным признанием пользуется книга академика Е. В. Тарле «Наполеон». Она много раз переиздавалась у нас и была переведена на ряд иностранных языков. С Евгением Викторовичем Тарле меня связывали, особенно в последние годы его жизни, теплые, дружеские отношения. Я всегда высоко ценил его большой талант и дорожил его добрым отношением ко мне.

В течение многих лет, работая над наполеоновской темой, я не считал себя морально вправе публиковать что-либо по этой проблематике. Но годы шли. Миновало более тридцати пяти лет с тех пор, как был написан «Наполеон» Тарле,— и каких лет! — заполненных грандиозными историческими событиями. За эти десятилетия мир во многом стал иным, и поколение 70-х годов XX века — последней его трети — видит и воспринимает многое иначе, чем люди 30-х годов — первой трети нынешнего столетия.

К сказанному надо добавить, что и историческая наука за минувшие десятилетия также не стояла на месте. Это относится не только к ее общему росту, но и более узко — к теме, о которой идет сейчас речь. В последние тридцать — сорок лет было опубликовано великое множество новых ценных источников по самым разным аспектам проблематики наполеоновской эпохи, был открыт доступ к некоторым архивам, содержащим важные документальные материалы; наконец, было издано много новых исторических работ, начиная от обобщающих сочинений вроде шестнадцатитомного труда Луи Мадлена и кончая монографическими исследованиями самых узких, специальных вопросов.

Совокупность всех этих обстоятельств побудила меня снять наконец «табу» с наполеоновской тематики, которое по внутреннему побуждению я сам в свое время на нее наложил. Я решился на это не без колебаний. Но я вспомнил, как Евгений Викторович Тарле рассказывал о сомнениях, одолевавших его, когда он впервые брался за эту тему:

— Такие предшественники! Вальтер Скотт, Стендаль, Толстой... Было над чем задуматься. И все-таки,— после паузы добавил он,— я решился!

Ныне перед каждым пишущим о Наполеоне перечень предшественников предстает еще более возросшим. К названным именам надо еще прибавить новые —

Е. В. Тарле, Жоржа Лефевра, Андре Моруа, Эмиля Людвига, Бертрана Рассела и многих, многих других.

Конечно, чем внушительнее этот список, тем труднее приходится автору, вновь решившемуся идти по пути, пройденному столькими выдающимися предшественниками.

Но в силу многих причин общественный интерес к наполеоновской проблематике не исчезает, и, видимо, каждое новое поколение стремится по-своему осмыслить эту старую, но несостарившуюся тему.

Работая над книгой о Наполеоне, я, естественно, должен был обратиться к основным источникам: литературному наследству Бонапарта, его письмам, приказам и т. д.; документальным материалам, оставшимся от его окружения; переписке, мемуарам его сподвижников и современников — словом, ко всем тем памятникам эпохи, мимо которых не может пройти ни один исследователь. Возвращаясь к этим давно известным источникам, я хотел их постичь и прочесть без предвзятости, глазами историка-марксиста конца XX века.

Чтобы лучше понять это ушедшее в далекое прошлое время, я старался сопоставлять эти старые, но незаменимые источники с рядом иных источников, по разным причинам недостаточно или совсем не изученных специалистами. Речь идет о ценнейших фондах Архива МИД СССР, в частности о донесениях из разных концов Европы царских дипломатов в Коллегию, а затем (с 1801 года) в Министерство иностранных дел России; о богатом собрании рукописных материалов эпохи в Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина; частично о материалах парижского Национального архива, русской и французской печати тех лет.

Приношу самую искреннюю благодарность работникам архивов, московских и ленинградской библиотек и научных учреждений за их большую и всегда доброжелательную помощь в подборе материалов для этой работы.

Под знаменем идей Просвещения

Восемнадцатое столетие было временем удивительных человеческих судеб. В неподвижном по видимости мире строгого сословного деления, тщательно вымеренных иерархических ступеней, жестких правил регламентации материальной и духовной жизни неожиданно порядок был нарушен. Люди без роду, без племени, мальчишки, бог весть какими ветрами заброшенные в столицы могущественных монархий, оказывались вознесенными на вершину общества; без каких-либо заметных усилий — так по крайней мере представлялось — овладевали умами и сердцами своих современников, становились властителями дум поколения.

Все табели о рангах, все веками установленные нормы, каноны, традиции были смещены и опровергнуты.

Сын часовщика, самоучка, не получивший никакого систематического образования, бездомный скиталец, зарабатывавший на хлеб то трудом подмастерья гравера, то службой лакея, то поденной работой переписчика нот, внезапно стал самым знаменитым человеком Франции, Европы, мира. Двери замкнутых аристократических гостиных Парижа и Версаля широко распахивались перед этим нелюдимым, застенчивым и не желавшим быть любезным плебеем. Сам король Людовик XV приглашал его к себе и предлагал ему пенсию, но этот странный человек не принял милостивого приглашения, которого столькие домогались. Он сослался на свое нездоровье, на болезнь — не угодно ли? — у него был цистит. Позже в «Исповеди» Жан-Жак Руссо, ибо речь, как понятно, идет об авторе «Новой Элоизы» и «Общественного договора», откровенно рассказал об этом. Он еще добавил: «Я терял, правда, пенсию в некотором роде, предложенную мне, но избавлялся от ига, которое она на меня наложила бы»[1].

Другой плебей, тоже сын часовщика, начинавший жизнь с ремесла своего отца, а затем постигший искусство зарабатывать большие деньги дерзкими финансовыми операциями, Пьер Огюстен Карон, вошедший в историю мировой литературы под именем Бомарше, не только достиг дворянского звания, стал богачом

и приблизился ко двору, но и подверг позже весь этот чванливый мир привилегированных сословий безжалостному осмеянию в «Севильском цирюльнике» и «Женитьбе Фигаро» — пьесах блистательного таланта, почти двести лет не сходящих с театральных подмостков мира.

Самодержавные властители империй и королевств — российская императрица Екатерина II, прусский король Фридрих II, польская королева — в льстивых письмах заискивали перед некоронованным главой «республики слова» Вольтером. Чья слава была выше — его величества божьей милостью короля французов Людовика XVI или не отягощенного ни титулами, ни званиями фернейского затворника? Когда на склоне лет, в последний год своей долгой жизни, старый писатель, покинув фернейское уединение, приехал в Париж, народ столицы оказал ему такой прием, какого не удостаивался ни один самый прославленный монарх. Везде, где он появлялся, его встречали восторженными овациями; тысячи людей шли за каретой писателя; увидев его в ложе театра, весь зрительный зал и артисты на сцене вставали и долго рукоплескали знаменитейшему из смертных[2]. А ведь эта огромная, безмерная, застывшая в мраморе и металле слава начиналась совсем иначе — с дерзких, колючих насмешек иронического ума, навлекших на юного автора эпиграмм суровую кару — заточение в казематах Бастилии.

Сын ремесленника-ножовщика из старинного городишка Лангра, перебивавшийся в Париже случайными заработками от переводов с английского, в 1746 году, тридцати трех лет от роду, опубликовал книжку, озаглавленную «Философские мысли». Постановлением парижского парламента от 7 июля того же года книга была осуждена на сожжение. Тремя годами позже, вслед за выходом в свет анонимно изданной книги «Письмо о слепых в назидание зрячим», автор сочинения, назвавшийся Дени Дидро, был по распоряжению властей арестован и заключен в Венсеннский замок.

Прошло несколько лет, и бывший венсеннский узник стал прославленным литератором и философом, «директором мануфактуры энциклопедии», по выражению Жака Пруста[3], вдохновителем, редактором и основным автором величайшего из изданий XVIII века, оказавшего громадное влияние на всю духовную жизнь эпохи.

В июле — августе 1762 года императрица Екатерина II, едва лишь вступив в результате дворцового переворота на престол, через князя Д. А. Голицына и И. И. Шувалова пригласила редактора знаменитой «Энциклопедии» приехать в Россию и наладить здесь печатание этого издания, подвергавшегося преследованию на родине — во Французском королевстве. Практически это было уже не нужно: издание продолжалось во Франции, но лестное предложение было должным образом оценено, и между Дидро и российской императрицей завязалась переписка. Царица звала философа в Северную Пальмиру, он благодарил, долго откладывал дальнее и казавшееся ему в ту пору рискованным путешествие. Наконец в 1773 году Дидро решился. Он выехал из Парижа весной, в мае. Почтовые кареты довезли его до столицы Российской империи лишь в последних числах сентября. Прием, оказанный Дидро в Петербурге, как о том свидетельствуют письма писателя к Софи Воллан, потряс его. Сын ножовщика, прибывший как «посол энциклопедической республики» в Санкт-Петербург, был принят в императорском дворце не только с почетом — могущественная императрица беседовала с ним как с равным, советовалась с ним, высказывала уважение к его мнению.

Могли ли чиновники, подписывавшие в 1749 году приказ о заточении начинающего литератора в тюрьму, предвидеть, что его ждет в будущем такая слава?

Но эти необычайные повороты человеческой судьбы совершались не только во Французском королевстве.

Сын помора Архангельской губернии Михайло Ломоносов в девятнадцать лет покинул родной край, чтобы пешком добраться до далекой Москвы. Ломоносов дошел не только до первопрестольной столицы — он дошел до самых высоких ученых степеней; гениальный самоучка в тридцать четыре года стал членом Петербургской академии наук, а затем членом Шведской академии наук и почетным членом Болонской академии.

13 января 1782 года в Мангейме состоялась премьера пьесы автора, пожелавшего остаться неизвестным. Пьеса имела беспримерный успех. Зрительный зал был в исступлении: люди неистово аплодировали, вскакивали с мест, обнимали друг друга, что-то выкрикивали, поднимали кулаки. Подобного в театре еще не бывало.

Все спрашивали о неведомом авторе драмы, сразу всех покорившей. Кто он? Где он? Как зовут сочинителя взволновавшей всех пьесы? А сочинитель сидел притаившись в глубине директорской ложи; его никто не видел и не знал. Это был полковой лекарь при достославном генерал-фельдцейхмейстера Оже гренадерском полку Иоганн Христоф Фридрих Шиллер. Незадолго до премьеры «Разбойников» ему минуло двадцать два года. С этого памятного дня, с 13 января 1782 года, имя Фридриха Шиллера стало одним из самых знаменитых. Он завоевал мир в один вечер.

Можно привести еще немало сходных примеров, но нужно ли это? Стремительное, как взлет ракеты, вознесение имени, вчера еще никому неведомого, а ныне заставившего всех говорить о нем,— разве это не было одной из верных примет предгрозового времени, зыбкости, неустойчивости мира, шедшего навстречу великим потрясениям?

Полноте, скажет иной читатель, не надо преувеличивать. Миллионы простых людей, крестьян, тех, кто обрабатывал землю и выращивал хлеб, ничего не знали об этих знаменитостях восемнадцатого столетия; они были неграмотны и, когда возникала необходимость, ставили на казенной бумаге крестик вместо своего имени.

Да, конечно, это так. Но и эти неграмотные, забитые люди, замученные непосильным трудом, закабаленные неисчислимыми феодальными повинностями и поборами, стонущие под властью помещика, сеньора, ландграфа, под высокой рукой монарха и церкви, чувствовали неизбежность надвигавшихся перемен. Мир при поверхностном наблюдении казался неподвижным, а устои могущественных многовековых монархий, главенствовавших в Европе,— несокрушимыми. Но это внешнее впечатление было обманчивым: все находилось в движении и существовала определенная связь между неудержимым стремлением народа освободиться от давившего его гнета и появлением на темном горизонте древнего континента почти одновременно нескольких десятков новых имен, заблиставших всеми гранями таланта.

Как бы по-разному ни складывались биографии Франсуа-Мари Аруэ, известного под именем Вольтера, или Жан-Жака Руссо, или аббата Габриеля Бонно де

Мабли, или Готхольда Эфраима Лессинга и Фридриха Шиллера, Джонатана Свифта и Ричарда Шеридана, Александра Радищева и Николая Новикóва, Бенджамена Франклина и Томаса Джефферсона, сколь значительны ни были отличающие каждого из них и порожденные национальными условиями и неповторимыми индивидуальными чертами различия, между ними всеми было и нечто общее.

И это общее было присуще не только названным здесь именам, но и великому множеству иных, неназванных, но имевших не меньшее право на благодарную память последующих поколений. То были люди, принадлежавшие к беспокойному племени неудовлетворенных — insatisfaits. Мир, который окружал их, его общественные институты, социальные отношения, законы, право, мораль — все представлялось им несовершенным; они всё брали под сомнение, осуждали и критиковали. И хотя одному из них принадлежал известный афоризм «Все к лучшему в этом лучшем из миров», кто мог сомневаться в том, что эта благонамеренная сентенция была откровенной издевкой? *

Основное, что сближало идейно этих столь разных деятелей, было отрицание окружавшего их мира. Мир был плох — на этом сходились все. Конечно, не природа, не зеленая трава, не листья на деревьях, не солнце, озаряющее землю, вызывали их недовольство. Напротив, непреходящая красота и величие природы еще резче оттеняли уродства и пороки мира, созданного человеком. Переводя взгляд от совершенной в своей нетленной красоте природы к человеческому муравейнику, мыслящие люди той эпохи ужасались. Сопоставление законов природы и законов, созданных человеком, было одной из отличительных черт передовой общественной мысли восемнадцатого столетия.

Отсюда рождались идеи о «естественных законах» (lois naturelles) и «естественном праве», о «естественном человеке» и о пагубности ухода от природы и ее законов, и, как логическое следствие этих констатаций, формировалась простая, но обладавшая огромной притягательной силой мысль: этот плохой мир надо сде-

* Как известно, в «Кандиде» Вольтера эти слова в устах доктора Панглоса звучат несколько иначе, пародируя сходную фразу Лейбница.

лать лучшим. Стремление к лучшему, более справедливому, более соответствующему естественным правам человека строю — строю, который принесет людям счастье,— вот что было общим для передовых мыслителей XVIII века[4].

Идеология Просвещения никогда не была гомогенной. В сложном спектре ее идейных течений были представлены цвета всех классов и социальных групп — буржуазии, крестьянства, городского плебейства — со всеми их внутренними членениями, объединенных общим именем третьего сословия. Но третье сословие в XVIII веке при всей своей внутренней разноголосице и частью видимых, частью скрытых противоречиях выступало единым, сплоченным общими интересами в конфликте с господствовавшим феодальным строем и привилегированными сословиями. Оно образовывало, пользуясь терминами наших дней, антифеодальный фронт.

И как бы внезапное восхождение на темном горизонте века блистательного созвездия дарований — философов, экономистов, историков, беллетристов, представлявших по-разному все оттенки передовой общественной мысли того времени,— было, конечно, явлением глубоко закономерным. Оно возвещало вступление в борьбу могучих сил антифеодального лагеря.

Позже этому полному жизненных сил идейному движению было дано обобщающее название — Просвещение. В XVIII веке писателей этого направления чаще всего называли «философами» или «партией философов». Во второй половине века «партия философов», гонимая и преследуемая монархией и церковью, в битве за умы и сердца уже явно одерживала победу. Ее влияние, в особенности на молодое поколение, было огромным[5].

То были уже не буревестники-одиночки, возвещавшие приближение грозы. Надвигалась сама гроза, и ожесточенное сражение в сфере идей, в которое ввязывалась «партия философов», атакуя твердыни старого мира, было верным признаком приближавшегося социального взрыва огромной, небывалой еще силы, к которому шло европейское общество конца XVIII века.

Мощные подземные толчки нараставшего народного гнева все чаще прорывались наружу, и тогда дрожали стекла в гостиных барских усадеб и господских особняков. В 1748—1749 годах в разных провинциях Французского королевства и в самом Париже вспыхивали народные волнения, достигавшие порой внушительной силы. Из рук в руки передавали стихотворение, начинавшееся словами: «Восстаньте, тени Равальяка!» Это означало призыв к насильственному устранению короля. Все чаще шепотом произносилось запретное слово «революция»... В 1774 году началось восстание американских колонистов против британского владычества, и регулярные армии английского короля, перебрасываемые через океан непобедимым флотом, терпели поражение за поражением от простых фермеров и торговцев говядиной, сражавшихся за свободу и независимость молодой американской республики.

В 1775 году во Франции разлилось широкое крестьянское восстание, вошедшее в историю под именем «мучной войны». Огромным напряжением сил королевства оно было подавлено, но крестьянские мятежи продолжались.

В Австрийской империи Габсбургов, в маленькой Швейцарии, в итальянских землях в последнюю треть XVIII века то здесь, то там возникали народные движения разной степени силы. Даже в далеких владениях повелительницы могучей северной империи Екатерины II грозное крестьянское восстание под водительством Емельяна Пугачева напомнило, что и здесь казавшееся непоколебимым здание феодально-абсолютистской монархии подрывают изнутри волны народного гнева.

Когда Руссо в знаменитом романе «Эмиль» писал: «Мы приближаемся к состоянию кризиса и к веку революций. Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархи продержались бы долго»[6], то это было не только гениальным пророчеством проницательного ума, сумевшего разглядеть скрытое за завесой будущее. Это было и ощущением духа современности, точным восприятием направления ветров, проносящихся над Европой, над миром во второй половине восемнадцатого столетия.

Но проникали ли эти буйные ветры эпохи сквозь уз-

кие окна казарменных построек затерявшегося в провинциальной глуши городка Оксонна, в скромное жилище бедного лейтенанта артиллерийской части? О чем думал, о чем мечтал этот худой, бледный офицер в потертом на локтях мундире артиллериста, просиживая до поздней ночи при неярком отблеске свечи над книгами и листами исписанной бумаги?

Лейтенант Наполеон Буонапарте, уроженец города Аяччо, что на острове Корсика, второй сын мелкопоместного дворянина Карло-Марии Буонапарте и его супруги Летиции, в девичестве Рамолино, родился 15 августа 1769 года, три месяца спустя после завоевания Корсики французами.

Семья была небогата и многодетна, и Карло Буонапарте, стремясь дать сыновьям образование, не отягощая скудный семейный бюджет, отвез двух старших — Жозефа и Наполеона — в декабре 1778 года во Францию. Здесь, не без хлопот, он сумел их определить на казенный кошт.

Второй сын — Наполеон — после кратковременного пребывания в коллеже Отена был помещен на стипендию в Бриеннское военное училище. Он пробыл в Бриенне пять лет. Как рассказывал позже Бурьенн, учившийся и друживший с ним, Бонапарт обнаружил исключительные способности к математике, оставаясь всегда в этом предмете первым[7]. Он показал отличные успехи по истории, географии и по другим дисциплинам, кроме латыни и немецкого: к языкам у него не было склонности. В 1784 году, в октябре, его перевели в Парижскую военную школу, помещавшуюся тогда, как и ныне, на Марсовом поле.

Парижская военная школа справедливо считалась одной из лучших в стране: она не только занимала великолепное здание, но и располагала знающими, опытными преподавателями. Юный воспитанник училища, проявив рвение к наукам, заслужил лестные отзывы почти всех своих преподавателей. Он специализировался в области артиллерии; год спустя успешно сдал экзамены и в 1785 году был выпущен из училища в звании младшего лейтенанта и направлен в полк, расположенный в Валансе, неподалеку от Лиона. Здесь, в артиллерийской части, началась гарнизонная служба младшего лейтенанта Буонапарте.

Еще находясь в военной школе, он испытал первое потрясение: в феврале 1785 года, не дожив до сорока лет, умер его отец. То было не только внезапно обрушившееся горе — на плечи юного артиллерийского офицера легли заботы о матери, оставшейся с малолетними детьми почти без средств. Он стремится прийти ей на помощь и, прослужив десять месяцев в Валансе, выхлопотал себе отпуск на родину. В сентябре 1786 года Наполеон Буонапарте вновь переступил порог отчего дома в Аяччо, в котором не был более семи лет.

Жозеф, его старший брат, писал, что этот приезд «был великим счастьем для матери»[8]. Он был, несомненно, счастьем и для вернувшегося под родной кров Наполеона. В Бриенне, в Париже, в Валансе он столько думал о земле своих предков, о стране своего детства: он жил в ту пору мечтами о счастье, о величии Корсики. Он пробыл на родине до октября 1787 года.

По делам матери, принимаемым близко к сердцу,— давние тяжбы, не получавшие должного разрешения,— ему пришлось осенью 1787 года поехать в Париж. С октября по декабрь 1787 года он провел в хлопотах в столице королевства; в январе 1788 года он снова возвращается в Аяччо и просит военное начальство продлить ему отпуск. Наполеон получает разрешение; новые семейные заботы удерживают его еще на пять месяцев в родном доме; он сумел вернуться в свою воинскую часть, переместившуюся за это время в Оксонн, в Бургундию, лишь в июне 1788 года[9].

Год спустя, 14 июля 1789 года, взятием Бастилии началась Великая французская революция.

Таков был в самом сжатом изложении внешний ход событий жизни Наполеона Бонапарта ко времени, когда ему минуло двадцать лет.

Но чем он жил, о чем думал, о чем мечтал этот безвестный молодой офицер в богом забытом городке Оксонне? — повторим мы вопрос. На что он надеялся? На что рассчитывал бедный лейтенант без роду, без племени, корсиканец с оливковым цветом лица, выговаривавший слова с нефранцузским произношением, пришелец без связей, без знакомств, без денег, прозябавший в самом младшем офицерском звании в никому неведомой, глухой гарнизонной части?

О! Дерзновенные мечты, грандиозные замыслы теснились под низкими сводами убогого жилища юного лейтенанта артиллерии.

Его видели в Оксонне исправно выполняющим все служебные обязанности; он был ревностным офицером, прекрасно знавшим свое дело, в особенности тайны артиллерийского искусства. Его познания в этой области настолько превосходили знания многих товарищей по полку, что этого не могли не заметить *.

И все-таки разве служба, даже исправно выполняемая, поглощала все время, все мысли, все желания?

Образ жизни младшего лейтенанта артиллерийского полка был крайне прост и беден событиями. В Валансе он посещал, наверное, не чаще одного-двух раз в день трактир «Три голубя»; его трапеза была более чем скромна: стакан молока, кусок хлеба — несколько су на питание, не более того. Такую же полуголодную жизнь он вел и в Оксонне. Он отказывал себе во всем: со времени отрочества бедность шла за ним по пятам.

Буонапарте жил нелюдимым отшельником; еще в Бриенне и Париже, а затем в Валансе и Оксонне он чурался сверстников — молодых дворянчиков, привыкших беззаботно сорить деньгами и ищущих развлечений. Ему было с ними не по пути, то были люди из иного мира — что могло быть у них общего? Впрочем, этот неприветливый корсиканский отрок как-то незаметно сумел поставить себя так, что заставил смолкнуть насмешников, искавших мишени для издевки. Его, видимо, даже немного побаивались или предпочитали обходить стороной. Хотя Наполеон был невысок ростом и не отличался большой физической силой, он умел показывать зубы, и от него отходили. Он и преподавателей заставлял считаться с собой. Еще в Бриеннском училище, когда ему было одиннадцать лет, в ответ на сердитое восклицание преподавателя: «Кто вы такой!» — он с важностью и достоинством ответил: «Я человек»[10].

* Начальник артиллерийской школы в Оксонне, которому подчинялась и артиллерийская часть гарнизона, барон Жан-Пьер дю Тейль сумел заметить способности Бонапарта и в 1788 году назначил его, единственного из младших лейтенантов, членом специальной комиссии, на которую было возложено выяснить лучшие способы бомбометания (*A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. I, p. 348—360; *Coston.* Op. cit., t. I, p. 126—129).

То, что ему пришлось с отроческих лет жить вне семьи, в мире чуждом и, может быть, враждебном, не могло пройти бесследно. Вдали от родного очага, в казармах французских военных училищ юный Буонапарте чувствовал себя изгоем, представителем побежденного народа. Напомним, что Корсика, в 1755 году сбросившая под руководством Паоли власть генуэзцев, после четырнадцати лет свободы и независимости в 1769 году была вновь завоевана, на сей раз французами. Буонапарте был корсиканец, волей судьбы вынужденный жить среди победителей — французов. Его подпись под письмами тех лет — Наполеоне или даже Наполионе ди Буонапарте[11] — с ее подчеркнуто корсиканской транскрипцией была своеобразной манифестацией патриотических чувств, связывавших его с родиной.

Человек реалистического мышления, он сознавал неравенство сил сторон. Могла ли Корсика, небольшой, затерянный в Средиземном море остров, противостоять могущественному Французскому королевству? Он не создавал на этот счет иллюзий и все-таки был полон веры в силы маленького народа и чувствовал себя связанным с ним кровными узами. В 1786 году, шестнадцати лет от роду, он пишет восторженное сочинение в защиту корсиканского народа. Позже он усиленно занимается изучением истории Корсики, штудирует десятки книг, посвященных ее прошлому, набрасывает обобщающий очерк истории Корсики. Наполеон идеализирует вождя корсиканских патриотов Паоли, наделяет его всеми достоинствами, защищает с горячностью в спорах. Корсика, будущность маленького народа, побежденного в неравной борьбе, волновали воображение юного офицера.

Впрочем, корсиканская трагедия была лишь одной из многих темных страниц этой трудной книги бытия. Мир был несовершенен, более того — он был плох. Время суровой и мужественной добродетели римлян осталось позади. В этом обществе испорченных нравов, поправшем естественные законы человека, нет почвы для гражданской добродетели — так думал молодой корсиканский патриот.

Этот необщительный офицер сторонился товарищей по полку не только потому, что в карманах его потертого мундира не было серебра для кутежей и пирушек.

Он чувствовал себя бесконечно далеким от них; в их шумном обществе он продолжал ощущать свое одиночество.

«Всегда одинокий среди людей, я возвращаюсь к своим мечтам лишь наедине с самим собою» — эти строки написаны, когда их автору не минуло и семнадцати лет[12]. На них обозначена точная дата — 3 мая. Она заслуживает внимания: май — цветущий месяц весны, а семнадцатилетний автор записок подавлен чувством одиночества.

Откуда же рождалось это чувство? Что питало его? Что порождало сумрачные настроения молодого офицера? В дни расцветающей весны в природе, в дни собственной весны он думал... о смерти, о тщете земной жизни, о самоубийстве.

В тех же записках он признавался, что все окружающее вызывает у него отвращение, что жизнь ему претит: «...что делать в этом мире? Если я должен умереть, то не лучше ли самому убить себя? Если бы я уже перешагнул за шестьдесят лет, я бы уважал предрассудки людей и терпеливо предоставил природе свое течение. Но так как я только начинаю постигать несчастие и ничто не приносит мне радости, зачем переносить мне долгие дни, не сулящие ничего доброго? О, как люди далеки от природы! Как они трусливы, подлы, раболепны! Что я увижу на своей родине? Моих соотечественников, скованных цепями и с дрожью целующих руку, которая их угнетает?»

Он возвращается снова к теме страданий и бедствий порабощенного корсиканского народа: «Если бы для освобождения своих соотечественников мне надо было сразить лишь одного человека, разве я немедленно бы не направился, чтобы вонзить в грудь тирана меч отмщения за родину и попранные законы?» Но он отдавал себе отчет в том, что этой тираноборческой доблести в нынешний век уже недостаточно и что само разочарование в жизни имеет более широкие основания.

«Жизнь для меня бремя потому, что ничто не доставляет удовольствия и все мне в тягость. Она для меня бремя потому, что люди, с которыми я живу и с которыми, вероятно, должен жить всегда, нравственно столь же далеки от меня, как свет луны от света солнца...»[13]

Вот настроения, как бы предвосхищающие чувства и мысли байроновского «Чайльд Гарольда». Откуда они? Что это — аффектация, преувеличение чувств, столь свойственные юношескому возрасту? Дань модному тогда сентиментализму, мизантропической чувствительности, навеянных творчеством Лоренса Стерна, аббата Прево и конечно же знаменитой «Новой Элоизой» Руссо?

Да, разумеется, в какой-то мере и то и другое. Но вряд ли было бы правильным слышать в этих негодующих и горестных тирадах только ломающийся голос юности и подражание модным литературным поветриям. Этот избегавший сверстников, молчаливый, замкнутый лейтенант был истинным сыном своего времени, воодушевленным всеми его идеями и надеждами.

Встречающееся порой в исторических работах изображение юного Бонапарта как циника, как дельца, холодно и расчетливо прокладывавшего путь к успеху, не соответствует, на мой взгляд, действительности. Такая упрощенная трактовка опровергается неоспоримым документальным материалом — черновыми записями, заметками, литературными опытами самого Бонапарта.

Младший лейтенант Буонапарте при всей приверженности к своей военной профессии прежде всего был человеком определенных пристрастий и убеждений. Это не только «корсизм», как полагал в свое время Массон,— мечта об освобождении корсиканского народа. Это шире и глубже, это живая, постоянно обновляемая связь со всей духовной жизнью эпохи, с ее спорами и распрями, с ее громами и грозами.

Воспитанник военных училищ, а затем младший лейтенант ди Буонапарте был не только корсиканским патриотом — он был прежде всего сыном своего века. Впрочем, в этом надо, видимо, более детально разобраться.

В обширной литературе, посвященной Наполеону, странным образом наименее изученным остается вопрос об идейных позициях молодого Буонапарте, то есть о системе его взглядов, отношении к общественным и политическим движениям предреволюционных лет и периода революции. Короче говоря, остается без ответа, казалось бы, напрашивающийся сам собой воп-

рос: кем был Бонапарт до того, как он вошел в историю под собственным именем?

Нельзя сказать, что биографы знаменитого государственного деятеля не касались этого вопроса. Нет недостатка ни в многотомных монографиях, ни в специальных статьях, посвященных разным аспектам юности и молодости будущего императора французов.

Но преобладающей тенденцией этих исторических сочинений является стремление рассматривать молодые годы Бонапарта в свете его последующей деятельности, выдвигать на первый план то, что, по мнению авторов, «вписывается» в предысторию его возвышения и доказывает как бы исключительную целеустремленность этого единственного в своем роде жизненного пути. Даже один из лучших биографов Наполеона, писатель огромного таланта и поразительной исторической проницательности — речь идет о Стендале,— даже он в работах о Наполеоне[14] следовал тому же методу.

Но Стендаля можно понять: если он говорил о молодых годах своего героя скороговоркой, рисуя их крупными штрихами, то это во многом объясняется тем, что в те годы, когда он работал над этими произведениями,— в 1817—1818 годах и затем в 1836—1837 годах — литературное наследство Бонапарта было еще почти неизвестно. Стендаль не мог писать в то время иначе.

Удивительнее, что серьезные исследователи, создававшие свои труды после опубликования литературного наследства Бонапарта и бессчетного числа воспоминаний, писем и прочих документальных материалов, считали возможным по-прежнему оставлять без рассмотрения вопрос о философско-политических взглядах юного Буонапарте, о его идейной эволюции. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на Артюра Шюке и академика Луи Мадлена. Первый в трехтомном, второй в шестнадцатитомном (!) сочинении о Наполеоне уделили едва ли двадцать — тридцать страниц вопросу, о котором идет речь[15].

А между тем вопрос этот, естественно, требует ответа. Документальные материалы, находящиеся ныне в распоряжении исследователя, вооружают его всем необходимым, чтобы с полной определенностью ответить на этот вопрос.

Наполеон Бонапарт, как известно, был человеком редкой одаренности, проявлявшейся в самых различных сферах его деятельности. Уже в детстве и в школьные годы явственно обнаружилась его замечательная способность быстро ориентироваться в сложных вопросах, раньше других находить верное решение запутанной математической задачи и в особенности его удивительная память.

Бонапарт с детских лет и до конца своих дней обладал почти абсолютной памятью. Без каких-либо особых усилий он запоминал и правила математики, и сухие юридические формулы, и длинные строфы стихов из Корнеля, Расина или Вольтера. Позже, в армии, он безошибочно называл имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывая год и месяц совместной службы и нередко часть — точное наименование полка, а иногда и батальона, в котором состоял его бывший сослуживец.

Этот редкий дар точной памяти и быстрота ориентации обнаружились уже в годы учения в Бриенне и Париже, облегчая ему усвоение курса. Но одних только природных способностей оказалось недостаточно, чтобы создать какие-либо преимущества перед товарищами. Его бедность, отсутствие светской непринужденности, провинциальная скованность как бы уравновешивали его природные таланты. К тому же вопреки утверждениям апологетической литературы, изображающей Наполеона неким «сверхчеловеком» или «божьим избранником», одинаково великим во всем — и в большом и в малом, Бонапарт в действительности отнюдь не во всем преуспевал. Ему, как уже говорилось, плохо давались языки — древние и новые. Он и позже, став императором французов, допускал ошибки во французском языке и грамматические, и даже смысловые, и его речь была засорена всякого рода итальянизмами[16]. Бонапарт любил играть в шахматы, но, неожиданно для человека с математическими склонностями, он не мог постигнуть тайн шахматного искусства. Он охотно играл в карты — в двадцать одно — и, когда удавалось, плутовал.

В ту пору молодой офицер был обязан — это подразумевалось само собой — уметь танцевать. Твердо знать все па, все движения котильона или кадрили, уверенно

вести за собой даму по зеркальному паркету было столь же важным, как и командование строевыми занятиями.

Лейтенанту Буонапарте, как и позже генералу Бонапарту, танцы не давались. Подобно большинству корсиканцев, он был восприимчив к музыке, любил и понимал ее. Но непостижимым образом в танцах он не мог уловить ритм музыки, был неуклюж, наступал партнершам на ноги. Он много и старательно занимался; позже, когда появились деньги, даже брал специальные уроки, выполнял терпеливо упражнения, но стоило ему вечером стать с дамой в пары котильона — и все повторялось сначала. Он сердился и переставал танцевать. Вскоре он навсегда отказался от танцев, тем самым еще больше отдаляясь от своих сверстников и товарищей по полку.

Словом, у Бонапарта, как у всякого человека, были свои слабости и недостатки, и в его нелегкой юности, когда ему приходилось чаще обороняться, чем наступать, они были еще заметнее. Ни в Бриеннской, ни в Парижской военных школах, ни в полку ему не удавалось верховодить, он всегда оставался в стороне от товарищей, некомпанейским малым, которого перестали даже приглашать на веселые вечерние сборища беззаботной молодежи. Но при кажущейся хрупкости этот невысокий, очень худой, почти болезненный на первый взгляд молодой офицер обладал помимо природных способностей еще двумя качествами, оказавшимися весьма важными,— необыкновенной работоспособностью и исключительной выносливостью.

Его работоспособность была поразительной. В годы юности Наполеон вставал не позднее четырех часов утра и сразу же принимался за работу. Он приучил себя мало спать. Он считал, что каждый офицер должен уметь выполнять на службе то же, что делает любой солдат, начиная с запряжки лошадей, и в своем батальоне сам подавал тому пример. Во время учений, а позже в походах он шел пешком вместе с солдатами под палящим солнцем или пронзительным ветром, являя образец выносливости.

В годы отрочества и юности его главной, можно сказать единственной, всепожирающей страстью было чтение. Еще в Бриеннском училище, как рассказывал Бурьенн, лишь только раздавался звонок на перерыв, он бежал в библиотеку, где с жадностью читал книги

по истории, в особенности Полибия и Плутарха». Его школьные товарищи уходили играть, а он оставался один в библиотеке, погруженный в книги[17].

С таким же увлечением он предавался чтению и в Валансе; он абонировался на книги в расположенном неподалеку от его дома книжном магазине Ореля. Отказывая себе в удовольствиях, даже в самом необходимом, он на сэкономленные деньги выписывал книги из Женевы и других городов[18]. Когда в 1786 году он приехал на родную Корсику, то, по свидетельству Жозефа, его «дорожный сундук, наполненный книгами — сочинениями Плутарха, Платона, Цицерона, Корнелия Непота, Тита Ливия, Тацита, переведенными на французский язык, Монтеня, Монтескьё, Рейналя... по своим размерам был гораздо больше того, в котором хранились предметы его туалета»[19].

Бонапарт с удивительной для его возраста способностью часами просиживать за книгами достиг несоизмеримого превосходства в знаниях над товарищами. Сами эти знания были усвоены им глубже, лучше, иначе, чем его однокашниками.

Сохранившиеся от тех лет записи, конспекты прочитанного, черновые заметки Наполеона Буонапарте остаются до сих пор наиболее убедительным доказательством его настойчивых усилий овладеть знаниями его времени, встать на уровень проблем века.

Он был солдатом, артиллеристом, и несколько тетрадей, исписанных его мелким, с наклонным начертанием букв почерком, посвящены вопросам артиллерии. Здесь и пространные «Заметки, извлеченные из мемуара маркиза де Вальера», предлагавшего создать единую артиллерию пяти калибров, с разного рода цифровыми расчетами, и обширная рукопись «Принципы артиллерии», и тетрадь с записями по истории артиллерии, и «Записка о способе расположения пушек при бомбометании» с математическими расчетами[20].

Эти записи юношеских лет показывают, как серьезно относился Бонапарт к своей специальности.

Биографы Наполеона — от Костона и Шюке до Мадлена и Кастело — подчеркивали наряду со склонностью к математике исключительный интерес, более того — пристрастие молодого Бонапарта к истории. Героический эпос античности влек его к себе, воодушевлял, он звал к подражанию гражданским доблестям

Эллады и Рима. Уцелевшие тетради его записей, опубликованные в свое время Фр. Массоном, показывают, с какой тщательностью Бонапарт изучал, делая выписки, синтезируя прочитанное, историю древнего мира — Египта, Ассирии, Вавилона, Персии. С особым пристрастием он изучал историю античных государств — Афин, Спарты, Рима, конспектируя не только общие исторические труды вроде известных в то время работ Роллена, но и тексты античных авторов — Платона, Плутарха, Светония, Цицерона и других в переводах на французский язык.

В его тетрадях сохранились обширные, на пятидесяти девяти страницах, записи по истории Англии — от вторжения Юлия Цезаря до конца XVII века, в основе которых лежало изучение десятитомного труда Джона Берроу. С ними соседствовали тетради, содержавшие заметки об истории царствования прусского короля Фридриха II; изложение двухтомной истории арабов аббата Мариньи, истории Флоренции Макиавелли, истории Франции Мабли, обширные заметки по истории Сорбонны и многое другое[21].

Он стремился не только усвоить героический эпос Древней Греции и Рима, но и осмыслить уроки прошлого. В его тетрадях конспективное — по Роллену или Плутарху — изложение исторических фактов перемежается с авторской речью — обобщающими суждениями самого Буонапарте. Эти несколько страничек, написанных «от себя», примечательны прежде всего политическими настроениями юного Бонапарта. История античного мира укрепляла его любовь к свободе, его вражду к деспотизму, угнетению. «...Тогда деспотизм поднимает свою отвратительную голову, и униженный человек теряет свою свободу и свою энергию...» — в таком тоне излагаются его рассуждения. История Афин давала ему повод поставить вопрос и о преимуществах монархии или республики. «Можно ли заключить, что монархическое правление является наиболее естественным и первостепенным? Нет, без сомнения»[22],— отвечает юный автор.

Его тетради хранят также разного рода записи, связанные с изучением «Естественной истории» знаменитого Бюффона. Немалое место в тетрадях занимали записи по географии, чаще всего в связи с изучением истории.

Длительное, глубокое, можно даже сказать проникновенное, изучение истории и сопредельных с нею отраслей науки оказало, несомненно, большое влияние на идейное развитие Бонапарта. Он стал не только превосходным знатоком истории — выступления, беседы первого консула, затем императора почти всегда содержат ссылки на исторические примеры, исторические факты, исторические имена.

Заслуживает внимания его склонность к анализу социального содержания исторического процесса, вскрытию подосновы исторических явлений. В одном из произведений — «Диалоге о любви» (1791 год) — Бонапарт в споре с де Мази настаивает на том, что современный социальный строй не может быть понят без учета тех глубоких изменений, которым подвергся человек со времени своего появления на земле, превратившийся постепенно в совсем иное существо. «Допускаете ли вы, что без этих изменений столько людей терпело бы страдания, испытываемые от гнета кучки крупных сеньоров, и люди, которым не хватает хлеба, мирились бы с великолепными дворцами?»[23]

Остроту социальных противоречий, которую с такой ясностью видел двадцатидвухлетний автор «Диалога о любви», он объяснял прежде всего исторически. Историзм мышления сохранялся до поры до времени и у зрелого Бонапарта. Но к этому мы вернемся позже.

И все-таки история при всем ее значении для интеллектуального становления Бонапарта не была главной наукой его юности, как утверждают некоторые биографы.

Как уже говорилось, молодой Бонапарт был не только солдатом — прежде всего он был сыном своего времени. В XVIII веке это значило помимо прочего, что он тоже принадлежал к столь распространенной среди молодых людей породе неудовлетворенных и что исцеления от окружавшего зла он искал в неотразимой, как тогда казалось, силе разума и смелой критике старого общественного строя, которую несли с собой освободительные идеи века Просвещения.

В литературе, посвященной Наполеону, настолько укоренилось мнение, будто он был непримиримым врагом всех «идеологов», что непостижимым образом было

забыто или не замечено, что он сам начинал свой общественный путь как «идеолог», как сторонник определенной общественно-политической партии.

Стремление «подогнать» биографию Бонапарта под искусственно выработанную модель (пользуясь терминами наших дней), под некий идеальный образец, созданный официозной историографией Второй империи[24] и ставший с тех пор как бы классическим, зашло так далеко, что целые страницы его биографии либо вовсе вычеркиваются, либо отмечаются самым мелким шрифтом — петитом или нонпарелью. Так были по существу «забыты» или рассказаны скороговоркой страницы биографии Бонапарта, связанные с его литературной деятельностью.

Будущий император французов в своей ранней молодости был не только пылким почитателем и превосходным знатоком художественной и политической литературы — он может быть сам с должным основанием признан литератором.

Еще на скамье Бриеннского военного училища он приобщился к классической французской литературе и позже на протяжении всей своей жизни удивлял собеседников глубоким знанием произведений Корнеля, Расина, Лафонтена, Боссюэ, Фенелона, Вольтера, Руссо, Бернардена де Сен-Пьера и других корифеев французской литературы. Художественная литература всегда оставалась предметом его особого интереса; он не только знал в ней толк и имел устойчивые пристрастия, но и сам хорошо владел пером.

Литературное наследство в узком значении понятия, оставшееся от знаменитого государственного деятеля, несмотря на необозримую литературу — «наполеониану», не только не оценено должным образом, но даже не собрано, не объединено в единое целое[25]. А между тем это наследство отнюдь не так уж мало. Из того, что известно, можно безошибочно заключить, что Бонапарт творил легко и быстро, что он одинаково свободно писал и в прозе, и в стихах, и в публицистическом жанре.

Шутливо-иронические стихи, написанные им на экземпляре «Курса математики» Безу[26] в дни экзаменов в Парижской военной школе,— стихи, производящие впечатление мгновенной импровизации,— служат доказательством того, что стихосложение давалось ему легко. Он доказал, что умел писать стихи, но столь же

очевидно, что у него не было ни вкуса к поэзии, ни желания заниматься поэтическим творчеством.

Дошедшие до нас литературные опыты в прозе весьма различны по жанру и характеру. Среди них есть и собственно художественные произведения, и сочинения, стоящие где-то на грани между беллетристикой и публицистикой, и чисто публицистические статьи, и, наконец, научные или полунаучные трактаты. Само это многообразие жанров творчества — характернейшая черта литературы восемнадцатого столетия.

Юный воспитанник военных училищ, затем младший лейтенант лишь следовал за лучшими образцами литературы века Просвещения. Впрочем, не только в этом, но и в своем мышлении, в своих сочинениях, в письмах, во всем с головы до ног молодой Буонапарте был человеком восемнадцатого столетия.

Бонапарт был автором произведений, опубликованных сразу после их создания. Его «Письмо к Маттео Буттафуоко» — блестящий по силе экспрессии обвинительный акт против депутата Корсики в Национальной ассамблее — было опубликовано в 1790 году[27].

Тремя годами позже был напечатан его «Ужин в Бокере»[28]. Об этом произведении трудно сказать, к какому жанру литературы его надо отнести. По форме это беллетристика. «Я оказался в Бокере в последний день ярмарки; случай свел меня за ужином с...» — так в почти классической манере литературы XVIII века начинается это произведение. Беседа за ужином в Бокере имеет сугубо политическое или, если угодно, философско-политическое содержание. Это художественное произведение или политический трактат? Наверно, и то и другое.

Впрочем, к «Ужину в Бокере» мы вернемся позже; по своему идейному содержанию он относится к следующему этапу жизни Бонапарта.

Роман «Глиссон и Эжени» все еще известен не полностью; впрочем, опубликованное не дает оснований для высокой оценки.

Две небольшие новеллы — «Граф Эссекс» (1788 год) и «Маска пророка» (1789 год), опубликованные Фр. Массоном[29], неравноценны. Первая превосходна прежде всего драматизмом, достигаемым экономными изобразительными средствами, вторая, восточная, несколько аляповато рассказанная история не имеет, на мой

взгляд, большой ценности. Оставшаяся незавершенной новелла «Приключения в Пале-Рояль» обрывается на полуслове; об этом явно незаконченном произведении трудно высказать суждения.

Опыты в художественной прозе остались прегрешениями юности Бонапарта; позже он к ним не возвращался и редко о них вообще вспоминал.

Значительно большее место в его литературных заметках занимали философские или, вернее, философско-политические этюды — жанр, характерный прежде всего для литературы эпохи Просвещения. Это серия статей и писем о Корсике, литературно-политические эссе «О любви к славе и любви к отечеству», «Диалог о любви», «Трактат для Лионской академии», заметки о Руссо, незавершенные наброски, имеющие общественный интерес черновые записи. Со страниц этих тетрадей, впервые увидевших свет через много-много лет после того, как они были исписаны, перед нами предстает Бонапарт дней своей молодости — совсем иной, чем тот, кто вошел в историю как император французов.

Исследователи, изучавшие жизненный путь Наполеона, не могли не обратить внимание на одно примечательное обстоятельство. В блестящей плеяде наполеоновских полководцев, среди ближайших сподвижников консула и императора невозможно найти ни одного из его прежних товарищей по Бриеннскому и Парижскому училищам, по полку, где он начинал военную службу *. Почему? Да прежде всего в силу глубины конфликта, разделявшего молодого Бонапарта и его товарищей по военным училищам и полку.

Бонапарт чуждался своих товарищей не потому лишь, что был беднее их и ему были непривычны их грубовато-молодецкие развлечения, сопровождаемые дворянско-беспечной тратой денег без счета. Они были

* Исключение, как известно, составляли лишь двое друзей Бонапарта: Бурьенн, учившийся с ним в Бриенне, и де Мази — товарищ по Парижу и Валансу. Оба они пришли к Бонапарту по возвращении из эмиграции. Бурьенн не оправдал доверия Бонапарта и был им отстранен. Де Мази, не пожелавший вернуться в армию, играл скромную роль.

чужды ему и по своим мнениям и убеждениям. Они принадлежали к разным мирам, к разным лагерям.

Фредерик Массон, скрупулезный исследователь биографии Наполеона, установил, что подавляющее большинство сотоварищей Бонапарта по Бриеннскому и Парижскому военным училищам после начала революции эмигрировали. К тем же выводам пришел и Шюке, самостоятельно исследовавший тот же вопрос[30]. Бывшие однокурсники Бонапарта с оружием в руках сражались против революции. Некоторые из них служили в армии Конде, другие перешли на службу к врагам Франции — английскому, австрийскому, португальскому правительствам.

Все биографы Наполеона пишут о непримиримой вражде, которая разделяла в Парижской военной школе двух ее воспитанников — Бонапарта и Ле Пикар де Фелиппо. Сидевший между ними Пико де Пикадю сбежал со своего места, так как его ноги почернели от яростных ударов, которыми противники обменивались под столом. Что же лежало в основе этой непримиримой, не утихавшей со временем вражды? Пройдут годы, и в 1799 году давние недруги снова встретятся — на сей раз на поле брани, под стенами Сен-Жан д'Акра в Сирии: Бонапарт — как главнокомандующий французской армией, Ле Пикар де Фелиппо — как полковник английской армии, сражавшейся против французов. Случайно ли это было? И не следует ли протянуть нить от сражения двух армий под разными флагами в далекой Сирии вспять, к дням ранней юности двух курсантов Парижского военного училища?

А Пико де Пикадю, о котором только что шла речь? Самый блестящий, первый ученик военной школы на Марсовом поле... Разве его дальнейшая судьба не примечательна, разве она не показывает, как расходилось в разные стороны поколение, вступавшее в жизнь накануне революции?

Закончив военную школу со многими наградами одновременно с Бонапартом, Пико де Пикадю получил назначение в Страсбург, где быстро продвинулся по служебной лестнице. Вскоре после революции он эмигрировал, служил капитаном артиллерии в эмигрантском полку Рогана, затем перешел в австрийскую армию, сражался против своих соотечественников в войсках интервентов. В кампании 1805 года ему не повез-

ло: вместе с армией Мака Пико де Пикадю разделил позор капитуляции в Ульме; он был macqué, как острил Билибин в романе «Война и мир» Толстого, и стал пленником своего бывшего товарища по курсу. Его отпустили, но перенесенные испытания не пошли ему впрок. Он закоренел в ненависти к своей родной стране и в кампании 1809 года как полковник австрийской армии снова дрался против французов и снова попал в плен, на сей раз к Даву. Пикадю был вторично отпущен. Но проявленное к нему великодушие его не исправило. Он не только окончательно изменил своей родине, но и предал имя своих отцов: в 1811 году Пикадю отказался от французского имени и сменил его на немецкое — Герцогенберг. Его позорные старания были вознаграждены, хотя и в меру: ему пожаловали титул барона. В кампании 1813 года барон Герцогенберг участвовал в войсках антифранцузской коалиции в сражениях под Дрезденом и Кульмом и был ранен французской пулей. Впрочем, ранение было не смертельным; он продолжал служить австрийскому императору; позже его назначили начальником кавалерийской школы Марии-Терезии в Вене. Он умер в звании фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии в 1820 году.

Такова была логика вражды к своему народу. Она превращала французского дворянина в австрийского барона, всю жизнь державшего пистолет на прицеле против своих бывших соотечественников.

«Всегда одинокий среди людей» — эти слова из записи 1786 года не были литературной фразой. Они точно определяли отношения, сложившиеся между юным Бонапартом и окружавшими его людьми. Он чувствовал себя одиноким среди своих товарищей по военной школе и полку: они были в одном мире, он был в другом. Из их мира дорога вела в контрреволюцию, эмиграцию; мир, в котором был Бонапарт, привел его в революцию.

Мир лейтенанта Буонапарте — это был мир Вольтера, Монтескьё, Гельвеция, Руссо, Рейналя, Мабли, Вольнея, мир свободолюбивой, мятежной литературы XVIII века. Могло ли быть иначе?

Разве этот бедный корсиканец, всегда погруженный в мысли о страданиях своего народа, о бедственном положении матери, братьев, сестер, остававшийся чужаком для своих беспечно веселых товарищей, вынужденный прятать руки за спину, чтобы не показать износившиеся, старые перчатки, младший лейтенант, обреченный тянуть служебную лямку без каких-либо надежд на продвижение по службе,— разве он не был подготовлен всей своей короткой и нелегкой жизнью к восприятию великих освободительных идей передовой литературы XVIII века?

Он впитывал их с жадностью, он пытался найти в них решение тех вопросов, которые давно навязчиво преследовали его, рожденные тяжкой жизнью, обступавшей со всех сторон. Имеется много доказательств того, что лейтенант Буонапарте стал приверженцем «партии философов»; он был подготовлен к этому всей своей биографией.

В 1788 году, находясь на королевской службе, лейтенант Буонапарте писал: в Европе «остается очень мало королей, которые не заслуживают быть низложенными»[31]. Надо ли было выражать свои мысли яснее? В эпоху, когда подавляющее большинство передовых людей во Франции высказывалось в пользу конституционной монархии, юный лейтенант артиллерии в черновых записях ставил под сомнение законность самого института монархии и утверждал, что в двенадцати королевствах Европы монарший трон находится в руках узурпаторов[32]. Это ли не революционные мысли?

Но не случайны ли они? Как мог прийти к таким крамольным суждениям офицер королевской армии? Может, это была сорвавшаяся непроизвольно с пера необдуманная фраза? Может быть, она находилась в противоречии со всем остальным, что писал молодой офицер, возомнивший себя философом?

Нет, уже в самой ранней из сохранившихся рукописей юного Буонапарте —«О Корсике» (апрель 1786 года, то есть когда автору не было еще и семнадцати лет) можно встретить ход мыслей и терминологию, явственно заимствованную из мятежной литературы Просвещения. Буонапарте говорит о корсиканцах, «раздавленных тиранией генуэзцев», и с восторгом отзывается о начатой ими «революции, отмеченной отвагой и пат-

риотизмом, сравнимыми лишь с подвигами римлян»[33]. Он с негодованием отбрасывает как ложный довод о том, что «народы якобы не имеют права восставать против своих монархов», это право представляется ему бесспорным. Заслуживает внимания, что, обосновывая свои мысли, юный автор пользуется такими терминами, как «народный суверенитет», «общественный договор», «социальный пакт», с неопровержимостью доказывающими, что он уже в то время был хорошо знаком с работами Жан-Жака Руссо и находился под их влиянием. Впрочем, рукописи весны 1786 года содержат и прямые обращения к Руссо. Так, «Опровержение «Защиты христианства» Рустана» начинается словами: «Руссо! Один из твоих соотечественников и твоих друзей...», и далее следует разбор одной из глав «Общественного договора» знаменитого писателя[34].

Внимательно изучая литературное наследие Бонапарта предреволюционных лет, нетрудно убедиться в том, что к восемнадцати — двадцати годам у него сложилась определенная система взглядов.

Современный общественный строй плох, несправедлив, он покоится на ложных основаниях, противоречащих естественным законам и естественной природе человека, полагал Бонапарт. В отличие от мира животных, основанного на силе, человеческое общество основано на согласии. «Люди рождаются ради счастья.» Наслаждение благами жизни — вот высшее предназначение человека, обусловливаемое естественными законами. Но в современном обществе эти незыблемые естественные права человека попраны. Естественное стремление человека к равенству грубо нарушено; повсеместно господствует неравенство; мир разделен на два класса — господствующих и угнетенных, богатых и бедных[35].

Юный философ осуждает не только деспотизм, вызывающий у него отвращение, так как он душит свободу; он клеймит не только политическое неравенство, представляющееся ему нарушением законов природы; он осуждает и социальное неравенство. Богатство, роскошь гибельны; они развращают нравы, разлагают общество; богатство одних — немногих, основанное на нищете и страданиях других — большинства, несправедливо и противоречит человеческой натуре.

Смелый, революционный характер критики молодым Бонапартом современного ему общественного строя несомненен. Но каковы средства преодоления зла? По какому пути он призывает идти, чтобы сделать мир лучшим, более справедливым?

На эти вопросы тетради лейтенанта Буонапарте не дают определенного ответа. У него нет сложившегося, устойчивого мнения. Правильнее даже сказать, что он уклоняется от этих вопросов или откладывает их решение до более позднего времени.

Бонапарт вполне определенен и решителен в негативных взглядах. Его критика общественного строя того времени последовательна и систематична. Эта критика подводит вплотную к революционным выводам, они логически вытекают из его рассуждений. Но последнего слова — как, когда и каким образом осуществить революционные выводы — автор не произносит вслух.

Не представляет большого труда определить мыслителя, оказавшего наиболее сильное влияние на молодого офицера, увлекавшегося общественно-политическими вопросами. Это прославленный автор «Общественного договора», «Новой Элоизы», «Писем с горы». Даже в манере мышления — подойти вплотную к революционным выводам и остановиться, не договорить мысль до конца,— даже в этом юный философ следовал за Жан-Жаком Руссо.

Как уже говорилось, Бонапарт в молодости увлекался произведениями многих просветителей — Вольтера, Монтескьё, Рейналя, Мабли и других. Его суждения о них не всегда были одинаковыми; случалось, он менял мнение о том или ином великом писателе восемнадцатого столетия. Однако не подлежит сомнению, что из всех корифеев просветительной мысли наибольшее влияние на молодого Бонапарта оказал Жан-Жак Руссо.

Чаще всего Бонапарт прямо ссылается на Руссо как на общепризнанный авторитет. Слово гениального «гражданина Женевы» для него столь весомо, что оно заменяет необходимость аргументации. Прямые обращения к Руссо или ссылки на него встречаются почти во всех ранних работах Бонапарта: «О Корсике», «Опровержение «Защиты христианства» Рустана», «Речь о любви к славе и любви к отечеству», «Диалог о любви» и другие. Но даже когда имени Руссо не произно-

сится, его влияние на молодого автора можно безошибочно определить, обращаясь к терминологии, политическому словарю, наконец, к самой системе объяснения закономерностей общественного развития.

«Общественный договор», «естественные законы», «всеобщая воля» — термины, ставшие известными благодаря Руссо,— постоянно встречаются в рукописях молодого Бонапарта: они вошли, так сказать, в плоть и кровь его политического мышления, его литературного письма.

В «Диалоге о любви», одном из интереснейших произведений Бонапарта, где в действительности предметом диалога были не столько любовь, сколько вопросы гражданского долга и чувства «цивизма»[36], участниками беседы являются реально существовавшие люди — Бонапарт и его друг де Мази.

Позиция автора здесь предельно обнажена: его мнение формулирует в споре Бонапарт. Стоит прислушаться к его речам. Его точка зрения выражена вполне отчетливо: «Народ порабощен. Вы видите быстро утверждающееся неравенство... Религия спешит утешить несчастных, у которых отняли всю их собственность. Она их хочет навеки сковать кандалами»[37].

В не меньшей мере это относится к другому, более раннему произведению Бонапарта — «Проекту конституции общества Калотт» (1788 год) (calotte — это термин, обозначающий иногда скуфью, иногда верхнюю часть броневой башни). Но в предреволюционные годы во Франции этим именем полушутливо называли общества, создаваемые в полках младшими офицерами. По неписаному правилу «калоттинцами» могли быть офицеры, не достигшие звания капитана. Общество «ла Калотт» было создано и в артиллерийском полку, где служил Бонапарт. Младшему лейтенанту Буонапарте была оказана высокая честь — ему было доверено составить проект конституции общества.

Офицер отнесся к этому поручению весьма ответственно. Полушуточная конституция полушуточного общества была написана с величайшей серьезностью[38]. Конечно, не следует преувеличивать значение этого произведения юношеского пера и видеть в нем прообраз или предвосхищение конституции VIII года, как это утверждал обычно сдержанный Фредерик Массон. «Проект конституции общества Калотт» примечателен

иным. Устами правоверного «калоттинца» лейтенанта Буонапарте вновь говорил автор «Общественного договора». И по своему идейному содержанию, и даже по форме и терминологии «Проект конституции» близок к общественно-политическим взглядам Руссо. Основным политическим принципом и главной гражданской добродетелью общества провозглашалось равенство[39]. Младший лейтенант Буонапарте в предреволюционные годы выступает вслед за Жан-Жаком Руссо убежденным сторонником идеи равенства.

На протяжении недолгой жизни Бонапарта, поворачивавшейся самыми неожиданными гранями судьбы, ему случалось менять, как, впрочем, и о многом ином, мнение о Руссо. Менялась жизнь, менялся Бонапарт, менялись его мнения. Но остается несомненным, что в пору, о которой сейчас идет речь, Жан-Жак Руссо был мыслителем, имевшим на него наибольшее влияние.

Известно свидетельство его старшего брата Жозефа, относящееся к 1786 году: «Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира»[40].

Это свидетельство должно быть принято с доверием. Оно полностью подтверждается литературным наследством Бонапарта предреволюционных лет.

Иные приверженцы «наполеоновских легенд», и среди них легенды о том, что Бонапарт чуть ли не с детских лет был прирожденным монархом — «монархом в потенции», и иные скептики, полагавшие, что Бонапарт всегда был только дельцом, стремившимся к власти, те и другие склонны всячески преуменьшать либо вовсе отрицать влияние Руссо на Бонапарта, как и всякую причастность будущего императора, даже в дни его молодости, к миру революционных идей.

Нет, данное свидетельство Жозефа Бонапарта было вполне правдивым. Младший Буонапарте шел вместе с передовыми людьми своего века под знаменем великих освободительных идей «партии философов» и был совершенно искренен в непримиримой вражде к старому, несправедливому, ущербному миру и в желании изменить этот мир к лучшему.

Солдат революции

14 июля 1789 года — падение Бастилии — стало великим днем не только в истории французского народа, но и в летописях освободительной борьбы человечества. Этот день возвестил начало новой исторической эпохи.

13—14 июля, как свидетельствовали участники тех исторических дней, все были настолько захвачены неудержимым потоком событий, повелительными требованиями стихийно развернувшегося народного восстания, что не оставалось времени обдумывать то, что творилось. 14 июля было прорвавшимся сразу и с яростной силой взрывом народного гнева, накапливавшегося в течение десятилетий[1]. Хлынувший на поверхность поток был столь стремителен, обладал такой неодолимой силой, что ничто ему не могло противостоять. Над Бастилией был поднят белый флаг капитуляции, и тысячи парижан по опущенным подъемным мостам, преодолевая рвы, по приставленным к стенам лестницам ворвались в крепость.

Лишь в следующие дни, глядя на поверженную твердыню абсолютизма, парижане с удивлением спрашивали себя: неужели это дело наших рук?

Наблюдатель, сторонний революционному миру, некий английский врач доктор Эдвард Ригби, волей случая оказавшийся очевидцем событий, в письме от 18 июля 1789 года писал так: «Я был свидетелем самой замечательной революции, которая, быть может, вообще когда-либо совершалась в человеческом обществе. Великий и мудрый народ вел борьбу за права и свободу человечества; мужество его, предусмотрительность и выдержка увенчались успехом, и событие, которое будет способствовать счастью и процветанию миллионов потомков, совершилось при весьма незначительном кровопролитии...»[2]

Все оказалось легче, чем можно было ожидать. Мгновенность достигнутой победы над абсолютизмом, разительность величайших перемен, совершившихся за несколько часов, потрясали. Есть ли силы, могущие противостоять народу, охваченному единым порывом? Отныне ничто уже не казалось невозможным. Порту-

гальский посол, наблюдавший развитие событий в Париже, писал, что, «если бы он сам не был очевидцем революции, он не рискнул бы о ней рассказывать, так как опасался бы, что правду примут за вымысел»[3].

Опьянение победой, свободой, завоеванной самоотверженной решимостью народа, волнующие чувства товарищества, братства, сплотившие воедино третье сословие, неожиданно открытое, полное сокровенного значения новое слово «нация» — все это кружило головы, наполняло гордостью сердца. То была заря, первые часы начинавшейся новой эпохи, время беспредельных надежд, время иллюзий.

Двадцатилетнему офицеру артиллерийского полка в Оксонне Наполеону ди Буонапарте не приходилось раздумывать над тем, принимать или не принимать революцию. Вопрос был давно решен: еще с юных лет, даже с мальчишеской поры он мечтал о времени великих преобразований. Спарта, Афины, Рим, о которых он грезил еще на школьной скамье Бриеннского военного училища, разве это не были облеченные в одежды прошлого мечты о будущем, о царстве свободы, справедливости, добродетели?

Пылкий последователь Жан-Жака Руссо и Рейналя, почитатель Мабли, республиканец в восемнадцать лет, противник деспотизма, лейтенант Буонапарте не мог не рукоплескать революции. С первых же дней он был вместе с народом, совершившим чудо 14 июля, он был за революцию и против ее врагов.

Об этом следует сказать сразу же и со всей определенностью, так как в исторической литературе в свое время предпринимались попытки дать иное толкование этого вопроса. Некоторые авторы сочли необходимым высказать сомнение в приверженности будущего императора французов в дни своей молодости к революции. Так, Жак Бенвиль, историк крайне правых политических воззрений, в книге о Наполеоне отмечал, что Бонапарт отнюдь не был взволнован известиями о взятии Бастилии и что к революции он относился как сторонний наблюдатель[4].

В отличие от Бенвиля Луи Мадлен, оставаясь на почве фактов, признавал, что Бонапарт присоединился к революции и был ее приверженцем. Но сочувственное

отношение Бонапарта к революции он объяснял главным образом тем, что революция устранила преграды, созданные законом 1780 года для офицеров, не принадлежащих к высшему дворянству. Бонапарт, сумевший доказать в своей генеалогии лишь четыре поколения дворянской крови, должен был, естественно, приветствовать отмену всяких ограничений, препятствующих его военной карьере[5].

Сегодня представляется неуместным вступать в полемику с Бенвилем или Мадленом по существу. В данной связи важно лишь отметить, что по этому, казалось бы, бесспорному вопросу в исторической литературе существуют и иные мнения.

Как уже упоминалось, юный Бонапарт, будучи последователем Руссо и Рейналя, «другом равенства и свободы», как говорили в XVIII веке, в то же время оставался пылким корсиканским патриотом. Одно другому не противоречило, напротив, органически сливалось. Корсика была порабощена и угнетена, и Бонапарт с отроческих лет знал, что восстановление независимости его родины невозможно без освободительной борьбы.

Артюр Шюке в свое время писал, что в дни юности Бонапарт был «корсиканцем душой и сердцем, корсиканцем с головы до ног»[6]. Это суждение справедливо в том смысле, что судьба родного народа в то время главенствовала во всех его помыслах. Его корсиканский патриотизм был экзальтированным и преувеличенным. На жесткой койке Бриеннской школы в ночной тиши он грезил не о действительной Корсике, а о некой идеализированной воображением стране. Он наделял корсиканцев одними достоинствами: отважностью, смелостью, мужеством, свободолюбием. Уже не отроком — в восемнадцать лет он заканчивал сочинение о Корсике дерзким, полным оптимистической уверенности утверждением: «Итак, корсиканцы смогли, следуя всем законам справедливости, сбросить иго генуэзцев, и они смогут также свергнуть иго французов»[7].

В юношескую пору Бонапарту было присуще своего рода чувство гордости принадлежностью к племени свободолюбивых корсиканцев. Сторонник идей Просвещения, он черпает в истории корсиканского народа новые подтверждения справедливости системы взглядов, которой он придерживается. Берегитесь! Помните об

уроках Корсики, говорит он своим политическим противникам. Уже недалек час возмездия!

Когда же этот час наступил, когда совершилось великое чудо 14 июля, когда настало время великих перемен, юный Бонапарт с заложенной в нем потребностью действовать стал искать применения своих нерастраченных сил.

Кем он был в 1789 году, этот двадцатилетний молодой человек? Младшим лейтенантом артиллерии, в течение четырех лет ни на шаг не продвинувшимся по служебной лестнице? Да, конечно.

Но в 89-м году, в «первый год свободы», он себя чувствовал не столько офицером артиллерии, сколько солдатом революции. Юный Буонапарте был человеком огромного динамического потенциала, требовавшего разрядки; слова, мысли, книги, кем-то произнесенные речи — этого ему теперь, после 14 июля, было мало. В новой ситуации позиция созерцателя ему не подходила. Он должен был действовать. Сразу же после начала революции он принимает решение, неотразимое по своей внутренней логичности: он должен ехать на Корсику.

Бонапарт отдавал себе, конечно, отчет в том, что его частые и длительные отлучки из полка не нравятся начальству и замедляют его военную карьеру. Но этим он снова пренебрег. Что может он делать в революции, оставаясь в жестких рамках правил службы младшего офицера артиллерийского полка в Оксонне? Читать по вечерам изложение дебатов в Национальном собрании? Заносить в тетрадь содержание речей знаменитых политических деятелей?[8]

Бонапарт с этим не хотел мириться. Как, в чем он мог применить свои силы в революции? Как он мог действовать? Ему не пришлось искать решений. Ответ напрашивался сам собой. Для Бонапарта революция — это была прежде всего Корсика. Претворять революцию в действие надо было, конечно, на этом священном для него острове.

Бонапарт подал начальству рапорт с просьбой предоставить отпуск для поездки к родным. В августе он получил разрешение и 9 сентября выехал из Оксонна, отправившись в далекое и долгое по тем временам путешествие.

Наполеон Бонапарт приехал в Аяччо в последних числах сентября 1789 года. Он был счастлив увидеть свою мать, к которой всегда относился с нежной и почтительной сыновней любовью[9], сестер и братьев, родной дом. Но Бонапарт приехал на этот раз не ради родственных объятий. Ему не терпелось поскорее ввязаться в борьбу. В первый же вечер он потребовал от Жозефа, уже обосновавшегося в родном городе в традиционной для семьи должности адвоката, полной информации о политическом положении на острове[10].

То, что он услышал от старшего брата и что затем подтвердили личные впечатления, было поразительным. Франция, Европа, весь свет были взбудоражены, потрясены революцией, штурмом Бастилии. Внимание всего мира было приковано к Парижу и Версалю. А в Аяччо, в Бастиа, повсюду на Корсике все оставалось так, как будто в мире не произошло никаких перемен, все мирно спало. Губернатор, комендант и командующий войсками правили подданными милостью божьей короля Людовика XVI по старинке, не оповещая их о сумбурных и странных известиях, поступавших из далекого Парижа. Жизнь текла здесь по-прежнему медленно, неторопливо, заполненная давними местными дрязгами, старой, не стихающей распрей между патрициями Аяччо и Бастиа — двух городов, оспаривавших право на первенство, враждой соперничавших кланов, мелкими кознями, интригами, сплетнями, передаваемыми вечером на ухо, чтобы утром о них знал уже весь город.

Быть может, в первый раз тогда, осенью 1789 года, Бонапарт ясно ощутил, как непохожи страна и люди его родного острова на великий народ героев, созданных его воображением. Корсика представала перед ним в своем истинном свете. Нет, это не были залитые лучами славы Фермопилы, обороняемые храбрецами, это было просто сонное царство.

Бонапарт не скрывал своего нетерпения — он торопился действовать. Ближайшим соучастником его планов стал Жозеф. Политические взгляды обоих братьев были в то время близки[11]. Жозеф недавно возвратился из Франции; он дышал там тем же воздухом, насыщенным разрядами электричества близившейся революционной грозы; он был человеком новых идей, врагом деспотизма; к тому же и он, как и все молодые люди той поры,

мечтал о большой политической роли — быть может, о славе Мирабо или о всемирной популярности Лафайета. В родном Аяччо Жозеф пользовался известным влиянием: он опирался на многочисленный, разветвленный клан семьи Буонапарте с ее клиентелой. Жозеф был старшим в семье, главой клана; в патриархальном мире маленького Аяччо это кое-что значило. К тому же, как все Бонапарты, он умел, когда надо, очаровывать, располагать в свою пользу людей. Он не обладал талантами младшего брата, но был неглуп, имел практическую сноровку, перераставшую порой в нечто большее. Наполеон на острове Святой Елены говорил о Жозефе: «Мой старый дядя Люсьен называл Жозефа bugiardo (обманщик). Он мне говорил: ты глава семьи. Он утверждал, что Жозеф пройдоха. Верно. В то время я впервые увидел его плутовство»[12]. И все-таки Наполеон в 1789—1792 годах действовал в самом тесном сотрудничестве со своим старшим братом.

Бонапарту удалось установить тесный союз — он оказался недолговечным — с молодым человеком, пользовавшимся также немалым влиянием в Аяччо. То был Карло-Андреа Поццо ди Борго. В дни первого приезда Бонапарта на Корсику в 1786—1787 годах почти столь же юный Поццо ди Борго был его ближайшим другом и конфидентом. Их соединяло тогда родство душ, пылкость чувств, так им по крайней мере казалось. Оба были тогда поклонниками Жан-Жака Руссо и философии просветителей, оба были готовы при первом призывном зове трубы ринуться в бой за великие идеи, за Корсику[13]. Встретившись вновь в 1789 году, они не могли не заметить происшедшие с ними перемены: былая восторженность улетучилась, оба стали старше и рассудительнее.

Бонапарту было нетрудно договориться со своим былым другом о совместных действиях в качестве союзников. До поры до времени цели их совпадали, почему же не идти вместе?

Лукавый, вероломный, изворотливый Поццо ди Борго еще не раз встретится на жизненном пути Бонапарта — всегда как злобный противник. Бонапарт затмил своей славой всех остальных, и этого не мог простить честолюбивый корсиканец, в начале жизненного пути опережавший застрявшего в младших лейтенантах Буонапарте. Всю жизнь Поццо ди Борго вел

против былого друга юности мстительную войну: мы увидим его позже на службе царя Александра I, на службе всех врагов наполеоновской Франции. Он будет торжествовать в дни падения могущественного соперника в 1814 году и снова появится в Париже как посол русского императора при дворе короля Людовика XVIII, вызывая возмущение передовых русских людей[14].

Но все это будет много лет спустя.

А осенью 1789 года Карло-Андреа Поццо ди Борго еще считал выгодным блокироваться с молодым Бонапартом. Два влиятельных клана в городе — клан Буонапарте и клан Поццо ди Борго — объединили свои силы. Для маленького Аяччо это было много.

Политическая линия, избранная Бонапартом, была ясна: Корсику надо приобщить к революции. Это означало, иными словами, что революцию, совершившуюся во Франции, надо было распространить и на этот затерявшийся в Средиземном море остров. Начинать приходилось с самого необходимого: надо было прежде всего рассказать о великих переменах, совершившихся во Франции, убедить корсиканцев, что давно пора сменить белую кокарду на трехцветную, старые белые знамена короля на молодое сине-бело-красное знамя революционной Франции. Лейтенанту Буонапарте надлежало взять на себя роль провозвестника революции на Корсике.

31 октября стараниями братьев Буонапарте и приверженцев Поццо ди Борго в Аяччо в церкви Сан-Франческо состоялось собрание сторонников нового порядка. Героем дня был Наполеон Бонапарт[15]. Он выступил с речью и предложил всем присутствовавшим подписать адрес Национальному собранию от имени народа Корсики. Текст был написан заранее: это был составленный в энергичных выражениях документ, гневно осуждавший действия коменданта Корсики Баррена. От имени народа Корсики подписавшие просили Национальное собрание оказать помощь и «восстановить корсиканцев в правах, которые природа дала их стране»[16]. Выступление и адрес были встречены горячими аплодисментами. Первый политический дебют Бонапарта прошел с несомненным успехом.

Несколькими днями позже, 5 ноября, в Бастиа, в то время столице Корсики, произошло вооруженное вы-

ступление народа. То была поздняя, опоздавшая на три с половиной месяца, рефлекторная реакция на взятие Бастилии в Париже. Комендант Баррен, видя скопление народа, приказал полковнику Рюлли вывести на улицу солдат. Эффект этой меры оказался прямо противоположным: народ окружил солдат, затем овладел городской крепостью, раздобыл там оружие и стал хозяином города. Баррен поспешил пойти на уступки: злополучный полковник был выслан во Францию[17].

30 ноября 1789 года Учредительное собрание посвятило свое заседание вопросу о Корсике. Адрес, составленный Бонапартом и подписанный гражданами Аяччо, достиг цели. Он привлек внимание высшего представительного органа Франции к судьбе маленького острова. На заседании выступали знаменитые ораторы Мирабо, Барер. По предложению депутата от Корсики Саличетти — о нем речь пойдет впереди — Национальное собрание единодушно приняло декрет, уравнивающий ее во всех правах с остальными частями королевства. Стремясь к тому, чтобы Корсика полностью слилась со всей Францией, по предложению Мирабо Собрание декретировало амнистию всем, кто сражался в свое время за независимость острова, начиная с Паскуале Паоли, которого приглашали вернуться на родную землю.

В торжественный день, когда Аяччо молитвами в церкви и вечерней иллюминацией праздновало декрет 30 ноября, на стене дома семьи Буонапарте, принаряженного, ярко освещенного, появился большой транспарант: «Да здравствует нация! Да здравствует Паоли! Да здравствует Мирабо!»[18]

Из трех лозунгов, украсивших стены старого дома семьи Буонапарте, лишь один не вызывал никаких вопросов, был всем понятен: «Да здравствует Паоли!» — это был лозунг всех корсиканцев. Но что означали два других? Разве недостаточно было прославлять старого, мудрого Паоли? Зачем нужно еще прославление нации? Мирабо?

Конечно, эти непривычные для корсиканского слуха и глаза лозунги появились не случайно. Они были внешним выражением новых взглядов молодого Бонапарта. Славя нацию, славя Мирабо, Бонапарт славил французскую революцию. Это было понятно. Новым было то, что теперь, после начала революции, старое

программное требование независимости Корсики он сменил иным — слиянием с французской революцией, растворением Корсики в революционной Франции.

Так началась идейная эволюция Бонапарта. Он оказался на деле вовсе не таким уж «корсиканцем с головы до ног», каким его представляли в свое время. У него хватило широты взглядов, чтобы сразу понять и решить, что после революции Корсика не должна быть противопоставляема Франции, напротив, ее собственные интересы, ее будущность требуют всемерного слияния с революционной Францией.

Читая юношеские произведения Наполеона Бонапарта, чаще всего встречаешь имя Паскуале ди Паоли.

Паоли — любимый герой юношеских мечтаний Бонапарта. В Бриенне, Париже, Валансе, Оксонне мысли Наполеона всегда были обращены к Паоли. Бывший глава корсиканской республики, главнокомандующий ее вооруженными силами, мужественно дравшийся против генуэзцев, затем против французов, он не склонил головы перед победителями и ушел в добровольное изгнание. В глазах Бонапарта Паоли — это редкое, счастливое сочетание всех совершенств. Паоли мудр, отважен, великодушен, справедлив; он воплощает все лучшие черты античного героя; он не знает страха, он любит свободу, он защищает добро против зла, он истинный отец своего народа.

Восхищение юного Бонапарта Паоли безгранично. Он не знает меры в восхвалениях: он сравнивает его с Ликургом, Солоном, децемвирами Рима, он превозносит его «проникновенный и плодотворный гений», видит в нем величайшего человека современности[19].

Конечно, полулегендарный герой, появляющийся на страницах черновых записей юного Буонапарте,— это плод пылкого воображения, отроческих мечтаний. Позже, став старше, Бонапарт настолько сжился с этим героическим образом, сопутствовавшим ему с детских лет, что было уже трудно отделить реальное от выдуманного, действительность от мечтаний.

12 июня 1789 года Бонапарт пишет Паоли взволнованное письмо: «Я родился, когда родина погибала. Вы покинули наш остров, и вместе с Вами исчезла надежда на счастье». Он почтительно сообщает великому вождю

свое желание представить «трибуналу общественного мнения» исторический очерк — сопоставление времени Паоли и нынешнего. Но письмо содержит и нечто большее: в сущности молодой корсиканский патриот предлагает вождю свою руку и шпагу и перо, чтобы верой и правдой служить ему и делу освобождения Корсики[20].

Письмо осталось без ответа. Может быть, удалившийся в изгнание вождь корсиканцев не придал значения письму, мальчишеский пыл которого свидетельствовал о незрелости его автора? А может быть, имя Буонапарте не внушало ему симпатий: он помнил, что Карло Буонапарте перешел на службу к французам. Вопрос остается невыясненным, и нет нужды строить догадки.

Бонапарт принял как должное нежелание вождя отвечать. Он был только солдат, не осмелившийся критиковать действия главнокомандующего.

Бонапарт после декрета 30 ноября способствует созданию на острове Национальной гвардии, но не претендует на руководящую роль в ней. Ее полковником избирается Перальди, человек из враждебного Бонапартам клана, но Наполеон принимает это без возражений. Он участвует и в подготовке выборов директории острова и местных директорий. Лично для себя он ничего не готовит — не по скромности, а потому, что, как офицер, не может занимать никаких должностей. Он хлопочет в пользу Жозефа, которого хотел бы видеть депутатом, в пользу Поццо ди Борго — словом, людей своей партии.

Что это за партия? По-видимому, она может быть обозначена самым широким понятием — партия сторонников революции. Это неопределенно, но верно. Не следует забывать: в 1789—1790 годах, когда на маленьком острове с опозданием на четыре-пять месяцев только начиналась революция, политическая дифференциация среди ее сторонников не могла зайти далеко.

Заслуживает, однако, внимания, что в числе сподвижников или политических друзей Бонапарта встречается также имя Филиппо Буонарроти. Будущий знаменитый соратник Гракха Бабёфа, один из руководителей, а затем первый историк «Заговора равных» был уже в ранней молодости человеком левых взглядов[21].

В 1836 году глубоким стариком Буонарроти рассказывал А. И. Тургеневу: «В молодости и после коротко

знавал Наполеона; в Корсике жил в доме его матери, и когда Наполеон приезжал повидаться с ней, то в последнюю ночь, которую подпоручик Буонапарте провел в доме родительском, Буонарроти спал с ним на одной постели»[22]. Наполеон на Святой Елене, вспоминая Буонарроти, отзывался о нем с большой теплотой: «Это был человек, полный ума, фанатик свободы, но прямодушный, чистый, террорист и вместе с тем простой и хороший человек...»[23]

Отношения Бонапарта и Буонарроти нельзя считать полностью изученными, и здесь не представляется возможным углубляться в этот вопрос. Остается, однако, примечательным сам факт дружбы, хотя и кратковременной, Бонапарта с Буонарроти — она является дополнительным подтверждением левизны политических взглядов Бонапарта в 1789 году.

Но вернемся к Паоли. Он приехал из Англии в Париж 3 апреля 1790 года, предстал перед Национальным собранием, где удостоился великих почестей. С таким же триумфом Паоли встречали в Лионе, Марселе, Тулоне. В Марсель выехали Поццо ди Борго и Жозеф Бонапарт, чтобы сопровождать его при возвращении на родину[24]. 17 июля 1790 года он прибыл в Бастиа, где его приветствовали несметные толпы народа, власти, давно готовившиеся к торжественному приему прославленного «отца отечества». Надо ли добавлять, что молодой офицер, все юные годы засыпавший с именем Паоли на устах, был крайне взволнован предстоящей встречей с корсиканским вождем.

Встреча с Паоли состоялась вскоре же после его приезда, в Понте-Нуово, где он принял Жозефа и Наполеона Бонапартов.

В 1790 году Паоли было шестьдесят четыре года. То ли нелегкие испытания судьбы, выпавшие на его долю, то ли горький хлеб изгнания сделали свое дело: он выглядел много старше своего возраста. Высокий, грузный, с длинными белыми, как у короля Лира, волосами, с неожиданными для корсиканца синими глазами, он, по свидетельству современников и уцелевшим портретам, казался очень усталым, может быть даже равнодушным ко всему человеком. Впрочем, это впечатление было обманчивым. Несмотря на кажущуюся дряхлость, старый, многоопытный вождь корсиканцев сохранил

живость ума, большую гибкость, ловкость. Он был совсем не так прост, как могло казаться с первого взгляда.

Сведения о встрече в Понте-Нуово отрывочны, противоречивы, неполны. Но из того, что известно, явствует, что в целом она оказалась неудачной для Наполеона. Паоли встретил братьев холодно: они были для него сыновьями Карло Буонапарте, изменившего его знамени, он не питал к ним доверия. Наполеон, видимо не сумевший преодолеть своего волнения — ведь это была встреча с боготворимым вождем! — сказал неожиданно что-то бестактное о сражении в Понте-Нуово в 1769 году. Все его последующие попытки завоевать расположение вождя оказались безуспешными. Беседа закончилась быстрее, чем предполагалось. Братья Буонапарте не внушали симпатии корсиканскому вождю[25].

Для Бонапарта холодный прием, оказанный Паоли, должен был быть ударом, потрясением. Человек, которого он всю жизнь боготворил, герой его детских и юношеских мечтаний, оказался в действительности совсем иным — суровым, равнодушным и, что было важнее всего, откровенно недоброжелательным к его восторженному почитателю.

Отрезвление Бонапарта, начавшееся при возвращении на Корсику в 1789 году, продолжалось. Иллюзии рассеивались. То было медленное, постепенное узнавание действительного мира, реальностей жизни.

Внешне в образе действий Бонапарта мало что изменилось. Он и люди его клана на заседаниях департаментской ассамблеи в Орецце (сентябрь 1790 года) поддерживали прежде всего Паоли. Впрочем, Паоли не нуждался в этой поддержке; он был единодушно избран президентом директории департамента Корсика и командующим вооруженными силами острова. Фактически Паоли снова стал единоличным главой Корсики и заместил все высшие административные органы своими ближайшими сподвижниками. Жозефу пришлось довольствоваться местом члена директории дистрикта Аяччо; позже он был избран президентом местной директории[26].

По частично сохранившимся письмам младшего Бонапарта к Жозефу видно, что он был увлечен политической борьбой, в которую втянулся. Он жил интересами своей партии. «Постарайся, чтобы тебя выбрали депутатом»,— писал он Жозефу в августе 1790 года.

Политические взгляды братьев Буонапарте в это время вполне определенны. «Я крайне ревностный сторонник революции»,— писал Жозеф в ноябре 1790 года в частном письме. То же самое мог бы сказать о себе и младший брат. Письма Наполеона летом 1790 года ясно раскрывают его политические симпатии. Сообщая Жозефу о дуэли Барнава и Казалеса и о том, что Казалес смертельно ранен, он сопровождает это краткой сентенцией: «Одним аристократом будет меньше!»[27] Он пишет с неизменным одобрением о выступлениях Саличетти в Национальном собрании; он тесно связан с Буонарроти не только политически, но и лично, дружескими отношениями *[28].

Младшему лейтенанту Буонапарте давным-давно пора вернуться в свой полк во Францию. Он возбуждает недовольство местных властей. Еще в декабре 1789 года военный комендант Аяччо Ла Ферандиер в письме к военному министру жаловался на Бонапарта, возбуждающего в городе народ. «Было бы лучше, если бы этот офицер находился в своей части, так как здесь он постоянно вызывает брожение в народе»[29].

Бонапарт делал все возможное, чтобы завоевать доверие Паоли, растопить лед, найти пути к сближению с генералом. Конечно, он видел, что в политике Паоли все заметнее проступают опасные тенденции. Становилось все очевиднее, что он действует как единоличный диктатор. Паоли приблизил к себе Поццо ди Борго: он явно выдвигал этого скрытного, осторожного молодого человека. Что таилось за этим? Что могло их сближать? С весны 1790 года Поццо ди Борго поворачивал вправо. Судя по его записям, он относился к революционной Франции с недоверием[30]. Видимо, уже тогда ему были не чужды сепаратистские стремления. Не на этом ли сходились их интересы?

Бонапарт замечал и перемены в умонастроении друга юности, и внимание к нему Паоли. Для него не оставалось неразгаданным, что люди Паоли стараются держать клан Бонапартов подальше от капитанского мостика. И все-таки Бонапарт продолжал упорно поддерживать Паоли. Его письма к Поццо ди Борго, к Жо-

* В одном из писем к Жозефу Наполеон пишет: «Необходимо срочно возвратить Буонарроти 12 экю, которые мы ему должны. Он их уже не раз просил». Он сам оставался все так же беден и напоминал: «Пусть мама пришлет мне 6 экю, которые должна».

зефу показывают, что он даже афишировал свою привязанность к генералу.

Следует ли это объяснять только тактическими соображениями, как нередко утверждается в литературе? Вероятно, и тактические расчеты играли какую-то роль в поведении Бонапарта. Но не следует упрощать вопрос: нельзя забывать, что Бонапарту было нелегко расстаться с привычным представлением о корсиканском вожде. Явная холодность Паоли к Бонапарту не могла его сразу вылечить от давней привязанности к корсиканскому лидеру. Паоли в его глазах все еще оставался великим человеком, он продолжал в него верить[31].

Когда в Аяччо стало известно о том, что Буттафуоко — депутат от корсиканского дворянства в Национальном собрании — бесчестил Паоли, Наполеон Бонапарт был одним из первых, выступивших против Буттафуоко.

Уже готовясь к отъезду во Францию, ожидая попутного ветра, Бонапарт в январе 1791 года пишет обвинительную речь против Буттафуоко, являвшуюся в то же время панегириком генералу Паоли. Бонапарт прочел ее в Патриотическом клубе, созданном в 1790 году в Аяччо. Памфлет имел большой успех, его автору шумно рукоплескали. Председатель клуба Массериа в письме к Наполеону сообщал: «Патриотический клуб, ознакомившись с произведением, в котором Вы раскрываете с тонкостью, равной силе и правдивости, тайные замыслы презренного Буттафуоко, постановил его опубликовать»[32].

Это был первый литературный успех и, что было еще важнее, политическое признание!

Вернувшись в феврале 1791 года в Оксонн, Бонапарт не без труда организовал издание своего письма. Почти все экземпляры он поспешил отправить Паоли в Бастиа, сопроводив их любезным посланием к вождю корсиканцев *. Можно предположить, что Бонапарт, направляя свое произведение, рисовал уже радужные перспективы: Паоли воздаст должное его преданности и смелости, между ними установится полное согласие.

Все свидетельствовало о том, что Бонапарт, вернувшись в феврале 1791 года во Францию, был в отличном

* Письмо это не сохранилось, но о его содержании можно составить представление по ответу Паоли.

настроении. Задержавшись в пути в небольшом селении Серв, близ Сен-Волие, он пишет письмо своему дяде Фешу, дышащее чувством уверенности. Его по-прежнему интересуют политические вопросы. «Я вижу повсюду крестьян, непоколебимых в своих убеждениях. В особенности в Дофине; они все готовы погибнуть ради защиты Конституции». Или же: «Женщины повсюду роялистки. Это не удивительно. Свобода более красивая женщина, чем те, кого она затмевает»[33]. В тот же вечер в той же деревушке он набрасывает начало сочинения о любви.

Чтобы облегчить материальное положение матери, он взял с собой во Францию младшего брата Луи; он преподавал ему географию, математику и другие предметы. Он и сам продолжал много читать, как всегда составляя обширные конспекты. Наверно, он ждал в эти дни, заполненные трудом, ответа от Паоли, оценки первого печатного произведения, с которым он связывал столько надежд. И вот наконец долгожданное письмо пришло.

«Многоуважаемый сеньор Буонапарте! — писал Паоли.— Вместе с Вашим письмом от 16 марта я получил печатные экземпляры, посланные Вами. Не трудитесь опровергать ложь Буттафуоко; этот человек не может иметь влияния на народ, всегда ценивший честь и теперь вернувшийся к свободе. Произносить его имя — это доставлять ему удовольствие... Предоставьте его презрению и равнодушию публики...»[34]

И далее пространно, тем же холодным тоном Паоли продолжал читать нотацию молодому корсиканскому патриоту. Ни одним словом он не выражал одобрения автору памфлета. Напротив, с той же недоброжелательностью он ему выговаривал за промахи, он отчитывал Бонапарта как школьника, как мальчишку.

Из письма корсиканского вождя следовало, что сочинение, на которое возлагал он столько надежд, принесет больше вреда, чем пользы; это не было сказано прямо, но таков был общий смысл письма. Столь же решительно Паоли отказывался удовлетворить просьбу Бонапарта — прислать материалы по истории Корсики. Ему некогда искать свои прошлые сочинения, и «к тому же историю не пишут в годы молодости»,— холодно замечал Паоли.

Бонапарт был, по-видимому, в бешенстве. Об этом можно судить по тому, что, получив письмо Паоли, он сразу же поручил Жозефу «рассудку вопреки» потребовать от Паоли материалы по истории Корсики. Паоли ответил Жозефу: «Я получил брошюру Вашего брата, она произвела бы лучшее впечатление, если бы была сдержаннее и показала бы меньше пристрастности. У меня есть иные заботы, чем думать сейчас о поисках своих сочинений...»[35] Это было вторично высказанное осуждение «Письма» Бонапарта и грубо повторенный отказ помочь ему в подготовке истории Корсики.

Паоли отталкивал от себя Наполеона Бонапарта. Важнее слов был пренебрежительно-безразличный тон письма: так разговаривают с человеком, которого ни в грош не ставят.

Для Бонапарта это означало крушение всех надежд. Иллюзии рассеивались.

Горячие ветры политических страстей, накалявших атмосферу Франции 1791 года, заставили Бонапарта отвлечься от мелких забот, от мышиной возни корсиканской политики. Даже в маленьком Оксонне чувствовалась значительность переживаемого времени. Революция вступила в новый этап. Ликование, настроения всеобщего братства первых дней революции ушли в прошлое. Теперь все спорили. Революция провела глубокое межевание — за и против. В своем полку Бонапарт видел за показной внепартийностью скрытую острую политическую борьбу. Чтобы оправдать длительное пребывание в отпуске, Бонапарт заручился от революционных организаций Аяччо справками, удостоверявшими, что он был занят выполнением патриотических задач. Бонапарт предъявил их начальству. Отношение к молодому офицеру стало еще более холодным.

Впрочем, практических последствий для Бонапарта это не имело, так как в июне 1791 года он был — наконец-то! — после шести лет службы произведен в лейтенанты и одновременно переведен в 4-й артиллерийский полк, расквартированный в Валансе.

Летом 1791 года лейтенант Буонапарте вернулся в старый, хорошо знакомый ему Валанс. Могло казаться, что жизнь возвращается вспять. На первый взгляд

все оставалось по-прежнему. Бонапарт нашел приют в том же доме мадемуазель Бу, где он жил шесть лет назад. Он ходил обедать все в тот же ресторанчик «Три голубя». Те же девушки ставили тарелку на его столик. Все было по-прежнему, и он по-прежнему был так же беден.

Повышение в чине прибавило ему семь ливров в месяц. Он стал получать сто ливров вместо девяноста трех. Но теперь он должен был содержать двоих — себя и брата, а стоимость самых необходимых предметов за минувшие годы заметно возросла.

Денег не хватало; приходилось рассчитывать каждый экю, отказывать себе и брату в самом необходимом, экономить на чашке кофе. Много позже, десять с лишним лет спустя, уже всемогущий первый консул как-то встретился с одним из своих однополчан по Валансу — Монталиве. Расспрашивая о знакомых прежних лет, он проявил особый интерес к «славной лимонаднице» в Валансе. Монталиве был в недоумении. «Я опасаюсь,— разъяснил первый консул,— что в свое время недостаточно точно оплатил все чашки кофе, выпитые у нее. Возьмите 50 луидоров и передайте ей от меня»[36]. Может быть, это был не единственный случай?

Жизнь в Валансе, казалось, мало в чем изменилась. То же небо, те же дома, тот же маленький город. И все-таки все, все в Валансе было уже иным. И здесь, в глухой провинции, затаив дыхание следили за событиями, развертывавшимися на большой политической сцене, в Париже, и здесь проходило то же непримиримое, не знавшее компромиссов межевание — за или против революции.

Офицеры полка, с которыми Бонапарт был ближе, чем с другими,— Монталиве, Эдувилль, Суси — все были за короля и против революции. В 1791 году это уже не был абстрактный спор: это стало вопросом практических решений. Быть верным королю — это значило быть в Кобленце или Турине, в рядах эмигрантской армии, пытающейся с оружием в руках победить революцию. Товарищи Бонапарта по училищу и полку де Мази, Бурьенн, Монталиве — и сколько еще других! — кто раньше, кто позже — все оказывались по ту сторону границы, в рядах контрреволюционной эмиграции.

Для лейтенанта Бонапарта не возникало вопроса, на чьей стороне выступать. Он был солдатом революции и как солдат был готов ее защищать и драться против всех, кто на нее нападает.

В Валансе, как и в остальных городах Франции, были созданы клубы. Один из них — «Общество друзей Конституции» стал филиалом Якобинского клуба. Лейтенант Бонапарт одним из первых вступил в его состав.

Чем он руководствовался, вступая в Клуб якобинцев Валанса? Соображениями карьеры? Это должно быть полностью исключено. Он знал, что в полку, где большинство офицеров было за короля, его присоединение к якобинцам встретит решительное осуждение. Симпатии местного населения? Но после вступления в Якобинский клуб, особенно после того, как он был избран его секретарем, перед ним закрылись двери в ряде домов города. Он знал, что дорога из Валанса не вела в Париж. К тому же он в то время думал не столько о Париже, сколько о Корсике.

Историки, которых смущает, как это будущий император французов мог вступить добровольно в Якобинский клуб, и ищут для этого объяснения, связанные с соображениями карьеры, не хотят понять и принять единственно верного, на наш взгляд, объяснения: Бонапарт действовал по убеждению.

В дни вареннского кризиса — неудавшейся попытки короля бежать за границу в июне 1791 года — позиция Бонапарта была ближе всего к петиции левого парижского Клуба кордельеров, хотя, вероятно, молодой офицер с ней не был знаком. Он требовал низложения короля и уничтожения самого института монархии. Он высказался в пользу республики[37].

Его республиканизм не был случайным увлечением. В трактате «Республика или монархия», начатом в те дни и оставшемся незавершенным, строй его мыслей показывает, что он отдавал предпочтение республике[38]. В «Диалоге о любви», который Массон относил к тому же времени — лету 1791 года, Бонапарт доказывает примат гражданского долга в жизни человека и прямо говорит, что, если интересы государства, народа, нации того требуют, каждый обязан «быть солдатом»[39].

Бонапарт с увлечением работает в эти дни над сочинением на конкурс, объявленный академией Лиона.

Тема дана академией: какие истины и чувства более необходимы людям для счастья?[40] На третьем году революции этот вопрос звучал почти риторически. Бонапарта это не смутило. Вряд ли он рассчитывал повторить путь Жан-Жака Руссо — добиться такого же успеха, как автор трактата, представленного на конкурс Дижонской академии. Вероятнее, ему не терпелось систематизировать свои мысли, отчетливее формулировать свои убеждения.

Трактат Бонапарта доказывал, что его автор попрежнему принадлежит к радикальному крылу французской политической мысли. Как якобинец того времени, он декларирует преклонение перед Руссо. В стиле эпохи, ее приподнятой, патетической речи он восклицает: «О Руссо! Почему было надо, чтобы ты прожил лишь шестьдесят шесть лет. В интересах истины ты должен быть бессмертным!»[41]

Конечно, для счастья людей нужны прежде всего гражданские добродетели. Ученик Руссо и Рейналя, он славит великую свободу, священные права народа; он клеймит деспотизм, всякую форму гнета. С жаром он выражает сожаление, что «не мог стоять рядом с Брутом, когда тот мстил за поруганную республику и мир!»[42].

Эпоха революции с ее стремительным развитием событий, с ее динамизмом вносит поправки в руссоистское мировосприятие Бонапарта. Как и вожди якобинцев Робеспьер, Сен-Жюст, преодолевшие созерцательность руссоизма, Бонапарт так же понимает великую силу действия. Agir! (Действовать!) — этот принцип революции, рожденный самой ее динамикой, полностью соответствует его внутреннему складу. В этом смысле якобинизм молодого Бонапарта также не случаен. В трактате для Лионской академии он славит энергию, силу, действенность. «Энергия — это жизнь души»,— пишет он, и эта сжатая формула обобщает опыт концентрированной воли втянутых в борьбу масс, преображавших на его глазах мир.

Бонапарт учится у революции. Но он не только верный ее солдат — он внимательный ученик революции, быстро усваивающий ее уроки. И один из важнейших уроков, воспринятых им,— это понимание могучей силы действия, первенства дела над словом, умения действовать.

В сентябре 1791 года, с большим трудом, при поддержке покровительствовавшего ему дю Тейля получив разрешение на трехмесячный отпуск, Бонапарт снова приехал на Корсику.

Ради чего? Он был настойчив и упрям. После всех неудач он все еще не хотел расстаться с мечтами юности, он все еще думал о Корсике, не теряя надежды сблизиться с Паоли. По-видимому, он еще не мог преодолеть долголетнего преклонения перед корсиканским вождем.

Трудно с достоверностью сказать, встречался ли на сей раз Бонапарт с Паоли, но из всего явствовало, что ни прямо, ни через посредников он не смог достичь с ним соглашения. Напротив, есть все основания утверждать, что отношение корсиканского лидера к молодому офицеру становилось все хуже[43].

Наполеон Бонапарт, человек трезвого ума и практической хватки, в корсиканских делах оставался почти Дон-Кихотом: он гонялся за неосуществимой мечтой и терпел неудачу за неудачей. Он приехал, чтобы обеспечить избрание старшего брата в Законодательное собрание, и потерпел поражение. Паоли не хотел этого. В Собрание от Корсики были избраны по указанию всемогущего диктатора Поццо ди Борго и Перальди. Первый превращался из друга во врага, второй был давним врагом клана Буонапарте.

Но дело шло к разрыву не только с Поццо ди Борго. Логикой событий Бонапарт вступал на путь борьбы с могущественным Паоли. Эта борьба шла еще в скрытых формах — с корсиканским лукавством, с улыбкой на устах, заверениями в добрых чувствах, прикрывавшими истинные намерения. Это политическая маскировка, искусству которой Бонапарт учится впервые на Корсике.

У двадцатидвухлетнего офицера французской армии, которого Паоли недавно еще отказывался принимать в расчет как друга или врага, пренебрежительно отталкивая от себя, у этого смиренно предлагавшего свою шпагу лейтенанта неожиданно для Паоли оказались сильные союзники. Первым среди них должен быть назван Кристофор Саличетти, человек неукротимой энергии и смелости, стремительный, пылкий, достигший громадного влияния на своем родном острове и немалого политического веса во Франции, в рядах

якобинской партии. Корсиканец по рождению, адвокат, литератор левых политических взглядов, Саличетти выдвинулся еще до революции и в 1789 году был избран от третьего сословия Корсики в Генеральные штаты. Он стал заметным депутатом Учредительного собрания и в 1792 году был вновь избран вопреки противодействию Паоли депутатом Конвента. Пылкий якобинец, голосовавший за смерть бывшего короля, энергичный комиссар Конвента на фронтах войны, Саличетти среди множества обязанностей и поручений, которые он умел вовремя и быстро выполнять, никогда не забывал про родной остров. К Паоли он относился первоначально, как все корсиканцы, восторженно и многое сделал для укрепления его авторитета. Но тонким политическим чутьем он первый заметил сдержанное отношение Паоли к революции и его сепаратистские тенденции.

В 1791 году, вернувшись на Корсику, он возглавил оппозицию Паоли, сначала доброжелательную, затем все более непримиримую. Тогда же он заметил в Аяччо Наполеона Буонапарте и сразу же оценил его. Между ними установилось доверие, может быть даже дружба. Конечно, то не была дружба равных. Саличетти был старше Бонапарта на двенадцать лет, и их положение было несоизмеримо. У депутата было громкое, известное всей Франции имя, и на Корсике он был самым влиятельным после Паоли политическим деятелем. Он оказывал покровительство Бонапарту, и поддержка Саличетти имела для его судьбы исключительное значение. Вероятно, это был человек, оказавший наибольшее влияние на возвышение Бонапарта; может быть, поэтому Наполеон редко о нем потом вспоминал.

Конечно, позже роли переменились. Бонапарт стремительно поднимался, и Саличетти должен был признать первенство своего прежнего ученика. Накануне 18 брюмера Саличетти примыкал к якобинской части Совета пятисот. Но он принял совершившееся и стал выполнять приказы генерала и первого консула. Но порой в нем просыпался мятежный якобинский дух. Как он сам признался, однажды, оказавшись вдвоем с генералом Бонапартом в Генуе, на узкой набережной высоко над морем, он почувствовал сильнейшее искушение одним толчком, одним ударом сбросить своего собеседника в морскую пучину. Они шли, мирно разго-

варивая, по безлюдной набережной, и Саличетти мысленно десятки раз говорил себе: «Один удар, одно мгновение, и свобода снова восторжествует». Но решимости на этот мгновенный удар у него не хватило.

То ли Бонапарт своей тонкой интуицией разгадал его тайные мысли, то ли по каким другим соображениям, но Наполеон отдалил от себя Саличетти. После 18 брюмера Саличетти получил важную миссию в Лукке, в Генуе, затем стал всемогущим министром полиции в Неаполитанском королевстве при Жозефе и Мюрате. И король Жозеф, и Мюрат не любили и боялись его. Влияние Саличетти в Неаполе было огромным, его называли здесь вице-королем; в действительности его реальная власть бывала порой выше власти короля.

В 1809 году пятидесяти двух лет он внезапно умер, вернувшись со званого обеда, данного префектом полиции в Неаполе в его честь. Широко распространилось мнение, что Саличетти был отравлен префектом, не любившим его. Это похоже на правду. Наполеон, узнав о смерти Саличетти, воскликнул: «Европа потеряла одну из самых сильных голов! Во время кризиса Саличетти один значил больше, чем армия в сто тысяч человек».

Но все это будет потом. А в 1792 году Саличетти еще оставался самым могущественным покровителем Бонапарта, поддержка которого в сложной и запутанной ситуации на Корсике имела важнейшее значение.

Бонапарту помогали по политическим мотивам и два других депутата Конвента от Корсики — Люс Кирико Казабианка, морской офицер, якобинец, член морского комитета Конвента, и Жан Молтедо — также якобинец. Бонапарта поддерживали во внутрикорсиканских вопросах Филиппо Буонарроти, издававший «Патриотическую газету Корсики», в которой нередко печатал свои статьи Жозеф Бонапарт, Массериа, игравший большую роль в Патриотическом клубе Аяччо, братья Арена — демократы, тесно связанные с левыми группами Аяччо.

Бонапарт трезво оценивал могущество противника; может быть, даже под впечатлением прежних чувств он переоценивал мощь Паоли. В письме к Жозефу от 29 мая 1792 года Наполеон писал: «Держись крепко с генералом Паоли. Он может все, и он все (Il peut tout et il est tout)». И предсказывал ему великое будущее[44].

Высоко оценивая силу Паоли, Бонапарт не отказывался от борьбы против него. Но он вел ее в своеобразных формах. Проводя самостоятельный курс, блокируясь с противниками корсиканского генерала, Бонапарт пытался по-прежнему сблизиться с ним. Теперь не только Жозеф, но и Люсьен, третий из братьев Буонапарте, тоже должен был добиваться расположения диктатора. Это была тонкая политика обволакивания: одержать верх над Паоли можно было, лишь сжимая его в дружеских объятиях.

Впрочем, и в этом Бонапарт потерпел неудачу. Этот «старый змей» Паоли, как называл его позднее лорд Эллиот, не дал себя обойти. Он разгадал замысел Бонапартов. Жозеф в письме 14 мая 1792 года писал Наполеону: «Люсьен не может больше надеяться на то, что генерал захочет его иметь подле себя. Он вполне откровенно объяснился: он признает его таланты, но не хочет с нами соединиться. Вот в чем суть дела»[45].

Сам Буонапарте сумел провести в Аяччо важную операцию. Опираясь на поддержку Саличетти и людей своего клана, он вопреки Паоли добился своего избрания подполковником батальона волонтеров. Это был успех. Но занятие этого поста влекло за собой увольнение из артиллерийского полка в Валансе. Бонапарт, вынужденный выбирать, послал соответствующие бумаги во Францию.

Но тут же за успехом события неожиданно усложнились. То ли по опрометчивости Бонапарта, то ли вследствие тайных козней Паоли, но 8—12 апреля, на пасху, волонтеры Бонапарта оказались вовлеченными в вооруженное столкновение с отрядом регулярных войск. Были жертвы среди солдат, среди мирного населения.

В Париж, в военное министерство, с далекого острова посыпались жалобы на незаконные действия подполковника Буонапарте. Можно было считать несомненным также, что оба депутата от Корсики — Перальди и Поццо ди Борго — подольют масла в огонь. Нельзя было пренебрегать реально возникшей опасностью: Бонапарт мог быть одновременно уволен из регулярной армии и разжалован с должности подполковника волонтеров. Надо было считать вполне возможным, что его недруги постараются передать дело в военный суд.

Бонапарт умел быстро принимать решения. В начале мая с первым попутным кораблем он покинул Корсику. 28 мая он уже был в Париже.

Бонапарт прибыл в столицу весьма своевременно. На столе у военного министра лежало дело двух подполковников из Аяччо — Буонапарте и Куэнза. Министр еще не принял решения, предавать ли обоих офицеров военному суду; обвинения казались обоснованными; в иное время он, не раздумывая, отдал бы их под суд. Но летом 1792 года положение было сложным. 20 апреля Франция объявила войну императору Австрии, и вся страна жила заботами войны.

Военные операции развертывались крайне неблагоприятно для французской армии. Французы отступали. Войска интервентов перешли в наступление на всех фронтах. Измена гнездилась в королевском дворце. Командующие армиями не хотели победы. Эти военные неудачи не были случайными. Высшие и старшие офицеры, принадлежавшие к родовой аристократии, бежали за границу; их примеру последовало множество офицеров среднего звена и даже младшие офицеры. Армии не хватало офицерских кадров, в особенности артиллеристов.

Бонапарту было нетрудно в этой тревожной атмосфере взбудораженного Парижа добиться прекращения поднятого его недругами дела. У военного министра в ту пору было немало других забот. К тому же этот проштрафившийся подполковник волонтеров имел превосходную политическую репутацию. Бонапарту без больших усилий удалось добиться восстановления на службе в том же 4-м артиллерийском полку. Более того, ему был присвоен следующий чин: он стал капитаном. 10 июля представление Бонапарта к званию капитана подписал король Людовик XVI. Это была одна из последних подписей короля французов. Бонапарт, однако, должен был ждать официального вручения приказа; он получил его в конце августа.

Три месяца, проведенные летом 1792 года в Париже, дали ему возможность многое увидеть. Он стал очевидцем крупных исторических событий: нарастания революционного подъема, народного восстания 10 августа 1792 года, свергнувшего тысячелетнюю монархию.

Часть писем, сохранившихся от той поры, и свидетельства Бурьенна не дают отчетливого представления

о взглядах Бонапарта того времени. Самое общее, что может быть сказано,— эти взгляды противоречивы.

Бонапарт, по-видимому, не смог сразу разобраться в сложных и быстро меняющихся картинах напряженной политической борьбы в столице. Не следует забывать: он видел до сих пор революцию и сам был ее участником не на большой политической арене, не в кипящем страстями Париже, а на маленькой политической сцене Корсики, со всеми ее условностями, патриархальными пережитками и клановыми предрассудками. На этом далеком острове законы старины, тени прошлого с успехом боролись против требований нового дня. Громовые раскаты революции доходили сюда приглушенным эхом, звучащим чаще всего как шепот заговорщиков.

Бонапарт, оказавшись в Париже в дни великих событий, видел их со стороны, как бы извне, он был только зрителем. И все же он не мог не почувствовать главное. В письме от 29 мая он писал: «Положение (в столице) во всех отношениях критическое». 14 июня он высказывал мнение: «Я не знаю, как все пойдет, но дело принимает все более революционный оборот». Но если он верно улавливал общую тенденцию развития, то ему было трудно разобраться в содержании политической борьбы. Расхождения якобинцев с жирондистами, достигшие значительной остроты, оставались для него, по-видимому, скрытыми. После демонстрации 20 июня он, член Якобинского клуба в Валансе, пишет Жозефу: «Якобинцы — сумасшедшие, не понимающие общих задач». Его оценка демонстрации 20 июня противоречива. Рассказывая о том, как семь или восемь тысяч вооруженных людей ворвались в королевский дворец, Наполеон писал: «Короля поставили перед выбором. Выбирай, сказали ему, где царствовать — здесь или в Кобленце. Король себя хорошо показал. Он надел красный колпак, королева и королевский принц поступили так же. Королю дали выпить. Народ оставался четыре часа во дворце. Это дало обильную пищу аристократическим декларациям фельянов. В то же время нельзя не видеть, что все это противоречит конституции и создает опасные примеры. Очень трудно предвидеть, куда пойдет страна в этой бурной обстановке»[46]. Письмо Наполеона отличается от известного рассказа Бурьенна[47]. Заслуживает внимания также, что

в письме к Жозефу от 14 июня Наполеон сообщает, что установил добрые отношения с Арена, и поясняет: «Он ревностный демократ».

Та же противоречивость сказывается в его оценках Лафайета, Дюмурье; на протяжении недолгого времени эти оценки меняются.

Бонапарт и в Париже прежде всего озабочен оборванными на полуслове корсиканскими делами. Он продолжает борьбу со своими противниками с южного острова. В каждом письме он дает Жозефу инструкции, поручения, приказы. Они охватывают широкий круг вопросов: от наставлений, как писать письма Арена, до распоряжения переправить двадцать шесть ружей из дома Бонапартов в дом Пиетри, так как «в настоящий момент они могут быть очень нужны»[48].

Даже получив официальные документы о производстве в капитаны, Бонапарт вместо того, чтобы направиться в свой полк в Валанс, как ему было предписано министром, едет снова на Корсику. В рапорте начальству он мотивирует это необходимостью сопровождать свою сестру Марианну: она не могла больше оставаться в Сен-Сире. Но вряд ли то было истинной причиной принятого решения изменить маршрут. Корсика продолжала владеть его мыслями. Он не довел борьбу до конца и с азартом игрока, надеющегося в последней партии отыграться за прежние проигрыши, снова ввязывается в опасную игру, длившуюся уже три года.

В середине октября Бонапарт снова в Аяччо. Он приехал на несколько дней, но останется на острове еще восемь месяцев. Он рискует всем: только что восстановленным положением офицера французской армии, военной карьерой, всей своей будущностью; он все ставит на карту — корсиканскую карту, приносившую до сих пор только поражения. По-видимому, острым чутьем он чувствует приближение развязки. Дело идет к концу. Последние ходы в этой затянувшейся партии должны наконец принести ему выигрыш.

Здесь нет возможности излагать все сложные перипетии, все дьявольские хитросплетения заключительного этапа борьбы на Корсике. С обеих сторон все было пущено в ход: коварство, лукавство, вероломство, громкие клятвенные уверения в приязни и тайные нашептывания врагов, обольщение и угрозы, оливковая ветвь и острие стилета. Бонапарт имел своим против-

ником не только Паоли, но и умного, злого, изворотливого Поццо ди Борго, приобретавшего с каждым днем все большее влияние на острове. Вчерашний друг юности стал опаснее дряхлеющего диктатора. Поццо ди Борго был способен с обворожительной улыбкой на устах поднести бокал с отравой. Впрочем, время улыбок уже миновало; их сменил волчий оскал открытой вражды.

В эпоху великой революции эта ожесточенная война двух партий не могла уже идти в классическом стиле корсиканской родовой вендетты, она переросла в политическое сражение. В 1792—1793 годах любой политический спор магнетически притягивался к двум противоположным полюсам — революции и контрреволюции. Корсиканский сепаратизм в 1793 году должен был сражаться с революционной Францией, следовательно, это была контрреволюция. Логика борьбы не оставляла промежуточных ступеней. Паоли, Поццо ди Борго, партия сепаратистов, стремившихся к независимости Корсики, могли ориентироваться на единственную реальную силу, готовую их поддержать, на врага Франции — Англию Питта. Партия Паоли стала партией контрреволюции.

Военная экспедиция против Сардинии, предпринятая в феврале 1793 года по директиве Парижа, показала, как далеко зашла скрытая борьба двух партий. Бонапарт со своим батальоном волонтеров участвовал в этой операции, и его действия по овладению островом Мадалена с военной точки зрения были безупречны. Но операция в целом закончилась позорной неудачей. В феврале 1793 года в письме военному министру Бонапарт писал: «...мы выполнили наш долг; но интересы и слава Республики требуют, чтобы были установлены и наказаны трусы или предатели, обрекшие нас на поражение»[49]. Слово «предатели» в данном письме было полновесным. Полковник Колонна де Сезари, командовавший экспедицией, был соответствующим образом инструктирован Паоли. «Не забывай,— сказал ему Паоли,— что Сардиния — наш естественный союзник». Неудача экспедиции была заранее предрешена.

С этого момента борьба приняла открытый характер. Ожесточенность вражды требовала поисков союзников вовне. Для Бонапартов естественным союзником была революционная Франция. Неутомимый Саличетти ус-

певал из далекого Парижа зорко следить за происходящим на острове, его хватало на все. У него был тесный контакт с Бонапартами, с братьями Арена, с Буонарроти. В конце января Конвент постановил направить на Корсику трех комиссаров во главе с Саличетти; это было открытым вызовом Паоли.

Саличетти и его спутники прибыли на Корсику, в Бастиа, лишь в начале апреля. Паоли уклонился от встречи с ними, не закрывая двери для переговоров. Саличетти счел также благоразумным не идти сразу на обострение ситуации.

Но в тот момент, когда обе стороны, маневрируя и приглядываясь друг к другу, старались отсрочить столкновение, неожиданно разразилась гроза. Из Парижа от Конвента пришло грозное предписание: сместить Паоли и Поццо ди Борго со всех занимаемых постов и арестовать — их подозревали в измене. Весть об этом приказе вызвала взрыв негодования на острове. В глазах корсиканцев Паоли оставался «отцом отечества». Даже Наполеон Бонапарт счел необходимым выступить в Патриотическом клубе в Аяччо в защиту Паоли. Но теперь ни слова, ни речи не могли ничего изменить. Любезные улыбки были мгновенно стерты, руки протянулись к кинжалам. Маски были сброшены; начиналась война.

Но что послужило поводом для принятия Конвентом сурового решения, ускорившего развязку? Полиция Паоли перехватила письмо младшего из братьев Бонапарт, восемнадцатилетнего Люсьена, горячего, взбалмошного, в котором тот с гордостью сообщал, что декрет Конвента — дело его рук, что это он, Люсьен Бонапарт, в Якобинском клубе Тулона разоблачил Паоли как предателя Республики. Тулонский клуб направил донесение в Конвент, и он не замедлил принять карательные меры против предателей.

Письмо Люсьена Бонапарта было предано гласности, и ярость паолистов обрушилась против клана Бонапартов.

Вся Корсика была охвачена огнем мятежа. Паоли провозгласил войну за независимость; он вступил в секретные переговоры с Англией. Открывшаяся в конце мая в Корте Консульта — собрание под председательством Поццо ди Борго — заявила о полной верности Паоли в его борьбе против тиранической

фракции Конвента, стремящейся поработить корсиканский народ и продать его генуэзцам. В том же решении Консульты братья Бонапарт, как и братья Арена, объявлялись исключенными из корсиканской нации. Еще ранее их предали общественному проклятию, и за ними была начата охота.

Наполеон Бонапарт понимал, что речь идет о его голове. Он бежал тайно из Аяччо, надеясь пробраться в Бастиа под защиту могущественного Саличетти. Его путешествие напоминало фантастический приключенческий роман средневековья. Он пробирался крадучись по горным тропинкам, прятался в хижине пастуха и в лесных зарослях, заметал следы, был все-таки в пути — в Боконьяно — опознан, схвачен и едва не убит людьми Перальди.

Его взяли под стражу, чтобы отвезти и передать высшим властям. Ночью через окно он сумел бежать из заключения; снова начались скитания; он добрался до Уччиани, где на время нашел пристанище; затем, соблюдая величайшую осторожность, петляя, избегая встреч с людьми, возвратился тайком в Аяччо. Здесь он хоронился от ищущих взглядов в пещере; позже нашел приют у своего кузена Жан-Жерома Леви, бывшего мэра города. Но здесь его обнаружили жандармы; они ворвались в дом; он бежал от них через сад, ушел от преследования; преодолевая тысячи препятствий, добрался до моря; все так же тайно на лодке доплыл до Макинажжио; оттуда верхом на лошади, перевалив через горы и скрываясь от врагов, наконец добрался до Бастиа, до Саличетти[50].

Из Бастиа, едва переводя дыхание, он переслал через верных людей коротенькую записку матери в Аяччо. Она была написана по-итальянски: «Preparatevi: guesto paese non é per noi» — «Приготовься, эта страна не для нас». Летиция правильно поняла смысл записки. В ту же ночь с тремя малолетними детьми, охраняемая преданными людьми ее клана, она бежала из родного дома. Она ушла вовремя: через несколько часов после ее бегства дом Бонапартов в Аяччо на страда Малерта был разнесен в щепки сторонниками Паоли.

По разным дорогам, торопясь уйти от настигающей их погони, оставив позади разгромленный дом своих предков, члены семьи Буонапарте пробирались к морю, чтобы покинуть эту ощетинившуюся кинжалами зем-

лю. Они могли повторять: «Корсика — страна не для нас».

И вот капитан Буонапарте снова во Франции.

Земля его детства и юности, страна мечтаний осталась далеко за морем; там жгут костры и стреляют; она охвачена огнем мятежа, и к ней нет возврата. Пора было подвести итоги. Пять лет надежд, ожиданий, иллюзий; пять лет борьбы, стараний, усилий, хитроумных планов, математически точных расчетов, пять лет игры на выигрыш закончились полным проигрышем, фиаско. Этот итог пятилетних усилий нельзя было назвать неудачей, это было бы мало, неверно. То, что произошло, имело вполне точное обозначение, и на любом языке, военном или политическом, оно выражалось одним словом — поражение.

Молодость Бонапарта начиналась с поражения — оглушительного, беспощадного в своей неумолимости. Вся корсиканская глава его жизни, а она начиналась с детских лет, оказалась напрасной; все било мимо цели; он был разбит наголову, он спасался бегством от преследовавших его противников, он увлек за собой в падении и подставил под удары мать, братьев, сестер, лишившихся крова; он обрек их на нищету, скитания в чужой стране.

Итоги, как ни складывать слагаемые, оставались теми же: они были против него. Пять лет жизни! Лучшие годы молодости были потеряны! Пять лет Великой революции, неповторимых дней истории, прошли мимо, за его спиной. Если бы он не зарылся в эту горячую, сухую корсиканскую землю, если бы он не сузил кругозор до темных окон старых корсиканских домов, перед ним, укорял он себя, открылись бы необозримые просторы. Разве так же, как он, молодые, вчера еще никому не известные люди, бросившись смело в водоворот событий, не достигли сразу признания, славы? Разве Антуан Сен-Жюст, почти его сверстник, на год старше, приехав из никому неведомого Блеранкура в Париж, не стал в двадцать четыре года депутатом Конвента и одним из выдающихся вождей якобинцев? Разве бывший конюх Гош не достиг в двадцать пять лет славы непобедимого генерала Республики? Революцию творили молодые. Самому старшему из них, признан-

ному главе якобинцев, Максимилиану Робеспьеру, в 1793 году было тридцать пять лет. Его младший брат Огюстен, депутат Конвента, имевший огромные полномочия в армии, был лишь на несколько лет старше Бонапарта. А сколько его ровесников давно уже играли в революции важную роль, заставляя с уважением произносить их имена!

А он, Наполеон Буонапарте, спустя восемь лет после окончания Парижского военного училища, все еще имел третий офицерский чин... Кто его знал? Кто о нем слышал? Все надо было начинать сначала.

Но дело было не только в крушении честолюбивых надежд. Пережитая Бонапартом трагедия заключалась прежде всего в том, что самые жестокие удары он получал от тех, кого боготворил, в ком видел высшее воплощение всех человеческих достоинств. В 1789 году он приехал на Корсику восторженным поклонником легендарного героя, готовым пойти на любые жертвы ради него, ради счастья народа Корсики. В 1793 году, прячась, как травимый и преследуемый зверь в дремучем лесу, от настигающей погони людей Паоли, он видел в них только врагов.

В жестоких испытаниях судьбы Наполеон стал другим человеком. Он не был больше «обитателем идеального мира», как говорил о нем когда-то Жозеф; от прошлого ничего не осталось: все было испепелено. Его идеализм, юношеская восторженность, наивные надежды исчезли. Он стал трезв, сух, расчетлив, практичен; он больше никому и ничему не верил на слово; он стал подозрителен, недоверчив к людям. За год до трагического финала, в июле 1792 года, он уже писал Люсьену из Парижа: «Ты знаешь историю Аяччо? В Париже она совершенно та же; разве только что люди еще мельче, еще злее, еще больше клеветников и подлецов».

Он пересматривал свое отношение к учителям. В том же 1792 году он еще раз перечел и сделал пространные выписки из трактата о неравенстве Жан-Жака Руссо, сопровождая их почти повсеместно короткой ремаркой: «Я в это не верю», «Я так не думаю». По-видимому, целью возвращения к сочинениям Руссо было желание подчеркнуть свое несогласие с тем, кого он еще недавно называл своим первым учителем[51].

Этот молодой человек к двадцати четырем годам прошел через жестокое душевное потрясение; он во многом разочаровался, он готов был ко всему относиться с сомнением. И все-таки в нем не было ничего от Гамлета, ничего от Вертера, если можно ставить рядом имена этих во многом разных литературных героев. Это значит, что ему в равной мере были чужды и разъедающий волю принца датского червь внутренних сомнений, и пассивная меланхоличность юного героя Гёте.

Человек сильного характера, он не согнулся от полученных ударов, не стал слабее, мягче, податливее. Напротив, его воля закалилась на сильном огне выпавших на его долю испытаний. Капитан Бонапарт, бежавший от своих преследователей во Францию, в 1793 году был уже во многом не похож на полного радужных надежд младшего лейтенанта 1789 года, торопившегося скорее вдохнуть горячий ветер родного острова.

Конечно, было бы неправильным видеть в трагическом развитии отношений между Бонапартом и Паоли, во всем ходе корсиканской драмы только фатальные последствия взаимного непонимания двух людей, печальный результат каких-то личных коллизий.

В драме на Корсике и в ее исходе была своя закономерность. Столкновение Бонапарта и Паоли, даже принимая во внимание все личное, было прежде всего столкновением двух политических линий. В том неумолимом межевании — за или против революции, которое сама жизнь проводила в 1792—1793 годах, для Бонапарта не было колебаний. Всей своей предшествующей жизнью он был подведен к революции; он был ее сыном, и он не мог от этого отступить. И когда Паоли, Поццо ди Борго повернули против революции, конфликт, столкновение стали неизбежны.

В этом смысле Бонапарту в испытанном им поражении не в чем было себя упрекнуть. Проигрыш не был следствием личных ошибок или ошибочной политической линии. Она не могла быть иной: в условиях, сложившихся на острове, она не могла кончиться иначе как только поражением.

Бонапарт вышел из этих потрясений не сломленным, а еще более закаленным. И, сражаясь как солдат в рядах армии революции, он воспринимал ее главные уро-

ки — ее действенность, непреклонность в достижении цели.

Летом 1793 года Республика переживала критические дни. Народное восстание 31 мая — 2 июня сбросило власть Жиронды, скатывавшейся к контрреволюции. Но армии интервентов на всех фронтах перешли в наступление. Внутренняя контрреволюция смыкалась с внешней. Роялисты, фельяны, жирондисты объединялись для свержения якобинской власти. Паоли передал Корсику англичанам, англичане овладели также Тулоном. 13 июля был убит Марат. Накануне был убит также вождь лионских якобинцев Шалье, немного раньше — Лепелетье де Сен Фаржо. Контрреволюция стала на путь террора.

В часы смертельной опасности якобинцы обнаружили непреклонную решимость противодействовать врагам. «Для того чтобы создать и упрочить среди нас демократию, чтобы прийти к мирному господству конституционных законов,— говорил Робеспьер,— надо довести до конца войну свободы против тирании и пройти с честью сквозь бури революции»[52]. «Война свободы против тирании» — в этом и было существо якобинской революционно-демократической диктатуры и всей проводимой ею политики.

Вся Европа — Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания, германские и итальянские государства,— сплотившись в могущественную контрреволюционную коалицию, шла походом на революционную Францию.

Республика подняла брошенную ей перчатку, она приняла вызов. Она ответила ударом на удар. Требование беспощадной войны насмерть с внешними и внутренними врагами заставило якобинцев после утверждения самой демократической конституции установить революционно-демократическую диктатуру. То была новая, еще не известная истории власть. Ее суть была превосходно определена Робеспьером. «Теория революционного правления,— говорил он 25 декабря 1793 года,— так же нова, как и революция, создавшая этот порядок правления... Революционное правление опирается в своих действиях на священнейший закон общественного спасения и на самое бесспорное из всех оснований — необходимость»[53].

В эти переломные дни, 13 июня 1793 года, капитан Буонапарте, бежавший с Корсики, преследуемый паолистами, высадился в Тулоне. Семья временно остановилась в деревне Ла-Валлет, возле Тулона; оттуда она перебралась вскоре в Марсель, а Бонапарт направился в Ниццу, где были расположены части 4-го артиллерийского полка, в котором он служил.

В Ницце судьба свела его с генералом Жаном дю Тейлем, младшим братом дю Тейля, отметившего в свое время дарования Бонапарта в Оксонне. Жан дю Тейль слышал от брата о молодом способном офицере; он помог ему восстановиться в полку после длительного отсутствия, доверил командование береговой батареей, затем дал ответственное поручение в Авиньон.

Не всё в биографии Бонапарта лета и осени 1793 года полностью выяснено. Все же основные факты известны. Получив назначение в Авиньон, Бонапарт не смог туда доехать, так как город оказался во власти мятежников.

Накаленная атмосфера ожесточенной гражданской войны, когда судьба Республики, жизнь каждого человека — все было поставлено на карту, захватила Бонапарта. Это не была мышиная возня корсиканских интриг — то была битва гигантов.

По-видимому, в Авиньоне, отбитом у мятежников отрядами генерала Карто, во время недолгой паузы он написал «Ужин в Бокере». Следует согласиться с Андре Моруа, что это лучшее из литературных произведений Бонапарта[54]. Написанное уверенной рукой, ясным, точным, выразительным языком, без литературных красот, это создание скорее ума, чем чувства. Политически оно полностью отвечало требованиям момента: речь в нем шла о контрреволюционных мятежниках, об отрядах Карто, об измене Паоли, о комиссарах Конвента Дюбуа-Крансе и Альбитте. Но это не агитационная листовка, способная прожить не более суток. Насущные заботы дня сплетаются в этом сочинении, соответствующем строгим канонам литературы XVIII века, с глубокими обобщающими мыслями. «Теперь уже не верят больше словам, надо анализировать действия»[55],— говорит военный, и в этой короткой фразе сформулированы уроки жизненного опыта автора — Бонапарта.

«Ужин в Бокере» имел успех. Первое издание было выпущено автором на его собственные скромные сред-

ства. Затем по распоряжению республиканских властей последовало второе издание. «Ужин в Бокере» отвечал задачам якобинского революционного правительства. Может быть, именно поэтому восемь лет спустя первый консул Республики приказал разыскать все сохранившиеся экземпляры своего произведения и предать их уничтожению.

В 1793 году все было еще иначе. «Ужин в Бокере» обратил внимание на его автора. Офицер-якобинец был замечен. В ту пору, когда Бонапарт, тяготясь скромностью возложенных на него поручений, писал письмо военному министру Бушотту, предлагая свои услуги в Рейнской армии, на его жизненном пути вновь встретился Саличетти. Вместе с Огюстеном Робеспьером, Гаспареном, Рикором Саличетти был представителем народа при армиях Юга. Из комиссаров Конвента он был единственным, кто хорошо знал братьев Бонапарт — Жозефа и Наполеона. И когда в середине сентября 1793 года в Боссе на прием к комиссару Конвента Саличетти смущенно явился молодой капитан Буонапарте, он был встречен радушно. Саличетти уже помог Жозефу Бонапарту[56]; с присущей ему решительностью он сразу предложил младшему Бонапарту ответственное поручение — командовать артиллерией в армии Карто, осаждавшей Тулон.

Так началось восхождение Наполеона Бонапарта. К Тулону были прикованы взоры всей Франции. Над древним французским городом развевался белый флаг Бурбонов — флаг казненного короля, и этот флаг навязывали стране английские, испанские, сардинские солдаты, вторгшиеся в пределы Республики. Битва за Тулон имела не только военное значение — то было прежде всего политическое сражение. Республика не могла его проиграть.

Саличетти представил Бонапарта генералу Карто, депутатам Конвента Гаспарену, младшему Робеспьеру.

Карто был сорокадвухлетний здоровяк, в прошлом драгун, потом жандарм, затем художник, промышлявший батальной живописью. Он не имел ни военного, ни, впрочем, никакого иного образования и восполнял его отсутствие крайней самоуверенностью. По случайному стечению обстоятельств, возможному только в то бурное время, он быстро поднялся по ступеням военной иерархии, стал полковником, бригадным генералом, дивизи-

онным генералом, а затем командующим армией — все это за несколько месяцев. По компетентному свидетельству Наполеона, «ни в расположении войск, ни в осадном деле Карто ничего не понимал». Карто хвастливо рассказывал Бонапарту о своем плане взятия Тулона и повез его с собой осматривать позиции. Все увиденное и услышанное показалось Бонапарту смехотворным *[57].

Бонапарт должен был начинать с азов — с создания артиллерийского парка, со строительства на берегу моря двух батарей, названных им батареями Горы и Санкюлотов.

Он составил совсем иной, не имевший ничего общего с замыслом Карто план взятия Тулона и стал добиваться, чтобы его приняло командование. План исходил из учета природного рельефа местности и мог казаться на первый взгляд слишком простым. Но именно в этой простоте и была его неотразимая сила. Трудность заключалась в Карто. С надменностью невежды он считал свое мнение непоколебимым. По счастью, молодой начальник артиллерии получил поддержку со стороны влиятельного комиссара Конвента Гаспарена. Ома-Огюстен Гаспарен был кадровым военным; к началу революции он служил капитаном. Восторженно приняв революцию, он отдал ей все свои силы. Его избрали депутатом Законодательного собрания, депутатом Конвента, членом Комитета общественного спасения. Один из немногих военных среди депутатов Конвента, Гаспарен почти все время находился в миссиях при армиях: его направляли туда, где положение было особо опасным. Якобинец твердых принципов, не щадивший себя ради интересов революции, он пользовался в армии и Конвенте большим моральным авторитетом.

Гаспарен превосходно разбирался в военных вопросах. Он оценил Бонапарта и оказал ему полную поддержку. Наполеон, разойдясь с Карто, представил Гаспарену доклад, в котором откровенно рассказал о разногласиях с командующим армией и предложил свой план действий. Гаспарен во всем согласился с Бонапартом и послал курьера в Париж, добиваясь смещения Карто[58].

* Наполеон, высмеявший Карто в своих сочинениях, не питал к нему злобы. Позже Бонапарт назначил Карто директором Национальной лотереи.

То была последняя политическая мера, осуществленная Гаспареном. Длительное перенапряжение сил, бессонные ночи в трудах сломили этого казавшегося железным человека. В первых числах ноября Гаспарен свалился от переутомления. Его успели довезти до родного города Оранжа; 11 ноября в возрасте тридцати девяти лет он умер. «Добродетельный Гаспарен перестал жить. Республика потеряла одного из самых преданных защитников свободы»,— писал его помощник, будущий генерал Червони. Конвент по докладу Саличетти постановил, что сердце Гаспарена должно быть помещено в Пантеоне[59]. Из-за множества неотложных забот и дел это постановление осталось невыполненным.

Но для судьбы Бонапарта помощь, оказанная Гаспареном, имела решающее значение. Карто был смещен. Новый командующий Доппе был умнее Карто, но также не имел военного опыта. Он был медиком по образованию и беллетристом по призванию; до революции он сочинял романы и апокрифические мемуары. В операциях под Тулоном его литературные навыки помочь не могли, и через десять дней он был отрешен от должности. Командующим назначили генерала Дюгомье, опытного боевого командира. Он разглядел Бонапарта среди других офицеров, несколько раз беседовал с ним и проникся доверием. 25 ноября под председательством Дюгомье собрался военный совет. В нем участвовали комиссары Робеспьер-младший, Саличетти, Рикор, Фрерон, старшие офицеры. Надлежало окончательно утвердить план операций. Комиссары Конвента, а их мнение было во многом решающим, поддержали план Бонапарта. Поддержал его и генерал дю Тейль. Дюгомье также одобрил план. Теперь надо было от слов перейти к делу.

Военная история осады и штурма Тулона так полно описана многими авторами, начиная с ее главного героя — Бонапарта[60], что нет надобности подробно ее излагать. Напомним лишь кратко важнейшие факты.

14 декабря французские батареи открыли огонь по укреплениям противника из пятнадцати мортир и тридцати крупнокалиберных пушек. Канонада продолжалась 15-го и 16-го. 16-го хлынул проливной дождь и поднялся яростный ветер. Бонапарт считал, что вторжение сил природы благоприятствует решающему наступлению.

Штурм начался ночью 17-го. Первоначальной целью атакующих было овладение сильно укрепленным пунктом противника — так называемым малым Гибралтаром. Наступление, осуществленное тремя колоннами, возглавил Дюгомье. Атака началась в кромешной тьме и была отбита противником. В бой вступила четвертая колонна; ее вел Бонапарт. Впереди шел батальон под командованием капитана Мюирона, превосходно знавшего местность. В три часа утра Мюирон сумел проникнуть через амбразуру во вражеский форт, вслед за ним в форт вошли французы; к пяти часам утра «малый Гибралтар» был в руках республиканцев.

Этот решающий успех предопределил исход сражения. Английские и испанские корабли покинули рейд Тулона. Но бой продолжался до 18-го. Вечером 18-го громовой взрыв потряс воздух и темное небо озарилось клубами красного дыма. Это взлетел в воздух взорванный пороховой погреб. Вскоре после этого солдаты Червони, взломав ворота, ворвались в город. Враг обратился в бегство. Тулон пал. Армия республиканцев победительницей вступила в город.

Тулон был крупной победой Республики. Конечно, он не решал исхода войны, но это была первая большая победа над объединенными силами иностранной коалиции. Этой победы удалось достигнуть в значительной мере благодаря тому, что был принят смелый, замечательный своей простотой и ясностью план операции, предложенный Бонапартом.

Бонапарт под Тулоном обнаружил не только полководческий талант, но и воодушевлявшую солдат личную храбрость. Под ним была убита лошадь, ему прокололи штыком ногу, он получил контузию, но ничто не могло остановить его наступательного порыва.

«Я не нахожу подходящих выражений, чтобы обрисовать заслуги Бонапарта,— писал генерал дю Тейль военному министру Бушотту,— глубина научного подхода, такая же глубина понимания и еще больше храбрости — вот слабое представление о достоинствах этого редкого офицера. Это тебе, министр, надлежит приобщить его к славе Республики»[61]. Бонапарту не пришлось дожидаться, пока военный министр приобщит его к славе. 22 декабря 1793 года Робеспьер-младший и Саличетти своей властью комиссаров присвоили Бонапарту воинское звание бригадного генерала. Это ре-

шение в феврале 1794 года было утверждено правительством.

Бонапарту было двадцать четыре года. После пяти лет неудач, поражений, просчетов в его судьбе наступал поворот.

Князь Андрей Болконский в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого, узнав в Брюнне от Билибина, что авангард армии Наполеона перешел мост через Дунай и движется к Брюнну, вспомнил о Тулоне. «...Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет первый путь к славе!»[62]

Для поколений молодых людей девятнадцатого столетия Тулон стал символом резкого и стремительного поворота судьбы. Толстой нашел слова, точно определявшие смысл Тулона. То был «первый путь к славе». Тулон вывел Наполеона Буонапарте из рядов множества офицеров, о существовании которых знали лишь товарищи по полку, полковой командир и скучающие барышни маленьких городков. Его имя узнала страна.

На острове Святой Елены, когда все уже было позади, Наполеон, возвращаясь к минувшей жизни, чаще и охотнее всего вспоминал о Тулоне. В его жизни было много славных побед: Лоди, Риволи, Аркольский мост, Аустерлиц, Иена, Ваграм... Любое из них могло увенчать его имя лаврами славы. Но всех дороже ему был Тулон.

Тулон — это был день надежды, начало пути. Эти хмурые, темные, залитые дождем декабрьские дни и ночи с расстояния долгой, уходящей жизни казались ему розовым утром, озаренным солнечными лучами, началом счастливого дня.

К двадцати четырем годам Бонапарт в столь полной мере познал горечь несбывшихся надежд, что он мог трезво оценивать значение свершившегося. Он знал, что за месяц до Тулона, 15—16 октября, Журдан одержал победу над противником при Ваттиньи, а неделю спустя после Тулона, 26—27 декабря, Гош разбил австрийцев

при Вейсенбурге. Лавровый венок славы оспаривали многие.

Бонапарт все это знал и понимал. И все-таки Тулон был переломом в его судьбе. После стольких поражений счастье поворачивалось к нему лицом.

В дни Тулона вокруг Бонапарта начала складываться, вначале немногочисленная, группа молодых офицеров, уверовавших в его счастливую звезду. Их было сперва четверо: Жюно, Мюирон, Мармон и Дюрок. Позже к «когорте Бонапарта» присоединились другие.

Андош Жюно был на два года моложе Бонапарта. Сын крестьянина, он мальчишкой ушел в драгуны, в восемнадцать лет командовал отрядом Национальной гвардии; с началом войны сражался в северной и в южной армиях. Он обратил внимание Бонапарта под Тулоном своей беззаботной, веселой отвагой. Однажды Бонапарту в батарее понадобился человек с хорошим почерком, которому он мог бы продиктовать приказ. Жюно, славившийся каллиграфическим талантом, предложил услуги. Облокотившись на лафет пушки, он старательно выводил гусиным пером на бумаге диктуемый текст, как вдруг взрыв вражеского снаряда засыпал с головой Жюно и его бумагу. «Нам повезло! — воскликнул весело Жюно, поднимаясь и стряхивая с себя землю.— Теперь не надо посыпать чернила песком!»[63]

Бонапарт был восхищен этой столь искренней и непосредственной храбростью. Он назначил Жюно своим адъютантом. С тех пор на много лет он стал одним из самых близких друзей Бонапарта. Стремительный, пылкий Жюно, прозванный «бурей», участвовал во всех важнейших кампаниях и, пользуясь доверием Бонапарта, быстро поднимался по лестнице служебной иерархии.

Жан-Батист де Мюирон, юный капитан артиллерии, отличившийся при штурме Тулона (ему было тогда лишь девятнадцать лет), стал ближайшим помощником Бонапарта. Образованный офицер, сочетавший тонкость ума с недюжинной храбростью и инициативой, он был одним из самых многообещающих сподвижников генерала. Но он рано погиб — двадцати двух лет — в сражении на Аркольском мосту. Наполеон всегда вспоминал Мюирона с благодарностью. Он назвал его именем фрегат, на котором совершил знаменитое путешествие из

Египта во Францию в 1799 году. После Ватерлоо, мечтая скрыться неузнанным в Англию, он хотел взять имя Мюирона или Дюрока.

Огюст-Фредерик-Луи Виес де Мармон, как показывает его имя, был дворянином. Он родился в 1774 году, учился в артиллерийском училище, затем служил в Меце, Монмеди и в 1793 году в звании старшего лейтенанта был направлен в Тулон. Здесь он «встретил этого необыкновенного человека... с которым на многие годы безраздельно оказалась связанной его жизнь»[64].

Самым близким к Бонапарту человеком, единственным, кому он всегда безоговорочно доверял, был Дюрок. Сближение между Бонапартом и Дюроком произошло после Тулона. Дюрок был также артиллерийским офицером. Он был скуп на слова и жесты, нетороплив, в нем не было ничего яркого, привлекающего внимание, но, как говорил позднее Наполеон, за этой внешней холодностью скрывались страсти, горячее сердце и сильный ум. Все мемуаристы единодушно сходились на том, что в окружении Бонапарта Дюрок был одним из немногих, к голосу кого он прислушивался *.

Бонапарт под Тулоном обратил внимание и на некоторых других способных офицеров — Виктора, Сюше, Леклерка. И хотя они не стали лично близкими ему людьми, как Дюрок или Жюно, он не упускал их из виду: они должны были составить вторую колонну «когорты Бонапарта».

Весна 1794 года казалась, наверно, Бонапарту самой счастливой в его жизни. Он чувствовал за плечами крылья победы, и будущее представлялось ему прекрасным. Он пользовался полным доверием правящей якобинской партии: он ведь был не только победителем при Тулоне, но и автором «Ужина в Бокере» — истинно патриотического произведения. Его ценили комиссары Конвента Саличетти, Рикор, Баррас. С одним из них, с самым влиятельным — Огюстеном Робеспьером, у него установились добрые отношения, почти дружба. Сила Огюстена была не только в его близости к старшему брату. Огюстен Робеспьер был полон энергии, напорист, стремителен; в двадцать девять лет

* Об этом пишут Мармон, Бурьенн, Тьебо, Тибодо и другие. Утверждение Бурьенна (*Bourrienne.* Mémoires, t. I, p. 67), будто Наполеон любил Дюрока, а тот не платил ему взаимностью, не имеет под собой никакой почвы.

он сохранил почти мальчишескую живость; он легко загорался и был настойчив в достижении цели.

Бонапарт развил перед Робеспьером-младшим идею похода в Италию. Зачем придерживаться оборонительной тактики? Не лучше ли взять инициативу в свои руки и перейти к широким наступательным операциям на чужой территории? В качестве ближайшей задачи Бонапарт выдвигал вторжение в пределы Генуэзской республики. Генуя нейтральна? Да, но что из того? Разве Англия не нарушала многократно нейтралитет Генуи...

Эти мысли воодушевляли Бонапарта после Тулона. Огюстен Робеспьер сначала колебался. Затем он стал склоняться в пользу плана Бонапарта. Но такой большой вопрос он не мог решить сам. Он готовился к поездке в Париж и обещал отстаивать перед Комитетом общественного спасения план наступления в Италии.

Тем временем Бонапарт, которому было поручено укрепление побережья Средиземного моря, разъезжал по приморским городам; он часто бывал в Ницце, Тулоне, Марселе. Особенно часто он посещал Марсель. Бонапарта влекли туда не только заботы службы и желание повидаться с матерью, со всей семьей. Летиции Буонапарте и ее дочерям приходилось в Марселе туго. Они жили в доме эмигранта, предоставленном им по распоряжению все того же Саличетти, на скромную субсидию, установленную правительством для изгнанников с острова Корсика, и на помощь от сыновей. Жили бедно, но в доме не унывали. Барышни Буонапарте, в особенности прекрасная Паолетта — в Марселе ее стали звать Полиной, притягивали как магнит молодых людей. В доме Буонапарте по вечерам были слышны смех, пение. Там царила молодость. В Полину был влюблен Жюно, впрочем не только он один.

Революция, война, любовь — все соединялось вместе в ту памятную весну 1794 года для поколения молодых, самому старшему из которых не было двадцати пяти лет. Генерал Буонапарте не избежал общей участи. Его старший брат Жозеф привел его однажды в дом марсельского негоцианта Клари, где центром притяжения были также дочери — Жюли и Дезире. Появлению в доме братьев Бонапарт предшествовала романтическая история. После подавления мятежа в Марсель были направлены творить правосудие комиссары Конвента Альбитт, затем Баррас и Фрерон. Они, в особен-

ности последние два, обрушили на жителей города жестокие репрессии, карая виновных и невинных. Среди арестованных оказался и брат барышень Этьен Клари; ему грозила, как и многим другим арестованным, гильотина. В отчаянии сестры обратились за помощью к Жозефу Бонапарту; этот молодой человек был в то время близким к власть имущим.

Жозеф им помог. То ли ради приглянувшихся барышень, то ли по другим мотивам, но он сумел отвести карающий меч от головы Этьена Клари. С этого момента он стал желанным гостем в доме Клари; вскоре он привел туда и своего младшего брата[65].

С первого же посещения дома Клари все определилось. Младшие — Наполеон и Дезире — сразу же нашли общий язык. Сохранившаяся переписка между влюбленными, которым приходилось часто разлучаться, показывает, как быстро развивались взаимные чувства. В первых письмах он еще пишет Дезире: «Ваше очарование, Ваш характер незаметно завоевали сердце Вашего возлюбленного». Пройдет немного времени, и свои письма «нежной Эжени», гораздо более краткие и деловые, Бонапарт уже подписывает: «Твой на всю жизнь».

Впрочем, старшие их опередили. Жозеф женился на Жюли Клари. Младшим оставалось лишь последовать их примеру. Но в отличие от Дезире, всецело поглощенной любовью: «Люби меня всегда, все остальные несчастья для меня ничто!» — Бонапарта занимало многое другое.

Огюстен Робеспьер уехал в Париж. Он должен был получить решение Комитета общественного спасения о наступательных действиях в Италии. Война в Италии... Все помыслы Бонапарта были обращены к будущей войне. Она должна приумножить славу Республики, славу ее полководцев.

Генерал Директории

Вести, пришедшие из Парижа в конце июля 1794 года, оказались иными, чем ожидал Бонапарт. Огюстен Робеспьер, с возвращением которого он связывал столько надежд, не вернулся. 10 термидора (28 июля) вместе со своим старшим братом Максимилианом Робеспьером, Сен-Жюстом, Кутоном, Леба и другими он был без суда казнен на Гревской площади столицы.

Казнь Робеспьера и его политических единомышленников означала конец якобинской диктатуры. Более того, это означало конец революции.

Современники тех событий не могли этого сразу понять. Переворот 9 термидора был проведен под лозунгом «борьбы против тирании», он был преподнесен народу как торжество республиканских принципов.

Гражданский комитет секции Ломбар, заседавший непрерывно 9 и 10 термидора, утвердил вечером 10-го обращение к Конвенту, в котором одобрял «спасительные меры, принятые против заговорщиков и изменников», заверял представителей народа «в постоянной преданности секции Ломбар властям Национального Конвента — единственному центру сплочения истинных республиканцев»[1]. Собрание секции Гравильер бурными аплодисментами и криками одобрения приветствовало известие о мерах, принятых Конвентом для пресечения «подлой измены»[2]. Сходным было мнение секций Монблана, Музея, Бонди и ряда других[3].

Верили ли те, кто принимал поздравительные обращения к Конвенту, в то, о чем они писали?

Как известно, 9 термидора часть парижских секций, тех, где преобладали санкюлоты, поднялась на защиту Робеспьера и его друзей. Это стихийное выступление парижского плебейства, освободившее Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона из заключения, показало, что народ революционным инстинктом почувствовал, кого надо защищать. Одно время казалось, что выступление плебейства изменит ход событий[4]. Но общее соотношение сил было неблагоприятным для руководителей революционного правительства, собравшихся в ночь с 9 на 10 термидора в здании Парижской коммуны. В неравной борьбе они были побеждены. С того момента, как их объявили вне закона, а затем утром 10-го гильотини-

ровали, уже ни один голос ни в одной из парижских секций не решался высказаться в пользу поверженных вождей Горы.

Но было бы ошибочным полагать, что слова одобрения, так громко раздававшиеся на всех собраниях после 9 термидора, были продиктованы только страхом или корыстными политическими расчетами. Среди одобрявших переворот имелось немало людей, искренне, добросовестно заблуждавшихся. То были не только так называемые левые термидорианцы — честные якобинцы, как Билло-Варенн или Жильбер Ромм, активно содействовавшие перевороту, а затем горько раскаявшиеся в содеянном. Среди одобрявших первоначально 9 термидора были и люди, стоявшие вдалеке от правящих кругов, убежденные сторонники демократии, как, например, Гракх Бабёф. В газете «Journal de la liberté de la presse», которую он начал издавать с сентября 1794 года, будущий руководитель «Заговора равных» приветствовал падение Робеспьера и его единомышленников: ему представлялось, что свергнута тирания личной диктатуры и что отныне восторжествуют республиканские добродетели[5].

Но прошло немного времени... и заблуждавшиеся прозрели. Действительный смысл событий 9—10 термидора заключался совсем в ином. Сомневаться в значении происшедшего было уже невозможно. Как писал Филиппо Буонарроти, вспоминая о событиях после 9 термидора, «с этого времени все было потеряно»[6].

Революция кончилась. Ошеломивший мир, небывалый еще в истории героический взлет народной энергии, сокрушавшей все становящееся на ее пути, был оборван и подавлен. 9 термидора убило душу революции, не только ее вождей.

Наступали трезвенные, прозаические будни буржуазного господства. Великая программа свершений, декларированная в конце 1793 года, дерзновенные замыслы, политический максимализм — все это после термидора было отброшено.

Республика, как только с нее сняли ее якобинские покровы, предстала в своей отталкивающей буржуазной наготе. Изумленным взорам современников раскрылось истинное существо, действительное, не воображаемое содержание происшедшего. Республика свободы, равенства, братства раскрыла свою буржуазную

суть. Она оказалась жестоким миром низменных страстей, волчьей грызни из-за дележа добычи, республикой чистогана, спекуляции, хищнического, беспощадного эгоизма, создающего богатство на крови и поте других. Беспримерная нужда воцарилась в плебейских кварталах Парижа и других городов, в трущобах бедноты, отданной на произвол спекулянтов и мародеров. Таких страданий голода после отмены максимума французское плебейство еще не испытывало, оно их познало только после термидора[7]. Новым было и то, что после казни Робеспьера никто не обращал внимания на народную нужду. Кому какое дело до чьих-то страданий? Каждый заботится только о себе!

Тезис Робеспьера о почетной бедности стал мишенью для насмешек. Почетно только богатство. Шапки долой перед золотом! Деньги, дворцы, особняки, земля, собственность — вот вечные ценности, заслуживающие поклонения! Уже не хоронясь, не прячась по углам, не оглядываясь с опаской на карающий меч якобинской диктатуры, как было недавно, открыто, неистово, с нескрываемым вожделением вчерашние проповедники республики равенства бросились в погоню за богатством. Римляне, как говорил когда-то Сен-Жюст, то есть люди строгих правил, гражданской добродетели, сошли со сцены. Их сменили охотники за наживой, искатели богатства и легкой жизни, жуиры, жадные, грубые стяжатели, рвущие из рук все, что можно урвать, нетерпеливо стремившиеся захватить всё и сразу.

Участники тех событий, сохранившие чистым сердце и незапятнанными руки,— Рене Левассер или Филиппо Буонарроти с ужасом устанавливали, что те самые люди, которые еще вчера были их товарищами по оружию, люди, с которыми плечом к плечу они проделали весь путь борьбы, оказывались совсем не теми, за кого их принимали. Левассер рассказал, как однажды на заседании Конвента, оказавшись по соседству с Мерленом из Тионвилля, он услышал из его уст небрежно-хладнокровное признание о том, что он, Мерлен, обладает богатейшими имениями, парками и оленями, конюшнями, сворами охотничьих собак[8].

Левассер был поражен; его охватило негодование. Но Мерлен не хвастался: когда при Директории ему не надо было скрывать состояние, все узнали, что он живет

как владетельный принц, в роскоши и богатстве, затмевающих великолепие дворцов старых сеньоров.

Как же это могло произойти? Ведь Мерлен из Тионвилля не был случайным человеком в якобинской партии. Это был не Баррас, не какой-нибудь Буасси д'Англа. То был настоящий якобинец, вся жизнь которого проходила на виду.

Антуан-Кристоф Мерлен, член Законодательного собрания, член Конвента, участник народного восстания 10 августа 1792 года, первым ворвавшийся с пистолетом в руке в Тюильрийский дворец, гневный обличитель монархии, требовавший покарания братьев короля и конфискации имущества эмигрантов, слыл одним из самых пылких и ревностных якобинцев. То был человек риска, отваги, не оглядывавшийся по сторонам, человек необузданного темперамента и смелых решений. Его имя прославилось по всей стране, когда зимой 1793 года как комиссар Конвента он ввязался в руководство военными операциями под Майнцем. Он всех поднял на ноги, все перевернул, все перестроил; он с такой яростью и энергией ударил по врагу, что поверг его в страх и смятение. Ошеломленные бешеным натиском, немцы прозвали этого неистового комиссара Feuerteufel — «огненным чертом». Майнц в конце концов все-таки пал, но никто из якобинцев не мог отрицать неукротимой энергии и огромной личной храбрости, проявленной Мерленом в дни обороны крепости.

Как же могло случиться, что человек, слывший одним из самых смелых бойцов в рядах якобинского движения, монтаньяр, объявлявший себя приверженцем Робеспьера, оказался вовлеченным в совсем иной поток — в погоню за богатством и наслаждениями — и после падения Робеспьера стал одним из самых жестоких гонителей якобинства?[9]

Это и было термидорианство на практике, то есть перерождение политических вождей, закономерное, почти неизбежное в буржуазной революции.

Для Мерлена трудно установить точно переломную грань, с которой началось его скольжение вниз, превращение из революционера в конкистадора. Может быть, это была близость с Шабо, погрязшим в темных аферах Ост-Индской компании, может быть, огромная бесконтрольная власть в Нанте осенью 1793 года — возможность распоряжаться жизнью и состоянием

многих людей? Вероятно, и то и другое. И Мерлен был не единственным и даже не самым худшим среди правящей верхушки термидорианских вождей.

Баррас, Тальен, Ровер, Фрерон, Бурдон из Уазы — вчерашние террористы, запятнавшие себя жестокостями и насилиями в Марселе, Тулоне, Бордо, вызвавшими резкое недовольство Комитета общественного спасения, отозвавшего их из миссии для ответа, они лишь теперь, после термидора, которым они прежде всего спасли свои головы, показали, чем был на деле их политический экстремизм. Проконсулы, выступавшие в тоге «апостолов равенства», они были в действительности ворами, казнокрадами, хладнокровными убийцами, под флагом «революционной беспощадности» творившими расправу над невинными людьми, обогащаясь на их несчастьях. Вместо эшафота, который предназначался им за совершенные преступления, они благодаря термидору оказались вознесенными на вершину власти; с трибуны Конвента они определяли политику; они стали законодателями, вершителями судеб Республики, и именно они раскрыли истинное содержание термидора как буржуазной контрреволюции.

Конечно, как соучастники казни Людовика XVI и нувориши, умножившие состояние за счет богатств старой аристократии, они оставались по необходимости приверженцами Республики и врагами роялизма: восстановление монархии было бы чревато для них опасностями. Но дальше этого их республиканизм не шел. Термидорианская республика означала прежде всего расправу с истинными патриотами — якобинцами, устранение народа с политической арены, обогащение, открытое, ничем не ограничиваемое наслаждение благами жизни. Последнее представлялось этим рвачам, неожиданно для себя оказавшимся у руля государственной власти, в соответствии с их низкопробными вкусами: власть, золото, вино, женщины; богатство, выставленное напоказ, кутежи и оргии в голодающем городе; пир во время чумы[10].

Как-то незаметно, незримо и в то же время на глазах у всех менялся внешний облик Парижа, облик парижан, менялась сама жизнь. Большие бульвары и площади столицы (все спрашивали: когда это произошло?) оказались во власти новых хозяев — молодых людей в ярких костюмах с тросточками или стилетами в ру-

ках, чуть-чуть прикрытых прозрачной тканью дерзких девчонок из «хорошего общества», старавшихся походить на продажных женщин. Санкюлоты, люди из народа, снова, как до 14 июля, должны были прижиматься к стене, давая дорогу новым господам, или уходить на окраины города.

Где, в каких щелях прятались в дни революционной диктатуры эти сынки избежавших гильотины спекулянтов, дети аристократов, прожигатели жизни? Банды «золотой молодежи», заполонившие вечерние улицы, стали действительными хозяевами столицы. Сначала это могло казаться случайностью, эпизодом городской хроники, но с тех пор, как каждый вечер с наступлением сумерек «золотая молодежь» затопляла улицы Парижа, избивая якобинцев, санкюлотов, всех людей, еще вчера внушавших им страх, после того, как они разнесли в щепки Якобинский клуб, сомнений не оставалось: то была новая реальная сила, включившаяся в общественную жизнь страны[11].

Иные недоумевали: разве древняя Лютеция вновь подверглась завоеванию варваров? Ведь этого не было. Никто не вторгался в Париж. То была новая поросль, сразу поднявшаяся из-под земли после грозы, прошедшей над Францией в душную ночь термидора. Органическая связь с вчерашним днем этих банд «золотой молодежи» удостоверялась тем, что во главе их стоял член Конвента, бывший ученик Марата редактор «Оратора народа» Луи-Марк-Станислав Фрерон.

«Слепая амнистия», растворившая двери тюрем для всех врагов революции, но оставившая за железной решеткой всех друзей Робеспьера, пополнила общество жирондистами, фельянами, роялистами, казнокрадами, взяточниками, фальшивомонетчиками, спекулянтами, мародерами — всеми, кого ночь термидора избавила от кары революционного правосудия.

Париж преображался на глазах умолкшего народа. Политика? Ею никто больше не интересовался. Принципиальность, идейность подвергались осмеянию. Общественная добродетель! Незыблемые принципы! Великие идеи! Всю эту ветошь — на мусорную свалку!

Идейным ценностям отныне были противопоставлены земные, материальные. Смысл жизни не в служении истине — в наслаждениях! Пусть народ голодает, это никого не касается.

Герой нашего повествования Наполеон Бонапарт писал из Парижа 6 мессидора (24 июня 1795 года) своей возлюбленной Дезире Клари: «Роскошь и удовольствие возродились в Париже удивительным образом»[12]. А месяцем раньше он писал своему брату Жозефу: «Все ужасающе дорожает; скоро нельзя будет больше жить; все с нетерпением ждут сбора урожая»[13]. И то и другое было верным. 7 июля он сообщил Жозефу: «Хлеба по-прежнему не хватает» — и жаловался на то, что холодная и сырая погода задерживает сбор урожая[14]. А 30 июля не без горькой иронии он снова ему писал: «...все идет хорошо; этот великий народ предается удовольствиям: танцы, спектакли, женщины, которые здесь самые прекрасные в мире, становятся великим делом. Благосостояние, роскошь, хорошие манеры — все возвращается; о терроре вспоминают как о сне»[15]. Это чередование двух тем — голода и развлечений — в письмах Бонапарта из Парижа летом 1795 года верно передавало главные приметы времени.

Народ голодал, отданный на произвол спекулянтов и мародеров; он был оттеснен куда-то на задворки, и ему заткнули рот. Простые люди страдали от роста цен, обесценения ассигнатов, отсутствия хлеба, от беспросветной нужды. После двух неудачных попыток — в жерминале и прериале (апреле и мае 1795 года) — изменить вооруженным выступлением гибельный ход вещей им не на что было больше надеяться. Оставшиеся несломленными демократы-революционеры Бабёф, Буонарроти, Дарте, заточенные в тюрьмы, еще лишь обдумывали пути продолжения борьбы.

Народное движение было разгромлено. Народ был подавлен, деморализован; без сил, без веры в будущее, он больше не мог продолжать борьбу; придавленный голодом, нуждой, преследуемый и травимый, он отступил, очистил поле боя. Народ сошел со сцены.

А Париж новой буржуазии, Париж термидорианцев предавался кутежам, развлечениям, танцам. Это увлечение танцами в богатых кварталах Парижа пришло как-то сразу и всех захватило. То были новые, странные танцы, не похожие ни на народные пляски революционных лет, ни на медлительные котильоны старого времени. Устраивались «балы жертв», куда допускались только члены семейств, в которых кто-либо был казнен. Полуголые женщины высшего света, похожие

на проституток, и проститутки, неотличимые от высокопоставленных дам, вместе с нарядными кавалерами при неярком свете свечей, под жалобную и пронзительную музыку танцевали странный танец, имитирующий судорожные движения головы и тела, падающих под ударом ножа гильотины. Танцевали в темноте или при свете луны на кладбищах, на могильных плитах.

Все в городе стало иным. Закрытые ставнями окна домов, из которых все-таки прорывался свет и звуки дразнящей музыки, кареты, освещенные фонарями, новые запахи духов и вина, смелость туалетов, рискованные шутки и зловещий взмах стилета в темной подворотне — все напоминало о том, что революция кончилась, прошла и это совсем еще недавнее время уже представляется далекой, давным-давно минувшей порой.

Генерал Бонапарт не ждал более добрых вестей из Парижа. Приказ о походе на Италию... Не о том надо было теперь думать. Наступили трудные времена. Все переворачивалось наизнанку: знак «плюс» превращался в «минус», слава видоизменялась в опалу. Едва лишь Бонапарта озарили лучи Тулона, как их затмили тучи. Командир, пользовавшийся поддержкой Робеспьера-младшего, не мог рассчитывать на доверие, вокруг него образовывалась пустота.

27 июля 1794 года, в день 9 термидора, генерал Бонапарт приехал в Ниццу из Генуи[16]. Он был направлен туда к французскому представителю при Генуэзской республике Тилли с дипломатической миссией тонкого свойства: прощупать позицию Генуи в случае нарушения ее нейтралитета французскими войсками, а заодно и политические настроения самого Тилли. Поручение это было дано Огюстеном Робеспьером и Рикором; оно свидетельствовало о доверии комиссаров Конвента к генералу.

Бонапарт пробыл в Генуе с 11 по 27 июля; из Генуи он проехал в Антиб, близ Ниццы, к матери и сестрам, жившим здесь уже некоторое время. Он пробыл, по-видимому, около недели в доме матери, пребывая в счастливом неведении о совершившемся в Париже.

В Ниццу он возвратился в первых числах августа и лишь здесь узнал о событиях 9—10 термидора.

Как он воспринял их? Точно определить трудно. Мармон рассказывал позднее, что падение Робеспьера

Бонапарт расценивал «как несчастье для Франции. Не потому, конечно,— спешил разъяснить герцог Рагузский,— что он был сторонником установленной системы (его память выше подобных обвинений), но потому, полагал он, что наступило время неизбежных перемен... Он мне говорил, и вот его подлинные слова: «Если бы Робеспьер остался у власти, он изменил бы направление своей политики: он восстановил бы порядок и господство законов, и этот результат был бы достигнут без потрясений, так как к этому бы пришли с помощью власти...»»[17].

Понятно, рассказ Мармона, как и все написанное им, требует критического отношения. Но сам ход мыслей Бонапарта в передаче Мармона интересен, в этих рассуждениях есть что-то характерное для Бонапарта.

От той эпохи — событий 1794 года — сохранился еще один документ — письмо Бонапарта к Тилли от 7 августа 1794 года. «Я был немного поражен,— писал генерал Бонапарт,— катастрофой Робеспьера, которого я любил и считал чистым; но, будь он моим братом, я бы его сам заколол кинжалом, если бы знал, что он стремится к тирании»[18].

Это письмо говорит и мало и много. Луи Мадлен видел в нем свидетельство большого спокойствия и храбрости[19]. Более очевидно другое: этот документ продиктован безотлагательными требованиями обстоятельств. Если Бонапарт счел необходимым тотчас же написать столь далекому и в общем случайному корреспонденту, как Тилли, то это, вне сомнения, потому, что, находясь у него в Генуе, он намекнул на свою близость к Огюстену Робеспьеру или в какой-то иной форме дал это понять*. Бонапарт допускал возможность удара с этой стороны и этим письмом хотел себя обезопасить.

Но удар, как нередко бывает, последовал с самой неожиданной стороны. Еще за день до того, как Бонапарт написал Тилли письмо, которым надеялся укрепить свои позиции, три влиятельных комиссара Конвента при альпийской армии — Саличетти, Альбитт

* Об отношении Бонапарта к Робеспьеру следует судить по его высказываниям более позднего времени. На острове Святой Елены он всегда с большой доброжелательностью отзывался об Огюстене Робеспьере (*Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 108—110, 250—251), признавая его большие заслуги, и уважительно говорил о Робеспьере-старшем.

и Лапорт *[20] — направили Комитету общественного спасения в Париж донос против Рикора — представителя Конвента при итальянской армии и генерала Буонапарте — «людей Робеспьера», подозреваемых в измене и растрате казенных денег. Буонапарте в особенности инкриминировалась поездка в Геную[21]. Не дождавшись ответа из Парижа и узнав, что Рикор уже от них ускользнул, выехав в столицу, Саличетти и Альбитт направили командующему итальянской армией генералу Дюмербиону предписание отстранить от исполнения обязанностей генерала Буонапарте и арестовать его[22]. Старый генерал ценил своего начальника артиллерии и питал к нему симпатии, но, получив предписание всемогущих в ту пору комиссаров, испугался и беспрекословно выполнил распоряжение. Бонапарт был отрешен от должности и заключен под стражу, а его бумаги опечатаны. Исполняющим обязанности начальника артиллерии был назначен его заместитель Дюжар.

Обстоятельства ареста Бонапарта до сих пор не выяснены полностью **. Это касается прежде всего причастности к делу Саличетти. Влиятельный депутат Конвента, как мы видели, до сих пор неизменно выступал покровителем Наполеона и всей семьи Бонапартов. Что же побудило его занять столь враждебную позицию?

По-видимому, летом 1794 года между ними произошла размолвка. Об этом можно судить по отрывочным письмам, оставшимся от той поры. В письме от 6 августа 1794 года Саличетти писал: «Во время моего пребывания в Ницце Буонапарте едва удостаивал меня взгляда с высоты своего величия»[23]. Что скрывалось за

* Лапорт лишь вначале был причастен к этой акции: он был вскоре переброшен в Лион. Стоит отметить как штрих эпохи, что этот же Лапорт, занявшись затем поставками в армию, был разоблачен в 1796—1797 годах как крупнейший мошенник и вор, наживший более двадцати миллионов франков.

** Полемика по этому вопросу возникла полтораста лет назад. Начало ей положил Бурьенн, выступивший с критикой версии Вальтера Скотта (*Bourrienne.* Mémoires, t. I, p. 55—67). Бурьенн, приведший ряд ценных документов, тем не менее ошибочно пытался отрицать связь между арестом Бонапарта и его близостью к Робеспьеру-младшему. Ошибки Бурьенна были вскоре же доказаны в публикации А. Бюло: *A. B[ulos].* Bourrienne et ses erreúrs volontaires et involontaires..., t. I. Paris, 1830, p. 16—28.

этими словами? Соответствовали ли они истине? С определенностью ничего сказать нельзя, но, безусловно, Саличетти был чем-то крайне раздражен. Известно и письмо Бонапарта. В июне 1795 года Бонапарт в письме, формально адресованном госпоже Пермон *, но прямо обращаясь к Саличетти, пишет: он, Бонапарт, достоверно знал, что Саличетти в день прериальского восстания прятался в доме госпожи Пермон. «Саличетти, ты видишь, я мог причинить тебе такое же зло, какое ты причинил мне, и, поступая так, я лишь мстил бы; тогда как ты мне сделал зло, я же тебя ничем не обидел. Кто поступил лучше, я или ты? Да, я мог отомстить, но я этого не сделал...»[24]

Это письмо имеет вполне ощутимый корсиканский привкус. «Право на месть» — так могли говорить только корсиканцы, ибо это право связано с воспринятыми с молоком матери понятиями о долге вендетты — родовой мести, переходящей от поколения к поколению. Но в контексте рассматриваемого вопроса это письмо важно как свидетельство того, что Бонапарт считал себя невиновным перед Саличетти. Как бы то ни было, можно лишь утверждать, что конфликт не был глубоким. Ибо если Саличетти оказался причастным к аресту Бонапарта, то столь же несомненно, что ему принадлежала решающая роль в его освобождении. По-видимому, лишь благодаря Саличетти Бонапарта не отправили в Париж, а затем он был выпущен на свободу.

Бонапарт пробыл в заключении около двух недель. Его верные оруженосцы Жюно и Мармон, со времени Тулона неразлучно сопровождавшие его, предлагали ему план насильственного освобождения. Но Бонапарт отверг это предложение[25].

Он направил из заключения краткое, но энергичное письмо-протест Альбитту и Саличетти: «С первых дней революции разве я не был всегда предан ее принципам? Разве меня не видели всегда в сражениях против врагов внутренних или как военного против иностранцев?..»[26] Не выпячивая своих заслуг, но и не принижая их, он напоминал о том, что вся его жизнь во время революции

* Госпожа Пермон была связана добрыми отношениями с матерью Наполеона. Дочь госпожи Пермон Лаура стала затем женой Жюно и позже приобрела известность мемуарами (написанными при помощи Бальзака), которые она выпускала под своим официальным именем — герцогини д'Абрантес.

была на виду. Он требовал немедленного разбора дела и освобождения.

Этот протест сыграл определенную роль. Комиссары занялись рассмотрением его бумаг. Они не нашли в них ничего компрометирующего Бонапарта. 7 фрюктидора (24 августа) постановлением комиссаров Конвента Альбитта и Саличетти Бонапарт был освобожден из-под стражи. Правда, в постановлении предусматривалось, что это решение требует дополнительного подтверждения Комитетом общественного спасения[27].

Поскольку Альбитт совершенно не знал Бонапарта, остается заключить, что освобождение начальника артиллерии из-под стражи было делом рук Саличетти. Видимо, можно согласиться с мнением Бурьенна, что после освобождения он снова стал другом Бонапарта[28].

Итак, генерал Бонапарт вновь обрел свободу. Конечно, в дни термидорианской реакции бывший «фаворит Робеспьеров», как о нем говорили в ту пору, не мог рассчитывать на доверие и поддержку. Он остался в штабе итальянской армии, где личные симпатии старого Дюмербиона скрашивали ему жизнь. План операции против Пьемонта, предложенный в свое время Бонапартом и поддержанный Огюстеном Робеспьером, был вследствие этого отвергнут Комитетом общественного спасения[29]. Но австрийцы, ободренные бездействием французов в Италии, первыми начали наступательные операции. Бонапарт обратил внимание командующего армией на ухудшение положения. «Мое дитя,— отвечал ему генерал,— представьте мне план кампании так, как вы найдете нужным, и я его осуществлю, насколько это в моих силах»[30].

Наступательные действия в Италии — то была его давняя мечта[31]. Дюмербиону не пришлось дважды повторять приглашение. Бонапарт был убежден в успехе предстоящей операции и уверял приехавшего в штаб депутата Конвента Тюро де Линиера, что, если бы ему дали пятьдесят пять тысяч солдат, он сумел бы завоевать Италию.

Широкие планы, большие замыслы, воля к действию... Но полный энергии генерал вскоре убедился в том, что его предложения, встречаемые сочувственно собеседниками, не воплощаются в практические действия. Ни генерал Дюмербион, ни представители Кон-

вента при армии не решались без санкции высших властей в Париже предоставить свободу действий инициативному генералу. А в Париже, в инстанциях, близких к термидорианским верхам, к генералу, пользовавшемуся поддержкой Робеспьеров, относились с нескрываемой враждебностью.

В Ницце, в штабе итальянской армии, вскоре хорошо это поняли. Операции против австрийцев были приостановлены. Генерал Дюмербион и комиссары Конвента при итальянской армии питали самые дружелюбные чувства к способному генералу, но рисковать ради него своим положением они отнюдь не собирались. Генералу Бонапарту в сущности было нечего делать в штабе итальянской армии.

Весной 1795 года по улицам и бульварам Парижа фланирующей походкой людей, которым некуда спешить, прогуливались трое молодых военных: один — в генеральском, двое других — в капитанских мундирах. Они шли медленно, внимательно разглядывая встречных прохожих, в особенности, конечно, женщин. Иногда спутники останавливались, чтобы прочесть сохранившиеся на стенах плакаты. Один из них — обращение Национального конвента к гражданам Парижа,— датированный 2 прериаля III года (21 мая 1795 года) Французской республики, уведомлял, что «Национальный конвент останется у власти, чтобы спасти родину, и надеется на преданность добрых граждан и их любовь к свободе и равенству»[32]. То были напоминания о только что подавленном грозном прериальском восстании народа Парижа. Но была весна, грело яркое солнце, и трое молодых людей, все так же не торопясь, с любопытством разглядывая все встречавшееся на их пути, пробирались к зеленой листве Люксембургского сада, чтобы здесь, расположившись привольно на широкой скамейке под могучей кроной каштана, ловить теплые косые лучи опускающегося солнца.

Старшему из них было двадцать пять лет. То был бригадный генерал Буонапарте, вызванный в столицу распоряжением Комитета общественного спасения. Генерала сопровождали его верные друзья капитаны Жюно и Мармон, продолжавшие числить себя его адъютантами и готовые идти на край света за своим на-

чальником и старшим другом, в звезду которого они поверили *[33].

7 мая (18 флореаля) Бонапарт получил приказ о переводе в Западную армию, то есть в армию, сражавшуюся против вандейцев. Он выехал со своими оруженосцами на следующий же день.

Бонапарт в почтовых каретах не спеша пробирался с юга на север, мысленно возвращаясь к местам, только что им оставленным. Зимой и весной 1795 года он часто навещал Марсель. Остановившись в Авиньоне, он пишет оттуда в Марсель своей «дорогой Эжени»: «Я узнаю́ в каждом твоем слове мои собственные чувства, мысли... Твой образ запечатлен в моем сердце... Твой на всю жизнь»[34].

Эти клятвенные уверения в неизменности чувств имели теперь и более прочные основания. Наполеон Бонапарт расставался с Дезире — Эжени Клари не только как нежный возлюбленный: с весны 1795 года Эжени и Наполеон были официально объявлены невестой и женихом.

Но мысли и чувства Бонапарта были обращены не только к прошлому, к Марселю; он пытался разглядеть сквозь белую пелену вечернего тумана, поднимавшегося над долиной многоводной Роны, вдоль которой бежала дорога, неясные очертания далекого Парижа. Что он сулит ему? Какое будущее его ожидает?

Бонапарт отдавал себе отчет в том, что после недавнего ареста, после былой близости к Робеспьерам он не может рассчитывать на радушный прием. Термидор перечеркнул славу Тулона. Все приходилось начинать сначала.

Но миновавшие годы многому научили его. В двадцать пять лет Бонапарт имел уже немалый жизненный опыт. Наивный идеализм, восторженная доверчивость, радужные надежды, с которыми он когда-то, десять лет назад, ехал в Валанс по той же дороге вдоль Роны, давным-давно выветрились. За минувшие годы он не раз испытывал превратности судьбы. Она то вздымала его вверх, то бросала вниз; он многое познал: напря-

* Луи Мадлен объяснял постоянное присутствие Мармона подле Бонапарта тем, что он с ним связан совместным пребыванием в школе (*L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I, p. 311). Но это очевидная ошибка: Мармон был на пять лет моложе Бонапарта и, как известно из его мемуаров, впервые увидел Наполеона в 1792 году.

жение ожесточенной борьбы и радость успеха; обманутые надежды и торжество победы; доверие и подозрение; вражду и дружбу; добро и зло.

Продвигаясь на север, к Парижу, он мысленно взвешивал, прикидывал шансы; он видел препятствия, стоявшие на его пути, и обдумывал средства их преодоления. Кто его знал в Париже? Кем он был? Одним из многих генералов, созданных революцией, к тому же скомпрометированным близостью к Робеспьерам. На чью поддержку он мог рассчитывать? Кто захочет ему помочь?

Среди влиятельных политических деятелей в столице Бонапарт мог надеяться только на Рикора, комиссара Конвента, оказывавшего ему в Тулоне и Ницце энергичную поддержку. Наполеон знал, что Рикор вернулся в Париж, занял свое место в Конвенте, он вновь стал политической силой, с которой нельзя было не считаться.

Но захочет ли Рикор протянуть руку помощи генералу, едва выкарабкавшемуся из узилища? В этом Бонапарт не был уверен. Однако какие-то шансы имелись; их было немного, и они были непрочны, но Бонапарт уже научился с легким сердцем идти на риск, к тому же у него не было выбора.

Бывший начальник артиллерии итальянской армии прибыл в Париж 9 прериаля; народное восстание было накануне подавлено, и волны торжествующей реакции смывали теперь всех хоть сколько-нибудь причастных к движению, грозившему ниспровергнуть строй. В их числе оказался и депутат Конвента Рикор; он был арестован вскоре после подавления восстания. Карта, на которую больше всего надеялся Бонапарт, оказалась битой.

Бонапарту оставалось идти прямым официальным путем. Он явился в военный отдел Комитета общественного спасения. С апреля 1795 года его возглавлял депутат Конвента Франсуа Обри.

Имя Обри вряд ли было знакомо Бонапарту. Человек, в чьих руках весной 1795 года оказались командные кадры французской армии, не принадлежал к числу прославленных полководцев, хотя и был профессиональным военным. Он был почти в два раза старше Бонапарта, получил звание старшего лейтенанта артиллерии в 1769 году, а форму бригадного генерала надел

всего два года назад. Уже по одному этому бригадный генерал двадцати пяти лет от роду не мог рассчитывать на его сочувствие.

Но главное было не в этом. Хотя Обри и был артиллеристом по образованию и профессии, пороха он не нюхал. Ловкий интриган, он старался держаться ближе к штабам, добиваясь продвижения по службе мышиной возней в кулуарах, а не подвигами на поле брани. Он преуспел в своих замыслах, добившись избрания депутатом Конвента от департамента Гар. В Конвенте и военном комитете, где как профессиональный военный Обри претендовал на руководящую роль, он вернулся к привычному ему искусству интриги. Но, будучи человеком без убеждений и неширокого кругозора, он дважды просчитался: его интриги в военном комитете против Дюбуа-Крансе и в Конвенте против депутатов Горы завершились полным провалом. Последнее — его ставка на жирондистов — обошлось ему дорого. В октябре 1793 года он был арестован и вышел из заключения лишь в декабре 1794 года.

Год с лишним пребывания в тюрьме воспитали в Обри какие-то убеждения: он стал злобным антиякобинцем. После разгрома восстания в жерминале, когда спрос на антиякобинцев возрос, Обри был снова пущен в ход: его назначили в Комитет общественного спасения, возложив на него задачу чистки армии от всех подозрительных.

Бонапарт с его якобинским прошлым был для него неприемлем; он мог бы в конце концов простить ему его молодость — приходилось же прощать ее Марсо и Гошу, но якобинизм его он не мог простить. Помытарив некоторое время молодого генерала, Обри наконец предложил ему идти бригадным генералом в пехоту против вандейцев. Обри, артиллерист по образованию, не мог не знать, что предложить артиллерийскому генералу идти в пехоту — значит оскорбить его. Бонапарт отверг предложение: он не мог поступить иначе.

И вот снова наступают дни безденежья, вынужденного безделья; Бонапарт снова со своими спутниками слоняется по бульварам Парижа; спешить некуда — никаких дел, никаких перспектив.

Опальный генерал, не обремененный никакими обязанностями, часто ходит на почту и здесь получает письма от своей «дорогой Эжени» из Марселя; на кон-

верте та же надпись: «Командующему артиллерией Западной армии генералу Бонапарту, находящемуся ныне в Париже». Он не спешит внести исправления в адрес, написанный рукой невесты. «Командующему артиллерией» — пусть будет так. Он не сообщает ей о постигшей его неудаче. Жозефа он тоже не считает нужным информировать о происшедшем. В ряде писем он глухо говорит о своем нездоровье: надо ведь как-то объяснить затянувшееся пребывание в столице.

Но человек слаб, и Бонапарт не представлял исключения, ему были присущи все людские слабости. Иногда его охватывали приступы тоски, черной меланхолии. Он пишет Жозефу сентиментальные письма: «Как бы ни поступала с тобой судьба, ты должен знать, мой дорогой, что ты не можешь иметь большего друга, которому ты был бы так дорог и который бы так искренне хотел твоего счастья»[35]. Он просит Жозефа прислать портрет.

С деньгами становится все хуже. Жюно выжимает из своего отца все, что можно выжать, но все равно нужда преследует их по пятам. Бонапарт меняет отели; он находит самый дешевый — всего три франка в неделю; бывает ли еще ниже цена?

Если верить Лауре д'Абрантес, генерал в ту пору ходил без перчаток, в сильно поношенном мундире; у него был крайне неприглядный вид[36]. Он был по большей части сумрачен, хотя и пытался порой скрыть свое подавленное состояние искусственной улыбкой.

Время от времени он наведывался в военный комитет и в одно из посещений установил, что Обри уже нет. Он продолжал подниматься вверх, но это приближало его падение. Незадачливый политик, уверовавший в то, что выигрывает только карта справа, жестоко просчитался. Он строил расчеты на том, что ход вещей неотвратимо ведет к восстановлению старой монархии. После событий 18 фрюктидора (4 сентября 1797 года) Обри был арестован как контрреволюционер, приговорен к ссылке в Гвиану, по пути бежал и в июле 1798 года умер. В 1795 году в его кресле Бонапарт увидел нового начальника, Дулсе де Понтекулана. Новый руководитель военного комитета, также депутат Конвента, был начальником совсем иного склада, чем Обри. Любезный, со всеми ласковый, бывалый человек, живший до революции и в Вене, и в Берлине, и в Петербур-

ге, преуспевавший и при старом режиме, и при новом, имевший друзей во всех партиях, он искусно миновал многочисленные рифы, через которые его нес поток бурного времени, и сумел избежать, казалось бы, неминуемого ареста, в разное время и по разным поводам подстерегавшего его.

Молодого генерала не у дел он встретил доброжелательно; внимательно выслушал его пожелания и, не затягивая дело, зачислил в топографическое бюро военного комитета, поручив заниматься тем, что ему было больше всего по душе,— оперативными планами итальянской армии. Бонапарт воспрянул духом. Он с увлечением занялся своим любимым детищем — планом итальянской кампании[37].

Но в ту переходную пору неустойчивой политики, колебаний маятника то вправо, то влево подолгу не засиживались на одном месте. Явившись однажды в военный комитет, Бонапарт увидел в кресле Дулсе де Понтекулана новое, незнакомое ему лицо. Любезный руководитель военного ведомства, чутко улавливавший малейшие изменения политической атмосферы, накануне вспорхнул: он поспешно покидал кресло, могущее стать небезопасным. С этим обходительным, ласковым господином мы почти не будем встречаться на страницах исторического повествования. Это не значит, что он окончил свое земное существование; напротив, будучи старше Бонапарта на пять лет, он пережил его на тридцать два года и умер накануне своего девяностолетия. Но опыт бурных лет научил его не стремиться к первым ролям; он предпочитал им более спокойные и, разумеется, хорошо обеспеченные вторые и третьи места. Он сошел со страниц истории, но благоденствовал в личной жизни, занимая хорошие должности во времена империи (Наполеон не забыл его любезности), и сохранял звание пэра Франции в годы Реставрации и Июльской монархии. Февральская революция 1848 года положила конец его служению государству, уничтожив палату пэров. Дулсе де Понтекулану было тогда восемьдесят четыре года[38].

Понтекулан исчез, а кадры военного комитета, подобранные Обри, отнюдь не склонны были проявлять любезность к молодому генералу-якобинцу.

Бонапарт снова увидел перед собой непробиваемую стену недоброжелательства. Его опять оттирали от дел.

Казавшаяся уже осуществимой итальянская кампания отдалялась в будущее, превращалась в миф.

Испытанные превратности судьбы научили Бонапарта хладнокровно принимать неожиданные изменения хода событий. Его письма к Жозефу, к невесте показывают, что он отнюдь не ощущал большого душевного потрясения. Не осуществились мечты об Италии... Ну что ж, он придумает что-нибудь другое...

Ему не пришлось даже долго раздумывать. В конце августа его увлекла мысль отправиться военным советником в Турцию. Он пишет официальное представление об этом в военный комитет, сообщает о своих планах невесте[39].

Наполеон располагает теперь избытком свободного времени и не теряет его даром. Он много читает, внимательно следит за ходом политических событий. Он не скрывает своей враждебности к усиливающимся роялистам *. В немалой мере его занимают и практические вопросы. Он хочет поправить свои денежные дела, и в переписке с Жозефом все чаще возникают темы приобретения собственности — земли или дома. Он возвращается к мысли о том, что надо ускорить брак с Эжени Клари. «...Необходимо или закончить дело с Эжени, или разорвать»[40],— пишет он в сентябре 1795 года Жозефу, и эти несколько слов раскрывают, как велики были соображения расчета в этом кажущемся столь сентиментальным романе.

Бонапарт часто бывает в доме Пермонов; он заводит и новые знакомства. С лета 1795 года он становится вхож в салон знаменитой в ту пору Терезии Тальен, «Нотр дам де Термидор», «божьей матери термидора», как ее называли полупочтительно, полуиронически посетители ее вечеров.

В замкнутом, укрытом от нескромных глаз узком кружке термидорианских вождей одна из главных ролей, первоначально по крайней мере, принадлежала Тальену.

Не в меньшей мере, чем Баррас или Фрерон, Тальен был как бы воплощением всех пороков и преступлений термидорианского режима. Сын дворецкого графа Бре-

* «Одно из первичных собраний высказалось в пользу короля; это вызывает смех»,— писал он Жозефу 12 сентября 1795 года (Corr., t. 5, N 68, p. 89).

си, перенявший от господ, за которыми он следил из людской со злобной завистью и восхищением, их манеры, их повадки и жесты и даже что-то от образования, он должен был мириться с жалкой ролью клерка у нотариуса, когда разразившаяся революция открыла перед ним широчайшие возможности. В 1789 году ему минуло двадцать два года, он был неглуп, красноречив, дерзок, ему нетрудно было выдвинуться — сначала в Сент-Антуанском предместье, затем в Коммуне Парижа. Избранный в двадцать пять лет депутатом Конвента, он возомнил о себе бог весть что: его дерзость стала беспредельной. В рядах якобинской партии Тальен примыкал к ее крайнему, экстремистскому крылу. Направленный вместе с Изабо комиссаром Конвента в полумятежный Бордо, он поразил видавшее виды население города свирепостью обрушенных на него репрессий. Впрочем, вскоре некоторые лица, обладавшие крупными капиталами, нашли способ освободиться от жестокой кары. Банкир Пексото, уплатив миллион двести тысяч ливров, был выпущен на свободу, братья Раба были освобождены за пятьсот тысяч ливров, Лафон — за триста тысяч[41].

Тальен в Бордо доказал, что он неравнодушен не только к золоту, но и к женским чарам. Терезия Кабаррюс, дочь испанского банкира, в четырнадцать лет вышедшая замуж за дельца, выдававшего себя за маркиза Фонтене, а затем разошедшаяся с ним, приобрела огромное влияние на Тальена. В доносах, посыпавшихся в Комитет общественного спасения, утверждалось, что она не только выступает на народных празднествах в красном фригийском колпачке олицетворением Свободы (с этим еще, может быть, примирились), но что с ее помощью аристократы, финансисты и спекулянты за соответствующую мзду обделывают темные дела. Тальен был отозван в Париж; Кабаррюс спустя некоторое время была заключена в тюрьму Ла Форс в столице.

Чувствуя, как сужается круг, Тальен пытался улучшить свои позиции обличительными речами против врагов Республики, с наигранным пафосом произнесенными в Конвенте и в Якобинском клубе. Его чрезмерное усердие вызвало презрительную, откровенно враждебную реплику Робеспьера. Тальен пытался оправдываться, но его оборвал Билло-Варенн: «Бес-

стыдство Тальена беспредельно, он лжет Собранию с неслыханной смелостью»[42]. Якобинский клуб изгнал его из своих рядов. Отчаяние, стремление любой ценой уйти от ответственности за безмерные злодеяния и преступления, не укрывшиеся — он был в том уверен — от зоркого взгляда Робеспьера или Сен-Жюста, привели Тальена в ряды термидорианских заговорщиков, придали ему отвагу в решающие часы 9 термидора. Если допустимо такое парадоксальное сочетание слов, то можно сказать, что страх внушил ему смелость. Он стал одним из главных действующих лиц трагических событий термидора.

После казни руководителей революционного правительства Тальен вздохнул свободно. Теперь у него было все, к чему он стремился,— власть, деньги, вино, яства, Терезия, вернувшаяся из тюрьмы и ставшая официально госпожой Тальен. Свое влияние одного из главарей термидорианской партии он использовал прежде всего для того, чтобы уничтожить честных якобинских деятелей, могущих раскрыть его преступления,— Колло д'Эрбуа, Камбона, Шудье, Билло-Варенна и сколько еще других! Тальен во многом преуспел. С присущей ему самонадеянностью и дерзостью выскочки, которому благоприятствовало стечение обстоятельств, принимаемое им за результат собственных усилий, он возомнил, что отныне Франция у его ног. Он жестоко просчитался.

Груз преступлений тянул его вниз. При каждом неловком шаге ему предъявлялись новые обвинения за старые преступления. Его алчность и злобность, волчьи повадки, готовность перегрызть глотку любому сопернику вызывали у многих опасения. От него старались избавиться. Тальен еще был избран в Совет пятисот, но уже не имел там никакого влияния. В 1798 году он остался не у дел. Бонапарт взял его на третьестепенных ролях в египетскую экспедицию и... оставил в Египте. Во Францию Тальен смог вернуться лишь три года спустя, он здесь был никому не нужен. Он прожил еще долгую жизнь, стараясь прислуживать всем режимам, но от него отворачивались с презрением. Жена давно его бросила, единственная его дочь, ставшая графиней Нарбон-Пеле, не желала знать отца; друзей у него не было, дурная слава опережала его — к нему поворачивались спиной. Пораженный слоновой болезнью, безобразный, страшный, он влачил жалкую жизнь в нищете,

одинокий и всеми забытый. Он умер в 1820 году нищим, всеми отвергнутый и презираемый, выпрашивая в льстивых, раболепных письмах подачки у правительства Людовика XVIII. Конец его жизни, казалось, был воспроизведением заключительных страниц романов Александра Дюма-отца с их неминуемым возмездием за совершенные преступления.

Но летом 1795 года, когда опальный генерал Буонапарте перешагнул порог «хижины», как скромно именовала Терезия Тальен свой великолепный салон, никто в доме Тальенов не мог еще предвидеть зловещего финала карьеры ее хозяина.

Наполеон позднее, на острове Святой Елены, вспоминал: «Госпожа Тальен в то время была поразительно красива; все охотно целовали ей руки и все, что было можно»[43]. Она родила дочь, которой дали имя Термидор-Терез-Роз; столь необычное имя подчеркивало, какое решающее значение придавали супруги Тальен дню 9 термидора.

Субрани, один из «последних монтаньяров», погибший героической смертью в дни прериальского восстания, незадолго до этого писал о «божьей матери термидора» — Терезии Тальен: «Эта женщина заменяет ныне Марию-Антуанетту; среди общей нищеты она выставляет напоказ кричащую роскошь, является на спектакли увешанная бриллиантами, в одежде римлянки и задает тон всему, что скрывают пороки обоих полов в Париже»[44].

«Хижина» госпожи Тальен была в то время самым влиятельным политическим салоном; его постоянными посетителями были Баррас, Фрерон, преуспевающий молодой финансист Уврар; здесь не только ухаживали за красивыми женщинами и пили вино, но и между двумя бокалами полунамеками договаривались о решении важнейших государственных вопросов, через день или два получавших законченное юридическое выражение в официальных учреждениях Республики.

В письмах к своей невесте Эжени Клари Бонапарт отзывался о салоне госпожи Тальен в пренебрежительно-равнодушном тоне, лишь как бы слегка поддразнивая ее напоминанием об общепризнанной красоте «божьей матери термидора». Цель была достигнута. Дезире Клари была встревожена: с присущим ей даром интуиции она угадала, что из всех сообщаемых жени-

хом новостей небрежные упоминания о госпоже Тальен — самые важные. Почти в каждом письме она спрашивает его о мадам Тальен[45].

Посещение Бонапартом салона Терезии Тальен имело для него действительно важные последствия. Но не потому, что он поддался обольщающим чарам; признавая красоту Терезии, он оставался к ней равнодушен, да и он в ту пору не интересовал госпожу Тальен; он был беден, неизвестен, неловок; обольстительная «божья матерь термидора», гордившаяся назло соперницам, что столько мужчин у ее ног, была готова слегка покровительствовать Бонапарту: по ее записке (значившей много больше, чем официальная бумага) обносившемуся генералу отпустили сукно на шинель. Этим исчерпывалась ее любезность. На большее она не склонна была идти.

В салоне Тальен Бонапарт напомнил о себе людям, которые когда-то видели его в лучшие дни — в декабре 1793 года, а затем совсем забыли о нем. Баррас и Фрерон были в Тулоне, когда Бонапарт руководил штурмом города. Но мало ли способных офицеров встречалось на их пути?

Бонапарт также не вспоминал их; они ему были безразличны. Но когда случай снова свел их в устланной коврами нарядной «хижине» «божьей матери термидора» поздним летом 1795 года, ситуация стала иной. Бонапарт был генералом в опале, ему не доверяли, его фактически отстранили от дел. Баррас, Фрерон, Тальен были главарями ставшей господствующей партии термидорианцев, фактическими руководителями термидорианской республики.

Бонапарт редко ошибался в людях. В том, что касалось Барраса, Фрерона, Тальена, и проницательности не требовалось. Эти люди, так сказать, афишировали свои пороки. Бонапарт их презирал; это подтверждается не только прямыми суждениями о них в воспоминаниях на острове Святой Елены[46], но и его действиями после 18 брюмера. Когда власть оказалась в руках Бонапарта, он исключил всех троих из политической жизни: Баррас, отданный под надзор полиции в своем имении, оказался на многие годы прикованным к одному месту — ему запретили выезжать; Фрерон был отправлен супрефектом в тропики Сан-Доминго, где через

полгода умер от желтой лихорадки; Тальен был обращен в ничтожество.

Но в 1795 году все еще выглядело иначе: Баррас, Фрерон, Тальен были всемогущи, бригадный генерал Буонапарте ничего не значил.

Однако Бонапарт 1795 года был уже иным, чем десять лет назад. Горячность, прямолинейность, принципиальность последователя Руссо и Рейналя давно улетучились. В бригадном генерале Буонапарте мало что осталось от восторженной мечтательности младшего лейтенанта, предлагавшего Паоли руку, шпагу и перо, и даже от автора «Ужина в Бокере». После крушения корсиканских иллюзий, после стольких разочарований, взлетов и новых падений, неожиданных поворотов судьбы это был во многом иной человек. Он научился скрывать свои чувства, прятать сокровенные мысли и планы, носить на лице маску, играть диктуемую обстоятельствами роль. Ко многим дарованиям, обнаружившимся рано, в новых трудных обстоятельствах прибавилось еще одно — несомненный большой, можно даже без ошибки сказать огромный, актерский талант.

Этот невысокого роста, худой, почти болезненного вида молодой человек с черными прямыми длинными волосами, падающими на плечи, со странной бледностью нефранцузски смуглого лица, необычайно живыми глазами, всегда небрежно, почти плохо одетый, обладал какой-то непостижимой способностью привлекать к себе внимание, заставлять себя слушать, более того, считаться с собой. Неловкий, с угловатыми манерами, он умел, когда это было надо, становиться удивительно приятным, очаровывать, располагать к себе.

В Париж он приехал чужаком; люди, на поддержку которых он рассчитывал,— Рикор, Саличетти — были не в чести. Огромный город оставался для него чужим и враждебным. За ним шла по пятам тень Огюстена Робеспьера; Обри приложил немало усилий, чтобы о ней не забывали, и она отталкивала в 1795 году соприкасавшихся с ним.

А он рискнул прийти в дом «божьей матери термидора» — в логово термидорианских вождей, замкнутое, недоступное для посторонних место встреч главарей термидорианской партии. Человек из далекого от них мира, «фаворит Робеспьеров», как о нем недавно говорили, он рискнул перешагнуть порог этой «хижины»

и сумел добиться, не прибегая к грубой лести, не ухаживая больше общепринятого за хозяйкой, что с его появлением здесь примирились, а затем нашли даже приятным...

Зачем ему это было надо? Чтобы поддразнить Дезире Клари? Чтобы добиться каких-либо изменений в собственной судьбе? Так ли это было ему нужно?

В сентябре 1795 года он получил одновременно два взаимоисключающих документа. Один — от Комитета общественного спасения, подписанный Камбасересом и другими,— уведомлял о том, что ввиду неявки к месту назначения бригадный генерал Буонапарте увольняется из действующей армии, другой — от военного комитета — сообщал о назначении генерала Буонапарте главой военной миссии, направляемой в Турцию.

При той путанице и неразберихе, которые царили в правительственном аппарате в дни термидорианского режима, появление в один день двух совершенно различного содержания документов об одном и том же военнослужащем не представляло ничего исключительного. По-видимому, ни тот ни другой приказ не имел обязательной силы...

Впрочем, Бонапарт настроился уезжать в Турцию. 5 вандемьера (27 сентября 1795 года) он писал Жозефу: «Более чем когда-либо, сейчас стоит вопрос о моей поездке. Его можно было считать вполне решенным, если бы не происходящее здесь брожение»[47]. Он, впрочем, надеялся на то, что в ближайшие дни все уладится.

Год спустя после переворота 9 термидора его классовое содержание раскрылось со всей ясностью. То была победа новой буржуазии, выросшей и разбогатевшей за годы революции и установившей свое полное господство, чтобы беспрепятственно воспользоваться всеми благами приобретенного. Политическое же содержание термидорианской реакции было менее ясным. До каких пор будут идти вправо? Что будет последним рубежом? Восстановление монархии? Возвращение Бурбонов?

В конце 1794 года еще никто не смел говорить об этом вслух. Да и политическая обстановка, казалось, совершенно исключала такую возможность. Своеобразие ситуации заключалось в том, что наступление буржуазной контрреволюции внутри страны сочеталось

с победами армий Республики над феодальной контрреволюцией на фронтах войны.

Титанические усилия якобинской диктатуры принесли всходы, когда руководители ее уже сложили головы на эшафоте. Во второй половине 1794 года войска Республики повсеместно перешли в наступление. Армия Пишегрю заняла Голландию, приветствуемая населением, встречавшим французов как освободителей. Армия Самбры — Мааса, возглавляемая Журданом, в которой особенно прославился Клебер, нанесла тяжелые поражения австрийцам, пруссакам и гессенцам. Весь Рейн оказался в руках французов. Даже на пиренейском фронте, в войне с Испанией, где французы долгое время не могли добиться успеха, к концу 1794 года обозначился перелом, и армия под командованием Периньона, а затем Шерера перешла в наступление[48].

Под ударами республиканских войск антифранцузская коалиция начала распадаться. Интервенция провалилась. Республиканская Франция блистательными победами доказала свое превосходство над армиями европейских монархий. В столкновении двух миров — старого и нового — преимущества оказались на стороне нового. К тому же победы французского оружия обострили противоречия, раздиравшие изнутри антифранцузскую коалицию. Восстание поляков, возглавляемых Тадеушем Костюшко, весной 1794 года, его подавление и последовавший вскоре третий раздел Польши до крайности обострили противоречия между Пруссией и Австрией.

С конца 1794 года начались мирные переговоры с Пруссией. Они были завершены Базельским мирным договором, подписанным 2 апреля 1795 года Бартелеми и Гарденбергом[49]. Он оставлял за Францией левый берег Рейна. 22 июля 1795 года в том же Базеле был подписан мирный договор, прекращавший войну с Испанией[50]. Правда, уже вырисовывались зримые очертания нового антифранцузского союза — Англии, Австрии и России Екатерины II. Но это не умаляло крупнейшего политического значения обоих Базельских договоров: как их ни трактовать, они остались в истории юридическими и дипломатическими памятниками поражения антифранцузской феодальной коалиции.

В военно-дипломатической практике тех лет были и другие факты, заслуживавшие внимания. Договор с Батавской республикой, заключенный в Гааге в мае 1795 года, устанавливал фактически полную зависимость голландцев от французов[51]. Батавская республика становилась вассалом Французской республики. Об этом ли мечтали жители Нидерландов, приветствуя в 1794 году французские армии? Бельгия знаменитым декретом 1 октября 1795 года была попросту присоединена к Франции. Мерлен, выступая в Конвенте 30 сентября 1795 года, цинично говорил: «Для Республики важно, чтобы бельгийцы и люттихцы были свободны и независимы лишь постольку, поскольку они будут французами...»[52]

Знаменитый лозунг «Мир — хижинам! Война — дворцам!», горевший на полотнищах полков волонтеров, опрокидывавших армии интервентов, выцвел, стерся, о нем теперь все реже вспоминали. Война незаметно обретала новое содержание; широкие завоевательные планы воодушевляли крупную буржуазию, с каждым днем все тверже чувствовавшую себя хозяином страны.

Возможно ли было, чтобы новые господа, завладевшие богатством старых сеньоров, отправившие на гильотину Людовика XVI Капета и тем сжегшие за собой мосты, согласились на восстановление монархии Бурбонов? Это было исключено, так как противоречило их интересам.

Но тысячелетняя монархия имела многих сторонников в стране, а возглавлявшая роялистскую партию эмигрантская знать не хотела, а может, и не умела трезво оценивать чуждые ей интересы. Надежда, пробудившаяся в кругах роялистов после 9 термидора, росла по мере того, как термидорианцы удар за ударом сокрушали силы народа. После жерминаля и прериаля робкие ожидания переросли в уверенность. В эмигрантских кругах в Петербурге, Турине, Вене, Лондоне уже готовились к торжественному въезду Людовика XVIII во дворец своих предков, белые лилии снова входили в моду.

Новая конституция, обсуждавшаяся летом 1795 года, хотя и сохраняла во Франции республиканский строй, своим острием была направлена против народа. Отменив всеобщее избирательное право, установив вы-

сокий избирательный ценз, две палаты вместо одной и исполнительную власть — Директорию, наделенную весьма широкими правами, творцы новой конституции создавали новый режим, новую страну — «страну, управляемую собственниками», как открыто сказал о том один из термидорианских лидеров — Буасси д'Англа.

Роялисты не без основания рассчитывали, что избирательная система, установленная конституцией III года Республики, обеспечит им большинство в будущих собраниях и, следовательно, возможность «законного» восстановления монархии.

Роялистская партия не представляла собой чего-либо единого. Напротив, не было ничего более пестрого, противоречивого, разноголосого, чем партия сторонников монархии. Логика реакционной политики заставляла передвигаться вправо многих из тех, кто недавно называл себя «защитником свободы». Бывшие жирондисты, фельяны, сторонники Лафайета в 1795 году уже склонялись к признанию преимуществ монархии. Виднейшие деятели термидорианского Конвента, творцы новой конституции Буасси д'Англа, Ларевельер-Лепо, Ланжюине, Лакретель считались, и с должным основанием, монархистами, хотя между ними имелись немалые политические различия.

Еще более резкая разница была между конституционными монархистами во Франции и роялистами эмиграции. Общим, что объединяло всех эмигрантов, была неистовая ненависть к революции. У них пересыхало горло от неутолимой жажды мести. Злобно-кощунственная фраза д'Антрэга: «Я буду Маратом контрреволюции; я отрублю сто тысяч голов» — не была только его личным желанием. Граф Ферран, будущий министр Людовика XVIII, требовал сорок четыре тысячи казней. Граф Утремон хотел, чтобы все купившие имущество духовенства были расстреляны[53]. Но дальше мечтаний о кровавом возмездии сплоченность роялистов не шла. Эмиграцию раздирали склоки, интриги, взаимные обвинения.

В 1795 году большинству сторонников монархии представлялось, что движение вправо, непрерывно совершавшееся во Франции с 9 термидора, самим ходом вещей приведет их к власти.

Но такую перспективу учитывали и термидорианцы. Чтобы не допустить преобладания роялистов в будущих

законодательных органах и прочно удержать за собой власть, они нашли простое решение. Декретами 5 и 13 фрюктидора (22 и 30 августа 1795 года) термидорианский Конвент постановил, что две трети состава будущих законодательных собраний должны быть избраны из числа депутатов Конвента.

Надежды роялистов на легкий, конституционный путь к реставрации монархии рухнули. Декрет о двух третях вызвал их ярость. Нельзя ли добиться тех же результатов иными путями? Эта мысль в течение сентября воодушевляла сторонников монархии. В столице было много роялистов, хорошо вооруженных и научившихся за бурные годы обращаться с оружием. Среди офицеров Парижского гарнизона было немало сторонников монархии. Ходили слухи, что к их числу принадлежит и командующий вооруженными силами столицы генерал Мену. Еще осмотрительнее, с глазу на глаз, и то как нечто крайне сомнительное, шепотом передавали, что на сторону монархии перешел «сам» генерал Пишегрю.

Слава Пишегрю в то время достигла зенита. После побед в Голландии Конвент наградил его званием «спасителя отечества». Затем ему курили фимиам за подавление восстания в прериале; вслед за тем он был назначен командующим Северной армией, которому подчинили рейнскую армию и армию Самбры — Мааса. Впервые за годы революции в руках одного генерала сосредоточилась такая огромная власть. На что же она будет употреблена? Современники этого не знали. Позже стало известно, что в августе 1795 года к всесильному генералу явился некий Фош-Борель, агент Бурбонов; сначала он говорил о рукописях Руссо, затем повел осторожный разговор о склонности людей к переменам, о возможности восстановления монархии. Фош-Борель опасался, что после первых двусмысленных слов его расстреляют. Этого не произошло, он был выслушан. Позже граф Монгайяр вел переговоры с Пишегрю о том же[54]. Понятно, это хранилось еще в тайне, но слухи, доходившие до чутких ушей в Париже, воодушевляли заговорщиков, придавали им храбрость.

В начале вандемьера (конец сентября) заговорщики решили, что час действия наступил: в октябре заканчивалась деятельность Конвента и вступала в силу новая конституция. Медлить было нельзя.

11 вандемьера в Конвенте узнали, что в секции Лепелетье собираются враждебные силы, что в зале Французского театра происходят незаконные собрания, что под лозунгом «Долой две трети!» идет мобилизация всех недовольных. На стороне мятежников была и Национальная гвардия, «очищенная» после 9 термидора и ставшая оплотом крайне правых сил. Конвент объявил свои заседания непрерывными и поручил генералу Мену силой оружия восстановить порядок в столице.

Мену не спешил. Вместо того чтобы выполнить приказ Конвента, он вступил 12-го в переговоры с мятежниками, настойчиво давая понять, что склонен идти на уступки. Его поняли, и обе стороны договорились отступить, не прибегая к оружию. Мену первым отдал приказ подчиненным ему войскам отступить.

Пока войска Мену отступали, роялисты собрали свои силы и быстро организовались. Во главе мятежников встал Рише де Серизи, главнокомандующим был назначен генерал Даникан, его помощником, весьма расторопным, был Лафон, недавно вернувшийся из эмиграции.

Рассказы о событиях 13 вандемьера его главных действующих лиц во многом расходятся *. Тем не менее все единодушны в том, что странная пассивность Мену позволила роялистам добиться значительного численного превосходства над силами термидорианского Конвента. Наполеон считал, что у мятежников было не менее сорока тысяч солдат[55]. Исследователи более позднего времени полагали, что роялисты располагали лишь двадцатью четырьмя — двадцатью пятью тысячами, но и это было в четыре раза больше, чем у Конвента.

Критическая ситуация, сложившаяся к вечеру 12 вандемьера, потребовала от термидорианцев чрезвычайных мер. Мену был смещен и арестован. Командующим вооруженными силами Конвента был назначен Баррас[56].

При всех неисчислимых пороках и недостатках Барраса ему нельзя было отказать ни в энергии, ни в решительности. Баррас, аристократ по рождению,

* Это относится прежде всего к Баррасу и Бонапарту, односторонне преувеличивающим каждый свою роль (*P. Barras.* Mémoires, publ. par G. Duruy, t. I. Paris, 1896, p. 250—252; Corr., t. 29, p. 50—60).

начинал свой жизненный путь традиционной для дворянина службой в армии и даже участвовал как лейтенант в экспедиции в Индию. Но военного дела он не любил и не знал. В такой опасной обстановке он не рискнул остаться без помощи военных специалистов. Баррас привлек ряд генералов, в их числе и Бонапарта наряду с Брюном, Карто и другими.

Бонапарт не был заместителем главнокомандующего, как он писал в своих мемуарах. Он был назначен в соответствии со своей специальностью начальником артиллерии. Почему фамилия Буонапарте всплыла в сознании Барраса, остается невыясненным. Может быть, сыграли роль вечера в доме Тальенов, где Баррас встречался с Бонапартом? Может быть, это имя подсказал Фрерон? Во всяком случае рассказ Бонапарта о том, как его имя было названо членами Комитета общественного спасения[57], представляется неправдоподобным. Как бы то ни было, Бонапарт, находившийся столько времени не у дел, почти отвергнутый, неожиданно оказался в самом центре стремительно развертывавшихся событий.

Быть может, одной из самых замечательных черт его интеллекта была способность к очень быстрой, почти мгновенной реакции на внешние события. Едва лишь получив поручение Барраса, он сразу же переключился на решение вставшей перед ним задачи; он ушел в нее с головой, весь захваченный нелегкими проблемами, которые она ставила.

Положение было действительно трудным. Противник располагал превосходством в силах в четыре-пять раз. Он подготавливал решающую атаку на дворец Тюильри, где заседал Конвент, и пять тысяч солдат в распоряжении правительства — этого было явно недостаточно, чтобы противостоять мощным силам мятежников. Решение напрашивалось само собой. Устранить роковые последствия численного превосходства противника можно было, лишь прибегнув к самым сильным средствам ведения боя — к артиллерии.

Но пушки — сорок пушек разного калибра — находились в нескольких километрах от Тюильри, в Саблонском лагере, возле Нейи. Победы добьется та сторона, у которой будет артиллерия.

Был час ночи, и шел проливной, ни на миг не ослабевающий дождь, когда Бонапарт отдал приказ коман-

диру эскадрона 21-го стрелкового полка со своими солдатами и тремястами лошадьми как можно быстрее пробиться в Саблонский лагерь, взять пушки и привезти их назад в Тюильри. Задача была непростой, так как надо было пройти через территорию города, занятую мятежниками, и следовало опасаться, что роялисты также попытаются овладеть артиллерией.

Молодой командир, охотно, даже весело принявший этот приказ, выполнил его блестяще. Он промчался вихрем со своим эскадроном по улицам ночного Парижа, сшибая и опрокидывая все встречавшиеся на пути патрули, отбросил прибывшую раньше его в Саблонский парк колонну противника, овладел пушками и в шесть часов утра доставил их в Тюильрийский парк.

Молодого офицера звали Иоахим Мюрат. Ему было двадцать восемь лет; сын трактирщика, он в 1787 году поступил солдатом в кавалерию и после пяти лет службы получил первый офицерский чин. В сущности у него почти не было биографии; по-настоящему она началась лишь в ту ветреную, ливневую ночь 4 октября, когда быстротой и напористостью своих действий он во многом предопределил исход событий 13 вандемьера[58].

Бонапарт сразу же оценил храбрость, стремительность и энергию молодого офицера. Таких людей он замечал мгновенно и старался удержать подле себя. Он назначил Мюрата своим адъютантом; с ночи 4 октября 1795 года их пути соединились, и надолго — на двадцать лет.

Утром 13 вандемьера солдаты правительственных войск, защищавшие Тюильри — резиденцию Конвента, стали получать лаконичные, деловые приказы, определявшие новое расположение частей и орудий. Приказы исходили от генерала Буонапарте. Это имя еще никому не было известным. «Бонапарт? Это что за черт?» — воскликнул Тьебо, в ту пору капитан, позднее генерал и барон империи, впервые услышав незнакомое ему имя в то памятное утро. Тьебо оставил колоритную зарисовку первого впечатления, произведенного на него генералом. «Небрежность его туалета, длинные свисающие волосы, ветхость одеяния подчеркивали крайнюю нужду, но, несмотря на опалу, на двадцать шесть лет, на общий столь неимпозантный внешний вид... с этого дня он стал подниматься в общественном мнении...»[59]

Бонапарт нашел простейшее решение. В ту пору еще не было многих мостов через Сену, соединяющих ныне левый берег с правым. Карто первоначально удерживал прочно Новый мост, и, следовательно, не приходилось опасаться удара с левого берега. Это позволило Бонапарту расположить основные орудия своей артиллерии в направлении Пале-Рояль, откуда надо было ожидать главную атаку.

Он ждал, когда мятежники сконцентрируют для наступления крупные силы; в условиях уличной войны иначе и быть не могло. И действительно, когда у церкви Святого Роха скопились значительные соединения противника, готовые идти на штурм Тюильри, Бонапарт отдал команду: «Огонь!»

Несколько залпов из артиллерийских орудий — и исход сражения был решен. На улицах остались сотни убитых и раненых. Мятежники разбежались в разные стороны[60].

Историки позднее, сгущая краски, склонны были изображать применение пушек при подавлении мятежа 13 вандемьера как нечто исключительное. Это не так. И во время так называемого дела Ревельона (апрель 1789 года), и при подавлении солдатского мятежа в 1790 году в Нанси, и во время восстания 31 мая — 2 июня 1793 года в дело вводились пушки. В некоторых случаях они стреляли, в других в том не было необходимости, но уже с 1789 года ожесточенность классовой борьбы, перераставшей в гражданскую войну, заставляла обе стороны прибегать к силе артиллерии. В обращении к аргументации пушек в событиях 13 вандемьера не было ничего экстраординарного.

В равной мере должны быть отвергнуты и стремления некоторых историков к искусственной драматизации ситуации. Когда, например, Анри д'Эстр (Дюфестр) пишет о внутренней борьбе между «чувством и долгом», которую якобы испытывал Бонапарт утром 13-го, когда он утверждает, что «победитель в стольких битвах начинал путь с капитуляции собственной совести»[61], то это должно быть признано просто домыслом автора. Как будто бы Бонапарт за два года до этого не стрелял по роялистам из пушек под Тулоном и десять лет спустя не расстрелял герцога Энгиенского! У Бонапарта ни на минуту не возникало сомнений в правомерности подавления мятежа роялистов силой оружия.

Но трудно согласиться и с французским прогрессивным историком Эмилем Терсеном, автором интересной книги о Наполеоне, когда он, изображая события 13 вандемьера, утверждает, что Бонапарт той поры оставался — «нельзя в том сомневаться — революционером и якобинцем»[62].

Быть революционером в 1795 году — это значило быть близким к «якобинцам вершины», погибшим в прериале, искать сближения с Бабёфом, Буонарроти, Дарте, уже закладывавшими основы «заговора во имя равенства». Бонапарт был от этого весьма далек. Конечно, он оставался в 1795 году и позже республиканцем, врагом монархии и роялизма по убеждению, но его якобинизм был уже в прошлом.

Бонапарт в вандемьере действовал без каких-либо сомнений и колебаний. Для них не было почвы: вандемьер не вносил ничего принципиально нового. Гош разгромил роялистов при Кибероне; какое это имело значение в его биографии полководца?

Бонапарт первоначально опасался, что вандемьер, может, даже не окажет влияния на его судьбу. Баррас, докладывая в Конвенте об успешном завершении порученной ему операции, не счел нужным назвать имя Бонапарта. Удачливый генерал мог остаться анонимным статистом событий дня. Но неожиданно Фрерон, поднявшись на трибуну, произнес горячую речь в пользу генерала Буонапарте. Фрерона воодушевляли отнюдь не забота о справедливом распределении лавров, а, как всегда, личные интересы. С некоторых пор он был увлечен Паолеттой Буонапарте; прекрасная Паолетта — кому только не кружила она голову! В нее был влюблен Жюно, ее руки домогался некий Бийон, на нее претендовали многие, и Фрерону, намеревавшемуся на ней жениться (что было делом не простым: он был уже женат и предстояло пройти через развод), было важно заручиться поддержкой ее брата[63].

Как бы то ни было, но имя Буонапарте как одного из главных героев 13 вандемьера было названо с трибуны Конвента. Последствия этого оказались значительными. 4 брюмера Бонапарт был произведен в дивизионные генералы и почти одновременно назначен сначала заместителем, а затем главнокомандующим внутренней армией Парижа, то есть, иными словами, гарнизоном столицы. Пост этот был важным не только по своему

политическому значению. Командующему внутренней армией подчинялись крупные военные силы, дислоцированные в столице и ее окрестностях; по подсчетам Марселя Рейнара, в подчинении у генерала Бонапарта было не менее тридцати девяти тысяч солдат и офицеров всех родов войск[64].

Он стал влиятельным человеком. Как корсиканец, он не забывает, что он глава клана; следовательно, он должен заботиться о своих родственниках и в письмах к Жозефу, становящихся все более краткими и редкими, деловито сообщает о назначениях или перемещениях родных[65]. Генералу Бонапарту это теперь ничего не стоит.

Актер, искусно справляющийся с любой ролью, он быстро находит общий язык с новыми хозяевами Республики — с алчным, вероломным Баррасом, приобретающим все большее влияние в Директории; с озлобленным Тальеном, пытающимся удержать ускользающую из его рук власть; с честным, талантливым, но угловатым и сухим Карно, вновь возглавившим военное ведомство. Он для каждого находит особый тон, особый язык.

Бонапарт ведет эту игру настолько тонко, его актерское дарование столь велико, что он создает совершенно различное впечатление у своих собеседников. Карно, относившегося к Бонапарту с предубеждением, он постепенно располагает в свою пользу, вернее, в пользу отстаиваемого им проекта итальянской кампании. С выдающимся математиком и знаменитым «организатором победы» он ведет беседы сухим и точным языком военного искусства — без улыбок, без прикрас[66].

С Баррасом игра совсем иная. Он прикидывается простачком, грубоватым солдафоном, которому случайно в жизни повезло, ничего не понимающим в политике и готовым выполнять распоряжения всемогущего директора. Эту роль он исполняет столь мастерски, что прожженный, прошедший сквозь огонь и воду Баррас, которого почти невозможно провести, оказывается обманутым: он поверил в топорное прямодушие этого неотесанного корсиканского генерала, он отзывается о нем полупрезрительно: «простак» (un niais) или даже, если верить антинаполеоновской литературе, еще более уничижительно: «Этот маленький олух»[67] И Баррас охотно покровительствует этому «простаку».

Баррасу предстоит нелегкая борьба со своими соперниками в Директории, и он ищет преданных ему лично людей, в особенности среди военных.

Но Бонапарта перспектива быть исполнителем предписаний какого-то ничтожества Барраса отнюдь не прельщала; его не удовлетворяло и положение командующего Парижским гарнизоном. Артиллерийский офицер, дороживший своей профессией, не мог не чувствовать, что высокая должность, занимаемая им после вандемьера, уводит его все дальше от похода в Италию, к которому он стремился. Командующий Парижским гарнизоном должен был оставаться лишь послушным исполнителем воли Барраса. Директория предписала ему закрыть клуб Пантеона, показавшийся ей слишком левым, а потому опасным. И генерал Бонапарт должен был выполнить это предписание, хотя эта операция имела уже отнюдь не военный характер. Об этом ли он мечтал?

Бонапарт не мог не ощущать, что в военной среде, среди собратьев по профессии и даже шире — в общественном мнении его новая должность не встречает одобрения. Он не ошибался. В одном из полицейских донесений того времени сообщалось, что «главнокомандующий вооруженными силами Парижа не пользуется общественным доверием»[68].

Время было трудным. Париж голодал. Непрерывное обесценение бумажных денег — ассигнатов привело к быстрому росту цен на продовольствие. Крестьяне не хотели продавать зерно за бумажные деньги, превратившиеся в труху. Подвоз продовольствия в Париж резко сократился. Поддерживать общественный порядок в столице в условиях голода и недовольства бедноты было делом непростым. Позднее, на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал, как однажды на одной из улиц он и офицеры его штаба были остановлены большой толпой возбужденных женщин. С возгласами «Хлеба! Хлеба!» они окружили плотной стеной офицеров. Одна из женщин, «чудовищно большая и толстая», обратилась с негодующей речью: «Вся эта свора в эполетах издевается над нами; они сами обжираются и жиреют, и им все равно, что бедные люди умирают с голоду». Бонапарт нашелся: «Мать, взгляни на меня хорошенько: кто из нас двоих более жирный?» В толпе раздался взрыв смеха; офицеры могли продолжать

путь. «Я был в то время тощим, как пергамент»[69],— добавлял Наполеон.

Нет, не о таких успехах мечтал Бонапарт в дни своей юности. Его мысли по-прежнему были обращены к его ранней мечте — походу в Италию. Командующий Парижским гарнизоном составляет «Записку об итальянской армии», в которой уточняет план операции[70]. Для Бонапарта это остается главным. Он неоднократно навещает Карно, представляет ему свой план кампании. Замечательный стратег не может не одобрить идеи генерала: это ведь новые принципы стратегии, рожденные революцией, неотразимую силу которых он, Карно, лучше, чем кто-либо другой, мог понять.

Карно поддержал план Бонапарта. От имени Директории он пересылает его к исполнению генералу Шереру, командовавшему в то время итальянской армией. Но Шерер не желает, чтобы ему навязывали план сверху. «Пусть его выполняет тот, кто его составил»,— бросает он реплику. Он пойман на слове и должен уйти в отставку[71].

И вот 2 марта 1796 года по представлению Карно Бонапарт назначен командующим итальянской армией. Его мечта сбылась! Через девять дней, 11 марта, он выехал в действующую армию.

Но весна 1796 года осталась памятной в его жизни не только тем, что открыла давно желанные предгорья Италии, где он спешил испытать военное счастье. Весна принесла и иные перемены.

Невеста «командующего артиллерией Западной армии» Дезире Клари с некоторых пор все реже стала получать из Парижа письма от своего жениха, и раз от разу они становились холоднее. Она плакала и недоумевала. А разгадка была совсем простой.

Зимой 1795—1796 года в «хижине» Терезии Тальен Бонапарт познакомился с одной из частых посетительниц ее салона. Она была уже не первой молодости, на шесть лет старше Бонапарта, по его собственному признанию, уступала в красоте хозяйке дома и все-таки с первого же взгляда показалась ему обворожительной. То была Мари-Жозефина Таше де ла Пажери, в замужестве виконтесса Богарне, вдова генерала Александра де Богарне, сложившего голову на гильотине в 1794 году по приговору Революционного трибунала. Креолка с острова Мартиника, живая, быстрая в движениях

и речи, умная, много испытавшая за тридцать два года жизни, она была, как говаривали в начале девятнадцатого столетия, «авантюрьеркой» — женщиной смелой, готовой идти на риск. Злые языки приписывали ей близость с Баррасом, с генералом Гошем, с ее именем связывали и иные сплетни. Но ее окружал и нимб жертвенности — ее муж казнен; она сама находилась в дни якобинской диктатуры в тюрьме Карм; ее двое детей могли остаться сиротами.

По сравнению с простенькой, наивной Дезире Клари Жозефина Богарне показалась Бонапарту необыкновенной женщиной, воплощением аристократизма. Его житейский опыт был невелик, в особенности в том, что касалось женщин. Лейтенант, проведший почти всю жизнь в маленьких провинциальных городках — Валансе, Оксонне, Аяччо, кого он встречал на своем пути? Словом, чуть ли не с первой же встречи он был увлечен новой знакомой, и это увлечение все нарастало. Жозефина первоначально, по всей вероятности, не разделяла этих чувств. Наверно, Бонапарт показался ей неловким, недостаточно легкомысленным, ее, видимо, отпугивала какая-то труднодостижимая внутренняя сосредоточенность этого человека, остававшегося в ее глазах — по годам — почти мальчишкой. Но уже пришла пора задуматься о будущем. В 1796 году Жозефине исполнилось тридцать два года; в XVIII веке это был уже рискованный для женщины возраст; по утрам она подолгу смотрелась в зеркало — не прибавились ли на ее лице новые морщинки?

Оставаться и дальше, всю жизнь, только вдовой Богарне — одна эта мысль приводила ее в трепет. У нее были дети — сын и дочь, их надо было воспитать; а денег, которые она так любила тратить без счета, тратить на безделушки, на пустяки, не хватало на самое необходимое. Рассчитывать на поклонников — на пресыщенного, самодовольного, беспощадного в своем равнодушии Барраса — не приходилось. Поддержка, помощь подруг, например той же Терезы Тальен? Но Жозефина уже смиряла себя, перехватывая критический взгляд Терезы, брошенный на ее платье, или чувствуя пренебрежительно высокомерный тон, которым госпожа Тальен позволяла себе с ней говорить. Что же ее ожидает?

Жозефина от природы была неглупа, и жизнь приучила ее быстро ориентироваться в обстоятельствах. Ей было нетрудно сообразить, что так пылко увлекшийся ею, нетерпеливый, даже чем-то пугавший ее своею страстностью корсиканец готов на то, от чего упорно уклонялись все ее прежние возлюбленные,— он готов на ней жениться.

Своей мягкой вкрадчивостью, кошачьими повадками, умением внимательно, сочувственно слушать увлеченные речи собеседника о будущем (думая в это время, может быть, о чем-то своем) Жозефина приворожила Бонапарта; он проводил теперь все вечера в ее уютной квартире на улице Шантерен, он был от нее без ума; не она — он торопил ее скорее вступить в брак.

Бонапарт написал Дезире Клари холодное, жесткое письмо. Оно означало разрыв, и он ничуть не позаботился о том, чтобы как-то смягчить силу удара. Он ушел от нее не оборачиваясь. Мог ли Бонапарт тогда догадаться, что эта простенькая девушка из Марселя, наивная провинциалочка, которую он с легким сердцем бросил плачущей, через какое-то время станет королевой Швеции и Норвегии и переживет его на троне! Когда он, потеряв все — императорскую корону, Францию, жену, сына, доживал свой век пленником на маленьком, затерянном в океане острове, его первая невеста в королевском дворце в Стокгольме стала родоначальницей королевской династии, и ныне царствующей в Швеции.

Бонапарт пренебрег и недовольством матери, несмотря на то что привык считаться с ее мнением. Он никого и ничего не слушал. Он проводил вечера в особняке госпожи Богарне на улице Шантерен. 8 марта он зарегистрировал свой брак с Жозефиной; свидетелями с его стороны были Баррас и Тальен.

Друг Огюстена Робеспьера, еще недавно писавший о том, что он его любил, Бонапарт пригласил на самый важный акт своей жизни как близких ему людей главарей термидорианского заговора, больше чем кто-либо сделавших, чтобы погубить Робеспьеров.

Наполеон Бонапарт, увлеченный всецело захватившим его чувством, пожалуй единственным в его жизни

сильным чувством к женщине *, ни на минуту не забывал о предстоявшем ему испытании. Впервые ему было доверено командование армией: победить или погибнуть — среднего не могло быть.

Через три дня после свадьбы он уже мчался, сменяя лошадей, ямщиков, повозки, на юг, в расположение итальянской армии.

* В огромной литературе, посвященной Жозефине Богарне, давно был поднят вопрос о характере этого брака: был ли то брак по расчету или по любви? Письма Наполеона к Жозефине (многочисленные издания, последние: «Napoléon I et Joséphine». Lettres publ. par J. R. Taschero de la Pagerie. Paris, 1959; «Napoléon — Lettres à Joséphine», recueillies par J. Bourgeat. Paris, 1941) убедительно доказывают, что, первоначально во всяком случае, любовь к Жозефине была чувством, всецело захватившим Наполеона.

Итальянский поход 1796—1797 годов

Бонапарт прибыл в Ниццу, в главную ставку итальянской армии, 27 марта 1796 года. Генерал Шерер сдал ему командование и ввел в курс дел. Хотя в армии числилось сто шесть тысяч человек, в действительности под ружьем было только тридцать восемь тысяч; из них восемь тысяч составляли гарнизоны Ниццы и прибрежной зоны; в поход могло выступить не более тридцати тысяч человек. Остальные семьдесят тысяч были мертвыми душами; они выбыли — пленными, дезертирами, умершими, лежали в госпиталях, перешли в другие воинские соединения[1].

Армия была голодной, раздетой, разутой. Жалованье давно не платили, артиллерии было мало; имелось всего тридцать пушек. Недоставало лошадей. В составе армии числились две кавалерийские дивизии, но они насчитывали всего две тысячи пятьсот сабель.

Армия противника на итальянском театре насчитывала восемьдесят тысяч человек при двухстах пушках, следовательно, в два с половиной раза превосходила французов. Она имела почти в семь раз больше артиллерии.

Австро-сардинской армией командовал фельдмаршал Болье, бельгиец по происхождению, участник Семилетней войны. Возраст обоих командующих определялся одними цифрами, но в разном сочетании: Болье было семьдесят два года, Бонапарту — двадцать семь лет.

Военная история итальянского похода 1796—1797 годов описана и проанализирована такими крупными авторитетами, как Бонапарт, Клаузевиц, Жомини, и детально разработана в ряде специальных военно-исторических сочинений[2]. Нет надобности поэтому подробно излагать ход военных операций. Остановимся лишь на тех вопросах, которые имели существенное значение для последующего жизненного пути Бонапарта.

Направляясь в итальянскую армию, Бонапарт знал, что по общему плану военных операций 1796 года, утвержденному Директорией, главные задачи возлага-

лись на так называемую армию Самбры — Мааса под командованием Журдана и на рейнскую армию, возглавляемую генералом Моро. Обе эти армии должны были в Южной Германии нанести решающее поражение австрийцам и проложить дорогу на Вену. Итальянской же армии была намечена вспомогательная роль: она должна была отвлечь на себя часть сил противника. Наполеону Бонапарту его задачи представлялись иначе. Обычно подчеркивают, что для Бонапарта итальянская кампания 1796 года была первой в его жизни военной операцией большого масштаба, что за десять-одиннадцать лет службы в армии ему не приходилось командовать даже полком.

Эти соображения в общем верны, но упускается из виду, что Бонапарт уже давно готовился к походу в Италию. С 1794 года он составил несколько вариантов тщательно разработанных планов наступательных операций в Италии. За два года он в совершенстве изучил карту будущего театра военных действий; по выражению Клаузевица, он «знал Апеннины, как собственный карман»[3]. План Бонапарта в главном был прост. Французам противостояли в Италии две основные силы: австрийская армия и армия пьемонтского короля — «привратника Альп», как называл его Бонапарт. Задача заключалась в том, чтобы разъединить эти силы, нанести решающие удары прежде всего по пьемонтской армии, принудить Пьемонт к миру и затем обрушиться всей мощью на австрийцев[4].

План был прост, и в этом была его неотразимая сила. Главная трудность заключалась в том, как претворить этот замысел в практику. Противник значительно превосходил силами. Устранить такое преимущество можно было, лишь добившись превосходства в быстроте и маневренности.

Это тактическое решение не было открытием Бонапарта. Оно было искусным применением опыта, накопленного армиями республиканской Франции за три с половиной года войны против коалиции европейских монархий. То были новые, созданные революцией принципы ведения войны, новая стратегия и тактика, и Бонапарт, как сын своего времени, их превосходно усвоил[5].

И, завершая свой долгий путь из Парижа в Ниццу, Бонапарт летел на курьерских и гнал, гнал лошадей, чтобы скорее перейти от замыслов к делу.

Через несколько дней по прибытии в Ниццу генерал Бонапарт отдал приказ армии выступить в поход.

Было бы, конечно, неправильным представлять, будто Бонапарт, приняв командование над итальянской армией, сразу пошел дорогой побед и славы, не испытывая ни затруднений, ни неудач. В действительности так не было и быть не могло.

В освещении итальянской кампании — первого крупного похода Бонапарта, принесшего ему всеевропейскую славу,— в исторической литературе наблюдались две противоположные крайности. Одни авторы, в первую очередь Ферреро[6], всячески преуменьшали заслуги Бонапарта в кампании 1796 года — сводили его роль к простой функции исполнителя приказов Директории (либо предначертаний Карно) * или даже обвиняли его в том, что он присваивал себе плоды успехов и побед своих подчиненных.

Напротив, историки, склонные к апологии своего героя, всячески превозносили его личные заслуги и щедрой кистью изображали препятствия, которые только гений Наполеона и мог преодолеть **. Такие авторы, в частности, особенно охотно рассказывали о сопротивлении, чуть ли не о мятеже, который подняли старые боевые генералы при встрече с молодым главнокомандующим. Исследователи новейшего времени (назовем хотя бы Рене Валентена и других[7]) обращали внимание на то, что такое сопротивление подчиненных Бонапарту генералов было невозможно хотя бы потому, что части итальянской армии были дислоцированы в разных пунктах: Массена находился в Савойе, Ожеро — в Пиетра, Лагарп — в Вольтри и так далее[8]. Обе эти противоположные тенденции, именно потому что они представляли крайности, давали одностороннее,

* Этот тезис послужил основой для полемики в печати между Луи Мадленом и Ферреро, в которой приняли участие и другие историки. Последней из работ этого жанра должна быть названа книга Эме Мальварди (*Aimê Malvardi.* Napoléon et sa legende. Toulon, 1965), крайне тенденциозная по своей антибонапартовской заостренности.

** Здесь пришлось бы назвать множество имен, начиная с Тьерри и кончая Луи Мадленом.

а потому и неправильное изображение. Истина находилась где-то посередине.

Прибыв в итальянскую армию, Бонапарт столкнулся с многочисленными затруднениями, в том числе и личного порядка. Кем был Бонапарт в глазах опытных, боевых командиров итальянской армии? Выскочкой, «генералом вандемьером». В этом прозвище явственно чувствовалась насмешка. Дело было не в возрасте. Гош был назначен командующим в двадцать пять лет, но у него за плечами были Дюнкерк, победы над англичанами и австрийцами. Генеральские эполеты Бонапарт заработал не в сражениях с иностранными армиями, а подвигами против мятежных французов. Его военная биография не давала ему права на звание главнокомандующего.

У Бонапарта оставалось много внешних пережитков его корсиканского происхождения. Не только его непривычный французскому слуху выговор явственно доказывал, что родной для него была итальянская речь. Он допускал грубые фонетические и смысловые ошибки во французском языке. Он произносил слово «пехота» (infanterie) так, что оно звучало «ребятня» (enfanterie); он говорил «секции» (section), имея в виду сессии (session); он путал значение слов «перемирие» и «амнистия» (armistice et amnistie) и допускал множество иных грубых ошибок[9]. Писал он также с орфографическими ошибками. Подчиненные всё замечали у главнокомандующего, они не прощали ему ни одной ошибки, ни одного промаха.

Еще до прибытия командующего в армию ему были даны обидные прозвища. Кто называл его «корсиканским интриганом», кто «генералом алькова», кто «военным из прихожей». Когда увидели невысокого, худого, бледного, небрежно одетого генерала, насмешливые пересуды усилились. Кто-то пустил словцо «замухрышка» — gringalet, и оно привилось. Бонапарт понимал, что ему необходимо сломить лед недоверия, предубежденность высших и старших командиров армии; он понимал, что одной лишь силой приказа невозможно осуществить задачи, которые он себе ставил.

В итальянской армии было четыре генерала, равных ему по званию: Массена, Ожеро, Лагарп, Серюрье, так же как и он, имели чин дивизионных генералов, но, безусловно, превосходили его боевым опытом.

Самым авторитетным среди них был Андре Массена. Он был на одиннадцать лет старше Наполеона и успел многое познать в жизни[10]. Он рано потерял отца, в тринадцать лет убежал от родственников, поступил юнгой на торговое судно, плавал на нем четыре года, затем поступил в 1775 году солдатом в армию. Он прослужил в армии четырнадцать лет, но его недворянское происхождение преграждало путь к продвижению по службе; он оставил армию в 1789 году, дослужившись лишь до сержантских нашивок. Уйдя в отставку, Массена женился, открыл лавочку, занимался контрабандой. После революции вступил в Национальную гвардию, стал капитаном; во время войны был избран командиром батальона волонтеров. Через год службы в армии революционной Франции, в августе 1793 года, он был произведен в бригадные генералы.

Затем он успешно сражался в приморских Альпах, отличился при взятии Тулона. За Тулон он был произведен в дивизионные генералы[11].

Генерал Тьебо, впервые увидевший Массена в 1796 году, оставил его красочный портрет: «Массена не получил ни воспитания, ни даже начального образования, но на всем его облике лежала печать энергии и проницательности; у него был орлиный взгляд, и в самой манере держать голову высоко поднятой и чуть повернутой влево чувствовалось внушительное достоинство и вызывающая смелость. Его повелительные жесты, его пыл, его предельно сжатая речь, доказывавшая ясность мыслей... все обличало в нем человека, созданного, чтобы приказывать и распоряжаться...»[12] Мармон отзывался о нем в сходных выражениях: «В его железном теле была скрыта огненная душа... никто никогда не был храбрее его»[13].

Ожеро, о котором обычно говорили пренебрежительно, был по-своему тоже незаурядным человеком. Он родился в 1757 году в бедной семье лакея и зеленщицы в парижском предместье Сен-Марсо; семнадцати лет ушел солдатом в армию, дезертировал из нее, затем служил в прусских, русских, испанских, португальских, неаполитанских войсках, бросая их, когда ему это надоедало. В промежутках Ожеро пробавлялся уроками танцев и фехтования, дуэлями, похищениями чужих жен; авантюрист и бретёр, он слонялся по белу свету в поисках приключений, пока революция не от-

крыла ему возможности вернуться на родину. В 1790 году он вступил в Национальную гвардию и, как бывалый человек и отнюдь не робкого десятка, стал быстро проталкиваться вперед. По общему суждению современников, Ожеро был храбрым солдатом. Однако в мирной обстановке сослуживцам было трудно разобрать, где кончается храбрость и начинается наглость[14].

Генерал Серюрье был старшим по возрасту и воинскому опыту; он служил офицером еще в старой армии. К нему относились с недоверием, но считались с его опытом и знаниями. Этот молчаливый, сдержанный генерал, много видавший на своем веку, но вследствие превратностей судьбы склонный к пессимизму, пользовался в войсках большим авторитетом[15]. Бонапарт высоко его ценил: одним из первых он получил маршальский жезл. Но стоит отметить, что хорошо осведомленный русский посол в Турине граф Стакельберг в одной из реляций императору Павлу I сообщал, что Серюрье «ненавидит Бонапарта»[16].

Дивизионные генералы Лагарп, брат воспитателя Александра I, и командовавший кавалерией эльзасец Стенгель — оба погибли в начале кампании 1796 года.

Известен рассказ о том, как произошла первая встреча нового командующего с командирами дивизий. Бонапарт вызвал Массена, Ожеро, Серюрье и Лагарпа к себе в ставку. Они явились все одновременно — огромные, широкоплечие, один другого больше, сразу заполнив собой небольшой кабинет командующего. Они вошли, не снимая шляп, украшенных трехцветными перьями. Бонапарт был тоже в шляпе. Он встретил генералов вежливо, но сухо, официально, предложил им сесть. Когда сели и началась беседа, Бонапарт снял свою шляпу, и генералы последовали его примеру.

Немного погодя Бонапарт надел шляпу. Но он так взглянул при этом на собеседников, что ни один из них не посмел протянуть руку к своей шляпе. Генералы продолжали сидеть перед командующим с непокрытыми головами. Когда командиры расходились, Массена пробормотал: «Ну, нагнал же на меня страху этот малый». Бонапарт понимал, что завоевать доверие старших командиров, солдат, армии можно было не словами, а делом, военными успехами, победой.

Распространяемые антинаполеоновской литературой версии, будто итальянская армия в большей части со-

стояла из савойских разбойников и галерных каторжников, были, конечно, намеренной ложью[17]. По своим политическим настроениям она считалась одной из наиболее республиканских армий. Здесь сохранялись некоторые традиции якобинской эпохи, от которых в других армиях уже отошли: например, офицеры обращались друг к другу н «ты»[18]. Но в целом, и в солдатском, и в офицерском составе, явственно чувствовалось недовольство, и оно проявлялось порой весьма резко. Бонапарт учитывал эти настроения и считался с ними: успех кампании в конечном счете решали солдаты.

Были и некоторые особые проблемы.

Незадолго до приезда Бонапарта в Ниццу в штаб итальянской армии прибыли комиссары Директории Саличетти и Гарро[19].

Размолвка между Бонапартом и Саличетти в 1794—1795 годах осталась позади. Между двумя корсиканцами вновь установились дружественные отношения. Массена даже полагал, что назначение Саличетти было устроено Бонапартом[20], но вряд ли это так.

Само появление комиссаров в армии не могло смущать Бонапарта; он по собственному опыту знал, как велика в войсках их роль. Трудность была в ином. Саличетти был воодушевлен идеей поднять в Италии широкое революционное движение. Он установил тесные контакты с итальянскими революционными кругами, и в частности с их заграничным комитетом в Ницце. Связующим звеном между Саличетти и итальянскими революционерами служил Буонарроти. Друг Бабёфа и один из виднейших деятелей «Заговора равных» издавна поддерживал деловые и дружеские связи с Саличетти[21]. Весной 1796 года в связи с ожидавшимся развитием революционных событий в Италии Буонарроти должен был приехать в Ниццу: он получил соответствующее поручение от Директории. Он уже собирался в путь, но в силу совпавших причин (противодействие его назначению и, видимо, нежелание Бабёфа, чтобы он уезжал накануне выступления «равных») остался в Париже.

По приезде Бонапарта в Ниццу представители итальянского Революционного комитета сразу же направили ему памятную записку. Командующий армией ответил на нее неопределенно. Он заявил, что прави-

тельство Республики высоко ценит народы, готовые «благородными усилиями способствовать свержению ига тирании. Французский народ взялся за оружие ради свободы»[22]. Но хотя Бонапарт подтвердил готовность вступить в переговоры с представителями итальянского комитета, идея итальянской революции на начальном этапе кампании не встретила его сочувствия. Он, естественно, не был противником революции в Италии, напротив. Но его план кампании строился на расчете разъединения сил противника; для этого необходимо было как можно скорее добиться перемирия с королем Пьемонта. Революция могла затруднить эту задачу. К итальянской революции следовало вернуться, но позже, когда в ходе кампании будет достигнут ощутимый успех.

5 апреля 1796 года армия выступила в поход. Растянувшиеся вдоль узкой дороги французские полки быстрым маршем шли навстречу противнику. Бонапарт избрал самый короткий, хотя и самый опасный путь. Армия шла по прибрежной кромке приморских Альп (по так называемому карнизу) — вся дорога простреливалась с моря. Но зато это позволяло обойти горный кряж и намного ускоряло движение. Впереди быстро движущихся рядов, пешком, в сером походном мундире, без перчаток, шел командующий армией. Рядом с ним, тоже в неприметной гражданской одежде, контрастирующей с яркими, многоцветными мундирами офицеров, шел комиссар Директории Саличетти.

Расчет Бонапарта оказался правильным. Командование австро-сардинских войск и мысли не допускало, чтобы французы рискнули на такую дерзость. Через четверо суток самая опасная часть пути осталась позади — 9 апреля французские полки вступили в Италию.

Армия Бонапарта не имела выбора, она могла идти только вперед. Голод подгонял солдат; разутые, раздетые, с тяжелыми ружьями наперевес, внешне напоминавшие скорее орду оборванцев, чем регулярную армию, они могли надеяться только на победу, все иное означало для них гибель.

12 апреля французы встретились с австрийцами близ Монтенотте — «Ночной горы». Бонапарт руководил сражением. Центр австрийской армии под командованием генерала Аржанто был разбит дивизиями Массена и Лагарпа. Французы взяли четыре знамени,

пять пушек и две тысячи пленных[23]. То была первая победа итальянской кампании. «Наша родословная идет от Монтенотте»,— говорил позднее с гордостью Бонапарт.

В Вене были озадачены, но считали происшедшее случайностью. «Войска ген. Аржанто потерпели некоторую неудачу в деле у Монтенотте... но это не имеет никакого значения»[24],— писал из Вены царский посол граф Разумовский 12(23) апреля 1796 года.

Через два дня, 14 апреля, в сражении при Миллезимо удар был нанесен пьемонтской армии. Трофеями французов были пятнадцать знамен, тридцать орудий и шесть тысяч пленных. Первая тактическая задача была достигнута — австрийская и пьемонтская армии были разъединены; перед французами открывались дороги на Турин и Милан[25].

Теперь надо было усилить удары по пьемонтской армии. Сражение при Мондови 22 апреля закончилось тяжелым поражением итальянцев. Снова трофеями были знамена, пушки, пленные. Преследуя противника, французы вступили в Кераско, в десяти лье от Турина. Здесь 28 апреля было подписано перемирие с Пьемонтом на весьма выгодных для французской стороны условиях[26]. Соглашение в Кераско не только выводило Пьемонт из войны. Царский дипломат Симолин с должным основанием доносил в Петербург, что благодаря соглашению 28 апреля французы «стали хозяевами всего Пьемонта и всей территории Генуи»[27].

В приказе по армии 26 апреля Бонапарт писал: «Солдаты, в течение пятнадцати дней вы одержали шесть побед, взяли 21 знамя, 55 пушек, много крепостей и завоевали самую богатую часть Пьемонта, вы захватили 15 тысяч пленных, вы вывели из строя убитыми и ранеными 10 тысяч человек. Вы были лишены всего — вы получили все. Вы выиграли сражения без пушек, переходили реки без мостов, совершали трудные переходы без обуви, отдыхали без вина и часто без хлеба. Только фаланги республиканцев, солдаты Свободы способны на такие подвиги!»[28]

Что обеспечило успех итальянской армии? Прежде всего ее предельная быстрота и маневренность. Такого темпа наступательных операций противник не мог ожидать. Мармон писал отцу, что он двадцать восемь часов не слезал с коня, затем три часа отдыхал и после

этого снова пятнадцать часов оставался в седле. И добавил, что не променял бы этого бешеного темпа «на все удовольствия Парижа»[29]. Молниеносность операций армии Бонапарта позволяла ему сохранять инициативу в своих руках и навязывать противнику свою волю.

Имели значение и другие обстоятельства. Хотя Бонапарт и Директория отнеслись настороженно к идее «революционизировать» Пьемонт, по мере продвижения французских войск росли антифеодальные, антиабсолютистские настроения в стране. При вступлении французских войск в небольшие города Алба и Кунео один из пьемонтских патриотов, Ранца, учредил здесь революционные комитеты. Города были иллюминированы, на площадях посажены деревья Свободы, а в церквах пели революционно-религиозные песни. Саличетти это дало повод высказать суровое осуждение итальянским революционерам: «Вместо того чтобы иллюминировать церкви, было бы куда полезнее осветить (пожаром) замки феодалов»[30]. Саличетти, не довольствуясь поучениями итальянских патриотов, наложил на богачей города контрибуцию в сто двадцать три тысячи лир.

Но, несмотря на относительно скромное начало революционного движения, туринский двор был им напуган до крайности. Массена оказался прав, объясняя поспешные поиски пьемонтским королем сепаратного соглашения с Францией не столько военными поражениями, сколько страхом перед народным восстанием в Турине и во всем королевстве[31].

После подписания перемирия Жюно, а затем Мюрат повезли Директории в Париж неприятельские знамена и другие трофеи; 15 мая в Париже был подписан мир с Пьемонтом. Однако во французской армии после заключения перемирия в Кераско царило некоторое смущение. Почему не вступили в Турин? Почему поспешили с перемирием?

Бонапарт так настойчиво добивался скорейшего заключения перемирия с Пьемонтом прежде всего потому, что малочисленная и плохо вооруженная французская армия была не в состоянии длительное время воевать против двух сильных противников.

Обеспечив себе тыл со стороны пьемонтской армии, выведя из строя одного из противников, Бонапарт продолжил наступление. Теперь у него оставался лишь

один враг, но могущественный — австрийская армия. Ее превосходство над французской армией в численности, артиллерии, материальном снабжении было неоспоримо. Бонапарт должен был по-прежнему действовать в соответствии со своим основным принципом: «Численную слабость возмещать быстротой движений»[32]. 7 мая французская армия переправилась через реку По. Спустя три дня в знаменитом сражении при Лоди Бонапарт, овладев, казалось, неприступным мостом через реку Адду, разгромил арьергард австрийской армии. Бонапарт завоевал в этом сражении сердце солдат, выказав огромную личную храбрость. Но значение Лоди было не в этом. Клаузевиц писал: «...штурм моста у Лоди представляет предприятие, которое, с одной стороны, настолько отступает от обычных приемов, с другой — является настолько немотивированным, что невольно возникает вопрос, можно ли найти ему оправдание или же это невозможно»[33]. В самом деле, мост длиной в триста шагов обороняли семь тысяч солдат и четырнадцать орудий. Была ли надежда на успех?

Бонапарт доказал победой оправданность своих действий. Дадим снова слово Клаузевицу: «Предприятие отважного Бонапарта увенчалось полным успехом... Бесспорно, никакой боевой подвиг не вызвал такого изумления во всей Европе, как эта переправа через Адду... Итак, когда говорят, что штурм у Лоди стратегически не мотивирован, так как Бонапарт мог получить этот мост на другое утро даром, то имеют в виду только пространственные отношения стратегии. А разве моральные результаты, на которые мы указали, не принадлежат стратегии?»[34] Клаузевиц был прав. 11 мая Бонапарт писал Карно: «Битва при Лоди, мой дорогой Директор, отдала Республике всю Ломбардию... В Ваших расчетах Вы можете исходить из того, как если бы я был в Милане»[35].

Это не было хвастовством. 26 мая французская армия триумфально вступила в Милан. В столице Ломбардии ей была устроена торжественная встреча. Цветы, цветы, гирлянды цветов, улыбающиеся женщины, дети, огромные толпы народа, вышедшие на улицы, бурно приветствовали солдат Республики; миланцы видели в них воинов революции, освободителей итальянского народа[36]. Усталые, измученные и счастливые,

с почерневшими от пороховой копоти лицами, полк за полком проходили солдаты республиканской армии среди ликующего населения Милана. Накануне из столицы Ломбардии бежал австрийский эрцгерцог Фердинанд со своей свитой и жандармами. Французы освободили Ломбардию от ненавистного австрийского гнета.

Кто не помнит известных строк из «Пармской обители» Стендаля? «Вместе с оборванными бедняками-французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался в армии самым старым человеком»[37].

Эта армия двадцатилетних несла надежды на завтрашний день. В приказе по армии командующий писал: «Солдаты, с вершин Апеннин вы обрушились как поток, сокрушая и опрокидывая все, что пыталось вам противостоять. Пусть трепещут те, кто занес над Францией кинжалы гражданской войны; час отмщения настал. Но пусть народы будут спокойны. Мы — друзья всех народов, и в особенности потомков Брута и Сципионов... Свободный французский народ, уважаемый всем светом, принесет Европе достойный мир...»[38]

В Ломбардии Бонапарт в полном согласии с Саличетти всемерно поддерживал итальянские революционные силы. Их пробуждение полностью соответствовало французским интересам. Итальянская революция становилась союзником в войне против феодальной империи Габсбургов. В Милане был создан клуб «Друзей свободы и равенства», выбран новый муниципальный совет, стала выходить газета «Giornale dei patrioti d'Italia», редактируемая Маттео Галди. Ее главным лозунгом стало объединение Италии. Ломбардия переживала свой 89-й год. В революционном движении обозначились два направления: якобинцы (giacobini) во главе с Порро, Салвадором, Сербеллонни и умеренные — Мелци, Верри, Реста. Общим для обеих партий было стремление к независимости и свободе Ломбардии. Бонапарт срочно запросил инструкции от Директории: если народ потребует организации республики, должно ли ее предоставить? «Вот вопрос, который вы должны

решить и сообщить о своих намерениях. Эта страна гораздо более патриотична, чем Пьемонт, и она более созрела для свободы»[39].

Но армия Республики принесла Италии не только освобождение от ненавистного австрийского гнета. С того времени как армии Французской республики перенесли войну на чужую территорию, они твердо придерживались правила перекладывать на побежденных расходы по содержанию армии победителей. Годшо в превосходном исследовании о комиссарах Директории доказал, что с осени 1794 года представители термидорианского Конвента в армии стали широко прибегать к контрибуциям, налагаемым на население завоеванных земель. Даже человек левых взглядов Бурботт, будучи представителем Конвента в армии Самбры — Мааса, в августе 1794 года наложил контрибуцию в три миллиона франков на оккупированный район Тревес, в ноябре того же года — четыре миллиона на Кобленц. В июне 1795 года представители Конвента в армии, занявшей территорию Мастрихта — Бонна, наложили на оккупированную область контрибуцию в двадцать пять миллионов, которая была позже снижена до восьми миллионов. По указанию Директории в районе Бонна — Кобленца Жубер устанавливал принудительный заем у крупных негоциантов, банкиров и других богатых людей[40]. Комиссары Конвента, а затем Директории широко прибегали к массовым реквизициям зерна, скота, овощей, лошадей для нужд кавалерии.

Бонапарт поступал в полном соответствии с практикой Директории. Армия снабжала себя всем необходимым за счет завоеванных земель.

Действуя согласно инструкциям правительства, Саличетти и Бонапарт стали на путь самых широких реквизиций и контрибуций. Герцог Тосканский должен был внести два миллиона лир звонкой монетой, отдать тысячу восемьсот лошадей, две тысячи быков, десять тысяч квинталов зерна, пять тысяч квинталов овса и т. д.

Это было лишь начало. В январе 1797 года великий герцог Тосканский по дополнительному соглашению, предусматривающему эвакуацию французских войск из Ливорно, обязался уплатить еще миллион экю. «Этот последний удар довершит разрушение финансов Тосканы»,— высказывал свое мнение граф Моцениго[41]. Впрочем, потери побежденных не ограничивались

только установленными платежами. При оставлении Ливорно французы вывезли двадцать шесть пушек, порох, снаряды и «бо́льшую часть серебряной посуды из дворца». Правительство Тосканы благоразумно закрыло на это глаза[42]. Герцогство Пармское должно было предоставить в форме займа (займа, который никогда не погашался) два миллиона ливров золотом[43]. Даже в Милане, в ликующей Ломбардии, засыпавшей цветами дороги, по которым шли солдаты Республики, Бонапарт и Саличетти не побоялись в первые же дни потребовать огромную контрибуцию в двадцать миллионов лир.

Однако командующий и комиссар, действовавшие в ту пору единодушно, старались, чтобы тяжесть обложения ложилась прежде всего на плечи имущих и реакционных кругов Ломбардии. Их действия в Ломбардии имели вполне определенное политическое содержание. В войне против феодальной Австрии они стремились использовать боевой лозунг: «Война народов против тиранов».

В «Воззвании к народу Ломбардии», подписанном Бонапартом и Саличетти 30 флореаля IV года (19 мая 1796 года), говорилось: «Французская республика дала клятву ненависти к тиранам и братства с народами... Республиканская армия, вынужденная вести войну насмерть против монархов, относится дружественно к народам, освобождаемым ее победами от тирании. Уважение к собственности, уважение к личности, уважение к религии народа — таковы чувства правительства Французской республики и победоносной армии в Италии»[44]. И дальше, объясняя, что для победы над австрийской тиранией нужны средства и что двадцать миллионов лир возмещения, наложенных на Ломбардию, служат этой цели, в воззвании подчеркивалось, что тяжесть платежей необходимо возложить на богатых людей и высшие круги церкви: интересы неимущих классов должны быть защищены. Это не исключало того, что, когда, как, например, в Павии, началось антифранцузское восстание, в котором участвовали крестьяне, Бонапарт жестоко подавил его.

Кампания 1796 года отличалась от последующих войн, даже от кампании 1797 года. Изумившие мир победы армии Наполеона в 1796 году не могут быть пра-

вильно поняты, если не учесть в должной мере социальной политики Бонапарта — Саличетти.

Продвижение французских войск в Италии, несмотря на контрибуции, реквизиции и грабежи, способствовало пробуждению и развитию революционного движения на всем Апеннинском полуострове. В январе 1797 года Моцениго, один из самых осведомленных царских дипломатов в Италии, высказывал уверенность, что, если «англичане уйдут из Средиземноморья, в течение года вся Италия будет охвачена революцией»[45]. Действительно, даже в тех итальянских государствах, которые сохранили независимость и самостоятельность, как, например, в Пьемонте, никакие правительственные репрессии и уступки не могли остановить нарастания революционной волны. Летом 1797 года весь Пьемонт был охвачен революционным брожением. Чтобы сохранить трон, королевский двор был вынужден пойти на крупные уступки. Изданные в начале августа эдикты означали, по определению царского посла, «последний удар по феодальной системе в стране»[46].

Было бы антиисторичным преуменьшать заслуги Бонапарта, его генералов и солдат в победах 96-го года, как это делал Ферреро, отрицать его неоспоримое дарование полководца. Но столь же антиисторичной была бы недооценка социального содержания войны в Италии. Несмотря на все реквизиции, контрибуции, насилия, то была в своей основе антифеодальная война, война исторически передового в ту пору буржуазного строя против отживавшего свой век феодально-абсолютистского порядка. И победы французского оружия над австрийским облегчались еще тем, что сочувствие прогрессивных общественных сил Италии, итальянцев завтрашнего дня, «Молодой Италии», было на стороне «солдат Свободы» — армии Французской республики, несшей освобождение от чужеродного австрийского и феодального гнета[47].

В большом и сложном жизненном пути Наполеона Бонапарта весна 1796 года навсегда осталась самой замечательной страницей. Ни гремящая слава Аустерлица, ни шитый золотом бархат империи, ни могущество всесильного императора, повелевавшего судьбами склонившейся перед ним Западной Европы, — ничто не могло сравниться со смятенными, полными опасностей днями солнечной весны 1796 года.

Слава пришла к Бонапарту не в дни Тулона и еще менее 13 вандемьера. Она пришла, когда, командуя небольшой армией раздетых и голодных солдат, он словно чудом одерживал одну за другой победы — Монтенотте, Миллезимо, Дего, Сан-Микеле, Мондови, Лоди, Милан — блистательные победы, заставлявшие всю Европу повторять неведомое ей ранее имя генерала Бонапарта *. Тогда в него уверовали боевые генералы, тогда-то солдаты стали называть его «наш маленький капрал»; впервые в ту весну Бонапарт поверил в самого себя. Он признавался позднее, что это новое чувство — ощущение огромных возможностей — пришло к нему впервые после победы под Лоди.

Его юность и молодость — это была зловещая цепь провалов, просчетов, поражений. Десять лет судьба была к нему безжалостной. Надежды, мечтания, ожидания — все развеивалось, все оборачивалось поражением. Ему грозила опасность ощутить себя неудачником. Но как он сам говорил, у него было предчувствие, подсознательное ощущение успеха, удачи впереди. Сколько раз оно его обманывало! И наконец-то надежды сбылись. Шёнбруннский двор слал против Бонапарта своих лучших, самых опытных полководцев. Аржанто, Болье, Альвинци, Давидович, Провера, Вурмзер, эрцгерцог Карл — то были действительно заслуженные боевые генералы империи Габсбургов. Крупнейшие военные авторитеты воздавали им должное[48]. И все-таки эта армия полураздетых, голодных мальчишек, уступавшая австрийской в численности, в артиллерии, наносила ей поражение за поражением.

Начиная войну в апреле 1796 года, Бонапарт действовал по тщательно продуманному и отработанному плану. Он рассчитывал, как в тонко задуманной шахматной партии, все варианты, все возможные ходы — свои и противника — примерно до двадцатого хода. Но вот пришла пора, когда двадцатый ход был сделан, когда ранее продуманные варианты плана были исчерпаны. Война вступила в новую стадию — в сферу непредвиденного; наступило время импровизаций, время мгновенных, не допускавших отлагательств решений.

* С начала итальянского похода Наполеон изменил свою фамилию, устранив ее итальянское звучание; он стал подписываться «Бонапарт», и это краткое имя звучало вполне по-французски.

И тут Бонапарт впервые для себя открыл, что именно эта сфера и есть его истинная стихия, в ней он не имел равных, она приносила наибольшие успехи.

«Надо ввязаться в бой, а там будет видно!» — этот знаменитый принцип наполеоновской тактики был рожден впервые в 1796—1797 годах. То был торжествующий над рутиной, над догмой, над косностью многовековых правил принцип свободной, дерзающей мысли. Надо дерзать, надо искать новые решения, не бояться неизведанного, идти на риск! Искать и находить простейшие и наилучшие пути к победе! Этот двадцатисемилетний командующий армией опрокидывал все устоявшиеся столетиями правила ведения войны. Он приказал одновременно осадить миланскую крепость, генералу Серюрье окружить и блокировать считавшуюся неприступной крепость Мантую и, продолжая осаду Мантуи, двигаться главными силами на восток — в Венецианскую республику и на юг — против Рима и Неаполя. Все было соединено: и упорная, методическая осада Мантуи, и доведенная до предела быстротой передвижений и стремительностью ударов маневренная война.

После триумфального вступления в Милан в мае 1796 года война длилась еще долго — целый год. Она была отмечена вошедшими в историю военного искусства битвами — Кастильоне, Аркольский мост, Риволи. Эти сражения, давно уже ставшие классикой, шли с переменным успехом: французская армия подходила в этих битвах столь же близко к грани поражения, как и к победе. Конечно, Бонапарт в этих сражениях шел на величайший риск. В ставшей легендарной битве на Аркольском мосту он не побоялся поставить на карту и судьбу армии, и собственную жизнь. Бросившись под градом пуль со знаменем вперед на Аркольском мосту, он остался жив лишь благодаря тому, что его прикрыл своим телом Мюирон: он принял на себя смертельные удары, предназначенные Бонапарту. Трехдневное сражение при Риволи к его исходу могло казаться полностью проигранным. Но в последний момент (и в этой случайности была закономерность!) французское командование превзошло австрийское — битва была выиграна![49]

В кампании 1796—1797 годов Бонапарт проявил себя блестящим мастером маневренной войны. Прин-

ципиально он продолжил лишь то новое, что было создано до него армиями революционной Франции. То была новая тактика колонн, сочетаемых с рассыпным строем и умением необычайной быстротой передвижения обеспечивать на ограниченном участке количественное превосходство над противником, умение концентрировать силы в ударный кулак, пробивающий сопротивление неприятеля в его слабом месте. Эта новая тактика уже применялась Журданом, Гошем, Марсо; она была уже проанализирована и обобщена синтетическим умом Лазара Карно, но Бонапарт сумел вдохнуть в нее новую силу, раскрыть таившиеся в ней возможности.

Полководческий талант Бонапарта мог раскрыться с такой полнотой в кампании 1796—1797 годов еще и потому, что он опирался в своих действиях на генералов первоклассного дарования. Андре Массена — «любимое дитя победы», талант-самородок — сам имел право на славу великого полководца, если бы судьба не сделала его соратником Наполеона. Итальянская кампания раскрыла инициативу, смелость, военный дар сравнительно мало известного до тех пор Жубера; его заслуги в победоносном исходе битвы при Риволи и в Тироле были очень велики. Стендаль был прав, высоко оценивая Жубера[50]. Со времени Тулона Бонапарт стал группировать вокруг себя молодых людей с какими-то особыми, присущими им чертами, заставлявшими его выделить их среди остальных. Он сумел им внушить веру в свою звезду: то были все люди, полностью ему преданные. Сначала их было только трое — Жюно, Мармон, Мюирон. Затем к ним присоединились Дюрок и Мюрат. В этот маленький кружок офицеров, пользовавшихся полным доверием командующего, затем вошли еще Ланн, Бертье, Сулковский, Лавалетт.

Жан Ланн, ровесник Бонапарта, сын конюха, начал службу в армии солдатом; в 1796 году он был уже полковником. Его инициатива, изобретательность, личная храбрость обратили внимание командующего. Ланн был произведен в бригадные генералы и в самостоятельном руководстве операциями обнаружил замечательные способности. Ланн слыл убежденным республиканцем, и его левые взгляды были известны и в иностранных посольствах[51]. К Бонапарту он искренне

привязался, видя в нем воплощение республиканских добродетелей. В кампании 1796—1797 годов он дважды спасал Наполеону жизнь. Ланн был одним из самых выдающихся военачальников блестящей наполеоновской плеяды. Отважный, прямой, резкий, он заслужил почетное прозвище Роланда французской армии.

Начиная итальянский поход, Бонапарт пригласил начальником штаба армии генерала Бертье. Александр Бертье обладал большим опытом — он служил и в старой армии, сражался в войне за американскую независимость, но по своему призванию был штабным работником. В его взглядах и пристрастиях было нелегко разобраться. Во время революции он ладил с Лафайетом и Кюстином, но также с Ронсеном и Россиньолем. К чему он стремился? Этого никто не знал. Он обладал поразительной работоспособностью, почти неправдоподобной профессиональной штабной памятью и особым талантом превращать общие директивы командующего в точные параграфы приказа. На первые или самостоятельные роли он не годился, но никто не мог его с равным успехом заменить на посту начальника штаба. Бонапарт сразу оценил особый талант Бертье и не расставался с ним до крушения империи в 1814 году[52].

Тогда же, в 1796 году, Бонапарт заметил и приблизил к себе молодого польского офицера Жозефа Сулковского. Сулковский родился в 1770 году. Аристократ, получивший превосходное образование, свободно говоривший на всех европейских языках, почитатель Руссо и французской просветительной философии, он сражался в юности за независимость Польши, а затем как истинный «возлюбленный Свободы», как говорили в XVIII веке, отдал свою шпагу защите Французской республики[53].

Со времени итальянской кампании близким к Бонапарту человеком стал также Антуан-Мари Лавалетт. Формально он был лишь одним из адъютантов главнокомандующего, но его действительное значение было бóльшим: Лавалетт пользовался доверием Бонапарта и, более того, возможно, имел на него некоторое влияние[54].

Имя Лавалетта обычно связывают с нашумевшей на всю Европу историей его неосуществленной казни в 1815 году. За переход на сторону Наполеона во время

«ста дней» граф Лавалетт был приговорен к смертной казни. Все усилия его жены Эмилии Богарне, племянницы Жозефины, и друзей спасти ему жизнь оказались тщетными. В последние часы перед казнью к нему была допущена на свидание жена. Она пробыла в камере смертника недолго; она вышла от него с низко опущенной головой, закрыв лицо, сгибаясь под тяжестью безутешного горя, шатающейся походкой прошла мимо часовых...

Когда утром стражники пришли, чтобы увести приговоренного к месту казни, Лавалетта в камере не было. Там находилась его жена. Накануне, поменявшись с женой одеждой, Лавалетт в ее платье ушел из тюрьмы[55].

Эта необычная история так поразила в свое время современников, что Лавалетт остался в памяти поколений лишь как удачливый герой драматического происшествия в стиле романов Эжена Сю или Александра Дюма. Стали забывать, что это был один из способных деятелей наполеоновской эпохи. Он никогда не выдвигался на первые места, но, оставаясь в тени, Лавалетт был на деле влиятельным участником сложной политической борьбы тех лет.

Такова была «когорта Бонапарта» — восемь-девять человек, сгруппировавшихся вокруг него во времена итальянского похода. То было своеобразное сочетание разных человеческих качеств — мужества, таланта, ума, твердости, инициативы, они-то и делали небольшую «когорту Бонапарта» неодолимой силой. Этих разных людей соединило чувство дружбы, товарищества; они были рождены революцией и связывали свое будущее с Республикой; они верили в своего полководца. Бонапарт был для них первым среди равных, и нельзя было лучше служить Республике и Франции, как сражаясь под его командованием против армий тиранов. Наконец, их всех объединяла и несла на своих волнах неудержимая молодость. Они чередовали опасности и душевное напряжение ожесточенных сражений всегда с неизвестным исходом с волнениями, рожденными «кружением сердца». И в этом первым пример показывал главнокомандующий. Весь итальянский поход он совершил, не расставаясь мысленно с Жозефиной. Он писал ей по нескольку писем в день; они были все об одном и том же — как он ее безмерно любит; он

хранил в своих карманах редко приходившие от нее письма; он их перечитывал по нескольку раз, он их знал наизусть, и ему казалось, может быть не без основания, что она его недостаточно любит[56]. Он был так одержим своей всепоглощающей страстью, что не мог об этом молчать; он говорил о ней своим друзьям в армии, даже в письмах к Карно, к далекому от него, сухому, жесткому Карно, он не мог удержаться от признания: «Я люблю ее до сумасшествия»[57].

Вслед за главнокомандующим той же участи подвергся его первый заместитель. Генерал Бертье, представлявшийся молодым людям из окружения Бонапарта человеком доисторического прошлого — он был старше их на шестнадцать-семнадцать лет! — Бертье, который, казалось, ничего не видел, кроме географических карт и сводок личного состава полков, оказался также побежденным тем же могущественным чувством. Стендаль об этом написал в словах изящных и точных: «Красавица княгиня Висконти сначала пыталась — так говорили — вскружить голову самому главнокомандующему; но, вовремя убедившись, что это — дело нелегкое, она удовольствовалась следующим после него лицом в армии, и, надо сознаться, успех ее был безраздельным. Эта привязанность целиком заполнила всю жизнь генерала Бертье до самой его смерти, последовавшей спустя девятнадцать лет, в 1815 году»[58].

Что же говорить о молодых? О Жюно — «буре», как его прозвали, прославившемся своими удалыми и часто рискованными романическими похождениями, о неистовом Мюрате, о нежно преданном своей жене Мюироне? Все они жили полнокровной жизнью, сегодняшним днем, заполненным до краев всем — изнурительными переходами через горы, азартом искусства опережения противника, громом кровавых сражений, преданностью родине, военной славой, любовью. Смерть стояла за их плечами; она подстерегала каждого из них; она вырывала из их рядов то одного, то другого: первым был Мюирон, за ним Сулковский. Остальные склоняли головы и знамена, прощаясь с навсегда ушедшими товарищами. Но они были молоды, и смерть не могла их устрашить. Каждый день они ставили против нее на карту свою жизнь — и выигрывали. И они шли вперед не оглядываясь.

Бонапарт в годы итальянской кампании был еще республиканцем. Приказы главнокомандующего, его обращения к итальянцам[59], его переписка, официальная и частная, наконец, его практическая деятельность в Италии — все подтверждает это. Иначе, впрочем, и быть не могло. Вчерашний последователь Жан-Жака Руссо, якобинец, автор «Ужина в Бокере» не мог сразу стать совсем иным.

Конечно, за минувшие годы Бонапарт, как и все другие республиканцы, не в малой мере изменился. Сама Республика изменилась: в 1796 году она была уже во многом иной, чем в 1793—1794 годах. Эволюция буржуазной республики, ставшая особенно ощутимой в годы Директории, не могла пройти бесследно. Но в армии, особенно в итальянской, давно оторванной от столицы, не вдавались в тонкости эволюции Республики. Общий смысл политики определялся в армии прежними лозунгами: «Республика ведет справедливую войну! Она обороняется от монархии! Смерть тиранам! Свободу народам!»

В глазах солдат и офицеров итальянской армии кампания 1796 года была такой же справедливой войной в защиту Республики, как и кампания 1793—1794 годов. Разница заключалась разве лишь в том, что Республика стала сильнее и теперь сражалась против тех же австрийцев и англичан не на своей земле, а на чужой.

Генерал Виктор, направленный командованием итальянской армии в Рим, прежде всего возложил венки к подножию статуи Брута[60]. Ланн в своих воззваниях призывал к полному искоренению роялистов, эмигрантов и мятежных священников[61]. Итальянская армия афишировала свой республиканизм.

Победы 1796 года были бы невозможны, если бы республиканская армия морально не превосходила австрийскую армию, если бы ее не окружала атмосфера сочувствия, поддержки со стороны итальянского населения, освободившегося благодаря французам от австрийского гнета.

Но по своему положению командующего армией, поддерживавшего прямые связи с правительством, Бонапарт, конечно, был гораздо лучше других информирован о политическом положении Республики и хорошо

разбирался в значении совершавшихся в стране перемен.

Его отношения с Директорией день ото дня становились сложнее. Внешне обе стороны старались сохранять установленные формальные нормы: Директория предписывала, генерал докладывал; все иерархические дистанции соблюдались. Но по существу после первых же побед, после Монтенотте, Миллезимо, Лоди, после того, как Бонапарт уверился в том, что кампания развертывается успешно, он стал проводить собственную линию, несмотря на все заверения в готовности выполнять приказы Директории.

20 мая 1796 года командующий итальянской армией объявил подчиненным, что половину жалованья они будут получать в звонкой монете[62]. Ни в одной из армий Республики так не платили. Он решил это единолично, ни у кого не спросив разрешения. В Париже эта чрезмерная самостоятельность вызвала недовольство, но в итальянской армии, естественно, решение командующего было встречено одобрением.

Еще ранее, 13 мая, Бонапарт получил от Директории приказ, подготовленный Карно, извещавший, что армия, действующая в Италии, будет разделена на две самостоятельные армии. Одна, действующая на севере, будет возглавлена генералом Келлерманом, вторая, под командованием генерала Бонапарта, численностью в двадцать пять тысяч солдат, должна идти на Рим и Неаполь[63].

Приказ этот Бонапарт получил, когда только что отшумели громы победы при Лоди. Среди всеобщего ликования, царившего в армии после блистательной победы, этот приказ был ошеломляющ. Бонапарт тут же написал ответ. Он заявлял, что разделять армию, действующую в Италии, противоречит интересам Республики. Бонапарт обосновал свои возражения точно и ясно сформулированным доводом: «Лучше один плохой генерал, чем два хороших». И в присущем ему стиле он шел на обострение ситуации: «Положение армии Республики в Италии таково, что вам необходимо иметь командующего, пользующегося полным вашим доверием; если это буду не я, вы не услышите от меня жалоб... Каждый ведет войну как умеет. Генерал Келлерман более опытен, чем я; он поведет ее лучше; вдвоем

мы будем вести ее плохо»[64]. Угроза отставкой, направленная из Лоди,— то был сильный ход!

Могла ли Директория принять отставку Бонапарта? Армии Журдана и Моро, на которые правительство возлагало основные задачи в разгроме Австрии, терпели неудачи. Единственной армией, шедшей вперед и каждые три дня присылавшей в столицу курьеров с извещением о новых победах, была эта захудалая итальянская армия, вчера еще считавшаяся почти безнадежной, а ныне приковавшая своим победоносным маршем внимание всей Европы. Имя Бонапарта, еще недавно мало кому известное, теперь было у всех на устах. Победы Бонапарта укрепляли позиции Директории, поддерживали ее престиж, существенно подорванный многими неудачами. Правительство Директории не могло принять отставки генерала Бонапарта.

Была еще одна существенная причина, придававшая Бонапарту такую уверенность. Возглавляемая им армия была единственной, посылавшей Директории не только победные сводки и неприятельские знамена, но и деньги в благородном металле — золоте. При финансовом кризисе Республики, превратившемся в застойную болезнь, при волчьей алчности членов Директории и правительственного аппарата, через руки которых проходило, прилипая к пальцам, золото, это обстоятельство имело важнейшее значение. О нем не принято было говорить вслух; в официальных выступлениях о таких «деталях», само собой разумеется, не упоминалось, что Бонапарт лучше, чем кто-либо, знал, как много они значат. Через несколько дней после вступления в Милан Саличетти сообщал Директории, что завоеванные области, не считая Модены и Пармы, уже заплатили тридцать пять с половиной миллионов[65].

Могла ли Директория отказаться от такого важного источника пополнения всегда пустой казны, а заодно, может быть, и собственных карманов? Обеспечит ли этот непрерывно поступающий из Италии золотой поток другой генерал? Это было сомнительно. Журдан и Моро не только не присылали золото — их армии требовали больших расходов.

Бонапарт верно рассчитал ходы: Директория должна была пойти на поставленные ей условия. Приказ о разделении армии в Италии был предан забвению. Бонапарт победил, Директория отступила. Но разно-

гласия между генералом и Директорией продолжались. Они касались теперь существенного вопроса — о будущности завоеванных областей Италии, о завтрашнем дне.

Распоряжения Директории сводились к двум основным требованиям: выкачивать из Италии побольше золота и любых других ценностей — от произведений искусства до хлеба — и не обещать итальянцам никаких льгот и свобод. По мысли Директории, итальянские земли должны были оставаться оккупированными территориями, которые позже, при мирных переговорах с Австрией, следует использовать как разменную монету, например можно отдать их Австрии в обмен за Бельгию или территорию по Рейну и так далее или Пьемонту как плату за союз с Францией.

В этой циничной позиции Директории явственно обнаруживалась эволюция внешней политики Французской республики. После термидора наступила новая полоса. Директория представляла крупную, преимущественно новую, спекулятивную буржуазию и во внешней политике руководствовалась тем же, чем и во внутренней: она стремилась к обогащению либо в форме территориальных захватов, либо в форме контрибуций или прямого грабежа. Во внешней политике Директории все отчетливее на первое место становились захватнические, грабительские цели. Война меняла свое содержание. В. И. Ленин писал: «Национальная война *может* превратиться в империалистскую *и обратно*»[66]. В 1796 году этот процесс уже начался.

Итальянской армии были присущи в той мере, в какой она являлась одним из инструментов внешней политики Директории, и черты, свойственные этой политике в целом. Однако разногласия между командующим и правительством Директории шли прежде всего именно по таким коренным вопросам. Бонапарт не соглашался с политикой, навязываемой ему Директорией. В 1796 году он, конечно, уже освободился от эгалитаристско-демократических иллюзий, навеянных идеями Руссо и Рейналя, которые им владели десять лет назад. Его теперь не смущала по существу необходимость накладывать на побежденную страну контрибуцию; он уже считал возможным там, где это было выгодно или целесообразно, сохранять на какое-то время монархии (как это было в Пьемонте или Тоскане), тогда как ранее

он считал, что все монархии надо уничтожить. При всем том его политика в Италии в немалой мере противоречила директивам, получаемым из Парижа.

Выступая впервые в Милане 15 мая и обращаясь к народу, Бонапарт заявил: «Французская республика приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливыми и устранить все препятствия к этому. Только заслуги будут различать людей, сплоченных единым духом братского равенства и свободы»[67]. В упоминавшемся воззвании «К народу Ломбардии» от 30 флореаля командующий снова обещал народу свободу[68], что могло практически означать конституирование в дальнейшем ломбардийской государственности, образование под тем или иным названием ломбардийской республики.

Усилия Бонапарта и были к этому направлены. В очевидном противоречии с предписаниями Директории, которые он практически саботировал, прикрываясь разными отговорками[69], он вел дело к скорейшему созданию нескольких итальянских республик. Позже он пришел к мысли о необходимости создания системы дружественных Франции и зависимых от нее республик. Как писал Дюмурье Павлу I, в 1797 году Бонапарт, выступая в Женеве, в Сенате, говорил: «Было бы желательно, чтобы Франция была окружена поясом маленьких республик, таких, как Ваша; если он не существует — его надо создать»[70].

В воззвании к итальянцам 5 вандемьера (26 сентября 1796 года) командующий французской армией призывал итальянский народ к пробуждению Италии. «Настало время, когда Италия с честью предстанет среди могущественных наций... Ломбардия, Болонья, Модена, Реджо, Феррара и, может быть, Романья, если покажет себя достойной этого, вызовут в один из дней удивление Европы, и мы увидим самые прекрасные дни Италии! Спешите к оружию! Свободная Италия многолюдна и богата. Заставьте дрожать врагов ваших и вашей свободы!»[71]

Это ли было выполнением требований Директории? То была смелая программа буржуазно-демократической революции, к которой Бонапарт настойчиво во множестве воззваний и обращений призывал итальянцев[72].

И если призыв к созданию свободной Италии не был претворен в жизнь, то причина этого кроется по преимуществу в партикуляризме итальянских малых го-

сударств, в незрелости в то время еще движения национального единства, в неспособности преодолеть стремления к местной и религиозной обособленности[73].

Бонапарт сумел реалистически оценить своеобразие страны, в которой он действовал. Надо осуществлять то, что практически возможно сегодня. В октябре 1796 года в Милане было официально провозглашено создание Транспаданской республики, а состоявшийся в том же месяце в Болонье конгресс депутатов Феррары, Болоньи, Реджо и Модены объявил о создании Циспаданской республики[74]. Главнокомандующий французской армией в Италии специальным посланием приветствовал образование республик в Италии[75].

В Париже в кругах Директории были взбешены непослушанием, своеволием генерала. Данные ему инструкции предписывали «сохранять народы в прямой зависимости» от Франции. Бонапарт действовал так, как если бы эти директивы не существовали, он способствовал созданию независимых итальянских республик, связанных с Францией общностью интересов.

Конфликты между Бонапартом и правительством Директории нередко изображают как столкновения соперничающих честолюбий, в них видят начало последующей борьбы генерала за власть. Такое толкование не исчерпывает вопроса. Бонапарт в 1796 году вел исторически более прогрессивную политику. Он стремился использовать до конца еще не исчерпанную революционно-демократическую потенцию Французской республики. В отличие от ослепленной жадностью Директории, не задумывавшейся о завтрашнем дне, Бонапарт ставил иные задачи. В войне против могущественной Австрии он считал необходимым поднять против нее антифеодальные силы и приобрести для Франции союзника в лице итальянского национально-освободительного движения.

Во избежание неясностей скажем еще раз, что, конечно, Бонапарт 1796 года, выполняя в Италии исторически прогрессивное дело, был весьма далек от эбертистских концепций революционной войны. В воззвании 19 октября 1796 года к народу Болоньи он заявил: «Я враг тиранов, но прежде всего враг злодеев, разбойников, анархистов»[76]. Он постоянно подчеркивал свое уважение к собственности и право каждого пользоваться всеми благами. Он оставался поборником бур-

жуазной собственности, буржуазной демократии. И в войне против феодальной австрийской монархии буржуазно-революционная программа Бонапарта была, бесспорно, сильным оружием, расшатывавшим опоры старого мира и привлекавшим союзников в лице народов, угнетенных деспотизмом Габсбургов.

29 ноября 1796 года в Милан в ставку итальянской армии прибыл генерал Кларк. Он оставил столицу 25-го и, не щадя лошадей, покрыл огромное расстояние от Парижа до Милана за четыре дня. Кларк очень спешил, но куда? В Вену. Бонапарта Кларк коротко, не вдаваясь в детали, уведомил, что он облечен полномочиями вести переговоры с австрийским правительством о заключении перемирия, а может быть, и мира.

Командующему итальянской армией нетрудно было понять, что Директория торопилась присвоить себе плоды его побед, через Кларка заключить победоносный мир, которому будет рукоплескать вся страна, а его, Бонапарта, оставить за дверью. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Переписка Бонапарта декабря 1796 года не содержит прямых свидетельств его настроений той поры. О них можно только догадываться. Он отдавал себе отчет в том, что в создавшейся ситуации исход его борьбы с Директорией не может быть решен с помощью чернил. Тут нужны иные, более действенные средства. Для него было также очевидно, что, направляя Кларка в Вену, Директория стремилась не только похитить его лавры, но и взять в свои руки решение итальянских дел и соглашением с Австрией перечеркнуть все созданное с таким трудом в Италии.

Решимость Директории отстранить победоносного генерала объяснялась тем, что к осени 1796 года Баррас, Карно, Ларевельер-Лепо — лидеры Директории — считали свое положение укрепившимся. Расчет этот, как показали дальнейшие события, был ошибочным, тем не менее они из него исходили. В мае — июне 1796 года режим Директории переживал очередной кризис. Был раскрыт «Заговор во имя равенства», и арестованы его главные руководители — Гракх Бабёф, Дарте, Буонарроти. Но дело на том не кончилось. Во фрюктидоре было разгромлено тесно связанное

с бабувистами революционно-демократическое движение в Гренельском лагере; последовали новые многочисленные аресты. Удар расширялся: он был направлен не только против бабувистов, но и против левых, проякобинских кругов в целом[77].

К осени 1796 года руководители Директории могли считать кризис в основном преодоленным. Политика «качелей» продолжалась. После удара вправо в октябре 1795 года в мае — июле 1796 года удар был нанесен влево. Равновесие восстановилось; директоры считали свое положение вновь упроченным; пришла пора, считали директоры, заняться своевольным генералом в Италии.

Операция с миссией Кларка (ее авторство обычно приписывают Карно) вполне укладывалась в общий курс политики Директории того времени — удар влево. Кларку были поручены не только дипломатические задачи, но и более специальные — наблюдение за Бонапартом. Он имел на этот счет прямые указания Карно и Ларевельера[78]. Конечно, Бонапарта, бывшего командующего внутренней армией, закрывшего в свое время клуб Пантеона, нельзя было обвинить в связи с бабувистами. Ему нельзя было поставить в вину и связь с Саличетти, близким к Буонарроти, хотя бы потому, что Саличетти состоял при Бонапарте в качестве комиссара Директории и Директория должна была его защищать[79]. Но за самовольные действия с Бонапарта хотели спросить, и спросить строго. Передав ведение переговоров с Австрией в руки генерала Кларка, Директория тем самым лишала Бонапарта возможности влиять на ход событий в Италии. Но обойти Бонапарта было непросто. Он еще раз трезво рассмотрел ситуацию, взвесил все шансы. Анализ положения показывал, что оно небезнадежно.

Директория неудачно выбрала время для ведения переговоров с Австрией. В Вене в ноябре — декабре 1796 года отнюдь не считали кампанию проигранной. Напротив, именно тогда вновь ожили надежды добиться решающего перелома в ходе войны. Армии Журдана и Моро были отброшены эрцгерцогом Карлом за Рейн; им пришлось перейти к обороне. Против армии Бонапарта были подготовлены новые резервы, вместе с ними армия Альвинци достигла примерно восьмидесяти тысяч человек[80]. Старый венгерский фельдмаршал был

полон решимости взять реванш за Арколе. Альвинци шел на освобождение армии Вурмзера, запертой в осажденной Мантуе. Восемьдесят тысяч Альвинци плюс двадцать или тридцать тысяч Вурмзера — то была внушительная сила. Располагая таким подавляющим превосходством, можно ли было сомневаться в том, что сорок тысяч усталых солдат Бонапарта не будут раздавлены?

Кларк напрасно гнал лошадей. Альвинци отказался пропустить его в Вену. Какой был смысл Австрии вступать в переговоры в момент, когда она готовилась нанести сокрушающий удар французской армии? Бонапарт, принявший первоначально Кларка весьма холодно, теперь стал с генералом-дипломатом беспредельно любезен. Кларк, генерал из дворян, к тому же ирландского происхождения и потому пострадавший в 1793 году, многое успевший испытать на своем недолгом веку, умный и сообразительный, с каждым днем все более поддавался обаянию столь дружественного к нему командующего итальянской армией.

Но Бонапарт понимал, что исход борьбы с Директорией не решается тем, что Кларк будет «завоеван», то есть из противника превратится в союзника. В этом Бонапарт быстро преуспел: с его даром обольщения ему нетрудно было перетянуть Кларка на свою сторону. Но «завоевание» Кларка еще ничего не решало. Все зависело от исхода схватки с Альвинци.

Бонапарт в декабре 1796 — начале 1797 года был болен: его трясла лихорадка. Он был желтого цвета, еще более похудел, высох; в кругах роялистов распространилась молва, что дни его сочтены, что через неделю, самое большее через две, его можно будет «списать» из числа противников. Но прошло две недели, и этот «живой мертвец» показал еще раз, на что он способен. В знаменитой битве при Риволи 14—15 января 1797 года, битве, оставшейся одним из самых блистательных достижений военного искусства, Бонапарт разбил наголову своего противника[81]. Армия Альвинци бежала с поля боя, оставив в руках французов более двадцати тысяч пленных. Стремясь закрепить успех и добить противника, Бонапарт, получив сведения, что часть австрийской армии под командованием генерала Проверы движется к Мантуе, приказал Массена преградить ему путь. Несмотря на крайнее утом-

ление солдат, Массена настиг 16 января у Фаворита группу войск Проверы и разбил ее.

Триумф Риволи, удвоенный победой у Фаворита, поднял престиж Бонапарта на недосягаемую высоту. Граф Моцениго доносил из Флоренции в Петербург: «Французская армия в ожесточенном бою почти полностью сокрушила австрийцев... и в результате Буонапарте, в течение четырех дней почти уничтоживший императорские войска в Италии, вступил триумфатором в Верону, окруженный всеми атрибутами победы»[82].

Теперь все внимание было приковано к битве за Мантую, которую Симолин называл «ключом ко всей Ломбардии»[83]. Моцениго предсказал, что Мантуя долго не продержится и что «ее падение сразу почувствует вся Италия!»[84]. Действительно, через две недели после Риволи армия Вурмзера в Мантуе, потеряв всякую надежду на освобождение, капитулировала. Отныне вся Италия лежала у ног победителей[85].

Начиная утром 14 января решающее сражение у Риволи, Бонапарт отдавал себе отчет в том, что предстоящее сражение определит не только исход всей итальянской кампании — тем самым будет решен и его долгий спор с Директорией. Расчеты Бонапарта были подтверждены победами французского оружия. Он победил не только Альвинци и Вурмзера. Побежденной оказалась и Директория. В льстивых выражениях она поздравляла генерала-триумфатора. И хотя успехи Бонапарта вызывали все большее беспокойство членов Директории[86], она могла теперь лишь скромно высказывать свои пожелания победоносному генералу. Прежние намерения «проучить» или даже отстранить своевольного командующего оказались по меньшей мере неуместны.

Бонапарту оставалось реализовать плоды своих побед.

Риволи и Мантуя вызвали величайшую панику во всех дворцах больших и малых итальянских государств. В донесении из Флоренции в Петербург в середине февраля 1797 года сообщалось, что «тревога и страх, охватившие Рим, достигли высшего предела». Французские воиска двигались к столице Папской области, не встречая никакого сопротивления, и в Риме были озабочены прежде всего тем, куда бы мог укрыться «святой отец». Такой же тревогой был охвачен

и Неаполь; главные усилия неаполитанского двора были направлены на то, чтобы достичь мира с Бонапартом. Великий герцог Тосканский поспешил внести в кассу победоносной армии миллион экю и, как писал Моцениго, не замечая скрытого юмора своего сообщения, «должен был чувствовать себя очень счастливым, получив возможность рассчитаться такой ценой в момент, когда падение Мантуи отдавало французам всю Италию»[87].

19 февраля в Толентино Бонапарт продиктовал представителю римского папы кардиналу Маттеи и его коллегам условия мира[88]. Они резко отличались от программы, которую в ряде документов определяла Директория. Договором в Толентино Бонапарт хотел показать членам Директории, что итальянские дела отныне будет решать он сам: он разбирался в них лучше, чем высокопоставленные господа в Париже.

Впрочем, он знал, с кем имеет дело и что́ может в Париже произвести наибольшее впечатление. В письме Директории 19 февраля 1797 года, сообщая об условиях мира, предусматривающих контрибуцию в тридцать миллионов ливров, Бонапарт небрежно замечал: «Тридцать миллионов стоят в десять раз больше Рима, из которого мы не могли бы вытянуть и пяти миллионов»[89]. Директория должна была принять условия мира с папой, выработанные вопреки ее директивам. В Париже, видимо, были рады и тому, что генерал все слал золото — многие десятки миллионов. А вдруг ему придет в голову что-то иное?

Бонапарт зорко следил и за тем, что происходило на его родной Корсике. Власть англичан не была прочной. Победы французского оружия в Италии создавали благоприятные условия для возобновления борьбы. В 1796 году он направил на остров своего эмиссара Бонелли, которому удалось поднять сильное партизанское движение в западных районах Корсики. Вслед за тем туда был переброшен генерал Жентили во главе отряда в двести — триста человек[90]. Англичане, оказавшиеся в полной изоляции на острове, должны были его покинуть в октябре 1796 года.

Саличетти, а затем сменивший его Мио де Мелито и Жозеф Бонапарт сравнительно быстро восстановили на Корсике власть Франции. Но умиротворить страсти было нелегко. Современные исследователи признают,

что сторонники Паоли или монархии оказывали тайное сопротивление французскому республиканскому режиму[91].

Ни участники борьбы тех лет, ни исследователи истории Корсики не знали, да и не могли знать, что осенью 1797 года корсиканские сепаратисты во главе с Колонна де Сезари решились на новую крупную акцию. Как свидетельствуют архивные документы Российской коллегии иностранных дел, и в частности реляции императору Павлу I из Флоренции, в середине декабря 1797 года на прием к Моцениго явился прибывший с Корсики Колонна де Сезари. В доверительной беседе он заявил, что «остров Корсика так же недоволен французами, как и англичанами...» и что, по мнению всех «наиболее заметных и деятельных сил страны», судьба острова может быть должным образом решена лишь установлением над ним верховной власти российского императора[92]. Колонна де Сезари утверждал, что завоевание острова, важного для России как опорный пункт в Средиземном море, не представит больших трудностей: у корсиканцев есть ружья[93].

Моцениго обещал доложить об услышанном в Петербург. Не принимая никаких обязательств, он не закрывал дверей для продолжения переговоров. Тайные встречи и переговоры продолжались на протяжении года. В ноябре 1798 года Моцениго принял участие в «секретном собрании» корсиканцев, во время которого они представили ему «пространное доношение и план об удобности и пользе предприятия на Корсику и о средствах атаки, требуя 6 тысяч ружей, 2 тыс. сабель, 100 бочонков пороху и 3 тыс. регулярного войска»[94]. Моцениго, возможно, для того, чтобы уйти от определенного ответа, указывал, что «если не пристанет к тому ген. Паоли или не будет учинено с согласия двора Английского...», то предприятие натолкнется на большие трудности[95]. Переговоры затягивались...

Знал ли о них Бонапарт? По всей видимости, нет. Ничто не подтверждает его обеспокоенности ходом дел на Корсике в 1798 году. Его внимание было приковано к другим важным проблемам — Бонапарт торопился заключить мир с Австрийской монархией.

Год побед сокрушил австрийскую армию. Симолин писал в апреле 1797 года из Франкфурта, что общественное мнение уже говорит «о кризисе австрий-

ского дома» и что в армии считают неизбежным заключение мира с республиканской Францией[96]. Но и армия Бонапарта была крайне утомлена. Надо было спешно, пока за плечами ширились крылья победы, кончить войну. Бонапарт торопился еще и потому, что опасался, как бы Гош, сменивший Журдана на посту командующего армией, не начал свежими силами наступления и не опередил бы итальянскую армию в Вене. Но не от Бонапарта должна была исходить инициатива мирных переговоров. Он был уверен, что австрийцы первыми попросят начать переговоры о мире. И чтобы их поторопить (Бонапарт и сам не мог долго ждать), он двинул свою армию, изнемогавшую от усталости, на север. Войска Жубера, Массена, Серюрье и свежая дивизия Бернадота вторглись в пределы Австрии.

После разгрома Альвинци командующим австрийской армией, действовавшей против Бонапарта, был назначен эрцгерцог Карл. У него была репутация лучшего полководца австрийской армии: он нанес тяжелые удары Журдану, заставил отступить Моро. Болье, Аржанто, Альвинци, Давидович, Кваздaнович, Вурмзер, Провера — лучшие генералы австрийской армии — лишились славы в сражениях с этим молодым корсиканцем, которого уже окружал ореол непобедимости. Испытывать ли судьбу? Эрцгерцог Карл попробовал остановить продвижение французов. Но битвы при Тальяменто и Градиске, хотя и не были генеральными сражениями, снова с неоспоримостью показали превосходство французского оружия[97]. Не следовало дожидаться худшего. Авангард французских войск находился в ста пятидесяти километрах от Вены. В столице Габсбургов началась паника.

7 апреля в Леобене к Бонапарту явились представители австрийской стороны — то были генералы Бельгард и Мервельдт. Они заявили, что уполномочены императором вести переговоры о предварительных условиях мира[98]. Мечты Бонапарта сбывались! Сам император, глава «Священной Римской империи германской нации», слал своих представителей вести переговоры о заключении мира. Все благоприятствовало Бонапарту в эту удивительную весну 1797 года. Он не позволил Директории вырвать у него плоды побед, сам обошел господ директоров, вздумавших управлять им как марионеткой. Кларк полностью обезврежен. Гош и Моро

не успели прийти в Вену. Бонапарт теперь один, без наставников и советников, поведет переговоры с уполномоченными императора и заключит мир на тех условиях, которые найдет наиболее целесообразными.

Переговоры, начавшиеся 7 апреля, через десять дней были успешно завершены. 18 апреля в замке Эггенвальд, вблизи Леобена, генералом Бонапартом от имени Республики и графом Мервельдтом и маркизом Галло от имени австрийского императора были подписаны прелиминарные условия мира[99]. Бонапарт в ходе переговоров был сговорчив. Он запросил сначала большее, увидел, в чем заинтересована сильнее всего другая сторона, и быстро нашел с ней путь к соглашению. Австрия отказывалась от Бельгии, примирялась с потерей владений в Северной Италии, но зато Бонапарт не настаивал на отторжении рейнских земель. В секретном соглашении Австрии была обещана в виде компенсации часть Венецианской области.

Леобенские соглашения были заключены в противоречии с требованиями Директории, настаивавшей на присоединении к Франции Рейнской области и компенсации Австрии возвращением ей Ломбардии. Бонапарт предвидел, что соглашение будет встречено директорами с неудовольствием. В письме к Директории 19 апреля Бонапарт, обозревая все свои действия с начала кампании, доказывал их правильность и настаивал на утверждении прелиминариев. Он подкреплял свое желание угрозой: он просил в случае несогласия с его действиями принять его отставку как командующего и дать возможность заняться гражданской деятельностью[100].

Расчет был точен. Члены Директории не могли в момент наивысшей популярности генерала, завоевавшего почетный и выгодный мир, уволить его в отставку. Как сообщал Симолин, в Париже известия о подписании Бонапартом мирного соглашения «были встречены народом с энтузиазмом»[101]. Еще менее члены Директории желали видеть этого беспокойного и своевольного человека в Париже своим коллегой по работе. Баррас уже хорошо понимал, что от этого «простачка», как он еще недавно и столь ошибочно, столь близоруко называл Бонапарта, можно ожидать всяких неожиданностей. Скрепя сердце Директория должна была одобрить Леобенские соглашения. Бонапарт добился своего:

он выиграл войну, он был на пути к выигрышу мира, важнейший шаг был сделан. Руки его были развязаны — он занялся итальянскими делами.

В мае, использовав как предлог убийство нескольких французских солдат на венецианской территории, французская армия вступила в пределы Венецианской республики и оккупировала ее. Правительство республики дожей было низложено. В Венеции было создано временное правительство, но Бонапарт отнюдь не способствовал его укреплению. Он не забывал о секретных статьях Леобенских соглашений *.

В июне французские войска вступили на территорию Генуэзской республики; предлог для этого тоже нашелся. Но о Генуе в леобенских беседах речи не было; здесь ничто не препятствовало, чтобы сразу были найдены должные государственные формы. 6 июня в Генуе было провозглашено образование Лигурийской республики. Моделью для нее послужила конституция III года Французской республики. Лигурийская республика была создана по тому же образцу — с двумя Советами и Директорией[102].

В июне Транспаданская и Циспаданская республики были преобразованы в единую Цизальпинскую республику. Бонапарт видел в ней основу будущей единой Италии. Италия должна была стать верной опорой Франции. В республике был проведен ряд социально-политических мер антифеодального, буржуазного характера: уничтожены феодальные повинности и поборы, проведена секуляризация церковных земель, введено новое законодательство, устанавливающее равенство всех граждан перед законом со всеми вытекающими отсюда последствиями[103]. Политический строй республики был близок к французскому образцу: Директория, два законодательных Совета, сходная система местного самоуправления. Цизальпинская республика была связана тесными отношениями с Францией. Иначе, впрочем, и быть не могло. В состоянии ли была бы только что рожденная, слабенькая республика, окруженная со всех сторон враждебными ей монархиями,

* Эти секретные соглашения довольно скоро перестали быть тайной. Симолин в донесении 25 апреля (6 мая) 1797 года уже сообщал, что, по слухам, Венеция отдана Австрии в компенсацию (АВПР. Сношения с Францией, 1797, дело № 522, л. 61—62).

противостоять им без поддержки республиканской Франции?

Царские дипломаты высказывали опасения (надо признать, достаточно обоснованные), что новые республики станут орудием в руках Франции и будут способствовать революционизированию страны[104]. Так оно и было.

Многим итальянским современникам тех событий казалось, что Бонапарт действует прежде всего как итальянский патриот, для которого родная страна дороже всего. Известный математик того времени Маскерони, преподнося командующему армией свою книгу «Геометрия», напоминал в дарственной надписи о знаменательном дне, когда «ты преодолел Альпы... чтобы освободить твою дорогую Италию». Это обращение свидетельствовало, что в глазах итальянского ученого победоносный генерал оставался верным сыном Италии — он был для него Наполионе ди Буонапарте. Но так ли это было на самом деле?

«Французская республика рассматривает Средиземное море как свое море и намерена в нем господствовать»[105],— твердо заявил Бонапарт озадаченному графу Кобенцлю, представителю Австрии на переговорах, завершившихся Кампоформийским миром. Но ведь и итальянцы заявляли, что Средиземное море — это mare nostra —«наше море». Следовательно, Бонапарт ставил интересы Франции выше итальянских интересов? В том не может быть никакого сомнения.

Итальянская политика Бонапарта определялась интересами Франции — это неоспоримо. Но ведь и интересы Франции можно понимать по-разному. Расхождения между Бонапартом и Директорией в вопросах итальянской политики как раз и служат наглядным примером этого разного понимания интересов. Когда Директория возражала против образования независимых итальянских республик и требовала от Бонапарта только золота и еще раз золота, ссылаясь на «интересы Франции», то это доказывало лишь, как узко она их понимала. То была откровенно грабительская политика, вполне соответствовавшая волчьей жадности новой, спекулятивной буржуазии, стремящейся урвать побольше добычи. Бонапарт понимал интересы Франции шире и глубже. Он прошел школу революции и видел, какие огромные преимущества Франция приобретает,

противопоставляя передовую, буржуазную систему отношений реакционной, феодальной системе, привлекая на свою сторону многочисленные силы угнетенных и недовольных. Его политика в Италии шла в главном в русле исторического прогресса, и в этом был источник ее силы.

Современники это чувствовали и понимали, хотя и выражали свое мнение иначе. Стендаль назвал 1796 год героическим временем Наполеона, поэтическим и благородным периодом его жизни: «Я прекрасно помню тот восторг, который его юная слава возбуждала во всех благородных сердцах»[106]. Гро, Верне, Давид запечатлели образ устремленного вперед молодого, очень худого воина, с вдохновенным бледным лицом, развевающимися на ветру длинными волосами, с трехцветным знаменем в руках, рвущегося впереди солдат навстречу врагу. Бетховен позднее, потрясенный громами великих побед и беспримерных подвигов, создал свою бессмертную «Героическую симфонию».

Все это так. И все же даже в ту начальную, лучшую пору деятельности Бонапарта на большой сцене европейской политики порой проступали какие-то черты, какие-то отдельные штрихи в его образе, его действиях, которые смущали даже самых пылких его почитателей из среды республиканцев.

Огромные контрибуции, накладываемые на побежденные итальянские государства...

Приверженцы Бонапарта, даже из среды итальянских патриотов, оправдывали его тем, что таковы были «законы войны», как их понимали в XVIII веке, что командующий выполнял лишь требования Директории, что контрибуции взимались и другими республиканскими армиями и что Бонапарт заставлял платить монархов, церковь, богатых.

В общем все это было верно. Но иные, хотя и не вполне уверенно, все же возражали: разве «законы войны» распространяются и на республику? Разве генерал Бонапарт всегда выполнял требования Директории? Наконец, совсем робко недоумевали третьи: разве когда-либо взимались контрибуции в таких огромных размерах?

Нельзя было не заметить, что и в самом поведении, в образе жизни республиканского генерала кое-что изменилось. Пока армия с боями продвигалась вперед,

Бонапарт вместе с солдатами шел большей частью пешком и, появляясь в момент сражения в самых опасных местах, разделял все тяготы похода. Но вот выстрелы смолкли, было подписано перемирие, ожидался мир, и Бонапарт возвратился в Милан.

Он поселился в великолепном замке Монбелло, вблизи Милана, где создал своего рода маленький двор, поражавший приезжих пышностью убранства. Здесь на больших приемах, на званых обедах, на вечерах царила Жозефина. Она, кажется, впервые начинала ценить своего мужа — она как бы узнавала его вновь. Неужели этот умеющий быстро принимать решения, уверенный в себе, вызывающий всеобщее восхищение командующий армией — тот самый угловатый, одержимый страстью корсиканец, над которым она вместе с этим глупым Шарлем тайно посмеивалась? Она корила себя: как же она сразу не смогла разглядеть «своего Бонапарта»? С каждым днем ее привязанность к нему становилась все сильнее. К тому же он дал ей наконец возможность удовлетворить остававшуюся столько лет неутоленной прирожденную страсть сорить деньгами. Впрочем, этот талант жены генерала оспаривали его сестры, и прежде всего прекрасная Паолетта, окончательно ставшая Полиной, но по-прежнему кружившая головы всем молодым офицерам армии. То был веселый, блестящий двор, искрящийся молодостью, смехом, шутками, вином в хрустальных гранях бокалов, улыбками женщин,— двор генерала армии победителей.

Но кто оплачивал эти беззаботные шумные вечера в великолепных залах старинного дворца Монбелло, где вино лилось рекой и деньги текли без счета? Граф Мелци и другие итальянские министры подымали бокалы за здоровье командующего и офицеров армии освободителей. Возможно, они были вполне искренни. Но в конце концов то было ведь золото, созданное народом Италии[107].

В замке Монбелло стало чуть-чуть тише после того, как притягивавшая к себе столько поклонников Полина Бонапарт остановила наконец свой выбор (или выбор брата?) на генерале Леклерке. Старший брат отпраздновал должным образом ее свадьбу и дал ей в приданое сорок тысяч ливров. Почитатели генерала и поклонники Полины говорили: разве женщина, затмевающая своей красотой всех красавиц Италии, не достойна этого? Кто

решился бы возражать? Но люди, знавшие ближе семью Бонапарт, про себя вспоминали, что еще три года назад босая Паолетта полоскала белье в студеной воде реки. Когда Бонапарт в 1797 году уезжал из Италии, Директория Цизальпинской республики поднесла ему в знак признательности полюбившийся ему дворец Монбелло; она заплатила за него прежнему владельцу миллион ливров[108].

Наполеон на острове Святой Елены счел необходимым вернуться — для будущих поколений — к вопросу о своих расходах в Италии. Он рассказал о том, как герцог Моденский предложил ему, через Саличетти, четыре миллиона золотом и как он их отверг. Не подлежит сомнению, что рассказанное им — правда. Он указал также, что общая сумма, полученная им в Италии, не превышала 300 000 франков[109]. Фр. Массон, посвятивший всю жизнь исследованию деталей биографии знаменитого человека, скромно заметил по этому поводу, что, вероятнее всего, император пропустил один ноль[110]. Трудно сказать с достоверностью, имел ли Бонапарт ко времени счастливых вечеров в Монбелло уже миллионное состояние; возможно, что нет. Он был более жаден к славе, чем к деньгам. Но в улыбавшемся, пленявшем остроумием итальянских гостей, блестящем хозяине замка Монбелло уже нелегко было узнать сумрачного, похожего на затравленного волка офицера из топографического бюро, прятавшегося в тени, чтобы скрыть пообтершийся мундир и стоптанные сапоги.

Конечно, Бонапарт 1797 года, имевший за плечами славу Монтенотте, Лоди, Риволи, был уже иным, чем два года назад.

За это время в его жизни все круто изменилось, все стало иным. Важно понять и психологический перелом, происшедший в нем за месяцы войны в Италии.

Все первые годы сознательной жизни Бонапарт, более того, целое десятилетие — с 1786 по 1796 год — терпел одну неудачу за другой, он переходил от поражения к поражению. С его корсиканской склонностью к суеверию он был готов признать, что ему «не везет». Может быть, он родился неудачником? Может быть, всю жизнь его будет преследовать злой рок? И вот после десяти лет неудач с 1796 года в его судьбе все изменилось. Ветер подул в его паруса. Он шел от победы к победе, от успеха к успеху.

Бонапарт был одним из образованных людей своего времени. В Монбелло он приглашал знаменитых ученых — математика Монжа, химика Бертолле, и они удивлялись его познаниям в специальных отраслях науки. Итальянские музыканты и артисты поражались, как тонко он разбирается в музыке. Но все это сочеталось у него с каким-то атавистическим, пещерным корсиканским суеверием. В минуты волнения он часто и быстро крестился; он верил в приметы, в предчувствия. В дни итальянской кампании он наконец уверовал в свою звезду. Он избавился от гнетущего, возможно даже подсознательного, страха: а вдруг опять не повезет? Он ожил, воспрянул духом, он поверил, что отныне ему сопутствует счастье, удача. Его видели улыбающимся, радостным, счастливым прежде всего потому, что все эти четырнадцать месяцев войны в Италии ему светила счастливая звезда и он ощутил, как много он может совершить.

Иные из биографов Наполеона, склонные чуть ли не с 1796 года усматривать в его действиях и мыслях планы овладения троном, смещают, на мой взгляд, его эволюцию. Немалую роль здесь сыграли введенные в свое время в историческую науку блистательным пером Альбера Сореля свидетельства Мио де Мелито, ориентировавшие читателей именно в этом духе[111]. Сорель им доверился, а его литературный талант придал недостававшую таким утверждениям убедительность. Между тем внимательное изучение мемуаров Мио де Мелито, изданных вюртембергским генералом Флейшманом, показывает, что как источник они не заслуживают доверия. Впрочем, независимо от апокрифических воспоминаний Мио вполне очевидно, что пройденный Бонапартом путь от якобинца до всесильного императора не мог быть столь прямолинеен.

Реальная власть Бонапарта в Италии в 1797 году стала огромной. Граф Стакельберг, царский посланник в Турине, писал в августе 1797 года: «Не подлежит сомнению, что во всей Италии все французские агенты без какого бы то ни было исключения полностью зависят от главнокомандующего»[112]. Это было верно. Конечно, Бонапарт, да и большинство людей его времени, прошел через ряд разочарований, порожденных трагическим ходом буржуазной революции. Но и он, как и большинство его сподвижников со сходной политической

биографией, то есть в прошлом якобинцев, оставался республиканцем. Брать его республиканизм той поры под сомнение нет никаких оснований. Когда австрийские уполномоченные во время леобенских переговоров предложили как уступку, за которую надо чем-то заплатить, официально признать республику, Бонапарт презрительно это отверг. Республика не нуждалась в чьем-то признании... «Республика — как солнце! Тем хуже для тех, кто ее не видит»[113],— высокомерно ответил он.

И все-таки Стендаль с его поразительным даром исторической проницательности не случайно указал на весну 1797 года, на вступление французов в Венецию как на грань, завершающую героическое время жизни Бонапарта.

Вступление французов в Венецию было предрешено Леобенскими соглашениями. С обеих сторон они были компромиссом, и сама идея компромисса ни у кого не вызывала возражений. Но в Леобенских соглашениях впервые было допущено прямое отступление от принципов республиканской внешней политики. Секретное соглашение о передаче Австрии Венецианской республики означало попрание всех провозглашенных республикой принципов. Бонапарт пытался оправдывать свои действия тем, что уступка Венеции Австрии была лишь временной, вынужденной обстоятельствами мерой, что в 1805 году он это исправил[114]. Эти доводы, понятно, не могли изменить принципиального значения леобенской сделки. По существу передача Венеции Австрии была ничуть не лучше возврата Австрии Ломбардии, на чем настаивала Директория и против чего Бонапарт возражал.

В итальянскую политику Бонапарта были внесены со времен Леобенских соглашений существенно новые элементы. Было бы неверным считать, что после апреля — мая 1797 года, после Леобена и оккупации Венеции, вся политика Бонапарта кардинально меняется, из прогрессивной превращается в агрессивную, завоевательную. Но было бы также неверным не замечать те изменения в проводимой Бонапартом политике, которые вполне отчетливо обнаружились с весны 1797 года,— проявление завоевательных тенденций.

Директория, хотя почти все совершаемое Бонапартом в Италии (кроме поступавших миллионов) вызы-

вало ее недовольство, должна была мириться со своеволием генерала ввиду шаткости своих собственных позиций. Едва успев разгромить опасность слева — движение бабувистов, она оказалась перед еще более грозной опасностью — на сей раз справа. Выборы в жерминале V года (май 1797 года) дали большинство в обоих Советах противникам Директории — роялистским и пророялистским элементам, так называемой партии Клиши. Избрание Пишегрю председателем Совета пятисот и Барбе-Марбуа председателем Совета старейшин было открытым вызовом Директории — и тот и другой были ее врагами. Правое большинство в Законодательных советах сразу нащупало наиболее уязвимое место: оно потребовало, чтобы Директория отчиталась в расходах. Куда ушло золото, поступившее из Италии? Почему казна всегда пуста? То были вопросы, на которые Директория даже при всей дьявольской изобретательности Барраса не могла дать ответа. Но это было только начало. Законодательные органы не скрывали своего намерения вышвырнуть Барраса и других «цареубийц» из правительства. Что будет потом? Это не было еще вполне ясно, видимо, какая-то переходная форма к монархии. Мнения расходились. С критикой правительства справа выступала и «салонная оппозиция», группировавшаяся вокруг госпожи де Сталь. Определить политическую программу госпожи де Сталь было нелегко. По остроумному замечанию Тибодо, «мадам де Сталь принимала утром якобинцев, вечером — роялистов, а за обедом — весь остальной свет»[115]. Но на чем все сходились — это на критическом отношении к «триумвирам» *. Всех объединяло общее убеждение: надо гнать «триумвиров», вцепившихся в директорские кресла.

Для Барраса в сущности важно было только это, все последующее его не занимало. Директорский пост — это была власть, почет, великолепные апартаменты в Люксембургском дворце, приемы, кутежи, ночные оргии и деньги, деньги, деньги без счета, плывущие в его руки со всех сторон. Мог ли он со всем этим расстаться? Человек, прошедший через все круги ада,

* «Триумвирами» называли Барраса, Ребеля и Ларевельер-Лепо, вполне спевшихся. Карно и Бартелеми составляли оппозиционное меньшинство Директории.

всплывший со дна, скользивший по острию ножа, коварный и дерзкий, Баррас лихорадочно искал способ переиграть своих врагов. В годы революции, когда обрисовывалась опасность справа, на политическую сцену выходил народ и его активные действия сметали всех врагов. Но после жерминаля и прериаля, разгрома бабувистов о народе нечего было и думать. Оставалась армия. Штыки сильнее любых конституционных законов. Они могут все. Важно лишь, чтобы они не повернулись против самого Барраса...

Баррас колебался: к кому обратиться — к Гошу, Моро, Бонапарту? Более других он опасался Бонапарта. Он обратился поэтому первоначально к Гошу, но, не сумев или не успев все подготовить, лишь скомпрометировал его[116].

А время шло, медлить было нельзя. Как опытный игрок, Баррас хладнокровно констатировал, что, если дело не выгорит, придется ему висеть на перекладине.

В середине термидора (все тот же роковой месяц термидор!) «триумвиры» пришли к мнению, что вызволить их из беды может лишь Бонапарт. Как писал Баррас, он и его коллеги «были бы счастливы снова увидеть в их среде генерала, так прекрасно действовавшего 13 вандемьера»[117].

Баррас к этому времени додумал вопрос до конца: лучше всех Бонапарт, он человек действия, а разгон штыками освященных конституцией Законодательных советов отнюдь не послужит популярности победителя при Риволи. Выигрыш Барраса станет проигрышем Бонапарта. Хотя Баррас давно уже перестал считать Бонапарта «простачком», он снова его недооценил. Затаенные мысли Барраса были разгаданы Наполеоном. Против монархической опасности надо бороться — в этом у Бонапарта не было никаких сомнений. Он обратился с воззванием к армии в поддержку Республики, резко осудив роялистские происки[118], и согласился оказать Директории вооруженную помощь. Но Бонапарт менее всего намеревался действовать в соответствии с планами Барраса, компрометировать себя, компрометировать славу Риволи и Леобена операциями в духе вандемьера. Для таких вещей найдутся другие. И он послал в Париж Ожеро с отрядом солдат. Ожеро, бретёр, охальник, солдафон, человек, готовый на все, но

неспособный извлечь для себя выгоды — он соображал слишком туго, лучше всего подходил для такой роли[119].

Ожеро прибыл в Париж, когда положение директоров, по их собственному суждению, стало критическим. Из уст в уста передавали фразу, сказанную Пишегрю в беседе с Карно, жаловавшимся на «триумвиров»: «Ваш Люксембургский дворец — это не Бастилия; я сяду на лошадь, и через четверть часа все будет кончено»[120].

Баррас, Ребель, Ларевельер-Лепо с ужасом ожидали, когда наступят эти последние «четверть часа».

Ожеро, явившись в Париж, хладнокровно доложил «триумвирам»: «Я прибыл, чтобы убить роялистов». Карно, который не мог преодолеть отвращения к Ожеро, произнес: «Какой отъявленный разбойник!»[121]

Но Бонапарт дал Директории не только пробивную силу в лице свирепого Ожеро, он вооружил ее и политически. Еще ранее в Вероне был захвачен портфель роялистского агента графа д'Антрега, содержавший среди прочих бумаг неопровержимые доказательства измены Пишегрю, его тайных связей с эмиссарами претендента на трон[122]. Эти документы Бонапарт передал в распоряжение членов Директории.

С того момента как в руках Барраса и его сообщников оказались эти убийственные для Пишегрю документы, неожиданно придавшие всей насильственной операции почти благородный оттенок спасительных мер в защиту Республики, они решились действовать *.

18 фрюктидора (4 сентября 1797 года) десять тысяч солдат под командованием Ожеро окружили Тюильрийский дворец, где заседали оба Совета, и, не встречая никакого сопротивления, если не считать робких выкриков о «праве закона», произвели «чистку» их состава. Тогда-то один из офицеров Ожеро, имя которого не сохранилось в истории, и произнес знаменитую фразу: «Закон? Это сабля!»

Большинство неугодных депутатов во главе с Пишегрю было арестовано. Карно, предупрежденный

* Негодование Барраса изменой Пишегрю было насквозь лицемерным: несколькими днями позже он сам вступил в связь с Фош-Борелем и, несмотря на все попытки самореабилитации (см.: *P. Barras*. Mémoires, t. III, p. 496—506), не смог опровергнуть, что получил тогда же «патент» от претендента на трон с обещанием двенадцати миллионов ливров за восстановление монархии.

о том, что его ждет арест, успел бежать. В сорока девяти департаментах были аннулированы выборы, состоявшиеся в жерминале V года, и назначены новые, предусматривающие все необходимые меры, чтобы прошли подходящие кандидаты. Были смещены высшие служащие, чиновники, судьи, закрыты газеты — словом, все, что представляло в тот момент прямую или потенциальную угрозу для власти «триумвиров», было убрано с пути...[123]

Государственный переворот 18 фрюктидора имел немалые последствия для внутренней и внешней политики Республики. Не вдаваясь в рассмотрение их, отметим все же важнейшее: события 18 фрюктидора в огромной мере способствовали дальнейшей дискредитации режима Директории. Если правовая основа этой власти и ранее представлялась крайне зыбкой, то после 18 фрюктидора для всех — и для врагов и для сторонников режима — стало очевидно, что он может удерживаться, лишь опираясь на армию. Случайно сорвавшаяся с языка формула «Закон? Это сабля!» была подтверждена и показана в практическом действии на сцене высшего общенационального форума[124].

Бонапарт, внимательно следивший за ходом событий в далеком Париже, сделал из них практические выводы: Директория теперь не сможет ему мешать заключить мир с Австрией. В целом этот расчет оказался верным, но в частностях Бонапарт ошибся.

Баррас принадлежал к числу тех жадных прожигателей жизни, которые живут сегодняшним днем. Человек не робкого десятка, он отдавал себе отчет в том, что недавно проведенная операция не прибавила ему друзей. Но за его бурную жизнь у него набралось столько врагов из числа преданных, проданных или обворованных им людей, что он давно сбился со счета. Он их не считал — всех не сосчитаешь! После фрюктидора он снова чувствовал себя хозяином в Люксембургском дворце и с наглостью, которая заставляла пасовать даже бывалых людей, был готов теперь «поставить на место» тех, перед кем вчера он в страхе заискивал.

Баррас был спасен солдатами Ожеро, посланными Бонапартом. Но именно Бонапарт и Ожеро на другой день после фрюктидора вызывали его наибольшее раздражение[125].

17 сентября военный министр Шерер писал Лазару Гошу: «Директория хочет, чтобы обе рейнские армии были объединены под одним командованием и выступили в поход самое позднее 20 вандемьера. Директория выбрала Вас, генерал, чтобы повести наши победоносные фаланги до ворот Вены»[126]. Бонапарту же предлагалось прервать переговоры с венским кабинетом и готовить армию к началу новой кампании.

Баррас решил полностью рассчитаться с самовольным генералом. К тому же Бонапарт оказывал слишком большие услуги и Республике, и лично ему, Баррасу. Вновь почувствовавший себя могущественным, директор стремился прежде всего избавиться от тех, кому он был должен. Надо поставить Гоша над Бонапартом, столкнуть лбами двух прославленных полководцев — пусть они препираются и грызутся, и тогда он, Баррас, как арбитр вмешается и укажет Бонапарту его место.

Бонапарт был взбешен. Он не попался в расставленную ему западню — не стал пререкаться ни с Гошем, ни о Гоше. В письме от 23 сентября он вновь настаивал на своей отставке. «Если мне не доверяют — мне нечего делать... Я прошу освободить меня от должности»[127]. Директория отставки его не приняла, однако в вопросе о мире осталась на прежних позициях.

Но переворот 18 фрюктидора имел политические последствия и за пределами Франции. В Австрии после Леобена стали явственно обнаруживаться колебания в вопросе о заключении мира. Бонапарт по многим признакам мог убедиться, что в Вене с подписанием мирного договора не торопятся. Разгадка источника этих колебаний была несложна. После выборов в жерминале и образования пророялистского большинства во французских законодательных органах в Вене надеялись на падение Директории и крутые политические перемены во Франции. Зачем же спешить с миром?

Бонапарт со своей стороны постарался воздействовать на правительство Габсбургов. В августе 1797 года он потребовал от пьемонтского короля, чтобы тот передал в распоряжение командования итальянской армии десять тысяч солдат, ссылаясь на «вероятность возобновления военных действий против Австрии»[128]. Как он и рассчитывал, это требование вызвало переполох в Турине и о нем немедленно стало известно во всех посольствах, а затем и во всех столицах Европы.

В Вене этот демарш был должным образом оценен. Переворот 18 фрюктидора рассеял последние иллюзии. Спустя две недели после переворота, 20 сентября, император Франц послал непосредственно Бонапарту письмо, предлагая безотлагательно начать переговоры. Не дожидаясь санкции Директории, Бонапарт ответил согласием. Переговоры начались в Удине (в Италии) 27 сентября и продолжались до 17 октября. Венский кабинет направил для переговоров с Бонапартом лучшего дипломата империи многоопытного графа Людвига Кобенцля. Последние восемь лет он был послом в Петербурге, сумел войти в доверие к императрице Екатерине II. Необычайно полный, некрасивый, «северный белый медведь», как называл его Наполеон, Кобенцль при всей своей массивности проявлял в дипломатических переговорах исключительную живость и ловкость. Он был настойчив, напорист, говорил с апломбом. Направляя Кобенцля в Италию, правительство Австрии показывало, какое значение оно придает предстоящим переговорам.

Соглашения в Кераско, Толентино, Леобене показали, что молодой генерал не только выдающийся полководец, но и дипломат первоклассного дарования. Кампоформио это полностью подтвердило.

Бонапарт заставил австрийского дипломата проехать дальний путь и явиться к нему в Италию. Хотя Бонапарту из Милана до Удине было рукой подать, он опоздал на сутки, заставив представителя императора терпеливо ждать его прибытия. На первое заседание он пришел сопровождаемый огромной свитой генералов и офицеров, гремящих саблями. Он хотел с первого же заседания дать понять своему собеседнику, что в переговорах двух равноправных сторон есть побежденные и победители[129].

Переговоры были трудными. Для Бонапарта они оказались особенно тяжелыми потому, что он получал из Парижа директивы, предписывающие ему ставить Австрии заведомо неприемлемые условия, а Кобенцль со своей стороны уклонялся от прямых обязательств, пытаясь соглашение между Францией и Австрией поставить в зависимость от последующего его утверждения конгрессом представителей Германской империи. Бонапарт оказался как бы между двух огней. А он спе-

шил: он хотел как можно скорее заключить мир с Австрией, только так он мог закончить свою кампанию.

Кобенцль был несговорчив. Бонапарт же пытался было запугать австрийца угрозой разрыва переговоров. Кобенцль хладнокровно возразил: «Император хочет мира, но не боится войны, а я найду удовлетворение в том, что познакомился с человеком столь же известным, сколь и интересным». Бонапарту пришлось искать иных путей.

В исторической литературе обычно указывается, что ключом к соглашению с Австрией в Удине и Пассариано была проблема Пруссии. Документы АВПР вносят в это верное в общем утверждение некоторую поправку. Этот ключ был найден Бонапартом не в Удине и Пассариано, а ранее, в период Леобена. В дешифрованном донесении Моцениго в Петербург 27 апреля (8 мая) 1797 года сообщалось: «Брат Бонапарта, который является министром в Парме, пишет, что этот договор (прелиминарии в Леобене.— *А. М.*) имеет в своей основе союз между Францией и императором в целях совместного противодействия стремлениям к возвышению прусского короля»[130].

Уже во время леобенских переговоров Бонапарт нащупал наиболее чувствительное место в позициях австрийской стороны. Он решил вновь коснуться его в переговорах с Кобенцлем. Он заговорил с ним о Базельском мире, о связях, поддерживаемых с прусским королем... Ведь могло бы быть и иначе?

Кобенцль был человеком понятливым. Ему не надо было дважды повторять услышанное. Он осторожно осведомился: готова ли Франция секретным соглашением поддержать Австрию против чрезмерных претензий прусского короля? «Почему же нет,— невозмутимо ответил Бонапарт,— я не вижу для этого никаких препятствий, если мы придем с вами к соглашению во всем остальном». Разговор принял сугубо деловой характер. Оба собеседника хорошо поняли друг друга, и все-таки переговоры продвигались туго, так как в конкретных вопросах каждая из сторон стремилась выторговать наиболее выгодное ей решение.

Бонапарт получил из Парижа новые директивы правительства —«ультиматум 29 сентября», предлагавший прервать переговоры и решать вопросы силой оружия — идти в наступление на Вену. Отвечая Ди-

ректории повторными просьбами об отставке, он решил вести дело «по-своему»[131]. А Кобенцль продолжал торговаться по каждому пункту, переговоры не подвигались вперед. Бонапарт не мог оставаться дольше в таком неопределенном положении. Он решился на смелый ход: показал Кобенцлю директивы, полученные из Парижа. Он пояснил, что может в любую секунду прервать переговоры и его правительство будет только довольно.

Кобенцль был смертельно напуган. Он согласился на все требования Бонапарта. То был откровенный дележ добычи. Венецианская республика, как недавно Польша, делилась между Австрией, Францией и Цизальпинской республикой, Майнц и весь левый берег Рейна отходили к Франции. Австрия признавала независимость северных итальянских республик. Взамен она должна была, согласно секретным статьям, получить Баварию и Зальцбург.

К 9 октября все спорные вопросы были урегулированы и был набросан текст соглашения. Но 11-го, когда Бонапарт и Кобенцль собрались, чтобы подписать его, неожиданно возникли новые затруднения.

Бонапарту не понравилась редакция пункта о Майнце и границе по Рейну, он предложил ее исправить. Кобенцль возражал, Бонапарт настаивал. Кобенцль утверждал, что границы Рейна относятся к компетенции империи. Взбешенный Бонапарт прервал его: «Ваша империя — старая служанка, привыкшая к тому, что ее все насилуют... Вы торгуетесь здесь со мной, а забываете, что окружены моими гренадерами!» Он орал на растерявшегося Кобенцля, швырнул на пол великолепный сервиз, подарок Екатерины II, разбившийся вдребезги. «Я разобью так всю вашу империю!»[132] — в ярости выкрикивал он. Кобенцль был потрясен. Когда Бонапарт, продолжая кричать что-то невнятное и бранное, с шумом покинул комнату, австрийский дипломат сразу же внес в документы все исправления, которые требовал Бонапарт. «Он сошел с ума, он был пьян»,— оправдывался позже Кобенцль. Он стал потом рассказывать, что во время переговоров генерал пил пунш, стакан за стаканом, и это, видимо, оказало на него действие[133].

Вряд ли это так. Австрийский дипломат хотел оправдаться, объяснить, как он допустил подобную

сцену. Бонапарт не сошел с ума и не был пьян. Он вообще почти не пьянел. В его яростной вспышке надо видеть скорее всего удивительное искусство столь полного вживания в роль, когда нельзя различить — игра это или подлинные чувства.

Через два дня текст был окончательно согласован в редакции, предложенной Бонапартом. Австрийский дипломат послал проект договора на утверждение в Вену, получил санкцию, и теперь оставалось только поставить под договором подписи.

Было условлено, что обмен подписями состоится в небольшом селении Кампоформио, на полпути между резиденциями обеих сторон. Но когда 17 октября документ был полностью готов, граф Кобенцль, так напуганный Бонапартом, боявшийся еще какой-либо неожиданности с его стороны, не дожидаясь приезда Бонапарта в Кампоформио, поехал в его резиденцию в Пассариано. У генерала были свои причины не затягивать завершения дела. Здесь, в Пассариано, в ночь с 17 на 18 октября договор был подписан.

И хотя ни Бонапарт, ни Кобенцль так и не были в Кампоформио, в историю договор, положивший конец пятилетней войне между Австрией и Французской республикой, вошел под именем Кампоформийского мира.

20 фримера VI года (10 декабря 1797 года) правительство Французской республики торжественно принимало в Люксембургском дворце генерала Бонапарта.

Несметные толпы народа запрудили улицы. Казалось, все население столицы вышло приветствовать человека, чье имя последнее время не сходило с уст. Экипаж генерала, сопровождаемый почетным эскортом, с трудом продвигался вперед — так плотно окружали его тысячи людей, выкрикивающих приветствия. Во дворе Люксембургского дворца генерала ожидала вся официальная Франция. Здесь были пять членов Директории в шитых золотом красных мантиях и шляпах, украшенных пышным плюмажем, министры, высшие должностные лица Республики, члены Совета старейшин и Совета пятисот, генералы, старшие офицеры. Под звуки Гимна Свободе, исполненного хором консерватории, Бонапарт, сопутствуемый генералами Бертье и Жубером, несшими знамена, прошел через расступившиеся ряды к «алтарю отечества», где стоя его ожидали члены правительства.

Присутствовавшие были поражены, как отмечала печать, необычайной худобой генерала. Эта худощавость, крайняя бледность матового лица, длинные черные волосы, падавшие на плечи, придавали двадцативосьмилетнему генералу вид совсем еще молодого человека, почти юноши. Только твердо сжатый рот и неменяющееся, непроницаемое выражение лица выдавали его возраст.

К генералу обратился по поручению Директории с приветственной речью, изысканной и льстивой, Талейран. Бонапарт отвечал коротко и сдержанно, его плохо понимали: резкий, но негромкий голос и нефранцузский выговор, к которому еще не привыкли, затрудняли восприятие речи. Доходили лишь отдельные слова: он воздавал хвалу Революции, Директории, солдатам. Позже из газет узнали, что он говорил также о свободе Европы и — даже! — о лучших органических законах[1].

Бонапарту ответил Баррас. Он произнес пышную, цветистую речь, полную похвал выдающемуся полко-

водцу Республики. Как и многие ораторы того времени — это было в моде,— Баррас обратился к опыту истории. Он вспомнил о Цезаре, но не для сравнения, а в противопоставление. Член Директории приветствовал Бонапарта как героя, отомстившего от имени Франции восемнадцать столетий спустя за содеянное Цезарем. «Он принес на нашу землю рабство и разрушения; Вы принесли его античной родине свободу и жизнь»[2]. В этих немногих словах было предостережение: Баррас считал своевременным преподать победоносному генералу урок в назидание.

Бонапарт слушал директора с бесстрастным лицом.

Баррас закончил речь братским объятием. Затем с генералом расцеловались остальные члены Директории. Все присутствовавшие бурно и долго рукоплескали. Эта сцена торжественной встречи правительства Республики с прославленным полководцем, а ныне и миротворцем — со словами взаимной признательности, братскими объятиями и всеобщими аплодисментами — могла создать у наблюдающих впечатление полного единодушия, единства, гармонии. Но следовало ли верить словам и улыбкам?

В течение без малого двух лет пребывания в Италии генерал Бонапарт действовал и в военной, и в политической, и в дипломатической сферах, не считаясь с директивами правительства, а часто и в прямом противоречии с ними. Содержание и природа разногласий между генералом и Директорией, как уже говорилось, на протяжении этого времени менялись. Скрытая борьба усиливалась. И в этой борьбе Бонапарт неизменно переигрывал Директорию. Именно потому, что его политика исходила из более широкого понимания интересов новой, буржуазной Франции, Бонапарт, нарушая директивы Директории, ставил ее в необходимость еще поздравлять его с этими нарушениями. Так было раньше, так было и сейчас, в декабре 1797 года. Директория дала ему ясные указания: не заключать мира, начать поход против Вены. Но когда вопреки жестким директивам правительства Бонапарт заключил мир в Кампоформио, что оставалось делать Директории?

Ее первым побуждением было отвергнуть, аннулировать договор. Но бурное ликование по поводу Кампоформио[3] в Законодательных советах, во всей стране, измученной войной и жаждущей мира, сразу же отрез-

вило членов Директории. Им оставалось скрепя сердце и спрятав кулаки в карманах сделать вид, что они счастливы миром, привезенным генералом на острие своей шпаги. Директивы продолжать войну, запрет заключать мир были мгновенно забыты. Баррас должен был подавить клокотавшее в нем бешенство против беспредельно дерзкого и опасного генерала и усилием воли, стерев с лица злобное выражение, расплыться в сладчайшей улыбке и широко распахнуть руки, чтобы заключить генерала-миротворца в дружеские объятия.

Нет, ни глазам, ни ушам, ни увиденному, ни услышанному верить было нельзя. Но это была при сложившихся обстоятельствах единственно возможная для обеих сторон показная — для публики, для Франции, для мира — игра в братскую дружбу и согласие, фальшь и лицемерие которых столь же отчетливо осознавались членами Директории, как и Бонапартом.

Сплошное лицемерие? Да, конечно. Но если от него отказаться, если сбросить маски, что будет тогда?

Было над чем задуматься и Бонапарту, и членам Директории.

Баррас, Ребель и другие члены правительства питали к Бонапарту чувства злобы и страха; он столько раз ставил их в унизительное положение, заставляя подчиняться своей воле. Директоры охотно свели бы с ним счеты, но в момент, когда он стал самым популярным человеком в стране, они были бессильны; им не оставалось ничего другого, как приятно улыбаться и льстить.

Но и Бонапарт не видел в тот момент никаких перспектив. Что дальше? Куда идти? Он не был в Париже почти два года. За это время — в том нетрудно убедиться — дела в Республике не стали лучше, отнюдь нет. Казна, как всегда, была пуста; финансы в расстройстве; правительство оказалось не в состоянии стабилизировать денежное обращение в стране. Какая-то узкая группа — поставщики в армию, спекулянты, казнокрады — наживала огромные состояния; простой народ, а особенно городская беднота, страдал от взвинченных цен на продовольствие, нехватки продуктов. Недовольство охватывало широкие слои общества, и имущие, и неимущие — все жаловались. Но недовольство еще не было осознано до конца; то была начальная, может быть даже срединная, стадия общественного брожения. Растущее негодование еще не

откристаллизовалось в определенные требования; еще полностью не определилось, что надо и что не надо.

Революция произвела колоссальное перераспределение собственности в стране. Значительное большинство населения составляли обладатели собственности — крупной, а чаще всего мелкой, перешедшей к ним разными путями в годы революции. К основной массе этих новых собственников принадлежали крестьяне и буржуазия всех категорий. Эти два класса — буржуазия и крестьянство — материально больше, чем другие, выиграли от революции. Естественно, они стояли прежде всего на страже только что приобретенной собственности. Уже одно это делало их непримиримыми противниками реставрации, противниками монархии, возврата к старому. Новая собственность была связана с Республикой, и потому в большинстве своем они были за Республику.

Республиканизм тогда еще был безусловно господствующим политическим убеждением подавляющего большинства французов. В среде буржуазии, в среде зажиточного крестьянства усиливалось недовольство политикой Директории — ее неспособностью создать стабильный режим, упорядочить финансовую систему, положить конец ажиотажу, спекуляциям. Тем не менее можно было быть недовольным правительством, осуждать действия и политику Директории, но критика останавливалась там, где начиналась Республика. Республика оставалась за пределами критики.

К тому же в разных слоях общества еще были сильны иллюзии, что, когда покончат с врагами, с войной и установится мир, тогда Республика воссияет во всем своем лучезарном свете, тогда настанет наконец давно ожидаемый «золотой век» *.

Победы армии, возглавляемой Бонапартом, встречались столь восторженно всеми слоями общества в городе и деревне не только потому, что они отвечали национальным и патриотическим чувствам французов, но также и потому, что они приближали желанный день мира. Пять лет продолжалась жестокая, разорительная война, приносившая народу бедствия, а не блага, кото-

* «Journal de Francfort» 4 ноября 1797 г. сообщал об огромном подъеме, царившем в Париже 26 октября, когда стало известно о подписании мира с Австрией и тысячи парижан вышли на улицы столицы.

рые от Республики ожидали. Приближение к миру, победы Бонапарта воспринимались многими как приближение к социальному счастью.

Бонапарт, совершая триумфальное путешествие из Милана в Раштатт * и повсеместно, в Мантуе, Женеве, Лозанне, Берне, встречаемый цветами, песнями, стихами, неподдельным восторгом народа, мог убедиться в том, что его приветствуют не как великого полководца, а прежде всего как героя-освободителя, как миротворца. «Цезарь поработил Италию, а ты ей возвратил свободу»[4] — с такими стихами девушки Лозанны преподнесли ему цветы. В Берне, который он проезжал поздней ночью, его ждали вереницы ярко освещенных экипажей и красивые женщины, терпеливо ожидавшие его прибытия, встретили его бурными возгласами: «Да здравствует Бонапарт! Да здравствует миротворец!» Во Франции печать, воздававшая хвалу воину, прославившему оружие Республики, и творцу мира в Кампоформио, подчеркивала прежде всего, что генерал Бонапарт — истинный республиканец, что он «олицетворенная добродетель», что он «философ, друг Просвещения»[5]. Можно ли было сомневаться в значении, в смысле всех этих столь ярко выраженных чувств?

Да и знал ли сам Бонапарт, к чему дóлжно стремиться? Он презирал Барраса, был раздражен политикой Директории, понимал слабость и неспособность «триумвиров» руководить страной. Но что нужно делать? Какова должна быть его собственная роль в ближайшее время? Это не было для него ясно, и он вернулся в Париж, не имея определенного плана. По-видимому, самое большее, что представлялось ему достижимым,— это войти в правительство, преодолев формальные препятствия (возрастной ценз), стать членом Директории[6]. При всех обстоятельствах любая форма его участия в политической жизни страны мыслилась им тогда в рамках республиканского режима.

На острове Святой Елены, диктуя Лас-Казу свои воспоминания, Наполеон говорил, что «влиятельные депутаты обоих Советов, патриоты, фрюктидорианцы, искавшие покровителя, наиболее просвещенные и вли-

* По предложению Директории Бонапарт поехал ее уполномоченным на конгресс представителей Германской империи в Раштатте. Он выехал из Милана 17 ноября и приехал в Раштатт 28-го; он совершал путешествие в карете, запряженной восемью лошадьми.

ятельные генералы долго побуждали генерала из Италии (то есть Бонапарта) поднять движение и стать во главе Республики; он отказывался, он не был еще тогда достаточно силен, чтобы все могло пройти гладко»[7]. И в данном случае, как и в других своих воспоминаниях, Наполеон многое преувеличивал; вряд ли кто-либо побуждал его в 1797 году «поднять движение и стать во главе Республики», это маловероятно. Заслуживает, однако, внимания, что даже в этом во многом фантастическом рассказе речь шла о том, чтобы возглавить Республику; он и двадцать лет спустя отчетливо понимал, что в 1797 году никакая иная форма власти, кроме республиканской, была невозможна.

В действительности в ту пору вопрос стоял иначе. Талейран справедливо писал о Бонапарте: «Достаточно честолюбивый, чтобы стремиться к высшим степеням, он не был настолько слеп, чтобы верить в возможность достижения их во Франции без особого стечения обстоятельств, которое нельзя было считать ни близким, ни даже вероятным»[8]. Речь шла о меньшем — как стать членом Директории.

Попытки в этом направлении были предприняты. Имелось в виду, что Совет пятисот вынесет постановление, разрешающее в порядке исключения избрать Бонапарта членом Директории. Этим занимались Тальен, искавший любой повод, чтобы зацепиться на поверхности, и Реньо де Сен-Жан д'Анжели. Дело сорвалось вследствие решительных возражений Директории, прежде всего Барраса *[9].

Прямой, легальный путь к участию в политическом руководстве страны оказался для Бонапарта закрыт. Иные пути были тогда еще невозможны, и он о них и не думал. Что же делать дальше?

Еще за полтора месяца до возвращения Бонапарта, 5 брюмера (26 октября) 1797 года, постановлением Директории генерал был назначен командующим английской армией, то есть армией, предназначенной для вторжения на Британские острова. Назначение это было важное, ответственное: после заключения Кампофор-

* Бонапарт в мемуарах, обходя этот пункт молчанием, высказывает другую обиду: Совет старейшин предложил, чтобы ему были пожалованы земли Шамбор (бывшие владения королевской семьи) и особняк в Париже. Директория это отвергла (*Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 743).

мийского мира Англия осталась единственным непобежденным врагом Республики; сокрушение ее мощи представлялось в ту пору самой главной задачей.

Выполнить это почетное поручение? Сосредоточить все усилия на предстоящей операции? Приумножить победой над могущественным Альбионом свою славу? Бонапарт готов был пойти на это. Убедившись в том, что его возраст и нежелание Директории принять его в свои ряды закрывают ему путь к большой политической деятельности, он охотно примирился с возложенной на него важной военной задачей.

Бонапарт трезво оценивал и положение Республики, и свое место в обществе. Ему не приходилось жаловаться на недостаток внимания. В первое время во всяком случае он вызывал всеобщий интерес и был окружен атмосферой не только доброжелательства, но более того — восхищения. Улица Шантерен, на которой находился его дом (выкупленный им и ставший его собственностью), была переименована муниципалитетом в улицу Победы.

25 декабря Институт — высшее научное учреждение Республики (соответствующее нашей Академии наук) — избрал Бонапарта в число «бессмертных». Это избрание имело тем большее значение, что против Бонапарта выступало одиннадцать конкурентов, баллотировавшихся по тому же отделению физико-математических наук, секции механики на освободившееся после исключения Карно место. Бонапарт собрал наибольшее число голосов.

Из всех наград и отличий, выпавших на долю Наполеона, избрание в Институт доставило ему наибольшее удовольствие. В благодарственном письме президенту Института он писал: «Голосование выдающихся ученых, составляющих Институт, оказало мне честь. Я сознаю, что, раньше чем стану равным им, мне еще долго придется быть их учеником»[10]. Подчеркнутая скромность прославленного полководца еще более способствовала его популярности в среде ученых. Он аккуратно посещал все заседания секции, отделения Института; он отказывался от встреч с политическими деятелями, но всегда охотно беседовал с учеными, в особенности с математиками Лагранжем, Лапласом, Монжем, химиком Бертолле. Он придавал такое большое значение своему избранию в Институт, что не только

в письмах и официальных бумагах проставлял рядом со своим именем «член Института», но даже в приказах по армии подписывался: «Бонапарт, член Национального Института, командующий английской армией». Звание члена Института он ставил выше командующего армией.

Бонапарт получал приглашения со всех сторон: влиятельные политические деятели стремились установить с ним добрые отношения. Он отклонял большинство приглашений — что это могло дать? Исключение он делал только для Талейрана.

Бывший епископ Оттенский лишь недавно с помощью женщин, и особенно покровительствовавшей ему госпожи де Сталь, получил должность министра иностранных дел, но он все еще переживал трудные дни. В третий раз ему приходилось начинать жизнь сначала: первый раз он начинал ее как представитель знатного аристократического рода, вследствие хромоты вынужденный довольствоваться почетными должностями в высшей церковной иерархии; второй раз — после революции как депутат Учредительного собрания, предложивший отнять земли у церкви, которой он раньше служил; ныне — в третий раз, по возвращении из эмиграции, он снова должен был зарабатывать доверие — на сей раз Директории. Это давалось ему туго: он льстил Баррасу, но не мог преодолеть антипатии Ребеля и подозрительности, с которой относились к нему остальные члены Директории[11].

Каким-то особым, только ему одному присущим чутьем он разгадал в молодом корсиканском генерале восходящую звезду. Он его и в лицо еще не видел, а уже слал ему сдобренные тонкой лестью письма. После первого свидания с Бонапартом в декабре 1797 года в Париже он еще более укрепился в своих интуитивных предположениях. Он надеялся с помощью этого человека вновь начать восхождение вверх.

Талейран нашел верное средство завоевать симпатии генерала. 3 января нового 1798 года он устроил большой прием в честь творца мира Кампоформио в великолепном особняке министерства иностранных дел на Рю-дю-Бак (здание и ныне украшает старинную эту улицу). Было приглашено около пятисот человек — весь Париж, как говорили уже в XVIII веке. Но первой персоной вечера Талейран сумел незаметными, но верно

действующими приемами сделать не прославленного генерала, а его жену Жозефину.

Он знал, что делал. То было время позднего и полного цветения этой непохожей на остальных женщин креолки, умевшей всегда сохранять очарование. Успех мужа, которого она сразу не могла разгадать, теперь ее окрылял. В осанке, в ее манере себя держать появилось что-то величественное. Она быстро вошла в роль «царицы бала», искусно подготовленную ей Талейраном. Его расчет был безошибочным. Оказывая особые, подчеркнуто почтительные знаки внимания супруге генерала Бонапарта, Талейран, оставаясь внешне в привычной для него роли дамского угодника, отводил от себя подозрения зорко следивших за ним членов Директории; сам же он в лице польщенной Жозефины приобретал влиятельнейшего защитника своих интересов перед ее могущественным супругом.

Жозефина превосходно справлялась с новой ролью. Со времени блестящих приемов в Монбелло она вошла во вкус положения первой дамы вечера; казалось, она была рождена для того, чтобы первенствовать. Бонапарту это льстило и нравилось; он все еще находился под обаянием чар своей жены, ее власть над ним была велика. Впрочем, он тоже не был обижен, его постоянно окружало плотное кольцо поклонников и почитателей: каждый стремился пробиться в эти ряды, быть представленным самому знаменитому человеку Франции.

Среди ищущих встречи с прославленным полководцем была и Жермена де Сталь. Дочь Неккера не создала еще в ту пору произведений, принесших ей европейскую известность, но уже расценивала свое место в мире достаточно высоко. Она была в те дни без ума от «корсиканца со стальными глазами», досаждая отцу восторженными письмами о своем герое[12].

Талейран был ей обязан всем: она вымолила для него у Барраса портфель министра иностранных дел; она ссужала ему деньги. Он должен был, естественно, пригласить ее на вечер 3 января. Жермена де Сталь явилась на бал, полная решимости завоевать генерала. Она добилась, что ее провели в круг знатных гостей, собравшихся вокруг Бонапарта. После нескольких лестных фраз генералу, встреченных им холодно, она задала ему вопрос, несомненно тщательно обдуманный заранее:

— Я хотела вас спросить, генерал, какую из женщин среди ныне здравствующих или ранее живших вы назвали бы первой женщиной в мире?

На мгновение воцарилась тишина; госпожа де Сталь уже предвкушала свое торжество.

— Ту, сударыня, которая сделала больше всего детей,— резким голосом ответил Бонапарт[13].

Госпожа де Сталь почувствовала себя смертельно оскорбленной — ее не поняли, ее не признали.

— Что это за женщина? — спросил позже Бонапарт у Талейрана.

— Интриганка, и до такой степени, что это благодаря ей я нахожусь здесь,— с только ему присущим даром обезоруживающего цинизма ответил министр иностранных дел.

— Но по крайней мере она хороший друг?

— Друг? Она бы бросила всех своих друзей в реку, чтобы потом по одному выуживать их оттуда удочкой...[14]

С вечера 3 января 1798 года началась вражда госпожи де Сталь и Бонапарта. Впрочем, генерала эта женщина мало занимала.

Его беспокоили тревожные мысли: время шло, а он все еще не нашел решения, что делать дальше, каков должен быть следующий ход. Он трезво оценивал бурные симпатии, внимание, проявленное к нему в первые дни его пребывания в столице. Он отдавал себе отчет в том, что так не может продолжаться долго. «В Париже ни о чем не сохраняют длительных воспоминаний,— говорил он Бурьенну.— Если я останусь здесь надолго, ничего не совершив, все потеряно. В этом великом Вавилоне одна слава затмевает другую: достаточно было бы увидеть меня три раза в театре, как на меня перестали бы смотреть».

В ответ на возражения Бурьенна, доказывавшего, что генералу должно быть все же приятно, что собираются толпы народа, увидев его, Бонапарт не без горечи сказал: «Нет, народ с такой же поспешностью устремился бы смотреть, если бы меня повели на эшафот»[15].

Бонапарт не создавал себе иллюзий. Общественный интерес к нему должен был ослабевать. Надо снова совершить что-то великое, чтобы удержать убывающее внимание.

Самым тщательным образом он изучал перспективы военных операций против Англии. Сама идея вооруженного вторжения на Британские острова была, конечно, соблазнительной. Десант на острова — то был давний любимый план Карно, к которому мудрый стратег неоднократно возвращался[16]. В штабе практически разрабатывали ряд вариантов. В 1796 году Гошу было поручено командовать армией вторжения; удалось установить связь с ирландскими национально-революционными кругами, в частности с организацией «Объединенные ирландцы», возглавляемой Уолфом Тоном[17]. Уже с февраля 1796 года между Карно и Тоном были налажены тесные контакты. В военном и политическом отношении операция была задумана правильно, но она потерпела неудачу вследствие слабости Франции на море. Стратегический эффект победы над Англией был для Бонапарта совершенно ясен. Своим острым умом он давно уже понял первостепенное значение удара по Англии.

С лета 1797 года Бонапарт обдумывал идею удара по Англии, но он планировал его в другом направлении — в зоне Средиземноморья, Египта. Летом в Пассариано в беседах с Дезе он развивал мысль о вторжении в Египет[18]. В письме Директории от 16 августа 1797 года он уже официально ставил вопрос о завоевании Египта. «Недалеко время, когда мы поймем,— писал он,— что для действительного сокрушения Англии нам надо овладеть Египтом»[19]. Таким образом, понимая первостепенное значение решающего удара по Англии, Бонапарт еще до назначения его командующим армией вторжения на Британские острова размышлял о том, как лучше поразить самого могущественного из врагов Республики, и склонялся в пользу удара по Египту.

Но, получив приказ о назначении командующим армией вторжения, Бонапарт не мог с ним не считаться. Приказ есть приказ. К тому же сама мысль о десанте в Англию или для начала в Ирландию обладала огромной притягательной силой. Водрузить победоносное трехцветное знамя над Букингемским дворцом, поразить самого опасного врага ударом прямо в сердце — что могло быть соблазнительнее для полководца, стремившегося приумножить свою славу?

8 февраля 1798 года без предупреждения, инкогнито

в сопровождении Ланна, Сулковского и Бурьенна Бонапарт выехал к западному побережью. Он отдавал себе отчет в огромной трудности замышляемого предприятия. Здесь все ставилось на карту: престиж Республики, национальная слава Франции, будущность страны, судьба самого Бонапарта. Победа сулила огромный выигрыш... Но есть ли уверенность в победе? Все ли должным образом предусмотрено Директорией для успеха десанта? В этом можно было сомневаться. Не постигнет ли Бонапарта такая же неудача, что и Гоша? Нет ли в плане, навязанном ему Директорией, скрытой западни? Не хотят ли господа из Директории втянуть его в гибельную операцию, на обломках которой развеется слава Лоди и Риволи?

Все было возможно. Бонапарт ни в малой мере не доверял своим «друзьям из Директории». Ему хотелось все увидеть своими глазами, проверить на ощупь. Он посетил Булонь, Кале, Дюнкерк, Ньюпорт, Остенде, Антверпен и более мелкие пункты. По свидетельству Бурьенна, он до полуночи беседовал с матросами, рыбаками, контрабандистами «с присущим ему терпением, находчивостью, знанием, тактом, проницательностью», извлекая из этих бесед необходимые сведения[20]. Командующий объездил все прибрежные порты, все изучил.

Выводы, к которым он пришел, оказались неутешительными. Успех десанта ни в военном, ни особенно в военно-морском, ни в финансовом отношении не был обеспечен *. «Это предприятие, где все зависит от удачи, от случая. Я не возьмусь в таких условиях рисковать судьбой прекрасной Франции» — таково было конечное решение генерала Бонапарта.

Он возвратился в Париж 17 или 18 февраля с уже созревшим убеждением: борьбу против Англии надо продолжать, но удар ей будет нанесен не на берегах Темзы, а на берегах Нила.

* Современники хорошо понимали трудность этой задачи. Князь В. П. Кочубей, русский посланник в Константинополе, 9 декабря 1797 года писал: «Может быть, я ошибаюсь, но я полагаю, что он (Бонапарт.— *А. М.*) не будет настолько глуп, чтобы взять на себя задачу, которая запятнает его великую славу» (Архив кн. Воронцова, т. 18. М., 1880, стр. 134).

Египетский поход принадлежит к числу самых удивительных, труднообъяснимых страниц в заполненной бурными событиями жизненной летописи Наполеона Бонапарта.

И современников, и людей последующих поколений многое поражало в этом необычном и грандиозном по тем временам предприятии: и смелость замысла, и его экзотический колорит, и дерзновенность мечтаний, сближающих командующего отважной экспедицией с легендарными героями античного мира.

Охотно писали о том, что в этом проекте ожили «мечты о Востоке» юношеских ночей Бонапарта, «египетские грезы», зависть к славе Александра Македонского. В стихах и прозе славили решимость и мужество воина, отважившегося мечом проложить путь от Роны до Нила и от берегов Нила к берегам Инда и Ганга. Во всем этом было, конечно, много преувеличений. Сама идея завоевания Египта Францией не была ни новой, ни необычной. Ее, конечно, нельзя считать каким-то изобретением Бонапарта, и менее всего она может быть отнесена к достижениям его гения.

С того времени как Лейбниц подал Людовику XIV совет овладеть Египтом, идея эта на протяжении всего восемнадцатого столетия не переставала занимать государственных деятелей и некоторых мыслителей Франции. Шуазель пытался превратить несколько отвлеченные искания в практические действия французской дипломатии. Сначала нашумевшее сочинение Рейналя о европейцах в двух Индиях, вышедшее анонимно в 1770 году, затем «Путешествие в Египет и Сирию», «Письма о Египте» Савари и множество других произведений пера — гласных и секретных, литературных трактатов и политических меморандумов — приковывали внимание к проблеме Египта. При всем различии мнений и вариантов в главном они совпадали: Египет надо прибрать к рукам.

Более полувека назад Франсуа Шарль-Ру в весьма обстоятельном исследовании подробно осветил историю всех этих многочисленных проектов и планов[21]. С должным основанием он утверждал, что «если инициатива египетской экспедиции должна быть разделена в неравной доле между Талейраном, Бонапартом и Директорией, то идея ее никак не может быть им приписана. Эта идея не родилась в законченном виде в челове-

ческом мозгу, она была плодом длительного развития...»[22]. В политической и исторической литературе справедливо указывалось также на то, что сама мысль об овладении Египтом имела под собой прочную экономическую основу. Влиятельные круги французской буржуазии, в особенности крупные негоцианты, арматоры Марселя и других портов французского Средиземноморья, имели давние, весьма широкие связи с Египтом и другими странами Леванта. Шарль-Ру считал, что в среднем в XVIII веке объем ежегодной торговли между Францией и Египтом приближался к пяти с половиной миллионам пиастров[23]. Усиление в той или иной форме позиций Франции в Египте полностью отвечало задачам французской колониальной политики тех лет.

Захват Англией ряда французских колоний (Мартиники, Тобаго и других), а также голландских и испанских колониальных владений фактически привел к почти полному прекращению колониальной торговли. Талейран в докладе Институту 3 июля 1797 года «Мемуар о преимуществах новых колоний в современных условиях» прямо указывал на Египет как на возможное возмещение понесенных Францией потерь[24]. Неоспоримо было также и военно-стратегическое значение Египта в конкурентной борьбе великих европейских держав, стремившихся к расширению своих колониальных владений. Упадок Турции, все явственнее обнаруживавшийся на протяжении восемнадцатого столетия, придавал вопросу о «турецком наследстве» особую остроту. Египет в оспариваемом «наследстве» был особо лакомым куском, и давнее соперничество Англии и Франции пополнилось еще одним важным предметом спора — грызней за овладение египетской костью[25]. Все эти причины и мотивы были достаточно весомы, чтобы поставить в порядок дня внешнеполитических проблем Директории вопрос о Египте. Не было, конечно, случайностью, что почти одновременно два крупных политических деятеля — Бонапарт и Талейран — пришли каждый своим умом к мысли о необходимости овладения Египтом. Лишний раз это доказывало, насколько идея овладения Египтом отвечала интересам французской буржуазии того времени.

Таким образом, в самой идее египетской экспедиции не было ничего ни загадочного, ни необычайного. Она

объяснялась вполне прозаическими расчетами, связанными с определенными экономическими и политическими интересами.

Труднообъяснимо другое: как мог Бонапарт, отказавшийся от вторжения на Британские острова ввиду неоспоримого превосходства Англии на море, пренебречь этим же превосходством противника при решении вопроса о десанте на юге Средиземноморского побережья? Ведь если успех вторжения в Ирландию или в иной район Великобритании зависел всецело от «удачи», от «случая», так как французский флот был много слабее английского, то и при экспедиции в Египет, когда тихоходным французским кораблям пришлось бы преодолевать большее водное пространство, роль «удачи», «случая» для успеха предприятия была не меньшей, она возрастала. Но в первом варианте Бонапарт считал, что при столь малых шансах он не вправе «рисковать судьбой Франции», во втором, хотя шансы оставались столь же ничтожны, если не еще меньше, он решился на действия. Как это объяснить?

Современники хорошо понимали крайнюю рискованность задуманного предприятия. Мармон, принимавший деятельное участие в подготовке экспедиции, писал: «Все вероятности были против нас; в нашу пользу не было ни одного шанса из ста... Надо признаться, это значило вести сумасбродную игру, и даже успех не мог ее оправдать» *[26].

В своем существе суждения Мармона были правильны. Это действительно значило «вести сумасбродную игру».

Талейран с его злым и циничным умом, объясняя, почему Бонапарт предпочел египетский вариант английскому, писал следующее: «Это предприятие (вторжение на Британские острова.— *А. М.*) независимо от того, удалось бы оно или потерпело неудачу, должно было быть неизбежно непродолжительным, и по возвращении он не замедлил бы очутиться в том самом положении, которого хотел избегнуть»[27]. Это объяснение не может удовлетворить, оно представляется слишком упрощенным. И тем не менее в нем есть элементы верного. Бонапарт действительно достиг такой степени

* Надо, конечно, учесть, что Мармон писал эти строки, когда Наполеон не мог уже возразить.

напряженности в отношениях с Директорией, что дальше так продолжаться не могло. Когда во время одной из стычек он прибегнул к самому сильному средству воздействия — пригрозил своей отставкой, Ребель не дал ему даже договорить до конца.

— Не теряйте времени, генерал. Вот вам перо и бумага. Директория ожидает ваше заявление[28].

Бонапарт не стал писать заявление об отставке. Но он лишился последнего эффективного средства давления на Директорию. В затянувшемся конфликте с правительством он зашел в тупик.

Бонапарт по своему темпераменту, по жизненной выучке, по пройденной им политической школе революции был человеком действия. Не в его натуре была медлительная позиционная борьба с постепенным наращиванием преимуществ. В 1798 году в Париже он явственно ощутил, если перевести на шахматный язык, что дошел до миттельшпиля и что исход борьбы пока остается ничейным. Но ему было столь же ясно, что бездействие приведет его к проигрышу партии.

Изучив возможности вторжения на Британские острова, он отверг этот план. Не потому, конечно, что операция была слишком кратковременной, а потому, что поражение в битве против Англии на глазах всей Европы могло иметь катастрофические последствия для Республики и для самого Бонапарта. Но он не мог бездействовать и, отвергнув идею десанта на Британские острова, сразу же вернулся к давней мысли о Востоке, Египте.

Видел ли он огромный риск, опасность неудачи, даже гибели, стоявшие грозной тенью над походом на Восток? Бесспорно, эту опасность нельзя было не видеть. Но в одном пункте Бонапарт был прав: Египет, Восток — это все-таки была мировая периферия; что бы здесь ни случилось, это не будет иметь таких катастрофических последствий, как поражение в битве один на один против Англии.

Он охотно отдался мечтам о грандиозных победах, которые подсказывало ему воображение. Мармон писал, что со времени итальянской кампании поход в Египет был любимым детищем Бонапарта[29]. Он связывал с этим походом необозримые планы, он надеялся поднять греков на освободительную борьбу, вступить в сговор с индийскими племенами и найти в них союз-

ников против англичан, изгнать британцев из Индии, дойти самому до берегов Инда, а может, затем повернуть и пойти на Константинополь... Великие планы, один другого грандиознее, теснились в его голове. Можно поверить Бурьенну, когда он передает слова Бонапарта: «Европа — это кротовая нора! Здесь никогда не было таких великих владений и великих революций, как на Востоке, где живут шестьсот миллионов людей»[30]. Это не придумано — один лишь Бонапарт в пылу увлечения мог так сказать.

Он решил рискнуть. Ради такого огромного, баснословного, фантастического выигрыша, рисовавшегося его воображению,— подняться выше Александра Великого! — он пошел на безмерный риск.

Бонапарт отдавал себе отчет в том, что все — на острие ножа. Уже не раз, правда не в таких масштабах, он вел эту предельно рискованную, все время колебавшуюся между орлом и решкой, опаснейшую игру. В сражениях при Лоди и Риволи на протяжении многих часов армия оставалась на грани победы и поражения. Наполеон готов был снова идти на этот риск; после Монтенотте, Лоди, Риволи он верил, что судьба поворачивается для него орлом! Он верил в свою звезду!

19 мая 1798 года ранним солнечным утром армада французских кораблей — больших линейных во главе с флагманом «Орион», фрегатов, корветов, бригов, всякого рода транспортов — снялась с рейда Тулонского порта и двинулась на восток.

Куда она шла? На завоевание Сицилии? Мальты? Никто, кроме самого узкого круга высших начальников, этого не знал. Даже военный министр Шерер и тот до последних дней не был в курсе дел. Не знали ничего достоверного об экспедиции ни во Франции, ни в Европе. Газеты распространяли самые противоречивые сведения. В начале мая возникли слухи, будто экспедиция, пройдя Гибралтарский пролив, повернет на запад. Вскоре после выхода французской флотилии из Тулона была предпринята широкая отвлекающая операция — попытка высадить десант в Ирландии. В августе группа французских кораблей под командованием генерала Эмбера действительно направилась к берегам Изум-

рудного острова и сначала успешно осуществила десант.

Казалось, все было предусмотрено для успеха похода на Восток. Тридцать восемь тысяч отборных солдат — каждый проверялся, артиллерия, снаряды, лошади, продовольствие, книги на сотнях транспортных судов двигались на восток, охраняемые конвойными кораблями. Лучшие генералы Республики, цвет французской армии — Клебер, Дезе, Бертье, Ланн, Мюрат, Бессьер, ближайшие сподвижники Бонапарта — Жюно, Мармон, Дюрок, Сулковский, Лавалетт, Бурьенн — составляли окружение командующего Восточной армией. Вместе с военными ехали ученые — будущий Институт Египта, объединявший представителей всех отраслей науки,— прославленные Монж, Бертолле, натуралист Жофруа Сент-Иллер, химик Конте, минералог Доломье, медики Ларрей и Деженет, литераторы Арно и Парсеваль Гранмезон и другие.

При выходе в море огромный, перегруженный флагман «Орион» задел дно; некоторые увидели в этом дурную примету, но кто посмел бы высказать такие мысли вслух?

Все, казалось, благоприятствовало успеху. Был май, еще не жаркое солнце ярко светило, сильные попутные ветры надували паруса. Огромная флотилия легко и быстро скользила по волнам[31].

Три недели спустя, 9 июня, французские корабли подошли к берегам Мальты. Остров был занят почти без сопротивления. Над крепостью Ла-Валетта поднялся французский флаг[32].

19 июня флотилия французских кораблей двинулась дальше. Снова дули попутные ветры, французская армада продвигалась вперед, английской эскадры не было видно.

На борту «Ориона» царило оживление. Мальта была первой победой. Командующий армией, как всегда, с раннего утра работал. За обедом в его кают-компании собирались ученые, высшие офицеры. После обеда возникали оживленные споры. Темы для дискуссий предлагал почти всегда командующий: то были вопросы религии, различные формы политического правления, строение Земли. Однажды он предложил обсудить вопрос о предчувствиях, об истолковании снов. Может быть, он, суеверный корсиканец, все эти дни думал

о дурной примете — как «Орион» задел дно при выходе в море?

2 июля французская флотилия подошла к побережью Северной Африки. Недалеко от Александрии спешно, но в полном порядке армия высадилась на сушу. Сразу же войска выступили в поход, и через несколько часов перед их глазами открылся большой восточный город: невысокие белые дома с плоскими крышами, узкие, устремленные вверх минареты, нарядные голубые купола мечетей. Французская армия вступила в Александрию.

Самое опасное в экспедиции — долгий путь по зыбким волнам — осталось позади. Это могло казаться почти чудом — более сорока дней французская флотилия находилась в море, она прошла его с запада на восток и с севера на юг, но так и не встретила англичан. Чувствуя под ногами твердую почву, французы уже ничего не страшились: на суше они вновь ощущали себя армией победителей. Можно ли было сомневаться в счастливой звезде генерала Бонапарта?

Французская флотилия прошла через все Средиземное море, не встретив англичан. Но значило ли это, что противник, которого уже в XVIII веке называли «коварным Альбионом», оказался на самом деле столь простодушен, что принял за чистую монету нехитрые приемы дезинформации, к которым прибегали правительство Республики и его агентура весной 1798 года?

Примерно за месяц до отплытия Восточной армии из Тулона в Париже произошло странное происшествие. В поздний час 21 апреля 1798 года к начальнику тюрьмы Тампль явились жандармы и предъявили ему приказ Директории, предлагавший передать им содержавшегося в тюрьме опаснейшего преступника — английского офицера Сиднея Смита, действовавшего против французов еще под Тулоном. Приказ был оформлен по всем правилам, все подписи членов Директории стояли на месте — начальнику тюрьмы оставалось лишь выполнить его.

И лишь после того как с грохотом захлопнулись тюремные двери за жандармами, уведшими преступника, тюремного администратора стали одолевать сомнения...

Вскоре выяснилось, что никакого приказа об освобождении или перемещении Сиднея Смита не было, ни

один член Директории не подписывал его, ни один жандарм не был послан в тот злосчастный день в тюрьму Тампль...

Приказ о Смите оказался фальшивым, подписи — поддельными; форму жандармов надели на себя старые враги Республики — роялисты, предводительствуемые Ле Пикаром де Фелиппо — давним врагом Бонапарта по Парижскому военному училищу, затем эмигрантом, участником контрреволюционных заговоров и походов. Это беспримерно дерзкое похищение из столичной тюрьмы одного из опаснейших заключенных, несмотря на все розыски, сошло преступникам с рук. Никого из участников похищения не удалось обнаружить.

Вильям Сидней Смит был одним из последних представителей вымирающего племени британских пиратов времен королевы Елизаветы. Он мог бы по праву считаться законным наследником сэра Френсиса Дрейка. Ловкий, коварный, настойчивый в достижении цели, словно воскресший из шестнадцатого столетия конкистадор или корсар, одинаково неуловимый на море и на суше, он оставался всегда опаснейшим противником Франции[33]. И вот после того как он был заключен в толстые, не пробиваемые пушечным снарядом стены тюрьмы Тампль, он сумел выскользнуть из нее и затеряться, как песчинка в море...

Прошло какое-то время, и стало известно, что месяц спустя после бегства из тюрьмы Тампль Сидней Смит и Ле Пикар де Фелиппо, притаившиеся, пока велись розыски, где-то во Франции, сумели незаметно для пограничной стражи переправиться в Англию.

Прошло еще какое-то время, и командующий Восточной армией, действовавшей в Египте, получил донесение о том, что существенную помощь военным силам противника оказывают его давние знакомые — полковник английской армии Ле Пикар де Фелиппо и капитан английского флота, позднее адмирал Вильям Сидней Смит.

Вскоре выяснилось и иное. Адмирал Нельсон и служба английской разведки тоже не были доверчивы и наивны. Нельсон со своими кораблями стоял у Гибралтарского пролива, готовый в любой момент двинуться на запад или восток. Но случилось так, что в день выхода флотилии Бонапарта из Тулона в западной части Средиземного моря разыгралась буря и ко-

рабли Нельсона изрядно потрепало; его внимание было всецело приковано к борьбе со стихией, и выход французских кораблей в море остался незамеченным. Лишь когда до Нельсона дошли сведения о том, что французы заняли Мальту, он бросился за ними в погоню. Адмирал так кипел желанием настигнуть и разгромить противника, что его эскадра, подняв паруса, промчалась по морю с такой быстротой, что опередила французов; ночью английские корабли пронеслись мимо медленно плывшей французской флотилии, проходившей севернее Крита.

Эскадра Нельсона примчалась в Александрию, но там ни о Бонапарте, ни о французах вообще никто ничего не слыхал. Английский адмирал решил, что французский флот направился в Александретту или Константинополь, и устремился туда.

Быстроходность английской эскадры оказалась для французов спасительной, но битвы на море не удалось избегнуть; она была лишь отсрочена. Надо было ожидать, что Нельсон скоро вернется.

Бонапарт из Александрии обратился с воззванием к египетскому народу. Оно было датировано 14 мессидора VI года (2 июля 1798), 18 месяца мухаррема, год хиджры 1213 *. В воззвании говорилось: «Бонапарт, член Национального Института, командующий армией...

Давно уже беи, господствующие над Египтом, оскорбляют французскую нацию и подвергают ее негоциантов унижениям; час отмщения настал... Народы Египта, вам будут говорить, что я пришел, чтобы разрушить вашу религию,— не верьте! Отвечайте, что я пришел, чтобы восстановить ваши права, покарать узурпаторов, и что я уважаю больше, чем мамелюки, Бога, его пророка и Коран. Скажите, что все люди равны перед богом, только мудрость, таланты и добродетели вносят различия между людьми...»[34]

Бонапарт призывал египетский народ довериться французам, объединиться с ними, чтобы сбросить иго мамелюков и создать новую, счастливую жизнь.

Воззвание Бонапарта доказывало, как тщательно были обдуманы и подготовлены действия в Египте. Той

* Хиджра, или геджра,— бегство Магомета из Мекки в Медину — время, от которого магометане ведут свое летосчисление.

же разумностью, свидетельствующей о понимании задач, были отмечены и многие практические мероприятия Бонапарта и его сотрудников в Египте вплоть до открытия Розеттского камня или санитарно-противоэпидемических мер Ларрея и Деженета[35].

Но даже это первое воззвание имело недостаток: говоря военным языком, оно било дальше цели. Бонапарт, готовясь к походу на Восток, обдумывал политическую стратегию: он рассчитывал, как это было и в Италии, найти союзников в лице угнетенных и недовольных. Первое воззвание призывало египетский народ подняться против господства военных феодалов — беев-мамелюков. Но арабы-феллахи и жители городов, составлявшие основное население Египта, были до такой степени забиты и политически отсталы, находились на такой низкой ступени общественного сознания, что все призывы к борьбе до них не доходили: они еще не были способны их воспринять. Не сразу, через недели или месяцы, Бонапарту стало ясно, что он не находит общего языка с арабами, что они его не слушают, что бы он ни говорил.

Бонапарт оказался в Египте — и это стало трагедией всего похода — в социальном вакууме. Он не встречал поддержки и не находил опоры в народе страны. Он был стратегом, созданным революцией, мыслил ее категориями, и в его стратегических планах социальным силам придавалось, по крайней мере вначале, не меньшее значение, чем пушкам и числу штыков. Когда он рисовал увлекающую его картину великого похода на Восток и полного сокрушения колониального могущества Британии, то он рассчитывал достичь этого грандиозного результата не со своей маленькой армией в тридцать пять тысяч человек.

Нет, он надеялся на то, что его солдаты будут авангардом великой армии освобождения, в которую вольются восставшие арабы, греки, персы, индийцы. Он будет идти во главе непрерывно растущей многомиллионной армии поднявшихся за свое освобождение народов, и в мире не будет силы, которая смогла бы противостоять этой всесокрушающей лавине. Он слал эмиссаров к Типу Султану, возглавившему сопротивление английским завоевателям в Южной Индии — в госу-

дарстве Майсур *[36], он торопил Талейрана выехать в Константинополь, строя противоречивые планы и привлечения на свою сторону правительства Порты, и пробуждения мятежных сил против ее власти.

Его политика, как показала итальянская кампания, и в особенности Леобен и Кампоформио, содержала и прогрессивные и завоевательные тенденции; они противоречиво переплетались между собой.

В Египте, как вскоре убедился Бонапарт, он оказался в состоянии полной изоляции от населения. Семена, брошенные им в опаленную солнцем почву, не давали всходов: земля еще не созрела для роста нови. Он провел ряд смелых реформ антифеодального характера, но не приобрел поддержки арабов.

В отличие от Италии армия Бонапарта в Египте могла рассчитывать только на узковоенные средства достижения успеха. Социальный аспект войны оказался почти полностью исключенным. Это имело трагические последствия для французской армии: превратившись из армии освободительной, какой она в конечном счете была в Италии и намеревалась остаться на Востоке, в армию завоевателей, она стала неизмеримо слабее; при своей малочисленности и большой удаленности от основных баз она была обречена рано или поздно на поражение.

Бонапарт с его сильным умом быстро это понял. Его поход в Сирию был продиктован не столько узкотактическими (движение навстречу турецкой армии), сколько стратегическими соображениями. На острове Святой Елены, когда все было уже далеким прошлым, он в беседе с Лас-Казом, возвращаясь ко все еще волновавшей его теме, очень ясно раскрыл свой стратегический замысел: «Если бы (крепость) Сен-Жан д'Акр была взята французской армией, то это повлекло бы за собой великую революцию на Востоке, командующий армией создал бы там государство, и судьбы Франции сложились бы совсем иначе»[37].

Но крепость Сен-Жан д'Акр, как известно, не была взята...

Завоевательный характер войны в Египте пагубно влиял и на французских солдат, и на самого Бонапарта.

* У Бонапарта были реальные основания рассчитывать на соглашение с Типу Султаном: последний еще ранее пытался установить связь с французами.

Под палящими лучами африканского солнца, в изнуряющих походах по раскаленным пескам пустыни — во имя чего? ради чего? — блекли или, может, даже испарялись революционные чувства, верность республиканским принципам, революционный патриотизм, воодушевлявшие еще недавно тех же солдат в итальянской кампании. На первый взгляд незначительный, но в то же время весьма симптоматичный пример: во время итальянской кампании большие революционные праздники — 14 июля, 10 августа, 21 сентября — отмечались приказами командующего и вся армия их праздновала. В египетском походе о них как-то незаметно перестали вспоминать; даже десятилетний юбилей взятия Бастилии, 14 июля 1799 года, среди многих приказов, изданных командующим, оказался забытым. Египетский поход сыграл зловещую роль и в идейной эволюции самого Бонапарта.

Конечно, Бонапарт был не из тех, кто склоняет голову и опускает руки перед обрушивающимися на них злосчастиями. Напротив, в Египте, когда с каждым днем все очевиднее раскрывались неисчислимые трудности и бедствия, вставшие на пути армии, он проявлял величайшую энергию и твердость духа.

Французская армия вновь одерживала блистательные победы. После изнурительного похода по раскаленным пескам Дамангурской пустыни, когда вдалеке уже были видны минареты Каира, перед французами выросла конница мамелюков. В сражении у подножия пирамид 21 июля 1798 года все яростные атаки мамелюков Мурад-бея разбились о непробиваемые французские каре. Тогда была произнесена знаменитая фраза: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас!» Битва закончилась полным разгромом противника[38].

Армия Бонапарта вступила в Каир. Клебер успешно завоевал дельту Нила. Дезе, преследовавший мамелюков Мурад-бея, нанес им поражение при Седимане и овладел Верхним Египтом.

Но в шесть часов вечера 1 августа перед французским флотом, стоявшим в Абукирском заливе, внезапно предстала ожидаемая давно, но все же не в этот момент * эскадра адмирала Нельсона. Через полчаса на-

* Когда появилась эскадра Нельсона, три тысячи человек из французского экипажа были на берегу.

чалось морское сражение. Хотя силы сторон были почти равны и французы даже имели перевес в количестве орудий, Нельсон, захвативший инициативу и обнаруживший превосходство в руководстве морским сражением над Брюэсом, склонил ход боя в свою пользу. Он отрезал французские корабли от берега и открыл огонь с двух сторон. К одиннадцати часам утра 2 августа французский флот перестал существовать; лишь четырем кораблям удалось уйти, остальные были уничтожены или пленены[39].

Абукирская катастрофа влекла за собой трагические последствия для французской армии в Египте.

Коммуникации в стране были столь плохи, что Бонапарт узнал о происшедшем только две недели спустя, 13 августа, в Салейохе, где его нагнал курьер, посланный Клебером. Человек сильного характера, Бонапарт, получив эту ужаснувшую его весть, испытал, как это с ним всегда бывало в момент опасности, прилив огромной энергии. Его письма адмиралу Гантому, Клеберу, Директории динамичны, практически трезвы; ни тени колебаний; он уверенно намечает ряд неотложных мер, призванных спасти то немногое, что осталось от флота; он готов, собирая по кораблю во всех средиземноморских портах, начать сызнова восстановление французского флота[40]. О его сильном душевном волнении можно лишь догадываться по настойчивости, с которой он доказывает — кому? — Директории, что судьба, счастье (он пишет Fortune с большой буквы) его не покинули, и по сентиментальной взволнованности, обнаруживающей бывшего ученика Руссо в соболезнующем письме вдове погибшего адмирала Брюэса[41].

По свидетельствам современников, известие об Абукире произвело гнетущее впечатление на армию. Собственно, разочарование, более того — недовольство началось еще раньше. И Мио и Бурьенн, свидетели во всем различные, сходятся в описании настроений в египетской армии после первого месяца пребывания в стране[42]. Египет в действительности оказался так не похож на тот волшебный мир восточных красот и чудес, которые рисовало воображение на пути из Тулона в Александрию, что они не могли и не хотели с ним примириться. После Италии то был разительный контраст. Бесплодные, выжженные солнцем пустыни, раскаленный песок, бедность, нищета, убогость, темный,

забитый народ, видевший во французах врагов, отсутствие денег, нехватка воды, постоянно мучающая жажда и зной, зной, все испепеляющий зной!! — за какие грехи и преступления армию победителей Италии обрекли на эти страдания? Катастрофа в Абукире приумножила эти настроения. Они господствовали не только среди солдат, но и среди офицеров и даже высших командиров.

Наполеон, всю жизнь настойчиво оправдывавший египетскую экспедицию, должен был все же признать крайнее недовольство, царившее в армии. Он сам рассказал, как однажды, услышав весьма крамольные разговоры группы фрондирующих генералов, он обратился к одному из них, самому высокому ростом: «Вы вели здесь мятежные речи, генерал; берегитесь, как бы я не выполнил свой долг: ваш высоченный рост не помешает вам быть расстрелянным в течение двух часов»[43].

Но если верить Бурьенну, Бонапарт, оставаясь наедине, сам давал волю мрачным чувствам. Когда Бурьенн высказал надежду, что Директория придет на помощь, Бонапарт не дал ему договорить: «Ваша Директория — это...— он произнес нецензурные слова.— Они мне завидуют и ненавидят меня; они охотно оставят меня здесь погибать...»[44] На Директорию он не надеялся; он мог рассчитывать только на самого себя.

С огромной энергией он взялся за общественное переустройство Египта. Но чем дальше шло время, тем становилось очевиднее, что все усилия бесплодны: французы вспахивали пески и в буквальном и в переносном смысле. Восстание в Каире, восстание арабов в разных концах завоеванной страны, жестокие кары, расстрелы и новые мятежи[45] — все доказывало, что пришельцы не могут найти опоры среди арабского населения, что они остаются армией завоевателей, удерживающей свою власть силой штыка. Но ведь эта сила будет слабеть? Что ждет тогда?

Бонапарт искал выхода из мышеловки, в которой он оказался. Надо было вырваться из этой бесплодной пустыни; надо прорваться к необозримым плодоносным просторам Востока, и тогда все будет переиграно.

Он не отказывался от своих грандиозных планов. 25 января 1799 года он послал гонца в Индию с письмом к Типу Султану. «Вы, верно, уже осведомлены

о моем приходе к берегам Красного моря с неисчислимой и непобедимой армией, исполненной желания освободить вас от оков английского гнета»,— писал он индийскому вождю. Неисчислимая армия? Конечно, это только гипербола. Но если она сможет дойти до берегов Инда и Ганга, кто может сомневаться в том, что она действительно станет неисчислимой?

К концу 1798 года численность французской экспедиционной армии в Египте составляла двадцать девять тысяч семьсот человек, из них, по официальным данным, тысяча пятьсот были небоеспособными[46]. Для похода в Сирию главнокомандующий мог выделить только тринадцать тысяч. Это количество представлялось ему вполне достаточным для начальных наступательных операций. Сирия должна была быть лишь первым актом в широко задуманном плане действий. Как позднее писал Бонапарт, он рассчитывал, «если судьба будет благоприятствовать, несмотря на потерю флота, к марту 1800 года во главе сорокатысячной армии достичь берегов Инда»[47].

9 февраля 1799 года маленькая армия выступила в поход. Вместе с Бонапартом на завоевание восточного мира шли его лучшие генералы — Клебер, Жюно, Ланн, Мюрат, Ренье, Кафарелли, Бон и другие. Путь был тяжелым, изнуряющим, даже в феврале солнце жгло, мучила жажда. Но всех воодушевляла надежда; армия шла вперед, она оставляла позади ненавистную пустыню. Военные операции развертывались успешно. Боевые столкновения под Эль-Аришем и Газой завершились победами. После упорных боев пали Яффа и Хайфа; в сражении с турками была завоевана Палестина. К 18 марта армия подошла к стенам старинной крепости Сен-Жан д'Акр.

Чем дальше на восток продвигалась армия Бонапарта, тем становилось труднее. Сопротивление турок возрастало. Население Сирии, на поддержку которого Бонапарт надеялся, было так же враждебно к «неверным», как и арабы Египта. При взятии Яффы город подвергся разграблению, французы проявили крайнюю жестокость к побежденным. Но ни арабов, ни друзов, ни турок нельзя было ни застращать, ни привлечь на свою сторону. В Яффе обнаружились первые признаки заболевания чумой. Болезнь вызвала страх у солдат, но еще надеялись избежать эпидемии.

Бонапарт шел впереди армии — молчаливый, хмурый. Война складывалась несчастливо, все шло не так, как он ожидал, все оборачивалось против него. Судьба ему больше не благоприятствовала... Его угнетало еще и другое. В самом начале сирийского похода, у Эль-Ариша, как о том поведал Бурьенн, Жюно, шедший, как обычно, рядом с командующим — они были друзьями, были на «ты»,— сказал ему что-то такое, отчего лицо Бонапарта страшно побледнело, затем он стал содрогаться от конвульсий.

Позже от самого Бонапарта Бурьенн узнал, что́ так потрясло его. Жюно рассказал, неизвестно зачем, что Жозефина неверна. Ярость Бонапарта была беспредельна. Он осыпал проклятиями, солдатской бранью имя, которое еще вчера было самым дорогим.

Для Бонапарта это было едва ли не самым сильным потрясением. На время оно заслонило все остальное. Женщина, которую он больше всего любил, его жена, его Жозефина, через полгода после свадьбы, когда он мысленно был всегда с нею, изменяла ему с каким-то ничтожеством. Кому еще после этого можно верить? Чему верить?

Он обрушился на Бурьенна; он готов был винить и его: «Вы ко мне не привязаны... Вы обязаны были мне рассказать... Жюно — вот истинный друг!»[48] Но эту дружескую услугу Бонапарт не простил Жюно. Рассказанное у Эль-Ариша запомнилось на всю жизнь. Из всех генералов «когорты Бонапарта» самый близкий к нему, Андош Жюно, оказался единственным, не получившим звания маршала.

Но в те первые дни, когда Бонапарт узнал эту ужасающую правду, он не мог преодолеть охватившего его смятения, гнетущей подавленности.

В письме к Жозефу, вскоре после потрясшего его известия, младший Бонапарт писал: «...ты единственный, кто у меня остался на земле. Твоя дружба мне очень дорога. Мне лишь остается, чтобы стать окончательно мизантропом, потерять еще и ее, увидеть, как ты меня предаешь...» Он не мог знать тогда, что позже, через несколько лет, придет и этот день и он увидит, как Жозеф, как другие его братья отступятся от него.

Но тогда, в 1799 году, Жозеф оставался «единственным другом», и в трудный час Наполеон только ему мог доверить чувства и мысли, угнетавшие его. Он просил

старшего брата приобрести в сельской местности, где-нибудь под Парижем или в Бургундии, дом, в котором можно было бы уединиться на всю зиму: «Я разочарован в природе человека и испытываю потребность в одиночестве и уединении. Почести власти мне наскучили, чувство иссушено; слава — пресна; к двадцати девяти годам я все исчерпал; мне ничего не остается, как стать закоренелым эгоистом».

Эти строки чем-то напоминают юного Бонапарта, Бонапарта 1786 года: та же горечь разочарования, та же щемящая тоска.

Чтобы не остаться в долгу перед Жозефиной, он сошелся с молоденькой женой одного из офицеров, некой Полиной Фуре. Худенькая, мальчишеского склада, она сумела, облачившись в мужскую одежду, обмануть всех и последовать за мужем в армию. Ее вызывавшая восхищение преданность мужу оказалась — увы! — не слишком прочной; она не устояла перед льстившим ей своими ухаживаниями главнокомандующим армией. Лейтенанту, мужу Полины, во избежание нежелательных осложнений было дано срочное поручение во Францию! Но корабль, на котором он отплыл от берегов Египта, был перехвачен англичанами. Они доказали, что служба информации поставлена у них неплохо. Всех пленных они задержали, кроме одного — лейтенанта, мужа Полины Фуре, возлюбленной главнокомандующего французской армией в Египте. Со всей предупредительностью они поспешили переправить его назад, в Каир.

Подобного рода происшествия в армии не остаются секретом. Обманутый муж все узнал. Супруги развелись, инцидент был исчерпан. Эта «маленькая дурочка», как называл Полину Фуре Бонапарт, сама по себе его мало занимала. Другие мысли, другие заботы владели им.

Бонапарт взял себя в руки. К тому же как мог он покарать Жозефину, что мог он сделать, отдаленный тысячами километров от Парижа? Он больше ни с кем на эту тему не говорил. Да и к чему? Что могли изменить слова? Как человек суеверный, он почувствовал в этом тяжелом известии еще одно подтверждение, что судьба повернулась против него. Он безмерно любил Жозефину и считал, что она приносит ему счастье. Удивительные успехи весны 1796 года — Монтенотте,

Лоди, Риволи — все это пришло вместе с Жозефиной. Она изменила ему, и вместе с ней ему изменило счастье.

Он был солдат, и долг солдата повелевал ему идти вперед. Он был командующим армией, и на нем одном лежала ответственность за этих людей, под палящим зноем двигавшихся на восток.

Надо было сломить сопротивление этой старой крепости энергичным натиском. «Судьба заключена в этой скорлупе»[49]. За Сен-Жан д'Акром открывались дороги на Дамаск, на Алеппо; он уже видел себя идущим по великим путям Александра Македонского. Выйти только к Дамаску, а оттуда стремительным маршем к Евфрату, Багдаду — и путь в Индию открыт!

Но старая крепость, еще в XIII веке ставшая достоянием крестоносцев, не поддавалась непобедимой армии. Ни осада, ни штурмы не дали ожидаемых результатов. Ле Пикар де Фелиппо, тот самый, что год назад сумел вывести Сиднея Смита из парижской тюрьмы Тампль, давнишний недруг Бонапарта, счастливый возможностью сквитать старые счеты, превосходно руководил обороной крепости. Смит тоже не терял времени даром: он установил контроль над морскими коммуникациями между Александрией и осаждающей армией, а сам обеспечивал непрерывное пополнение гарнизона крепости людьми, снарядами, продовольствием *. Шестьдесят два дня и ночи длились осада и штурм Сен-Жан д'Акра; потери убитыми, ранеными, заболевшими чумой возрастали. Погибли генералы Кафарелли, Бон, Рамбо, еще ранее был убит Сулковский. Ланн, Дюрок, многие офицеры получили ранения.

Не грозила ли всей французской армии опасность быть перемолотой под стенами Сен-Жан д'Акра? Бонапарта это страшило. Он все более убеждался, что его тающей армии не хватает сил, чтобы овладеть этой жалкой скорлупой, ветхой крепостью, ставшей неодолимым препятствием на пути к осуществлению его грандиозных замыслов. Не хватало снарядов, недоставало патронов, пороха, а подвоз их по морю и суше был невозможен. Голыми руками крепость не взять. Все попытки штурмовых атак терпели неудачи. Длительное

* Наполеон в своем историческом очерке кампании в Сирии весьма невысоко оценивает роль Сиднея Смита (Corr., t. 30, p. 52), однако это суждение нельзя признать объективным.

двухмесячное сражение под стенами Сен-Жан д'Акра было проиграно. Через самое короткое время это станет очевидным для всех.

Ранним утром 21 мая французская армия бесшумно снялась с позиций. В приказе по армии командующий писал о подвигах, о славе, о победах[50]. Но к чему были эти слова? Кого они могли обмануть? Армия быстрым маршем, сокращая время отдыха, чтобы не быть настигнутой противником, той же дорогой, откуда пришла, после трех месяцев страданий, жертв, оказавшихся напрасными, возвращалась назад, на исходные позиции.

То было страшное отступление. Нещадное солнце стояло в безоблачном небе, обжигая иссушающим жаром. Нестерпимый, изматывающий зной, казалось, расплавлял кожу, кости; солдаты с трудом волочили ноги по горячим пескам, по растрескавшимся дорогам пустыни. Мучения жажды были невыносимы. Рядом шумело бескрайнее море, но питьевой воды не было. Люди выбивались из сил, но продолжали идти; кто отставал, кто падал — погибал. Сзади, над последними рядами растянувшейся цепочки людей, кружили какие-то страшные птицы с огромным размахом крыльев, с длинной голой шеей и острым клювом; то были, верно, грифы. Они ждали, кто упадет, чтобы наброситься с пронзительным клекотом на добычу.

Люди боялись этих ужасных птиц больше, чем неожиданно появлявшихся то здесь, то там на горизонте мамелюков на конях. Напрягая последние силы, солдаты старались не отрываться от колонны. И все-таки обессилевшие падали, и тогда уходящие слышали за своей спиной резкий гортанный клекот птиц-чудовищ, слетавшихся на страшную тризну. Армия таяла от чумы, от губительной жары, от переутомления. Более трети ее состава погибло[51].

Бонапарт приказал всем идти пешком, а лошадей отдать больным. Он первый подавал пример: в своем сером обычном мундире, высоких сапогах, как бы нечувствительный к испепеляющему зною, с почерневшим лицом он шел по раскаленным пескам впереди растянувшейся длинной цепочкой колонны, не испытывая, казалось, ни жажды, ни усталости.

Командующий армией шел молча. Он знал, он не мог не знать, что проиграно не только сражение под

Сен-Жан д'Акром — проиграна кампания, проиграна война, все было проиграно.

Но не об этом надо было думать. Важно было довести то, что осталось от сирийской армии, до Каира. И после короткого отдыха призывный звук горна снова поднимал измученных солдат, и генерал Бонапарт впереди колонны снова ровным шагом, загребая ногами горячий песок, шел, шел на запад, не замечая палящей жары.

Двадцать пять дней и ночей длился этот невыносимый, гибельный переход отступавшей армии из Сирии. 14 июня на рассвете армия увидела вдалеке высокие минареты и белые стены домов Каира.

Накануне брюмера

Об общественном состоянии Франции 1799 года, о политическом уровне Республики VIII года можно было судить по тому, что ее первым государственным лицом был Сиейес.

Этот старый ворон Сиейес сидел, нахохлившись, на воротах главного входа в государственные хоромы и, прикидываясь дремлющим, зорко следил за тем, чтобы никто через них не прошел. Бог знает, почему его называли старым. А ведь в действительности, по церковному свидетельству, Эмманюэль-Жозеф Сиейес вовсе не был стар. В 1798 году, когда его имя снова уважительно повторялось всей страной, ему исполнилось только пятьдесят лет. Может быть, это происходило потому, что его серая, неприметная, как бы стершаяся с годами внешность казалась всегда одной и той же? А может быть, потому, что он остался единственным знаменитым деятелем уже бесконечно далекой предреволюционной поры, сохранившимся живым, прошедшим невредимым сквозь все эти бурные годы? Кто его знает...[1]

Верно то, что за все это время Сиейес внешне мало изменился. В темном силуэте этого чуть сгорбившегося человека не было никаких примет времени. В его повадках, манере себя держать оставалась все та же осмотрительность, вкрадчивая осторожность; он попрежнему мало говорил и больше старался услышать. Он никогда ничего не рассказывал о себе; скрывал свои мнения и чувства; на прямо поставленный вопрос умел находить неопределенный, расплывчатый ответ; он мог значить одновременно и да и нет — поди разберись, что он думает. Сиейес был нетороплив, не спешил; он, кажется, даже мало расспрашивал, но всегда все знал о других. Неслышно он появлялся там, где его не ждали; цепкий взгляд его маленьких быстрых глаз все замечал. Он приглядывался, осматривался по сторонам, втягивал воздух; он безошибочно ориентировался, в какую сторону дует ветер. Бесшумно, как бы растворяясь в вечернем сумеречном свете, он появлялся то здесь, то там. Рассказывали, что, когда один иностранец

на заседании Совета пятисот спросил, можно ли увидеть Сиейеса, ему ответили: «Будь здесь, в зале, портьера, можно было бы быть уверенным, что Сиейес за ней...»

Сиейес все эти годы был как бы на виду и в то же время оставался малозаметным. Он входил во все высшие представительные органы — был членом Учредительного собрания, Конвента, Совета пятисот. Он пережил все режимы — старый режим, господство фельянов, власть жиронды, якобинскую диктатуру, термидорианскую реакцию, Директорию. Из тех, кто начинал вместе с ним политический путь в 1789 году, из настоящих людей с горячей кровью, а не с водой в жилах, никто не сохранился; кто раньше, кто позже — все сложили головы. А осторожный, молчаливый, бесшумно ступавший Сиейес всех пережил; он прошел через кипящий поток, не замочив ног, без единого ушиба, без одной царапины. Как он это сумел?

Широко известен его ответ на вопрос о том, что он делал в то бурное и грозное время: «J'ai vécu» (Я оставался жив),— отвечал Сиейес.

Да, он действительно делал все зависящее от него, чтобы остаться живым. Главное — выжить, все остальное не имело значения.

Сын начальника почты в маленьком городке Фрежюс на юге Франции, он мечтал о военной карьере, но родители отдали его на выучку к иезуитам, и он должен был стать аббатом. Он не был доволен своей судьбой, и, может быть, это сделало его восприимчивым к вольнолюбивым идеям века. Накануне революции аббат Сиейес опубликовал брошюры «Опыт о привилегиях» и «Что такое третье сословие?»[2]. Первая прошла незамеченной, вторая принесла ее автору шумный успех.

Сейчас трудно представить, чем могла эта неярко написанная книжка привлечь внимание. Возможно, это объяснялось ее формой — она была написана в духе катехизиса, в форме вопросов и ответов. «Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно должно стать? Чем-нибудь». Вероятно, простота и, можно даже сказать, элементарность ответов и обеспечили ей такой успех.

Как бы то ни было, но имя аббата Сиейеса стало одним из самых громких в стране. Это позволило ему, не без хлопот, добиться, чтобы он был включен двадцатым в список кандидатов от третьего сословия Парижа. Естественно, он был избран.

Учредительное собрание было, по общему мнению, таким блистательным созвездием выдающихся умов и талантов, подобного которому Франция никогда не знала. Выдвинуться в таком Собрании было нелегко. Сиейесу это казалось проще, чем иным, так как его появлению на трибуне предшествовала громкая, всефранцузская слава. Но вопреки ожиданиям, а возможно благодаря им, его выступления в Собрании были неудачными: Сиейес не был прирожденным оратором; в эпоху революции, в век Мирабо это считалось трудноизвинимым недостатком. Но все же известны были исключения. И Талейрана природа не наделила ораторским даром. По свидетельству современников, он «говорил мало и плохо»[3]. Но недостаток ораторского таланта восполнялся содержательностью его выступлений: с первых же слов он попадал в цель. Достаточно напомнить, что именно Талейран был автором знаменитого декрета о секуляризации церковного имущества, принятого Собранием 2 ноября 1789 года[4].

Выступления Сиейеса вызвали всеобщее разочарование. Его длинные, скучные речи плохо слушали; его практические предложения по большей части отвергались Собранием. Тогда он замолчал. Возможно, вначале это упорное молчание, как полагал Олар, было продиктовано оскорбленным самолюбием. Он ведь ходил в первые годы революции в ее наставниках, и его могло задеть недостаточно почтительное отношение депутатов Учредительного собрания. Но не подлежит сомнению, что вскоре это нежелание говорить приобрело совсем иные основания.

Своим тонким, острым чутьем Сиейес почувствовал, что ветер крепчает. Не благоразумнее ли переждать? Он видел, как быстро накаляется политическая атмосфера. На его глазах политические формулы, которым вначале громко аплодировали, превращались в мишень для критических стрел; вчерашние кумиры подвергались граду нападок. Осмотрительность, доводы трезвого расчета подсказывали ему, что выгоднее молчать. Дерзкий, готовый всегда рисковать Мирабо разгадал истинные причины упорного молчания Сиейеса. С трибуны Учредительного собрания он призывал Сиейеса высказать публично свое мнение. «Молчание г. Сиейеса становится общественным бедствием!»[5] — восклицал

Мирабо, и в этих словах нельзя было не почувствовать скрытую иронию.

А Сиейес продолжал молчать. Он молчал и при фельянах, и при жирондистах, и при якобинцах. Он решил всех перемолчать. Никакие силы не могли его вытащить на трибуну. Став членом Конвента, он, естественно, примкнул к депутатам «болота». Конечно, в борьбе жирондистов и монтаньяров его симпатии были на стороне первых, но он действовал столь осмотрительно, что, казалось, ничто не могло выдать его политических пристрастий. Впрочем, орлиный взор Робеспьера все же его настиг. Он назвал Сиейеса «кротом». «Он не перестает действовать в подполье Собрания; он роет землю и исчезает»[6],— говорил он на заседании Комитета общественного спасения о Сиейесе. Но другие заботы дня увлекли Неподкупного, и Сиейес мог снова нырнуть в нору. Робеспьер к нему больше не возвращался. Сиейес оставался таким же незаметным и после термидора, и в начальные годы Директории. Он молчал — он старался выжить.

В конце концов Сиейес всех перемолчал, всех перехитрил. Он стал богатым, сановным, важным, обрел академические чины. Он прожил еще долгую жизнь, пережил консульство, империю, реставрацию, «сто дней», вторую реставрацию, Июльскую революцию, монархию Луи-Филиппа[7]. Он умер в 1836 году глубоким стариком, чуть не дотянув до девяноста лет. В последние месяцы старчества его цепкая память стала отказывать: события долгой жизни смешивались в его сознании. Неожиданно самое страшное всплывало из прошлого и надвигалось. Незадолго до смерти Сиейес встревоженно повторял: «Если придет господин де Робеспьер, скажите, что меня нет дома».

Но в то время, о котором сейчас идет речь, в 1799 году, Сиейес был еще в середине пути и, как ему представлялось, вступал в самую лучшую пору. Десять лет он прятался в тени, скрывался в полумраке, старался быть незаметным. Теперь он снова взмахнул крыльями; ему казалось, что Республика агонизирует, он чуял близкую ее смерть; все воронье начинало слетаться, и он вышел из тени, он тоже начал кружить.

В мае 1799 года Сиейес был избран членом Директории. Особым посланием правительство уведомило, что он согласился принять этот пост[8]. В начале июня он

вернулся из Берлина, где был посланником, был встречен пушечными выстрелами и поселился в предоставленной ему резиденции — Люксембургском дворце. «Не возникало сомнений в том,— писал Талейран,— что у него найдутся готовые и верные средства от внутренних, как и внешних, бед. Он едва успел выйти из кареты, как у него стали их требовать»[9]. Его речь при вступлении в Директорию показала, что он мало в чем изменился: она была полна высокомерия и неопределенности[10]. Но все же из всех членов Директории Сиейес стал самым знаменитым: лишь один он обладал именем, известным всей стране.

Долгие годы его безмолвия, почти невидимого существования странным образом приумножили его политический вес. За его молчанием угадывали что-то значительное. Он молчит, следовательно, он знает нечто важное, неизвестное всем остальным. Даже самоуверенный Баррас и тот счел нужным потесниться, уступить без слов первое место и усвоить по отношению к новому директору почтительный тон. Само собой все сложилось так, что Сиейес оказался первым лицом Директории, его мнение, его голос стали решающими.

Нахохлившийся, важный, степенный, исполненный сознания собственной значительности, Сиейес не скрывал своего пренебрежения ни к своим коллегам, ни к государственным учреждениям, которые он фактически возглавлял. Он оставался верен своей манере прятать свои замыслы, не произносить ничего определенного. Лишь изредка он раскрывал свой клюв, чтобы прокаркать: «Плохо! Плохо! Все плохо!», и это воспринимали как близость государственных перемен. Откуда-то возникло мнение, затем уверенность, что у Сиейеса имеется законченный, продуманный до деталей план конституционного переустройства страны, что он является крупнейшим знатоком конституционных вопросов[11].

В действительности же, как показали последующие события, у Сиейеса не было ни нового проекта конституции, ни даже сколько-нибудь отчетливого плана ее. Отсиживаясь в своей норе, он придумал лишь некоторые идеи суммарного характера: новая конституция должна быть консервативной по своему духу и характеру, она должна пресечь всякие демократические излишества. Само собой разумелось, новая конституция должна была обеспечить для ее вдохновителя Сиейеса

подобающее солидное место где-то на самых верхних ступенях государственной иерархии.

Впрочем, незавершенность конструктивных идей Сиейеса, остававшаяся для окружающих тайной, отнюдь не препятствовала осуществлению его замыслов. Для исполнения его желаний требовалось в сущности немногое — послушная шпага, беспрекословно выполняющая то, что ей прикажут. 18 фрюктидора создало прецедент и обогатило необходимым опытом. Надо было снова повторить этот опыт. Плод уже полностью созрел; пришла пора его срывать, и это должен был сделать кто-то и поднести затем на блюде ему — Эммануэлю-Жозефу Сиейесу.

В претендентах на действенную роль в надвигающихся событиях недостатка не было. Идея переворота носилась в воздухе. Все вдруг стали утверждать, что так продолжаться далее не может, что вода подступает к горлу... Необходимы решительные действия, крутые перемены. Но в какую сторону должен повернуть надвигающийся поток, по какому руслу он хлынет — вправо или влево, оставалось неясным.

Военный министр генерал Бернадот охотно бы ввязался в большую игру. Но будущий шведский король Карл-Юхан в ту начальную пору деятельности еще делал ставку на левую политику. Ловкий гасконец, изобретательный, изворотливый, он считал, что в ближайшее время наибольшие шансы на успех имеют якобинцы, конечно якобинцы 99 года, без крайностей своих великих предшественников. Бернадот произносил зажигательные речи и писал воззвания, клялся в верности незыблемым республиканским принципам[12].

Его охотно поддерживал опальный герой Флерюса генерал Журдан, готовый сам при случае сорвать банк в свою пользу. Генерал Журдан в последнее время действовал не столько шпагой, сколько пером. После ряда неудач в кампании 1796—1797 годов он был отстранен от командных должностей и теперь занялся самореабилитацией. Чувство личной обиды повысило его восприимчивость к антиправительственным концепциям. В 1799 году у него снова была репутация безгранично преданного якобинцам генерала[13]. В Совете пятисот он занимал самые крайние позиции. Он был не прочь пе-

рейти от слов к делу и зондировал Бернадота — не пора ли создавать правительство якобинских генералов?

Сиейес приглядывался к этим генералам с опаской. Он не решался с ними ссориться в открытую, но исподволь подготавливал отставку Бернадота. Сиейес не терял также из поля зрения Лафайета; в этом генерале не без оснований он видел не менее опасного конкурента. Бывший «герой Нового и Старого Света», проживая за границей, поблизости от Франции, время от времени через своих эмиссаров напоминал о себе. Он терпеливо ожидал, когда его призовут спасать страну,— он уже готовился въехать на белом коне в Париж[14].

Всем этим опасным соперникам Сиейес спешил противопоставить иную фигуру: он решил ходить с короля. Наиболее подходящим исполнителем своих тайных замыслов Сиейес считал генерала Жубера.

Бартелеми-Катрин Жубер даже в блестящем созвездии полководцев революционной эпохи выделялся как исключительно яркое дарование[15]. Ровесник Наполеона Бонапарта, он не имел в отличие от него никакого военного образования. Он был студентом факультета права Дижонского университета, когда началась война. Ему минуло двадцать два года, и первые призывные звуки горна, трубившего сбор, привели его в батальоны волонтеров. Студент, вступивший в армию добровольцем, должен был начинать службу с низших чинов. Нужно было обладать особой храбростью, талантом, чтобы в три-четыре года пройти путь от рядового до генерала. В 1795 году Жубер был произведен в бригадные генералы. В итальянской кампании Жубер отличился в сражениях при Лоди, Кастильоне, в знаменитой Аркольской битве. Но свой военный талант он полностью обнаружил в битве при Риволи. Бонапарт высоко оценил роль Жубера в сражении при Риволи[16]. Не случайно он поручил ему самую трудную — заключительную — операцию в кампании. На Жубера была возложена задача — командуя группой войск (три дивизии общей численностью шестнадцать тысяч), наступая с юга через Альпы, нанести удар по Вене.

Переписка Жубера с отцом — один из ярких памятников эпохи — показывает, что двадцатисемилетний полководец вполне отдавал себе отчет в трудностях этого беспримерного похода[17]. Но те же письма Жубера свидетельствуют о его решимости преодолеть все пре-

пятствия. Через ледники и горные перевалы, продвигаясь вперед и сокрушая врага, Жубер прошел через Тироль и выполнил поставленную перед ним задачу. С этого времени имя Жубера стало произноситься почти так же, как имена Бонапарта, Гоша, Марсо, Дезе: эти имена были славой Франции. Жубер стал подниматься по иерархической лестнице — он последовательно занимал должности губернатора Венеции, главнокомандующего армией в Голландии, главнокомандующего армией в Италии, наконец, командующего 17-й армией, то есть Парижским гарнизоном.

У Жубера имелись основания быть недовольным Директорией. Ее мелочная опека, ее вмешательство в распоряжения генерала раздражали его. К тому же он был молод, дерзок, самонадеян; необычность судьбы, превратившей бедного студента в прославленного полководца Республики, кружила голову: ему могло представляться, что все ветры мира надувают поднятые им паруса. Нашептывания Сиейеса были услышаны. Жубер дал понять, что он не против изменения порядка в стране. Ему приписывали слова: «Мне, если только захотеть, достаточно двадцати гренадеров, чтобы со всем покончить»[18]. Хотя в переговорах между директором и генералом не все остается полностью выясненным, можно считать установленным, что к весне 1799 года Сиейес и Жубер договорились[19]. Это был план переворота 18 брюмера, задуманный несколькими месяцами ранее и с другими участниками. К чему должен был привести государственный переворот? К восстановлению монархии? К авторитарной республике? Это еще не было ясно.

Однако непредвиденные внешнеполитические осложнения заставили внести в этот план существенные поправки. В войну вступила Россия. Летом положение на фронтах резко ухудшилось. 15 апреля прибывший в Валеджо Суворов принял командование союзными — русскими и австрийскими — войсками в Италии. Через четыре дня армия выступила в поход. 26—28 апреля в сражении на реке Адда Суворов нанес поражение французской армии генерала Моро, на следующий день он вступил в Милан.

Стремительным маршем продвигаясь с востока на запад Италии, Суворов, или, как называли его французы, Souvaroff, отбрасывал откатывавшиеся под его

ударами французские войска. В конце мая союзные армии под командованием Суворова вступили в Турин, овладели крепостями Пескьера, Касале, Валенца. 18—19 июня в сражении на реке Треббиа Суворов разбил армию Макдональда[20].

Плоды кампании 1796 года, все достигнутое ценой огромного напряжения было потеряно в два-три месяца. Смятение в Париже нарастало. Хотя правительственная печать скрывала действительное положение на фронтах *, вести о поражениях французских войск проникали в столицу. Сиейес отдавал себе отчет в том, что намеченный переворот не может быть осуществлен до тех пор, пока Франция не будет вновь озарена победой французского оружия. Жубер, раньше чем выполнить роль Монка, должен был предстать перед страной в роли спасителя отечества.

6 июля в печати было объявлено, что генерал Жубер назначен командующим итальянской армией[21]. Молодой генерал рвался в бой, он горел нетерпением Ахиллеса, он жаждал скрестить оружие с непобедимым Суворовым. Накануне отъезда в армию он справил пышную свадьбу. Прощаясь с женой, он обещал скоро вернуться — победителем или мертвым.

4 августа Жубер прибыл в армию и сразу же отдал приказ двигаться вперед. Через десять дней, 15 августа, он увидел перед собой у Нови русскую армию во главе с Суворовым.

На рассвете завязалось сражение. В самом начале битвы, в первые же ее минуты, Жубер, мчавшийся на коне навстречу врагу, был сражен — убит наповал шальной пулей. Для хода и исхода сражения при Нови смерть Жубера не имела того решающего значения, которое ей потом пытались придать. Сразу же после гибели Жубера командование взял в свои руки генерал Моро — полководец первоклассного дарования, ни опытом, ни талантом не уступавший Жуберу. Моро сделал все возможное, чтобы выиграть сражение, но изменить ход битвы он не мог. Суворов нанес страшный, сокрушительный удар противнику. Французская армия

* Даже через две недели после поражения при Треббии газеты сообщали мифические сведения о том, что русско-австрийская армия окружена войсками французов («Moniteur» N 284, 14 messidor (2 juillet 1799)).

при Нови понесла поражение и должна была спешно отступать за Апеннины.

Жубер выполнил свое обещание: он скоро возвратился в Париж — возвратился мертвым. Его похоронили с величайшими почестями[22]. Но шпаги, на которую рассчитывал Сиейес, больше не было.

А между тем положение Республики день ото дня становилось все более угрожающим. Страшное поражение, нанесенное Суворовым под Нови, породило смятение, почти панику. С часу на час ожидали вторжения русских армий во Францию. На юге страны предприимчивые люди спешно выучивали фразы на русском языке. В Марселе женщины вводили новые моды — шляпы а-ля Суворов. Вступление русских казалось неотвратимым.

В это время пришло известие, что англо-русская армия под командованием герцога Йоркского высадилась в Голландии. Флот Батавской республики не только не преградил дорогу вражеским силам, готовившим десант, но и сложил оружие и перешел на сторону врага. Вслед за итальянскими республиками, уничтоженными второй коалицией, пришла пора гибели Батавской республики. Вся система дочерних республик рухнула. В Париже со страхом ожидали движения англо-русских войск из Голландии в Бельгию, а оттуда во Францию.

В западных департаментах вновь вспыхнуло восстание шуанов. Имена Жоржа Кадудаля, Фротте были у всех на устах; страх преувеличивал действительные размеры движения. В испуганном воображении шуаны превращались в неодолимую силу[23]. Во всех департаментах — на севере и на юге, на западе и на востоке — орудовали разбойники, бандитизм принял неслыханные размеры. Коммуникации были нарушены. Почтовые кареты ездили только засветло, но и это не гарантировало от нападения.

Французские армии терпели поражения и отступали под ударами соединенных сил коалиции. Казалось, Франция возвращается к грозным дням июня — июля 1793 года. Но тогда Республику возглавляло сильное правительство, сплотившее нацию для отпора интервентам. Осенью 1799 года правительственная власть была почти иллюзорной. Правительство Директории было не только окружено всеобщим презрением — оно само себя чувствовало настолько беспомощным, что ис-

кало любой возможности поскорее спихнуть кому-нибудь власть, каким угодно способом сойти со сцены.

Стендаль утверждал, что Баррас сторговался с агентами Людовика XVIII об условиях, на которых он передал бы Бурбонам власть. Об этом же говорили с разной степенью определенности Гойе и другие современники[24]. Сам Баррас, не отрицая фактов переговоров с претендентами на трон, уверял, что по поручению Директории он старался выведать намерения Бурбонов[25]. Этих свидетельств недостаточно, чтобы считать вопрос выясненным, но сама по себе эта версия представляется вполне правдоподобной.

В близких к правительству кругах поговаривали о желательности приглашения кого-либо из немецких принцев. Называли Людвига-Фердинанда Прусского и даже, шепотом, герцога Брауншвейгского.

В письме от 20 сентября 1799 года, поступившем в Петербург из Парижа от двух роялистов, пожелавших скрыть свои имена, сообщалось, что в ночь с 15 на 16 сентября в Директории состоялось совещание, в котором помимо пяти директоров участвовали все министры, десять генералов и двадцать депутатов Советов, и «что все единодушно пришли к убеждению, что далее невозможно сохранять Республику и что, следовательно, необходимо заняться восстановлением монархии и решением вопроса о монархе. Одни предлагали младшего принца Орлеанского, другие — испанского инфанта, третьи — герцога Йоркского, иные — герцога Брауншвейгского. Сиейес, который, как президент Директории, заключал последним, убеждал совещание, что единственный способ достичь мира — это пригласить законного монарха, что могущественный Павел I это всегда бы поддержал без слов и что без Людовика XVIII войны и волнения будут бесконечны»[26].

В другом сообщении, от 22 сентября того же года, поступившем в Петербург из Парижа, говорилось, что «план аббата Сиейеса — посадить на трон герцога Орлеанского». Когда еще он был в Берлине посланником, он познакомил с этим проектом прусского короля, который его одобрил, выдвинув ряд дополнительных условий (в том числе назначение герцога Брауншвейгского генералиссимусом всех армий). Однако, узнав, что этот проект просочился в публику, говорилось далее

в сообщении, Сиейес «стал распространять сведения, что он хочет предоставить трон Людовику XVIII...»[27].

Конечно, к этим донесениям нужно отнестись критически, и трудно установить, какую долю истины они отражают. Однако сами эти донесения из Парижа весьма симптоматичны, они перекликаются с другими, сходными по содержанию свидетельствами[28].

Сиейес с прежней озабоченностью и настойчивостью продолжал поиски шпаги, которая служила бы его целям. Он подумывал о Макдональде, но тот был слишком скомпрометирован поражением при Треббии. Он вел переговоры также с Моро, но этот генерал всегда уклонялся от чисто политических акций. Через Жозефа Бонапарта было отправлено даже частное письмо генералу Бонапарту в Египет: ему рекомендовалось вместе с армией поскорее возвращаться назад[29]. Впрочем, это послание практических последствий не имело хотя бы потому, что не дошло до адресата.

Военные поражения осенью 1799 года сделали лишь явным, как бы озарили зловещим светом проигранных битв и пожарищ то, что осознавалось ранее: глубокий, неизлечимый недуг, полное разложение режима. Откуда шла опасность? Феликс Лепелетье на заседании Клуба якобинцев в термидоре VII года утверждал, что защитников Республики душат две фракции: «С одной стороны, воры, с другой — изменники, предавшие родину европейским королям»[30]. Это определение вряд ли было исчерпывающим и точным. Кризис был глубже. Сама ткань, казалось, начинала расползаться. Государственная власть обнаруживала полную несостоятельность, она оказывалась неспособной функционировать. Когда Журдан, по-прежнему прибегавший к якобинским жестам 1793 года, на заседании Совета пятисот 27 фрюктидора (13 сентября), нарисовав устрашающую картину бедствий, внес предложение объявить «отечество в опасности», этот призыв к мобилизации национальной энергии повис в воздухе[31]. После долгих прений, поставленный на поименное голосование, он был отвергнут двумястами сорока пятью голосами против ста семидесяти одного. Каковы бы ни были мотивы, побуждавшие отвергать предложение Журдана, само голосование было знаменательным: оно показывало, как жестоко был поражен параличом общественный организм[32].

И вдруг в момент полного самоуничижения и растерянности неожиданно стали поступать утешительные известия с фронтов. Вступление Суворова во Францию, считавшееся после Нови неотвратимым вопросом дней или даже часов, не произошло. Шел день, второй, третий; проходила неделя, вторая, а неминуемая катастрофа все не наступала. Тогда стали протирать глаза и оглядываться по сторонам... Что же случилось?

Через какое-то время стало известно, что опасность отодвинулась. Суворов, имевший все возможности реализовать блистательную победу при Нови, на другой же день после сражения получил предписание вместо преследования отступавшей армии Моро идти в Швейцарию. Австрийский гофкригсрат, который в действительности был едва ли не более опасным противником Суворова, чем французы, сумел настоять на новом плане ведения войны. Италию, освобожденную русским оружием, австрийцы взяли на свое попечение, Суворову же было поручено освобождать Швейцарию. Напомним суждение Клаузевица в связи с анализом похода Суворова через Сен-Готард: «...в течение целых 14 дней с часу на час увеличивалось в нем чувство недовольства и отвращения к австрийцам как в отношении их честности и доброй воли, так и в отношении их способностей и ума»[33].

Легендарный поход Суворова через Альпы широко известен. Австрийская армия эрцгерцога Карла, с которым Суворов должен был соединиться в Швейцарии, не вынужденная к тому необходимостью, поспешила ретироваться до прихода русских. Разделавшись с австрийцами, Массена обрушился против армии Римского-Корсакова, нанес ей урон и принудил к отступлению. Армия Суворова оказалась в критическом положении. Теперь не Суворов угрожал Франции, он сам вследствие бездарности или вероломства австрийских союзников оказался в мышеловке, из которой, казалось, не было выхода.

Но для Суворова не существовало невозможного. Он пробился сквозь вражеское окружение в непроходимых, обледеневших горах и сверхчеловеческим напряжением сил, сметая преграждавшие путь вражеские полки, перевалил через Альпы и спустился в предгорья Баварии. Рассерженный вероломством австрийцев, Павел I приказал русским войскам возвращаться на родину.

Выход России из войны резко менял всю ситуацию. Еще ранее Брюн сумел остановить объединенные силы герцога Йоркского. Теперь, после того как русские вышли из драки, англичане должны были сами думать об отступлении. Австрийцы давно уже не были опасными противниками. В Париже снова могли вздохнуть спокойно. Военное счастье опять улыбалось Франции. В конце сентября тема военной опасности сошла со страниц газет.

После только что пережитого испуга, более того — паники, всеобщей растерянности, все чувствовали себя немного неловко: надо же было показать себя такими слабонервными! И все-таки ощущение общего неблагополучия, далеко зашедшей болезни не проходило. Аплодировали поступавшим сообщениям о новых военных победах, но без искреннего воодушевления. Победы! Еще победы! Конечно, это хорошо, но ведь от поражения избавились благодаря выходу России из войны.

И вот в эту неясную, смутную пору соединившихся вместе, как бы смешавшихся чувств облегчения и непреодолимой тревоги пришло известие о возвращении генерала Бонапарта во Францию, о том, что он высадился 17 вандемьера (9 октября) один, без армии в Сен-Рафаэле, близ Фрежюса.

Директория уведомила об этом Совет пятисот в выражениях, которые не могли не казаться странными. В конце длинного сообщения, начинавшегося с донесений генерала Брюна о его успехах, говорилось: «Директория имеет удовольствие сообщить вам, граждане представители, что получены также известия о египетской армии. Генерал Бертье, высадившийся 17 сего месяца во Фрежюсе вместе с главнокомандующим генералом Бонапартом и генералами Ланном, Мармоном, Мюратом и Андреосси и гражданами Монжем и Бертолле, сообщает, что они оставили французскую армию во вполне удовлетворительном состоянии»[34]. Собственно, это было сообщение о прибытии генерала Бертье и разве еще о том, что пять генералов (Бонапарт в их числе) и двое ученых находят состояние французской армии в Египте вполне удовлетворительным. Действительно, странное сообщение! Поди разберись, что в нем главное и как оценивать это возвращение на родину.

Известие о прибытии Бонапарта во Францию обратило на себя внимание и за пределами Республики.

«Санкт-Петербургские ведомости» отметили это событие и воспроизвели своеобразный текст сообщения Директории, заметив и то, что Директория сообщила о прибытии Бонапарта «между прочим»[35]. Известие о возвращении Бонапарта напечатали и «Московские ведомости»[36].

Неясность правительственного сообщения была, конечно, не случайной. Директория не в состоянии была сразу определить отношение к генералу, самовольно вернувшемуся без армии во Францию. На заседании Директории, по существующей версии, Сиейес поставил прежде всего вопрос о том, что генерал вернулся без разрешения правительства. Мулен сделал из этого заключения логический вывод: главнокомандующий египетской армией, следовательно, должен быть осужден как дезертир. Буле де ла Мерт продолжил этот ход рассуждений: «Ну что же, я готов лично разоблачить его завтра с трибуны и объявить вне закона». Сиейес заметил, что «это повлечет за собой расстрел, что существенно, даже если он его заслужил».

На Буле де ла Мерта эта реплика не произвела никакого впечатления. «Это детали, в которые я не желаю входить. Если мы объявим его вне закона, будет ли он гильотинирован, расстрелян или повешен — это лишь способ приведения приговора в исполнение. Мне наплевать на это!»[37]

Но эта храбрость господ директоров оказалась недолгой. А как отнесутся к возвратившемуся генералу депутаты Совета пятисот? А народ? А армия? Было над чем поразмыслить. От крайних решений отказались очень быстро. В конце концов после долгих колебаний путь на эшафот решили заменить церемонией торжественного приема победоносного генерала. Об армии, брошенной в Египте, было сочтено более благоразумным не спрашивать.

Газеты в течение некоторого времени уделяли внимание генералу Бонапарту. Сообщались подробности о его рискованном путешествии, о его внешнем виде, о том, кому и когда он нанес визиты, было обращено даже внимание на то, что в ходе бесед он больше спрашивает, чем говорит сам[38]. Потом и эта тема сошла со страниц газет. Она утратила интерес новизны.

Жизнь шла своим чередом; она приносила радости и огорчения, успехи и неудачи. Газеты сообщали о по-

бедах армии генерала Брюна, о капитуляции англичан в Батавии, о вторжении банд роялистов в Нант, о поэме в четыреста строк александрийского стиха, сочиненной гражданином Кюбьером, о новой опере «Эмма, или Подозрение» (текст Марсолие, музыка де Фе), поставленной на сцене театра Фейдо[39].

Жизнь шла своим чередом. Париж жил, казалось, прежней, обычной жизнью. Но чувства тревоги, неуверенности, опасений, чего-то еще неясного овладевали обитателями города. Сумерки сгущались над Парижем, над страной...

Год шел к концу. Век шел к концу. Заканчивалось восемнадцатое столетие.

Этот удивительный век — «великий век», как его называли недавно,— рождал столько надежд, столько ожиданий. Счастливое поколение — оно шло навстречу величайшим событиям — так говорили в начале века. Еще десять лет назад, в 1789 году, небо над Францией было окрашено в розовый цвет зари.

А теперь у всех на устах были два слова — «конец века» (fin du siècle). И это означало не только счет календаря, он был не так уж важен, ведь в стране действовало новое, созданное революцией летосчисление; шел VIII год — это означало совсем иное. Кончался век, и с ним уходили рожденные им надежды... Было сумеречно, и будущее, открывавшееся за гранью столетия, представлялось неразличимым, неясным, темным.

Политический кризис, достигший в августе — сентябре 1799 года наибольшей остроты, к началу октября смягчился. С улучшением положения на фронтах изменилось и внутреннее состояние Республики. Казалось, жизнь входила в свои берега: она возвращалась к ставшим привычными дрязгам и мелким политическим трениям режима Директории. Но это очевидное, заметное каждому смягчение политической атмосферы отнюдь не означало преодоления кризиса. Да его и нельзя было преодолеть, потому что это был не преходящий, порожденный частными причинами кризис, а глубокий, коренящийся в самих основах общества кризис режима.

Термидорианский режим, существовавший пять лет в форме ли термидорианского Конвента или Директо-

рии, себя уже изжил. Беда была не только в том, что в Республике, возглавлявшейся в свое время политическими деятелями такого масштаба, как Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст, власть оказалась в руках людей совсем иного сорта. То были алчные казнокрады и взяточники, прожигатели жизни, без убеждений, без идей, покрытые грязью и кровью вроде Барраса, или мыльные пузыри, как выступавший воро́ной в павлиньих перьях, важничающий Сиейес, или откровенные посредственности — все эти мулены, гойе, роже-дюко.

Бальзак, воссоздавая картину событий 1799 года, писал: «Декреты Республики уже не опирались на идеи, обладавшие великой моральной силой, на патриотизм или террор, которые когда-то заставляли выполнять их,— на бумаге создавались миллионы франков и сотни тысяч солдат, но ни деньги не поступали в казну, ни солдаты — в армию. Пружина революции ослабла в неумелых руках, и законы, вместо того чтобы подчинить себе обстоятельства, приспособлялись к ним»[40].

На поверхности все оставалось по-прежнему. Франция была республикой, сохранялся введенный революционный календарь. Счет шел от памятного дня заседания Конвента, декретировавшего уничтожение монархии. Уже давно сошли с политической сцены творцы этого декрета: друзья и враги, они сложили головы кто на эшафоте, кто на поле боя. А счет, начатый с первого дня первого года Республики, продолжался. Седьмой год Республики — единой и неделимой. Восьмой год. Девятый...

На официальных правительственных бумагах попрежнему изображалась в широком овале женщина с копьем, увенчанная фригийским колпаком; ее правая рука опиралась на секиру; то было изображение Республики. На фронтонах правительственных учреждений, в документах, говорящих от имени Республики, оставалось: «Свобода, Равенство, Братство». Но эти слова, недавно одушевленные большим, волнующим содержанием, теперь утратили былое значение. Слова стерлись, поблекли, они были мертвы.

Пять лет правления термидорианцев привели страну к состоянию почти неизлечимого недуга — расстройству экономики, финансов, общему развалу административного организма, систематическим нарушениям кон-

ституционных основ, беззаконию, произволу, глубокому общественному недовольству, всеобщему разочарованию.

В основе кризиса лежало недовольство всех основных классов господством захватившей и удерживающей власть термидорианской клики.

Режим Директории сохранялся лишь благодаря антиконституционным насилиям, возведенным в систему. 18 фрюктидора, 22 флореаля, 30 прериаля — эти попеременные удары то направо, то налево искусственно продлевали существование Директории. «Горе! Горе стране, которую ежедневно спасают!»[41] — восклицала мадам де Сталь. Но Директория выражала не интересы страны, а интересы клики, она спасала не страну, а себя. К исходу 1799 года власть Директории представляла собой не интересы широких кругов общества и даже определенного класса, а интересы котерии. Политически это была все та же группа так называемых правых термидорианцев, которые, балансируя с помощью «системы качелей» то вправо, то влево, сумели удержаться у власти. Социально эта клика представляла собой преимущественно новую спекулятивную буржуазию, разбогатевшую всеми правдами, а больше неправдами за годы революции, и тесно связанную с ней часть бюрократического аппарата. С равным ожесточением и злобой они огрызались на противников слева и справа и наносили им разящие удары. В их послужном списке числились и казнь Людовика XVI, и убийство Робеспьера. Они праздновали и день 14 июля, и день 9 термидора, поэтому они решительно пресекали всякие попытки наступления и роялистов и якобинцев. В течение пяти лет они удерживали власть. Но, не имея ни идеалов, ни идей, ни политических целей, ни государственной программы — ничего, кроме нежелания выпустить захваченную добычу, они постепенно восстановили против себя все общественные силы и лишились классовой опоры в стране.

Плебейство, рабочие, городская и сельская беднота, которых они обрекли на величайшую нужду и политическое бесправие, их ненавидели. Но после подавления народных восстаний в жерминале и прериале, после казни Бабёфа и разгрома движения «равных» социальные низы были обессилены и не способны на самостоятельные активные выступления. Народ безмолвст-

вовал — это было верно. Но известное выражение Редерера: «Народ подал в отставку» — было по меньшей мере неточно. Не народ подал в отставку — народ уволили в отставку. Пять лет ему зажимали рот, теперь он молчал. Но народ составлял, так сказать, потенциальный резерв демократической оппозиции. Сама же оппозиция из слоев низшей и средней буржуазии, продолжавшей оставаться весьма активной, поставляла кадры неоякобинцев 98—99 годов, заметно усиливших свои позиции в месяцы военных неудач. Новый якобинский клуб «Общество друзей равенства и свободы», начавший с первой декады июля заседать в здании манежа, приобрел большое влияние. Неоякобинцам удалось через Совет пятисот провести законы о свободе печати, о принудительном займе у состоятельных граждан, о заложниках; они пытались вернуть Республику к революционным законам 1793 года. Но качание маятника влево привело к немедленному отклонению его вправо. Фуше, назначенный министром полиции и инспирируемый Сиейесом, 26 термидора (13 августа) попросту закрыл Клуб якобинцев, и эта насильственная мера была принята без возражений. Неоякобинцы не могли или не хотели опереться на массы и выйти за рамки парламентских форм протеста. Они оставались конституционной оппозицией.

Но против режима Директории выступила и оппозиция справа — крупная буржуазия, ставшая после термидора ведущей силой и поддерживавшая вначале термидорианцев, теперь от них отворачивалась. Режим Директории стал неприемлем для крупной буржуазии прежде всего потому, что он защищал интересы узкой клики, а не буржуазии в целом. Когда же еще обнаружилось, что клика не способна обеспечить стабильность и порядок в стране, что она привела государство к хаосу и упадку, режим Директории стал нетерпим. Требование порядка, буржуазного порядка конечно, становилось главным лозунгом всех собственнических элементов.

Госпожа де Сталь, эта истинная «директриса партии конституционалистов», по выражению Эдуарда Эррио[42], и в литературных сочинениях, и в гостиной своего салона проповедовала установление либерально-буржуазной республики собственников по образу Соединенных Штатов Америки[43]. К консервативной республике,

как уже говорилось, призывал Сиейес. Выступая на торжествах на Марсовом поле по случаю пятилетия дня 9 термидора, Сиейес обещал народу «спокойное и твердое применение закона... свободу... безопасность, гарантию собственности»[44]. Это и была «республика порядка», «власть нотаблей», к которой стремились «деловые люди». Порядок, стабильность, прочные устои, гарантирующие от опасности слева и от роялистских поползновений справа, считались необходимым условием для возобновления нормальной экономической деятельности, для возрождения хозяйственной инициативы, для полнокровной жизни общества.

Бенжамен Констан еще в 1795 году, приехав в Париж, проницательно заметил, что «здесь... хотят порядка, мира и республики»[45]. «Здесь» — это означало в салонах и гостиных крупных буржуа, в обществе которых вращался Констан. Но за минувшие с тех пор четыре года эти желания превратились в настоятельную необходимость. Кризис 1799 года — военные поражения и страх перед возрождением режима Комитета общественного спасения — заставлял «деловых людей» торопиться. «Порядок», «твердая власть», «власть нотаблей» — за всеми этими требованиями скрывалось главное — стремление к установлению диктатуры буржуазии.

В значительной мере те же настроения были присущи и созданному революцией классу крестьян-собственников. Конкретно-исторически эта тема остается неизученной, и здесь приходится больше прибегать к догадкам, чем утверждать с определенностью. Все же, не рискуя ошибиться, можно сказать, что крестьяне, желавшие спокойно воспользоваться плодами приобретенного, требовали порядка и стабильности. Атмосфера ажиотажа, неустойчивых цен, колебаний политики то вправо, то влево была не по нутру крестьянам, противоречила их интересам, их склонности к накоплению, порождала чувства неуверенности в завтрашнем дне и неудовлетворенности сегодняшним.

Так основные классовые силы общества и справа и слева открыто выражали свое недовольство режимом Директории, политикой термидорианцев. Хронические, ставшие как бы закономерными поражения правительственных кандидатов на выборах в законодательные органы были внешним выражением прогрессирующей

социальной изоляции режима Директории. Но так как исторический опыт — пять лет господства термидорианцев — убедительно показал, что отсутствие социальной поддержки Директория заменяет применением насилия над конституцией, попранием законов, что она поддерживает свою власть с помощью армии, то в рядах ее противников также укрепилась мысль, что и изменение режима возможно лишь теми же средствами, той же вооруженной силой — армией.

Мысль эту отчетливо усвоили все противники режима Директории — слева и справа. Предпринятая бабувистами попытка восстания в Гренельском лагере в 1796 году, недодуманные до конца планы Журдана, Бернадота и других неоякобинцев о создании якобинско-генеральского правительства в 1799 году показывали, что в лагере левых общественных сил понималось значение армии для решения спорных проблем политической борьбы. Но общее соотношение классовых сил в стране в послетермидорианский период было неблагоприятным для левых сил. Классом, шедшим к власти, призванным занять командные позиции, в то время была буржуазия, и самая сильная и богатая ее часть — крупная буржуазия. Теперь, когда героический период революции остался позади, оборванный термидором, когда миновала пора неистовств термидорианцев и «буржуазной оргии» Директории, теперь наступала эпоха собственно господства буржуазии. Она шла к власти, она торопилась установить свой порядок.

Появление Сиейеса — идеологически, политически, как угодно, представлявшего именно крупную буржуазию,— в Люксембургском дворце и означало стремление крупной буржуазии установить свою власть. Этот старый ворон для того и прилетел, чтобы прокаркать: пора, пора, пора устанавливать буржуазный порядок.

Но история почти никогда не идет прямыми дорогами. И Сиейес, оказавшись в Люксембургском дворце, при всем самомнении быстро понял, что при существующем зыбком и неустойчивом соотношении политических сил, своеобразном колеблющемся равновесии мечты его класса о порядке невозможны без применения того же ставшего необходимым средства — без вооруженной силы, без армии.

«Мне нужна шпага»,— повторял Сиейес, и эта мечта о шпаге, даже более того — практические поиски шпаги

стали в сущности политической программой крупной буржуазии в 1799 году. Конкретно это означало, что в повестку дня был поставлен государственный переворот, ликвидирующий режим Директории и устанавливающий с помощью шпаги буржуазный порядок в стране.

Альбер Вандаль, автор «Возвышения Бонапарта», писал: «Бонапарт вернулся с твердым намерением покончить с Директорией и овладеть властью»[46]. Это звучало безапелляционно, но между тем Вандаль, так сказать основоположник этой исторической версии, не приводил никаких фактов в ее подтверждение.

Научный авторитет Вандаля был так велик, что эта декларированная им версия вошла как непреложная истина в науку. Вслед за Вандалем ее повторил Е. В. Тарле[47], затем Луи Мадлен[48]; в наши дни ее повторяет вновь Андре Кастело[49].

Однако изучение вопроса по первоисточникам не подтверждает эту версию.

Когда в начале августа 1799 года Бонапарт в Египте принял решение покинуть армию — оставить ее под командованием Клебера, а самому с ближайшими помощниками пробираться через Средиземное море во Францию, он шел на риск.

Риск был для него делом привычным, он был неотделим от его профессии полководца, он был свойствен его характеру; он представлялся ему естественным, почти необходимым в каждом серьезном деле. Но как человек трезвого, ясного ума, он привык дозировать, взвешивать элементы риска, следить за тем, чтобы они не превышали допустимую норму, не превращали возможный риск в безответственную авантюру. И именно поэтому Бонапарт в Египте не мог не видеть, что на сей раз риск был бесконечно велик.

Риск был двояким. Прежде всего после того, как Нельсон уничтожил при Абукире французский флот и взял полностью в свои руки контроль над Средиземным морем, над всеми коммуникациями, потенциально соединявшими запертую в Египте французскую армию с внешним миром, не было почти никакой вероятности проскользнуть мимо сторожевых кораблей английского флота незамеченным. Английские корабли под непо-

средственным командованием Сиднея Смита, на которого Нельсон возложил эту задачу, сторожили французскую армию; не спеша, терпеливо они патрулировали вдоль берегов, не давая выйти из устьев Нила ни одному французскому суденышку, ни одной лодке.

Трезво взвешивая все обстоятельства, снова и снова проверяя всю информацию о дислокации английских кораблей, о порядке патрулирования их вдоль берегов, Бонапарт убеждался в том, что шансы любого французского корабля пройти незамеченным бесконечно малы, ничтожны, не больше одного из ста. Попасть в плен к англичанам ни в малой мере не соответствовало намерениям Бонапарта; в любом варианте это означало бы для него гибель, конец... И все-таки он должен был идти на риск.

Но риск был еще и в другом... Как профессиональный военный, как офицер, выучивший уставы, Бонапарт знал, что без приказа свыше он не имеет права покинуть пост, оставить порученную ему армию *. Ежели бы его подчиненный, полковой командир самовольно оставил полк, он бы его предал военному суду. Не вправе ли так же поступить с ним военный министр, правительство? Не предадут ли они попросту его военному суду за дезертирство?

Еще ранее, в феврале 1799 года, когда до него дошли впервые известия о том, что складывается новая коалиция и надвигается война, он в официальном письме исполнительной Директории поставил вопрос о своем возвращении во Францию[50]. Его демарш остался без ответа. Следовательно, он не получил разрешения возвращаться в Париж. Самовольно покидая вверенную ему армию, генерал нарушал дисциплину. Не обвинят ли его в том, что он повторяет путь Лафайета и Дюмурье? Риск был несомненным. Он был почти столь же значителен, как в первом случае. Но у Бонапарта не было выбора, у него не было альтернативы.

Верно то, что, когда к Бонапарту попали не без умысла пересланные Сиднеем Смитом генералу Мену газеты «La Gazette de Francfort» и «Courrier français de

* На острове Святой Елены Наполеон пытался представить дело так, что при отъезде в Египет он получил от правительства неограниченную свободу решений (*Napoléon I.* Campagnes d'Egypte et de Syrie.— Corr., t. 30, p. 81). Однако это утверждение, как и многие другие, было продиктовано желанием оправдать свои действия.

Londres» от мая и июня 1799 года с сообщениями о французских поражениях в Италии, о победном движении Суворова, он пришел в ярость. Верно и то, что сразу же после длительной беседы один на один с Бертье Бонапарт в разговоре с Бурьенном и Мармоном заявил о своем намерении возвращаться во Францию и отдал распоряжение о необходимых приготовлениях к отъезду[51].

Все это так. Вместе с тем представляется несомненным, что полученные известия дали Бонапарту лишь необходимый благовидный предлог для давно зревшего решения, продиктованного необходимостью. Бонапарт давно уже искал подходящий повод, чтобы бежать из Египта. Он искал этот повод потому, что еще ранее понял, и не мог не понять — это было самоочевидно, что дальнейшее пребывание в Египте вело его с неотвратимостью к гибели. С тех пор как французская армия оказалась отрезанной от метрополии, то есть с 1 августа 1798 года, когда французский флот был уничтожен, а затем когда сирийский поход закончился полной неудачей, он отчетливо понимал, что египетская кампания проиграна.

Конечно, главнокомандующий египетской армией не мог сказать об этом ни своим солдатам, ни офицерам. Напротив, он старался, как свидетельствует Мармон, поднять их дух. «Надо поднять голову выше ветров бури, и ветры будут укрощены»,— говорил он. Он напоминал, что Египет был в свое время могущественной державой и что при современной науке, знаниях, технике можно во многом приумножить могущество этого государства[52]. Но себя самого он не мог обмануть. Он мог одерживать блистательные победы над противником, мог слать в Париж реляции об успехах[53] (хотя после катастрофической неудачи у Сен-Жан д'Акра и вынужденного отступления из Сирии они становились все сомнительнее), мог добиваться новых частичных побед *, но все это не меняло сути дела. Бонапарт должен был признаться самому себе в том, что ни одна из одержанных им побед и все они вместе в создавшихся после Абукира и сирийского отступления условиях,

* 25 июля французы одержали победу над турками под Абукиром, и Бонапарт в донесениях Директории всемерно подчеркивал значение этой победы (Corr., t. 5, N 4423, 28 juillet; N 4334, 4 août 1799).

когда армия оказалась полностью отрезанной от Франции, не могут привести к выигрышу.

Армия таяла — от сражений, от чумы, от болезней, от климата. Особенно опустошительные потери принесла чума. Она уносила тысячи жизней, и, несмотря на все принимаемые командованием меры, остановить эту смертоносную эпидемию было невозможно. Вести о страшной болезни, косящей французскую армию, проникли в иностранную печать, о ней сообщали русские газеты[54].

В завоеванных землях Египта Бонапарт не нашел поддержки ни у одной социальной группы местного населения. Он мог рассчитывать только на силу оружия. Но, несмотря на жестокие репрессии французских войск, а может быть вследствие их, восстания арабских племен разгорались все сильнее. В бесконечных сражениях с восставшими французская армия несла урон[55]. Бонапарт продолжал слать победные донесения Директории. Но он знал, что численный состав армии намного сократился и в перспективе потери должны были возрастать. Возглавляемая им армия шла к катастрофе, которую можно было ценой жертв и усилий отсрочить, но нельзя было избежать. И какие бы варианты он ни прикидывал, итог оставался одним и тем же: кампания проиграна, армия идет к гибели, и Египет придется очищать, и спасения от этого нет.

Существует документ, давно известный науке, но на который почти не обращали внимания. Это инструкция Бонапарта генералу Клеберу, назначенному им главнокомандующим Восточной армией, от 4 фрюктидора VII года (22 августа 1799 года), переданная ему уже после того, как корабль увозил во Францию Бонапарта[56].

В этой инструкции Бонапарт сначала успокаивает Клебера: он уверяет, что нет сомнений в том, что прибытие французской эскадры из Бреста и испанской эскадры в Карфаген обеспечит армию в Египте ружьями, военным снаряжением и живой силой, «достаточной для восполнения потерь».

Но сразу же вслед за этой утешительной перспективой Бонапарт переходил к главному: «Если же вследствие неисчислимых непредвиденных обстоятельств все усилия окажутся безрезультатными и вы до мая месяца не получите ни помощи, ни известий из Франции и если,

несмотря на все принятые меры, чума будет продолжаться и унесет более полутора тысяч человек... вы будете вправе (Vous êtes autorisé) заключить мир с Оттоманской Портой, даже если главным условием его будет эвакуация Египта»[57].

В этих двух последних словах и было главное. Дав полномочия Клеберу заключить с Турцией мир на условиях эвакуации Египта, Бонапарт тем самым признавал, что кампания проиграна. В сущности все остальное не имело значения. Во всей этой пространной инструкции, написанной на нескольких страницах и состоящей из многих сотен слов, реальное значение имели только два слова, уничтожающие все остальные: эвакуация Египта.

Бонапарт заставил себя произнести и написать на бумаге эти два так трудно выговариваемых слова. Если надо соглашаться на эвакуацию Египта, то зачем было начинать войну в Египте, к чему все эти жертвы?

Профессиональный долг заставил Бонапарта написать Клеберу — только ему одному, больше никому — эти два жгущих стыдом слова. Бонапарт должен был их написать Клеберу потому, что он перекладывал на него выполнение этой тягостной и унизительной задачи.

Спасти проигранную кампанию было невозможно, но спасти самого себя, бежать от унижения, хотя и с риском, можно было. Бонапарт обманывал Клебера: в приказе, назначавшем Клебера главнокомандующим Восточной армией, Наполеон писал: «Правительство вызвало меня в свое распоряжение»[58]. Это была заведомая неправда: Бонапарт без разрешения правительства оставлял вверенную ему армию. Он бежал из этой обреченной армии, сохраняя для себя лично какие-то шансы. Не случайно Бонапарт, решив передать командование Клеберу, самому сильному и достойному из оставшихся в Египте военачальников *, избегал с ним встреч и передал приказ и инструкции Клеберу через генерала Мену уже накануне отплытия на «Мюироне». Клебер должен был получить их через двадцать четыре часа после отъезда Бонапарта. Почему Наполеон избегал Клебера? Да прежде всего потому, что Клебер не

* Напомним, что остальных лучших генералов — Бертье, Ланна, Мармона, Дюрока, Андреосси — он брал с собой, а Дезе и Жюно приказывал позже отправить во Францию, что было также косвенным доказательством обреченности египетской армии.

захотел бы принять это «высокое назначение»[59], потому что и для него, опытного военачальника, было вполне очевидно тяжелое будущее, ожидающее армию, покидаемую ее главнокомандующим.

Так оно и оказалось в действительности. Известно, что Клебер, получив приказ и узнав о происшедшем, был в бешенстве. В письме Директории 4 вандемьера VIII года (26 сентября 1799 года) он сообщал о крайне тяжелом состоянии армии, которую Бонапарт, «никого о том не предупредив», бросил на него. «Армия раздета, и это отсутствие одежды особенно скверно, потому что в этой стране это является одной из главных причин дизентерии и болезни глаз», от которых страдают солдаты. Бонапарт при своем отъезде не сохранил ни одного су в кассе и оставил неоплаченный долг на сумму около 12 миллионов. Клебер ясно видел безнадежность военных перспектив и, воспроизведя из инструкции Бонапарта главное, что он сразу же понял,— санкцию на эвакуацию Египта, справедливо и горестно добавлял: «Это точно определяет критическое положение, в котором я нахожусь»[60]. О Клебере можно было сказать то же, что и о Нее,— он был «храбрейшим из храбрых»[61]. Он поддерживал в армии образцовый порядок, мужественно сражался и все-таки должен был подписать 24 января 1800 года в Эль-Арише (через пять месяцев после бегства Наполеона) соглашение о перемирии, предусматривавшее эвакуацию французских войск из Египта.

Но это уже представлялось противнику недостаточным. Английское правительство (через адмирала Кейта) отказалось утвердить соглашение в Эль-Арише, оно потребовало безоговорочной сдачи французской армии. Клебер, оказавшись в безвыходном положении, еще раз показал, на что он способен. Он бросился, как лев, на противника и в сражении при Гелиополисе (20 марта 1800 года) разгромил турок и выгнал их из Египта. И все-таки положение французской армии было безнадежным. Клебер был вскоре убит; турки и высадившиеся англичане вновь начали наступление в Египте, обладая огромным численным превосходством, и генерал Мену, возглавив армию, несмотря на все ухищрения *,

* Генерал Мену, не обладавший военным талантом, пытался преуспеть в ином: он принял ислам, женился на египтянке и стал подписываться на документах Абдалла-Мену.

стал терпеть поражения, должен был сдать Каир и Александрию и осенью 1801 года сложить оружие.

Бонапарт с такой поспешностью, с таким азартом ухватился за представившуюся возможность бежать из Египта потому, что он предвидел такой финал затеянной им египетской экспедиции. Повод — сообщение о поражениях французских войск в Европе — оказался для него спасительной находкой.

Знаменательно, что Бонапарт, в начале августа получив газету от 6 июня, то есть почти двухмесячной давности, даже не пытался узнать, что же произошло за минувшие два месяца, каково положение сейчас — в августе 1799 года. Он не старался получить сведения более позднего времени: они ему были не нужны, он не хотел их знать, так как он не мог ставить под сомнение предлог, давший ему видимость морального права покинуть армию. Понятно, что Бонапарт не мог никому на свете, даже самому близкому человеку, поведать те истинные причины, которые побуждали его уходить, вернее, бежать из Египта.

В письмах и документах официального характера, написанных им накануне отплытия, он указывал уважительно звучащий мотив: «повелительный долг» обязывает его вернуться во Францию в связи «с событиями исключительной важности», совершившимися в Европе *[62].

В беседе с близкими ему людьми, теми, кому он доверил сохраняемый в тайне план отъезда,— Мармоном, Бурьенном и другими — он излагал доводы более развернуто. «Положение вещей в Европе обязывает меня принять это важное решение...» — говорил он Мармону и с негодованием клеймил бездарных руководителей, приведших страну к таким потрясениям. «Без меня все рухнуло. Нельзя дожидаться, когда произойдет полное крушение; тогда уже бедствие будет непоправимо... судьба, которая поддерживала меня до сих пор, не покинет меня и сейчас. К тому же надо уметь дерзать: кто не идет на риск, не имеет шансов на выигрыш»[63].

Был ли у Бонапарта тогда, в августе 1799 года, в Египте обдуманный план государственного переворо-

* В приказе по армии он писал более глухо: «Известия из Европы определили мое решение возвратиться во Францию» (Corr., t. 5, N 4380).

та или хотя бы твердая решимость свергнуть Директорию и взять власть в свои руки, как это утверждал Вандаль? Источники это не подтверждают. Конечно, не следует упрощать вещи. Бонапарт был, без сомнения, искренен в негодовании против бездарных правителей Республики. Но и новейшие биографы Наполеона Луи Мадлен или Андре Кастело, придерживающиеся версии Вандаля, не могут привести ни одного достоверного свидетельства, подтверждающего ее. Оба они подкрепляют тезис Вандаля ссылкой на фразу, приведенную Наполеоном в его «Кампании в Египте и Сирии» — работе, продиктованной на острове Святой Елены. Наполеон будто бы сказал перед отъездом Мену: «Я приеду в Париж, я прогоню этих адвокатов, издевающихся над нами и неспособных управлять Республикой, я встану во главе правительства»[64].

Почти все литературное наследие Наполеона, оставшееся от времени заточения на острове Святой Елены, требует критического отношения. В особенности это относится к «Кампании в Египте и Сирии» — сочинению, призванному оправдать действия Бонапарта в 1798—1799 годах. И фразу, которую Наполеон впервые «вспомнил» без малого двадцать лет спустя после того, как она якобы была произнесена, нельзя принять как заслуживающее доверия свидетельство.

Но если бы даже, чему верить нельзя, эта фраза была произнесена, что из этого? Это ведь лишь один из вариантов версии, оправдывающей своевольный отъезд из армии, которую в те дни, осенью 1799 года, Бонапарт развивал. Больше того, можно даже допустить, что какие-то неотчетливые, неясные мысли в этом направлении бродили в голове Наполеона. Возможно, ближе всего к истине в данном случае — повторяю: только в данном случае — подошел Бурьенн *. «Среди многих великих проектов, без конца возникавших в уме Бонапарта,— писал Бурьенн,— был, несомненно, и проект стать во главе правительства; но тот бы ошибся, кто поверил в то, что у него при возвращении был какой-либо оформленный план или определенный замысел; во всех его

* Мемуары Бурьенна вызвали в свое время острую критику со стороны генералов Бельяра, Гурго, Камбасереса и других («Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires...», t. I — II. Paris, 1830). Нельзя, однако, забывать, что в 1798—1799 годах Бурьенн был еще одним из близких к Бонапарту людей.

честолюбивых желаниях было нечто весьма неопределенное, и, если так можно сказать, он охотно создавал в своем воображении воздушные замки»[65].

Скажем еще определеннее: возникали ли в его воображении подобные «воздушные замки» или нет, это не имело значения; в его положении, не сулящем никаких перспектив на будущее, мечты о воздушных замках были по меньшей мере несвоевременны. Определяющим в действиях Бонапарта было стремление уйти от неизбежного и недалекого уже позора поражения, проигрыша египетской кампании и найти выход, приоткрывающий путь в будущее.

Бонапарт не мог, не хотел превращаться в человека без будущего. Его огромное самообладание и изумительный актерский талант, умение маскировать подлинные побуждения и чувства позволили ему и на этот раз так блестяще сыграть избранную им роль, что в нее поверили не только многие современники, но и ученые-специалисты, сто с лишним лет спустя изучавшие деятельность этого человека.

«Надо уметь дерзать»,— говорил он. И Бонапарт дерзнул сыграть роль спасителя Франции, в то время как он был озабочен прежде всего спасением самого себя.

Как бы то ни было, Бонапарт сразу же принял решение. 11 августа он прибыл в Каир; 18-го он покинул его в направлении к Александрии; 22-го он написал последние деловые письма; 23 августа на борту фрегата «Мюирон», сопровождаемого фрегатом «Каррер», он начал свое путешествие.

Вместе с Бонапартом Египет покидали Бертье, Евгений Богарне, Бессьер, Дюрок, Ланн, Лавалетт, Мармон, Мюрат, Монж, Бертолле и сопровождавшая их охрана. Стоит задуматься над этим составом. То был цвет египетской армии, самые выдающиеся офицеры и ученые, с которыми Бонапарт связывал все надежды, начиная египетский поход. Увозя с собой, лишив армию ее руководителей и оставив в ней только Клебера (Мену явно не шел в счет), Бонапарт невольно выдавал себя: египетский поход в его сознании был закончен, страница была перевернута.

Хоронясь от непрошеных взоров, под покровом темноты два небольших венецианских корабля начали свой опасный путь. «Все было загадочным в нашем положе-

нии; надежда завоевать самую знаменитую область Востока уже не воспламеняла юное воображение, как в дни отплытия из Франции; наши последние иллюзии рассеялись под стенами Сен-Жан д'Акра, и мы оставляли во всепожирающей земле Египта бо́льшую часть наших товарищей по оружию; непостижимый рок влек нас, и мы ему подчинялись... Пятнадцать месяцев миновало с тех пор, как мы покинули нашу родину. Все нам улыбалось при отъезде; все было сумрачным при возвращении»[66] — так описывал настроение пассажиров «Мюирона» и «Каррера» один из участников этой рискованной экспедиции.

Но корабли отошли от берега, и прошлого больше нет. Генерал Бонапарт на борту «Мюирона», в пути. Позади следует фрегат «Каррер». Генерала занимает теперь только это плавание, ничего больше. Адмиралу Гантому, командующему этой маленькой экспедицией, даны жесткие директивы: уклоняться от всех обычных морских путей, держаться ближе к африканскому берегу. Днем не двигаться, не привлекать внимания; продвигаться вперед только ночью, под покровом темноты или тумана. Что это — «звездные часы человечества», как писал Стефан Цвейг? Так ли это?

Путешествие кажется бесконечно долгим — сорок семь дней и ночей, полтора месяца, даже более того; мыслимо ли это? Как назло, первые две недели нет попутных ветров. Корабли стоят на месте, они почти не продвигаются вперед. Может быть, вернуться назад? Укрыться в какой-либо бухте? Но «генерал Бонатрапп», как стали позднее острить, непреклонен. Ждать! Терпеливо ждать! И при первой же возможности двигаться вперед, хотя бы на три метра в сутки. Мимо вдалеке проходят английские сторожевые корабли. Они не обращают внимания на эти неподвижные суда, занятые, видимо, рыбной ловлей. На борту фрегата днем вся жизнь замирает. Надо прикинуться неподвижным, мертвым, ничто не должно вызвать подозрений.

Наконец поднялся долгожданный ветер, сильный ветер, надувающий паруса «Мюирона». Теперь, когда опускается спасительная темнота, фрегат быстро продвигается вперед.

Бонапарт и его спутники сидят внизу, в кают-компании. Никому не позволено задавать вопросы ни о будущем, ни о настоящем. Бонапарт рассказывает разные

истории: о боевых эпизодах прошлого, о ратных подвигах, о привидениях. Он мастер повествования. Еще чаще идет игра в карты — в двадцать одно. Бонапарт мечет карты. Чет или нечет? Он увлечен только игрой; ничто больше его не занимает. Сколько надо прикупить к семерке? Еще одну карту! Еще одну — маленькую! Берите теперь сами! Он следит только за игрой! Браво! Выигрыш!

Так проходит время. Скрип мачт. Плеск морской волны. За бортом ночь, море, где-то близко огни патрулирующих английских кораблей, а за ними — далеко-далеко зеленая трава Франции.

На несколько дней пришлось задержаться на Корсике. Он снова увидел отчий дом, синее небо своего детства. Но сейчас они его не радовали. Земля жгла ему ноги. Неизвестность, неясность завтрашнего дня были нестерпимо мучительны. Он не мог дольше ждать. Он всем рисковал; все было поставлено на карту, и каждый час оттяжки розыгрыша был невыносим. Но вот снова подули ветры. И снова в путь. И вот 17 вандемьера (9 октября 1799 года) адмирал Гантом показывает генералу виднеющуюся на горизонте, чуть уловимую глазом узкую, темную полоску суши. Это цель. «Мюирон» подходит к берегам Франции.

Сорок семь суток огромного напряжения, сосредоточения воли, чувства, желаний на одном — пройти, проскользнуть незамеченным мимо неусыпной английской сторожевой охраны, сорок семь суток ожидания, приглушенных сомнений, страхов, надежд остались позади. Ступив на твердую почву родной земли, генерал Бонапарт и его спутники должны были испытать чувство облегчения. То, что еще вчера представлялось бесконечно трудным, почти непреодолимым, было пройдено. В этом фатальном счете — одно против девяноста девяти — выиграло одно.

Это был большой, огромный, почти неправдоподобный выигрыш. Но на нем все кончалось. Новые заботы, новые задачи, новые, не меньшие трудности подстерегали спутников на так обрадовавшей их земле. Прежде всего Бонапарт должен был отказаться от тщательно подготовленной, продуманной до мелочей обвинительной речи против руководителей правительства. «Что вы

сделали с Францией без меня?» — эта столько раз повторяемая им фраза не могла быть теперь произнесена. Во Франции, в Сен-Рафаэле, он располагал уже точными сведениями о положении Республики. Россия вышла из войны, грозный Суворов был далеко; границы Франции — вне угрозы; герцог Йоркский, по соглашению с Брюном, обещал в течение октября очистить всю занятую территорию; инициатива была вновь перехвачена французскими армиями. Республика была вне опасности.

Все доводы, все аргументы, приводимые до сих пор в оправдание этого тайного бегства из Египта, теперь отпадали. Республика не нуждалась больше в спасителе. Бонапарт мгновенно учел эту изменившуюся ситуацию. Если он не спаситель, то кто же он? Дезертир? Впрочем, возврата не было. Можно было идти только вперед. Уклонившись от обязательного карантина, он немедленно отправился в путь. На другой день он составил донесение Директории — сдержанное, почтительное и в то же время чуть дерзкое. Убедительно и в то же время не очень ясно он излагал положение дел в Египте, ход операций, мотивы, побудившие его прибыть во Францию,— мотивы, конечно, сугубо патриотические, продиктованные заботой о благе отечества[67].

Его встречали везде радостно, почти восторженно. Генерал, прославившийся столькими победами,— кому же еще рукоплескать? Бонапарт принимал эти выражения народной симпатии сдержанно, он стремился быть скромным. В одежде, в манере себя держать, в разговорах, в официальных выступлениях он оставался прост: солдат, республиканец, верный своему долгу — ничего больше. Прибыв в Париж, он поспешил нанести официальные визиты членам Директории. Он говорил немного, меньше всего о себе, увлеченно о солдатах; он умел каждому сказать что-то приятное.

Разговор о мотивах его возвращения из Египта в Париж — тяжелый и трудный для него разговор — ни разу не возникал. Директоры не посмели об этом спросить, хотя сами для себя решали вопрос вполне определенно: Бонапарт прибыл без разрешения правительства[68], другие не имели права на такие вопросы; через день-два самовольное возвращение главнокомандующего без армии в столицу стало представляться

чем-то само собой разумеющимся, нужным, наверное даже необходимым.

Тертые политические дельцы, газетчики, искатели приключений оказывали генералу исключительное внимание. В газетах почти ежедневно писали о нем; зеваки, встречая его на улицах, останавливались, нередко аплодировали ему. Он принимал эти знаки внимания с подчеркнутой скромностью: он равнодушен к славе, она ему не нужна; истый республиканец, он служит только родине, только народу. То состояние неописуемого восторга, порожденного прибытием Бонапарта в Париж, о котором рассказывал в свое время Тьебо[69] и которое затем переписывалось из книги в книгу биографами Бонапарта, требует, конечно, сугубо критического отношения. Ставшая почти канонической версия об исключительной популярности генерала Бонапарта, о том, как вся страна, словно по мановению волшебной палочки, сплотилась вокруг него, была измышлением литераторов наполеоновской школы. Но если отбросить преувеличения и крайности — неизбежные атрибуты наполеоновских легенд, то все же останется несомненным, что Бонапарта во Фрежюсе, в Лионе и на всем пути его следования в Париж встречали горячо *[70], что отношение к нему повсеместно было сочувственным. Он принадлежал к числу наиболее популярных генералов того времени. И все же, чтобы правильнее разобраться в происшедшем, следует обратить внимание на будничный календарь событий, сухой язык хронологии.

Бонапарт приехал в Париж, в свой особняк на улице Шантерен, рано утром 24 вандемьера (16 октября). Тотчас же, в шесть часов утра, в сопровождении Бертье, Монжа и Бертолле он явился в Директорию **[71]. Вслед за тем он уединился на два дня в своем доме — для того были веские причины. Жозефина, поехавшая его встречать, разминулась с ним в пути — он приехал в пустой дом. Но то было не просто дорожное недоразумение — за ним скрывалось большее: он знал, что женщина, которую он любил, ему неверна. Весь этот

* Во Фрежюсе Бонапарт был встречен огромной толпой народа, приветствовавшей его возгласами: «Да здравствует Республика!»

** Этот поспешный визит в ранний час, сразу же после утомительного путешествия, показывает, насколько неуверенно чувствовал себя генерал.

страшный год в Египте и Сирии его терзала весть, рассказанная ему в Эль-Арише. Когда Жозефина вернулась, он заперся в кабинете, не желая ее видеть. Она плакала у его закрытых дверей до тех пор, пока он не уступил. Было долгое и тяжелое объяснение. Конечно, он был искренен в своей ярости, в своем желании разойтись с обманувшей его женщиной. Но он ее любил, к тому же своим трезвым умом ясно оценивал, как при двусмысленности его положения может повлиять на ход событий бракоразводный процесс обманутого мужа. Дать пищу слухам, что жена генерала ему изменяет, значило отказаться от всех больших надежд. Для парижан, в особенности для парижанок, это было бы хуже, чем проигранное сражение. В конце концов он помирился с Жозефиной. 26 вандемьера он явился с официальным визитом в Директорию. «Moniteur» сообщал об этом визите уклончиво: «Залы и двор были заполнены лицами, поспешившими увидеть того, кто год тому назад выстрелом пушки с лондонской башни был объявлен мертвым»[72]. Затем Бонапарт принимал у себя дома множество гостей; среди них были Талейран, Редерер, Маре, Реньо де Сен-Жан д'Анжели, Реаль, Буле де ла Мерт, Фуше и другие[73]. Жозефина на этих приемах была незаменима. Она смягчала неловкости своего несколько угловатого мужа, чувствовавшего себя вначале неуверенно, находила для каждого ласковое слово, создавала атмосферу беззаботной непринужденности. Бонапарт был у Барраса *. Его первые свидания с Сиейесом, имевшие значение для последующего хода событий, состоялись 2 и 3 брюмера (24 и 25 октября). Во время этих бесед не было сказано ничего определенного, и все же их можно считать началом акции. Разговор шел о любви к отечеству, но, как остроумно заметил Баррас, «с того момента, как стали говорить о любви к отечеству, оба собеседника хорошо поняли, что это должно означать не что иное, как свержение установленного порядка вещей. Оставалось только найти средства, и каждый предлагал свое»[74].

Напомним еще раз даты. Эти беседы Бонапарта и Сиейеса проходили 2 и 3 брюмера. Что было затем? За

* Баррас уверял, будто Бонапарт питал к нему такое доверие, что советовался даже по поводу своих раздоров с Жозефиной. Этому верить нельзя (*P. Barras.* Mémoires, t. IV, p. 29—30).

3 брюмера следует 18 брюмера — день государственного переворота. Между этими датами ровно 15 дней, две недели. Если предположить, что политический деятель пользуется исключительной популярностью в стране, что он смел, талантлив, гениален, возникает все же законный вопрос: а можно ли за две недели завоевать народ, подготовить страну к государственному перевороту, направившему ее развитие по совершенно новому пути? Возможно ли это? Не чудо ли это? Что же, во всем этом следует разобраться.

Уже к лету 1799 года, а особенно ко времени обострения кризиса, порожденного наступлением Суворова, мысль о «твердом порядке» отлилась, так сказать, в кристально чистые формы. Все стало ясно, сомнения были отброшены — в повестку дня был поставлен переворот.

Как уже говорилось, первый вариант переворота 18 брюмера был подготовлен, притом тщательно подготовлен, уже в июле — августе 1799 года. Это было 18 брюмера по духу, по содержанию, но, естественно, с другими датами и другими именами. Смерть Жубера сделала невозможным данный вариант, но ни в малой мере не поколебала идею. План, замысел переворота сохранился, и к нему продолжали готовиться. Напомним еще раз, что Сиейес после смерти Жубера вел переговоры с Макдональдом, Моро, он продолжал бы и дальше искать нужную ему «шпагу». Со своей стороны над идеей переворота задумывались Бернадот, Журдан, по-своему — Лафайет, вероятно — Пишегрю, мало ли кто еще из генералов.

Когда Бонапарт в октябре, спасаясь от неотвратимо надвигавшегося краха в Египте, приехал в Париж, он отнюдь не был обуреваем идеей государственного переворота, ему было не до того. Он был озабочен мыслью, как избежать возмездия за самовольное бегство из армии, брошенной им на произвол судьбы. Но, встречаясь с разного рода людьми в столице, он своим даром быстрой ориентации в обстановке сразу же уловил идеи, носившиеся в воздухе. Как справедливо писал Тибодо, «кризис был неизбежен, неминуем; он разразился бы, даже если бы Бонапарт остался на Востоке»[75]. Мог ли Бонапарт не понять этой ситуации?

Впрочем, вопреки вариантам наполеоновских легенд, изображавших ход событий как бы совершавшимся по мановению руки, по-видимому, вначале он даже недооценивал реальные возможности. В первые дни пребывания в Париже Бонапарт, по ряду свидетельств, еще не исключал для себя сравнительно скромной роли одного из пяти директоров[76].

Затем он стал присматриваться или, вернее, прислушиваться. Его втягивали в борьбу, это было несомненно. В течение некоторого времени он колебался: он не мог сразу решить, на кого ориентироваться, с кем идти. Видимо, этими колебаниями следует объяснить медлительность и даже нежелание по соображениям второстепенного порядка установить связи с Сиейесом — главным действующим лицом политической интриги того времени. Бонапарт встретился с ним позднее, чем с другими членами Директории, на обеде у Гойе, и у обоих осталось крайне неблагоприятное впечатление друг о друге. По словам Гойе, Сиейес, раздосадованный заносчивостью Бонапарта, сказал о нем: «Вы заметили поведение этого маленького наглеца по отношению к члену правительства, который мог приказать его расстрелять?»[77]

Следует напомнить также, что ему, Бонапарту, не пришлось ничего предлагать или изобретать: он получал все в совершенно готовом виде. Идея государственного переворота с его участием была ему преподнесена в полностью отработанной, даже отшлифованной форме. По его собственному признанию, «все партии хотели перемен и все хотели осуществить их при его участии»[78]. Не он принес Франции идею обновления, мысли об изменении режима. Эта идея уже давно вынашивалась в политических кругах Парижа и существовала во множестве вариантов. Бонапарту предлагали, он поддакивал и принимал.

Конкретно это выглядело так: лукавый оборотень, угадывавший тайные мысли чужих и прячущий свои собственные, бывший епископ Оттенский Морис Талейран, вынужденный незадолго до этого отдать портфель министра иностранных дел, который он ценил по многим причинам выше всяких иных портфелей, побывав у генерала Бонапарта на улице Шантерен, сразу же сообразил, что генерала нужно свести с Сиейесом.

Талейран знал Сиейеса давно — с масонских лож, с клуба Валуа в Пале-Рояле в 1789 году. Он был невысокого мнения о самом влиятельном члене Директории, о чем тогда же откровенно признался Камбасересу[79]. Позже в своих мемуарах он набросал портрет Сиейеса кистью, сдобренной вдохновенной злостью. «Он проповедует равенство не из-за филантропии, а из-за жестокой ненависти к власти других»[80],— писал он о Сиейесе. Впрочем, всякое морализирование Талейрана не могло не вызывать улыбку. Но было ясно: он не любил Сиейеса. Что из того? У Талейрана были свои, чисто личные причины, побуждавшие содействовать успеху многообещающего генерала[81]. Без Сиейеса, занимавшего ключевые позиции, нельзя было обойтись. Сиейесу, во всяком случае до определенного времени, принадлежала решающая роль. Значит, с ним надо установить прямые и непосредственные связи, бросить на чашу весов силу его влияния. Что будет потом? Еще не пришла пора об этом задумываться, время все поставит на свое место. Пока же Талейран добровольно и даже не без воодушевления взял на себя скромные функции посредника.

Талейран побывал и у Сиейеса, и у Бонапарта; он убедил каждого из них в пользе предстоящих встреч, он устранил возникшие было недоразумения и после первых носивших несколько официальный характер свиданий быстро, почти незаметным участием подвинул их к неофициальным переговорам, то есть к главному.

Переговоры эти вначале велись через посредников — через Талейрана и Редерера, приезжавших по вечерам к Сиейесу в Люксембургский дворец[82]. Роль Талейрана, Редерера, а также Вольнея в скрытой от нескромных взоров подготовке больших перемен в стране была весьма значительна. Позже она была признана официально *. Но в ту решающую стадию о ней мало кто знал. Все переговоры велись келейно. Это давало до поры до времени некоторые преимущества: прежде всего не компрометировало участников переговоров и оставляло им в значительной мере руки развязанными. Бонапарт это использовал. До определенного часа

* «Московские ведомости» № 101, 12 декабря 1799 г. в сообщении из Парижа от 15 ноября писали, что Бонапарт от имени консульства принес благодарность Талейрану, Редереру и Вольнею «за важные услуги», оказанные Республике.

он вел двойную игру, ориентируясь и на Сиейеса, и на Барраса. Но когда стало очевидным, что надо переходить от слов к делу, тогда возникла необходимость прямых переговоров Сиейеса — Бонапарта. По другой версии, решающая роль в сближении Сиейеса и Бонапарта принадлежала Шазалю, члену Совета пятисот, действовавшему в контакте с Люсьеном Бонапартом[83]. Как бы то ни было, дороги Бонапарта и Сиейеса скрестились.

Сам Наполеон вполне точно определяет время, когда он пошел на объединение с Сиейесом. Это произошло после обеда у Барраса 8 брюмера (30 октября 1799 года). Баррас за столом раскрыл свои карты. «Республика погибает; так дальше не может продолжаться,— сказал он,— правительство бессильно; нужны перемены, надо назначить Эдувилля президентом Республики, а вам, генерал, вам надо вернуться в армию. Наполеон пристально на него посмотрел, ничего не сказав. Баррас опустил глаза»[84].

Так описал эту сцену Наполеон. Он признавал, что этот разговор имел для него решающее значение. Баррас, посмевший назвать имя какого-то ничтожного Эдувилля и предложить ему, Бонапарту, подчиненную, второстепенную роль,— Баррас после этого был сразу же вычеркнут из числа действующих лиц, он перестал существовать.

После разговора с Баррасом Бонапарт пошел к Сиейесу и быстро нашел с ним общий язык. Влед за тем 10 брюмера состоялось деловое свидание директора и генерала ночью на квартире Люсьена Бонапарта в его доме на Зеленой улице[85].

Младший брат генерала пользовался довольно своеобразной известностью в Париже. Вне деловой сферы он прославился своими романическими похождениями, и в особенности тем, что настойчиво добивался благосклонности знаменитой госпожи Рекамье, «самой красивой женщины Старого и Нового Света», как говорили о ней современники[86]. В области политики он был известен как влиятельный член Совета пятисот, умевший вовремя произносить левые речи, что не мешало ему, однако, поддерживать добрые отношения с правым Сиейесом. Это счастливое сочетание способностей шло ему на пользу. Незадолго до описываемых событий он был избран председателем Совета пятисот. Одни полагали,

что это было сделано в угоду генералу Бонапарту; другие, и Люсьен в их числе, объясняли этот выбор личными достоинствами молодого члена Совета пятисот. Как бы то ни было, он занял 1 брюмера этот пост, столь важный для последующего хода событий.

В ночном свидании 10 брюмера Люсьен Бонапарт рассматривал себя третьим, может быть самым важным, участником этих переговоров, призванных войти в летописи истории[87]. Тогда, на этом ночном совещании трех заговорщиков, была достигнута прямая договоренность о том, что надлежит делать. Разговор шел преимущественно о практических задачах, о конкретном плане действий. О будущем страны говорили мало.

Оказалось одной недели достаточно, чтобы три человека, торопливо обсудив план предстоящих действий, могли подготовить и затем направить ход событий, круто изменивших судьбу Франции. Как это могло произойти? Эти люди были столь могущественны, всесильны? Нет, конечно. Это лишь показывало, насколько режим Директории себя изжил.

Пожалуй, наиболее примечательным в тайных переговорах заговорщиков было то, что самым пассивным, по крайней мере по видимости, был именно тот участник заговора, на которого возлагалась главная роль,— генерал Бонапарт.

Огромное актерское дарование Бонапарта, его изумительное чувство сцены — большой политической сцены, на которой четыре года он был на виду, умение безошибочно находить свое место среди других действующих лиц подсказывали ему и сейчас роль, наиболее соответствующую той сложной и ответственной игре, начинавшейся так незаметно.

Он представлялся в эти дни неглупым, многоопытным, но несколько простоватым солдатом, может быть даже излишне доверчивым, немного чудаковатым. Ему предложили план организации переворота, в котором все было предусмотрено до мелочей — перевод собраний в Сен-Клу, создание будущей власти в форме коллегии трех консулов,— и он сразу все принял, без споров, без возражений; в общем он на все соглашался. Он не поднимал разговора о будущем — какова должна быть конституция? Какова программа? Функции будущей власти? Можно было подумать, что все это мало его

интересует, или, может быть, это не его сфера? Ведь он только солдат.

Странным образом, он уделял внимание тому, что, казалось, в эти дни не должно было иметь никакого значения. Он ходил на заседания Института, проявляя большой интерес к научной стороне, научным результатам египетской экспедиции, подчеркивал свое уважение и дружеские чувства к Монжу и Бертолле, писал любезные письма Лапласу — словом, выступал как человек, преданный интересам науки; наполовину солдат, наполовину ученый. У него, видимо, было так много свободного времени и его так занимали отвлеченные сюжеты, что он счел необходимым навестить престарелую вдову Гельвеция и в семье некогда знаменитого философа провести вечер в воспоминаниях о великом веке Просвещения[88].

Впрочем, он стремился сохранять добрые отношения и с другими. Он принимал у себя дома генерала Журдана. В беседе с героем Флерюса он давал понять, что он прежде всего республиканец: Республика превыше всего. Нетрудно было припомнить, что в сущности вся его биография подтверждает это: Тулон, его близость с выдающимися якобинскими деятелями 93 года — он ведь даже пострадал из-за этого. А его роль в вандемьере? Роялисты имеют основание его ненавидеть. Он завоевал симпатии не только Журдана; немало якобинцев смотрело на него с доверием и надеждой; кто знает, может быть, с помощью «генерала вандемьера» друзья свободы и равенства вновь отвоюют утраченные позиции?

Он нашел дружественные слова для Моро, чистосердечно протянул ему руку, подарил ему шпагу из дамасской стали[89]. Он пытался завоевать и симпатии Бернадота, но хитрый гасконец был увертлив, он предпочитал ничем себя не связывать.

Ни у кого не заискивая, ни перед кем не снимая угодливо шляпу, Бонапарт внимательно следил за другими действующими лицами пьесы: он не мог допустить, чтобы они перешли в ряды его врагов. Он продолжал поддерживать по видимости добрые отношения с Баррасом, хотя уже твердо решил убрать его навсегда. И не потому, что между ними стояла Жозефина, как утверждал в свое время Лефевр[90], а вследствие неосмотрительной откровенности Барраса на обеде 8 брю-

мера. К тому же Баррас был настолько неотделим от всего дискредитированного режима Директории, был настолько ненавидим и презираем, что всякое сотрудничество с ним шло бы во вред: это был балласт, тянущий корабль ко дну. Бонапарт изредка навещал Барраса, чтобы притупить его бдительность,— его надо было на время нейтрализовать.

Особняк на улице Шантерен (впрочем, ее чаще стали называть новым наименованием — улица Победы) посещали и несколько неожиданные лица. К генералу не раз являлся недавно назначенный министром полиции Жозеф Фуше. Знаменитый террорист 93 года, проявивший столько энергии в преследовании своих бывших товарищей по партии — якобинцев, явственно давал понять генералу, что он готов ему служить чем может. Генерал принимал эти заверения сочувственно и тоже явственно, хотя и вполне неопределенно, давал понять, что ценит инициативу министра полиции и дорожит его поддержкой. Но своих планов Фуше он не раскрывал; ему представлялось, что в данном случае всего уместнее здоровое недоверие[91]. Молодого генерала посетил и один из влиятельных финансистов того времени — Колло. Колло незадолго до этого прославился своим открытым сопротивлением принудительному займу[92]. Колло знал Бонапарта еще ранее. Он пришел к нему не с пустыми руками — он принес для начала пятьсот тысяч франков, а по другим данным — миллион. Генерал деньги взял; они были ценны не только сами по себе, но и как доказательство того, что намечаемую акцию (о которой молчаливо догадывались) поддерживает финансовый мир. Это было весьма существенно.

Впрочем, всем своим поведением Бонапарт, казалось, опровергал циркулировавшие в городе слухи о каких-то предстоящих событиях. Более того, откуда-то возникла версия о его скором отъезде в армию. Даже далекие «Санкт-Петербургские ведомости» в сообщении из Парижа 22 октября писали: «Несмотря на некоторые противоречия, кажется со дня на день вернее, что Буонапарте вступит в начальство итальянской армией и возьмет с собой Бернадота»[93].

Последнюю неделю перед 18 брюмера он постоянно был у всех на виду. То его можно было видеть на большом приеме у министра иностранных дел Рейнара, то он сам принимал гостей за вечерним обедом в своем

особняке; 15-го вместе с Моро он был на большом приеме, устроенном обоими Советами в храме Победы — так называлась теперь церковь святого Сюльпиция[94]. 17-го он обедал у Камбасереса, в помещении министерства юстиции. Даже на 18 брюмера Жозефина послала приглашение на утро госпоже и господину Гойе, а вечером Бонапарт должен был обедать у Гойе. Когда уж тут было заниматься какими-то конспирациями, тайными приготовлениями к чему-то, о чем шептались по углам! Обязанности светской жизни поглощали все время и внимание генерала Бонапарта; да и кто мог предположить, что этот спокойный, дружелюбно улыбавшийся молодой генерал, видимо радующийся возвращению из песков Египта в стихию великого города, может что-либо замышлять?

А между тем невидимо, незаметно все шло так, как было намечено. Сиейес, Роже Дюко, соучаствовавший в заговоре, Камбасерес, Редерер, Талейран, Люсьен и Жозеф Бонапарты, Мюрат, Ланн, Бертье, Леклерк, женатый на Полине Бонапарт, Лефевр, командующий Парижским гарнизоном,— каждый делал то, что ему было назначено.

Часовые стрелки на циферблате быстро подвигались к двенадцати. Наступал час действия.

18—19 брюмера

События 18—19 брюмера были в свое время столь полно описаны в известных трудах Альбера Вандаля[1], что все последующие исследования не могли внести ничего существенно нового в уже известную картину двух драматических дней. Это избавляет от необходимости подробно освещать развитие событий, ставших переломными в жизни страны.

Напомним лишь коротко для понимания последующего важнейшие факты, связанные с переворотом 18—19 брюмера.

В ранние часы не по-осеннему морозного ноябрьского утра к двухэтажному особняку на улице Шантерен стали съезжаться высшие офицеры французской армии. Среди собравшихся были и военачальники, чьи имена знала вся страна: генералы Моро, Макдональд, Бернадот, Лефевр, Бернонвилль...

Странным образом, хотя, казалось, не было приложено заметных усилий, все шло точно, организованно, видимо в полном соответствии с предусмотренным планом. В положенное время к дому Бонапарта собрались все генералы, державшие в своих руках командование вооруженными силами Парижа и страны[2]. В необычно ранний час, между семью и восемью, в Тюильри собрался Совет старейшин под председательством Лемерсье. Сначала малоизвестный Корне сообщил в довольно общих выражениях о грозном заговоре якобинцев, угрожавшем Республике, затем Ренье, депутат от Мерты, предложил, ссылаясь на 102-ю статью конституции, принять декрет о переводе Законодательного корпуса из Парижа в Сен-Клу и о назначении генерала Бонапарта командующим вооруженными силами Парижа и округа. На него же возлагалось осуществление принятого декрета. Не посвященные в заговор депутаты были застигнуты врасплох. Ни у кого не нашлось ни слова возражения. Предложенный Ренье декрет был принят единодушно *.

* В первом сообщении «Moniteur» (N 49, 19 брюмера) о заседании Совета старейшин 18 брюмера говорилось, что предложение о декрете было внесено Корне. Лишь спустя несколько дней «Moniteur» (N 54, 25 брюмера) внес поправку и уточнил, что предложение о декрете исходило не от Корне, а от Ренье.

В восемь часов утра (как и должно было быть) к особняку на улице Шантерен подъехала карета; официальные представители Совета старейшин, выйдя из нее, поднялись к генералу Бонапарту и торжественно вручили ему декрет Совета. Генерал не был удивлен; он зачитал вслух декрет и объявил всем собравшимся высшим офицерам, что принимает на себя верховное командование. Теперь все становилось яснее...

Затем генерал Бонапарт на коне, во главе многочисленной, блиставшей генеральскими эполетами, золотым шитьем, плюмажами свиты направился к Тюильрийскому дворцу, где генералов ожидали стянутые туда еще раньше полки. Все шло гладко, без сучка и задоринки, все осуществлялось легко, в точно назначенное время. Из всей большой, сложно задуманной программы не удались лишь две частности.

Казавшийся столь недалеким президент Директории Гойе вопреки ожиданиям проявил сообразительность. Он не попал в западню. В ответ на любезное приглашение на завтрак Жозефины Бонапарт, к которой он обычно проявлял особое внимание, он послал свою жену с целью разведки, а сам не поехал на показавшийся ему подозрительным прием в столь ранний час. Госпожа Гойе, увидев гостиную, кабинет, все комнаты, запруженные генералами, немедленно сигнализировала о том мужу. Гойе понял это должным образом и сразу поспешил к Мулену, а затем вместе с ним к Баррасу[3]. Таким образом, привлечь к заговору большинство членов Директории, что предусматривалось программой, не удалось.

Все старания Бонапарта перетянуть на свою сторону и вовлечь в борьбу Бернадота, чему он придавал большое значение, также не увенчались успехом. Бернадот от всего упорно отказывался: самое большее, на что он соглашался,— оставаться нейтральным наблюдателем[4].

Итак, намеченная программа не была полностью выполнена. Но вряд ли это могло смущать Бонапарта. К тридцати годам у него уже был большой военный опыт, он знал, что успех чередуется с неудачами; важно лишь, чтобы последние не перевешивали. Все определит общий ход событий.

18 брюмера развитие событий шло даже лучше, чем он мог ожидать. В Тюильри Бонапарт, сопровождаемый пышной свитой, явился на заседание Совета старейшин.

Он произнес краткую, не очень убедительную речь. Он подчеркивал верность республиканским принципам: «...вы издали закон, обещающий спасти страну, наши руки сумеют его исполнить. Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства»[5]. Старейшины постановили прервать заседание до переезда Совета в Сен-Клу. Затем Бонапарт вышел в сад, чтобы произвести смотр войскам. К главнокомандующему в это время протиснулся секретарь Барраса Ботто. Откуда он взялся? Что ему было нужно?

Могущественный директор, считавший себя соучастником (хотя и неизвестно, в какой роли) начавшегося переворота, с утра ожидал известий от Бонапарта. Под разными предлогами Баррас отказывался принимать Гойе, Мулена, немногих посетителей, явившихся к нему в утренние часы. Генерал Бонапарт в глазах Барраса оставался хотя и несколько самонадеянным и даже дерзким порой, но все же вполне управляемым, своим человеком: он, Баррас, вывел генерала в вандемьере на дорогу; он всегда был его старшим наставником; и теперь, естественно, ему, Полю Баррасу, должно было быть приуготовлено подобающее его положению место в новой правительственной комбинации. Так было всегда в прошлом, когда военные чистили конюшни, так было 13 вандемьера, так было 18 фрюктидора, так должно быть и 18 брюмера.

Баррас нетерпеливо прохаживался по своим обширным покоям в Люксембургском дворце, прислушиваясь, не раздастся ли долгожданный звонок.

Но время шло; часовая стрелка уходила все дальше по циферблату; звонка не было, никто не приходил. Баррас не выдержал, он вызвал своего секретаря Ботто и велел ему немедленно бежать в Тюильри, лично переговорить с Бонапартом, сказать генералу, что он, Баррас, не имеет известий, что его это волнует, что он ждет[6].

Трудно сказать, какие чувства вызвало у Бонапарта неожиданное появление посланца Барраса здесь, в Тюильрийском саду, в решающие часы. Вероятно, та же безошибочная интуиция вдохновенного актера подсказала ему эффектную импровизацию. Те слова, которые он столько раз повторял про себя еще в Египте во время бесконечного плавания на «Мюироне», эти закипевшие

гневом слова он мог наконец громко, во весь голос произнести:

«Что вы сделали с Францией, которую я вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир; я нашел войну. Я вам оставил победы; я нашел поражения! Я вам оставил миллионы из Италии; я нашел нищету и хищнические законы! Что вы сделали со ста тысячами французов, которых я знал, моими товарищами по славе? Они мертвы!»[7]

Громовым голосом, в неистовом вдохновении, надвигаясь конем на пятящегося в страхе Ботто, перед замершей в сосредоточенном внимании толпой Бонапарт выкрикивал грозные обвинения. Он обращался, конечно, не к жалкому Ботто, не к уже неопасному, побежденному Баррасу, даже не к этой сочувствующей, взволнованной, завоеванной им толпе. В этот предвечерний час, видя перед собой черные голые ветви облетевшего осеннего сада, тысячи глаз, ожидающе устремленных на него, чувствуя за собой дыхание ждущих его приказа полков, он, верно, ощущал себя на подиуме всемирного форума, на сцене мирового театра; он обращался к миллионной, необозримой — настоящей и будущей — аудитории, он говорил в века.

Вечером 18 брюмера генерал Ожеро, прятавшийся весь день в тени, чтобы издали наблюдать за развитием событий, вышел из своего укрытия, нашел в Тюильри Бонапарта и широко раскрыл свои могучие объятия. «Как, генерал, вы не полагаетесь на вашего маленького Ожеро?!»[8] — воскликнул он. Бретёр и игрок, мечтавший сам сыграть ва-банк, но убедившийся, что счастье приваливает другому, он решил, пока не поздно, примазаться к выигравшему.

Выигрыш к исходу первого дня переворота представлялся уже несомненным. Одна из важнейших задач переворота — свержение власти Директории — была достигнута. Сиейес и Роже Дюко, участники заговора, сложили свои полномочия и открыто примкнули к движению. Сиейес сделал это даже в несколько экстравагантной форме. Пожилой господин, он, невзирая на свои седины и явное отсутствие кавалерийского опыта, приехал в Тюильри верхом на коне, вызывая живой интерес уличных зевак.

Баррас, оставшись всеми покинутым в своих покоях и убедившись в том, что игра проиграна, без слова возражения подписал принесенный ему Талейраном заранее составленный текст заявления об отставке[9]. Осталось так и невыясненным, положил ли он при этом в карман миллион франков, предназначенный ему в виде отступного, или эти деньги прилипли к пальцам выполнявшего деликатное поручение Талейрана. Похоже на то, что деньги остались у Талейрана: уж очень он расчувствовался при этой сцене[10]. Впрочем, для хода событий это значения не имело...

Гойе и Мулен после недолгого и оставшегося вполне академическим сопротивления также подписали заявления об отставке. Директории более не существовало... Совет старейшин и Совет пятисот, прервав свои заседания, должны были 19-го собраться в Сен-Клу. Генерал Бонапарт законным, почти конституционным путем получил командование над всеми вооруженными силами столицы. Он приказал верным ему генералам занять все политически и стратегически важные пункты города. Ланну был поручен дворец Тюильри, Мюрату — Бурбонский дворец, Мармону — Версаль и т. д.

Успех переворота был подтвержден косвенным, но важным свидетельством: государственные фонды на бирже поднялись в курсе, усилился приток средств в казначейство[11].

Но когда Бонапарт 19-го после полудня приехал в Сен-Клу, все пошло совсем по-иному, чем накануне.

За сутки, прошедшие с начала так стремительно развернувшихся событий, депутаты Законодательного корпуса протрезвели. Как это они согласились на то, чтобы запрятать оба Совета в Сен-Клу? Какая была в том необходимость? И о каком заговоре, собственно, идет речь? Где доказательства? И какую цель преследуют, предоставляя широкие полномочия генералу Бонапарту?

В каждом из Советов было немало тайных соучастников переворота. Президентом Совета пятисот оставался Люсьен Бонапарт. Но ни ему, ни другим брюмерианцам, как их стали вскоре именовать, не удавалось взять руководство в свои руки. В обоих Советах, в особенности в Совете пятисот, где преобладали якобинцы,

нарастало недовольство, больше того — решимость изменить ход событий. Бонапарт, Сиейес и их приближенные, расположившись в просторных кабинетах первого этажа дворца в Сен-Клу, тщетно ожидали победных реляций о ходе событий наверху — в залах, где заседали Советы. Благодушное настроение, с которым они приехали в Сен-Клу, успокоенные успехами вчерашнего дня, быстро рассеялось. Сообщения со второго этажа были неутешительны. Депутаты обоих Советов не только не спешили формировать новое правительство — чего от них ждали Бонапарт и Сиейес; скорее напротив, они были склонны возносить хвалу прежнему правительству и ставить под сомнение необходимость и даже законность принятых вчера чрезвычайных решений. Более того, вскоре поступило сообщение, что Совет пятисот начал по требованию якобинцев поименное принесение присяги конституции III года.

События принимали непредвиденно опасный для Бонапарта поворот. Присяга конституции III года — то было прямое осуждение дела, начатого 18 брюмера. Сомневаться в этом было нельзя. Неизвестно откуда появившийся Ожеро грубоватым тоном наставника посоветовал Бонапарту поскорее сложить обязанности главнокомандующего. «Сиди смирно,— отвечал Бонапарт,— снявши голову, по волосам не плачут!» Он понимал, что речь идет о его голове, о головах многих.

Он был хмур и решителен.

Но видимо, нервы ему отказали. Потеряв терпение, он быстро поднялся наверх и прошел в зал заседаний Совета старейшин. Он надеялся, очевидно, что личным вмешательством ему удастся ускорить ход событий и придать им должное направление. Председательствующий предоставил генералу слово. Бонапарт произнес длинную, но довольно бессвязную речь. Он оправдывался, повторял, что он не Кромвель, не Цезарь, что ему чужда всякая мысль о диктатуре, что он лишь служит Республике, народу... В то же время, не называя имен, он кому-то грозил... Эта речь не была подготовлена, обдумана, то была импровизация, но она не могла увлечь аудиторию, так как шла вразрез с ее настроением.

Бонапарта прервали; от него требовали точных сведений о заговоре против Республики, доказательств, его подтверждающих, просили назвать имена. Он уходил

от прямых ответов; он назвал Барраса и Мулена как зачинщиков, но его объяснения были неопределенны и лишь усиливали сомнения. Чем дальше продолжалось это сбивчивое и все обострявшееся препирательство сторон, тем очевиднее становилась их растущая рознь[12]. Ничего не добившись, Бонапарт покинул заседание старейшин. Спустя несколько минут, сопровождаемый гренадерами, он направился в зал заседаний Совета пятисот. Зачем?

После только что понесенного поражения у старейшин это было труднообъяснимым ходом. На что он мог рассчитывать, направляясь на это собрание, где тон задавали якобинцы, которых он только что обвинял? По-видимому, не холодный рассудок, не трезвый стратегический план определяли его действия в эти минуты. Едва он переступил порог, как его встретил взрыв негодующих возгласов: «Долой диктатора!», «Вне закона!», «Вне закона его!» Как гласил сухой газетный отчет, «весь зал поднялся... Множество депутатов устремляются в центр залы. Они окружают генерала Бонапарта, хватают его за воротник, толкают... Толпа депутатов, поднявшись со своих скамей, кричит: «Вне закона! Вне закона! Долой диктатора!»»[13]

В действительности, судя по другим свидетельствам, ситуация для Бонапарта была еще хуже *. Бонапарт в молодости был подвержен мгновенно наступавшим приступам физической слабости; он порой впадал в обморочное или полуобморочное состояние. Вероятно, он не ожидал такого яростного взрыва негодования. Он не стал возражать, не отвечал, даже не сопротивлялся. Видимо, в решающий момент его настиг этот страшный приступ слабости; он был в полуобморочном состоянии. Генерал Лефевр это увидел, понял. С возгласом «Спасем нашего генерала!» он и гренадеры, расталкивая депу-

* «Санкт-Петербургские ведомости» в сообщении из Парижа так передавали эту сцену: «...при его (Бонапарта.— *А. М.*) появлении сказалось жестокое смятение в Совете. Все члены вскочили. Множество ораторов рвалось взойти на кафедру. Бонапарте не мог туда пробраться. Его отталкивали неистово. Одни кричали: «Бонапарте лишен покровительства законов! Вне закона! Вне закона!» Другие бросались на него, угрожая пистолетами и кинжалами. Один депутат толкнул его, другой ударил кинжалом, который, по счастию, отражен гренадером,у коего распороты оттого рукава его кафтана и камзола...» («Санкт-Петербургские ведомости» № 94, 25 ноября 1799 г., прибавление).

татов, вырвали из их рук Бонапарта и выволокли его из зала *[14].

Поддерживаемый солдатами, шатаясь, с залитым бледностью лицом, потрясенный, Бонапарт медленно пробирался в свой кабинет на первом этаже. В течение некоторого времени он не мог прийти в себя. Он с трудом переводил дыхание. Его речь была бессвязна. Обращаясь к Сиейесу, он называл его «генералом». Он повторял одни и те же слова. Его покинула энергия, он ни на что не мог решиться. Видимо, в его ушах все еще звучали эти страшные выкрики: «Вне закона!», «Вне закона!» Даже будучи в полуобморочном состоянии, он не мог не понимать значение этих слов: эти два слова привели Робеспьера к эшафоту на Гревской площади.

Мюрат, сохранявший полное хладнокровие и ни на шаг не отходивший от Бонапарта, предлагал простое решение: солдат, он считал, что надо действовать по-солдатски. Что может быть проще?

Но Бонапарт не мог ни на что решиться. Некоторое время он находился в состоянии беспомощности, растерянности. Постепенно приступ слабости миновал, лицу вернулись краски. Но он оставался как бы в оцепенении. Может быть, он считал, что все уже проиграно?

Комнаты, примыкавшие к его кабинету, еще недавно заполненные офицерами, депутатами, политическими дельцами, терпеливо ожидавшими его повелительных слов, теперь заметно опустели. Фуше, попадавшийся раньше на глаза, куда-то исчез. У каждого находились какие-то неотложные дела, заставлявшие отлучаться. Большая блестящая свита, окружавшая генерала, шедшего к победе, редела, тускнела. Нельзя было обманываться в значении этих перемен. То были верные предвестники становившегося уже несомненным поражения.

А время шло. Короткий осенний день близился к концу. Начинало темнеть. Десять тысяч солдат с раннего утра стояли под ружьем. Вероятно, они начинали роптать. И можно ли было на них положиться? Известия, поступавшие из зала, где заседали законодатели, становились все тревожнее. Люсьен Бонапарт сооб-

* В последующих номерах газеты появилась версия, будто депутат-якобинец Арена пытался поразить генерала кинжалом.

щал, что он не может больше ни за что ручаться. Переворот проваливался, приближалось возмездие.

В последний, критический момент, когда, казалось, все уже было потеряно, к Бонапарту вернулась энергия. Он выбежал, вскочил на коня и, сопровождаемый Мюратом и вызванным сверху Люсьеном, начал объезжать войска. Он выкрикивал, что его хотели убить, что в Совете пятисот собрались заговорщики, что там угрожают ему, Республике, народу кинжалом. «Солдаты, могу ли я рассчитывать на вас?» — повторял один и тот же вопрос Бонапарт, объезжая войска.

Был момент, когда создалось впечатление, что армия колеблется. Но Бонапарт и его брат вырвали у солдат возгласы сочувствия. Тогда Бонапарт подал знак Мюрату.

Команда была дана. Отряд гренадеров с барабанным боем, с ружьями наперевес, предводительствуемый Мюратом и Леклерком, двинулся в зал заседаний Совета пятисот. Распахнув двери, Мюрат громовым голосом выкрикнул приказ: «Вышвырните всю эту свору вон!» В действительности вместо «вышвырните» было сказано еще более грубое, невоспроизводимое на бумаге словцо. Генерал из солдат, сын кабатчика, даже в Законодательном корпусе не считал нужным прибегать к парламентским выражениям.

Громившие диктатора в обвинительных речах якобинцы 99 года при звуках барабанной дроби растерялись. Среди них не было людей, подобных якобинцам «вершины» — Ромму и его друзьям, заколовшим себя одним кинжалом, передаваемым из рук в руки. Не потребовалось даже выстрелов в воздух. Депутаты стремглав выбегали из зала. Не прошло и пяти минут, как Совет пятисот перестал существовать, зал был очищен от депутатов. Все оказалось проще, чем можно было ожидать. Это и было, по ходячему выражению тех дней, «искусство выбрасывать депутатов в окошко», которое с таким мастерством показал 19 брюмера отряд гренадеров под командой Иоахима Мюрата.

Переворот был завершен. Вслед за Директорией Совет старейшин и Совет пятисот были вычеркнуты из истории.

Впрочем, раньше чем перепуганные насмерть депутаты не существующих больше Советов успели разбежаться, некоторых из них, подвернувшихся под руку

солдатам, снова загнали во дворец. Там под диктовку, без слова возражений они приняли постановление о создании временной консульской комиссии в составе Сиейеса, Роже Дюко и Бонапарта * и двух комиссий, на которые возлагалась подготовка конституционных законов.

День кончился. На город опускалась ночь. Начался дождь — редкий, мелкий осенний дождь, затянувшийся на многие часы. Солдаты, сохраняя строй, расходились по казармам. Любопытствующие, случайные прохожие, спугнутые дождем, спешили укрыться в домах. Улицы опустели. На стенах зданий расклеивали объявление, составленное неизвестно когда вынырнувшим министром полиции Фуше, извещавшее парижан о происшедших важных событиях. В объявлении сообщалось, что на генерала Бонапарта, разоблачившего контрреволюционные маневры в Совете пятисот, было совершено покушение, но «гений Республики спас генерала»; он возвращается в Париж, а «Законодательный корпус принял все меры, чтобы утвердить триумф и славу Республики»[15].

Шел дождь, и немногие прохожие, лишь взглянув на объявление, шли дальше. Впрочем, вечером, как сообщали газеты, правительственные здания и некоторые частные дома были иллюминированы[16].

Сиейесу приписывали фразу: «...я сделал 18 брюмера, но не 19-е». Полтораста лет назад ее повторил как нечто вполне достоверное Стендаль[17]. Легенда эта осталась живучей. И в наше время ее можно встретить даже в специальных трудах по истории конституционного права.

Эта версия возникла не случайно: она преследовала вполне определенные цели. 19 брюмера противопоставлялось 18-му. Первый день — 18 брюмера — прошел триумфально. 19 брюмера был трудный, тяжелый день, когда, казалось, ход событий двинулся вспять, органи-

* Именно в таком порядке, вопреки алфавиту, был опубликован в официальном сообщении состав консульской комиссии («Moniteur» N 51, 21 brumaire an VIII (11 nov. 1799)). В таком же порядке — Сиейес первым, Бонапарт последним — состав консульской комиссии был передан и в русской печати (см. «Санкт-Петербургские ведомости» № 94, 25 ноября 1799 г.).

заторы переворота были на пороге поражения и вот-вот надо было ожидать, что они будут сметены, растоптаны и уничтожены.

Однако противопоставление 18 брюмера 19-му, рассечение единого, целостного события на два разных насквозь надуманно и искусственно. Возможно ли было 19 брюмера без 18-го? Можно ли было остановиться в пределах достигнутого 18-го? Нет, конечно. Это было одно-единое, слитное событие, расчлененное только закономерной паузой, которую всегда и неотвратимо создает ночь.

Верно то, но не для одного, а для обоих дней — для 18-го и 19-го, что общий план переворота, как сказали бы в наши дни — сценарий ленты, был в главном задуман и подготовлен без Бонапарта. Бонапарту о нем сообщили, и он принял его без высказанных вслух возражений.

Основная идея сценария была проста и ясна. Власть клики, шаткая и неустойчивая власть Директории, должна быть заменена прочным буржуазным порядком, твердой властью, или, иными словами, диктатурой буржуазии. Эта основная идея не была изобретением Сиейеса, или Камбасереса, или Талейрана — она была порождена историческими условиями, само их развитие поставило ее в повестку дня. Это было требование дня, понятно, требование имущих классов — буржуазии, собственнического крестьянства, и именно они в то время и направляли развитие событий.

Однако в приведенных выше словах Сиейеса нетрудно уловить не высказанную прямо, но вполне, ощутимую мысль. Переворот был произведен 18-го Сиейесом, а 19-го узурпирован Бонапартом. 18-го власть была в руках Сиейеса, а Бонапарт был только нужной ему шпагой, а 19-го шпага вышла из повиновения: она сама стала властью. За этой мыслью скрывается и иная: 18-го власть была гражданской, 19-го она перешла в руки военных.

И этот ход мыслей призван увести от действительности и породить неправильные представления. Он опровергается прежде всего фактами.

События 18—19 брюмера существенно отличались от ряда родственных им по содержанию событий прежде всего тем, что они были бескровным переворотом. В своем роде это было нечто уникальное в истории

Франции. 13 вандемьера правительственная власть, чтобы сломить враждебный ей мятеж, должна была прибегнуть не только к саблям и ружьям, но и к тяжелой артиллерии. Генерал Бонапарт, командовавший тогда правительственными войсками, расстреливал мятежников картечью. 18—19 брюмера та же правительственная власть при первом же соприкосновении с мятежниками, возглавляемыми на сей раз тем же Бонапартом, рухнула, не произведя ни одного выстрела в свою защиту. Не было ни одного убитого или даже раненого с обеих сторон. Не было ни одного выстрела! То был действительно переворот «в лайковых перчатках», как принято было говорить в XIX веке.

Как это могло произойти? Следует ли объяснять это тем, что мятежников возглавлял генерал Бонапарт? Лишь самые фанатичные поклонники «наполеоновских легенд» решились бы поддержать такую версию. Объяснение этому нужно искать в ином. Режим Директории настолько изжил себя, настолько оторвался от всех поддерживавших его ранее социальных сил, что рухнул от первого толчка.

Хорошо, скажет иной читатель, режим Директории действительно изжил себя, он не имел больше сил, чтобы оказывать сопротивление. Но почему против мятежников не восстали истинные республиканцы — «последние якобинцы», люди, искренне преданные демократии и свободе?

Такая постановка вопроса была бы законной, и ее действительно нельзя оставить без ответа. Было бы неверным подстригать всех якобинцев 99-го года под одну гребенку, видеть в них политиков прошлого или фразеров, не способных на смелые действия. Среди участников собраний в Манеже, среди «последних якобинцев» были люди честные, мужественные, готовые идти навстречу опасности. Антонель, Феликс Лепелетье, Марк-Антуан Жюльен, Друе, Фике, Фион — бывшие участники бабувистского движения, политические бойцы железного закала, умевшие смотреть смерти в лицо, где они были 18—19 брюмера? Почему они не встали стеной, не преградили путь организаторам переворота? Их голос не был слышен в эти дни, и это не было, конечно, случайным.

Кого должны были бы они защищать? Убийц Робеспьера? Палачей Бабёфа? Душителей народной сво-

боды? Воров и казнокрадов, мздоимцев и спекулянтов, наживших состояния на народной нужде? Преступники, прикрывавшиеся красной тогой народных представителей, были столь чужды и враждебны Республике, чье имя они узурпировали, что ни у одного из истинных демократов не возникало желания сражаться ради сохранения их власти.

Народ, уволенный в отставку, по перефразированному выражению Редерера, оставался в стороне безмолвным зрителем. «Последние якобинцы», даже верные своим идеалам, были в растерянности, они не знали, куда идти. После стольких крушений, разбитых иллюзий, обманутых надежд, несбывшихся мечтаний к чему стремиться? Что искать?

Политические блуждания Марка-Антуана Жюльена, так мастерски воспроизведенные В. М. Далиным в его этюде о бывшем юном друге Максимилиана Робеспьера[18], не были только его личной трагедией. То была трагедия поколения, трагедия двадцатилетних, вступивших в революцию, когда она была уже на ущербе, когда над ней уже поднимался меч термидора.

В решающие часы 18—19 брюмера «последние якобинцы» остались вне борьбы. Иные из них, как, например, Жюльен, поддались даже на время бонапартистским увлечениям; они так хотели увидеть осуществление своих мечтаний, что готовы были принять желаемое за сущее. Другие просто отошли в сторону. Они не хотели помогать ни Баррасу, ни Сиейесу, ни Бонапарту; они отдавали себе отчет в том, что основной поток событий проносится где-то в стороне; им нечего было больше делать; они готовы были смешаться с толпой.

Вещи должны быть названы своими именами: переворот 18—19 брюмера не встретил сопротивления народа, он не встретил сопротивления ни справа, ни слева. Этот самый бескровный из всех государственных переворотов был логическим и закономерным этапом послетермидорианской истории.

Эту сторону надо принять во внимание, так как она объясняет, почему в дни 18—19 брюмера не возникла необходимость в диктаторе, в каком-то первом лице, сосредоточившем в своих руках всю полноту власти. И 18 и 19 брюмера, и даже некоторое время спустя

власть оставалась коллегиальной. Как уже отмечалось выше, в официальном постановлении 19 брюмера о трех консулах первым был назван Сиейес. Бонапарт, имевший право по алфавиту быть названным первым, оказался в постановлении третьим. Следовательно, формально и 19 брюмера, как и 18-го, первенствовала гражданская власть...

Но если попытка расчленить государственный переворот на два различных акта должна быть отвергнута как противоречащая фактам, то вместе с тем остается бесспорным, что главным действующим лицом переворота и 18-го и 19-го был Бонапарт. В руках Бонапарта была вооруженная сила — армия, и это имело решающее значение. Хотя участники переворота и пытались провести его в конституционных формах, успех задуманного обеспечивался тем, что за спиной действующих на парламентской сцене лиц, в тени Тюильрийского сада или парка Сен-Клу, стояли наготове десять тысяч солдат, ожидавших приказа. И когда в Сен-Клу выяснилось, что строго легальный вариант не проходит, вмешательство гренадеров в несколько минут решило то, что не удалось достичь уговорами и речами.

Но армия приобретала решающее значение и в более общем смысле. В реальных исторических условиях Французской республики VIII года, десять лет спустя после начала Великой буржуазной революции, пять лет после 9 термидора, в обстановке внутренних волнений и войны со второй коалицией утверждение нового буржуазного порядка (а никакой иной, более прогрессивный был тогда невозможен) могло быть осуществлено с помощью армии.

Главным экономическим и социальным содержанием минувших революционных лет было перераспределение собственности и соответственно изменение ее характера. Количественные подсчеты в общенациональном масштабе и сейчас еще не завершены, а локальные исследования показывают множество частных отклонений[19]. Однако общее направление этих процессов не вызывает сомнений. Оно означало победу буржуазной собственности над феодальной, значительное расширение и укрепление капиталистической собственности, создание нового, многочисленного класса свободных крестьян — мелких землевладельцев.

Это перераспределение собственности в глазах сов-

ременников не представлялось окончательным. Новые собственники, созданные революцией, не были достаточно уверены в прочности приобретенного. Они опасались с должным основанием, что их новую собственность попытается отобрать ее бывший владелец. Семь лет длившаяся война с коалицией европейских держав и роялистские мятежи шуанов доказывали, что эта опасность не устранена, она остается большой, грозной и что для ее устранения или хотя бы ослабления есть только одно средство — вооруженная сила. Новые владельцы — буржуазия и собственническое крестьянство — страшились также опасности слева — «аграрных законов», бабувистского «равенства», возврата к жестокой политике 1793—1794 годов — твердых цен, реквизиции, запрета свободной торговли и пр. Хотя реально на том уровне экономического развития — мануфактурной стадии капитализма буржуазная и крестьянская собственность не могла подвергаться серьезной опасности слева хотя бы потому, что еще не доросли силы для такой атаки, психологически угроза слева казалась не менее страшной, чем угроза справа.

Защитить, отстоять и утвердить произведенное перераспределение собственности, укрепить новых владельцев — буржуа, крестьян — в их приобретениях могла только сильная армия. Наконец, в процессе складывания и формирования нового, буржуазного государства вооруженные силы — армия и полиция — становились его существенным элементом.

Так, в конкретно-исторических условиях Франции конца XVIII века самим ходом вещей армия выдвинулась на первое место. В поединке Сиейеса и Бонапарта, незримо для окружающих начавшемся еще до 18 брюмера, с того момента, как они стали союзниками, победа была заранее обеспечена Бонапарту. И до, и во время, и после событий 18 брюмера Сиейес все время находился на первом плане — и Бонапарт легко, без возражений шел на это, и все-таки истинным руководителем переворота оставался Бонапарт. В его руках была реальная сила — армия, и это все определяло. Поражение Сиейеса было предрешено.

Современники называли событие, положившее конец режиму Директории, «революцией 18 брюмера». Это

выражение «революция 18 брюмера» можно было встретить в газетных отчетах и полицейских донесениях, в официальных сообщениях о происшедшем, его употребляли даже люди, далекие от политики[20]; это было первоначально общепринятое обозначение совершившегося.

Революция 18 брюмера... Революция? Но кто же мог в это поверить?

Конечно, и в ту пору находились простаки либо плохо информированные и не разобравшиеся в происшедшем люди, которые склонны были принимать ходячие слова за чистую монету и видеть в событиях 18—19 брюмера какой-то новый шаг в революции или к революции; например, генерал Лефевр — солдат, рубака — писал через несколько дней после переворота генералу Мортье: «Эта удивительная и благородная революция прошла без всяких потрясений... Общественное мнение на стороне свободы; повторяются лучшие дни французской революции... Мне казалось, что я снова переживаю 1789 год... На этот раз ça ira, я вам за это ручаюсь»[21]. Конечно, то были крайне наивные рассуждения неискушенного в политике генерала из солдат. Человек, которого никак не назовешь простаком, Бертран Барер, бывший член Комитета общественного спасения, скрывавшийся в подполье под Парижем, после переворота написал Бонапарту письмо, в котором заявлял о своем присоединении к новому режиму и предлагал консулу проект весьма демократической конституции *. Что это означало — пробный шахматный ход многоопытного политического дельца или иллюзии оторванного от жизни человека, вынужденного довольствоваться отрывочными сведениями, проникающими в подполье? Может быть, и то и другое.

Но умонастроения такого рода были все-таки исключением. Большинство современников событий пользовалось выражением «революция 18 брюмера» совсем в ином смысле. Для большинства это было лишь общеупотребительной политической терминологией той эпохи. «Революция 18 брюмера»? А как же сказать иначе? Ведь и контрреволюционный переворот 9 тер-

* Письмо Барера было опубликовано в «Moniteur» (18 frimaire an VIII).

мидора официально и в политических выступлениях тех лет именовался «революцией 9 термидора». «Революция 9 термидора», «революция 18 фрюктидора», «революция 18 брюмера»... Это была условная, обязательная в Республике форма обозначения политических переворотов, завершившихся победой.

Реальное содержание событий 18—19 брюмера оценивалось современниками совсем иначе, чем они звучали в официальной терминологии. Непосредственная реакция имущих классов на государственный переворот была точно зафиксирована в кратком газетном сообщении, опубликованном сразу же после происшедших событий: «Совершившиеся изменения встречены с удовлетворением всеми, кроме якобинцев. В особенности им аплодируют негоцианты; возрождается доверие; восстанавливается обращение; в казну поступает много денег»[22].

В социальном анализе бонапартистского режима эта краткая запись хроникерского дневника три дня спустя после переворота весьма существенна. Впрочем, не было недостатка и в более детальных и обоснованных свидетельствах.

Знаменитый банкир Неккер, один из самых богатых людей Франции, через десять дней после переворота, 28 брюмера, писал своей дочери госпоже де Сталь: «И вот полная перемена сцены. Будет сохранено подобие Республики, а полнота власти будет в руках генерала. ...Я убежден, что новый режим даст многое собственникам в правах и силе»[23]. Бывшему государственному контролеру финансов нельзя было отказать в проницательности.

В статье, опубликованной в «Moniteur» спустя пять дней после переворота и расклеенной в виде плаката на улицах Парижа, приписываемой гражданину Реньо (Regnault), отчетливо формулировались ожидания или, может быть, даже требования, предъявляемые буржуазией к новой власти. Статья ставила коренной вопрос: изменится ли Республика к лучшему? «Будут ли дальше повторять старые ошибки или будут иметь храбрость их признать и исправить? Будут ли и дальше следовать политическим предубеждениям, вводившим в заблуждение наше законодательство, наше правительство? Или окажутся способными понять и найдут силы, чтобы осуществить наконец великие либеральные

идеи, твердые принципы, прочные основания общественной организации?»[24]

Что это значило? Статья ясно давала понять, что́ требует сейчас крупная буржуазия. Она не только осуждала существующий режим «правителей без талантов и принципов», живущих в мире страстей и преступлений, которые они не в силах ни пресечь, ни покарать. Она прямо указывала на то, что́ должно быть исправлено. Она осуждала «прогрессивные налоги, нарушающие право собственности», бедствия несчастных рантье, тщетно пытавшихся получить причитающееся им из казначейских касс, опустошенных беспорядками и глупостью, гражданскую войну, разоряющую страну. «У нас нет ни конституции, ни правительства; мы хотим и то, и другое... Франция хочет нечто великое и прочное. Отсутствие стабильности ее погубило; она требует устойчивости... Она хочет, чтобы ее представители... были бы мирными консерваторами, а не неугомонными новаторами... Она хочет, наконец, собрать плоды десятилетних жертв»[25]. Яснее выразиться было нельзя. Это была программа стабилизации буржуазного строя, требование твердого, прочного буржуазного «порядка».

18 брюмера во внутриполитической истории Франции было, конечно, не революцией, а контрреволюцией. Точнее будет сказать, что 18 брюмера означало новый этап в развитии буржуазной контрреволюции, начатый 9 термидора. Связь 18 брюмера с 9 термидора несомненна. Остается и ныне, как и раньше, вполне беспредметным вопрос, охотно задаваемый апологетами нового режима, установленного 18 брюмера: разве Бонапарт не выше Барраса? Разве режим консульства и империи не лучше режима термидорианцев и Директории?

Моральные оценки, всегда субъективные и спорные, вряд ли должны быть привносимы в историческую науку. Важнее сравнительно-оценочных суждений точное определение исторической детерминированности процесса общественного развития. Генетическая связь 18 брюмера с 9 термидора очевидна, ибо оба этих государственных переворота означали определенные ступени в процессе подавления и подчинения народа, с помощью которого буржуазия сломила феодально-абсолютистский строй и пришла к власти.

Мысль Альбера Собуля, утверждавшего, что «брюмер находится на той же линии, что и термидор и восемьдесят девятый год»[26], можно в общем понять. Однако это суждение может быть правильным, если в него будет внесена существенная поправка: эта линия не была неизменной, одной и той же. С 89-го по 94-й год, с 14 июля по 9 термидора революция развивалась по восходящей линии. 9 термидора революция была оборвана, и началось развитие по нисходящей линии — линии буржуазной контрреволюции.

Но если по отношению к французскому народу, пять лет творившему революцию и сокрушившему всех ее врагов, пять лет последующей истории Французской республики (1794—1799 годы) были временем буржуазной контрреволюции, то в международном аспекте, то есть с точки зрения отношений между буржуазной Францией и феодально-абсолютистской Европой, положение было совсем иным. Буржуазная Франция в единоборстве с монархиями первой и второй коалиций выступала, конечно, как передовая, как прогрессивная сила.

Маркс и Энгельс писали в «Святом семействе»: «*Наполеон* был олицетворением последнего акта борьбы *революционного терроризма* против провозглашенного той же революцией *буржуазного общества*... Он *завершил терроризм, поставив* на место *перманентной революции перманентную* войну. Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской нации, но требовал также, чтобы дела буржуазии, наслаждения, богатство и т. д. приносились в жертву всякий раз, когда это диктовалось политической целью завоевания»[27]. Нам придется позднее возвращаться к этой замечательной характеристике Наполеона и созданного им режима. В этих сжатых и выразительных формулах Маркса и Энгельса была определена суть наполеоновского порядка. В рассматриваемой связи важно обратить внимание прежде всего на одну лишь сторону. Переворот 18 брюмера закреплял созданное революцией буржуазное общество во Франции и призван был в дальнейшем силой оружия сломить казавшиеся неприступными бастионы феодально-абсолютистского строя в Европе и проложить пути распространению буржуазных отношений на континенте. Л. Н. Толстой был верен исторической правде, когда, начиная свой

знаменитый роман сценой политической беседы в салоне фрейлины русской императрицы Анны Павловны Шерер в июле 1805 года, вкладывал в уста Анны Павловны негодующие речи против «гидры революции», которая стала «теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея»[28] Под «этим убийцей и злодеем» фрейлина русской императрицы подразумевала предпочтительно непроизносимое имя Наполеона Буонапарте.

Первый консул

Луи-Жером Гойе, президент Директории, низвергнутой государственным переворотом 18—19 брюмера, рассказывал, что на протяжении многих часов последнего критического дня возле дворца Сен-Клу стоял экипаж, запряженный шестеркой лошадей, поджидавший пассажира. То был экипаж Сиейеса. Предусмотрительный государственный сановник, присоединившийся к мятежу, считал необходимым на случай неудачи иметь наготове карету, которая могла бы его быстро умчать подальше от места роковых событий[1].

Но лошади не понадобились. Удавшийся переворот стал победоносной «революцией 18 брюмера». Сиейесу оставалось только собрать обильные плоды, созревшие за несколько часов.

Важный, солидный, полный сознания собственной значительности, Сиейес не спеша направлялся на первое заседание трех консулов, назначенное на 20 брюмера в полдень в здании Люксембургского дворца. У него были все основания оптимистически оценивать вероятное развитие событий. Естественным ходом вещей он наконец оказался на вершине государственной власти. Его коллеги по консулату не представлялись опасными соперниками. Ничтожество Роже Дюко было очевидным, он в счет не шел. Генерал же, которого Сиейес, по правде говоря, немного побаивался, оказался слабее, чем можно было ожидать. В Сен-Клу он показал себя слабонервным, был подвержен обморокам — можно ли было ожидать подобное от солдата? Этого неврастеника нетрудно будет поставить на место.

Но когда консулы собрались за тем же столом, где три дня назад заседала Директория, все неожиданно пошло как-то иначе. Роже Дюко, задетый высокомерной пренебрежительностью Сиейеса, предложил председательствовать Бонапарту. Генерал согласился и сразу же взял вожжи крепко в руки. Впрочем, поняв без труда волновавшие Сиейеса чувства, он тут же предложил, чтобы консулы председательствовали по очереди, по алфавиту.

Первые недели после переворота так оно и шло; три консула были равны, все правительственные распоря-

жения выходили за тремя подписями; то была, по всей видимости, коллегиальная власть. В глазах общественного мнения если кто из консулов и имел какие-то преимущества, то это был, конечно, Сиейес. Его репутация политика дальнего прицела, государственного лидера, знатока конституционных проблем после 18 брюмера еще более возросла. Его считали истинным хозяином новой власти; в Бонапарте видели скорее правую руку, исполнителя предначертаний Сиейеса.

Генерала это как будто мало заботило. Он держался по-прежнему подчеркнуто скромно, сменил военный мундир на гражданский сюртук, показывался публично только в обществе своих коллег Сиейеса и Дюко, не выступал, намеренно оставался в тени.

Что же это было? Хитроумная политика дальнего расчета? Вряд ли. У Бонапарта едва ли был в ту пору сколько-нибудь продуманный план действий, рассчитанный на длительный срок. В этой скромности, сговорчивости, примирительном тоне, так прочно усвоенном Бонапартом на другой день после брюмера, следует видеть скорее все тот же безошибочный инстинкт актера импровизации, интуитивно находящего соответствующие моменту слова, жесты, интонации.

Бонапарт понимал: после только что пережитого потрясения, после насилия над Законодательным корпусом 19 брюмера, которое невозможно было скрыть, страна нуждалась в успокоении. Мир, спокойствие, стабильность — вот что требовало большинство, вот что стало повелительной задачей времени на другой день после брюмера. Это соответствовало в какой-то мере и личным настроениям Бонапарта. Со времени крушения грандиозных планов под стенами Сен-Жан д'Акра, на протяжении всей второй половины 1799 года — последнего года восемнадцатого столетия, Бонапарт все время вел игру на острие ножа — на грани поражения. Так было в Сирии, Египте, Средиземном море на утлом суденышке «Мюирон». Так было несколько дней назад, 19 брюмера, на заседании Совета пятисот в Сен-Клу. Он выигрывал в конечном счете, но в самый последний миг, когда он уже перегибался над краем пропасти и вырванный в последний момент выигрыш спасал его от гибели, казалось уже неотвратимой. Наверно, в его ушах в эти дни ноября все еще стоял и пронзительный гортанный клекот страшных птиц в сирийской пустыне,

и хриплые возгласы: «Вне закона!», «Вне закона!», преследовавшие его в минуты унизительной слабости в кипящем страстями зале Сен-Клу. Нужна была пауза, успокоение.

Фуше, торопившийся возместить свою бездеятельность в дни переворота решительностью в репрессиях против своих былых собратьев-якобинцев, арестовал депутатов Совета пятисот, противившихся перевороту. В их числе были генерал Журдан, Феликс Лепелетье, Антонель и другие видные якобинцы. Фуше надеялся угодить новым хозяевам. Он просчитался. На заседании консулов по предложению Бонапарта эти репрессивные меры были отменены, большинство арестованных было освобождено, а Журдану Бонапарт написал дружественное письмо, в котором выражал надежду на сотрудничество с героем Флерюса[2].

Новая власть — консулат — проявила великодушие не только к своим противникам слева — якобинцам, но и к противникам справа — роялистам. Находившаяся в заключении большая группа роялистов, с трепетом ожидавших смертной казни, была выслана за пределы Республики. Были отменены закон о заложниках, закон о принудительном займе, вызывавшие недовольство состоятельных людей. Репрессивные законы фрюктидора были также отменены. Возвратившийся в Париж Карно был встречен с почетом; он снова стал членом Института, и вскоре же Бонапарт предложил ему соответствовавшую его заслугам должность военного министра Республики[3].

Новое правительство проявило внимание и заботу к ветеранам войны. Великолепный Версальский дворец — резиденция «короля-солнца» и его преемников на троне — был отдан солдатам-инвалидам, сражавшимся под знаменами Республики. В постановлении трех консулов 28 ноября 1799 года подчеркивался республиканский характер этой меры: «Бывшая обитель королей... должна стать спальней солдат, проливавших свою кровь, чтобы низвергнуть монархов»[4].

Не следует забывать, что французская армия в те годы была на девять десятых крестьянской. Жак-простак с деревянной ногой в покоях Марии-Антуанетты или в зеркальной галерее французских королей — что могло быть популярнее подобной правительственной меры в крестьянской стране? И армия и деревня

рукоплескали «маленькому капралу», приписывая ему одному закон, так льстивший наивному тщеславию крестьян.

Новая власть проявила подчеркнутое уважение и к ученым. Стремясь к укреплению стабильности, консулы старались не производить перемещений в министерствах. Большинство министерских портфелей осталось за прежними министрами. Исключение касалось лишь самых важных постов. Военное министерство было поручено Александру Бертье; это был домен Бонапарта, и казалось естественным, что руководство армией генерал-консул может доверить лишь близкому ему человеку. Во главе министерства финансов по предложению Сиейеса был поставлен Годен. Этот выбор не отражал никаких персональных пристрастий; Годен был как бы человеком без лица; он проработал много лет в казначействе и имел репутацию крупного специалиста в финансовых вопросах, человека вне политики, вне личных привязанностей. Еще ранее ему предлагали пост министра финансов, но он отказался. «Если нет финансов и нет способа их раздобыть, то должность министра бесполезна»,— говорил он. После брюмера ввиду катастрофического состояния совершенно опустевшей казны эта должность была ему навязана почти в приказном порядке. Он занимал ее с тех пор в течение пятнадцати лет непрерывно[5]. Наконец, третье назначение было, пожалуй, самым экстравагантным. Пост министра внутренних дел, самый ответственный министерский портфель, был поручен знаменитому астроному, математику и физику Пьеру-Симону Лапласу.

Идея эта принадлежала Бонапарту. Он питал глубочайшее уважение к выдающемуся французскому ученому, с которым поддерживал дружеские отношения. Лаплас ему импонировал и широтой своих взглядов. Хорошо известен ответ Лапласа на вопрос Бонапарта о причинах отсутствия в его системе небесной механики бога. «При построении теории солнечной системы я не нуждался в гипотезе существования бога»[6],— небрежно ответил ученый. Бонапарт не забывал также, что Лаплас был его благосклонным экзаменатором в Парижской военной школе и поддерживал его кандидатуру при выборах в Институт. Наконец, предлагая ученому этот ответственный пост, Бонапарт этим

актом подчеркивал свое уважение к Институту, к науке, к ученым в целом.

К несчастью для Бонапарта, знаменитый астроном, с успехом в течение многих лет выполнявший обязанности председателя Палаты мер и весов, оказался совершенно неподходящим для должности министра внутренних дел. Шести недель было вполне достаточно, чтобы убедиться в полной неспособности ученого к административному руководству. С Лапласом пришлось расстаться, и в компенсацию Бонапарт назначил его сенатором, а позже дал ему титул графа, по человеческой слабости принятый этим крестьянским сыном. Впрочем, все это было позже. В брюмере же VIII года назначение члена Института, астронома и физика министром внутренних дел произвело на современников большое впечатление.

Это были все отдельные звенья той же политики успокоения и примирения, провозглашенной новым правительством. Оно отказывалось от всякой узкой партийности. Чтобы сплотить вокруг консулата широкое и прочное большинство, нужно было решительно покончить с политикой котерий и клик, групповых пристрастий и интересов. Бонапарт с его изобретательным умом быстро нашел новый собирательный лозунг, под которым можно было объединить большинство народа. В письме к Бейцу 3 фримера (24 ноября 1799 года), через две недели после переворота, он отчетливо сформулировал новый лозунг:

«Присоединяйтесь все к народу. Простое звание французского гражданина сто́ит несомненно много больше, чем прозвища роялиста, приверженца Клиши, якобинца, фельяна и еще тысячи и одного наименования, которые убаюкивают дух клик и в течение десяти лет ускоряют путь нации к пропасти, отчего пришло время ее навсегда спасти»[7].

Партийной разделенности, размежеванию на «патриотов» и «аристократов» Бонапарт противопоставлял объединяющее знамя французов. «Франция»... «французский флаг», «французы» — это и были те широкие, надпартийные понятия, вокруг которых Бонапарт стремился объединить и сплотить большинство нации. И эти лозунги пришлись по вкусу большинству. Сплочение и консолидация нации под французским знаменем! Это была широкая платформа, на которой прави-

тельство консулата рассчитывало объединить широкие общественные слои, разделенные до сих пор непримиримой враждой. Преодоление розни, отказ от нетерпимости становились необходимым условием осуществления этой программы национального сплочения.

«Ни красных колпаков, ни красных каблуков!» — эти слова, произнесенные Бонапартом или приписанные ему, но так или иначе выражавшие его мысли, приобрели огромную популярность *. Они воспринимались как отказ от политики крайностей, отказ от поддержки якобинизма и роялизма. В этом видели прежде всего внепартийность брюмерианского режима, его нежелание оказывать поддержку какой-либо одной партии. Пройдет какое-то время, и в этом увидят еще и иное, ускользавшее от современников в первые дни желание новой власти быть не только вне партий, но и над партиями. Но об этом догадаются много позже.

А пока что в первые недели после брюмера, в последние дни последнего года XVIII века призыв к успокоению страстей, к объединению французов под национальным знаменем Франции воспринимался большинством населения с явным удовлетворением. Конечно, у мыслящих людей возникал вопрос: о какой, собственно, Франции идет речь? Правительство консулата и на этот вопрос старалось дать предельно ясный ответ. В воззвании «К французам» по поводу завершения работы над конституцией, написанном или продиктованном, вероятнее всего, самим Бонапартом, было сказано: «Конституция основывается на истинных принципах представительного режима, на священных правах собственности, равенства и свободы»[8]. В этих немногих словах была точно определена классовая природа власти, утверждаемой брюмерианским режимом. Было вполне очевидно, что речь шла не о Франции белого знамени Бурбонов и не о Франции «заговора равных» Бабёфа, а о Франции трехцветного знамени Республики, о новой Франции, о буржуазной Франции.

«Собственность, равенство и свобода» — разве это не были основные принципы нового общественного строя,

* Напомним, что красный фригийский колпак был традиционным символом санкюлотов, а красные каблуки — принадлежностью туалета дворян.

созданного революцией? Правда, современникам было нетрудно заметить, что «священное право собственности» в Декларации прав человека и гражданина 1789 года, составлявшее 17-ю статью, а в якобинской Декларации 1793 года ютившееся где-то на задворках, теперь, в программных заявлениях брюмерианского режима, перешло на авансцену, заняло первое место в числе «священных прав». Что ж, это вполне отвечало природе буржуазной Франции и общему ходу исторического развития конца XVIII столетия. Могла ли в ту пору идти в ногу с закономерным движением века иная Франция, кроме Франции буржуазной собственности?

Пауза, необходимость которой Бонапарт почувствовал на следующий же день после переворота, действительно внесла какое-то успокоение в умы и облегчила новому режиму его первые шаги. Даже самые проницательные люди поддавались в ту пору иллюзиям. Жюльен-младший, бывший соратник и друг Максимилиана Робеспьера, позже человек, близкий к Бабёфу, писал в конце брюмера VIII года, через десять дней после переворота: «Нужно признать, что новое правительство, состоящее из лиц, за которыми стоит общественное мнение, искусно принимает меры, наиболее пригодные к тому, чтобы примирить с ним умы»[9].

Так думал в те дни не только Жюльен, не только люди, участвовавшие в прошлом в левой политике, вроде Барера или Вадье. По-иному, следует признать, со значительно бóльшим основанием новый режим приветствовали и правые общественные силы. Непрерывный рост курса ценных бумаг с наибольшей доказательностью показывал, какие широкие надежды брюмерианский режим вызывал у крупной буржуазии. Успешно осуществленные консулатом займы у прижимистых банкиров и финансистов также давали тому подтверждение[10]. Даже крайне правые — роялисты, склонные вообще необоснованно, в силу одной лишь слепой веры в их «божественные права», всегда ожидать быстрых перемен в свою пользу, и те возлагали надежды на новый режим. Словом, призыв брюмерианского правительства к сплочению и примирению был встречен явным одобрением, хотя и по несовпадающим мотивам, разными общественными кругами Франции.

Но пауза, наступившая в стране после горячих дней брюмера, не могла быть длительной. Ее должны были

взорвать острые противоречия, не уничтоженные переворотом 18 брюмера, а лишь временно притупленные усилиями брюмерианского правительства. Ранее всего должны были всплыть наружу противоречия, заложенные в самом режиме временного консулата. Уже по одному тому, что режим был временным — старая конституция была уничтожена, а новая еще не принята, он не мог долго функционировать в таком виде. Но за этой чисто формальной стороной скрывались вполне реальные противоречия двух разных линий внутри консулата — линии Сиейеса и линии Бонапарта. Эти люди, вынужденные в силу временно совпадавших интересов идти вместе во время брюмерианского переворота, вскоре же стали соперниками. Поскольку каждый из них претендовал на первую роль, столкновение было неизбежно. Оно отодвигалось, и даже соперничество всячески маскировалось формальной учтивостью — надо было считаться с общественным мнением, но неотвратимость столкновения осознавалась обеими сторонами.

Первое прощупывание позиций произошло в ближайшие дни после переворота. Как рассказал о том Бонапарт, это же подтверждал позднее Гойе, когда оба консула — Сиейес и Бонапарт — остались как-то вдвоем в зале заседаний Директории, Сиейес, оглядываясь по сторонам и понизив голос, обратился к генералу с неожиданным вопросом: «Посмотрите на эту прекрасную мебель, можете ли Вы догадаться о ее стоимости?» — И он показал на какое-то подобие старого комода. Бонапарт недоумевал. «Я Вам объясню — в нем скрыто восемьсот тысяч франков!» — с величайшим оживлением и с округлившимися глазами воскликнул Сиейес. И так же шепотом он рассказал, что эта сумма была приготовлена для того, чтобы компенсировать членов Директории, покидающих свой пост. «Директории больше нет. И вот — мы обладатели этой суммы. Что же мы будем делать?»

Но Бонапарт не был так прост, чтобы попасться в расставленную мышеловку с приманкой в несколько сот тысяч франков.

«Если я об этом знаю, то сумма поступит в государственную казну,— ответил он, не задумываясь,— но если мне это неизвестно, а пока это еще так, вы можете ее разделить — вы и Дюко, так как вы оба были дирек-

торами. Но только торопитесь! Завтра будет уже поздно».

Сиейесу не пришлось дважды напоминать. Он тут же завладел добычей и «разделил ее,— добавлял Наполеон,— как в басне о льве». Он взял себе шестьсот тысяч франков, а Дюко оставил двести тысяч[11]; последний, впрочем, жаловался Гойе, что на руки он получил всего сто тысяч[12].

Но это была лишь первая проверка сил сторон; к тому же для Сиейеса здесь примешивались денежные интересы, имевшие всегда едва ли не первенствующее значение. Развязка наступила при решении вопроса о новой конституции. Подготовка конституции была поручена двум комиссиям, в составе которых было немало опытных людей — Дону, Редерер, Буле де ла Мерт и другие, но признанным авторитетом конституционных вопросов, а потому и фактическим руководителем комиссий был Сиейес. Престиж Сиейеса как крупнейшего теоретика конституционного права был так велик, что, когда на заседаниях он только открывал рот, все ожидали, что сразу же польются законченные, отшлифованные статьи Основного закона Республики. Но время шло, заседание проходило одно за другим, а Сиейес был все еще не в состоянии представить ничего связного. Он сумел лишь выдвинуть общую формулу — «Власть должна исходить сверху, а доверие — снизу», которая, несмотря на все придаваемое ей значение, в сущности оставалась пустой фразой.

Все же с помощью Буле де ла Мерта, Редерера и Дону Сиейес наконец представил проект конституционного устройства с чрезвычайно сложной и искусственной системой расщепления органов законодательной власти и не менее замысловатой системой исполнительной власти. Вершина исполнительной власти должна была быть воплощена в лице «великого электора». Это первое лицо в государстве — излюбленное детище сиейесовской законодательной фантазии — было поднято до уровня монарха: ему надлежало жить во дворце в Версале, получать пять миллионов франков в год, быть окруженным роскошью и почестями и править страной через посредство подчиненных ему консулов. Позже, во втором проекте, Сиейес внес уточняющие дополнения: консулы должны иметь разные функции — «консул войны» и «консул мира», то есть компетенция одного

была бы ограничена военными вопросами, другого — гражданскими делами.

Наконец-то сложные замыслы Сиейеса приобрели зримые очертания. Скрытно проходившая борьба двух консулов вступала в заключительную стадию. Членам конституционных комиссий было также понятно, что реальное значение имеют не отвлеченные рассуждения о принципах права, а расстановка мест в будущем государственном механизме. Проекты Сиейеса предназначали Бонапарту второстепенную роль — «консула войны»... Что ж, Бонапарт поднял брошенную ему перчатку... На заседании комиссии, которая, поддаваясь авторитету Сиейеса, была склонна обсуждать уже всерьез его проекты, Бонапарт высмеял их. Должность «великого электора» он подверг резкой критике, он сравнил ее «с боровом, поставленным на откорм». Ради этого ли был совершен великий день 18 брюмера? Он уничтожил сиейесовский проект самым острым оружием — иронией, насмешкой. Сиейес пытался было возражать; Бонапарт показал — пока лишь показал — стальные коготки, и автор афоризма о «власти, исходящей сверху» счел благоразумным замолчать: у него уже был опыт по этой части[13].

Бонапарт взял дело в свои руки. В течение нескольких дней с теми же членами комиссий он составил, вернее сказать, продиктовал им основные положения новой конституции. Именно тогда он произнес свою знаменитую фразу: «Пишите коротко и неясно».

Конституция 22 фримера VIII года (13 декабря 1799 года) полностью отвечала этой директиве. Она была на самом деле и короткой и неясной. В отличие от предшествующей конституции III года (1795 год), насчитывавшей триста семьдесят семь статей, конституция, составленная под руководством Бонапарта, была почти в четыре раза короче — в ней было всего девяносто пять статей. Это был сухой, сугубо деловой документ, написанный явно наспех и в общем не очень даже похожий на Основной закон государства. Нарушая установившуюся традицию конституционных актов 1791,1793 и 1795 годов, содержавших прежде всего Декларацию прав человека и гражданина, конституция VIII года не имела ни Декларации, ни какого-либо упоминания о правах вообще. Собственно, единственным принципиальным положением общего характера

была вводная формула к статье 1-й конституции «Французская республика — едина и неразделима». Большинство остальных статей имело сугубо практический характер, порой приближаясь к протокольной записи. Так, например, один из абзацев 39-й статьи сообщал, что «конституция назначает первым консулом гражданина Бонапарта...» и вторым и третьим консулами — граждан Камбасереса и Лебрена. Вероятно, это был первый случай в истории конституционного права, когда «конституция назначала» (?!) на десять и шесть лет определенных, по фамилиям названных лиц.

Вторая часть директивы — «пишите неясно» — была также выполнена полностью. Конституция представлялась неясной и по форме изложения, и по крайне запутанной системе построения органов государственной власти. Из проекта Сиейеса Бонапарт взял то, что на первый взгляд казалось самым слабым,— его странные проекты расщепления законодательной власти. Бонапарту, высмеявшему проект Сиейеса, это расщепление законодательных органов представлялось наиболее ценным. Конституция предусматривала создание четырех коллегиальных органов: Государственного совета, Трибуната, Законодательного корпуса и Сената, имевших каждый строго ограниченные функции и потому и в отдельности, и в совокупности обреченных на полное бессилие. Но это резкое умаление действительной роли представительных учреждений внешне компенсировалось показным демократизмом новой конституции. Вопреки намерениям членов конституционной комиссии повысить избирательный ценз Бонапарт с его быстрой ориентацией сразу понял политические невыгоды этих предложений. Ущемляя и фактически сводя на нет власть представительных учреждений и резко усиливая власть первого консула, Бонапарт понимал необходимость прикрыть эту крутую ломку сложившихся конституционных традиций покрывалом показного демократизма. Он настоял на восстановлении всеобщего (для мужчин) избирательного права. В этом проявились уже те особые черты политики бонапартизма, которые В. И. Ленин определял как стремление к лавированию между классами в условиях демократических преобразований и демократической революции[14]. В. И. Ленин подчеркивал, что бонапартистский режим вырастает на почве контрреволюционности бур-

жуазии[15]. Восстановив всеобщее избирательное право, что могло казаться смелым шагом вперед по сравнению с конституцией III года, Бонапарт рядом мер придал ему чисто фиктивный характер. Первичные собрания, являвшиеся важнейшей формой политической активности масс, были уничтожены. Плебисцит, проводившийся под контролем полиции, стал также фикцией.

Конституция фактически устанавливала режим личной власти. Права первого консула были определены, как и хотел того автор конституции, вполне неясно: «Первый консул наделен особыми функциями и полномочиями, которые он может временно дополнять в случае надобности при помощи своих коллег»[16]. При всей неопределенности этой статьи из нее все же можно было понять, что первый консул при желании может обладать неограниченной властью.

Единственная статья конституции, сформулированная совершенно четко и ясно, статья 43-я, гласила: «Жалованье первого консула с VIII года устанавливается в размере пятисот тысяч франков в год. Жалованье обоих других консулов равно трем десятым жалованья первого»[17].

Это была именно та статья, из которой все поняли реальный смысл свершившегося. Известен рассказ, переданный «La Gazette de France», о том, как воспринимал простой народ конституцию после того, как ее текст был оглашен на улицах и площадях глашатаями. Одна женщина говорила другой: «Я внимательно слушала, но ничего не разобрала». «А я,— отвечала другая,— не пропустила ни слова».—«Ну, так что же дает конституция?»—«Она дает Бонапарта».

В этих трех словах и была заключена правда, понятая наконец простыми людьми. Истинный смысл 18 брюмера раскрылся только в конце фримера — 13—15 декабря 1799 года, когда была опубликована и оглашена новая конституция.

Режим временного консулата кончился. Борьба Бонапарта и Сиейеса, незримо для посторонних проходившая в течение этих шести недель, завершилась полной победой первого. Но Бонапарт не хотел превращать Сиейеса в непримиримого врага и, устранив его от политического руководства, откупился, предоставив ему высокооплачиваемую должность председателя Сената. Эта должность передала в распоряжение Сиейеса вели-

колепный отель в предместье Сент-Оноре. Впрочем, бывший аббат, расположившись с удобствами в своем новом особняке и получая двести тысяч франков годового дохода, по-прежнему считал себя не оцененным человечеством. Но первому консулу он опасался выражать свое недовольство. Он его боялся. «Этот человек все знает, все хочет и все может!» — говорил Сиейес о Бонапарте.

Конституция VIII года устанавливала во Франции при сохранении республиканского строя и всех внешних форм национального суверенитета режим личной власти первого консула[18].

Означало ли это, как утверждают некоторые авторы, что уже тогда, в последние два месяца 1799 года, Бонапарт сознательно и целенаправленно прокладывал путь к императорской короне? Думаю, что в данном случае вполне можно согласиться с мнением Марселя Прело, утверждавшего: «В декабре 1799 года к такой цели никто не стремился и даже не предвидел такую возможность»[19].

Бонапарт пришел к власти, если так можно сказать, ощупью, самим ходом вещей, понятно подгоняемым его честолюбием. В стремительно развертывавшихся событиях конца 1799 года он действовал, как и на поле военных сражений: «Надо ввязаться в бой, а там будет видно». Он бежал из Египта, движимый лишь одним главным желанием — уйти от позора капитуляции, от поражения. Здесь действовал прежде всего инстинкт самосохранения. Рискуя в равной мере быть захваченным англичанами и преданным военному трибуналу своими соотечественниками за дезертирство, он счастливо миновал Сциллу и Харибду подстерегавших его опасностей, оказался в Париже в непредвиденно выгодной обстановке и сразу забыл о прошлом. Вчера он, лавируя и выгребая изо всех сил, плыл против течения, сносившего его в пучину; сегодня, с такой же энергией и отвагой, попав в самую стремнину потока, несшего его вперед, он умелыми действиями ускорял ход событий, не зная еще, куда волна его вынесет.

Превратившись из временного консула, равного в правах с двумя другими, во всемогущего первого консула, наделенного по конституции неограниченной властью, он почти не изменил своей манеры поведения, своего облика. Он продолжал жить в Люксембургском

дворце скромно, без всякой роскоши, на республиканский лад. Он ходил все в том же полувоенном мундире, и, глядя на этого худого, небрежно одетого, подвижного человека, непосвященный не поверил бы, что это знаменитый полководец, добившийся роли первого государственного лица Республики. И все же в одном из памфлетов против первого консула, в изобилии появлявшихся в то переходное время, было высказано суждение, которому нельзя было отказать в прозорливости: «Цезарь перешел Рубикон». То была правда. Наполеон Бонапарт, столько раз клявшийся, что он никогда не будет Цезарем, в последний месяц последнего года восемнадцатого столетия, добившись конституционного узаконения неограниченной власти первого консула, вступал в новое столетие Цезарем, перешедшим через Рубикон.

Утром 21 января 1800 года — первого года столетия — жители Парижа, спешившие кто на работу, кто по своим делам по всегда оживленному кольцу Больших бульваров, увидели величественное здание церкви Мадлен в непривычном убранстве. Портик собора был завешан огромным траурным покрывалом. Посреди его на черном фоне резко выделялись белый крест и белые лилии. Надпись под ними призывала всех, кто был жертвами революции, объединяться вокруг братьев Людовика XVI для отмщения.

21 января было днем седьмой годовщины казни бывшего французского короля. С беспримерной дерзостью в самом центре столицы Республики роялисты посмели призывать к мятежу.

В фешенебельных кварталах Парижа мюскадены в траурных костюмах или с черными перьями на шляпах медленно дефилировали по улицам: то была почти открытая манифестация в пользу роялизма[20].

Партия роялистов оттачивала ножи, в том не могло быть сомнения. Какая-то часть приверженцев королевского дома Бурбонов все еще питала надежды, что новый глава государства сыграет в истории Франции ту же роль, что в английской истории сыграл Монк. Эти иллюзии были не чужды и претенденту на трон. Отдавшись под могущественное покровительство российского императора, Людовик XVIII, как он себя офици-

ально именовал, из далекой Митавы, где он ютился со своим небольшим двором, живя на дотации Павла I, плел тонкую паутину интриг и заговоров[21]. В разных углах Европы люди коварные и отважные вроде Фротте или Жоржа Кадудаля продолжали тайную войну, не ослабевавшую ни на миг. Людовик XVIII направил первому консулу послание, воздававшее ему хвалу как великому полководцу и недвусмысленно предлагавшее завершить свой жизненный подвиг восстановлением законной монархии. Первое письмо было оставлено без ответа. Людовик XVIII написал второе. Но одновременно с этим почти дружеским обращением претендент в Митаве через доверенных лиц направлял тайные директивы во Францию и пограничные с ней страны разжигать огни мятежа и любыми средствами — отравленным кинжалом, ядом, растворенным в вине, или взрывом пороховых бочонков — убрать узурпатора с дороги.

Зоркий глаз Бонапарта все видел, все замечал. Письмо из Митавы пришло к нему с большим опозданием. Он ответил претенденту на трон коротко, вежливо, не вступая в полемику. Он писал ясно: «Вы не должны желать возвращения во Францию; Вам пришлось бы пройти через сто тысяч трупов»[22].

Он согласился принять в Люксембургском дворце эмиссаров роялистов — д'Андинье и Гида де Невилля. Продолжительная и острая беседа закончилась ничем. Бонапарт предложил вожакам шуанов прекратить борьбу и с генеральскими эполетами перейти на службу консульской республики. Они отказались, но в свою очередь убедились, что надежды привлечь Бонапарта к роли Монка совершенно беспочвенны.

Бонапарт дал приказ генералу Брюну, командующему силами, действовавшими против вандейцев, быстрее завершить операцию: кого можно — привлекать на свою сторону, кто не поддается уговорам — подавлять. К священникам он рекомендовал проявлять терпимость[23]. Но он спешил предостеречь: пусть никто не заблуждается на его счет — он не ищет славы добросердого миротворца. Он протягивает руку примирения — тем хуже для тех, кто ее не принимает. Он призвал подчиненных к решительности. В директиве генералу Гардану, командовавшему 14-й дивизией, действовавшей против шуанов, Бонапарт отчитывал его за

недостаток твердости, за слабость. «Торопитесь нести ужас и смерть в ряды разбойников»[24]. Это не были лишь слова: когда Фротте удалось захватить, его расстреляли. У первого консула была тяжелая рука, и это все должны были почувствовать.

Он зорко следил и за якобинцами, и за всеми левыми вообще. Сам бывший якобинец, он знал породу этих беспокойных и отважных людей и предвидел в скором будущем столкновение с ними или по крайней мере с частью из них. Пока что он еще вел с ними доверительные беседы: он хотел их приручить. 19 жерминаля VIII года (9 апреля 1800 года) он принял Марка Жюльена; он стремился завоевать его на свою сторону. «Я хочу укрепить Республику; без нее, я знаю, для меня нет ни спасения, ни славы»[25],— говорил он Жюльену. Со стороны могло казаться: то были беседы двух идейно близких людей, двух республиканцев. Но тайно Бонапарт приказал Фуше усилить наблюдение за своими бывшими товарищами по партии. Надзор усиливался за всеми. «Нужно установить порядок»,— говорил Бонапарт, а там, где устанавливался порядок, там возрастала роль полиции.

Полицию и сыск он поручил Жозефу Фуше. Он не любил этого молчаливого, вкрадчивого человека с бесстрастным, непроницаемым лицом. Он ему не доверял и испытывал что-то близкое к отвращению. Но он явственно видел, что этот священник-расстрига, бывший главарь неверских и лионских террористов, вчерашний эбертист и гонитель церкви, предавший и продавший уже стольких людей, будет беспощаден ко всем, кто связан с его прошлым. Фуше еще при Директории создал огромную, универсальную, безотказно работавшую машину полицейского сыска. «Уже не террор, а осведомленность олицетворяет власть во Франции 1799 года»[26],— писал Стефан Цвейг в своей блистательной, хотя и несвободной от фактических ошибок книге «Жозеф Фуше». «Машина 1792 года — гильотина, изобретенная, чтобы подавить всякое сопротивление государству, неуклюжее орудие по сравнению с тем сложным полицейским механизмом, который создал своими усилиями Жозеф Фуше в 1799 году»[27].

Бонапарт не мог пренебрегать этим неоценимым аппаратом, он поставил его на службу консулату. В том, что Фуше нельзя доверять, что в какой-то неизвестный

еще час он предаст, Бонапарт не сомневался. Он допускал, что уже в 1800 году Фуше в чем-то был неверен. Для этих подозрений были основания. Существует мнение, что Фуше расставил своих шпионов в ближайшем окружении Бонапарта, что он даже выуживал сведения от Жозефины. Но Бонапарт терпел его потому, что чувствовал себя сильнее опасного министра полиции. Во главе министерства внутренних дел, контролировавшего Фуше, он поставил своего брата Люсьена. Позже он поручит Рене Савари, адъютанту Дезе, ставшему после гибели Дезе одним из самых преданных Бонапарту людей, наблюдение за Фуше и его аппаратом. Так были созданы две полиции: могущественная тайная полиция Фуше, охватившая своими щупальцами все сферы общественной и частной жизни французов, и над ней — невидимая, незримая контрполиция Савари, зорко следившая за каждым шагом Фуше, могущество которого до какой-то степени становилось иллюзорным.

Этот чудаковатый солдат, которого Баррас имел наивность когда-то называть «простачком», оказался много сложнее, много тоньше и изобретательнее, чем это подозревали даже его самые проницательные враги. В политике, как и на поле сражения, он не боялся идти на обострение положения, на самые рискованные предприятия. Он заставлял себе служить людей, которым заведомо не доверял. От этих людей он требовал лишь одного — чтобы они хорошо работали. В остальном он полагался на себя; он рассчитывал, что их переиграет. Только этим следует объяснить, что Жозефа Фуше, которого он на острове Святой Елены называл не иначе как интриганом или презренным предателем[28], он продолжал сохранять в течение многих лет на опаснейшем посту министра полиции.

Задачи борьбы против роялистов и якобинцев толкнули его на путь создания сильной, разветвленной полиции. Но те же задачи подсказали ему и иные меры в административно-политической сфере.

Созданная революцией система выборного местного и департаментского самоуправления, широко используемая братьями Буонапарте в дни их корсиканской юности, первому консулу представлялась уже опасной и нежелательной, она создавала легальные возможности формирования оппозиции. Выборное самоуправ-

ление было уничтожено, его заменили полицейско-чиновничьей системой префектур: министр внутренних дел назначал префекта департамента, префект назначал мэров и супрефектов в городах. Все органы власти снизу доверху оказались подчиненными одной направляющей их руке.

Организуя новую, подсказанную требованиями классовой борьбы систему государственной власти, Бонапарт ощупью пришел к созданию той военно-бюрократической государственной машины, которая оказалась самой долговечной и устойчивой из всего созданного в эпоху консульства и империи. Эта военно-бюрократическая государственная машина создавалась не потому, что первый консул теоретически осознал ее необходимость, а потому, что это диктовалось практическими задачами борьбы против роялистов и якобинцев, представлявшихся Бонапарту главной опасностью в то время. И эти же практические заботы повседневной борьбы толкали его и дальше по пути укрепления государственного аппарата.

Вопреки расчетам и ожиданиям Бонапарта, весьма тщательно процеживавшего кандидатов в высшие законодательные учреждения Республики, с первых же заседаний Трибуната и даже Сената власть консулов натолкнулась на оппозицию. В Сенате она исходила от чувствовавшего себя неоцененным Сиейеса и вследствие крайней его осмотрительности была почти неощутима. Сиейес сжимал кулаки, но прятал руки в карманах — на большее его смелости не хватало. С такого рода вполне безопасной оппозицией Бонапарт мог не считаться: она его не беспокоила. Но в Трибунате прозвучали резко критические речи. Бенжамен Констан, поощряемый Жерменой де Сталь, желавшей для своего возлюбленного славы «второго Мирабо», произнес грозную, обличительную речь против консульского режима: он обвинял его в намерении обречь страну «на рабство и молчание»[29]. Бонапарт был рассержен. Он не замедлил найти действенные средства, заставившие Бенжамена Констана замолчать. Но не принудить ли к молчанию и всех остальных? Обвинение, брошенное ему,—«обречь страну на молчание»— показалось неожиданно в высшей степени соблазнительным. «Вы хотите, чтобы я запрещал речи, которые могут услышать четыреста или пятьсот человек, и чтобы я разрешал ре-

чи, обращенные к многим тысячам?» — вопрошал он позднее, обращаясь к своим советникам. Решение напрашивалось сразу же. Конечно, надо прежде всего принудить к молчанию органы, рассчитанные на самую широкую аудиторию. Так родилась идея уничтожить свободу печати.

Существует мнение, что мысль о запрещении ста шестидесяти газет была подана Бонапарту впервые Жозефом Фуше.

Возможно, так оно и было. Не следует лишь забывать, что Фуше решался высказывать предложения или советы, только будучи твердо уверенным, что они соответствуют желаниям патрона. Как бы то ни было, 27 нивоза (17 января 1800 года) последовал декрет, разрешавший из 173 газет, выходивших в Париже, продолжать издание 13 газет, 160 — запрещались.

Конечно, эта решительная мера преподносилась общественному мнению не как уничтожение свободы слова и печати, а как вынужденная акция, ограниченная во времени — «пока продолжается война». Эта «временная мера» оказалась также одной из самых длительных — она просуществовала до крушения бонапартистского режима и была использована и его противниками. Впрочем, на протяжении своего действия законодательство 27 нивоза совершенствовалось; были найдены эффективные средства, ставившие сохранившиеся в Париже и провинции газеты под контроль государственной власти: редакции всех органов печати утверждались министром внутренних дел и постоянно находились под неусыпным наблюдением полиции. Так укреплялся «твердый порядок» во Французской республике.

Но чьим интересам служил этот порядок? Современники тех событий единодушно отмечают, что с памятных дней 18—19 брюмера курс всех ценных бумаг стал непрерывно расти. Это являлось самым верным доказательством, что брюмерианский режим с первых своих дней получил полную поддержку финансовых кругов и крупных собственников вообще. Это подтверждалось также и тем, что обращение Бонапарта к финансистам с просьбой о займах было встречено весьма сочувственно[30]. Конечно, не все шло гладко. Миссия Мармона, посланного в Амстердам к голландским банкирам для заключения займа, потерпела полную неу-

дачу[31]. У первого консула возникали порой трения с некоторыми влиятельными финансистами, в частности с Увраром, к которому по многим причинам он относился с подозрением[32]. Бонапарт дал почувствовать, что власть первого консула могущественнее власти миллионеров: он приказал арестовать Уврара. Но это был лишь преходящий инцидент; в целом консульская власть опиралась на полную и безусловную поддержку финансовой буржуазии.

Самым вещественным результатом сотрудничества консульского режима с крупнейшими финансистами того времени явилось учреждение 6 января 1800 года знаменитого Французского банка. Как известно, из всех творений бонапартистской власти это оказалось наиболее долговечным: Французский банк, пережив все режимы, все революции, все потрясения, дожил до Пятой республики, до наших дней.

Финансовая политика консульского режима, и в особенности налоговая, также ясно показывала, чьим интересам служит новая власть. Консулат унаследовал от Директории полностью расстроенные финансы и пустую казну. Знаменательно, что для решения одной из самых сложных задач, с которыми ему пришлось столкнуться, Бонапарт привлек людей старого, дореволюционного времени, известных своими консервативными, чтобы не сказать резче, взглядами. Таковы были Годен, ставший бессменным министром финансов, Барбе-Марбуа, подвергшийся репрессиям 18 фрюктидора, Дюфен — бывший сотрудник Неккера, Моллиен и другие. Их общими усилиями финансовое положение Республики было сравнительно быстро упорядочено. Это удалось достигнуть не только жесткой экономией, строгим контролем за каждым франком, каждым сантимом, но и имевшей вполне определенное содержание налоговой политикой. Прямые налоги, то есть налоги с доходов, были сокращены. Зато резко были увеличены косвенные налоги, ложившиеся своей тяжестью на самые широкие круги населения. Налоговая политика консульского режима (как и позже империи) защищала интересы крупного капитала. Не только в сфере налогов, но и всей своей экономической политикой консулат поддерживал и поощрял предпринимательскую деятельность. В особенности Бонапарт покровительствовал развитию промышленности, придавая ей первосте-

пенное значение и ставя интересы промышленников всегда выше интересов торговой или земледельческой буржуазии. Более полувека назад вопрос этот был столь глубоко и полно исследован Е. В. Тарле в его капитальном труде о французской промышленности в годы консульства и империи[33], что все новейшие исследования не могли внести в освещение проблемы существенно нового.

«Порядок», устанавливаемый консульским режимом, защищал не только интересы крупной буржуазии — финансовой, промышленной, торговой, земледельческой, он защищал интересы и всех собственников вообще, и крестьян-собственников в особенности. Конечно, бонапартистский режим не был крестьянской властью; за очевидностью этот тезис не требует обоснования. Но столь же несомненно и то, что Бонапарт обдуманно старался в своей политике считаться с интересами крестьянства и в той мере, в какой это совмещалось с покровительством крупному капиталу, защищать и интересы крестьянства. Бонапарт не мог не понимать жизненную важность этой политики.

Крестьянство составляло подавляющее большинство населения страны, оно же поставляло основные кадры в армию. Армия Бонапарта, являвшаяся существеннейшей опорой режима, была армией крестьянской. В исторической литературе вопрос о крестьянской политике Бонапарта принадлежит к числу наименее изученных. Между тем более ста лет назад Карл Маркс с присущими ему глубиной и блеском показал, что консульство, империя были именно той властью, которая в наибольшей мере способствовала укреплению крестьянской парцеллы и отвечала интересам собственнического крестьянства[34].

«Твердый порядок», устанавливаемый Бонапартом после «хаоса» Директории, был, следовательно, порядком укрепления собственности — буржуазной собственности, само собой разумеется. Заменив триединый лозунг Великой французской революции «Свобода, Равенство, Братство!» новым лозунгом — «Собственность, свобода, равенство!», бонапартистский режим даже этим внешним изменением главных лозунгов эпохи явственно подчеркивал сдвиги, происшедшие в развитии французского общества за минувшее бурное десятилетие. В 1800—1801 годах Бонапарт многократно под-

черкивал незыблемость республиканского строя и свою личную приверженность Республике. Весьма вероятно, что он был вполне искренен: вряд ли ему приходило в ту пору в голову, что Республику следует заменить монархией; к этой мысли он пришел позже. Но, постоянно говоря о республиканских принципах, о превосходстве республиканского строя над всеми иными, он подчеркивал, что в развитии Республики наступило нечто новое. Это была уже не якобинская республика, не термидорианская. Республика консулата была республикой стабильной собственности.

Новое заключалось также в том, что консульская республика устами Бонапарта открыто, громогласно объявила революцию законченной. В действительности, как известно, революция была задушена контрреволюционным переворотом 9 термидора. Термидорианский переворот и последовавшая за ним пятилетняя власть термидорианцев означали на деле торжество контрреволюционной буржуазии, сумевшей пресечь попытки народа двигать дальше революцию. Но, остановив революцию и продолжая борьбу против народных сил, стремившихся ее возродить, термидорианцы в Конвенте и Директории не смели, не набрались мужества сказать, что революция закончена. Напротив, все свои контрреволюционные деяния — и казнь Робеспьера, и подавление народных восстаний в жерминале и прериале, и разгром движений бабувистов — все это они именовали победами дела революции. Верность традициям, сила привычки были столь велики, что и переворот 18 брюмера, как уже говорилось, был также назван «революцией 18 брюмера».

Бонапарт счел полезным открыто заявить о том, что революция закончена. Он напоминал об этом неоднократно и в правительственных заявлениях, и в письмах.

Революция закончена; теперь устанавливается прочная, стабильная власть, твердый порядок. Республика собственности. Во избежание возможного ошибочного толкования следует подчеркнуть, что официально провозглашенное окончание революции отнюдь не означало отречения от нее или осуждения ее. Напротив, режим консульства и сам первый консул всячески афишировали свою генетическую связь с революцией. Во времена консулата празднование дня 14 июля проходило со значительно большей торжест-

венностью, чем при Директории. Всего за год до провозглашения империи, в 1803 году, Бонапарт настоял на исключении из состава Института — высшая и редко применяемая мера наказания! — одного из влиятельных его членов за то, что он посмел в своих сочинениях очернить революцию.

Лозунг «Собственность, свобода, равенство!» не был демагогической фразой или ритуальной формулой. Он выражал буржуазное содержание, классовое существо консульского режима, ведь подавляющее большинство собственников, которых защищала власть консулата, были новые собственники — крестьяне, буржуа, служилые люди, приобретшие в тех или иных размерах собственность за годы революции. Вот почему эта новая, рожденная революцией собственность была неотделима от свободы и равенства в их буржуазном понимании.

Политическое и пропагандистское значение тезиса об окончании революции было вполне очевидно. Оно не только давало консульскому режиму законное основание для пресечения любых попыток со стороны «экстремистов» возобновить революционную деятельность. Оно должно было поднять и значение консулата в глазах современников.

В обширном литературном и эпистолярном наследии Бонапарта начала девятнадцатого столетия не сохранилось ни одного литературного памятника — документа, письма или записки, в которых бы прямо говорилось о предмете, более других волновавшем его в то время. Это, впрочем, вполне понятно. О таком предмете нельзя было ни писать, ни говорить вслух. О нем можно лишь догадываться по косвенным подтверждениям.

На протяжении всех бурных месяцев конца 1799 и начала 1800 года, заполненных до краев огромной важности делами, государственными заботами, сложными расчетами политической игры сразу на многих досках против опасных противников, Бонапарта ни на миг не покидала жегшая его мысль: он потерпел поражение, проиграл войну в Египте и бежал от позора. Мысль эта должна была быть для него тем тяжелее, что он никому — ни Жозефине, ни братьям, ни близким людям — Дюроку, Ланну, Жюно — не мог в ней признаться. Напротив, он должен был, как и раньше, иг-

рать все ту же обманную роль спасителя Франции, ради блага отечества пожертвовавшего военной славой, близкой уже победой.

О том, как мучило его сознание того, что брошенная им в Египте армия погибает и что тайное скоро станет явным, видно по лихорадочным мерам, принимаемым им, чтобы изменить роковой ход событий в Египте. Едва лишь получив в руки реальную власть временного, а затем первого консула, он делает все возможное, чтобы помочь египетской армии. Он дает приказ адмиралу Гантому организовать вторую экспедицию — собрать всюду, где только можно, корабли, транспортные суда, все посудины, способные держаться на воде, и на них направить новые военные силы в Египет, на помощь Клеберу[35].

Ему не везло. Над египетским походом тяготел злой рок. Вторая экспедиция потерпела с самого начала неудачу. Да иначе и быть не могло: англичане на море обладали подавляющим превосходством. Впрочем, Бонапарт в глубине души не мог это не признавать. Его политика в египетских делах отмечена бросающимися в глаза противоречиями. В одно и то же время он направляет в Египет подкрепление и дает распоряжения Дезе спешно вернуться во Францию. После смерти Гоша Дезе и Клебер с должным основанием считались самыми талантливыми (не считая Бонапарта) полководцами Республики. Бонапарт уже увез с собой цвет египетской армии. Если бы он верил в возможность успеха в Египте, стал ли бы он отнимать у Клебера последнее, что оставалось,— непобедимого, благородного Дезе?

Ничто не могло изменить рокового хода событий в Египте. Бонапарт лучше, чем кто-либо, понимал это. Отвага и полководческий талант Клебера могли лишь отсрочить катастрофу, но день ото дня она становилась все ближе.

Бонапарт отдавал себе отчет в том, что если ему было ясно значение происшедшего, то не менее ясным оно было другим, в особенности военным. Клебер, Моро, Бернадот, наверное, также Журдан разве втайне не осуждали его? Но в характере Бонапарта не было ничего гамлетовского. Он недаром прошел якобинскую выучку — он был человеком действия. Если нельзя исправить положение в Египте и Мену, как и Клеберу, не миновать капитуляции, то есть иная возможность: надо

выиграть новую войну. Ответственность за эвакуацию Египта будет возложена на тех, кто ее подпишет,— Бонапарт не был столь сентиментален, чтобы признавать хоть в какой-то мере долю своей вины. Новая война, новые победы заставят забыть о Египте; эта страница будет перевернута; в летописи национальной славы его шпага впишет новые, не стираемые временем строки.

Едва лишь вступив в должность первого консула, 25 декабря 1799 года Бонапарт направил английскому королю и австрийскому императору послание с предложением начать переговоры о мире. Это был верно рассчитанный ход. За недолгое время пребывания в Париже Бонапарт убедился в том, как жаждет вся страна, весь народ мира. Было немало неопровержимых доказательств, подтверждающих, что и в Англии большинство нации столь же нетерпеливо ждет мира. Вся Европа стремилась к миру. Восемь лет кровопролитных войн, попеременно несущих поражение то одной, то другой стороне, породили во всей Европе желание мира. Взяв на себя инициативу мирных предложений, Бонапарт не только выигрывал в общественном мнении и своей страны, и передовых людей за пределами Франции. Он перелагал ответственность за все последующее на других. Он сделал что мог — он первым протянул руку примирения.

Как и можно было предвидеть, в ситуации, сложившейся к концу 1799 года, участники антифранцузской коалиции не склонны были идти на мировую. Недавние успехи в войне против Франции настраивали их воинственно. И Англия и Австрия отвергли французские предложения. Питту это дало повод произнести в парламенте речь, обличающую Бонапарта в закоренелом якобинстве: «...якобинство Робеспьера, Барраса, пяти директоров, триумвирата... целиком остается в человеке, который воспитан и вскормлен в недрах якобинства, который в одно и то же время есть и сын и защитник всех этих жестокостей»[36].

Бонапарт был совершенно уверен в том, что мирная инициатива Франции будет отвергнута. Еще до того, как были направлены послания в Лондон и Вену, с первых чисел декабря 1799 года, он стал готовиться к большой войне. Официально было известно, что на восточных границах Франции собирается крупная армия под командованием Моро. Эта армия, именуемая,

как и раньше, рейнской, была предназначена для вторжения в Германию и оттуда марша на Вену. О рейнской армии много говорили, много писали, она была предметом всеобщего внимания. Одновременно с начала декабря без шума, втихомолку в Дижоне, недалеко от швейцарской границы, стала формироваться другая армия. О ней было мало что известно; наиболее осведомленные люди из военной среды знали лишь, что эта армия называется «резервной» и что она, по-видимому, призвана в предстоящей кампании выполнять вспомогательную роль. Командующим «резервной армией» был назначен Александр Бертье[37].

Именно потому, что «резервная армия» формировалась в секрете, что о ней явно старались не упоминать, она привлекла к себе внимание Лондона, Вены, Берлина и их многочисленной агентуры, раскинутой по всем городам Европы. Бонапарт на этом и строил свои расчеты. Армия в Дижоне была камуфляжем. Строгая секретность, полное отсутствие какой-либо официальной информации должны были убедить иностранных наблюдателей, что в Дижоне и формируются главные силы французской армии. Их внимание с января нового года было приковано к штабу «резервной армии».

Между тем в действительности Бонапарт замышлял нечто совершенно иное. Как он сам позднее о том рассказал[38], он считал необходимым дезинформировать врага, направить его по ложному следу. Дерзкий план, замысленный им, требовал строжайшей секретности. Успех был рассчитан на внезапность; следовательно, он был возможен лишь при условии, что противник ничего не будет знать, что он будет застигнут врасплох. План, выработанный Бонапартом, был предельно прост и смел. Кампания против Австрии должна была быть краткой. У Французской республики прежде всего не было денег на длительную войну, да и внутриполитическое положение страны, и престиж первого консула не допускали затяжной войны. После катастрофы в Египте Бонапарту была нужна быстрая, полновесная, триумфальная победа. Смелая операция вторжения, генеральное сражение, навязанное врагу и уничтожающее его армию, и сразу же перемирие с опрокинутым навзничь противником.

Так выглядел общий замысел кампании, вернее сказать, ее абстрактный план. Но как он может быть

материализован, в каких военных операциях он должен быть практически воплощен? Эту задачу не могла выполнить ни рейнская армия (хотя бы потому, что ею командовал Моро, а не Бонапарт), ни «резервная армия», остававшаяся в сущности мифом. Удар против Австрии должен быть нанесен на столь знакомом и милом Бонапарту Итальянском театре военных действий, и осуществить его должна итальянская армия. Но где же она была — итальянская армия? Где находился ее штаб? Где шло ее формирование?

Бонапарт писал, что задуманный им план «требовал для своего осуществления быстроты, полной секретности и большой смелости»[39]. Только и всего! Каждое из этих трех условий предполагало преодоление невероятных трудностей.

Бонапарт со своими помощниками их преодолел. В кратчайшие сроки они подготовили и создали армию, оставшуюся не раскрытой врагом, и двинули ее против австрийцев. Дижонский камуфляж себя блестяще оправдал. В Дижоне был сосредоточен многочисленный штаб и примерно семь-восемь тысяч солдат, в своем большинстве новобранцев и инвалидов. Английские и австрийские агенты, проникшие в Дижон, составили об этой армии вполне определенное представление; «резервная армия» вскоре стала мишенью для сатирических стрел карикатуристов, а незадачливый первый консул — главной жертвой насмешек. В ставке фельдмаршала Меласа, командующего австрийской армией в Италии, хвастались тем, что тайна Бонапарта разгадана. «Резервная армия, которой нас столько пугают,— говорили в штабе Меласа,— это банда из 7 или 8 тысяч новобранцев и инвалидов, с помощью которых нас хотели обмануть, чтобы прекратить осаду Генуи»[40].

В то время как в австрийских штабах развлекались остротами над французскими инвалидами на деревянных ногах, к юго-восточным границам Франции по разным дорогам быстро и бесшумно подвигались войска. Решение проблемы секретности, найденное Бонапартом, было неожиданным. Армию не следовало собирать где-то в одном месте. Она должна была составиться из разных, по отдельности формируемых частей, которые все в одно время должны были соединиться у швейцарской границы. Только этим путем можно бы-

ло достичь абсолютной тайны формирования армии, являвшейся главным условием успеха кампании[41].

6 мая 1800 года Бонапарт покинул Париж. Обязанности первого консула были возложены на Камбасереса. Бонапарт направился, как все и ожидали, в Дижон; он произвел смотр находившемуся там гарнизону, пробыл в городе два дня, дальше след его терялся.

8 мая Бонапарт оказался в Женеве. Здесь соединилась значительная часть армии: выделенный из рейнской армии бывший корпус Лекурба, пришедший сюда под командой генерала Монсея, и правое крыло под командованием генерала Тюро. В Лозанне находился авангард армии под командованием Ланна; он был сформирован из отборных частей ветеранов походов Бонапарта.

13 мая первый консул прибыл в Лозанну; 14-го он дал приказ армии — ее продолжали называть резервной — выступить в поход. Поскольку составленная им же конституция VIII года вследствие своей неясности не предоставляла первому консулу полномочий для командования армией, главнокомандующим был официально назначен Бертье. В действительности же Бертье, как и всегда, оставался только начальником штаба при Бонапарте.

Бонапарт никогда не любил повторять ходы. В 1796 году он совершил вторжение в Италию, избрав редкий, почти неправдоподобный путь по «карнизу», по узкой, обстреливаемой с моря дороге, шедшей вдоль кромки Альп. Это обеспечило ему тогда внезапность вторжения. Повторить снова этот счастливый вариант? Как суеверный человек, он верил в приметы, в счастливый путь. Но как солдат, знающий законы своей профессии, как стратег, сразу охватывавший одним взглядом весь огромный театр военных действий, он понимал, что простое повторение ходов в новой кампании не сулит успеха.

Он нашел иное, едва ли не самое трудное и рискованное решение: преодолеть горный массив в пеннинских и лепонинских Альпах, достигающих местами свыше трех тысяч метров высоты, Сен-Бернарский и Сен-Готардский перевалы, спуститься в Ломбардскую низменность и ударить в тыл австрийской армии[42].

План этот был беспримерно дерзким. Он требовал невероятных усилий солдат, в особенности чтобы под-

нять на горы, а затем спустить вниз артиллерию. Бонапарт воодушевлял своих сподвижников доводом, что этим путем, через Альпы, шел некогда знаменитый Ганнибал. Пример был достоин, бесспорно, подражания, соглашались генералы, но ведь Ганнибал не волочил через горы тяжелую артиллерию!

И все-таки казавшийся непреодолимым подъем на Альпийские горы был совершен. Армия поднималась к неприступным кручам. Мармон, назначенный начальником артиллерии, придумал простое до наивности, но эффективное средство. Орудия были сняты с лафетов; их поставили на обрубки сосен с выдолбленным дном; солдаты по сто человек волокли их по снегу и ледникам. Бонапарт то верхом на муле, то в пешем строю среди солдат шел впереди армии. С 17 по 22 мая главные силы армии перешли через Большой Сен-Бернарский перевал в западной части пеннинских Альп. Корпус Монсея совершил переход через Сен-Готардский перевал. Другая часть армии во главе с Тюро шла перед Монсеем[43]. Спуск с высоты в две с половиной тысячи метров оказался еще труднее, чем подъем. 24 мая авангард армии, возглавляемый Ланном, возле Ивре опрокинул выдвинутый вперед заслон австрийцев. Армия Бонапарта, лавиной скатываясь с горных высот, вторглась в Ломбардию.

Французская армия врезалась в тыл австрийцев. Мелас, ожидавший не скоро «резервную армию» — скопище хромоногих стариков — со стороны Генуи, пребывал в счастливом неведении, когда французы шли уже на Милан. 2 июня армия Бонапарта вступила в Милан; невероятное оказалось явью, смеяться надо было уже не над французами...

4 июня Массена, отбивавшийся в Генуе от осаждавших его австрийцев, исчерпав все свои ресурсы, должен был капитулировать; австрийцы вынуждены были согласиться на почетные условия капитуляции. Тем не менее это была победа, и Мелас спешил донести о ней в Вену в восторженных выражениях; депеша эта была перехвачена, и из нее французы узнали, с каким презрением отзывался австрийский главнокомандующий о так называемой резервной армии[44].

В Милане французов встречали восторженно. Год австрийского господства заставил забыть все былые обиды на французов. Канделоро, прогрессивный

итальянский историк, справедливо писал: «...приход французов был встречен всем населением, включая духовенство и знать, с еще большим энтузиазмом»[45].

Первый консул провозгласил в Милане восстановление Цизальпинской республики и ее законодательства, отмененного австрийцами. Казалось, он снова заговорил языком 1796 года. В бюллетене «резервной армии» 14 прериаля (3 июня), сразу же после вступления в Милан, вслед за сообщением о насилиях и зверствах австрийских угнетателей заявлялось: «Необходимо, чтобы французский народ знал, какая судьба ему уготована королями Европы, если бы контрреволюция восторжествовала. Это соображение должно преисполнить нацию чувством признательности к отваге республиканских фаланг, навсегда утверждающих торжество равенства и свободолюбивых идей»[46].

Как и в 1796 году, Бонапарт стремился усилить французскую армию поддержкой итальянского населения и итальянских войсковых соединений, формирование которых стало одной из его забот. Антидемократические законы, установленные австрийскими властями, были громогласно отменены. В Ломбардии были восстановлены ранее существовавшие органы власти Цизальпинской республики.

Казалось, стрелка времени передвигалась вспять. Вечером 3 июня Бонапарт и окружавшие его такие же молодые, как он, генералы, чьи имена теперь знала вся Европа, были снова в залитой светом праздничной зале театра «Ла Скала», и снова их окружали улыбки итальянских женщин, дружеские взгляды миланцев, и, как и четыре года назад, с тем же азартом молодости они рукоплескали красоте и покоряющему голосу Грассини — знаменитой примадонны миланской оперы. На другой день Бонапарт в уважительном и дружественном тоне вел беседу с высшими служителями католической церкви. Все шло своим чередом.

Как ни важны были многочисленные заботы, окружавшие Бонапарта в Милане, он понимал, что главные задачи кампании — стратегические — еще не решены. Завтрашний день был неясен.

Рассредоточение французской армии, позволившее

обеспечить секретность продвижения войск и внезапность их появления в тылу австрийцев, создало французам не только преимущества. Достоинства превращались в свою противоположность. Корпус Монсея несколько отставал от главных сил. Бо́льшая часть артиллерии все же завязла в горах. Продвигаясь вперед по разным дорогам, армия Бонапарта дробила свои силы. Ланн и Мюрат контролировали линию реки По, Монсей — линию реки Тичино, Дюшен — дороги вдоль реки Адды. Это было необходимо, чтобы сковать инициативу Меласа. Но при этой разбросанности сил Бонапарт лишался преимущества, которое всегда стремился сохранять,— сосредоточения сил в ударный кулак. Мелас же, напротив, наталкиваясь повсеместно на французские аванпосты, сжимал свои части, накапливая быстро мощную ударную группу. Как это было ни парадоксально, но выгоды, приобретенные первоначально французами, переходили на сторону австрийцев. Это сказалось уже в сражении 10 июня при Монтебелло, где Ланн с восемью тысячами должен был противостоять двадцати тысячам австрийцев под командованием генерала Отта. Сражение закончилось победой французского оружия, но эта победа была достигнута лишь благодаря блестящему военному таланту Ланна и бездарности Отта[47]. К тому же стремление к быстроте и внезапности в продвижении французских войск влекло за собой также и недостаточную осведомленность французской ставки о расположении сил противника. Знаменательно, что в бюллетенях армии, в приказах Бонапарт многократно пользовался столь неопределенным и непривычным для военной речи словом, как «кажется».

Можно считать несомненным, что примерно 8—14 июня, в течение последних четырех-пяти дней накануне решающего сражения, Бонапарт не имел точных сведений о расположении главных сил австрийцев и даже полагал, что армия Меласа двинулась к Генуе[48].

Может быть, этим следует объяснить, что, когда 14 июня утром у деревни Маренго, вблизи Алессандрии, армия Бонапарта вступила в генеральное сражение с армией Меласа, соотношение сил сторон оказалось крайне неблагоприятным для французов. Австрийцы

располагали сорока пятью тысячами против двадцати трех тысяч солдат Бонапарта *.

За несколько часов до начала сражения Бонапарт все еще не имел точных сведений ни о силах Меласа, ни о его намерениях. Незадолго перед тем прибывшего в ставку Луи Дезе, вырвавшегося из Египта и английского плена, самого блистательного из молодых полководцев Республики, Бонапарт направил с дивизией по дороге в Нови — отрезать путь Меласу, если он туда пойдет. Одновременно был отдан приказ корпусу Лапуапа следовать в направлении к Валенца.

Так, накануне сражения главнокомандующий вследствие фатальных просчетов в оценке сил и намерений противника ослабил свои собственные силы.

Сражение началось утром 14-го. Его ход определило прежде всего решающее, огромное превосходство австрийской артиллерии над французской. Убийственный огонь австрийцев внес опустошение в соединения Виктора и Ланна. «Люди падали градом»,— писал один из участников битвы. Дивизия Шамберлака была почти полностью уничтожена. Виктор и Ланн, несмотря на упорное сопротивление, должны были отступить. К десяти часам утра могло казаться, что сражение полностью проиграно.

Бонапарт провел ночь с 13-го на 14-е в ставке армии в Торре-ди-Гарофоли. В восемь часов утра он узнал о начавшемся по инициативе австрийцев сражении. Он сразу распорядился послать гонцов к Дезе и Лапуапу с приказом спешно возвращаться. С дивизией Монье, которую накануне он чуть было не отправил вместе с Дезе, и с консульской гвардией он поспешил на поле битвы.

Положение французской армии было тяжелым — он мог в том убедиться с первого взгляда. Новые силы, которыми он укрепил корпус Ланна и центр французской армии, на какое-то время обеспечили перевес французскому оружию. В «Бюллетене» 26 прериаля по поводу битвы при Маренго было сказано: «Присутствие Пер-

* Цифровые данные приведены по подсчетам Наполеона (Corr., t. 30, p. 386—387) с поправкой — исключением дивизии Дезе в пять тысяч с лишним штыков. В источниках и литературе цифры расходятся.

вого Консула воодушевляло войска» *[49]. Может быть, так оно и было. Но в дни Лоди и Риволи Бонапарт не писал таких вещей: в том не было надобности.

По прошествии часа австрийцы убедились, что резервы, введенные французами в бой, уже исчерпаны. В сражение снова вступила артиллерия, да и австрийская пехота, предвкушая близкую победу, резко усилила натиск. Превосходство в артиллерии и в штыках австрийцев становилось неотразимым. Ланн, дравшийся насмерть, вынужден был отступить; еще удерживая порядок, его корпус стал откатываться под ударами австрийцев. Консульская гвардия, стоявшая «как гранитный редут», не выдержав натиска противника, также отступила. Маренго перешло в руки австрийцев. Мелас, обозревая огромное поле боя, отвоеванное его армией, уже торжествовал победу. То, что не удавалось ни Альвинци, ни Вурмзеру, ни эрцгерцогу Карлу, сумел сделать он, Мелас. Он разгромил считавшегося непобедимым Бонапарта.

Бонапарт же с бледным, неподвижным лицом стоял окруженный адъютантами, глядя на проходящие мимо него отступающие полки. О чем он думал в эти минуты? О допущенных им грубых ошибках? О том, что после поражения в Египте новое поражение — в Европе! в Италии! от австрийцев! — зальет навсегда позором его военную славу? Что все его враги поднимут голову? Картина отступающей, едва не бегущей французской армии давала обильную пищу для грустных размышлений.

Он стоял неподвижно, лишь ударяя стеком по мелким камушкам под ногами, и это механически повторяемое движение, замеченное наблюдателями, одно выдавало волнение этого человека с неменяющимся выражением лица.

Сражение было проиграно. И все-таки не все еще было потеряно. Когда французы уже отступали, примчавшийся на взмыленном коне гонец — Савари — доложил, что Дезе, услышав гром канонады, дал приказ дивизии повернуть и идти на выручку главным силам[50]. Может быть, Бонапарт с этого часа и поверил в Савари? — он вернул ему надежду. Дезе, благород-

* Мы сохраняем здесь такое же начертание букв, как в «Бюллетене».

ный, смелый Дезе, только он, он один мог спасти французскую армию!

Бонапарт считал минуты. «Держитесь! Держитесь!» — кричал он солдатам. Но армия уже не могла держаться. Поле боя было усеяно убитыми, ранеными. Армия откатывалась, отступала на всех участках.

Было три часа дня. Сражение было полностью проиграно. Поле боя осталось за австрийцами. Огонь затихал с обеих сторон. Мелас разослал курьеров во все концы с извещением о решающей победе, одержанной над Бонапартом. Считая дело законченным, он уехал в Алессандрию, приказав генералу Заху преследовать отступавшую французскую армию.

И вот в этот последний миг, когда, казалось, уже опускается занавес над пятым актом трагедии, подоспела шедшая стремительным маршем дивизия под командованием Дезе.

Дезе, оглядев печальную картину проигранной битвы и вынув из кармана часы, хладнокровно сказал: «Первое сражение — проиграно. Но еще есть время выиграть второе».

Второе сражение сразу же закипело по всему фронту. Дивизия Дезе со свежими силами обрушилась на стоявшую без прикрытия австрийскую колонну. Бонапарт, выйдя из оцепенения, рядом приказов перегруппировал силы и восстановил непрерывность линий атакующих войск. Келлерман стремительной кавалерийской атакой обрушился на австрийские фланги. Мармон, объединив все наличные пушки, открыл огонь по противнику. Австрийцы, менее всего ожидавшие возобновления боя, после недолгого сопротивления поддались панике и обратились в бегство. Поле боя перешло в руки французов[51]. Австрийцы потеряли шесть тысяч убитыми и ранеными и более семи тысяч пленными *.

К пяти часам пополудни проигранная первоначально битва превратилась в полную, сокрушающую победу над противником. Австрийская армия была разгромлена. Ошеломленный неожиданным поворотом судьбы, вырвавшей из его рук, казалось, уже несомненную

* По официальным данным «Бюллетеня» Бонапарта, надо думать преувеличенным (Corr., t. 6, N 4910, 26 prairial an VIII (15 juin 1800), p. 360—362).

победу, Мелас был не способен продолжать борьбу. На следующий день он послал парламентеров в штаб Бонапарта с просьбой о перемирии.

Французская армия также понесла тяжелые потери — более трех тысяч убитыми и ранеными. Быть может, самой ее большой потерей была гибель Дезе. Накануне Бонапарт вел с ним долгую дружескую беседу; он хотел поручить Дезе военное министерство. Дезе шел впереди атакующей колонны, когда вражеская пуля пробила ему сердце. Падая, он успел лишь произнести: «Это — смерть».

В Клермон-Ферране я видел памятник, поставленный Дезе. На главной площади города, среди вполне современных домов, освещенных модерновой цветной неоновой рекламой, против скульптурного изображения Верцингеторикса стоит памятник генералу Дезе. Люди проходили мимо него, занятые беседой, заботами дня. Может быть, от этого безразличия к привычному им городскому украшению памятник показался мне небольшим, бедным. Глядя на неподвижно застывшие в мраморе черты молодого лица (Дезе погиб в возрасте тридцати двух лет, а на скульптурном портрете кажется еще моложе), я думал о том, как несправедливо забыто имя воина и человека, сыгравшего такую большую роль в решающий день начала девятнадцатого столетия.

Бонапарт в день Маренго хорошо сознавал, что значила смерть Дезе. В первом сообщении консулам после сражения, пересланном 15 июня из Торре-ди-Гарофоли, он кратко писал: «Новости армии очень хороши. Я скоро буду в Париже...» И дальше: «Я в глубочайшей скорби по поводу смерти человека, которого я любил и уважал больше всех»[52].

Можно поверить в искренность этих строк. Но время шло. Раскаты ставшей знаменитой битвы гремели по всей Европе. Русский посол в Вене Колычев доносил в Петербург: австрийские войска под командованием Меласа пришли «в такое замешательство, что в совершенном беспорядке ретировались»[53]. В Австрии и Италии известие о Маренго вызвало панику. Чарторыйский рассказывал, как «простоватый английский консул, только что женившийся на молодой прелестной особе, счел своим долгом бежать из Неаполя, как только узнал

о поражении австрийцев при Маренго, бросив свою жену»[54]. Паника была повсеместной.

Прошло время, и Маренго стало классикой. Это сражение, в несколько часов решившее исход кампании, изучали в военных академиях как вершину полководческого искусства. Все реже вспоминалось имя того, кто в действительности изменил весь ход исторической битвы,— имя Дезе. Все громче и торжественнее звучало имя непобедимого полководца; о нем говорили теперь, как о Гае Юлии Цезаре: «Veni, vidi, vici» — «Пришел, увидел, победил».

Сам Бонапарт без посторонних оценивал происшедшее иначе. Бурьенн рассказывал, что при возвращении в Париж, приветствуемый повсеместно восторженно населением, первый консул, оставшись в карете вдвоем с Бурьенном, сказал: «Вот говорят: «Многое сделал!» Я завоевал, правда, меньше чем за два года Каир, Париж и Милан. И что же! Если я завтра умру, через десять веков во всеобщей истории от меня останется не больше полстраницы»[55].

Поиски союза с Россией

В главе о Кампоформио в «Итальянской кампании», написанной или продиктованной на острове Святой Елены, Бонапарт говорил: «Борьба королей против Республики была борьбой двух систем: это были Гибеллины против Гвельфов; олигархи, царствующие в Лондоне, Вене, Санкт-Петербурге, боролись против республиканцев Парижа. Французский уполномоченный (то есть Бонапарт.— *А. М.*) решил изменить это положение вещей, которое оставляло Францию всегда одной против всех; он решил бросить яблоко раздора в среду объединившихся в коалицию, изменить постановку вопроса и пробудить другие страсти и другие интересы»[1].

Переговоры в Кампоформио, вернее, в Пассариано происходили в 1797 году. Бонапарт уже тогда пришел к мысли о необходимости преодолеть изоляцию Франции и попытаться расколоть фронт коалиции, разжигая разногласия между ее участниками и стараясь привлечь кого можно на сторону Франции. Уже в леобенских переговорах и переговорах в Удине и Пассариано он весьма умело использовал противоречия между Австрией и Пруссией.

Итак, еще в 1796—1797 годах у Бонапарта возникла мысль о необходимости заменить борьбу двух систем — борьбу республики против монархии — иным сочетанием сил, иной внешнеполитической комбинацией. Это значило, как он говорил, ввести в игру «другие страсти и другие интересы».

В 1797—1798 годах эта идея получила еще весьма ограниченное практическое применение в договоре Кампоформио. В ту пору Бонапарта воодушевляли иные замыслы. В Италии были созданы Цизальпинская, Лигурийская республики, позже Римская, Партенопейская. Предпринимая египетский поход, Бонапарт мысленно рисовал грандиозные планы. В социальном аспекте они должны были повторить итальянский опыт, понятно с рядом поправок на особенности условий Востока. Это значило, что французская армия, направлявшаяся на Восток, должна была стать силой, про-

буждающей широкое национально-революционное движение угнетенных народов. Путь Александра Македонского на рубеже XIX века мог быть повторен и продолжен лишь при условии, если военные усилия небольшой французской армии будут поддержаны освободительными восстаниями народов, поднимающихся против угнетателей. Феллахи в Египте, друзы в Сирии, курды, афганцы, индийские племена — скольких союзников рассчитывал приобрести Бонапарт в походе от Нила до Инда! То должна была быть поистине великая восточная революция, которая потрясла бы три континента — Европу, Африку, Азию!

Конечно, по сравнению с этими планами любая дипломатическая комбинация в Европе выглядела мелкой, незначительной. Но этот замысел в 1798—1799 годах потерпел полное крушение. Не удалось ни поднять могучую революцию, ни даже продвинуться дальше Сен-Жан д'Акра. Под стенами Сен-Жан д'Акра были похоронены все великие мечты. Даже завоевание Египта и то оказалось недостижимым. Бонапарту пришлось спасаться бегством. Он должен был вернуться к масштабам Европы. Крушение идеи великой восточной революции заставило Бонапарта задуматься над ближайшими стратегически оправданными ходами на шахматной доске Европы.

Если оказалось невозможным найти союзников в лице угнетенных народов Востока, то, может быть, можно найти союзников среди великих европейских держав?

Такова была логика рассуждений Бонапарта в 1800 году. Задача представлялась возможной, потому что цели оставались те же. Ведь Бонапарт стремился раздуть пламя революции на Востоке, поднять и втянуть в борьбу многомиллионные массы угнетенных не ради них самих и не ради торжества принципа революции. Такая задача могла бы увлечь юного Бонапарта в 1786—1789 годах, но десять лет спустя тридцатилетний генерал был уже весьма далек от влечений ранней молодости. В 1798—1799 годах Бонапарт видел в восточной революции прежде всего и главным образом средство сокрушить непримиримого противника Франции — Англию. Поход в Египет и Сирию, воззвание к друзам, переговоры с Типу Султаном — все это были

попытки поразить Британию в ее ахиллесову пяту — Индию.

Но разве нельзя достигнуть той же цели иным путем — соглашением, союзом с одной из великих держав?

Кто же мог быть союзником Франции в этой титанической борьбе? Ответ был не прост. Понятно, что ни Австрия после Маренго, ни постоянно колеблющаяся Пруссия, ни ослабевшая Испания не были пригодны для этой задачи, да и они в силу многих причин на такой союз не пошли бы. Ни Скандинавские страны, ни итальянские государства в начале XIX века уже в счет не шли. Кто же оставался? Оставалась одна великая держава — могучая северная империя Россия, и о ней, естественно, прежде всего должен был подумать Бонапарт.

Престиж России на рубеже XVIII и XIX веков был необычайно велик. Ее значение в европейской и в мировой политике было впервые осознано в полной мере.

В войне, начавшейся в 1792 году и затем на протяжении почти четверти века потрясавшей Европу, в этой страшной серии непрерывно сменявших друг друга войн, отделенных лишь короткими паузами, уже к началу девятнадцатого столетия после Базельских договоров, после Кампоформио и Люневилля стало более или менее ясно, что основным, главным в этой ожесточенной борьбе является схватка Англии и Франции. Ни Пруссия, ни Австрия, ни Испания, ни тем более итальянские государства, как это доказал опыт войны, не могли противостоять новой Франции. Единственным государством, не только устоявшим в войне против Французской республики, но и показавшим решимость и способность продолжать войну, была Англия. После 1794 года, когда характер войны явственно изменился, стало вполне очевидным, что в основе этой «битвы гигантов» лежит соперничество двух экономически наиболее развитых западных держав, стремившихся к утверждению своей гегемонии в Европе и колониях.

Первые десять лет войны доказали, что силы сторон примерно равны, что в схватке один на один ни та ни другая сторона не может одолеть противника. Но опыт войны и опыт второй коалиции и военной кампании

1799 года доказали, что в мире существует третья могущественная держава — Россия и что от ее вмешательства в пользу одной из борющихся сторон зависит исход войны. Россия в то время экономически и политически значительно отставала от Англии и Франции. Но она намного превосходила их огромной территорией, населением (в начале XIX века — сорок семь миллионов человек), военной мощью. Сила России основывалась на ее военном могуществе. В 1799—1800 годах решающая роль России на сцене европейской политики была показана с полной наглядностью. Разве Итальянский поход Суворова за три месяца не перечеркнул все победы и завоевания прославленных французских полководцев? Разве он не поставил Францию на край поражения? И затем, когда Россия вышла из коалиции, разве чаша весов не склонилась снова в пользу Франции?

Бонапарт с его способностью мгновенно ориентироваться в самой сложной обстановке сразу же сумел уловить этот важнейший политический урок.

«Франция может иметь союзницей только Россию» — таков был вывод капитального значения, определенный в словах точных, как математическая формула, который он окончательно сформулировал в январе 1801 года [2]. Но к пониманию этой истины он пришел раньше, сразу же, как только стал первым консулом и начал заниматься внешнеполитическими проблемами Республики. Уже в начале 1800 года он был озабочен поисками путей сближения с Россией.

Могли сказать: заменять союз с угнетенными народами союзом с русским самодержцем — разве это принципиальная политика? Кто мог бы оспаривать обоснованность такого упрека? Но в 1799—1800 годах Бонапарта уже ни в малой мере не смущало такое попрание принципов. Раз вкусив в Леобене впервые от запретного плода, он уже не склонен был соразмерять свои действия с отвлеченными принципами или этическими нормами. Сентименты в политике? Полноте, это было уже далеким прошлым — наивными мечтаниями юношеского воображения.

Бонапарта заботило иное: как добиться союза с Россией, какими средствами, какой ценой можно прельстить российского императора и побудить его к союзу с Францией?

Сорель полагал, что идея союза с Россией сложилась у Бонапарта под влиянием записок Гюттена — французского агента в России,— датированных 25 октября и 25 ноября 1799 года, для правительства Директории, с которыми Бонапарт ознакомился, став консулом[3]. Записки Гюттена были опубликованы впервые А. Трачевским, историком, незаслуженно забытым и недооцененным[4]. Они действительно представляли интерес, и Сорель не случайно обратил на них внимание. Гюттен утверждал, что Франции не приходится рассчитывать на сколько-нибудь прочный и длительный союз со своими соседями. «Отправимся дальше и будем искать союз с великой державой, которая по своему географическому положению считала бы себя и действительно была бы вне опасности от нашей армии и наших принципов»[5]. Конечно, речь шла о России. Гюттен настойчиво доказывал преимущества союза с Россией. «Две державы, объединившись, могли бы диктовать законы всей Европе». Впрочем, Гюттен мечтал и о большем. Он рисовал грандиозные перспективы. «Россия из своих азиатских владений... могла бы подать руку французской армии в Египте и, действуя совместно с Францией, перенести войну в Бенгалию»[6].

То были, казалось, затаенные мечты самого Бонапарта, его грандиозные замыслы времен сирийского похода. Мог ли он оставаться равнодушным к таким проектам?

Все же в историческую конструкцию Трачевского — Сореля надо внести поправки. Вряд ли есть основания считать Гюттена первооткрывателем этой плодотворной идеи. Мысль о союзе России и Франции на рубеже двух веков, что называется, носилась в воздухе. Исторически назревшая, порожденная реально сложившимися предпосылками, она приходила одновременно в голову многим. Со времен Шетарди при Елизавете Петровне и посольства графа Сегюра при Екатерине II идея франко-русского союза или по меньшей мере сотрудничества была поставлена в порядок дня[7].

Во избежание недоразумений или кривотолков здесь, видимо, надо еще раз напомнить ту само собой разумеющуюся истину, что в XVIII веке проблема франко-русского союза стояла еще во многом иначе, чем сто лет спустя — в конце XIX века. Система европейских отношений девятнадцатого столетия, направляемых дво-

рянско-династической дипломатией, с их неустойчивыми, подвижными узлами противоречий еще не создавала постоянных предпосылок и, еще менее того, жизненной необходимости франко-русского союза. У России и Франции в ту пору были разные задачи, разные преграды на пути достижения поставленных целей и по большей части разные противники. Именно поэтому в семнадцатом и восемнадцатом столетиях франко-русское сближение не являлось еще постоянной и все усиливавшейся тенденцией, оно оставалось еще эпизодом, одним из возможных вариантов политических комбинаций того времени.

Великая французская буржуазная революция внесла изменения во всю систему международных отношений конца XVIII века. Советские историки справедливо подчеркивали этот тезис[8].

Революция, особенно в ту пору, когда она шла под лозунгом «Мир — хижинам, война — дворцам!», среди прочих внесенных ею изменений полностью сняла даже мысль о возможности сближения России и Франции. Россия Екатерины II защищала незыблемость господства дворцов и готова была покарать — для начала чужими руками — дерзких обитателей хижин, посмевших швырнуть к подножию европейских тронов голову казненного французского короля.

Но время шло, и политические условия менялись и во Франции, и в Европе. Политика термидорианцев и Директории была уже иной, чем Комитета общественного спасения 1793 года. Базельские мирные договоры 1795 года с Пруссией и Испанией доказывали практическую возможность компромисса между правительствами феодально-абсолютистских монархий и правительством Французской буржуазной республики. Смерть Екатерины II и воцарение Павла породили в обеих странах надежды на возможность примирения Франции и России. Попытки, предпринятые в этом направлении, не дали, однако, практических результатов[9].

Французская экспансия в Восточном Средиземноморье — захват Мальты, египетская экспедиция, сирийский поход — принудила сблизиться перед лицом общей опасности вчерашних противников: Россию, Турцию, Англию, Австрию. То была вторая коалиция, более могущественная, чем первая. Военная кампания 1799 года, Итальянский поход Суворова заставили

многое переосмыслить и переоценить. Стремительное продвижение армии Суворова от Валеджо до Нови повергло Европу в изумление и страх. Россия, казалось, держала в своих руках решение завтрашнего дня древнего континента. «Я всегда был убежден в том, что надо быть хорошим русским, чтобы стать хорошим австрийцем»[10],— льстиво писал граф Кобенцль царскому послу в Австрии Колычеву.

Но грозная туча, нависшая над Францией, над Западной Европой, ушла, не разразившись бурей. Распри в стане союзников оказались сильнее общности интересов. Вероломство и тайное противодействие австрийцев создавали для армии Суворова бо́льшие опасности, чем сражение на поле боя с французами. Легендарный переход через Альпы спас русскую армию, спас честь Суворова — он уходил непобедимым, но перед многими вставал вопрос: к чему были все эти жертвы? Ради чего воевали?

Этот вопрос вставал, не мог не встать перед мыслящими людьми в обеих странах сразу же по окончании войны. Становилось очевидным, что война между двумя государствами, расположенными одно на востоке, другое на западе Европы, играла на руку англичанам, австрийцам, пруссакам, кому угодно, но ни в малой мере не соответствовала действительным интересам России и Франции. Более того, раз возникнув, эта мысль, естественно, должна была быть доведена до логического конца: война, вражда между Францией и Россией противоречила национальным интересам обеих стран. Следующим логическим звеном в этой цепи рассуждений закономерно должно было быть признание желательности, пользы, необходимости союза между двумя державами.

Бонапарт, едва лишь получив полномочия первого консула, поставил в качестве важнейшей внешнеполитической задачи правительства Республики сближение с Россией. «Мы не требуем от прусского короля ни армии, ни союза; мы просим его оказать лишь одну услугу — примирить нас с Россией...»[11] — писал Бонапарт в январе 1800 года. Задача эта казалась ему в ту пору столь трудно осуществимой, что он не мыслил ее иначе чем при посредничестве Пруссии. Но сколь важное

значение он ей придавал, видно из того, что, не довольствуясь ни стараниями Талейрана, ни обычными дипломатическими каналами, он направил в Берлин своих личных эмиссаров — Дюрока, затем Бернонвилля и, наконец, Лавалетта[12].

Бонапарт тогда еще, по-видимому, не знал, что Павел I в то же самое время приходил к сходным мыслям. На донесении от 28 января 1800 года Крюднера, русского посланника в Берлине, сообщавшего о шедшем через Берлин французском зондаже, Павел своей рукой написал: «Что касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее прибегающей ко мне, в особенности как противовесу Австрии»[13]. Павел писал это примерно в те же самые дни, когда Бонапарт подходил к решению той же задачи.

Павел писал о «противовесе Австрии». Но столь же крайним раздражением он был охвачен и против другого союзника — против Англии[14]. Эта новая внешнеполитическая ориентация российского императора не осталась тайной для английского посла в Петербурге Уитворта; этот дипломат вообще обладал повышенной любознательностью, едва ли совместимой с его официальным статусом. «Император в полном смысле слова не в своем уме»[15],— писал Уитворт. В поведении российского самодержца было действительно немало удивительных поступков и черт, вызывавших смущение, страх, даже ужас его современников. Но в рассматриваемом вопросе император как раз проявил здравый смысл. Он обнаружил так много здравого рассудка, что даже потребовал от английского правительства отозвать Уитворта: этот джентльмен ему не нравился, он не внушал доверия. «Имея давно причины быть недовольным образом действия кавалера Витворта... и желая избегнуть неприятных последствий, какие могут произойти от дальнейшего пребывания при дворе моем лживых министров, я требую, чтобы кавалер Витворт был отозван...»[16] Последующие события показали, сколь обоснованны были опасения Павла I.

Но на пути и первого консула, и русского императора при всей почти неограниченной власти, которой каждый из них обладал, в достижении намеченной цели возникали непредвиденные препятствия и затруднения.

Как уже говорилось, идея франко-русского сближения в сложившихся условиях была настолько жизненной, настолько соответствовала интересам обеих держав, что она приходила в голову не только официальным руководителям государства или должностным лицам. В частности, эту популярную идею были готовы бросить на чашу весов и третьи участники борьбы — претенденты на власть, представители роялистской партии Людовика XVIII.

Почти в то же время, когда Гюттен слал из Петербурга в Париж докладные записки, доказывавшие необходимость и выгоды франко-русского союза, из Парижа в Петербург окольными путями, через Вену, шли пространные письма с обоснованием той же самой мысли — о пользе франко-русского союза. В одном из писем говорилось, что ходом вещей «Россия... становится распорядителем судеб Европы и спасителем своих союзников»[17]. Но кто же эти истинные союзники России? В том же письме утверждалось, что между Россией и Францией отсутствуют противоречия, что «Россия никогда не может ничего опасаться со стороны Франции» и что последняя готова предложить ей услуги и «прочный союз»[18]. Далее послание предостерегало, что Россия на своем пути, несомненно, встретит Англию и тогда лишь познает все тяготы этого. Логическим выводом из хода рассуждений было: «Со всех точек зрения первым союзником России в Европе является Франция»[19]. Единственной существенной поправкой, вносимой данным документом в общие доводы, во многом сходные с доводами Гюттена, было немаловажное напоминание о том, что истинным союзником самодержавной императорской России может быть только «законная» — легитимная — французская монархия, Франция белых лилий Бурбонов.

Материалы архива Российской коллегии иностранных дел не дают ответа на вопрос, произвели ли эти доводы какое-либо впечатление в Петербурге. Можно предположить, что в общем этот тезис должен был встретить в Петербурге сочувственное отношение. Официально объявленной целью участия России в войне 1799 года было именно восстановление «законной монархии». Например, в манифесте Павла I 16 июня 1799 года говорилось: «Восприняв с союзниками нашими намерение искоренить беззаконное правление, во

Франции существующее, восстали на оное всеми силами»[20]. Влиятельные общественные круги, и здесь надо начинать с колоритной фигуры вице-канцлера графа Никиты Петровича Панина, последовательно и настойчиво придерживались идеи сотрудничества только с «законной» династией; всякая иная Франция представлялась им крамольной и нечестивой[21]. Мнение Панина и его единомышленников представлялось еще столь традиционным и естественным для политики России, что даже самовольнейший и взбалмошный самодержец не мог с ним не считаться. Высказанное им в январе 1800 года пожелание сблизиться с Францией повисло в воздухе, оно не получило продолжения, и, более того, в феврале того же года предложения Пруссии о посредничестве были формально отклонены.

И все-таки в 1799—1800 годах, в особенности после войны, давшей обильную пищу для размышлений, отношение к республиканской Франции в Петербурге и Москве было уже иным, чем десять лет назад, в начале революции. Конечно, за минувшие десять лет во Франции многое изменилось. Но под воздействием французского опыта многое стало иным и в оценке его иностранными современниками. Здесь прежде всего следует напомнить, что сам главнокомандующий армией союзников генералиссимус А. В. Суворов высказывал убеждение в том, что французы возвращения к старой монархии не хотят. Как передавал Ф. В. Ростопчин, Суворов «многократно повторял, что вступление во Францию вызовет к защите ее всех ее обитателей и что покуда так называемая республиканская армия открыто не пожелает восстановления прежнего правительства, до тех пор подавление республики останется лишь на бумаге в разглагольствованиях эмигрантов-проходимцев и в голове политических мечтателей»[22].

Это мнение Суворова замечательно прежде всего как свидетельство политической проницательности великого полководца. Но оно заслуживало внимания и как отражение духа времени. Не только Суворов, но и некоторые другие русские современники той бурной эпохи понимали, что правительство Республики сильнее, энергичнее старой монархии, дискредитированной в глазах французского народа[23].

Но пока это новое понимание вещей прокладывало себе дорогу, приходилось считаться с привычным консерватизмом мнений, с устоявшимися, традиционными воззрениями, рассматривавшими республиканскую Францию как источник «революционной заразы», как рассадник «социального зла» *.

На пути нового курса по отношению к Франции, пока еще в декларативной форме объявленного Павлом в январе 1800 года и не подкрепленного практическими действиями, возникло еще одно препятствие.

Бонапарт, развертывая свою дипломатическую акцию по сближению с Россией, не знал, что одновременно с ним большую дипломатическую игру в Петербурге начал с иных, можно даже сказать противоположных, позиций другой по-своему тоже крупный политический деятель — генерал Шарль Дюмурье.

30 октября 1799 года в Петербург пришло адресованное императору Павлу I письмо от генерала Дюмурье из Шлезвига, датированное 20 октября того же года. В письме этом говорилось: «Государь, я рассматриваю Ваше императорское величество как руку провидения, простертую над Европой ради спасения религии, нравов, законов, правительств и государей» [24]. Далее Дюмурье столь же велеречиво, со ссылками на «готовность всех французов, в особенности преданных монархии и доброму порядку...» всем пожертвовать ради осуществления «благородных замыслов» императора просил высочайшей аудиенции, дабы изложить имеющиеся у него планы. Сами эти планы Дюмурье в письме не раскрывал, но в самой общей форме заявлял, что «все его желания направлены на восстановление на троне Короля и счастье родины» [25].

У Павла I и его окружения к этому времени накопилось уже крайнее раздражение против многочисленных французских эмигрантов, осевших в России, против «двора Людовика XVIII» в Митаве, досаждавших царю бесконечными просьбами о субсидиях, всевозраставших денежных пособиях и награждениях разно-

* «...Война образа мыслей и правил республиканских... мне кажется, для Европы опаснее, нежели их оружие»,— писал в мае 1798 года князь Н. В. Репнин («Русский архив», 1876, № 10, стр. 168).

го рода орденами [26]. О степени этого раздражения можно было судить по тому, что царь отказал в аудиенции графу д'Авре, самому близкому к претенденту на трон сановнику, желавшему передать царю лично послание Людовика XVIII[27]. Но для Дюмурье Павел I сделал исключение. В ответе из Гатчины 1 ноября 1799 года Ростопчин сообщал, что император удовлетворил просьбу Дюмурье, ему разрешен приезд в Петербург и посланнику в Гамбурге Муравьеву приказано выдать генералу паспорт[28].

Чем объяснить эту особую милость Павла?

О миссии Дюмурье 1800 года в исторической науке было известно очень мало, а то, о чем сообщалось, представлялось недостоверным или искаженным. Сам Дюмурье в своих не раз переиздававшихся мемуарах об этом эпизоде своей бурной жизни не рассказал[29].

Его биографы Артюр Шюке, Богуславски, Пуже де Сент-Андре либо почти не касались этой темы, либо, кратко сообщая о факте поездки, расцвечивали ее неправдоподобными деталями[30]. Общим источником их сведений была вышедшая в 1818 году книга некоего аббата Жоржеля «Путешествие в Санкт-Петербург», в которой обрывки правды перемежались с выдуманным или непонятым[31]. Исследователи, изучавшие архивные документы эпохи, и это относится прежде всего к Трачевскому, сделавшему в этой области больше, чем кто-либо другой, видимо случайно, прошли мимо папки пожелтевших от времени листов с полувыцветшими чернильными строчками. Иностранные ученые, даже такие крупные, как Сорель, всегда охотно писавший о Павле I, черпали свои сведения по русской истории из документальных публикаций Трачевского, отчасти Татищева и незаслуженно популярных на Западе весьма сомнительных сочинений Валишевского. Как бы то ни было, из больших исторических исследований миссия Дюмурье выпала: о ней либо ничего не писали, либо упоминали глухо и неопределенно. Естественно, что пачка архивных документов, освещающих какие-то эпизоды политической борьбы начала прошлого столетия, не может представить ее во всей полноте. Что-то остается неизвестным, о чем-то приходится догадываться, строить гипотезы.

Это относится и к поставленному вопросу. Почему Павел I, незадолго до того отказавший в аудиенции

влиятельному представителю Людовика XVIII, согласился принять не занимавшего никакой официальной должности бывшего французского генерала, прозябавшего где-то в германском городке?

Объяснение этому нужно, видимо, искать в самой личности Дюмурье или, вернее, в окружавшей его имя репутации. Шарль-Франсуа Дюмурье обратил на себя внимание еще до революции. Он участвовал в Семилетней войне, сражался в рядах Барской конфедерации против России, был комендантом крепости Шербур, прошел через казематы Бастилии. Он восторженно приветствовал революцию, стал другом Мирабо. Громкую, всеевропейскую известность он приобрел в 1792—1793 годах. Дюмурье прославился сначала как авторитетный и авторитарный министр иностранных дел жирондистского правительства, в немалой мере способствовавший ускорению войны между Францией и коалицией срединных монархий. Перо дипломата он вскоре сменил на шпагу полководца и в новой своей роли добился еще больших успехов, чем на прежней стезе. С его именем были связаны первые крупные победы революционного оружия — разгром австрийцев при Жемаппе, завоевание Бельгии, и в 1792 — начале 1793 года в армии Французской республики не было более прославленного полководца, чем генерал Дюмурье.

Но в марте 1793 года он дал себя разбить под Неервинденом и вслед за тем сделал попытку повернуть возглавляемую им армию против революционного Парижа. Попытка не удалась; в решающий момент Дюмурье увидел, как вышедший из строя молодой офицер, медленно поднимая пистолет, прищурившись, целится, чтобы поразить смертельным свинцом генерала-изменника. То был лейтенант Даву — будущий знаменитый маршал наполеоновской армии. Дюмурье, видимо, не выдержал этого направленного на него дула пистолета, прищура прицелившихся глаз: отказавшись от всех своих замыслов, он бежал в стан врагов, к австрийцам. Большая политическая карьера его на том была закончена, но, авантюрист широкого размаха и неукротимой энергии, он не хотел с этим мириться. К тому же он был действительно человеком незаурядных способностей: Наполеон на острове Святой Елены это открыто признал. Став на путь национальной изме-

ны и контрреволюции, Дюмурье должен был идти по нему до конца; он сосредоточил свои усилия на восстановлении во Франции легитимной монархии. Умный, циничный Ростопчин, имевший дело с Дюмурье в Петербурге, так резюмировал свои впечатления: «Генерал Дюмурье... человек на все руки. Ему смертельно хочется, чтобы не прекращалась его известность, и, так как он думает загладить прежние свои действия... он может оказать большую пользу французской монархии»[32].

Павлу I была, конечно, хорошо известна военная репутация Дюмурье, слывшего одним из лучших французских полководцев, и его политическая биография. Павел был на распутье; когда пришло письмо Дюмурье, он не определил еще окончательно, как далеко должно зайти его крайнее недовольство союзниками по второй коалиции и какую политику избрать по отношению к Франции.

Но пока Дюмурье совершал свое длительное путешествие в Россию, на свете произошло немало перемен. Он приехал в Петербург накануне Нового года[33], за это время совершился переворот 18 брюмера и временный консульский режим был заменен узаконенным конституцией VIII года консулатом, предоставившим всю полноту власти первому консулу.

Талейран с его изумительно тонким чутьем сумел отгадать, видимо в самой общей форме, готовность Дюмурье к активным политическим действиям; он предложил первому консулу привлечь Дюмурье, установить с ним какие-то контакты. Бонапарт это отверг: он не хотел иметь дела с этим «негодяем»[34]. А «негодяй» прибыл в Петербург, окрыленный самыми радужными надеждами. 2, 4, 5 января 1800 года он пишет Ростопчину письма, дышащие уверенностью и оптимизмом[35]. «Во всем образе действий императора (Павла I) я вижу столько энергии, которая побуждает меня рассматривать его как единственного возможного спасителя Европы»[36]. Приезд Дюмурье был сразу же замечен в английском посольстве. Уитворт 14 января 1800 года писал Гренвилю: «Ген. Дюмурье, примирившийся с Митавским двором, теперь здесь... Сознаюсь, что хотя я никогда не предполагал содействовать Дюмурье, но все-таки не жалею узнать его мнение в эту минуту»[37]. Дюмурье надеется на скорую аудиенцию и просит Ростоп-

чина помочь ему в осуществлении его важной миссии. Он терпеливо ждет. Но время идет, проходит неделя, другая, третья, проходит месяц, затем второй, а прибывший издалека французский генерал остается «все в той же позиции». Аудиенция ему не дана, и неизвестно, когда она будет и будет ли вообще. Дюмурье словно и не вызывали; о нем не вспоминают; в столице Российской империи он остается забытым одиноким чужестранцем. Ростопчин не считает нужным отвечать на его письма, а если отвечает, то весьма кратко и сухо.

Иногда от Дюмурье запрашивают какие-то сведения, например справку о Бернонвилле (видимо, в связи с начавшимися в Берлине переговорами с Францией). Генерал, оказавшийся не у дел, рад и этому поручению. Он пишет характеристику Бернонвилля не без знания предмета и увлеченности, пристрастно. «Генералу Бернонвиллю около 60 лет... его здоровье основательно подорвано картежной игрой и женщинами, что ему придает меланхолический вид... Он вышел из среды буржуазии и никогда ничему не учился, он мало читает, и он не обладает умом и ничем не выделяется, кроме солдатской напористости, помогавшей ему делать карьеру... Он любит деньги и самоуверен...»[38] Эта характеристика не лишена живости и, возможно, даже точна. Ее недостаток в ином: автор ее, оторванный в петербургском уединении от всего мира, не попадает в тон; написанное им — совсем не то, что от него ждут. Дюмурье не знал, что с весны и лета 1800 года Бернонвилль вступил, и притом довольно искусно, в сложную игру по примирению Франции и России и что в Петербург от Крюднера поступали благоприятные сведения о французском посланнике в Берлине[39].

Дюмурье, потеряв надежду на скорое получение аудиенции, в письмах к государю излагает свои проекты и планы. «Британский кабинет хочет, безусловно, так же как и Ваше императорское величество, восстановления на троне Франции дома Бурбонов и скорейшего окончания этой кровавой и дорогостоящей войны»[40]. Это еще слишком общие соображения, и Дюмурье в конце концов вынужден письменно изложить свою главную идею: он выражает надежду, что император «даст ему возможность выполнить роль Монка»[41].

«Роль Монка» — это и есть основная цель Дюмурье, сердцевина привезенного им в Петербург проекта. При

поддержке и помощи могущественного российского императора он рассчитывает восстановить «законную власть» Бурбонов и тем положить конец «кровавой и дорогостоящей войне».

Колебания, проявленные Павлом I в январе — марте 1800 года в определении политики по отношению к Франции, противоречивость его линии, его распоряжений этого времени получают дополнительное объяснение. Перед ним открылись два возможных пути решения французской проблемы: соглашение с существующим французским правительством, с первым консулом Бонапартом, что означало сговор против Англии и Австрии, или же возвращение к традиционной и, с точки зрения августейших домов Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, принципиальной политике восстановления на французском троне «законной» династии Бурбонов. Для этого второго варианта мог быть полезен и даже нужен Дюмурье. Павел I, по-видимому, потому и не принимал вызванного им в Петербург французского генерала, и не отсылал его назад, что не мог найти окончательного решения: в нем боролись в ту пору противоположные чувства и мнения.

Колебания эти вызывались не взбалмошностью русского императора, не его капризностью, не склонностью к неожиданным решениям, как это обычно объясняли некоторые авторы, писавшие на эту тему. Хотя эти качества и были присущи Павлу I, нельзя не видеть в его политике и более глубоких и реальных оснований. В пользу второго варианта — курса на восстановление Бурбонов — влияли династические интересы, традиции, принципы феодально-абсолютистского строя, убежденность Павла I в незыблемости «священных» прав легитимизма. Но эти аргументы, казалось бы неотразимые в их абстрактном значении, вступали в противоречие с практикой — опыт, в частности опыт только что прерванной войны, их опровергал. Своекорыстие, вероломство, даже предательство собратьев по священному принципу легитимизма, союзников по второй коалиции — Англии и Австрии в глазах Павла I были так велики, обида на них, раздражение столь жгучи, что они в сущности делали невозможным продолжение прежней политики. Эта политика была плоха прежде всего тем, что она себя не оправдала на практике. Значит, оставались поиски иных путей...

29 февраля 1800 года Ростопчин прислал Дюмурье краткое письмо, извещавшее, что по повелению императора генералу препровождается тысяча дукатов в возмещение расходов на поездку из Петербурга в его страну[42]. Это значило, что колебания Павла окончены, он принял решение *.

Не трудно сопоставить даты. 1(12) февраля Павел I формально потребовал от английского правительства отозвать Уитворта[43]. 16 (27) марта того же года генералиссимусу Суворову было официально предписано приостановить всякие военные действия против Франции[44]. Распоряжение Павла I от 29 февраля о выдаче тысячи дукатов Дюмурье на обратный путь из Петербурга приходится между этими датами, это все звенья одной цепи. После длительных колебаний Павел I пришел к заключению, что государственные, стратегические интересы России должны быть поставлены выше отвлеченных принципов легитимизма. Практически это означало, что русское правительство было готово идти на переговоры с Францией.

Бонапарт, находясь в «резервной армии» и занятый подготовкой к решающим операциям против австрийцев, не терял из поля зрения главную внешнеполитическую задачу, воодушевлявшую его в то время,— поиски путей сближения с Россией. Из действующей армии он посылал короткие письма или записки Талейрану, доказывавшие, какое большое значение он придавал поставленной задаче. Даже накануне Маренго он напоминал министру иностранных дел: «Надо оказы-

* Дюмурье, получив это извещение, написал Ростопчину полное отчаяния письмо, в котором умолял его помочь добиться аудиенции, «чтобы не предстать в глазах всей Европы попавшим в опалу у величайшего из монархов». «Если я не смогу припасть к ногам единственного властителя... то это будет великим триумфом для Бонапарта и анархистов» (АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, IX, 1800, л. 17—18). Письмо это возымело действие. 3 марта Ростопчин в короткой записке известил Дюмурье, что завтра, 4 марта, Дюмурье будет представлен императору во время парада. Дюмурье был действительно представлен Павлу, о чем свидетельствует письмо генерала императору от 11 марта с выражением благодарности (там же, л. 28 и об.). Содержание беседы остается неизвестным, но она уже ничего не могла изменить в ходе вещей. В конце марта Дюмурье просил Ростопчина подготовить ему паспорт для выезда на имя Балацци. Дюмурье навсегда уходил с политической сцены.

вать Павлу знаки внимания, и надо, чтобы он знал, что мы хотим вступить с ним в переговоры».Талейрана не было нужды в том убеждать: своим гибким умом он и сам превосходно понимал всю важность начатой политической акции. Он видел, что, пока дело идет через посредников — через Берлин и Копенгаген — по официальным дипломатическим каналам, оно подвигается медленно и туго. «До сих пор еще не рассматривалась возможность вступить в прямые переговоры с Россией... бесспорно, это сопряжено с немалыми трудностями, но это дает и большие преимущества»[45],— писал Талейран первому консулу. Эта инициатива министра иностранных дел была энергично поддержана Бонапартом. После Маренго он снова чувствовал себя прочно сидящим в седле; теперь можно было не торопясь оглянуться по сторонам и найти верные пути к Петербургу.

1 термидора VIII года (7/18 июля 1800 года) Талейран направил графу Никите Петровичу Панину послание, написанное с присущим ему мастерством и одобренное, вне всякого сомнения, Бонапартом.

«Граф, первый консул Французской республики знал все обстоятельства похода, который предшествовал его возвращению в Европу. Он знает, что англичане и австрийцы обязаны всеми своими успехами содействию русских войск...» — так начиналось это послание. Все было в нем тонко рассчитано: и неназойливое напоминание о том, что Бонапарт не участвовал в минувшей войне, и стрелы, как бы мимоходом направленные в Англию и Австрию, и дань уважения, принесенная русским «храбрым войскам»[46]. За этим вступлением следовало немногословное, продиктованное рыцарскими чувствами к храбрым противникам предложение безвозмездно и без всяких условий возвратить всех русских пленных числом около шести тысяч на родину в новом обмундировании, с новым оружием, со своими знаменами и со всеми воинскими почестями *[46а].

Над этим посланием трудились два лучших дипломата Европы, и трудно было придумать более эффективный первый ход в начинавшейся сложной дипломатической игре. Даже то, что послание было адресовано Панину — самому непримиримому врагу республи-

* В своих воспоминаниях (Corr., t. 30, p. 474) Наполеон называл иные цифры: восемь — десять тысяч русских солдат. Но это ошибка.

канской Франции (в Париже этого не могли не знать), и то казалось удачной дебютной находкой, как свидетельство беспристрастности и строгой корректности корреспондентов.

За первым ходом последовал второй — столь же сильный. Талейран опять же Никите Панину от имени первого консула писал о решимости французов оборонять Мальту от осаждавших остров англичан[47]. Так незаметно вводилась в переговоры чрезвычайно важная тема общности интересов двух держав. Это антианглийское острие направленности французской дипломатии было, несомненно, сильным средством в политике, сближавшей обе державы. Ни шпага папы Льва X, дарованная мальтийскому гроссмейстеру и преподнесенная первым консулом российскому императору, ни комплименты и любезности, с итальянской непринужденностью, как бы сами собой срывавшиеся с уст или из-под пера прославленного французского полководца,— ни одно из этих средств обольщения, на которые был такой мастер Бонапарт, не достигло бы цели, если бы обе державы в тот момент не объединяла общность интересов.

Предложение о возвращении пленных было принято в Петербурге с большим удовлетворением. В нем справедливо увидели не столько рыцарский жест, сколько желание достичь двустороннего соглашения. Но это же в тот момент вполне отвечало желанию Павла, Ростопчина, всей антианглийской партии. Из Петербурга во Францию с особой миссией был направлен генерал Спренгпортен — полушвед, полуфинн, на русской службе известный своими профранцузскими симпатиями[48]. Формально целью миссии Спренгпортена было урегулирование вопросов, связанных с возвращением пленных. Но данная ему инструкция возлагала на него значительно более важные задачи — он должен был способствовать установлению дружеских отношений между Российской империей и Французской республикой[49]. Во Франции правильно поняли значение миссии Спренгпортена. Он был принят с величайшим почетом. В Берлине с ним беседовал Бернонвилль, в Брюсселе — Кларк, в Париже — Талейран и, наконец, первый консул. Дружественность бесед шла в возрастающей прогрессии. О пленных речи почти не было;

больше всего говорили об общности интересов, общности задач.

Альбер Сорель в своем известном исследовании называл политику первого консула, направленную на сближение с Россией Павла I, увлечением «химерическим союзом»[50]. Он отказывался видеть в этой политике реальные основания, и под пером прославленного французского историка эта важная страница биографии Бонапарта предстает как занимательный рассказ об обманутых надеждах, просчетах, разочарованиях; печальная повесть о несбывшихся мечтах.

А между тем это направление внешней политики Франции, которому Бонапарт так настойчиво и упорно в первые годы своей государственной деятельности старался проложить дорогу, в действительности свидетельствовало о совсем ином: оно доказывало, как широко, как трезво и реалистично оценивал Бонапарт международную обстановку и заложенные в ней возможности.

В самом деле, на чем строились расчеты Бонапарта? На взбалмошном, эксцентрическом характере Павла I? На умении отгадывать его тайные струны? Обольщении его игрушками Мальтийского ордена? Иные из историков готовы придать этим деталям психологического характера первостепенное значение. Но можно ли было строить на столь зыбких основаниях политику? Да и мог ли Бонапарт, только что после длительного пребывания в Египте вернувшийся во Францию и впервые взявший в руки руль государственной власти, обремененный неисчислимыми заботами внутреннего порядка, знать или изучать характер русского императора? И до того ли было ему в то трудное время?

Нет, расчеты и политика Бонапарта строились на иных, более прочных основаниях. Обе державы — Франция и Россия — «созданы географически, чтобы быть тесно связанными между собой»[51],— говорил Бонапарт в конце 1800 года, принимая Спренгпортена.

В письме от 30 фримера IX года (21 декабря 1800 года) — первом прямом обращении к императору Павлу I — Бонапарт писал: «Через двадцать четыре часа после того, как Ваше императорское величество наделит какое-либо лицо, пользующееся Вашим доверием и знающее Ваши желанья, особыми и неогра-

ниченными полномочиями,— на суше и на море воцарится спокойствие»[52].

Несколькими днями раньше, 1 декабря, генерал Кларк в Брюсселе в ответ на вопрос Спренгпортена о возможном развитии отношений между двумя странами, выражая господствующие в окружении первого консула мнения, говорил: «...по мне, нет ничего легче, как достигнуть соглашения в деле мира между Францией и Россией... это соглашение может заключаться в одной статье, постановляющей, что все останется в том виде, как было до войны между обеими державами или даже в эпоху 1786—1787 годов»[53].

Можно привести еще ряд других, сходных по содержанию заявлений, но есть ли в том надобность? Смысл их всех вполне очевиден. Ссылки на географическое расположение стран, на возможную легкость достижения соглашения скрывали за собой прочную убежденность в том, что между обеими великими державами нет глубоких, непримиримых противоречий; они не соприкасались территориально, между ними не было территориальных споров. И раз отсутствуют неустранимые противоречия, не создается ли тем самым почва для достижения соглашения между обоими государствами?

Расчет Бонапарта был прост. Из трех лидирующих великих держав — Англии, Франции и России — первые две были разделены острыми непреодолимыми противоречиями. Столкновение интересов начиналось с территориальных проблем: от ближайших — Бельгии и Голландии до далеких — колониальных владений в Азии, Африке и Америке. В любом уголке мира интересы обеих держав вступали в противоречие. По всем вопросам европейской и мировой политики они отстаивали разные и по большей части противоположные мнения. За ожесточенностью этой яростной борьбы скрывалось обостряющееся соперничество двух экономически наиболее развитых держав, стремившихся каждая в свою пользу к преобладанию. Между Францией и Россией не было и не могло быть подобных противоречий. Экспансия буржуазной Франции и экспансия русского царизма шли в главном по разным, несоприкасающимся направлениям. Огромная континентальная страна, простиравшаяся от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, Россия как европейская и мировая держава была, естественно, заинте-

ресована во всех вопросах Европы и мира. Но в ее политике по отношению к Франции не было тех имманентных противоречий, которые были присущи англо-французским отношениям. Следовательно, если и возникали разногласия по тем или иным вопросам (а они, естественно, должны были возникать), то они не затрагивали коренных интересов обеих стран. Тем самым база для соглашения между двумя державами всегда сохранялась. Тезис Бонапарта: «Союзницей Франции может быть только Россия» — имел под собой весьма прочные основания.

Знаменательно, что и в Петербурге примерно так же понимали природу отношений двух стран. В инструкции Спренгпортену, которая, по его словам, была продиктована Павлом I, говорилось: «...так как взаимно оба государства, Франция и Российская империя, находясь далеко друг от друга, никогда не смогут быть вынуждены вредить друг другу, то они могут, соединившись и постоянно поддерживая дружественные отношения, воспрепятствовать, чтобы другие своим стремлением к захватам и господству не могли повредить их интересам»[54]. По существу это была та же аргументация, из которой исходил Бонапарт. Ф. В. Ростопчин, являвшийся первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел, в письме более позднего времени к С. Р. Воронцову объяснял политику по отношению к Франции сходными мотивами. Он указывал, что «никогда не считал, чтобы французское правительство, каково бы оно ни было, могло стать опасным для России», он ссылался на «отдаленность обеих стран, на гигантские силы нашей империи»[55]. Это было выраженное другими словами то же мнение, что Франция не может России вредить и что не существует реальных причин и поводов для конфликтов между обеими державами.

Конечно, подобная констатация была бы невозможной ни в 1793 году, ни в 1796-м, ни даже в 1798 году. Мысль об отсутствии реальных противоречий между Французской республикой и Российской империей могла прийти почти одновременно государственным руководителям обеих держав лишь на определенном историческом этапе и в определенных условиях. Рене Савари, будущий герцог Ровиго, со времени Маренго один из самых близких к первому консулу людей из «когорты

Бонапарта», указал на одно из этих условий со всей ясностью: «Император Павел, объявивший войну анархистской власти, не имел больше оснований вести ее против правительства, провозгласившего уважение к порядку...»*[56] То было прямое указание на значение переворота 18 брюмера, и Савари был прав в этом: нет спору, эволюция, совершавшаяся во Франции, учитывалась во всем мире, и в Петербурге в особенности.

Было бы ошибочным упрощать сложный в действительности ход вещей или смотреть на события 1800—1802 годов глазами людей, умудренных последующим историческим опытом. В начале XIX века или даже год спустя после знаменитых событий 18—19 брюмера было еще неясно, куда пойдет Французская республика, в какую сторону будут клонить брюмерианцы.

Нельзя в этой связи не признать смелости, одновременно проявленной с обеих сторон. Формально Франция и Россия находились в состоянии войны; дипломатические отношения между сторонами были полностью прерваны; еще не отгремело эхо недавней канонады и не заросла травой могила генерала Жубера, сраженного свинцом суворовской армии. Обратиться в этих условиях прямо к противнику, протянуть поверх поля брани руку примирения — для этого надо было обладать кругозором, решительностью и инициативой Бонапарта. Бонапарт рискнул — и не ошибся!

Вопреки поддерживаемому рядом авторов мнению надо отдать должное и русскому правительству, сумевшему круто и резко изменить политический курс, несмотря на оказываемое на него давление. Это давление шло не только со стороны определенных влиятельных кругов внутри страны — Никиты Панина, подавшего в сентябре 1800 года записку царю, доказывающую, что интересы и долг Российской империи требуют немедленной военной помощи «Австрийской монархии, находящейся на краю пропасти»[57], С. Р. Воронцова и его многочисленных сторонников, братьев Зубовых, через О. А. Жеребцову тесно связанных с Уитвортом, и других.

* Фраза Савари здесь оборвана, так как дальше следуют традиционные заверения в приверженности к миру, требующие пространных комментариев.

Давление оказывалось и извне. После Маренго и под его непосредственным впечатлением австрийский дом развернул широкую дипломатическую кампанию, добиваясь «восстановления доброго согласия» между двумя державами[58] и самого «тесного союза двух императорских дворов»[59]. Тугут, лукавя и по обычаю стараясь перехитрить своих партнеров, раздавал самые щедрые обещания и прикидывался овечкой. Весьма энергичную деятельность развили французские эмигранты, встревоженные переговорами с «узурпатором». Д'Антрег, великий мастер интриг и неутомимый изобретатель небылиц, которым он умел придавать видимость правдоподобия (что позволяло их выгодно сбывать за подходящую цену), и здесь не остался в стороне. Он плел паутину дезинформации. Ссылаясь на письма Серра Каприола (неаполитанского посланника в Петербурге) и представителя Людовика XVIII Карамана, он распространял в Вене сведения, будто русский император, встревоженный поражениями австрийцев, готов оказать им эффективную помощь, «дабы спасти австрийцев и всю Европу и воспрепятствовать заключению постыдного мира с французами»[60]. Британское правительство также не отказывалось от надежд удержать Россию в сетях коалиции и воспользоваться ее военными силами. Оно стремилось достичь этой цели, действуя как обычно — и «дипломатией сильного жеста», и методом обольщения. В то время как английское правительство уже готовилось поднять британский флаг над Мальтой (падение которой ожидалось со дня на день), не желая даже вступать в обсуждения с претендовавшим на тот же остров русским правительством, оно старалось проявить к нему любезность за чужой счет. В январе 1800 года английский посланник во Флоренции посетил графа Моцениго и заявил, что Англия не имеет никаких видов на остров Корсика и что, по его мнению, «завоевание Корсики имело бы большое значение для Его императорского величества»[61].

То были «дары данайцев». «Великодушно жертвуя» то, что ему не принадлежало, «предлагая» вместо Мальты французскую Корсику, британское правительство надеялось, если бы Россия попалась на эту удочку, навсегда поссорить ее с Францией. Не трудно разгадать в этом демарше Лондона и другой безошибочный расчет: если бы русское правительство, отвергая этот дар,

стало бы все же обсуждать вопрос о Корсике или связывать его с Мальтой, цель была бы достигнута — разрыв с первым консулом-корсиканцем был бы неизбежен: он принял бы это за личное оскорбление.

Все эти дипломатические диверсии остались безрезультатными. 18 (29) декабря 1800 года Павел I обратился с прямым письмом к Бонапарту. «Господин Первый Консул. Те, кому бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе» — так начиналось это письмо. Сам факт обращения к Бонапарту как главе государства и форма обращения были сенсационными. Они означали признание де-факто и в значительной мере и де-юре власти того, кто еще вчера был заклеймен как «узурпатор». То было полное попрание принципов легитимизма. Более того, в условиях формально не прекращенной войны прямая переписка двух глав государств означала фактическое установление мирных отношений между обеими державами.

В первом письме Павла содержалась та знаменитая фраза, которая потом так часто повторялась: «Я не говорю и не хочу пререкаться ни о правах человека, ни о принципах различных правительств, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается»[62]. Что это означало? То была в переводе на современный язык формула невмешательства во внутренние дела. «Принципы различных правительств» провозглашались их внутренним делом. Несомненно, это условие имело большее значение для Петербурга, чем для Парижа. Дюмурье недавно предупреждал Павла I об опасностях, исходящих от Бонапарта: «Его система революционной пропаганды известна»[63]. Павел пропустил тогда это мимо ушей, но предупреждение не было забыто. Нужно было себя обезопасить, и российский император приглашал Бонапарта «не пререкаться» по вопросам «о правах человека» и о принципах правительств. Первый консул принял эту формулу без возражений. Принцип невмешательства во внутренние дела уже тогда, в самом начале XIX века, был вполне подходящим для европейских держав с разным политическим строем.

Переговоры, так успешно начатые Спренгпортеном

и личной перепиской Бонапарта с Павлом, со времени прибытия в Париж официальной миссии Колычева пошли труднее. Дело было не только в недостатках характера Колычева и его предубежденности против консульской Франции, хотя и это, по-видимому, играло какую-то роль[64]. Переговоры шли трудно потому, что позиция Павла и проводимая его дипломатами линия были внутренне противоречивы. Согласившись на переговоры с Бонапартом как главой Французской республики и сразу же взяв курс на сближение с ней, Павел I тем самым открыто отверг принцип легитимизма, который он раньше отстаивал. Это было логично, поскольку оба прежних союзника — Австрия и Англия — первыми нарушили этот принцип. Австрия, грубо попирая законные права сардинского короля, захватила отвоеванный русским оружием Пьемонт, а Англия, также попирая права Мальтийского ордена *, захватила никогда не принадлежавший ей остров Мальта. Было логичным и закономерным, что Павел, заявив о выходе из коалиции, в которой Россия должна была сражаться за чужие, корыстные интересы, отказался и от принципа, отвергнутого жизненной практикой 1799—1800 годов. Столь же логичным было, что царь, вступив на путь сближения с консульской республикой, круто изменил свое отношение к претенденту на французский трон и грубо потребовал, чтобы граф Лилльский, он же Людовик XVIII, вместе со своим двором покинул пределы России[65]. Наконец, последовательным было и то, что, резко изменив весь внешнеполитический курс, Павел отверг и программу Никиты Панина, отстаивавшего сохранение союза с Австрией и Англией, и сместил его с поста вице-канцлера[66].

Но в странном противоречии со всей этой линией Павел в переговорах с французской стороной предъявил ряд конкретных требований, вытекающих из принципов легитимизма. Нота Ростопчина 26 сентября (7 октября) 1800 года, грубая по форме, выдвинула пять условий, предваряющих соглашение между двумя державами: возвращение Мальты Мальтийскому ордену, восстановление сардинского короля в его владениях,

* Так называемого ордена Иоанна Иерусалимского, гроссмейстером которого был Павел.

неприкосновенность земель короля обеих Сицилий, Баварии и Вюртемберга»[67]. Позже к этому было прибавлено возвращение Египта Турции[68]. Самое примечательное было в том, что пять условий ноты Ростопчина — сторонника сближения с Францией и врага Панина — были полностью и целиком взяты из осужденной царем и Ростопчиным записки Панина.

Эти требования, вдохновленные старой программой легитимизма, создали затруднения в переговорах. Некоторые из них, как, например, отказ от Египта, были неприемлемы для Бонапарта по чисто личным мотивам: в то время он еще не терял надежды, что в последний момент что-то резко изменит ход вещей в Египте; он еще верил (не имея к тому почти никаких оснований) в своего рода «египетское Маренго» — победу на грани проигрыша. По вполне понятным мотивам к вопросу о Египте Бонапарт был чувствительнее, чем к любому другому.

Бонапарт придавал столь большое значение сближению с Россией, что, притворяясь, будто он не заметил грубости ноты 26 сентября (7 октября), и не входя в детальное обсуждение поставленных требований, он поручил Талейрану ответить на них общим согласием[69]. Расчет оказался верным. Пока Колычев педантично и явно не торопясь обсуждал с Талейраном пункт за пунктом вопросы, каждый из которых порождал множество трудноразрешимых проблем, Бонапарт, не вдаваясь в частности, достигал заметных успехов в главном. Сближение императорской России Павла I с Французской консульской республикой Бонапарта быстро подвигалось вперед: дело шло к союзу двух великих держав, в том не было больше сомнения.

При существенных различиях обоих государств их правители имели и то общее, что охотно готовы были мечтать о грандиозном будущем: было естественным поэтому, что каждое правительство, идя на взаимное сближение, исподволь подготовляло далеко идущие планы. Ростопчин в своей записке, конфирмованной царем 2 октября 1800 года и получившей полное его одобрение («Мастерски писано»,— пометил на полях Павел), провозглашал главной задачей внешнеполитического курса сближение с Францией[70]. Но наряду с реальными задачами ближайшего времени записка Ростопчина в неопределенно далекой перспективе ри-

совала и план раздела Турции между Россией, Францией, Австрией и Пруссией. «Центр сего плана должен быть Бонапарт»,— пояснял Ростопчин, оговариваясь, что эту перспективу надо держать в тайне, «не приступая вдруг к открытию настоящих видов сближения с Францией»[71]. Бонапарт в письме к Талейрану от 27 января 1801 года рисовал еще более грандиозные, совершенно фантастические планы организации экспедиций против Ирландии, Бразилии, Индии, Суринама, Тринидада и американских островов, не говоря уже о Средиземноморье[72]. В обоих случаях то были проекты, замыслы далекого будущего, лишенные реальной основы. Они были важны не по своему практическому значению — его не было, а как доказательство склонности правительств обоих государств к империалистической политике, если употреблять этот термин в том широком понимании, которое порой придавал ему В. И. Ленин.

Ближайшие же практические задачи, стоявшие перед обеими державами, были от этих затаенных замыслов будущего весьма далеки. Первой и самой важной задачей Бонапарта, диктуемой прежде всего внутренней обстановкой в стране, было достижение мира. После восьми лет непрерывных войн народ, страна требовали мира. Это было всеобщим желанием, более того — необходимостью. Даже те круги буржуазии, которые наживались, обслуживая нужды армии, и те были за прекращение войны; в мирных условиях можно было заработать, вероятно, не меньше денег и освободиться от превратностей судьбы и непредвиденных потерь, зловещих элементов неизвестности, случайности. Буржуазия хотела стабильности. Мира требовало крестьянство: ему были нужны молодые, сильные руки, поглощенные армией; крестьяне, ставшие полноправными собственниками, хозяйственно окрепшие, хотели полностью воспользоваться плодами приобретенного. Мир был первым, необходимым условием социальной и политической стабилизации, возвращения к нормальным условиям жизни. Бонапартистский режим, власть консулата не могли упрочиться, не обеспечив стране на какое-то время, может быть даже недолгое, мир, понятно мир достойный.

Современники хорошо понимали, что объективные обстоятельства заставляют первого консула стремиться

привести возглавляемую им страну к миру. Понимали это и в России. Ростопчин в упоминавшейся записке писал: «Нынешний повелитель сей державы (Франции.— *А. М.*) слишком самолюбив, счастлив в своих предприятиях и неограничен в славе, дабы не желать мира»[73]. Ростопчин реалистически оценивал политику Бонапарта. По его мнению, Бонапарту нужен мир потому, что народ устал от войны и стране надо подготовиться к войне с Англией. Ростопчин справедливо полагал, что главный враг Франции — Британия «своей завистью, пронырством и богатством была, есть и пребудет не соперница, но злодей Франции». Силы Франции будут направлены на подготовку к этой нелегкой борьбе. «Бонапарт старается всячески снискать благорасположение Ваше для лучшего успеха в заключении им мира с Англией»[74].

Эта оценка основных направлений политики Бонапарта в главном была правильной. Но Ростопчин не разглядел существенного. Он увидел в политике первого консула только ее антианглийскую направленность и не сумел должным образом оценить и понять смысл, содержание русской политики Бонапарта тех лет.

Формула Бонапарта: «Франция может иметь союзницей только Россию» — содержала более глубокий и более общий смысл. Сближение с Россией, тем более союз с ней, имело ценность само по себе — оно поднимало престиж Франции в Европе, укрепляло ее авторитет, увеличивало ее политический вес. Короче говоря, сближение с Россией усиливало позиции Франции в Европе и мире.

Бонапарт был первым из французских государственных деятелей, кто сумел понять во всем значении важность для Франции союза с Россией. Он видел в русском союзе не случайную конъюнктурную сделку, а покоящийся на прочной основе государственных интересов важнейший элемент французской национальной политики. Трагедия Бонапарта была в том, что, правильно определив роль союза с Россией для Франции, он своими последующими практическими действиями пошел против собственной внешнеполитической концепции. Но к этому мы вернемся позже.

В сложном дипломатическом наступлении, которое Бонапарт и Талейран (действовавшие в то время еще в единодушии)[75] вели сразу во многих направлениях,

уже ощутимое сближение с Россией оказывало самое благоприятное влияние. Еще не было ничего подписано, ни о чем не было договорено, а в дипломатических переговорах уже чувствовалось, как ложится на чашу весов незримый, нематериализованный, но уже безмолвно взвешиваемый фактор могущественной русской поддержки. Бонапарт это понимал и торопился: он старался использовать эти благоприятные обстоятельства с наибольшей, почти универсальной полнотой.

Пруссия, которая еще недавно заламывала немалую цену за всегда сомнительные посреднические услуги в налаживании связей с Россией, теперь была отставлена. Прусский король высказывал Бернонвиллю желание, чтобы «Пруссия, Франция и Россия шли рука об руку». Но он, как это случалось с ним нередко, опоздал. В услугах Пруссии более не нуждались. Гаугвицу, неизменно руководившему внешней политикой берлинского кабинета, было дано понять, что теперь пришла пора Пруссии выслуживаться перед Францией и Россией. Незаметно, как будто само собой, получалось так, что заносчивый двор Гогенцоллернов должен был свыкаться с ролью просителя[76].

Как бы мимоходом решались частные задачи: 30 сентября в Париже было подписано соглашение с США, восстанавливавшее добрые отношения с заокеанской республикой. Успешно подвигались вперед переговоры с Испанией, начатые договором 1 октября 1800 года в Сент-Ильдефонсе. Уже складывались контуры двусторонней сделки. Инфанту Пармскому «передавалась» Тоскана, отныне именуемая королевством Этрурии. Испания уступала Франции Луизиану в Америке и обязалась оккупировать Португалию — традиционную опору Британии на Пиренейском полуострове. 29 марта 1801 года с рядом дополнений окончательный договор с Испанией был подписан в Аранхуэце[77].

Труднее всего подвигались дела с Австрией. Казалось бы, после Маренго никакой проблемы более не было. В реляции Павлу I из Теплица 1 (12) сентября 1800 года Колычев писал: «...зная положение здешних дел, предвидеть можно, что правительство не имеет довольно способов к продолжению войны, и, сверх того, может ли оно исправить внутреннее неустройство?»[78] И тем не менее венский кабинет, как принято было в то

время говорить, всячески оттягивал заключение мира с Францией. 20 июня, через пять дней после Маренго, был подписан новый договор с Англией, подтверждавший обязательство австрийского дома продолжать войну; Англия за это должна была уплатить два с половиной миллиона фунтов стерлингов[79]. Но даже если бы деньги были выплачены, а не только обещаны (как это чаще всего случалось), могло ли золото заменить боеспособную армию? «Барон войны» всемогущий Тугут и изворотливый Кобенцль прилагали все старания, чтобы умилостивить Павла и его сановников[80]. Через две недели после Маренго Кобенцль прибыл к Колычеву в Карлсбад по поручению императора Франца; он смиренно домогался возобновления переговоров между двумя дворами и от имени своего государя запрашивал, как угодно императору Павлу вести переговоры — через Кобенцля и Колычева или через Тугута? Ключ к решению проблемы войны и мира был по-прежнему в руках России, но в Вене был утерян ключ к русскому дому как раз в то время, когда недавние противники — Россия и Франция возобновляли прямой разговор.

И все-таки при стечении всех этих самых неблагоприятных обстоятельств венский кабинет продолжал уклоняться от мирных переговоров. Чтобы выиграть время и переиграть Бонапарта на дипломатическом поприще, в Париж был послан граф Сен-Жюльен, который был лишен каких-либо полномочий. Но переиграть Бонапарта за гладким столом дипломатического кабинета, быть может, было еще труднее, чем на зеленом поле сражений. Он разгадал замысел австрийцев, но притворился непонимающим и поручил Талейрану заманить в свои сети австрийского дипломата. Опытный мастер, Талейран артистически довел партию до конца и заставил Сен-Жюльена 28 июля от имени императора подписать прелиминарные условия мира, повторявшие в основном Кампоформио, на которые тот не имел полномочий. По возвращении в Вену Сен-Жюльен был заключен в крепость. Но Австрия должна была теперь начать настоящие переговоры.

Граф Кобенцль прибыл в Париж 28 октября для предварительной беседы с первым консулом. Они не встречались с Пассариано, с 1797 года. Бонапарт, в котором дарование большого актера сочеталось с интуицией изобретательного постановщика, позаботился

о том, как дать сразу почувствовать гостю, что многое изменилось за минувшие годы. Бонапарт назначил аудиенцию Кобенцлю в девять часов вечера в Тюильри. Он «сам выбрал комнату для его приема... В углу он велел поставить маленький столик, за который сел сам; все кресла были вынесены и остались одни лишь кушетки, находившиеся далеко от Бонапарта...». Люстра не была зажжена, и в комнате царил полумрак. Кобенцль, ожидавший торжественного приема во дворце, испытал замешательство. Он был поставлен перед необходимостью или стоять перед Бонапартом, или присесть на далекую и неудобную кушетку. Как заметил Талейран, каждый был поставлен «на свое место или, по крайней мере, на место, предназначенное каждому первым консулом»[81].

В дальнейшем переговоры были перенесены в Люневиль, где уполномоченным Франции был Жозеф Бонапарт, направляемый Наполеоном и Талейраном. Но, несмотря на только что пережитое унижение, несмотря на общую слабость позиции Австрии, несмотря, наконец, на то, что Жозеф дал ясно понять, что Вене нечего больше ссылаться на русские козыри — русская карта играет против Австрии,— несмотря на все это, Кобенцль все очевиднее уходил от соглашения, упрямился, торговался, затягивал время.

На что же рассчитывала австрийская дипломатия, саботируя заключение договора с Францией? На что надеялись в Вене? Надежды были, они ширились, росли, но они не связывались ни с талантами австрийских дипломатов, ни с боевой мощью австрийской армии. Эти надежды питались тайными сведениями, окольными путями приходящими в Вену, Лондон, Берлин и другие европейские столицы. «Падение Бонапарта представляется не только несомненным, но и близким»[82],— писал в феврале 1800 года один из главарей тайной роялистской организации, действовавшей в Париже,— Дюперу. Ни сам Дюперу, ни его сообщники по роялистскому подполью, ни их хозяева в Лондоне, ни их друзья в Вене отнюдь не ожидали общенародного восстания в Париже; их надежды были связаны с иным. «Мы имеем возможность вывести из строя новое правительство в Париже; вся его сила заключается в одном человеке»[83],— сообщал графу д'Артуа руководитель роялистского подполья Гид де Невиль.

Зачем вести борьбу против многих, против правительства и его аппарата? Не проще ли убрать любыми средствами — убить, похитить, взорвать — одного? На этом и были сосредоточены все усилия роялистского подполья. В Вене об этом знали: нить заговора протягивалась и сюда. В январе 1800 года в секретном сообщении из Парижа в Вену передавали, что «положение Бонапарта не из веселых»[84], он сталкивается с возрастающими трудностями, «он хотел бы сохранить то, что имеет...» в надежде стать со временем Кромвелем, но времена изменились[85]. В Вене были осведомлены и об июньском кризисе; наконец, пришла пора решающих действий. Гид де Невиль и Дюперу взялись за дело. Они нашли «страшного человека» — кавалера де Маргаделя, мастера политических убийств,— молодого, злого, беспощадного участника шуанских разбоев и ограблений дилижансов; Маргадель сколотил из таких же головорезов, как он сам, двенадцати шуанов, тайную группу, вернее, банду вооруженных до зубов убийц, не останавливающихся ни перед чем. Они укрылись в подполье, ожидая сигнала. Охота на первого консула началась[86].

Бонапарт, раздосадованный необъяснимым упорством Кобенцля, уклонявшегося от всякого соглашения (он ждал со дня на день гибели Бонапарта), прибег к последнему средству, оставшемуся в его распоряжении: он дал приказ Моро возобновить наступление; до сих пор он отказывался от этого, так как не хотел предоставлять Моро возможности приумножить свою военную славу. Главнокомандующий рейнской армией оказался на высоте задач: он превосходно подготовился к наступательным операциям и в сражении при Гогенлиндене 2—3 декабря разбил наголову австрийскую армию эрцгерцога Иоанна[87]. Путь на Вену был открыт. Эрцгерцог Карл, сменивший Иоанна, запросил перемирия; 25 декабря оно было подписано в Штейере *.

В то время как Гогенлинден завершал гремевшую на весь мир войну, в Париже заканчивалась незримая и неслышная посторонним иная война. В апреле

* Наполеон, в 1801 году высоко оценивший Гогенлинден (см. его письмо к Моро в Corr., t. 6, N 5271, p. 561—562), позже был крайне необъективен и несправедлив в оценках Моро (*Las-Cases.* Mémoires, t. I, p. 784). Он санкционировал перемирие в Штейере, так как не хотел, чтобы Моро вступал в Вену.

1800 года полиция случайно натолкнулась на нити заговора. Банде Маргаделя пришлось еще глубже уйти в подполье. Но одновременно было налажено другое дело, преследовавшее ту же цель; поставленное солидно, с применением новейшей техники, оно рождало у организаторов уверенность, что тот, за кем охотились целый год, на сей раз не уйдет живым. Взрыв «адской машины» на улице Сен-Никез 24 декабря потряс Париж и Европу, но среди множества жертв взрыва не было первого консула, он остался невредим[88].

Кобенцль в Люневиле сложил оружие: ему не на что было больше надеяться. 9 февраля мирный договор был подписан[89]. Люневильский мир в основном повторял положение Кампоформийского мира, но в ухудшенных для Австрии условиях. Это было закономерно: мир фиксировал результаты войны, и главным из них было поражение Австрии.

10 декабря 1800 года в письме к адмиралу Гантому Бонапарт, сообщая о победе под Гогенлинденом и о начинающемся наступлении армии Брюна в Италии, высказывал уверенность, что в ближайшие дни будет подписан мир с Австрией. «А через три месяца после установления мира на континенте будет заключен мир с Англией»[90].

Мир с Англией оставался для консульской республики самой важной и самой трудной задачей. Бонапарт отдавал себе отчет в том, что даже после сокрушения своих противников на континенте мир для Франции нельзя считать ни упроченным, ни даже достигнутым до тех пор, пока Англия продолжает войну.

Но что давало первому консулу основание считать в декабре 1800 года задачу, остававшуюся восемь лет неразрешимой, близкой к успешному завершению? Сотрудничество с Россией. Сам Бонапарт на это указал с полной определенностью.

В письме к Жозефу от 21 января 1801 года, то есть за две недели до подписания Люневильского мира, Наполеон писал: «Вчера прибыл из России курьер, проделавший путь за пятнадцать дней; он мне привез исключительно дружественное письмо императора (Павла), написанное им собственноручно: Россия имеет крайне враждебные намерения против Англии. Вам легко понять, что не в наших интересах спешить, так как мир с (австрийским) императором — ничто в срав-

нении с действиями, которые сокрушат Англию и сохранят нам Египет»[91].

То не было бахвальство или поверхностное, необоснованное суждение. Разлад между недавними союзниками день ото дня становился все глубже. 5 сентября англичане овладели Мальтой и в нарушение ранее принятых обязательств подняли над островом британский флаг. Захват англичанами Мальты вызвал крайнее раздражение Павла I[92]. Но дело было не только в Мальте. Как справедливо писал Д. А. Милютин в своем превосходном по документальной оснащенности исследовании, после второй коалиции «Европа с ужасом увидела новую опасность — от неограниченного усиления британского владычества на морях»[93].

Лишенная всякой правовой основы, бомбардировка британским военным флотом мирного Копенгагена была наиболее возмутившим европейское общественное мнение, но отнюдь не единственным актом британской агрессии на морях. Поворот в оценке политики Англии не был результатом взбалмошности или каприза Павла, как это иногда изображают.

Возмущение охватывало широкие круги. И. Ф. Крузенштерн, знаменитый русский путешественник, в письме 5 декабря 1800 года из Ревеля адмиралу Рибасу предлагал для обуздания Англии составить легкую эскадру из нескольких кораблей и направить ее в мае к Азорским островам, с тем чтобы здесь перехватывать крупные английские корабли, а мелкие «надо просто потоплять»[94]. Письмо Крузенштерна знаменательно как выражение резкого общественного негодования против Англии. И эти настроения были сильны не только в России. Быстро, без особых усилий русской дипломатии удалось в декабре 1800 года заключить договоры со Швецией и с Данией о совместной борьбе против Англии. Так была создана Лига северных держав. 18 декабря к ней примкнула и Пруссия. Против Англии создавалась коалиция держав.

Возникала новая политическая ситуация в Европе. Теперь Россию и Францию сближали не только отсутствие реальных противоречий и общность интересов в их широком понимании, но и конкретные практические задачи по отношению к общему противнику — Англии. Инициатива в поисках совместных антианглийских акций принадлежала русскому правительству.

Во втором письме к первому консулу от 2 (14) января 1801 года Павел I писал: «Несомненно, что две великие державы, установив между собой согласие, окажут положительное влияние на остальную Европу. Я готов это сделать»[95]. Хотя это заявление было еще несколько общим по форме, его политическое значение несомненно. То было предложение установить согласие между двумя державами. Не случайно Бонапарт придавал письму такую важность.

Через двенадцать дней, 15 января, Павел I направил Бонапарту еще одно письмо: «Не мне указывать Вам, что Вам следует делать, но я не могу не предложить Вам: нельзя ли предпринять или по крайней мере произвести что-нибудь на берегах Англии». То было прямое приглашение осуществить союз на практике совместными военными действиями против Англии. И это были не слова. За три дня до только что приведенного письма Бонапарту, 12 января, Павел I отправил атаману Войска Донского генералу Орлову 1-му несколько рескриптов. В них предписывалось немедленно поднять казачьи полки и двинуть их к Оренбургу, а оттуда прямым путем в Индию, дабы «поразить неприятеля в его сердце»[96]. «Поручаю всю сию экспедицию Вам и войску Вашему, Василий Петрович»,— писал Орлову царь. Приказ требовал немедленных действий. С Дона поднялись и пошли на Восток казачьи полки. Отряд Орлова насчитывал двадцать две тысячи пятьсот семь человек при двенадцати пушках и двенадцати единорогах[97].

Заветные мечты Бонапарта, грандиозные замыслы 1798—1799 годов, похороненные в горячих песках сирийской пустыни под стенами Сен-Жан д'Акра, неожиданно ожили и были близки теперь к осуществлению. Счастливая судьба превращала несбыточные мечты в реальность, в почти будничные практические заботы. Бонапарт был счастлив и горд. Все, что он обещал, все, что он предсказывал,— все, все сбывалось, даже раньше, чем можно было ожидать. Письма, записки, распоряжения первого консула начала 1801 года дышат радостной уверенностью в близкой и полной победе[98]. «Только Россия может быть союзницей Франции...»

Жизнь снова подтверждала справедливость этого утверждения. Ограниченный и заносчивый Колычев, не понимавший законов большой политики, продолжал

препираться из-за каждой буквы, каждой запятой с Талейраном. Конференции уполномоченных обеих держав были долгими, но бесплодными[99]. Бонапарта это мало беспокоило. Он предложил Талейрану усвоить по отношению к Колычеву более жесткий тон[100]. Какое значение могут иметь педантичные требования или возражения этого тупого чиновника, когда первый консул решает все самые сложные вопросы в прямом дружественном обмене мнений с русским императором? Слова, сказанные Бонапартом Спренгпортену: «Вместе с вашим повелителем мы изменим лицо мира», теперь, казалось, были близки к осуществлению.

Лондон был охвачен тревогой. Парламентская буря 2 февраля 1801 года низвергла правительство вчера еще всемогущего Вильяма Питта-младшего. Формально Питт пал в связи с ирландскими делами, но истинная причина была всем ясна. Ораторы оппозиции требовали провести следствие о причинах поражения английской политики. Новый кабинет Аддингтона взял в руки бразды правления в смутные часы неуверенности и всеобщих опасений.

И вот в эти дни ожиданий близящейся грозы, когда казачьи полки Орлова уже шли походным маршем на юго-восток, к предгорьям Индии, когда в Париже Бонапарт нетерпеливо ожидал осуществления своих самых дерзновенных замыслов, из далекого Петербурга вдруг пришла поразившая всех весть: император Павел I мертв.

То, что происшедшее в ночь с 11 на 12 марта в царских покоях Михайловского замка в Петербурге,— это не апоплексия, как было официально объявлено, поняли сразу все. Скоро стали известны и подробности. Конечно, то был удар, и даже не один, а несколько ударов, и все они были нанесены человеческой рукой. Точно называли и имена заговорщиков, участников цареубийства: граф Пален, «ливонский великий визирь», как называл его С. Р. Воронцов, генерал Беннигсен, Никита Панин, братья Зубовы. К горлу поверженного императора протягивались и длинные руки Уитворта. О заговоре не мог не знать цесаревич Александр[101].

Бонапарт, узнав о совершившемся в Михайловском замке, был в ярости. «Они промахнулись по мне 3 нивоза, но попали в меня в Петербурге»,— говорил он. Они — это значило англичане. В Париже не сомнева-

лись в причастности Англии к трагедии в Михайловском замке. И позже, на острове Святой Елены, вспоминая об убийстве Павла I, с которым Наполеон сумел установить дружеские связи, он начинал всегда с имени Уитворта[102].

Нельзя было сомневаться в том, что союз с Россией, казавшийся полностью обеспеченным, становился неосуществимым по крайней мере в ближайшем будущем. Бонапарт послал в Петербург, чтобы присутствовать при коронации Александра, самого близкого ему человека, на которого он возлагал наибольшие надежды,— Дюрока. Это доказывало, что он не отказывался от прежнего курса. Но он трезво оценивал смысл происшедшего 11 марта. Надо было считаться с реальностью, надо было искать в политике иные пути.

Пожизненный консулат

Передвинем стрелку часов назад. Вернемся к событиям июня 1800 года.

Маренго имело неисчислимые последствия. Во всем — во внутреннем положении Республики, в позициях Франции на международной арене, в личной судьбе первого консула — на другой день после 14 июня обозначалось нечто новое.

15 июня Мелас подписал условия перемирия, продиктованные Бонапартом. Он согласился сразу, без спора на все, что от него потребовали. Он был слишком подавлен происшедшим: победой, наполнившей его гордостью, и через три часа полным, сокрушительным поражением. Потрясение, испытанное 14 июня, оказалось выше его сил; не вникая в то, чего от него хотели, он отдал французам почти всю Северную Италию и был счастлив, что ему позволили уйти с остатками разбитой армии за Минчо. Если бы от него потребовали большего — отдать противнику и всю Австрию, до Вены, он, наверно, и на это согласился бы. Как полководец, как человек Мелас после Маренго перестал существовать.

Бонапарт приехал в Милан. У него было много забот в столице Цизальпинской республики. Ему надо было добиться изменений в государственном устройстве республики, приблизить ее конституцию к конституции VIII года. Он стремился также внести существенные коррективы во взаимоотношения с католической церковью. В июне первый консул официально присутствовал в полной военной форме на торжественном молебне в Миланском соборе; это был новый шаг в его церковной политике[1]. Он выезжал в Павию, чтобы торжественно открыть университет, закрытый австрийцами. Бонапарт уделял внимание итальянскому искусству. Злые языки добавляли, что его нередко видели в обществе знаменитой красавицы Грассини. Словом, у него было в Италии множество самых разных дел.

И все же, бросив на полпути незавершенными дела, он 25 июня неожиданно покинул Милан; 2 июля он был уже во французской столице.

Что же заставило первого консула поспешить с возвращением? Дурные вести. Из надежных источников

поступали тревожные сведения. Еще до начала второй итальянской кампании, в апреле 1800 года, Фуше сообщал, что некоторые бывшие якобинцы что-то затевают. Бонапарт отнесся к этим сообщениям с вниманием. Он обязал Фуше и Камбасереса зорко следить за возможными противниками слева. Широкое якобинское движение? Или новый бабувистский заговор? Бонапарт не без основания полагал, что обстановка во Франции не благоприятствует таким выступлениям. Тем не менее в письмах-директивах консулам из армии он призывал их к бдительности и твердости[2]. Но то, что до него дошло в Италию и что он узнал в Париже, не показывая виду, что знает, превзошло худшие опасения.

Стоило ему только уехать из столицы, как сразу же, чуть ли не на второй день, в Париже все было взбаламучено. Не только враги и недруги — это было бы понятно, но и ближайшие сотрудники первого консула, те, кому надлежало защищать режим консулата и его интересы,— все оказались вовлеченными в интриги, козни, какие-то темные, подпольные махинации. Самым странным было то, что все почему-то ожидали неудач Бонапарта: бедствий при переходе через Альпы, поражения, возможно даже его гибели. На протяжении двух месяцев его отсутствия, вместо того чтобы заниматься серьезными государственными делами, все были поглощены обсуждением вопроса: что будет, если вдруг...

В эти едва маскируемые заботой о благе отечества интриги оказались втянутыми высшие сановники консульского режима. Лидер «разочарованных брюмерианцев», так их называли, председатель Сената Эммануэль Сиейес был главным вдохновителем или даже организатором этой антибонапартовской закулисной возни. Его враждебность первому консулу не составляла секрета. В конфиденциальных донесениях, поступавших из Парижа, сообщалось, что Сиейес возглавляет партию противников Бонапарта и его возможности и перспективы в предстоявшей борьбе оценивались весьма высоко[3]. Ходили слухи, что Сиейес предлагал герцога Орлеанского или Лафайета на пост главы государства.

Были ли это только разговоры, или дело дошло до тайного комплота, установить нелегко. Бонапарт не мог получить информацию от своего министра полиции хотя бы потому, что тот был сам причастен к нечистым

переговорам июня 1800 года. Конечно, Фуше с его «пронизывающими глазами надсмотрщика над каторжниками», как о нем метко сказал Сорель, оставался самым осведомленным лицом в Париже. Но он молча выслушивал и допускал столь многое, что становился как бы соучастником этого полузаговора.

Бонапарт в Париже вскоре узнал, что к этим странным разговорам, начинавшимся со слов «а вдруг...», были причастны и другие его министры, во всяком случае все занимавшие наиболее важные посты: иностранных дел, военных, внутренних дел — Талейран, Карно, даже его родной брат Люсьен Бонапарт. Талейран, до сих пор внушавший Бонапарту доверие и пользовавшийся его полной поддержкой, превратил свой особняк в Отейле в штаб-квартиру жаждущих перемен. Карно не без удовольствия выслушивал предложения стать во главе правительства, «если...».

Люсьен Бонапарт писал Жозефу, что «если произойдет...», то первыми пострадают они, братья Бонапарт[4]. Это не мешало, однако, Люсьену самому раздувать пламя интриги. Честолюбивый, уверовавший в свой литературный талант[5], оскорбленный тем, что старший брат недостаточно ценит его заслуги в день 19 брюмера, Люсьен Бонапарт на свой манер конспирировал против брата. Даже родная сестра Наполеона Элиза и та в своем парижском салоне позволяла вольные разговоры. Все, все предавали, открещивались от Бонапарта еще раньше, чем он был побежден.

Кульминацией этих настроений был памятный день 20 июня. Накануне, начиная с 14 июня, как отмечали полицейские агенты, во всех кафе, на улицах говорили главным образом о падении Генуи, о дурных известиях из армии. На бирже курсы ценных бумаг стали падать. Утром 20-го прибыл курьер, привезший страшную весть о поражении под Маренго. Возбуждение достигло апогея. Многие стали хвастаться: «Я это предвидел», «Я это первым сказал». Ажиотаж, волнение достигли высшей степени. Не интересовались судьбой Бонапарта, о нем уже не говорили, его считали конченым человеком; всех занимал главный вопрос: что же будет теперь? Для лидеров, может быть для большинства, «Что же будет?» означало практически «Кто же?»[6].

В этот момент всеобщей сумятицы, когда тайное начинало становиться явным, когда на лицах стали про-

ступать желания и с уст готовы были сорваться новые имена, в этот критический миг появляется новый курьер из Италии. Речи обрываются на полуслове, молча все ожидают: что же будет сказано? Оглашается краткое сообщение о полной, решающей победе.

«Немая сцена», как обозначил Гоголь финал «Ревизора». Потрясение, неожиданность так велики, что никто не может молвить ни слова. Затем, когда шок миновал, все сразу, наперебой стали возносить хвалу великому полководцу. «Мы все это ожидали», «Могло ли быть иначе?!», «Мы предвидели эту победу!» — раздавалось со всех сторон. Особенно старались те, кто дальше других забегал вперед. Камбасерес и Лебрен чувствовали себя крайне неловко: они ведь тоже допускали эти недозволенные разговоры. У первого консула длинные руки, и рано или поздно все происшедшее в его отсутствие станет ему известным.

Чтобы отодвинуть этот страшащий их час или чтобы усыпить бдительность Бонапарта, консулы и министры готовят победителю при Маренго торжественную, грандиозную встречу. Первый консул будет принят, как Цезарь после завоевания Галлии. Но Бонапарт пресекает их намерения. С дороги он присылает короткую записку — никаких торжественных встреч, никаких церемоний.

Он возвратился в Париж, когда его не ожидали. После этой победы, которую славила вся страна, которая поразила всю Европу, весь мир, Бонапарт вернулся хмурым, молчаливым. К тридцати годам он познал в полной мере горечь разочарований. Он во всем разуверился: в великих освободительных идеях, так искренно увлекавших его в дни юности, в наивных мечтах о свободной Корсике, в революции, в якобинстве, в котором он видел могучую силу, в верности своей жены, которую любил больше всего на свете. Теперь пришла очередь его братьев, готовых было его предать, его ближайших соратников, выбранных им самим, сотрудников, с которыми он создавал режим консулата. Все, все не колеблясь отрекались от него, все готовы были его предать и продать, ни на кого нельзя было положиться.

«Я возвратился с состарившимся сердцем»,— скажет он позже о лете 1800 года.

Кризис консульского режима, обнаружившийся в июне 1800 года, в действительности был даже острее,

чем это казалось с первого взгляда. Опасны были не тайные козни Сиейеса, не вероломство Фуше и Талейрана (то была их вторая натура), ни фрондерство Люсьена. Опасным было то, что брожение в верхах консульского режима, ожидание ближайшими сотрудниками первого консула перемен стало явным, очевидным для всех и тем самым показало непрочность консульской власти. Бальзак в своем «Темном деле» прекрасно воспроизвел неустойчивую, тревожную политическую атмосферу тех дней — смутное время ожидания надвигавшихся перемен, когда никто не знал, где кончается власть консульского режима и начинается могущественная сила тайных участников заговора. Эта ставшая явной для всех слабость консулата воодушевила его настоящих врагов — людей действия, решивших воспользоваться благоприятным моментом. В поры ослабевшего государственного организма проникли враждебные ему силы. Это проникновение осталось незамеченным, или ему не придавали значения, не принимали всерьез. Прошло время, и эти подспудные процессы вдруг сразу дали о себе знать.

Бонапарт, вернувшись из Италии в столицу, должен был делать вид, что ничего не произошло, что он ничего не заметил, ничего не знает. Он по необходимости носил личину доверчивого или слишком занятого человека, не разглядевшего происшедшего, ибо иначе ему пришлось бы вступить в борьбу со всеми руководителями государственной власти, со всеми своими сотрудниками. Воевать со всеми было невозможно. Он ограничился лишь отстранением Карно с поста военного министра. Армия в его глазах имела решающее значение, и доверять ее человеку, не скрывавшему своей враждебности,— на это согласиться он не мог. Военным министром был снова назначен Бертье.

В остальном все сохранилось по-прежнему, все удержали свои посты, и даже Фуше, не без основания опасавшийся за свой портфель министра полиции, вскоре убедился, что и ему ничто не грозит. Было замечено лишь, что первый консул стал резче, раздражительнее, было очевидно также, что он все больше прибирает к рукам все дела, становится все более требовательным и недоверчивым. Но победителю Маренго все прощалось, даже, вернее, все вызывало одобрение. В целом же общий ход вещей оставался без изменений.

Но вот с некоторых пор, с осени 1800 года, стали происходить странные вещи. 18 вандемьера (10 октября) в театре Оперы во время представления в нескольких шагах от ложи первого консула было задержано несколько человек — они были вооружены кинжалами. Следствие установило, что то были бывшие якобинцы: Арена (один из братьев Арена, давних друзей Бонапарта по дням корсиканской юности), Черакки, Топино-Лебрен, Демервиль. Арестованные не отпирались; они признали, что шли к ложе консула, с тем чтобы заколоть его кинжалом[7]. Не было ли это полицейской провокацией, подстроенной Фуше? Вопрос этот остался до конца невыясненным. При всех обстоятельствах арестованные заплатили за это своей жизнью. Примерно через месяц полиция арестовала в Париже некоего Шевалье, якобинца, тоже близкого к бабувистам инженера, занимавшегося изготовлением взрывчатого вещества, предназначенного, конечно, также для первого консула.

Еще ранее, в начале вандемьера, в провинции — в Турени — произошло загадочное происшествие. В замок сенатора Клемана де Ри, видного политического деятеля Республики, явились несколько вооруженных людей и среди бела дня похитили сенатора, увезли с собой. Бальзаку это происшествие послужило канвой для одного из лучших его романов — уже упоминавшегося «Темного дела». Название, данное романистом, было совершенно точным: эта история действительно осталась темной, не выясненной до конца, и не только во времена Бальзака, и ныне, 170 лет спустя[8]. Тогда же, осенью 1800 года, похищение сенатора де Ри, оставшееся в течение длительного времени нераскрытым и безнаказанным, вызывало смятение умов.

Бонапарт поручил розыски пропавшего сенатора одному из самых энергичных и пользовавшихся его доверием сотрудников — Рене Савари[9]. Многие современники полагали (и Бальзак разделял это мнение), что похищение Клемана де Ри связано с опасными разговорами весной 1800 года, начинавшимися со слов «А вдруг...». Чтобы обезопасить себя от врагов и друзей, Клеман де Ри счел разумным укрыть в своем замке некоторые компрометантные документы, сохранившиеся от того времени. Предусмотрительный сенатор недооценил, однако, способности своих друзей. Его похище-

ние не преследовало корыстных целей: ценности не были взяты. Но когда стараниями полиции Фуше он был так же неожиданно обнаружен, как неожиданно и исчез, он, возвратившись в свой замок, удостоверился в том, что за время его отсутствия из замка исчезли документы, которым он придавал такое значение *.

Общественное мнение было уже достаточно возбуждено «темной историей», когда новое происшествие в столице — и какого масштаба! — заставило забыть о всех предыдущих.

Вечером 3 нивоза (24 декабря) Бонапарт выехал из Тюильри в Оперу; шла премьера оратории Гайдна. Первый консул считал нужным показываться на людях, особенно после попытки покушения в театре, к тому же он ценил творчество Гайдна. Карета ехала быстро и уже была недалеко от цели, когда на повороте улицы Сен-Никез раздался оглушительный взрыв. Затем послышались крики, стоны, плач, ржание коней, грохот рушащихся предметов. В густом дыму, застлавшем узкий проезд, сначала ничего нельзя было разобрать. Когда дым рассеялся, стало видно: мостовая и стены разворочены, несколько убитых, десятки раненых на земле, обломки кареты, искалеченные лошади, кровь, битое стекло, кирпичи, превращенные в щебень. Бонапарт остался невредимым. Как это могло произойти? Взрыв «адской машины» произошел через несколько секунд после того, как проехала карета Бонапарта. Если бы кучер не гнал так лошадей, гибель первого консула была бы неминуемой. На сей раз его спасла случайность, чудо[10].

Бонапарт приказал продолжать путь в театр. Перед поднятием занавеса он вошел в свою ложу. Жозефина не могла удержать слезы. Первый консул сидел с непроницаемым выражением лица. Со стороны могло показаться, что он всецело поглощен музыкой. Публика, узнав о происшедшем, устроила ему овацию. Бонапарт сдержанно поклонился.

* Напомним, что Бальзак в своем романе весьма точно определял состав участников секретных совещаний в Париже в дни Маренго: Талейран, Фуше, Камбасерес и Констан де Ри (в романе он один закамуфлирован под именем Малена) (см.: *Бальзак.* Собр. соч., т. 11, стр. 350—556, особенно 544—556).

Но едва лишь кончился спектакль и первый консул возвратился в Тюильри, он дал волю своим чувствам. Бледный, безмолвный Фуше выслушивал поток обрушившейся против него ярости. Все, что накапливалось со времени Маренго, все, что Бонапарт, прикидываясь незнающим, узнавал и молча терпел, все это вылилось в бессвязную, неистовую в своем гневе речь. Он не позволит больше, чтобы на первого консула, на первое лицо в государстве охотились как на куропатку! Чего сто́ит министр полиции, который допускает, чтобы у него под носом заминировали целый квартал! Это все «анархисты», тайным сообщником которых является министр полиции. Позже, на заседании Государственного совета, Бонапарт снова повторил свои обвинения против Фуше: «Не был ли он вождем заговорщиков? Разве я не знаю, что он делал в Лионе?» Фуше все считали человеком конченым, но почему-то Бонапарт не спешил с его увольнением.

Первый консул потребовал в Государственном совете суровых репрессий — казней, ссылок. Составление проскрипционных списков было поручено тому же Фуше. Он безропотно принял возложенное на него поручение[11].

Но, беспрекословно выполняя приказ первого консула, Фуше не прекращал розысков организаторов взрыва на улице Сен-Никез. Реаль, бывший кордельер, заместитель Шометта в Парижской коммуне, защитник бабувистов на процессе в Вандоме, Реаль, в прошлом один из самых «крайних», кипел желанием реабилитировать своих бывших собратьев, по меньшей мере умалить их вину и ответственность. Он пришел на помощь Фуше: в конце концов у бывшего кордельера и бывшего эбертиста могли быть совпадающие интересы. С помощью Реаля Фуше напал на след истинных организаторов взрыва «адской машины». Покушение было подготовлено и осуществлено могущественной разветвленной роялистской организацией, уже год охотившейся за Бонапартом. «Адскую машину» непосредственно подготовил Сен-Режан, роялист, инженер, человек, близкий к Жоржу Кадудалю. Сперва был арестован Карбон, сообщник Сен-Режана, затем в плювиозе был взят главный организатор взрыва «адской машины».

Фуше представил первому консулу все доказатель-

ства, все улики и дал возможность самому разобраться во всех обстоятельствах дела. Следствие раскрыло картину почти безнаказанной, предельно дерзкой деятельности роялистов во Франции, и в особенности в Париже[12]. Как уже говорилось, с весны 1800 года роялисты начали облаву на первого консула. Ее цель была определена вполне точно: с того часа, как в штабе партии претендента удостоверились в том, что Бонапарт не намерен быть «Монком белых лилий»[13], было решено его убрать. Операция эта была поручена Кадудалю, Гиду де Невилю, Дюперу, и вожди шуанов, хладнокровно прикинув все возможности и шансы, заключили, что убить Бонапарта можно в сравнительно короткий срок. Взрыв на улице Сен-Никез доказывал, что расчеты были не лишены оснований. Бонапарт остался жив лишь благодаря случайности.

Первый консул располагал теперь всеми доказательствами, что «адская машина» на улице Сен-Никез была делом рук роялистов. Но он не хотел ничего менять из ранее данных распоряжений. Арена, Черакки, Топино-Лебрен и Демервиль 19 нивоза были казнены. Сто тридцать якобинцев и бабувистов из списка, представленного Фуше, были отправлены на Сейшельские острова или высланы из Парижа под надзор полиции. Среди них были видные деятели леворeспубликанского движения — Лепелетье, Россиньоль и другие. Подавляющее большинство высланных не имело ни малейшего отношения к покушениям осени 1800 года. Затем пришла очередь роялистов. Сен-Режан и Карбон были также казнены. Полиции предписали удвоить свою бдительность. Фуше удержался на своем месте. Бонапарт с трудом переносил присутствие министра полиции: он ему не только не доверял, он ожидал от него козней, подвохов, удара в спину. Он создал «суперполицию» во главе с Жюно, затем Савари, которой было поручено наблюдать за Фуше. Но пост министра полиции оставался за Фуше. Этот человек невзрачной наружности, с леденящими глазами хорошо знал свое ремесло.

«Меня окружают со всех сторон враги»[14],— говорил Бонапарт Редереру в декабре 1800 года. Когда у главы государства столько врагов, нельзя ослаблять полицию, даже если ее руководитель вызывает почти отвращение.

Казни и репрессии осени 1800 года не были преходящим эпизодом в истории консульской республики. Они означали нечто большее. Это был переход к диктатуре Наполеона Бонапарта.

Режим, установившийся во Франции после переворота 18—19 брюмера, вряд ли можно определить как цезаристскую диктатуру, то есть диктатуру Бонапарта, как иногда утверждается в литературе. Диктатура установилась не сразу. Первоначально временный консулат по характеру власти был близок к Директории и отличался от нее главным образом тем, что в первом случае было пять директоров, облеченных полнотой власти, а во втором — три консула. Различие было скорее количественное, чем по существу. Бонапарт в ту пору был лишь одним из трех консулов, и его власть была не большей, чем, например, власть Сийеса. С конца декабря 1799 года, с введения в действие конституции VIII года и перехода к Бонапарту прав и обязанностей первого консула, положение изменилось. С этого времени утвердилось то, что теперь принято называть «личной властью»; носителем этой личной власти был, естественно, первый консул Бонапарт. Но и в этот период личная власть, хотя и была первенствующей и авторитарной, все же ограничивалась конституционными рамками, с которыми первый консул не мог не считаться. Он не решается официально принять командование армией, так как это не предусмотрено конституцией. Он допускает возражения или даже критику его политики в Трибунате, так как конституция VIII года, составленная им самим, не предусматривает каких-либо ограничений в свободе выражения мнения. Лишь после июньского кризиса 1800 года, после покушений, после «адской машины» на улице Сен-Никез совершается переход к ничем по существу * не ограниченной личной диктатуре Наполеона Бонапарта. Несмотря на сохранение внешних конституционных норм, несмотря на то что Франция формально остается республикой, в стране устанавливается фактическое самодержавие первого консула — генерала Бонапарта.

* Мы говорим «по существу», потому что формально диктаторская власть была прикрыта конституционными покровами и номинально конституция VIII года сохраняла силу.

Уже в суровых репрессиях против якобинцев и демократов полностью проявилась природа диктатуры. Ни в чем не повинные якобинцы и бабувисты были осуждены на изгнание не в соответствии с законом, а вопреки закону, против закона: их высылка на Сейшельские острова была продиктована политическими соображениями, и закон должен был приспосабливаться к воле первого консула. Воля первого консула ставилась теперь выше закона.

Относясь с недоверием к своим ближайшим сотрудникам, ведавшим важнейшими отраслями государственной политики,— министру иностранных дел Талейрану, министру полиции Фуше, Бонапарт стремился вникнуть во все сам; он постепенно сосредоточивал в своих руках все нити государственной политики, он во все вмешивался. Он обязал министров представлять ему письменные отчеты; это увеличивало их ответственность перед первым консулом. Они редко имели возможность лично беседовать с ним. Исключение было сделано лишь для Талейрана — министр иностранных дел имел право личного доклада первому консулу. Собственно, министры стали лишь исполнителями его воли; они знали, что за ними неусыпно следят, что их проверяют, контролируют, что они лишь послушные чиновники первого консула.

Все в стране решала отныне воля первого консула, воля диктатора. Оппозиция, сохранявшаяся в годы консулата, лишь усиливала авторитарные устремления Бонапарта. Внесенный в феврале 1801 года законопроект, предоставлявший правительству право учреждать в департаментах чрезвычайные суды, вызвал резкие возражения в Трибунате и Законодательном корпусе: он прошел и стал законом незначительным большинством голосов. Статьи гражданского кодекса также встретили решительные возражения. Это не осталось незамеченным, равно как и иные критические выступления Бенжамена Констана и других лидеров оппозиции[15]. Консульская власть нашла простое решение. Постановлением послушного Сената 27 вантоза X года (18 марта 1802 года) двести сорок членов Законодательного корпуса и восемьдесят членов Трибуната были объявлены не подлежащими переизбранию. Это значило, что они попросту выброшены из законодательных учреждений. «Чистка» прошла без затруднений[16]. Но

так как оппозиция все же не была окончательно сломлена, первый консул стал игнорировать Законодательный корпус и Трибунат; он сосредоточил всю работу в Государственном совете, ставшем главным механизмом правительственной деятельности[17].

Бонапарту было известно также, что оппозиция гнездится в политических салонах Парижа, прежде всего в салоне Жермены де Сталь. Здесь считалось с некоторых пор признаком хорошего тона превозносить генерала Моро; у него видели только одни достоинства: произнося его имя, вздыхали — вот человек, оставшийся неоцененным. Эта дама, считавшая себя, может быть даже не без доли основания, одной из самых умных женщин века, вызывала постоянное раздражение первого консула. Талейран его весьма охотно поддерживал в этих настроениях. Как заметил Баррас, Талейран не мог простить госпоже де Сталь, что она сделала его в свое время министром иностранных дел и одалживала ему деньги. Талейрана, вероятно, вполне бы устроило, если бы эту разговорчивую женщину выслали из Франции. Бонапарт начал склоняться к этой мере, но полагал, что время еще не пришло. «Передайте этой женщине, что я не Людовик XVI»,— сказал он братьям, продолжавшим посещать ее салон. Это было предупреждением.

Первый консул знал также, что имеются недовольные и в кругах военных — среди генералов. Это было серьезнее, потому что здесь могли быть пущены в ход не только слова. Главарями военной оппозиции называли Бернадота, Журдана, Ожеро. Единственно опасным противником Бонапарт считал Бернадота. Шурин его старшего брата Жозефа, муж бывшей возлюбленной Наполеона Дезире Клари, почти родственник, этот хитрый гасконец уклонялся от выражений солидарности с консульским режимом. Впрочем, после Маренго эти опальные генералы были не опасны Бонапарту. Его слава как полководца была уже непоколебима. Дезе погиб; Клебер по странному совпадению был убит в Египте в тот же самый день, что и Дезе,— 14 июня; Гош умер еще раньше; все самые крупные полководцы, потенциальные соперники Бонапарта, сошли со сцены. Оставался один Моро, но у того не хватит решимости на активные действия.

Преодолевая сопротивление оппозиции всех оттенков и усиливая свою личную власть или, вернее сказать, цезаристскую диктатуру, ибо он пришел к всевластию, опираясь прежде всего на армию, Бонапарт стремился затушевать, замаскировать диктаторский характер режима и создать для него помимо армии определенную социальную опору. Чрезвычайно глубокая мысль В. И. Ленина о присущей бонапартизму склонности к политике лавирования находит многократные подтверждения в истории консульства и империи[18].

Представлять дело так, будто власть Бонапарта как форма цезаристской диктатуры держалась только на силе штыков, значило бы впасть в ошибку. Политика Бонапарта первоначально до определенного времени, о чем речь пойдет ниже, была весьма реалистичной и строилась в главном на учете потребностей страны, точнее сказать, собственнического большинства населения. Сам Бонапарт сказал об этом очень ясно: «Мы довели до конца роман революции... Теперь надо установить, что в ней есть реального».

К числу этих реальностей, созданных революцией, Бонапарт относил произведенное ею перераспределение собственности и утверждение буржуазной собственности как господствующей формы общественных отношений. К ним же он относил равенство, понимаемое прежде всего как юридическое равенство прав, свободу, трактуемую ограничительно, как личную свободу, свободу пользования собственностью, но не больше. Эти реальности власть Бонапарта утверждала и защищала, и он сам, прошедший школу революции, понимал, что стоит ему отойти, отступиться от этих реальностей, и вся нация будет против него. Но, все более сосредоточивая власть в своих руках, Бонапарт искал дополнительные аргументы для идеологического обоснования прогрессирующей концентрации власти в одних руках. Хотя ему и случалось нередко весьма критически высказываться об «идеологах», он и сам был «идеологом» не в меньшей мере, чем полководцем.

В связи с этим нельзя не коснуться вопроса, имеющего частное, но все же существенное значение. Некоторые историки и биографы Наполеона склонны полагать, что Бонапарт был всегда или по крайней мере с 1796 года врагом революции и что всегда и более всего он ненавидел якобинцев. С таким мнением трудно со-

гласиться; подобные суждения представляются слишком прямолинейными и односторонними. Не следует прежде всего упускать из виду объективного содержания борьбы, которую вел Бонапарт. Как бы ни была реакционна и антидемократична проводимая им политика по отношению к народу своей страны, в столкновении с феодально-абсолютистским миром буржуазная Франция до определенного времени представляла собой исторически прогрессивную силу.

Но важно также разобраться и в мировоззрении Бонапарта, не упрощая, понять эволюцию его взглядов, изменения, совершавшиеся в его мировосприятии и в его действиях. В пределах рассматриваемого времени, то есть периода консульства, было бы неправильным не замечать внутренней противоречивости, сохранившейся в его мировоззрении, его политике. Вчерашний якобинец, автор «Ужина в Бокере», друг Гаспарена и Робеспьера-младшего, даже становясь на путь Цезаря, не мог перечеркнуть свое прошлое. Бонапарт — первый консул, диктатор еще отчетливо понимал, что его сила — в преемственной связи с революцией, в том, что его меч служит защите и укреплению ее завоеваний. Он об этом многократно говорил: «Я вышел из недр народа, я не какой-нибудь Людовик XVI...» При посещении Эрменонвиля, могилы Жан-Жака Руссо, первый консул сказал Станиславу де Жирардену: «Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия земли, если бы ни Руссо, ни я никогда не существовали»[19]. Эти слова полны глубокого смысла: первый консул, диктатор, «Цезарь», железной рукой утверждавший свою жесткую власть, он при всем том понимал, чем обязан автору «Общественного договора», он связывал свое имя с именем Жан-Жака Руссо. В беседе с Берлие в годы консульства Бонапарт говорил: «Были хорошие якобинцы, и было время, когда всякий человек со сколько-нибудь возвышенной душой должен был быть якобинцем; я сам им был, как и вы, как и тысячи других хороших людей»[20]. В его окружении всегда было немало людей, игравших заметную роль в якобинском или леволиберальном движении (достаточно напомнить Реаля, Брюна, Ланна), в его администрации работали Жанбон Сент-Андре, Мерлен из Дуэ, Юлен, Барер и другие. Наконец, когда все было уже в прошлом, на острове Святой Елены он говорил о том, что любил ре-

волюцию, отзывался всегда уважительно о Робеспьере и о его младшем брате[21].

Все сказанное не должно, конечно, ни в какой мере заслонять антидемократическую практику Бонапарта; что бы он ни говорил, нельзя упускать из виду, что на деле первый консул установил милитаристско-деспотическую диктатуру. Но важно избежать и упрощенного или слишком прямолинейного изображения его эволюции. Еще после первых успехов в Италии и в особенности после брюмера Бонапарт выдвинул идею национального единения. Идея эта не была его изобретением, она была рождена революцией, а до нее Руссо, но он ей придал новое толкование. Национальная идея в интерпретации Бонапарта — это было своего рода соревнование в военной славе, в военной доблести, забвение партийных распрей во имя высшего долга перед родиной. Во время революции почетом окружались только имена борцов за свободу — Брута, Гракхов, Вильгельма Телля. В Тюильрийском дворце, куда Бонапарт переехал в начале 1800 года *, он приказал поставить рядом со скульптурным портретом Брута портрет Цезаря. Он воздавал теперь почести Тюренну, Генриху IV, Жанне д'Арк. Себе он уготовил роль высшего национального арбитра: он стоит над партиями, он выше партий, он представляет и защищает интересы нации в целом.

Так крепкая авторитарная власть, которую он цепко удерживал в своих руках, получала возвышенное и благородное обоснование. Первый консул — это воплощение нации; это собственно сама нация в ее персональном выражении. Военная слава, которая его украшала (Маренго теперь безоговорочно преподносилось как великая победа, а тень Дезе становилась все бледнее), придавала этому живому национальному символу величественный и грозный характер.

Конечно, то была подмена принципов народного суверенитета гиперболизированным национальным принципом, отождествляемым с властью Цезаря. В конечном счете это было идеологическим обоснованием цезаристской диктатуры. Но многие ли добрались до сути?

* Переезд в Тюильри не был в то время мерой антидемократической; в Тюильри в 1793—1794 годах заседал Комитет общественного спасения.

В один из воскресных дней 1801 года над Парижем понеслись певучие, мерные звоны больших колоколов собора Парижской богоматери. Они молчали более десяти лет, как безмолвствовало и большинство колоколов почти во всех церквах Франции. Первый консул оживил церковные колокола, и их звон раздавался над всей страной.

Был ли он сам религиозным, верующим человеком? Нет, конечно. Искренний почитатель в юности Вольтера и материалистов, поклонник Руссо должен был относиться к церкви, к религии крайне скептически. До некоторых пор она его вообще не интересовала. Но он хорошо знал, что зазвонивший над селами и городами Франции певучий голос колоколов будет встречен радостными улыбками почти всех французских женщин, да и многих мужчин — крестьян и горожан. Он знал, что такая простая мера, как восстановление старого, привычного дня воскресенья вместо непонятного и трудно воспринимаемого десятого дня декады, была встречена всеобщим удовлетворением. Жизненный опыт убеждал в том, что религия и церковь остаются огромной силой, и трезвым своим умом он пришел к выводу, что этой силой не следует пренебрегать.

Что привело его к этим заключениям? Вероятнее всего, его натолкнул на мысль о необходимости пересмотра церковной политики опыт Италии и Египта. В 1796—1797 годах в Италии он убедился, что, воюя против церкви, он восстанавливает против французов народ, прежде всего крестьянство, всецело находившееся под влиянием священников. Еще нагляднее то же могущество церкви он почувствовал в Египте, столкнувшись с арабами-магометанами. С первых же своих обращений к египетскому населению он заявил, что относится с глубочайшим уважением к Корану. Но если публично провозглашать глубокое уважение к магометанской религии, то почему отказывать в уважении религии католической? Неотразимая логика этих рассуждений дополнялась с некоторых пор иными вескими аргументами. В Италии, Египте политика Бонапарта была направлена на то, чтобы нейтрализовать, обезвредить церковь. Но с тех пор как ходом вещей он, Бонапарт, стал главой французского государства, было логично и целесообразно сделать следующий шаг — поставить церковь на службу государству, превратить

ее из нейтральной или враждебной силы в союзника, опору режима.

Этот крутой поворот в политике по отношению к церкви должен был натолкнуться на возражения, на оппозицию. «Идея восстановления прав папы над французами находилась в прямом противоречии с общественным мнением и духом времени»[22],— говорил Шапталь. Десять лет французский народ воспитывали в убеждении, что церковь — оплот тиранов и что священнослужители — злейшие враги революции. То была непререкаемая революционная традиция, и она считалась неоспоримой для всех республиканцев, и для республиканской армии в особенности. Но не только истинные республиканцы должны были встретить в штыки политику примирения с церковью. В ближайшем окружении Бонапарта были люди, имевшие веские причины противиться союзу с церковью. Морис Талейран, бывший епископ Оттенский, внесший в ноябре 1789 года предложение отобрать у церкви все ее имущество, именно поэтому не хотел восстановления влияния церкви: он не ждал для себя от этого ничего хорошего. По тем же мотивам повороту в церковной политике противился и Фуше — бывший священник, а затем гонитель церкви и поборник дехристианизации: он не мог рассчитывать на симпатии церковников. Заигрывание с церковью шокировало ученых Института: высшее научное учреждение Франции было центром безбожия. Все «идеологи» были против церкви, они отстаивали традиции философии XVIII века, дух вольтерианства, свободомыслия.

Бонапарт пренебрег всем этим. Важнее, чем недовольство элиты, для него были поддержка и сочувствие крестьян. Бонапарт в данном случае обращался не столько к рассудку крестьян, сколько к их предрассудкам. Он был уверен, что восстановление церкви в правах будет с удовлетворением встречено крестьянством. Важнее же всего было то, что церковь становилась существенной опорой режима. Священники будут дополнять префектов. В их лице Бонапарт получал внешне независимую, а потому еще более ценную разветвленную сеть агентов консульского режима. Таковы были мотивы, предопределившие восстановление католической церкви как государственной религии. Конкордат 15 июля 1801 года, подписанный Бонапартом и папой

Пием VII, официально восстанавливал во Франции поддерживаемый государством культ католической церкви[23].

В воспоминаниях, продиктованных на острове Святой Елены, да и ранее, в годы консульства и империи, Бонапарт обычно объяснял свои успехи тем, что ему покровительствовала его «звезда». Он верил в свою звезду, то есть в свою судьбу, и звезда его не оставляла, не отворачивалась от него. В этих суждениях своеобразно сочетались корсиканское искреннее суеверие и лукавая, расчетливая мистификация.

В действительности успехи, сопутствовавшие до определенного времени военной и политической деятельности Бонапарта, как уже говорилось, объяснялись рядом причин. О некоторых из них уже было сказано. По ходу изложения здесь уместно обратить внимание еще на один частный фактор, облегчавший Бонапарту выполнение задач, которые он ставил перед собой.

Непрерывно расширявшийся круг вопросов в политической, государственной, дипломатической, военной, административной, юридической сферах деятельности, с которыми он сталкивался как первый консул, поглощал все его время и внимание. Но даже при его огромной, фантастической работоспособности (он по-прежнему, как в Оксонне, вставал в четыре-пять часов утра и сразу же принимался за работу) ему не хватало времени на все. Он все шире прибегал к помощи близких ему людей — друзей юности, которым он полностью доверял.

Их было не так уж много: это не раз упоминавшиеся Дюрок, Ланн, Бертье, Жюно, Мармон, Мюрат, Лавалетт. После Маренго к ним присоединились Савари, отчасти Рапп и Реаль. Четыре-пять лет назад большинство из них были мальчишками: они носили эполеты лейтенантов и капитанов, не задумывались над завтрашним днем; они, может быть, даже и не мечтали о большой карьере. Но с тех пор как судьба свела их с Бонапартом, в жизни молодых офицеров все изменилось — их имена стали окружать почет и слава, они носили шитые золотом генеральские мундиры и эполеты, командовали дивизиями, корпусами, их знала вся страна.

Эти люди из ближайшего окружения Бонапарта — люди первой итальянской кампании — безгранично верили в гений Бонапарта, и он им доверял. Некоторые важные дела, которые он сам не успевал довести до конца и не доверял министрам, он поручал своим ближайшим сподвижникам. Сложные дипломатические миссии Бонапарт поручал Дюроку, и «солдат Дюрок», как он сам о себе говорил, превосходно с ними справлялся. Сведущие люди знали, что мнение Ланна или мнение того же Дюрока для первого консула гораздо весомее, чем мнение официального должностного лица — министра, а иногда второго или третьего консула.

Но и этих близких ему помощников не хватало для управления огромной и всевозраставшей государственной машиной, и Бонапарт привлек в качестве ближайших сотрудников ряд новых людей. Он учредил должность государственного секретаря. На нем лежали обязанности регулирования и координации всей межминистерской деятельности. На эту должность был назначен Маре — всегда корректный, пунктуальный, точный во всех мелочах, своего рода Бертье гражданского ведомства[24]. Вопросы юридического порядка, гражданского законодательства он передоверил Камбасересу, сохраняя, однако, за собой право последнего слова. В Государственном совете, ставшем главным правительственным органом консульского режима, он прислушивался к мнению Редерера, Реньо де Сент-Анжели, Шапталя, Тибодо. Более всех иных он ценил мнение Редерера: он его считал — с должным основанием — одним из самых умных и проницательных сотрудников. Слишком своевольного младшего брата Люсьена он убрал с поста министра внутренних дел и назначил на эту ответственную должность Шапталя.

Бонапарт знал, что Шапталь не принадлежит к числу его почитателей; позже он стал почти открытым противником первого консула. Но он ценил в Шаптале иное: Шапталь был одним из крупнейших ученых своего времени. Выдающийся химик, автор ряда важных исследований, Шапталь был и крупным организатором. Во время революции он сумел наладить в большом масштабе производство пороха в Гренельском лагере. Бонапарту не повезло с Лапласом; но от идеи, чтобы министерством внутренних дел управлял ученый, член Института, он не отказался. Шапталь

полностью оправдал его надежды. Его деятельность как министра была в высшей степени плодотворной.

Бонапарт всегда питал к науке и людям науки глубокое уважение. Он его сохранил на всю жизнь. Он требовал уважительного отношения к науке и от других. Неосведомленность, некомпетентность в научных вопросах, тем более невежество были в его глазах непростительным пороком. Однажды Бернарден де Сен-Пьер, автор «Поля и Виржинии», прославленный писатель, чей талант Наполеон высоко ценил, пожаловался Бонапарту на то, что в Институте, членами которого они оба состояли, к нему относятся без должного уважения. Наполеон на минуту задумался. «Скажите,— спросил он после недолгой паузы,— а вы знакомы с дифференциальным исчислением?» «Нет!» — чистосердечно признался писатель. «Так что же вы жалуетесь!» Член Института, не знающий дифференциального исчисления, по его мнению, действительно не заслуживал уважения[25].

Бонапарт стремился привлечь к государственному управлению ученых. В вопросах экономической политики, в особенности в организации промышленного производства, он прислушивался прежде всего к мнению ученых. С наибольшим вниманием он относился к мнению Шапталя, и не потому, что тот был министром, а потому, что он был ученым.

После июньского кризиса 1800 года, когда Карно стал или, может быть, показался Бонапарту опасным, он с ним разошелся на долгие годы. Но, разойдясь с Карно, он продолжал питать к нему глубокое уважение и высоко ценить его талант и как военного руководителя, и как ученого-математика.

В отношении Бонапарта к таким людям, как Шапталь, Карно, Монж, Лаплас, Бертолле, отчетливо проступало, как уже говорилось, его уважение к науке. Но нетрудно разглядеть за этим и большее — его уважение к талантам, его умение ценить талантливых людей. При огромной личной одаренности, энергии, почти беспредельной работоспособности Бонапарт не боялся соперников и окружал себя талантливыми людьми. Так было вначале, позже он стал к ним относиться иначе. Бонапарт проявлял своего рода жадность к талантам, он их разыскивал, у него был на них зоркий глаз. Он хотел, чтобы весь правительственный аппарат состоял из вы-

сокоодаренных людей. Конечно, при условии, чтобы они не становились ему поперек дороги.

В Англии XIX века о некоторых кабинетах — о министерстве Эбердина или Гладстона — наполовину иронически, наполовину всерьез принято было говорить: «Министерство всех талантов». Если это выражение имело какой-либо смысл, то с наибольшим основанием оно могло бы быть применено к руководящему штабу консульства и частично империи, к окружению Бонапарта. Ближайшие военные и государственные помощники первого консула — то было действительно «министерство талантов», такое блистательное сочетание ярких и своеобразных дарований, которым не располагало в то время ни одно другое правительство Европы. В том деле, которое Бонапарт считал своей основной профессией,— в военном деле, в руководстве армией — он сумел объединить вокруг себя столько талантов, такое созвездие первоклассных дарований, подобного которому история Франции не знала ни раньше, ни позже.

Массена, Клебер, Ланн, Даву, Ней, Бертье, Дезе, Мюрат, Брюн, Сульт, Журдан, Макдональд, Жюно, Дюрок, Мортье, Бесьер, Мармон, Ожеро, Удино, Рапп, Лористон, Виктор — вот далеко не полный перечень военных соратников Бонапарта. За каждым из этих имен стоят удивительные биографии, неожиданные жизненные повороты, суровые испытания и воинские подвиги. Эти люди различались по происхождению, по образованию: Даву, Дезе и Мармон принадлежали к старинным, хотя и обедневшим дворянским семьям; Ланн, Мюрат, Брюн, Клебер, Ожеро, Жюно были выходцами из народа, некоторые из них были из самых низов и начинали военную службу простыми солдатами. Но какова бы ни была их сословная принадлежность, все они были сыновьями революции.

В обширном литературном наследии Наполеона мало страниц, которые не были бы написаны с оглядкой, с учетом суждений посторонних — современников или потомков, всюду чувствуется трезвый голос рассудка; слова, даже если они носят печать торопливости, почти всегда взвешены и дозированы. Но есть и исключения — это ранние письма к Жозефине, письма 1796 года, когда не было дня, чтобы он не напоминал ей, как он безмерно ее любит. Позже его письма к ней

стали иными. Но примечательно, что в ранних письмах, всегда кратких, так как времени не хватало, он не мог не рассказать ей об успехах своих генералов. «Массена отдал распоряжения, и они были очень удачны»,— писал он в письме 11 июля 1796 года после сражения под Вероной. «Генерал Брюн получил семь пуль, все они пробили его одежду, не задев его самого. Вот что значит иметь счастье!»[26] — сообщал он в том же письме. В этих коротких строчках нет ни тени зависти или чувства соперничества, как-то объяснимого у полководцев, соревнующихся в служении Марсу. Ни Массена, ни Брюн не были лично близкими Бонапарту, и все-таки он не мог удержаться, чтобы не рассказать об их успехах жене.

Конечно, Бонапарту были менее всего присущи чувствительность, сентиментальность. Его зоркий взгляд не терял из поля наблюдения ни одного из крупных генералов, которые могли бы встать на его пути или перебежать ему дорогу. Если надо было, он железной рукой устранял всех, кто мог быть опасным. Так, он не позволил Моро после победы под Гогенлинденом идти на Вену; Моро он считал соперником и потому следил за ним и ограничивал его деятельность. Он не спускал глаз с Бернадота: он ему не доверял. Когда затрагивались его прямые интересы, он был беспощаден. Он отправил на казнь Арена, хотя с ним его связывали воспоминания юности. Он приказал расстрелять Фротте, так как надо было сломить сопротивление вандейцев.

Но при этом он последовательно оказывал поддержку тем, кого не считал своими врагами, воздавал им должное. Так, он сумел оценить таланты Дезе и протянуть ему руку дружбы. Он сразу отгадал военный талант Ланна и быстро продвигал его по ступеням военной иерархии. Ланну он прощал даже его резкую критику: он остался одним из немногих людей, дерзавших говорить правду в лицо. В армии Моро он заметил Мишеля Нея, Груши; он их сразу сумел оценить и оказал им поддержку. За внешне колючим обликом Даву он разглядел человека незаурядных дарований; он его поддержал и не ошибся в выборе.

В спорных вопросах, когда надо было решать, кому доверить руководство ответственной операцией, Бонапарт отдавал предпочтение таланту. Он не любил Клебера, о чем откровенно рассказал в своих воспоминаниях[27]. Но он не мог не признавать его военный талант,

и, когда в 1799 году надо было решать, кому доверить командование египетской армией, он сразу же решил, что это может быть только Клебер. Со времен Тулона Бонапарт был лично привязан к Жюно, это был его старый товарищ. Он высоко ценил также и Нея. Но когда позже, в 1810 году, Жюно и Ней, командовавшие корпусами в Португалии, не проявили должной энергии, Бонапарт назначил над ними начальником — главнокомандующим армией в Португалии — Андре Массена[28]. Своенравный старый Массена, и при маршальских эполетах сохранивший опасный норов и замашки бывалого контрабандиста, оставался генералом, независимым от первого консула, а затем императора. Бонапарт к тому же имел основания полагать, что этот старый волк Массена, имевший на своем счету немало славных побед, наверно, оставаясь наедине в своем логове, рычит, что его подвиги остались неоцененными. И все же, как бы лично ему ни были ближе Жюно и Ней, он не мог не ценить военный талант старого рубаки и не воздавать ему должное как первоклассному полководцу. В выборе между Жюно, Неем и Массена он отдавал предпочтение более сильному таланту.

Бонапарт настойчиво стремился и в армии, и в гражданском ведомстве заместить все наиболее важные должности людьми таланта, сильными умами, «les hommes d'esprit», как он любил говорить. Желание составить свою команду из игроков первой категории оставалось определяющим в формировании Бонапартом правительства, и даже шире того — всей военной и гражданской администрации. То, что эти первоклассные игроки в какой-то момент захотят оттеснить его самого и выйти на первое место, ни в малой мере не смущало Наполеона. Он был настолько уверен в своих силах, в такой степени убежден, что он останется впереди любого из соперников и в конце концов каждого из них переиграет, что он смело шел на риск привлечения в состав правительства и людей, которым он заведомо не доверял. Так, после Маренго он стал относиться с недоверием (кстати сказать, обоснованным) к Талейрану и не питал к бывшему епископу Оттенскому никакой личной симпатии. Но он не мог не признать, что Талейран был в высшей мере тем самым homme d'esprit, которых пытался привлечь и объединить вокруг себя Бонапарт. Он не мог не воздавать должное и порази-

тельной работоспособности министра иностранных дел, обладавшего при своей кажущейся немощи железным здоровьем и завидной способностью не спать по две-три ночи подряд, сохраняя полную бодрость духа.

Еще меньше доверия, если здесь возможны какие-либо соизмерения, он питал к Фуше. Впрочем, к этому молчаливому человеку, после того как он проделал эволюцию от смиренного аббата-ораторианца к неистовому террористу и гонителю церкви в Невере и Лионе и от крайнего эбертиста к министру полиции Директории, никто не мог питать доверия: его биография, даже внешний облик его исключали доверие. У Бонапарта не было необходимости и даже особой выгоды принимать услуги, которые предложил ему еще в октябре, до брюмера, Фуше. За спиной Фуше не было никакой силы, ничего, кроме его собственной тени. Он никого не представлял, кроме самого себя.

И все-таки Бонапарт, сохраняя к Фуше постоянное недоверие, принял предложенные услуги и поручил ему не столько почетную, сколько существенную в государственном механизме функцию — руководителя полиции.

Можно не соглашаться со Стефаном Цвейгом, который изображает Фуше своего рода гением — гением зла[29], но нельзя не признавать, что этот внушавший ужас и отвращение бледный, худой, как бы обескровленный человек был наделен какой-то силой. Его иммморализм, его возведенная в принцип беспринципность, презрение к людям, беспощадность — это страшное соединение в одном лице всех пороков делало «мрачный талант» Фуше по-своему тоже значительным. И Бонапарт к тому яркому созвездию блистательных талантов, которые должны были лишь усиливать его собственное сияние, не колеблясь присоединил и темную тень Фуше.

Бонапарт мог предположить, что некоторые из его сподвижников — Фуше, Талейран, Бернадот, Ожеро, может, еще кто-либо — при первом же колебании ветра начнут покачиваться, а при сильной встречной буре повернут против него. Короче говоря, это были верные помощники, готовые при первой же неудаче предать своего сюзерена. Что из того? Бонапарт знал, с кем имеет дело. Но он верил в свою звезду, верил в свои силы. Он сумеет перехватить руку с отравленным кинжалом раньше, чем она его ударит. И потом не в его ха-

рактере было задумываться над тем, что произойдет через несколько лет. «Надо ввязаться в бой, а там будет видно». Придет время, и он опять найдет единственно верные решения, которые надо будет принять. Зачем заглядывать в далекое будущее?

Пока же он смело, уверенно, без колебаний выдвигал на первые места людей таланта. Люди ума, люди таланта — вот что нужно для возрождения Франции. И Бонапарту действительно удалось создать такое правительство, такое государственное, политическое, военное руководство, которое силой и богатством талантов затмевало любое другое из современных ему правительств.

Когда говорят о гениальности Наполеона, о его поразительном, чудодейственном даре, нередко забывают о том, что Бонапарт был не один, что он был лишь первым среди множества ярких талантов, что он шел вместе с могучей, почти неодолимой когортой людей выдающегося ума, таланта и силы. Если угодно, гениальность Наполеона Бонапарта прежде всего проявилась в отчетливом понимании того, что истинно великое может быть совершено усилиями не одного человека, а всех разбуженных талантов страны, раскрывших и приумноживших свои дарования в осуществлении большой цели.

Так что же, бонапартистский режим, консульская Франция — это была республика талантов, своего рода Афины девятнадцатого столетия? Или особое государство, где дарования, способности, ум, поощряемые блистательным полководцем и государственным деятелем, были свободны от классовой зависимости, были вне классов или над классами?

Полноте! Кто может, кроме слепых апологетов наполеоновского культа, принимать подобные домыслы всерьез! Конечно же это было не так. Если консульство и до какого-то (довольно недолгого) времени империя действительно объединяли и представляли множество талантов в самых различных сферах общественной деятельности, то это отнюдь не потому, что они были вне классов и классовых интересов. Напротив, само это появление одновременно множества по-разному талантливых людей было одним из выражений выхода на

общественную арену тогда еще молодого, восходящего, полного сил класса — буржуазии.

И его первое лицо — первый консул Французской республики при всей автократичности созданного им режима, при возраставшем единовластии действовал и проводил политику в интересах буржуазии и буржуазного общества. Порядок, который он устанавливал и укреплял, то был буржуазный порядок. Миллионер Уврар, сколотивший огромное состояние за годы революции и Директории и вынужденный скрываться в 1793 и 1794 годах, теперь, при консульской республике, мог впервые выставить свое богатство напоказ. У Бонапарта были личные причины не любить Уврара, и до поры до времени он показывал миллионеру силу своей власти, но он не мешал ему накапливать миллионы и пользоваться всеми благами, которые приносит богатство.

В великолепном особняке Уврара в Ренси «можно было встретить королей, принцев, лордов, всех знаменитостей, создаваемых благородным происхождением, литературой и искусством»[30] Сабля Бонапарта, неограниченная, деспотическая власть первого консула в конечном счете защищали особняк и миллионы Уврара и ему подобных. Бонапарту случалось резко осуждать богачей, и, надо признать, он не питал особого пиетета к богачам и богатству. Он не может быть уподоблен в этом смысле Луи-Филиппу Орлеанскому, королю Июльской монархии скопидомов. Время всесилия денег еще не пришло. Но вся политика консулата — экономическая, финансовая, налоговая, наконец, внешняя — была направлена на утверждение нового общественного строя — буржуазного порядка, государства собственников.

При подготовке и обсуждении в Государственном совете Гражданского кодекса, проходивших под председательством и при деятельном участии Бонапарта, наибольшее внимание и даже воодушевление вызывали вопросы собственности. «Право собственности является главной основой гражданской свободы», «право собственности является основным правом, на котором покоятся все общественные учреждения»,— утверждали Тронше, Порталис и другие члены комиссии, вырабатывавшей Гражданский кодекс[31]. Революция смело попирала права собственности: она конфисковала собст-

венность церкви, эмигрантов, врагов родины. Но после того как перераспределение собственности уже произошло и восторжествовала буржуазная собственность, надо было ее укрепить и упрочить. Бонапарт провозгласил «неприкосновенность собственности», и это стало основой Гражданского кодекса. По этим же мотивам Бонапарт был и против ограничения права наследования, его не смущало дробление собственности: чем больше будет собственников, тем лучше. «Собственники — самая прочная опора безопасности и спокойствия государства»[32].

Из всех сфер экономической деятельности Бонапарт сознательно уделял наибольшее внимание развитию промышленности. Торговля, спекуляция, финансовые операции в его глазах не имели большой цены — то был все род деятельности, проходящей бесследно: что от нее остается? Иное дело — промышленность; Бонапарт считал промышленное производство самой полезной отраслью экономики: она создает новые материальные ценности — фабрики, мануфактуры, промышленные товары.

Непримиримая, ожесточенная война с Англией — это ведь была в конце концов защита интересов французской промышленности от британской конкуренции. Интересы промышленности всегда стояли при консульстве и империи на первом плане. Не случайно через год после установления консульского режима при деятельной поддержке Бонапарта было основано «Общество поощрения национальной промышленности». Его непосредственными организаторами и руководителями стали крупнейшие ученые — Бертолле, Конте, Монж, Шапталь. В 1802 году была основана Торговая палата, в 1803 году — Палата мануфактур. В 1801 году в Париже открылась первая промышленная выставка; она показала, что и во французской промышленности вслед за Англией наступает время технического переворота. В текстильном производстве, в металлургии начинали прокладывать дорогу машины, повсеместно вводились технические усовершенствования, и правительство консулата деятельно помогало в этом. Широкий размах приняли строительные работы: в стране прокладывались новые дороги (в том числе знаменитая дорога через Альпы — через Симплон на Милан), усовершенствовались морские порты и гавани; в городах строились но-

вые дома, соответствовавшие требованиям нового века; на глазах восхищенных иностранцев, снова устремившихся во Францию, Париж преображался, обогащаясь новыми зданиями, нарядными, красивыми бульварами. Сугубо буржуазный характер власти консулата особенно ясно проступал в его антирабочем законодательстве. Закон 12 апреля 1803 года воспроизводил основные положения закона Ле Шапелье: снова были подтверждены запреты стачек и права рабочих объединяться в союзы. Закон 1 декабря 1803 года о «рабочих книжках» показывал, что в классовых конфликтах между рабочими и предпринимателями правительство подчеркнуто брало сторону хозяина. Могло ли быть иначе? Правительство консулата было правительством собственников[33].

Выше уже говорилось, и здесь следует лишь напомнить, что консульская власть, естественно, защищала и охраняла и интересы крестьянства. Но разве крестьянство, собственническое крестьянство, созданное революцией, не представляло собой важную составную часть и опору нового буржуазного строя?

Словом, во всей политике консульской власти со всей очевидностью проступала ее классовая основа — ее буржуазная природа. Но вместе с тем было бы упрощением не замечать своеобразия этой власти. Действуя в интересах нового, буржуазного общества, представляя собой, если так можно сказать, его персональное воплощение со всеми его сильными и отрицательными чертами, Наполеон Бонапарт не предоставлял буржуазии полноты власти; диктаторская власть первого консула, а затем императора обособлялась от класса, интересы которого она защищала,— она стояла над буржуазией, как и над остальными классами.

Но, отчуждая в свою пользу политические права буржуазии, как и остальных классов, присвоив монополию политической власти и действуя в то же время в интересах буржуазии, режим консулата старался предстать перед современниками некой высшей, надклассовой, надпартийной государственной властью.

Предсказание Бонапарта о том, что мир на континенте повлечет за собой в скором времени мир с Англией, сбылось. 1 октября 1801 года были подписаны

условия прелиминарного мира, а через пять месяцев, 27 марта 1802 года, в Амьене был заключен мирный договор между Англией, с одной стороны, и Францией, Испанией и Батавской республикой — с другой. То был компромисс с обеих сторон, в целом все же более выгодный Франции. Британия должна была на него пойти, так как она потеряла всех союзников и осталась изолированной в Европе и истощила за десять лет войны свои ресурсы и силы. Противоречия между соперничавшими державами не были устранены, но спорные вопросы старались обходить: мир был необходим потому, что ни та ни другая держава не были в силах продолжать войну[34]. И вот пушки, ружейные выстрелы смолкли. В Европе воцарилась тишина.

Весна 1802 года казалась одной из самых счастливых в начинающемся столетии. Десять лет почти по всем дорогам древнего континента и далеко за его пределами шла война. Уже теряли веру в то, что война когда-либо кончится. И люди снова тревожно прислушивались к звону металла, но то гремели не пушки, то гудели колокола, возвещая наступление долгожданного мира.

Никогда еще слава первого консула не была так велика. Ни одна самая триумфальная победа не принесла такой признательности соотечественников, такой искренней радости народа Франции, всех народов Европы, как день, остановивший войну. Куда, в какую сторону повернет теперь власть, направляемая сильной рукой? Первые дни после заключения мира никто не хотел над этим задумываться. Матери обнимали вернувшихся сыновей, жены — мужей, дети — отцов. То были дни общей радости.

Но время шло, прошло пасхальное воскресенье, впервые отмеченное звоном колоколов и церковной мессой в мирной стране. Первый консул говорил пришедшей к нему с поздравлениями по поводу заключения мира депутации Законодательных собраний о «мире совести», о внутреннем мире, которому он придавал не меньшее значение, чем миру между воевавшими государствами[35]. Но что принесет с собой мир?

Во внешнеполитической деятельности консульской республики два предшествовавших Амьенскому миру акта вызывали разноречивые мнения. 5 января 1802 года в Лионе открылись заседания Консульты —

законодательного собрания Цизальпинской республики. Миланские патриоты испытывали горькие чувства, направляясь во французский город, чтобы там решать свои дела. Но скрепя сердце приходилось с этим мириться: вторичным освобождением от австрийского гнета итальянцы были обязаны победителю при Маренго. С первых же заседаний начались споры — какое же государство надо создавать? 11 января в Лион прибыл первый консул Французской республики. Вскоре он выступил в Консульте с речью на итальянском языке; он предложил делегатам присвоить учреждаемому государству подобающее и соответствующее его достоинству наименование: не Циспаданская, не Цизальпинская, а Итальянская республика! Его слова заглушил гром оваций, потрясших зал. Следовало ли удивляться, что, когда заседания Консульты 25 января завершились, президентом Итальянской республики был избран генерал Бонапарт?![36]

В европейских столицах это неожиданное решение вызвало немалый переполох. Что означает эта личная уния? Мирную аннексию Италии? Но время охлаждало страсти. Принципиально Итальянская республика даже во главе с Бонапартом мало чем отличалась от Батавской или Гельветической республики. Значит, прежний курс будет продолжен.

Но искушенные в политике люди обращали внимание на одну подробность той же итальянской политики первого консула, прошедшую для большинства незамеченной. Речь шла о Тоскане. Во Флоренции была смещена старая династия — это никого не удивляло, к этому с некоторых пор привыкли. Но Тоскана не стала еще одной дочерней республикой, подобно Лигурийской или Гельветической. Она была превращена в королевство Этрурии, и королевский престол был отдан инфанту Пармскому. Объяснили, что это результат сделки в Сент-Ильдефонсе с Испанией, но эти объяснения не устраняли чувство неловкости: Французская республика учреждает монархии. Когда в мае 1801 года король Этрурии и его супруга, сестра испанского короля, прибыли в Париж и в их честь министры стали давать балы за балами, это чувство неловкости возросло. «Генерал Бонапарт создал много республик, первый консул умудрился создать короля»[37],— писал Тибодо.

В какую же сторону будет повернут руль государственной власти? Куда идет страна? Укрепление личной власти в рамках республиканского строя? Или?.. Но об этом боялись даже говорить.

6 флореаля X года (26 апреля 1802 года), ровно через месяц после Амьенского мира, был опубликован закон об амнистии эмигрантам. Они могли вернуться в установленный срок при условии принесения присяги на верность Республике. Разъяснялось, что это акт, направленный на преодоление внутренних распрей, что это все та же политика внутреннего примирения и национального сплочения, объединения всех французов в одну дружескую семью. Может быть, подобные мысли и воодушевляли законодателей. Но прямолинейно мыслящие люди резонно спрашивали, почему же медлят тогда с амнистией якобинцам, бабувистам, левым республиканцам? Почему рука примирения протянута только вправо и не видно желания протянуть ее влево?

Еще через месяц, 19 мая (29 флореаля X года), был обнародован закон об учреждении ордена Почетного легиона. Закон вызвал противоречивые толки. Одни видели в нем средство укрепления Республики, своего рода противовес возвратившимся эмигрантам, старой аристократии. Александр Дюма говорил, что орден Почетного легиона создавал новое «народное дворянство»[38]. В его уставе говорилось о долге служения Республике, защите свободы и равенства; в уставе была даже статья, обязывавшая бороться против всех попыток «восстановления феодального строя и связанных с ним привилегий и прав»[39].

Статут ордена Почетного легиона создавал действительно впечатление, что это будет истинно республиканский орден. Но в том же уставе находили статьи, которые не могли не смущать республиканцев. Орден состоял из пятнадцати когорт; в каждой когорте было семь высших офицеров, получавших жалованье по пять тысяч франков, двадцать майоров, получавших по две тысячи франков, тридцать офицеров с жалованьем в тысячу франков и т. д.

Создавалась какая-то элита, какая-то привилегированная каста. Она призвана была защищать равенство, но разве сам орден Почетного легиона не опровержение равенства? «Разве это не шаг к созданию аристократии?» — спрашивал Берлие. При голосовании в законо-

дательных органах сто пятьдесят восемь голосов было подано против[40]. Наступали новые времена, в этом нельзя было сомневаться. Вскоре все казавшееся смутным прояснилось.

Люди, стоявшие близко к первому консулу,— Камбасерес, Редерер, еще кто-то — дали понять членам законодательных учреждений, что огромные услуги, оказанные Бонапартом нации, заслуживают какой-то формы национальной признательности. Члены Трибуната оказались непонятливыми или притворились таковыми. Они хотели поднести генералу какое-либо почетное наименование — отца народа или великого миротворца. Может быть, ему даже преподнесли бы звание «спасителя нации», если бы оно не было скомпрометировано Пишегрю, которому впервые его присвоили. Но Бонапарта все эти пышные и никчемные прозвища не устраивали. Его интересовали не громкие фразы, а нечто реальное. К тому же он был отнюдь не прост. Ему было в те годы в высокой степени присуще чувство меры, политического такта, границ дозволенного. У него было почти инстинктивное ощущение счета времени. Он никогда не смешивал то, что может быть им принято при жизни, сегодня от своих современников, с почестями, которые могут быть возданы лишь в посмертной славе. Когда был заключен Амьенский мир, Генеральный совет Сены постановил в ознаменование этого счастливого события соорудить в Париже на площади Шатле триумфальную арку в честь Бонапарта, восстановившего мир. Первый консул письмом выразил признательность членам Генерального совета за чувства, воодушевлявшие их решение, но практическое его осуществление отклонил: «Предоставим будущему веку заботы об этом сооружении, если он ратифицирует ваше доброе мнение обо мне»[41]. В равной мере он отвергал, как свидетельствует Редерер, предложение о наименовании площадей или улиц его именем. «Это почести не для живущих людей»[42],— говорил он. Он строго следил за тем, чтобы не поставить себя в неловкое или смешное положение. В беседе с глазу на глаз он давал ясно понять, чтó именно надо считать полезным.

Выполнение этой тонкой миссии взял на себя Камбасерес. Второй консул, имевший репутацию первого юриста страны, сановный, величественный, превосходно совмещал внешнюю строгость и даже торжественность

с гибкостью и изворотливостью в разрешении самых щекотливых задач[43]. Недогадливым людям он терпеливо разъяснял, что требуется нечто совсем иное — речь идет о том, чтобы просить первого консула нести бремя власти пожизненно. (Мимоходом Камбасерес замечал, что, вероятно, в интересах дела было бы удобнее, чтобы вместе с первым консулом тяготы власти всю жизнь делили второй и третий консулы.)

Сенаторы, с которыми имел дело Камбасерес, оказались тугодумами и упрямцами. После совещаний в флореале (в мае) они решили раскошелиться и прибавить Бонапарту вторые десять лет; в пожизненном консульстве ему отказали. Бонапарт был задет, видимо даже оскорблен, этим крохоборством; он направил в Сенат письмо — вежливое, сдержанное и дерзкое, в котором заявлял, что по таким вопросам он считает нужным спросить мнение народа[44].

То был хорошо рассчитанный ход. Сенаторы были поставлены на свое место — они не должны забывать, что народ поважнее их. Первый консул дал ясно понять, что он недоволен Сенатом, но не по личным мотивам, а как пренебрегшим правами народа. В тонкой политической игре он сумел перехватить инициативу и перейти в наступление. Но надо было еще довести партию до конца. Принимая 14 мая депутацию законодательных учреждений, Бонапарт снова вернулся к этим мыслям: «Я был призван занять высшую магистратуру в условиях, когда народ был лишен возможности в спокойном раздумии взвешивать достоинства того, кто был им избран. Республика была тогда раздираема гражданской войной, враг угрожал нашим границам... Сегодня мир восстановлен со всеми державами Европы... Пусть народ выразит свою волю со всей независимостью и полной откровенностью; ее выполнят. Какова бы ни была моя судьба, консул или гражданин, я отдам всю мою жизнь величию и славе Франции»[45].

Этот солдат, этот «простачок», как когда-то пренебрежительно его назвал ничего не разглядевший Баррас, теперь преподал кичившимся своим многолетним опытом законодателям предметный урок политической тактики. Он их снова переиграл, представ в благородной и скромной роли слуги народа и вырвав из рук сенаторов право решений. Пóходя, поставив вопрос во

всей широте, он добивался еще раз народного одобрения дня 18 брюмера.

Последующий ход событий не вызывал опасений. Теперь Бонапарт мог отойти в сторону. Он уехал в Мальмезон и больше ни во что не вмешивался. Камбасересу и Редереру не стоило большого труда разъяснить, что не следует ограничивать прав народа решениями, навязываемыми Сенатом. Это было тем легче, что они обращались уже не к Сенату, показавшему себя не на высоте задач, а к Государственному совету. По предложению Камбасереса Государственный совет постановил провести всенародный плебисцит об установлении пожизненного консульства. При обсуждении этого вопроса в законодательных учреждениях лишь четыре голоса были поданы против, один из них — в Трибунате — принадлежал Лазару Карно.

Плебисцит, проведенный открытым голосованием, дал три миллиона пятьсот шестьдесят девять голосов «за» и восемь тысяч триста семьдесят четыре голоса «против». Открыто выступали против в западной армии, возглавляемой Бернадотом. Публично выступил против и Лафайет. 14 термидора X года (2 августа 1802 года) Сенат, которому милостиво было даровано право объявить результаты голосования, провозгласил от имени французского народа Наполеона Бонапарта пожизненным первым консулом[46].

Два дня спустя, 16 термидора (4 августа), был обнародован дополнительный сенатус-консульт, подсказанный Бонапартом, получивший в истории французского конституционного права необоснованное наименование конституции X года.

Если бы сенаторы могли принять на веру аргументы докладчика Корнюде, то они должны были бы считать, что главной, всепоглощающей заботой правительства является наилучшее обеспечение суверенных прав народа. В ту пору еще были нужны слова. В действительности сенатус-консульт 16 термидора вносил лишь некоторые частные изменения или дополнения в установленный порядок организации государственной власти. Первому консулу предоставлялось право назначать себе преемника; функции двух других консулов становились также пожизненными (Камбасерес не напрасно старался), и вносились некоторые модификации в систему выборов государственных органов, мало что менявшие

в существе режима. Но прозаическое содержание сенатус-консульта 16 термидора было тщательно скрыто под пышным соцветием громких фраз о незыблемости прав народа. Снова торжественно провозглашалось, что власть является лишь выражением воли суверенного народа, вновь громогласно подтверждалась решимость «обеспечить тесную связь высших государственных органов власти с нацией». Слова, слова, слова... Но что они значили? Изменилось ли что? Личная диктатура все более приближалась к монархии, хотя по-прежнему и маскируемой ссылками на народный суверенитет.

Империя

В истории Первой республики термидор был зловещим месяцем. 9 термидора убило революцию, 14—16 термидора убило республику. В обоих случаях современники не сразу осознали значение происшедшего...

В ближайшие дни после сенатских постановлений 14—16 термидора многим казалось, что в жизни страны мало что изменилось: на фронтонах правительственных зданий по-прежнему крупными буквами красовались слова «Французская республика». Все законы, все постановления правительства шли от имени Республики. Сохранились установленные революцией летосчисление, ставший привычным республиканский календарь. Первый консул в официальных письмах к должностным лицам обращался в традиционной республиканской форме: гражданин министр, гражданин генерал.

Но все это была лишь видимость, сохранившиеся от прошлого внешние формы. Республика была мертва. Пройдет немного времени — месяц, другой, и действительное содержание происшедших изменений даже при сохранении старых покровов станет для всех ясным.

С чего это началось? С каких-то мелочей, которым не придавали никакого значения. Как-то было замечено, что не очень красиво называть жену первого консула «гражданка Бонапарт». Не удобнее ли, не почтительнее ли пользоваться старомодным, но более вежливым обращением «мадам». Так воскресло в разговорном обиходе слово «мадам». Надо было произнести его первый раз, затем все пошло само собой. Вслед за «мадам», сначала робко, затем все увереннее, в разговорную речь вкралось слово «месье» — господин. В течение некоторого времени обе формы обращения как бы сосуществовали — «гражданин» и «господин». В официальных бумагах еще долго сохранялось строгое «гражданин». Но в повседневном обращении его употребляли все реже. Потом появились вместо высоких мужских сапог шелковые чулки и туфли, затем шелковые жилеты, шитые золотом камзолы. Министр финансов Годен, который при своей неприметности обнаруживал и здра-

вый смысл, и практическую сметку не только в своей узкой сфере[1], однажды появился на официальном приеме в пышном, густо напудренном парике. Все были шокированы. Возврат к модам версальского двора казался неприличием, насмешкой. Но Годен доказал, что он хорошо разбирается не только в сложной финансовой конъюнктуре. Напудренный парик Годена получил шумное одобрение первого консула. С тех пор многие стали следовать примеру изобретательного министра финансов...

Конечно, все это были мелочи, какие-то второстепенные подробности меняющегося быта. Некоторые задавали вопрос: может быть, нравы... моды меняются в связи с окончанием войны? Может быть, так и следует жить в условиях мира? Но когда первому консулу был установлен вместо пятисот тысяч франков цивильный лист в шесть миллионов франков в год, то стало очевидным, что речь идет не только о модах, меняющихся в условиях мирного времени. Тюильрийский дворец стал неузнаваем. Теперь уже ничто не напоминало ни строгой простоты времен Комитета общественного спасения, ни даже приближавшейся к образцам Вашингтона скромности брюмерианской республики. Усилия госпожи Бонапарт, генерала Дюрока, назначенного главным гофмаршалом двора, первого консула были направлены на то, чтобы роскошью, богатством, великолепием Тюильрийский дворец затмил все дворцы европейских монархий. Теперь в Тюильрийском дворце был создан двор — двор первого консула. День рождения Наполеона Бонапарта (его уже не именовали гражданином Бонапартом) — 15 августа был объявлен национальным праздником. Госпоже Бонапарт были назначены четыре фрейлины, конечно все они были взяты из старинных аристократических семей.

Само слово «аристократ» обретало новый смысл и произносилось совсем иначе, чем несколько лет назад. В годы революции «аристократ» было бранным и, если угодно, зловещим словом. Контрреволюционер, изменник, предатель, враг были синонимами понятия «аристократ». Оно влекло за собой нередко эшафот. В дни итальянской кампании 1796 года, в дни фрюктидора аристократизм еще оставался самым опасным политическим обвинением. Теперь то же самое слово произносилось совершенно иначе — мягко, с оттенком

грусти и уважительности. Старинная дворянская фамилия вызывала не настороженную подозрительность, как было недавно, а благожелательную улыбку. Принадлежность к дворянству сама по себе была уже превосходной рекомендацией. Эмигранты, возвращавшиеся во Францию со страхом, испуганно озиравшиеся по сторонам, с приятным изумлением замечали, что республика генерала Бонапарта совсем не похожа на тот свирепый строй солдатско-республиканских насилий, о котором говорили с таким ужасом в эмигрантских салонах. Многоопытные царедворцы, они быстро освоились с новой обстановкой и поняли, что от них ныне ждут того же, что и раньше: умения льстить, умения угождать, умения быть приятным первому лицу в государстве. Пятнадцать лет назад он назывался «божьей милостью король», в новом столетии его именовали «первый консул Республики». Граф де Нарбон, бывший военный министр короля Людовика XVI, став служащим первого консула Республики, находил, что в новом обществе можно жить ничуть не хуже, чем в старом; меньше самостоятельности, но на что она? Граф Филипп де Сегюр был назначен членом Государственного совета; маркиз Арман де Коленкур стал одним из приближенных первого консула. Вчерашние аристократы, недавние эмигранты, облачась в пышные одежды высших сановников консульской Республики, почти не отличались от старых соратников генерала, от людей «железной когорты Бонапарта»[2].

Республика вступала в какую-то новую полосу истории. Но была ли это еще Республика в 1803, 1804 годах? Ее имя каждый день произносилось десятки раз, что из того? Режим, установившийся во Франции, был автократией, единоличной диктатурой, самодержавием, просвещенной деспотией, чем угодно, но только не тем, чем он официально назывался. Это не была больше Республика.

С какого времени Бонапарт стал сознательно, планомерно стремиться к установлению своей диктатуры в форме монархии или близкой к ней иной форме организации государственной власти? Этот вопрос, давно занимавший историков, в сущности не имеет значения. Точка зрения, усматривавшая чуть ли не с первых шагов человека необыкновенной судьбы уверенность в своем провиденциальном назначении,— эта наивная

точка зрения, варьируемая всеми апологетами Наполеона, от Луи-Адольфа Тьера до Луи Мадлена, ныне не заслуживает даже опровержений. Повторяю, нет смысла углубляться в рассмотрение вопроса по существу. По-видимому, проявляя необходимую научную осторожность, можно считать с достаточным основанием, что после Маренго, после кризиса IX года Бонапарт вплотную подошел к мысли об установлении своей личной власти в не обусловленной сроком форме.

Сенатус-консульт термидора X года, установление пожизненного консулата означали, как уже говорилось, ликвидацию республиканского строя и переход к режиму единовластия, формально узаконенному (фактически он был и раньше) высшими учреждениями страны. Оставалось только привести наименование государственной власти в соответствие с ее действительным характером. Альбер Собуль в последней работе поступает, на мой взгляд, совершенно правильно, ограничивая историю Первой республики 1802 годом[3]. Два года, отделявшие от этого рубежа официальное провозглашение империи, были уже не историей Республики — то было время подготовки провозглашения Наполеона Бонапарта императором французов. То была не более чем историческая интерлюдия, и, как всякая интерлюдия, она была ограничена временем.

Бонапарт с его тонким чутьем неписаных законов политической сцены понимал, что на другой день после провозглашения пожизненного консулата нельзя сразу же объявить империю. Требовался интервал, антракт, не очень длительный, но все же достаточный, чтобы перейти от второго акта к третьему.

Но помимо этих общих соображений политической режиссуры, если их так можно назвать, были и затруднения, отдалявшие осуществление задуманного. Прежде всего невозможно было игнорировать сохранявшуюся республиканскую оппозицию. Несмотря на репрессивные меры, высылки, «чистки» законодательных органов, уничтожение свободы печати, несмотря ни на что, оппозиция сохранялась. Оппозиционный дух чувствовался слабее в законодательных учреждениях — они становились все послушнее, но и здесь Лазар Карно продолжал громко, на всю страну, обличать личную диктатуру. «Неужели свобода предстала перед людьми только затем, чтобы никогда не вернуться?»[4] — спра-

шивал он в Трибунате. Бонапарт выслал из Парижа госпожу де Сталь и изгнал из Трибуната ее друга Бенжамена Констана, слишком широко трактовавшего понятие свободы. Но он понимал, что так же поступать с Карно нельзя. Знаменитый «организатор победы» и крупнейший математик века не может быть третируем, как любой оппозиционный болтун. Бонапарт был достаточно умен, чтобы не показать Карно свое недовольство. Впрочем, Карно его беспокоил меньше других: он вел борьбу, как правило, в открытую и в данном случае без каких-либо шансов на выигрыш.

Бонапарт знал, что оппозиция плетет свои сети в политических салонах госпожи Рекамье, Жюли Тальма, что она гнездится в скрытом от посторонних глаз особняке сенатора Сиейеса, в доме Лафайета, в окружении генерала Моро. До тех пор пока оппозиция оставалась легальной, то есть не шла дальше насмешек над левым консулом и восхищения Англией, Бонапарт считал ее неопасной, он ограничивался только наблюдением; стараниями Фуше и Савари это искусство было поставлено высоко.

Значительно больше беспокоила Бонапарта оппозиция в армии[5]. Хотя ни в мемуарах, написанных на острове Святой Елены, ни в своем литературном наследии он почти не касался этого вопроса, стараясь скрыть самый факт оппозиции в армии, именно она внушала ему наибольшие опасения. Понять их нетрудно: армия была реальной и к тому же наиболее динамичной силой. О том, что в армии растет недовольство, он знал не по докладам Фуше или Савари, а по личным наблюдениям. На следующий день после первого торжественного богослужения в соборе Парижской богоматери в присутствии консулов, генералов, высших сановников Бонапарт спросил Ожеро, понравилась ли ему вчерашняя торжественная церемония в соборе? «Очень понравилась,— ответил, не задумываясь, Ожеро,— красивая церемония... Жаль только, что на ней не присутствовали сто тысяч убитых ради того, чтобы таких церемоний не было». Что можно было возразить против этого?

Бонапарт также знал, что генерал Моро открыто фрондирует против установленного режима. У Моро было самое громкое после Бонапарта имя в армии и стране. В узком кругу говорили о том, что Гогенлинден — это не Маренго, это чисто выигранная от начала

до конца победа. Эти разговоры доходили до ушей первого консула, и они, разумеется, не услаждали его слух. Но Моро был Моро, с ним нельзя было не считаться, и Бонапарт, как и в 1799 году, снова протягивал ему руку примирения: он приглашал его к себе домой обедать, приглашал на торжественные приемы, на богослужение в собор Парижской богоматери. Моро все отклонял. Он не вел открытой войны, но и не шел на примирение. Чем наряднее и пышнее становились туалеты в Тюильрийском дворце, тем проще одевался Моро — он стал образцом, примером республиканской скромности. До Бонапарта доходили презрительные словечки, брошенные где-то Моро: орден Почетного легиона он назвал «орденом почетной кастрюли», корабли, предназначенные для десанта в Англии,—«лоханками», знаменитый Булонский лагерь — «школой купальщиков», подразумевая, что всем французским солдатам придется плавать в Ла-Манше[6]. Бонапарт мог рассчитывать, что по складу своего характера Моро не ввяжется ни в какие антиправительственные действия, он ограничится словесной фрондой. Но Моро был знаменем оппозиции; хотел он того или нет, вокруг него будут объединяться все недовольные. Первому консулу было известно, что любой разговор оппозиционного характера не мог начаться иначе как с превознесения победы под Гогенлинденом...

Оппозиция в армии показалась Бонапарту опасной, когда до него дошли сведения об устанавливаемых связях между Моро и Бернадотом. Стало также известным, что офицеры, тесно связанные с Бернадотом,— начальник его штаба генерал Симон, генерал Доннадье и некоторые другие — почти открыто ведут агитацию против первого консула. С этими поступили круто — в мае 1802 года они были арестованы, но Бонапарт строго приказал не предавать дело огласке; арест генералов явно не годился для подготовленного им сценического действия. Большинство современников так и не узнало об этих арестах: генералы содержались под стражей без суда, а затем были отправлены в военную экспедицию на остров Сан-Доминго; оттуда они не вернулись[7].

Даже в ближайшем окружении Бонапарта, среди самых крупных его военачальников, выражалось открытое недовольство политическим курсом. Ланн, один

из самых близких к нему людей, один из немногих, кто мог говорить первому консулу все, что думал,— Ланн оставался республиканцем, и он бросал Бонапарту в лицо обвинения. Бонапарт смеялся: Ланну он все прощал. Но спустя некоторое время Ланн получил предписание отправиться посланником в Лисабон. Так же поступили с прославленным генералом Брюном; бывший кордельер, сохранивший приверженность к республиканскому строю, не скрывал неодобрения новых веяний; он получил приказ отправиться посланником в Константинополь. По тем же мотивам генералы Ришпан и Декан были направлены в колонии. Бонапарт действовал быстро и без шума. В армии не может быть возражений главнокомандующему, оппозиция в армии недопустима. И первый консул принял все необходимые меры, чтобы полностью пресечь оппозицию в армии.

Непредвиденные затруднения возникли в собственной семье. В доме давно уже были нелады. Клан Бонапартов, братья и сестры, настойчиво, с корсиканской изобретательностью в темном искусстве вражды вели войну против Жозефины и ее родных, составлявших, по их представлению, клан Богарне. С братьями, прежде всего с Жозефом и Люсьеном, год от году было все труднее. Алчные, жадные к деньгам, к почестям, к власти, они нетерпеливо настаивали на установлении наследственной монархии, считая себя единственными наследниками. Забывая о приличиях, они охотно обсуждали вопрос о смерти Наполеона и о том, что́ следует предусмотреть заранее. Наполеон проявлял к ним странную терпимость, объясняемую лишь корсиканскими представлениями о клановых обязательствах. Он давал Жозефу самые почетные поручения — представлять Францию в мирных переговорах с Австрией, с Англией. И в Люневиле, и в Амьене Жозеф допустил немало ошибок, исправленных его младшим братом и Талейраном; он был ненаходчив; к тому же во время ответственных дипломатических переговоров его отвлекали биржевые спекуляции, но и те он вел неумело, с убытком. При всем том Жозеф считал еще себя обиженным: ведь он был старшим, главой семьи, клана[8]. Больше понимания было у Бонапарта со старшей сестрой Элизой. По определению Талейрана, у нее «была голова Кромвеля на плечах красивой женщины». Но она была поглощена личными переживаниями и, как

все другие члены клана Бонапартов, враждебна Жозефине.

Жозефина оставалась единственной женщиной, может быть даже единственным человеком, сохранявшим влияние на Бонапарта. Он ее продолжал любить, конечно иначе, чем в первые годы брака. Теперь ему были отчетливо видны ее слабости, ее недостатки; он знал, что в прошлом Жозефина была ему неверна; что высшее ее удовольствие — тратить деньги, пускать их по ветру; что сколько бы денег он ей ни давал, их все равно не хватит; что она заключает какие-то тайные займы, компрометантные для него как первого консула. Наполеон также знал, что Жозефина все и всегда отрицает, что она как бы родилась со словом «нет» на устах и что, даже когда это лишено смысла, она все равно по привычке, по непреодолимой, рефлекторной реакции будет отрицать, будет повторять: «Нет, нет, нет». Он видел, как от нее уходит ее былая красота, как она увядает и тщетно силится наивными ухищрениями задержать неумолимое движение времени. Она уже давно распорядилась не приглашать больше во дворец свою подругу Терезию Тальен; она находила ее теперь слишком вольной, не подходящей для избранного общества первого дома Франции. Бонапарт без спора согласился — он полностью разделял это мнение, но для себя объяснял решение жены иначе: женщина, которую в 1794 году называли «божьей матерью термидора», и десять лет спустя сохраняла ту же ослепительную красоту. Жозефина хотела избежать невыгодных для себя сравнений[9].

Словом, все слабости, все недостатки жены были для Бонапарта очевидны. И все-таки он оставался к ней бесконечно привязан, она удерживала над ним какую-то власть. Эта стареющая креолка все еще сохраняла какое-то очарование, женственность, грацию; она владела особым даром располагать к себе людей. Со своей новой ролью первой дамы Франции она справлялась легко и уверенно, так, словно она приучена к ней с детских лет. В той трудной и сложной игре, которую пять лет, с 1799 года, вел Бонапарт, она ему помогала больше и лучше, чем кто-либо иной. Она была умна, быстро все схватывала; ее мягкость так контрастировала с угловатостью и резкостью Бонапарта. То, чего он никак не мог добиться, она решала за вечерним столом мгновен-

но, одним словом, одной улыбкой, протягивая чашку чая. Она была самым умелым, самым надежным союзником и другом во всех его трудных партиях[10].

И вдруг в решении самой важной и тонкой задачи Жозефина оказалась против него. Жозефина была против монархии Бонапарта, против наследственной власти Бонапартов, как бы она ни называлась. Ее мотивы в своей основе были далеки от каких-либо политических расчетов: она не могла больше иметь детей, у Наполеона не будет наследника и, следовательно, развод неминуем. Понятно, то были доводы, которые не выносились на публичное обсуждение. Жозефина была против наследственной власти Бонапартов — этого вполне достаточно. Госпожа Бонапарт скоро стала известна как первая антибонапартистка во Франции.

Ей нужны были союзники в этой нелегкой борьбе, и она быстро нашла достаточно сильного — министра полиции Жозефа Фуше. С некоторых пор по трудно объяснимым мотивам (в том числе общей нелюбви к братьям Бонапарт) у Жозефины установился контакт с Фуше. В вопросах утверждения монархии Бонапартов Фуше занял твердую отрицательную позицию. Бывший эбертист был противником монархии не потому, что это противоречило его убеждениям, а потому, что противоречило его интересам. Его убеждения за долгие годы менялись; интересы всегда были личными. Фуше полагал не без основания, что при монархии, как бы она ни именовалась, его прошлое лионского террориста станет неудобным; в лучшем случае его заставят уйти в тень. Этих мотивов было вполне достаточно, чтобы вступить в союз с Жозефиной для совместного противодействия намерениям первого консула.

Бонапарт быстро разглядел возникшее у него под боком препятствие. С Жозефиной он не мог и не хотел тогда, в 1802 году, расставаться. Но у него было достаточно и иных веских причин, чтобы не удерживать слишком предприимчивого министра. 26 фрюктидора X года (13 сентября 1802 года) было объявлено о ликвидации министерства полиции[11]. Фуше был с почетом назначен сенатором и получил щедрую денежную компенсацию — этот человек еще мог пригодиться. Сама же ликвидация министерства полиции была преподнесена как крупный политический акт: консульская власть уничтожила все внутренние распри; она вырва-

ла почву из-под всех прежних партий; сплотила всех французов в одну семью, в «одну французскую партию». Министерство полиции более не нужно; оно беспредметно; порядок в той мере, в какой сохраняется нужда, будет обеспечен министерством юстиции и его министром господином Ренье.

Бонапарт был доволен так удачно найденным решением. Жозефину он также сумел умиротворить. Он дал ей все требуемые заверения и, чтобы полностью ее успокоить, предложил скрепить их союз новой унией: свою падчерицу Гортензию он предложил выдать замуж за своего младшего брата Луи. Детей от этого нового союза Бонапартов и Богарне усыновят старшие. У Наполеона и Жозефины будут наследники. То был изобретательно продуманный вариант политического брака, в котором было учтено все, кроме взаимной склонности сторон. Это, как известно, за себя отомстило[12]. Брак был несчастливым, и супруги вскоре фактически разошлись. К тому же Луи категорически отвергал саму идею объявления наследником его гипотетического сына. Но последствия обнаружились позже, а пока Бонапарту удалось восстановить в доме мир и преодолеть сопротивление жены задуманным планам.

Небо над Францией, казавшееся в марте 1802 года безоблачным, стало вскоре заволакиваться тучами. «Прочный мир!», «Почетный мир!», «Длительный мир!» — сколько раз произносились и повторялись эти слова весной 1802 года. То были иллюзии.

Амьенский мир оказался кратковременной передышкой в длительной, упорной борьбе Англии и Франции. Все противоречия, все спорные вопросы, которые были не преодолены, а лишь отсрочены, должны были рано или поздно снова стать предметом спора. При наличии доброй воли эти споры возникли бы позже. Но доброй воли не было с обеих сторон и быть не могло: экономическое и политическое соперничество двух капиталистических стран, борющихся за первенство, могло решаться только силой. То было столкновение двух агрессивных по самой своей природе держав.

Исследователи, изучавшие это время, уделяли много внимания выяснению вопроса о том, кто первый сделал неизбежным разрыв[13]. Бонапарт всегда настаивал на том, что ответственность за возобновление войны лежит на Англии и что английское правительство на другой

день после Амьенского мира было озабочено тем, как перейти от мира к войне[14]. В этих доводах есть доля истины. Амьенский мир был действительно выгоднее Франции, чем Англии, и, тогда как во Франции он был встречен всеобщим удовлетворением, в Англии, может быть именно поэтому, его восприняли как бесславный, плохой мир; с первых же дней он подвергся резкой критике. Верно и то, что во многих действиях британского правительства отчетливо проступало намерение задеть первого консула, вызвать его раздражение, спровоцировать на необдуманные шаги. Первым тому доказательством было назначение лорда Уитворта послом в Париже. Человек, самым именем своим напоминавший о ночном убийстве в Михайловском замке, был направлен к первому консулу в Париж... Зачем? Предвестником новых злодеяний? Ночной совой, накликающей новые беды? Суеверный корсиканец испытывал к этому человеку отвращение, граничащее с ужасом. Взрыв ярости, внезапно овладевший Бонапартом на большом приеме у Жозефины 13 марта, когда срывающимся голосом он кричал невозмутимому и надменному Уитворту: «Мальта или война! И горе нарушающим трактаты!» — этот взрыв ярости был порожден не только нарушением статей Амьенского мира. Ему посмели прислать послом человека, причастного к убийству Павла. В его собственный дом засылают убийц!

Верно, наконец, то, что Франции было, конечно, выгоднее продлить как можно дольше состояние мира, оттянуть разрыв. Даже Уитворт признал это: «Я замечаю у Бонапарта сильное желание продолжать переговоры и по возможности избежать разрыва»[15]. Все это так. Но вместе с тем столь же несомненно и то, что действия Бонапарта, проводимая им политика не способствовали примирению сторон. В марте 1802 года, в дни оформления мирного договора с Англией, в Сан-Доминго была снаряжена военная экспедиция в составе тридцати пяти тысяч солдат, возглавляемая шурином первого консула генералом Леклерком. В сентябре того же года была отправлена в Левант миссия генерала Себастиани, которая, хотя и была преподнесена общественному мнению как преследующая цели изучения возможности торговли, в действительности должна была изучать нечто совсем иное — реальные возможности нового завоевания Египта. В апреле 1803 года

была направлена миссия генерала Декана в Индию; тайная инструкция предписывала генералу вступить в соглашение с вождями индийских племен для организации совместной борьбы против англичан.

Такова сухая хроника важнейших актов колониальной политики Франции этих лет[16]. Каковы бы ни были ее реальные результаты (экспедиция в Сан-Доминго, например, закончилась полным фиаско), они воспринимались в Лондоне как доказательства антианглийской направленности французской политики. Континентальная политика Франции, начиная с присоединения Пьемонта (сентябрь 1802 года) и кончая решительным противодействием всем попыткам завоевания английскими товарами рынка Франции и зависимых от нее стран, вызывала еще большее негодование в Лондоне. Словом, реальных причин для взаимного раздражения было более чем достаточно. Традиционные ссылки в последующих политических выступлениях по обе стороны Ла-Манша на «неутолимое честолюбие» Бонапарта и на «коварство Питта» были лишь общепринятой условной формой сокрытия действительных пружин конфликта. Они имели вполне прозаическое содержание и в главном относились к области экономических интересов и военно-стратегических соображений.

12 мая 1803 года дипломатические отношения между обеими странами были порваны. Но война между Францией и Англией была поединком льва и кита. Франция не имела флота, чтобы поразить Англию на море. Британия не имела армии, чтобы одолеть Францию на суше. Один на один они оставались недосягаемы друг для друга. Следовательно, борьба между двумя западными державами с неизбежностью становилась борьбой за континентальных союзников. На первом этапе во всяком случае исход борьбы решался средствами дипломатии.

В 1803 году Бонапарт оптимистически оценивал перспективы. Он по-прежнему придавал первостепенное значение отношениям с Россией. Вопреки ожиданиям ему удалось найти пути соглашения с новым царем. Он послал в Россию с поздравлениями по поводу восшествия на престол Александра I своего лучшего дипломата, не имевшего, правда, никакой профессиональной выучки. Умный, сдержанный Дюрок с присущим ему

тактом, не навязываясь, вопреки противодействию Панина сумел понравиться Александру, и царь ему тоже понравился[17]. Оба молодые (им не было и тридцати лет), они сумели найти дружеский тон, умело дозируемый сознанием разницы положения. Переговоры быстро пошли вперед, и 26 сентября (8 октября) в Париже был подписан мирный договор между Французской республикой и Российской империей[18]. Через два дня, 10 октября, там же было подписано секретное соглашение между теми же державами, предусматривавшее совместные согласованные действия в вопросах германской и итальянской политики и восстановление добрых отношений между Францией и Турцией[19]. Это был несомненный успех французской дипломатии, одна из крупных ее побед. Без нее, вероятно, не был бы возможен и Амьен.

Расчеты на Россию и придавали твердость Бонапарту в его нарастающем конфликте с Лондоном. В июне 1802 года было достигнуто соглашение с Россией по вопросам Германии[20]. Не следовало ли в этом видеть установление тесного сотрудничества двух держав? Бонапарт, по всей видимости, переоценивал ситуацию. Он недостаточно принимал во внимание, что русское правительство улучшало отношения не только с Францией, но и одновременно с Англией и Пруссией. У Бонапарта возникали мысли о создании могучей континентальной коалиции — Франции, России и Пруссии. Идея союза трех континентальных держав не была беспочвенна. На заседании Негласного комитета при Александре I 24 марта (5 апреля) 1802 года Кочубеем был поднят вопрос о намечаемом «заключении союза между Францией, Россией и Пруссией». Позиция царя была в целом благоприятной[21]. Смогла ли противостоять такому неодолимому союзу Англия? Не близится ли время, когда заносчивые и гордые англичане должны будут поднять руки вверх?

Но для того чтобы претворить возможность в действительность, нужны были настойчивые усилия, терпение. Многое могло бы сложиться иначе. Бонапарт своевременно это не оценил.

В мае 1803 года, когда кончался так недолго длившийся мир, Наполеону Бонапарту было тридцать три года. Он был полон энергии и сил, мир представлялся ему огромным полем сражений, где его подстерегают

опасности, препятствия, превосходящие силы противника, но где, как над Аркольским мостом, над Лоди, над Риволи, его звезда подскажет путь к победе. На закрытом заседании узкого совета, собранного первым консулом 11 мая 1803 года, для обсуждения ультиматума, предъявленного Уитвортом, голоса разделились. Бонапарт был за отклонение ультиматума. Талейран и Жозеф Бонапарт, ведший переговоры с Англией, твердо высказались в том смысле, что надо идти на уступки и сохранить мир. Бертье потому, что он всегда следовал за Бонапартом, морской министр Декре потому, что он ничем не рисковал — у него не было флота, поддержали первого консула. Впрочем, при всех обстоятельствах его мнение было решающим. Бонапарт смело шел навстречу войне. Он высказал уверенность и затем не раз эту мысль повторял, что новая война будет недолгой. Был май, над миром снова шла весна — время надежд, радостных ожиданий, и многие в эту последнюю мирную весну 1803 года готовы были поверить этим обещаниям.

Мог ли знать тогда Бонапарт, могли ли предвидеть сочувственно слушавшие его люди, что эти дни мая станут последними днями мира, что надвигается жестокое время опустошительной, беспощадной, бесконечной войны, которая все унесет: сотни тысяч жизней, плоды человеческого труда, несбывшиеся надежды, государства, империю и даже славу того, кто так легко накликал войну!?

Две великие державы находились в состоянии войны, но войны, военных действий, сражений, битв, побед не было. Конечно, воюющие стороны закрыли свои порты, было наложено эмбарго на вражеские суда и товары; противники захватывали доставшиеся им трофеи, усиливалась экономическая война с обеих сторон; словом, было все, что бывает в таких случаях, кроме собственно военных действий.

Эту паузу, которая не могла быть длительной, Бонапарт старался всемерно использовать для решающего боя. На западном побережье, близ Булони, был создан огромный военный лагерь. Бонапарт хотел нанести врагу удар прямо в сердце: поразить Британию на ее островах, продиктовать мир на берегах Темзы. Все было

подчинено этой задаче. В Булонском лагере днем и ночью кипела работа. Тысячи рук напряженно работали над сооружением новых кораблей, транспортных судов, барж; все, что держалось на воде и не шло сразу ко дну, было пригодно для поставленной цели. Во всей Европе с напряженным вниманием следили за грозными приготовлениями на противоположной стороне от британского острова. «Московские ведомости» сообщали: «Приготовления к экспедиции против Англии производятся с неутомимой деятельностью... Консульская гвардия получила приказ быть в готовности к походу»[22]. Осуществление задуманного плана казалось и близким и далеким, легким и невыполнимым. Британия находилась рядом, отделенная только узким проливом, стальной полосой водного пространства. У нее не было сильной армии, она была почти беззащитной; сможет ли она противостоять стремительному натиску армии Бонапарта? Полководец предвкушал уже близкий триумф. «Мне нужны только три ночи тумана»,— говорил он. Туманная ночь... всего лишь — и тогда будет обеспечен прыжок через Ла-Манш и Англия будет побеждена. Но порой его охватывали раздумья, сомнения; ему казалось, что и десятка лет мало, чтобы сколотить сколько-нибудь стоящий, выдерживающий спор с Англией флот... Но как бы то ни было, надо было готовиться к недалекой уже решающей схватке[23].

А пока следовало решать неотложные задачи, диктуемые жизнью. Близился к завершению огромный двухлетний труд по созданию Гражданского кодекса. Первый консул принимал самое деятельное участие на всех стадиях работы. Заседания нередко начинались в полдень, а кончались в девять часов вечера. К началу 1804 года все две тысячи двести восемьдесят один параграф Кодекса были составлены и окончательно отредактированы. 30 вантоза XII года (21 марта 1804 года) был принят наконец закон о введении Гражданского кодекса в действие[24]. То был полный свод гражданских законов, точно классифицированных, утверждающих и регулирующих систему отношений буржуазного общества. Для своего времени, для эпохи, когда он появился на свет, Гражданский кодекс был, безусловно, исторически прогрессивным творением. Маркс о нем замечательно сказал: «...французский кодекс Наполеона берет свое начало не от ветхого завета, а от идей

Вольтера, Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескьё и от французской революции»[25].

Как всякому значительному произведению своего времени, Гражданскому кодексу, который стали позже называть Кодексом Наполеона, была предназначена долгая жизнь. Он не только пережил своего творца, людей, приложивших к его созданию труд, ум, таланты,— он перешагнул границы своей страны. Как мастерское юридическое выражение норм капиталистического общества, этот кодекс продолжал сохранять свое значение до тех пор, пока на смену капитализму общественное развитие не выдвинуло более высокий и прогрессивный социалистический строй.

Бонапарт сознавал значение юридического документа, которому он отдал столько времени и сил. Когда жизнь была уже позади и он мог трезво взвешивать все им содеянное, на острове Святой Елены он говорил: «Моя истинная слава не в сорока сражениях, выигранных мною; Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и не может быть забыт Гражданский кодекс».

С некоторых пор эта необычная, какая-то будничная война без войны стала вызывать у Бонапарта ощущение тревоги. Не было ничего определенного, что должно было бы порождать опасения. Англичане вели активные и энергичные дипломатические атаки; их усилия сосредоточивались на создании новой, третьей коалиции; все донесения, поступающие от Талейрана, от дипломатических агентов, это подтверждали. Война ощущалась не только вследствие создания Булонского лагеря, но и вздорожания цен на продукты. Словом, все шло так, как и следовало ожидать. И все-таки в затянувшейся паузе, в этом спокойствии, казалось бы так прочно воцарившемся в стране, во всеобщей внешней умиротворенности — все были заняты своими повседневными заботами — Бонапарту чудилось что-то обманчивое, может быть даже угрожающее. Он был человеком интуиции и своим интуитивным ощущениям доверял: они редко его обманывали...

Просматривая сводки, присылаемые министерством юстиции, он как-то обратил внимание на непорядок: два арестованных еще в октябре шуана (их имена ни о чем не говорили) до сих пор — дело было в январе —

не были допрошены. Первый консул распорядился, чтобы ими занялась военная комиссия.

То, что Бонапарт узнал через некоторое время, его потрясло. Один из допрашиваемых, некто Керел, сперва все отрицавший и приговоренный к смертной казни, 28 января дал новые показания. Он сообщил, что во Франции и даже в Париже с августа прошлого года действует террористическая группа шуанов во главе с Жоржем Кадудалем. Бонапарт немедленно, минуя министра юстиции Ренье, проглядевшего дело, поручил расследование Реалю, бывшему заместителю Шометта, прокурора Коммуны 1793 года, бывшему кордельеру, человеку решительных действий. Бонапарт стал осторожнее; раньше он ходил иногда один, без охраны, пешком в театр; теперь приходилось быть осмотрительнее; он чувствовал подстерегавшую его за каждым углом опасность.

Жорж Кадудаль в шуанском движении, в роялистской партии занимал особое положение. Этот бретонский крестьянин, не получивший образования, не умевший грамотно писать, был наделен от природы живым и острым умом, наблюдательностью и зоркостью охотника, умением вести за собой людей. Огромного роста, поразительной физической силы, он бы мог казаться неуклюжим медведем, если бы не сочетал эту тяжеловесную массивность с непостижимой ловкостью и изворотливостью. Он был фанатически предан делу Бурбонов и брал на себя самые сложные поручения. То не был заурядный убийца вроде Маргаделя; в иное время, например в средние века, такой человек мог бы стать предводителем какой-либо религиозной секты или движения жакерии. В начале девятнадцатого столетия он стал одним из главарей шуанского подполья, и заносчивые, чванливые аристократы беспрекословно выполняли приказы этого немногословного человека[26].

Кадудаль в Париже... Это значило — на Бонапарта опять ведут облаву, снова сторожат каждый его шаг; над ним снова занесены кинжалы убийц. Не должен ли первый консул в эти дни вновь вспомнить об Уитворте? Павел выслал его из Петербурга, но тот и издалека сумел нанести смертельный удар. Не протягиваются ли и теперь руки Уитворта через пролив?

Реаль выполнил возложенное на него поручение. Он не сумел разыскать Кадудаля, но арестовал его ближайшего помощника Буве де Лозье и тогда составил представление о размахе заговора. 13 февраля Реаль смог доложить Бонапарту об установленном. Он сообщил, что Кадудаль и его люди были переброшены в Бивиль на английском судне; что Кадудаль, имея под своей командой пятьдесят готовых на все головорезов, ожидает возможности либо похитить Бонапарта на пути в Мальмезон, либо убить; что в Париже находится не только Кадудаль, но и Пишегрю и действуют сообща, что они ожидают прибытия одного из членов королевского дома, графа д'Артуа или Конде; что, наконец, Пишегрю встречался с Моро...

Бонапарт молча слушал Реаля. Когда тот кончил, он отошел в сторону и быстрым жестом перекрестился. Он не был верующим человеком, и это инстинктивное движение, сохранившееся от детских лет, показывало, как он был взволнован.

Три дня Бонапарт обдумывал сообщенное Реалем. 16 февраля утром жители французской столицы из свежего номера «Moniteur» узнали, что накануне ночью генерал Моро арестован на своей квартире, что раскрыт англо-роялистский заговор, угрожавший жизни первого консула[27]. Одновременно стало известно, что закрыты все заставы столицы, что генерал Мюрат назначен военным губернатором Парижа и что вся полиция подчинена Реалю. В городе, как осторожно передавали из уст в уста, идут аресты и обыски.

Маркиз де Галло, находившийся в те дни в Париже, писал: «Общественное мнение потрясено, как если бы произошло землетрясение». Не только в Париже — во всей Европе сообщение о раскрытом заговоре произвело сенсационное впечатление. Из Гамбурга 25 февраля передавали: «В сию минуту получено здесь из Парижа достоверное известие, что там открыт заговор... Цель заговора сего была умертвить первого консула, сделать контрреволюцию и возвести на престол одного из французских принцев»[28]. Из Гааги 21 февраля писали: «Внимание всех устремлено теперь на Париж и на открытый там заговор»[29]. На Лондонской бирже царил ажиотаж; в течение двух недель каждое утро объявляли, что первый консул уже убит[30]. После длительной успокоительной тишины вновь раскаты грома. Все со-

единялось вместе: страх перед необнаруженными убийцами Кадудаля, перед репрессиями консульского правительства, негодование по поводу ареста Моро. То, что предвидел, чего опасался Бонапарт, действительно произошло. Никто не поверил в виновность Моро. Республиканский генерал пользовался такой огромной популярностью в стране, что даже те, кто были искренне встревожены опасностью, угрожавшей Бонапарту, не могли поверить в виновность Моро. После 17-го ночью на улицах Парижа расклеивались плакаты: «Невинный Моро, друг народа, отец солдат — в оковах! Иностранец, корсиканец, стал узурпатором и тираном! Французы, судите!»[31]

Бонапарт был бессилен изменить общественные настроения. Симпатии к герою Гогенлиндена выражались почти демонстративно. Госпожа Моро принимала постоянно посетителей; их число возрастало. В газетах сообщалось: «Г-жа Моро принимала 25 числа (февраля) опять посещения, и вся улица, на которой дом ее находится, установлена была по обе стороны экипажами»[32]. Преследуемый убийцами, которых полиция не могла обнаружить, Бонапарт должен был оправдываться от обвинений в желании погубить невинного Моро. Реаль и Мюрат, казалось, перевернули Париж вверх дном, но никого не могли найти. Было объявлено, что укрывательство преступников из банды Кадудаля влечет за собой расстрел. Улицы, кафе, бистро были запружены переодетыми полицейскими. Но людей Кадудаля нельзя было найти. Оглядываясь по сторонам даже дома, парижские острословы шепотом все-таки говорили: «Нельзя найти тех, кого нет»[33]. Но были и иные мнения. Некоторые полагали, что Бонапарту на сей раз не уйти от гибели. Многие газеты перепечатали сообщение из Лондона: «Вчера во всем городе прибита была записка такого содержания: «Поелику убиение Буонапартие и возведение на престол Людовика XVIII воспоследует в непродолжительном времени, то большая часть французов возвратится во Францию; посему сочинитель сего извещения предлагает свои услуги в звании учителя языков»»[34]. Уже перестали сомневаться в том, что первый консул будет убит. Бонапарт поспешил напомнить, что он не из пугливых. 19 февраля он явился в Оперу; могло казаться, что его интересует только то, что происходит на сцене[35]. В эти же дни стало известно,

что число арестованных в Париже, в провинции возрастает[36].

Но 27 февраля был арестован Пишегрю; меняя каждую ночь убежище, он, оставшись ночевать у одного из «верных друзей», был выдан им за сто тысяч экю полиции. Вслед за тем были схвачены братья князья Полиньяки и маркиз де Ривьер; они состояли адъютантами графа д'Артуа — брата короля. Общественное мнение было вновь потрясено: значит, все верно, заговор действительно существовал и нити его тянулись к главе дома Бурбонов. Все свидетельства сходятся на том, что общественные симпатии к Бонапарту резко возросли. Через десять дней, 9 марта, опознанный на перекрестке Одеона в кабриолете, после ожесточенной схватки был арестован Кадудаль. Убедившись, что дело проиграно, он спокойно и хладнокровно, стараясь взять на себя бóльшую долю ответственности, подтвердил все предъявленные обвинения.

Бонапарт был близок к истине, когда после первого потрясшего его доклада Реаля в заключение беседы сказал: «Реаль, вы еще многого не знаете». То была правда. Каждый день приносил новые ужасающие подтверждения этого разветвленного заговора, проникшего, казалось, во все поры государственного организма. Как и 3 нивоза, случайность, какие-то секунды спасли Бонапарта, предотвратили уже почти неизбежную гибель. Жорж Лефевр был прав, когда утверждал, что Бонапарт смог узнать только часть правды[37]. Он не мог и, может быть, даже не хотел знать всей правды; она была слишком страшна, и он о ней догадывался. Как в дни июля 1800 года, после Маренго и келейных разговоров, он снова притворился, что не видит, не замечает и не понимает происходящего. Он пишет письмо Барбе-Марбуа, министру казначейства, в дни фрюктидора близкого к Пишегрю, которого подозревают в том, что он вновь встречался с мятежным генералом: «Гражданин министр казначейства, я лишь из Вашего письма узнал о свиданиях, которые подозревают между Вами и Пишегрю... Мое утешение в том, что в этом несчастном деле я не нашел ни одного человека, выдвинутого мною в правительство или сколько-нибудь близкого мне, которого прямо или косвенно в чем-либо обвинили»[38].

Верил ли он в то, что писал? Мало вероятно. Это письмо, которому он старался придать огласку, преследовало иные цели: он хотел разъединить и разоружить своих противников. Возможно, в его представлении их было даже больше, чем в действительности. Он их видел повсюду. Они окружали его со всех сторон. Следует обратить внимание на то, что в приведенном письме к Барбе-Марбуа Бонапарт уклонился от прямого ответа — верит ли он или нет слухам о встречах Барбе с Пишегрю. Весьма вероятно, что он считал эти слухи обоснованными. И именно поэтому он торопился публично заявить о доверии своим сотрудникам. Письмо к Барбе-Марбуа — это манифест об амнистии. Заявив громогласно о том, что никто из его сотрудников не замешан в «несчастном деле», он не только успокаивал всех встревоженных — он тем самым давал возможность всем действительно причастным прямо или косвенно к заговору бросить оружие, отойти в сторону. В тот момент, когда борьба еще не была закончена и исход ее еще полностью не определился, Бонапарт считал важнее всего сократить число противников. И в политике, как и на войне, он сохранял тот же тактический принцип — разъединять ряды противника, ослабляя тем самым его ударную силу.

В это тревожное время, когда правительство консулата как будто начало уже преодолевать кризис, порожденный так случайно раскрытым заговором, неожиданно обнаружились новые аспекты «несчастного дела», требовавшие немедленных решений.

Со времени первых арестов все обвиняемые, дававшие показания (Моро длительное время все огульно отрицал), единодушно утверждали, что во Францию к часу действия должен был прибыть кто-то из принцев — членов королевской семьи. Савари было поручено караулить принца в Бовилле, держа в поле наблюдения всю прибрежную зону; существовала твердая уверенность (и показания арестованных это подтверждали), что он приедет из Англии. Но время шло... Прошел месяц, другой, а наблюдение не давало никаких результатов: принц не появлялся... Савари возвратился с пустыми руками в Париж.

И вдруг в этот момент стало известно, что принц, член королевской семьи, находится совсем рядом, но не на западной границе, а вблизи восточной, в соседнем с Францией герцогстве Баденском. То был не граф д'Артуа, как ожидали, а Луи-Антуан де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский, один из младших отпрысков королевского дома. Самым же сенсационным было сообщение о том, что при герцоге Энгиенском находится или же приезжает к нему Дюмурье, печально знаменитый генерал Дюмурье, изменивший революционной Франции.

Вряд ли можно точно определить, кто первым передал Бонапарту эти известия. Но следует считать вполне установленным, что мысль об аресте и казни герцога Энгиенского была впервые подана первому консулу Талейраном. В ту пору Талейран еще считал для себя невозможным возвращение Бурбонов — он боялся отмщения. Личные интересы отождествлялись в его представлении с государственными; вернее будет сказать, что государственная политика в той мере, в какой он ее определял, подчинялась его личным интересам. С большой настойчивостью и искусством он навязывал Бонапарту мысль, что герцог Энгиенский должен быть предан смерти. Как это сделать, как арестовать его на чужой, нейтральной земле, как юридически оформить эту казнь, то были частности, не заслуживающие серьезного внимания. Позже Талейран с тем же невозмутимым спокойствием решительно отрицал свою причастность к делу герцога Энгиенского; кое-кого он мог если не обмануть, то убедить, что удобнее представляться поверившим. Но в 1804 году его роль была ясна для всех близких ко двору первого консула. Жозефина, противившаяся замышляемому, говорила: «Этот хромой заставляет меня дрожать» *. Впрочем, позже сам Бонапарт прямо говорил, что он и не думал о герцоге Энгиенском до тех пор, пока Талейран не подал ему мысли о его аресте и казни[39].

По сходным с Талейраном мотивам идею казни Конде-Бурбона поддерживал и Фуше. Для бывшего

* То, что Жозефина не одобряла действий своего мужа, было широко известно. «Московские ведомости» (№ 22, 16 марта 1804 г.) писали: «Г-жа Буонапарте сделалась больна с печали. Она много раз изъяснялась, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным».

главы карательной миссии в Лионе, депутата Конвента, голосовавшего за эшафот для короля, возвращение Бурбонов представлялось катастрофой. Чтобы заставить Бонапарта навсегда исключить мысль о примирении с Бурбонами, надо было вырыть между ними непреодолимую пропасть. Фуше не без основания полагал, что самой глубокой может стать лишь могила умерщвленного Бонапартом принца королевского дома. Фуше хотел загородиться от Бурбонов трупом молодого герцога Энгиенского. Фуше (как, впрочем, и Талейран), конечно, догадывался, что казнь Антуана Бурбона породит много новых затруднений для Бонапарта (когда все будет кончено, он произнесет свою знаменитую фразу: «Это хуже, чем преступление, это ошибка») *. Но неприятности Бонапарта не могли огорчить ни Талейрана, ни Фуше; они не любили друг друга, но сходились в тайном желании влить незаметно капли яда в подносимый первому консулу бокал пьянящего вина.

Но Бонапарт был не из тех людей, которым можно подсказывать или навязывать чужие мнения. Даже столь искушенные в искусстве тончайшей политической игры Талейран и Фуше пасовали перед его проницательностью; не заглядывая к ним в карты, он отгадывал их намерения, отгадывал козыри, прибереrаемые ими для следующего хода. В последнем, за несколько дней перед смертью написанном документе — в завещании Наполеон счел нужным снова вернуться к делу герцога Энгиенского. Он написал коротко: «Я велел арестовать и предать суду герцога Энгиенского; этого требовали интересы и безопасность французского народа»[40]. Это значило, что он брал всю ответственность на себя, не желая ее ни с кем делить и ни на кого перекладывать. И то была правда. Герцог Энгиенский был расстрелян в Венсеннском замке не потому, что это осторожно подсказывали Бонапарту желавшие того Талейран и Фуше, а, можно сказать, несмотря на это. Бонапарт после раздумий в течение нескольких дней, преодолевая настороженность или предубежденность к мнениям Фуше и Талейрана, принял наконец решение.

Внешний ход событий выглядел так. 8 марта Моро из тюрьмы послал Бонапарту письмо. Он признавался,

* Эмиль Людвиг (Napoléon. Paris, 1929, p. 174) приписывал эти слова Талейрану, но то была ошибка.

что до сих пор говорил неправду, все отрицая. Он виделся с Пишегрю по инициативе последнего; он отказался от участия в заговоре, не стал разговаривать с Кадудалем, которого привел не спросясь Пишегрю. Но оставалось при всем том несомненным, что генерал Республики вступал в недозволенные переговоры с ее врагами. Письмо было, видимо, написано в момент душевного упадка; ореол героизма, мужества, окружавший до сих пор Моро, рассеивался; со страниц письма Моро представал слабым, колеблющимся, двоедушным человеком. Для хода дела письмо мало что прибавляло нового; сообщаемые им факты уже были известны из показаний его адъютанта генерала Лажоне и других арестованных. Сторонникам оппозиции и самому себе Моро этим письмом, которое постарались сделать известным, нанес большой моральный урон.

9 марта был арестован Кадудаль. Казалось, кризис идет к концу. Но уже с 7 марта, когда Талейран в беседе с Бонапартом обратил его внимание на очаг опасности, находящийся близ Парижа, в Этенхейме, в замке, где проводит дни и ночи герцог Энгиенский, Бонапарт был поглощен размышлениями. Три дня он ходил по своему кабинету, повторяя вполголоса какие-то стихи Расина. Если судить по письму к Сульту, то больше всего он был озабочен причастностью к заговору Дюмурье[41]. Имя Дюмурье появилось и на страницах иностранной печати. Но думать приходилось и о многом ином.

10 марта был созван узкий совет. На нем присутствовали три консула, высший судья (министр юстиции) Ренье, Талейран, Фуше, Мюрат. По-видимому, собирая этот совет, Бонапарт уже принял решение, но хотел узнать мнение своих ближайших помощников. Талейран, Фуше поддерживали идею ареста герцога Энгиенского; о том, что должно быть после, не было нужды договаривать. Камбасерес высказался против этой меры. «Так вы, оказывается, скупы на кровь Бурбонов»,— бросил ему реплику Бонапарт. Камбасерес замолчал. Тогда же, 10-го, было принято решение о практическом осуществлении намеченных мер. Руководство операцией в Бадене было поручено Коленкуру; выбор для этой цели бывшего маркиза, перешедшего к первому консулу на службу, свидетельствовал о том, как тщательно все продумал Бонапарт; он не только хотел приковать к себе на всю жизнь Коленкура — первый акт подго-

тавливаемой трагедии должен был выполнить представитель старой аристократии, взращенный в теплицах монархии Бурбонов. Коленкур сделал все, что ему было поручено. Его попытки позже оправдаться встречали резкие возражения[42].

Дальше все шло по тщательно разработанному плану. В ночь с 14 на 15 марта герцог Энгиенский был захвачен вторгшимися на территорию Бадена французскими драгунами; сразу же обнаружилось, что Дюмурье нет и не было; при герцоге состоял некто Тюмери; его фамилию в немецком произношении французские агенты приняли или делали вид, что приняли, за Дюмурье. Герцог Энгиенский был привезен в Венсеннский замок; его полная непричастность к заговору Пишегрю — Кадудаля была со всей очевидностью доказана. Тем не менее 20 марта в девять часов вечера его дело рассматривал военный суд под председательством полковника Юлена, одного из участников взятия Бастилии. Общее руководство операцией принадлежало Савари. Военный суд приговорил герцога Энгиенского к расстрелу. Принц, все еще не веря, что дело принимает серьезный оборот, все же написал письмо первому консулу; он просил свидания с ним. Бонапарт, получив письмо, дал распоряжение Реалю направиться в Венсенн и самому разобраться в деле. Реаль выполнил приказ, но он в то утро проспал чуть дольше (нет надобности разъяснять, что вряд ли случайно). Когда он приехал в Венсенн, принц был уже расстрелян. 21 марта было официально объявлено о всем происшедшем.

Расстрел герцога Энгиенского вызвал невероятный шум во всем мире. Между тем это преступление — расстреляли невинного человека — было лишь одним из многих преступлений бонапартистского режима. А ссылка на Сейшельские острова? На медленную верную гибель многих якобинцев, обвиненных по делу о взрыве «адской машины»? То были ведь также невинные, непричастные к делу люди, но о них никто не вспоминал. Взрыв негодования, вызванный расстрелом герцога Энгиенского, объяснялся прежде всего тем, что он был принцем королевского дома и феодальная монархическая Европа почувствовала в этой казни удар, нанесенный по ее лицу. Политический резонанс этой казни или этого преступления, как угодно, был во многом усилен тем, что принц был молод (он погиб трид-

цати двух лет), красив, отважен; больше всех негодовали женщины — они определяли общественное мнение в столицах монархий. Лев Толстой и в этой детали обнаружил удивительное историческое чутье: в салоне Анны Павловны Шерер более всего возмущались убийством «праведника» — герцога Энгиенского высокопоставленные дамы[43]. Если бы Толстой изображал не только Петербург, но и иные столицы Европы 1804 года, ему пришлось бы начинать с портретов английской и прусской королев; эти августейшие особы были охвачены скорбью и гневом. Мария-Каролина Неаполитанская выразила чувства, владевшие дамами, наиболее отчетливо: «Из всех французских принцев он один обладал мужеством и благородством души». Это надо было понимать: он был молод и хорош собой. Впрочем, она добавляла: «Я нахожу утешение лишь в том, что это дело пойдет консулу во вред!»[44]

В свое время было замечено, что негодование и шум по поводу казни герцога Энгиенского становились тем сильнее, чем дальше находились негодующие от Франции. Курфюрст Баденский, чьи права действительно грубо нарушили, изъяснялся с чрезвычайной деликатностью; больше всего он боялся, как бы его могущественные соседи не были им недовольны. Герцог Вюртембергский, чьи владения находились в угрожающей близости от Франции, счел благоразумным принести поздравления первому консулу по поводу счастливого преодоления опасности; имя герцога Энгиенского в Штутгарте вообще не произносилось, оно считалось запретным. Зато в далеком Петербурге возмущение и негодование были беспредельны. «Дней александровых прекрасное начало» уж переходило в хмурые будни. Расстрел в Венсеннском замке давал отдушину накапливавшемуся чувству неудовлетворенности. Сгоряча Чарторыйский подготовил декларацию, в которой правительство консульской республики именовалось «вертепом разбойников»[45]. Однако по зрелом размышлении ноту решили все же не посылать; она была бы равносильна приказу о мобилизации, а армия была не готова. Все же месяц спустя, пока остывали страсти, царский поверенный в делах в Париже Убри потребовал в резкой форме объяснений по поводу произведенного смертоубийства.

Тогда Бонапарт через Талейрана ответил знаменитым письмом. В отличие от грубого тона ноты Убри оно было вежливым, но тем сильнее действовал внесенный в спокойные слова убийственный яд. «Жалоба, предъявляемая ныне Россией, побуждает задать вопрос: если бы стало известным, что люди, подстрекаемые Англией, подготавливают убийство Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не поспешили бы ими овладеть?»[46] То был удар под ложечку, точно нацеленный, страшной силы. В столице Российской империи, в Зимнем дворце государя-императора, где о покойном монархе надлежало говорить со скорбным благоговением, где горестно произносилось иностранное слово «апоплексия», все, казалось бы, объяснявшее, посмели прямо спросить об убийстве Павла I и не побоялись обвинить августейшего сына в том, что он не остановил руки убийц своего отца. Этого Александр не мог простить Бонапарту.

За короткий срок многое изменилось в Европе. О непобедимом союзе Франции, России, Пруссии не приходилось больше думать. Скорее наоборот, надо было считаться с реальной возможностью образования новой, третьей коалиции против Франции.

Отдавал ли Бонапарт себе отчет в возможных последствиях принятого им решения казнить герцога Энгиенского? В этом нельзя сомневаться. Судьба герцога Энгиенского была предрешена после долгих раздумий человека, от которого зависело осуществить этот насильственный акт или оставить все по-старому. Историки и биографы Наполеона, естественно, искали объяснений и этому событию. Оно привлекало внимание не столько своей значительностью, сколько своей неожиданностью. Оно как-то плохо увязывалось с общей политической эволюцией Бонапарта, его движением к абсолютной личной диктатуре, к императорской короне. Что же заставило его так поступить? Одни находили объяснение в корсиканской натуре первого консула — он руководствовался корсиканскими правилами вендетты; другие объясняли его дурным влиянием Талейрана; третьи — намеренным расчетом привлечь на свою сторону республиканцев... Вряд ли вообще какое-либо одно или односторонне подчеркиваемое объясне-

ние может раскрыть побудительные мотивы действий Бонапарта. Представляется также несомненным, что и этот эпизод, как и все иные события политической биографии знаменитого полководца и государственного деятеля, не может быть правильно понят, если его рассматривать изолированно, вне связи с предшествовавшим и последующим ходом вещей.

Политике Бонапарта начиная с итальянской кампании 1796 года была присуща внутренняя противоречивость. Это прежде всего соединение или сочетание в мышлении, в действиях, в политических актах прогрессивного и реакционного, передового и агрессивного; Стендаль бы, верно, еще добавил цветовые контрасты — красного и черного. Эта противоречивость отражала объективные закономерности. Нетрудно было также заметить, что с течением времени по мере «возвышения Бонапарта» менялся и он сам — элементы реакционного и агрессивного в его политической деятельности усиливались, возрастали. Эта тенденция неоспорима, и чем дальше, тем явственнее будет проступать ее гибельное влияние. Но в ту пору, о которой сейчас идет речь, она еще полностью не победила. Неослабевающая борьба красного и черного еще совершалась в мышлении Бонапарта, в его действиях, в его политике...

В 1804 году он еще отчетливо сознавал, что основной источник его силы — в преемственной связи с революцией; стремительное восхождение вверх начиная с Тулона стало возможным лишь потому, что его паруса надували ее могучие ветры. Должен ли он отказываться ныне от этой могущественной силы? Пусть на это не рассчитывают враги...

Попирающее всякую законность, всякие основы права дело герцога Энгиенского, начиная с захвата его на территории нейтрального государства и кончая расстрелом при отсутствии состава преступления, было полностью на ответственности Бонапарта. Он это понимал и никогда от нее не отказывался.

Некто Кюре, до тех пор малоприметный член Трибуната, в прошлом осмотрительный депутат «болота», после казни герцога Энгиенского, одобряя смелость Бонапарта, воскликнул: «Он действует, как Конвент!»[47] В его устах это было высшей оценкой, и в самом этом определении было какое-то зерно истины. Бонапарт

в эти дни говорил о себе: «Я — французская революция»[48]. Казнь герцога Энгиенского от начала до конца была политическим актом. Расстрелом члена королевской семьи Бонапарт объявил всему миру, что к прошлому нет возврата. В Венсеннском рву был еще раз расстрелян миф о божественной природе королевской власти; Бонапарт не побоялся взять на себя ту же ответственность, что и Конвент,— доказать, что кровь Бурбонов не светлее и не чище обыкновенной человеческой крови. Герцог Энгиенский Антуан де Бурбон был расстрелян взводом солдат так же просто, как рядовой убийца Маргадель, хотя, правда, и не совершал тех же преступлений. Но что из того? Лев Толстой с его замечательным даром постижения далеких событий истории заставляет Пьера Безухова горячо одобрять казнь герцога Энгиенского. Он находит и вкладывает в его уста точное определение: «Это была государственная необходимость». Это было верно, и так говорили в начале девятнадцатого столетия, в 1804 году. Вероятно, десятью годами раньше, в эпоху Конвента, та же мысль была бы выражена иными словами — «революционная необходимость».

Герцог Энгиенский был расстрелян 30 вантоза XII года. Через шесть дней, 6 жерминаля (27 марта), Сенат принял обращение к Бонапарту; за множеством пышных слов скрывалось пожелание сделать власть Бонапарта наследственной. Это не вносило еще полной ясности, и 3 флореаля (23 апреля) все тот же Кюре, уподоблявший Бонапарта Конвенту, на сей раз выступил в Трибунате с иными речами: он предложил провозгласить Бонапарта императором французов. Этой инициативой Кюре обессмертил свое имя; его предложение дало повод для каламбура: «Республика умерла — Кюре ее похоронил» *. 28 флореаля (18 мая 1804 года) постановлением Сената (так называемый сенатус-консульт XII года) «правительство Республики доверялось императору, который примет титул императора французов». Даже простое сопоставление календарных дат показывает несомненную связь этих событий.

* Кюре — приходский священник.

Историки — почитатели культа «великого императора» пытались расчленить этот процесс; сама возможность сближения столь различных, как они уверяли, явлений шокировала их стыдливость. Это легко достигалось тем, что события марта 1804 года отделялись от провозглашения Бонапарта императором подробным перечислением всех обстоятельств и юридической процедуры этого государственного акта. Напрасный труд! Как будто оставался еще кто-либо не знающий, что слова и действия Сената были внушены и подсказаны первым консулом, торопившимся сменить свой титул.

Некоторые сомнения на предварительной стадии келейного обсуждения вызывал титул монарха. Талейран осторожно, вкрадчиво, но настойчиво пытался подсунуть Наполеону титул «король»[49]. Талейрана воодушевляли в этих усилиях не только желание вернуть себе привычное положение гран-сеньора королевского двора, но и тайная надежда увеличить трудности своего сюзерена, незаметным образом скомпрометировать его в глазах современников и Европы. Но Наполеон не привык жить чужим умом. К тому же он угадывал за подчеркнуто безразличным тоном Талейрана крайнюю степень его заинтересованности. Титул «король» был решительно отвергнут; Бонапарту не подобала роль дублера или преемника Бурбонов. В истории Франции переворачивались новые страницы, и только гремящий громом литавр, овеянный великой славой Рима титул «император» более всего подходил в новых исторических условиях требованиям времени.

Сама империя первоначально сохраняла ту двойственность, ту противоречивость, которыми была отмечена предшествующая деятельность Бонапарта. На серебряных монетах, выпущенных после сенатус-консульта 28 флореаля, было обозначено: «Французская республика. Император Наполеон I». «Император Республики» — это было общеупотребительное выражение того времени. Иные шли еще дальше — они говорили: «Император революции», но это уже были крайности. Во всяком случае для всех было вполне очевидным — и только что происшедшие события в этом полностью убеждали — эта империя имела подчеркнуто антироялистский характер. Само провозглашение империи стало возможным лишь после того, как Бурбоны были вторично повергнуты в прах.

Провозглашение империи в свете всего происшедшего не было воспринято современниками как окончательный разрыв с Республикой. Наполеону представлялось еще выгоднее остаться императором Республики. Давало ли звание императора Бонапарту больше власти, чем та, которой он обладал как первый консул? Вряд ли. В сущности она и ранее была безграничной.

Звание императора французов скорее воспринималось как особая, может быть даже законная, форма признания исключительных военных дарований полководца. В ту пору постоянно оглядывались на античное прошлое, на высеченные из мрамора на века образы героев Эллады и Рима. Гай Юлий Цезарь... Провозглашение Римской империи... Выдерживал ли герой Аркольского моста, Лоди, Риволи сопоставление с великим полководцем Рима? Лев Толстой снова следовал за исторической правдой, вкладывая в уста своих любимых героев — Андрея Болконского, Пьера Безухова — в 1804—1805 годах слова восхищения величием Бонапарта. В императоре Наполеоне они видели прежде всего продолжателя революции. Бетховен, создавая в 1804 году свою «Героическую симфонию», черпал вдохновение для нарастающей мощи торжествующих звуков в железной поступи легионов Бонапарта. Он видел в них легионы революции. Он разорвал после провозглашения империи посвящение Бонапарту, но симфония была рождена под влиянием его побед.

Бонапарт в своем восхождении вверх поднялся еще на одну высоту. Перед ним по-прежнему раздваивались дороги: путь направо? Путь налево? Куда повернуть? Красное и черное продолжали спорить.

Конечно, не следует терять исторического глазомера и понимать сказанное слишком буквально. В 1804 году путь направо и путь налево представляли нечто совсем иное, чем десятью годами ранее, в 1794 году. За минувшее десятилетие все и всё во Франции сместились вправо. И больше всего это, конечно, относилось к бывшему секретарю Якобинского клуба в Валансе, капитану Буонапарте, ставшему всемогущим диктатором — императором Наполеоном I.

И все-таки Бонапарт снова стоял на распутье. В 1804 году империя еще не была монархией. Наполеон I был императором Французской республики. 28 флореаля в Сен-Клу, отвечая на речь Камбасереса, доло-

жившего о решении Сената, он сказал сдержанно: «Я принимаю этот титул, который вы нашли полезным для славы народа». Он снова подтвердил, что это решение должно быть утверждено народом[50]. Бонапарт получил этот высший титул в трудное и смутное время. Война еще оставалась скрытой и безмолвной. Но уже на темном горизонте вспыхивали зарницы, предвещая близость грозы. Против Франции создавалась новая могущественная коалиция.

Напряженность сохранялась и внутри страны. Через три дня после провозглашения империи генерала Пишегрю нашли мертвым в тюрьме. Он повесился на своем черном шелковом галстуке[51]. Было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством. Все враги Бонапарта поспешили разнести по свету весть о том, что Пишегрю был удавлен по приказу императора. Эта версия долгое время имела хождение, но она представляется малоправдоподобной. Пишегрю был давно уже в подавленном состоянии; его, видимо, угнетало, что он так плохо распорядился своей судьбой: когда-то знаменитый генерал Республики, он стал сообщником наемных убийц. Накинув на шею удавную петлю в одиночной камере, он, верно, надеялся хоть этим отомстить своему бывшему ученику по Бриеннскому училищу, далеко его опередившему и ставшему недосягаемым. Императору пришлось пройти и через процесс Кадудаля — Моро и их соучастников, не принесший ему славы и популярности. Кадудаль держался на процессе агрессивно. Проиграв все до конца, он, как и Пишегрю, отворачивался от жизни и намеренно шел на дерзости. Старый термидорианский волк Тюрио (которому не случайно была поручена главная роль на процессе) пасовал перед колким языком Кадудаля и выглядел жалким. Моро судили отдельно, он был приговорен вопреки ожиданиям императора всего к двум годам заключения, и Бонапарт поспешил выслать побежденного, но остающегося опасным соперника за пределы Франции. По ходатайству княгини Полиньяк он помиловал обоих князей Полиньяков и маркиза де Ривьера. Это было сделано не без умысла; милуя адъютантов графа д'Артуа, бросившего их на произвол судьбы, он унижал тем самым брата короля. Более всего ему хотелось привлечь к себе Кадудаля; по существующей версии, через Реаля он предложил при условии, что тот попросит полное по-

милование, для начала полк под его команду. Кадудаль ответил на эти предложения площадной бранью. Через несколько дней он и двенадцать его сообщников были казнены на Гревской площади.

Этот процесс, казалось, снова и крепко связывал императора и Республику. Ведь главное обвинение, предъявляемое всем подсудимым, было в том, что они пытались ниспровергнуть Республику. Покушение на первого консула — императора и покушение на Республику отождествлялись. Могла ли быть прочнее связь, думали иные доверчивые люди в мае — июне 1804 года.

Но то были иллюзии.

Моро из Барселоны уехал на корабле в Америку. Когда Бонапарту доложили об этом, он после недолгого раздумья сказал: «Теперь он пойдет по дороге вправо. Он кончит тем, что придет к нашим врагам». Эти слова оказались пророческими.

А он сам? Генерал Бонапарт, император Наполеон — какую дорогу он изберет? По-видимому, в эти дни он обольщал себя надеждой, что он всех переиграет, всех перехитрит, он останется хозяином положения, сохранив за собой оба пути — и направо и налево.

Видный деятель французской революции, бывший жирондист Франсуа де Нёшато, в 1804 году занимавший высокую должность председателя Трибуната, поддерживая предложение о присвоении генералу Бонапарту титула императора французов, назвал эту инициативу «республиканской и народной». Бонапарт охотно поддерживал такую интерпретацию событий. Он многократно подчеркивал значение, которое он придает предстоящему всенародному плебисциту. Но когда Камбасерес как-то позволил себе заметить, что в сущности ничего значительного не произошло — один титул заменен другим, обозначающим иными словами то же самое, Наполеон был крайне раздосадован. Нет, дело не в смене слов; меняются не только слова; все это глубже. Он хорошо знал историю Рима и помнил, что от Юлия Цезаря путь вел к Октавиану Августу...

Слова действительно менялись, и это тоже, оказывается, имело немалое значение. Через три-четыре дня после принятия сенатус-консульта, 28 флореаля, из

французского языка, из официального во всяком случае, исчезло навсегда рожденное революцией слово «гражданин». Зато появились новые слова: «государь», «Ваше императорское величество», «их величество». Бонапарт говорил теперь не «французский народ», а «мой народ». Некоторые старые слова обретали новый смысл. Что значило слово «император»? Раньше его почти не употребляли, и никто не задумывался над его содержанием. Теперь возникли новые проблемы: с чем надо связывать понятие «император»? Конечно, не со «Священной Римской империей германской нации», не с императором из слабого дома Габсбургов. С классической античной Римской империей? Или с императором Карлом Великим? Официальных разъяснений по этому поводу не давали, но все же было дано понять, что генеалогия императора Наполеона восходит к Карлу Великому. То не были пустые исторические реминисценции. В самом слове «империя» услышали бряцание тяжелого оружия, топот коней, гром военной славы. Эмблемой империи были избраны орлы — орлы, парящие над миром. Слово «империя» ко многому обязывало.

Впрочем, менялись не только слова — менялись титулы, доходы, образ жизни, нравы. Жозефина стала императрицей, братья Жозеф и Луи — принцами императорского дома. Им полагались теперь дворцы и дворы. Камбасерес, не постигший сразу смысла изменения слов, вскоре усвоил это, получив пышный титул архиканцлера империи. Лебрену был пожалован титул архиказначея. Отныне Жозеф именовался великим электором, Луи — коннетаблем, Евгений Богарне — государственным архиканцлером, даже лихой кавалерист Мюрат за свою родственную близость к императорской семье неожиданно получил звучный титул великого адмирала. Новые титулы создавали не только новый табель о рангах, новые нарядные костюмы — шелк, бархат и золото, но и новый образ жизни. Тюильрийский дворец — резиденция императора — являл первый образец великолепия и роскоши и строгого, до мелочей расписанного этикета. Императору был установлен цивильный лист — двадцать пять миллионов франков в год. Далеко ли ушло время, когда ему не хватало пяти су, чтобы заплатить за чашку кофе? И когда он был более счастлив — бедным лейтенантом

в мундире с протертыми локтями, при свете грошовой свечи самозабвенно читавшим одолженную книгу Руссо, или могущественным повелителем империи? Для таких раздумий не оставалось времени, его поглощали текущие заботы.

14 июля 1804 года был шумно и пышно отпразднован день взятия Бастилии. Император Французской республики еще не хотел отказываться от дня революции. В Тюильрийском дворце было устроено празднество, в церквах шли богослужения; священники возносили молитвы всевышнему и его именем благословляли славный день 14 июля — день штурма Бастилии восставшим народом. Какое странное смешение столь различных начал: революции и империи, вчерашнего дня и сегодняшнего! Император, правительственные власти, армия, церковь празднуют день народного восстания, потрясшего Европу. В этих торжественных церемониях участвуют все, кроме главных действующих лиц 14 июля: народ отсутствует. Чувствовал ли Бонапарт противоестественный, почти кощунственный характер такого празднования дня штурма Бастилии? По всей видимости, нет. Его внимание было приковано к двум важным актам, которые ему хотелось провести с блеском, сблизив их во времени. То были всенародный плебисцит и торжественная коронация при участии римского папы. Это было продолжением искусственного и насильственного сочетания разнородных начал. Но эта идея, целиком принадлежавшая Бонапарту, его воодушевляла. Он хотел создать двойные гарантии — стать императором волей народа и милостью бога. Умный человек наивно полагал, что двойной и как бы взаимоисключающий ритуальный обряд дает ему какие-то преимущества перед царствующими в иных монархиях государями.

Задуманное при огромной, неограниченной власти императора было нетрудно осуществить. Плебисцит — открытым голосованием — дал, конечно, подавляющее большинство утвердительных голосов. Могло ли быть иначе? Императору пришлось, правда, услышать и горькие слова осуждения. Руже де Лилль, знаменитый автор «Марсельезы», направил Бонапарту дышащее гневом письмо: «Вы погибнете, и, что хуже, Вы погубите вместе с собою и Францию». Он предрекал ему неизбежную катастрофу, бесславный конец. Карно от-

крыто осудил в Трибунате установление империи. Вольней, оказавший Бонапарту в начале его пути дружественную поддержку, голосовал в Сенате против титула «император». Ланн, один из самых близких людей, не скрывал своего осуждения. То были как раз те немногие люди, которых Бонапарт всегда высоко ценил. Их голоса, однако, ничего не могли изменить, как не могла повлиять и меткая насмешка в ту пору безвестного Поля-Луи Курье: «Быть Бонапартом — и стать королем! Так опуститься!»

Бонапарт оставался глух к предостерегающим голосам, к словам осуждения. Он был ослеплен заворожившим его видением — торжественной церемонией коронации; он заставит удивиться весь мир! Он устранял непредвиденные трудности, возникавшие на его пути. В семье на пороге решающих событий наступил полный разлад: мать, обиженная за Люсьена и Жерома, исключенных из императорской семьи вследствие их самовольных браков, накануне торжеств уехала из Парижа в Рим. Жозеф, оскорбленный тем, что его не назначили прямым наследником, вел тонкую интригу против своего брата; он играл роль либерала, сторонника свободы и мира. Сестры устраивали сцены, требуя, чтобы их ввели в ранг принцесс и именовали высочествами; когда Наполеон им уступил, они снова были недовольны: они все-таки по иерархии были ниже «вдовы Богарне» и требовали от брата немедленного развода. Жозефина, до крайности обеспокоенная всем происходящим, вела свою игру тоньше и мягче; ее ближайшей целью было добиться освящения церковью их брака, и в этом она преуспела при содействии папы.

Распри в семье, ставшей императорской фамилией, именно благодаря этому сразу же становились известны. Позже Бурьенн не без удовольствия рассказал об этих скандалах, а Массон изучил их досконально и поведал о них всему свету. Немалые препятствия надо было преодолеть и в Риме. Папа Пий VII колебался: он боялся подорвать свой престиж в глазах католического мира и европейских монархов и боялся Бонапарта. Последнее оказалось сильнее.

И вот наконец 1—2 декабря состоялись долгожданные торжества. 10 фримера (1 декабря) Сенат в полном составе явился в Тюильрийский дворец, чтобы сообщить результаты плебисцита: три миллиона пятьсот семьде-

сят две тысячи голосов были поданы за провозглашение Наполеона императором французов и две тысячи пятьсот семьдесят девять голосов — против. Франсуа де Нёшато, принося поздравления императору, снова повторил ту же формулу: «Движение привело корабль Республики к гавани». Этот образ был одобрен императором: он по-прежнему надеялся удержать за собой оба пути. 2 декабря в соборе Парижской богоматери состоялась торжественная церемония коронации. Глава католической церкви его святейшество римский папа прибыл в Париж, чтобы освятить восшествие на трон императора Наполеона I.

Великий мастер кисти Давид, якобинец, член Комитета общественной безопасности, друг Максимилиана Робеспьера, обещавший выпить с ним цикуту до дна, не выполнил своего обещания: он стал первым живописцем империи, членом Института, офицером Почетного легиона. Выполняя поручения августейшего покровителя, художник четыре года работал над полотном «Коронация». Это великое творение искусства пережило и его создателя, и лиц, запечатленных могучей кистью на холсте. Благодаря дошедшему до нас полотну Давида мы можем увидеть это отделенное от нас почти двумя столетиями торжество. Удивительная гамма красок — бордовый бархат и блеск белого шелка, темные зеленые тона и темное золото короны в руках императора, яркие мундиры свиты маршалов, высших сановников империи и теплая розовость женских плеч — все это создает атмосферу пышного, праздничного, почти парадного представления. В центре, естественно, фигура императора в длинной, до полу, белой тунике, отороченной горностаем, с золотой короной в руках, возлагаемой на голову Жозефине; он молод, он дышит энергией, он олицетворяет власть. Тот, для кого писалась эта картина, остался доволен. «Давид, я вас приветствую!» — воскликнул Бонапарт.

Он увидел себя на полотне таким, каким хотел видеть. Давид знал, что́ надо писать.

В этой картине есть еще одна примечательная деталь. Как уже говорилось, «императрица-мать», остававшаяся все той же независимой и своенравной корсиканкой — Летицией Буонапарте, оскорбленная за своих младших сыновей, накануне торжеств уехала из Парижа. Но Наполеон считал необходимым, чтобы

в картине апофеоза — произведении, рассчитанном на века,— была запечатлена его мать. Ее отсутствие было бы воспринято как нарушение всех приличий, попрание естественных чувств. Император приказал Давиду исправить упущение, рожденное своеволием женщины, которой он не мог перечить. Знаменитый художник уже привык выполнять приказы; он выполнил и этот.

В центре левой части картины появился тщательно выписанный портрет «императрицы-матери» в кресле. Даже в этой насильственной операции Давид остался замечательным мастером. Его кисть запечатлела то, что разглядел его зоркий взгляд. Под украшенной драгоценностями короной — эти пронзительные темные глаза, плотно сжатые сухие губы, настороженно-недоверчивое выражение лица — уж не обманут ли ее? Как все это было далеко от «божественного начала», как все это выдавало под царственными одеяниями простую женщину, погруженную в мелочные заботы и расчеты грешной земли.

Не раз передавался рассказ о том, как Наполеон, вырвав корону из рук «святого отца», сам возложил ее на свою голову: он не хотел получать корону из чужих рук. Так же часто повторялись и единственные слова, произнесенные им во время торжества. Глядя на пышное убранство величественного собора, на римского папу, на маршалов, генералов, священнослужителей, высших сановников империи, министров, придворных, почтительно склонявшихся перед ним — императором, он, повернувшись к идущему позади его старшему брату, тихо сказал:

— Жозеф, если бы отец мог нас видеть сейчас!

Альбер Сорель, блестящий писатель и историк, воспроизведя эти слова, нашел их «глубоко человечными». Может быть, это и так. Но если в них и было что-то человеческое, так это присущая людям склонность к иллюзиям. Бедный, наивный корсиканец! Он, верно, и в самом деле надеялся, что эта комедия переодеваний, эта выставленная напоказ роскошь, это богатство, великолепие торжественной церемонии, граничащей с театрализованным представлением, с балаганом, могут упрочить новую власть.

Затем там же, под гулкими сводами собора, император громким голосом принес присягу. Текст ее, понятно, был составлен заранее. Присяга точно перечис-

ляла, что клялся охранять император: неприкосновенность территории Республики, законы конкордата, свободу вероисповеданий, равенство прав, гражданскую и политическую свободу, неотменяемость продажи государственных имуществ. Император клялся управлять единственно в целях пользы, счастья и славы французского народа.

По окончании церемонии кортеж медленно проследовал в экипажах через бульвары в Тюильрийский дворец. Несметные толпы людей теснились вдоль тротуаров. Не отрывая взгляда, они смотрели на эту бесконечную вереницу медленно движущихся нарядных экипажей, на шитые золотом мундиры военных, плюмажи на шляпах, бархат и шелк костюмов важных господ, драгоценные камни и дорогие меха, украшавшие дам, на все это давно невиданное великолепие.

Народ безмолвствовал.

От Аустерлица до Тильзита

Война без войны длилась уже два года. Англичане захватывали неосмотрительно вышедшие из укрытия французские суда; французы отвечали запрещением ввоза английских товаров на континент и уничтожением их, где это было возможно. То были булавочные уколы, не дававшие перевеса ни одной из сторон. Но война шла. Незримая посторонним, она готовилась в дипломатических кабинетах, в штабах армий и адмиралтейств. Приближался час действий.

Огромная французская армия была сосредоточена для вторжения на Британские острова. Лучшие французские полководцы — Даву, Ней, Сульт, Ланн, Мармон, Ожеро, Мюрат — командовали корпусами, призванными одновременно высадиться в разных пунктах Великобритании и повести оттуда стремительное наступление. По общепринятым подсчетам, численность армии вторжения превышала сто двадцать тысяч отборных солдат. Что могла противопоставить этим легионам британская корона?

Весной 1804 года в печати появились сообщения, что вторжение в Англию начнется в ближайшие дни. «Московские ведомости» со ссылкой на сведения, полученные из Франции, писали: «Все возвещает, как кажется, что экспедиция против Англии предпринята будет в марте»[1]. Через две недели та же газета вновь подтверждала: «К экспедиции против Англии все теперь уже готово»[2]. Эти сведения не были беспочвенны. В феврале и марте Бонапарт уделял исключительное внимание подготовке десантных операций[3]. Адмирал Латуш-Тревилль, проявлявший кипучую энергию, докладывал, что армия вторжения располагает уже почти двумя с половиной тысячами транспортных судов. Казалось, грозный план был близок к осуществлению. Столицу Британии охватила тревога. В сообщениях из Лондона утверждалось, что «в случае, если неприятель действительно предпримет высадку на берегах Великобритании», королева и принцессы отправятся из Лондона в Гарипебюри[4].

Нависшую над островами опасность британское

правительство надеялось парировать не столько стойкостью обороны, сколько военными операциями континентальных держав. Главные усилия Питта были сосредоточены на сколачивании новой коалиции. Хотя Семен Воронцов и уверял, что Россию и Англию объединяет общность интересов, практика это опровергала: разногласия обнаружились почти по всем вопросам, начиная с Мальты и кончая зоной Балтийского моря[5]. Переговоры шли туго. С точки зрения национальных интересов России война с Францией была не нужна, точно так же как и Франции была не нужна война с Россией. Но действительные или мнимые династические интересы Александра I, мотивы самолюбия или тщеславия, прикрываемые выспренними словами о «защите права», тайные расчеты Чарторыйского и других «друзей из Негласного комитета» облегчали Питту решение его нелегкой задачи. С домом Габсбургов, ненавидевшим бонапартовскую Францию, но еще более боявшимся ее и к тому же постоянно опасавшимся сыграть невольно на руку Пруссии, было еще труднее договориться. Проходили месяцы интенсивных дипломатических переговоров, официальных и неофициальных, а дело не сдвигалось с мертвой точки.

Если бы Бонапарт приложил больше стараний, вероятно, французская дипломатия смогла бы предотвратить образование третьей коалиции. В Париже знали о том, что делается в европейских столицах. Образование новой антифранцузской коалиции не отвечало интересам Бонапарта. Весьма вероятно, что он мог бы найти почву для соглашения с Россией, Австрией, Пруссией. Но он снова вел рискованную игру, игру на острие ножа, когда победа и поражение отделены друг от друга тончайшей гранью.

В 1804 году он надеялся решить все проблемы европейской политики одним ударом — поразив насмерть британского льва. С присущим ему умением сжато выражать самые сложные мысли он определил свой план в нескольких словах в письме к Латуш-Тревиллю. Сообщая о награждении адмирала орденом Почетного легиона, Бонапарт писал: «Станем на шесть часов господами мира»[6]. В этих словах и была заключена основная стратегическая идея Бонапарта 1804 года.

Господство над Ла-Маншем в течение нескольких часов — и все проблемы мировой политики будут решены.

По-видимому, летом 1804 года Бонапарт верил в близость победы над Англией. 15 августа на побережье Ла-Манша, у самого моря, бросая открытый вызов «гордому Альбиону», он награждал офицеров и солдат орденами Почетного легиона, он грозил Лондону.

Рассчитывая решить все проблемы европейской и мировой политики одним ударом — прыжком через Ла-Манш, Бонапарт вел в Европе открыто агрессивную политику, не заботясь о ее последствиях. В июне 1804 года Лигурийская республика была попросту присоединена к Франции. В мае 1805 года с помпой и шумом он совершил торжественное путешествие в Италию. Император французов, мог ли он оставаться президентом Итальянской республики? В Милане в торжественной обстановке он возложил на свою голову железную корону итальянских королей. Он хотел теснее привязать к себе Италию и вторым лицом в Итальянском королевстве — вице-королем назначил своего пасынка Евгения Богарне[7]. Бонапарт высоко ценил военные и организаторские способности Евгения Богарне. Он ему полностью доверял. На Богарне было возложено непосредственное руководство всеми государственными делами Италии. Мелци и другие итальянские деятели стали послушными исполнителями воли Бонапарта и его эмиссара — Евгения Богарне.

В превращении Итальянской республики в Итальянское королевство была несомненная логика, но сведущие люди в европейских столицах с тревогой спрашивали: куда ведет эта логика? Каков будет следующий шаг? Ведь Италия не была единственной дочерней республикой. Впрочем, это стало проясняться уже в дни майских торжеств в Милане. Учреждая Итальянское королевство, император французов как бы мимоходом назначил свою сестру Элизу Бачокки, обиженную на весь мир и на своего могущественного брата за то, что она неудачно вышла в свое время замуж, наследственной принцессой Пьомбино. Но этого показалось Элизе мало, и вскоре к ее владениям была присоединена еще Лукка. Позже «Семирамиде Лукки», как полунасмешливо называл Элизу Талейран, было дано более об-

ширное владение — Великое герцогство Тосканское *.

Этот первый акт породил опасения: ведь если Италия не единственная дочерняя республика, то и Элиза не единственная сестра императора французов. А остальные члены семьи — его братья, сестры? Клан Бонапартов был весьма велик. Возникло опасение, что, начав раздавать троны европейских государств членам своей семьи, он постарается наградить всю свою обширную родню. Не хочет ли корсиканец, ставший французским императором, превратить всю Западную Европу в родовое поместье, в наследственное владение клана Бонапартов? Будущее показало, что эти опасения были не беспочвенными.

Бонапарт продолжал надеяться, что успешное осуществление плана вторжения в Англию разрубит все запутанные узлы, все накопившиеся противоречия. Императорские орлы над башнями Лондона — вот самый верный путь к преодолению бесчисленных трудностей европейской политики. Весной и летом 1805 года он был твердо убежден, что на этот раз грандиозное предприятие, которое он столь тщательно готовил, увенчается победой. Ни одному из своих военных начинаний он не уделял столько внимания, сколько Булонскому лагерю — плану вторжения на Британские острова.

Переписка Бонапарта этих месяцев показывает, как скрупулезно, вникая во все детали, он занимался намеченной операцией[8]. С его способностью быстро постигать новый, вчера еще неизвестный предмет он скоро разобрался в сложных вопросах, связанных со специфическими морскими проблемами. Мюрат получил ти-

* У Наполеона были веские мотивы, чтобы начать с Элизы Бачокки: надо было ее поскорее убрать из Парижа. Литературно-политический салон Элизы был одним из центров антиправительственной оппозиции. При всей своей умеренности критики из салона Элизы внушали опасение Бонапарту. Дело в том, что его сестра длительное время находилась в близких отношениях с генералом Жюно. Наполеона беспокоила в этом случае не моральная сторона вопроса. Жюно был человеком вхожим в императорский дворец; не могли ли секреты империи просачиваться через Жюно к друзьям Элизы Бачокки? (*J. Turquam.* Elisa et Pauline. Soeurs de Napoléon. Paris, 1954).

тул великого адмирала, но если этот титул имел какой-нибудь смысл и мог быть кому-либо дан, то наибольшие права на него имел сам Бонапарт. Он надеялся, что в августе наступит решающий час действий. Эта уверенность в успехе намеченной операции побуждала его относиться пренебрежительно к текущим заботам, которые в иное время привлекли бы большее внимание.

Когда весной 1805 года прусский король, правда не без задней мысли, выступил с планом посредничества России в войне между Англией и Францией, Наполеон эту инициативу отклонил. Он не верил ни в искренность предложений прусского короля, ни в искренность мирных намерений царя Александра, ни, наконец, в успех переговоров. Может быть, Бонапарт был и прав. Конфликт зашел так далеко, противоречия между Францией и Англией были столь глубоки и многосторонни, что вряд ли какая-либо дипломатическая акция могла бы их разрядить. Заслуживает внимания иное: предложение прусского короля, даже если бы оно не привело к положительному результату, открывало французской дипломатии возможность маневрировать. Бонапарт прошел мимо этой возможности. Очевидно, в ту пору он был уверен в успехе десанта на Британские острова. К тому же соображения внутренней политики побуждали его стремиться к решению спорных проблем чисто военными средствами. Ему нужен был военный успех. Прошел год с тех пор, как Наполеон Бонапарт стал императором французов. Новый титул, который современники связывали с воспоминаниями о великом прошлом, о Римской империи, об империи Карла Великого, обязывал ко многому. Его ближайшие помощники и сотрудники Бертье, Даву, Ней, Ланн, Массена, Сульт, Ожеро, Бессьер, Мортье — прославленные генералы армии Бонапарта — с недавнего времени стали маршалами. Но эти новые звания также должны были быть подтверждены военными лаврами. Императорские орлы украшали знамена императорской гвардии, значит, опять нужны были сражения, победы, громкая военная слава. Императорская корона не давалась даром.

С 1804 года в политике Бонапарта, в политике Франции появляется новый элемент, которого не было ранее,— династические интересы, интересы, связанные

с новой формой организации государственной власти, с превращением Франции в империю — наследственную монархию.

Нельзя не видеть своеобразную парадоксальность политики, осуществляемой Наполеоном Бонапартом. Человек необыкновенной судьбы, император французов, знаменитый полководец, самодержавный монарх, Бонапарт в глазах современников и последующих поколений казался властителем, наделенным беспредельными возможностями, самым авторитарным, самым могущественным из повелителей. Его слово было законом, его приказы исполнялись мгновенно, никто не смел ему возражать. Ни один абсолютный монарх не пользовался такой неограниченной властью, как император французов. Но при всем том этот могущественный человек часто должен был делать противоположное тому, что считал нужным, что хотел. Совершая переворот 18 брюмера, Бонапарт сознавал, что страна, и прежде всего те классы, которым он служил,— буржуазия, крестьянство, все собственники — требуют стабилизации.

После Директории, после пяти лет ее неустойчивой, постоянно меняющейся политики стабилизация стала общественной необходимостью. Бонапарт понимал это лучше, чем кто-либо иной. И когда он обещал в дни брюмера установить порядок в стране, то он подразумевал под этим порядком экономическую, политическую, государственную стабильность. В действительности же политика, которую он осуществлял, стала сплошным нарушением устойчивого государственного порядка. В самом деле, с 1799 года произошли существенные изменения в государственном устройстве страны: временное консульство, конституция VIII года и консулат, сенатус-консульт 1802 года, пожизненное консульство, с 1804 года — империя. Каждые два года политический режим в стране претерпевал изменения. Верно то, что все эти изменения шли в одном направлении: они усиливали личную власть генерала Бонапарта. Нельзя оспаривать также, что при всех модификациях сам режим, установленный 18 брюмера, мало менялся. Но господствующая группировка брюмерианцев тем не менее с тревогой наблюдала, как обещанная

стабилизация видоизменяется в непрерывные коррективы государственных форм власти.

Это отсутствие стабильности сказалось также в частностях. В 1802 году первый консул уничтожил министерство полиции и изгнал Фуше. Он сделал это не потому, что исчезла надобность в полиции, как было официально объявлено, а главным образом вследствие недоверия и антипатии, которые вполне обоснованно он питал к Фуше. Прошло два года, и в 1804 году Бонапарт восстановил министерство полиции и назначил министром полиции того же Жозефа Фуше, хотя чувства к Фуше не изменились.

Совершая переворот 18 брюмера, Бонапарт отчетливо понимал, что страна хочет мира. Требование мира не было желанием какой-то одной фракции или какой-либо группы политиков, то было всеобщее желание, рожденное объективной необходимостью. С 1792 года Франция вела войну, ее силы были истощены, и, как бы успешно ни развивались военные действия, все классы общества сходились в убеждении, что необходимо покончить с войной и обеспечить стране мир.

Как человек трезвого, реалистического ума, Бонапарт понимал, что мир даст возглавляемой им власти ряд преимуществ. И действительно, непродолжительная мирная передышка, наступившая в стране после заключения Амьенского договора, показала, как много можно сделать в условиях мирного времени. В 1804—1805 годах Бонапарт также понимал, что мир выгоден Франции, что он может быть использован для развития хозяйства страны, ее благосостояния. И тем не менее этот могущественный монарх, сознавая все преимущества, которые давал обществу мир, вел политику войны.

И снова противоречивость замыслов и реальной политики можно проследить не только в крупных, но и в частных проблемах. Когда в конце 1799 — начале 1800 года Бонапарт встал у руля государственной власти, первым его побуждением в области внешней политики было стремление добиться мира и дружбы с Россией. «Франция может иметь союзницей только Россию» — таков был тезис Бонапарта — первого консула. Обе державы в начале 1801 года подошли вплотную к оформлению франко-русского союза. Убийство Павла I сорвало этот союз. Однако, как уже выясни-

лось, Александр I в первое время не склонен был идти на обострение отношений с Францией. При более гибкой, более тонкой политике Бонапарт мог бы добиться добрых отношений с Россией. Мысль о создании тройственного союза континентальных держав — Франции, России и Пруссии не была беспредметной. Конечно, этот предполагаемый тройственный союз не мог быть прочным политическим объединением: его ахиллесовой пятой была бы Пруссия. По-видимому, существовала возможность укреплять непосредственное сотрудничество с Россией на базе русско-французских соглашений 1801 года. Но Наполеон прошел мимо этой возможности, хотя отчетливо сознавал важность союза с Россией. Он не претворял возможность в действительность, замыслы в реальность.

Бонапарт с первых же шагов своей деятельности на дипломатическом поприще уделял большое внимание Пруссии. Он видел в Пруссии прежде всего инструмент антиавстрийской политики и, как большинство людей его времени, переоценивал военный потенциал Пруссии Гогенцоллернов. В начале XIX века военная репутация Пруссии была выше ее истинной силы: еще действовал гипноз былой славы железного Фридриха. В Берлине же взирали на могущественную Францию с явной опаской. Было не случайным то, что прусский король Фридрих Вильгельм III одним из первых среди европейских монархов назвал императора Наполеона «брат мой»[9]. Услужливость прусского короля была продиктована страхом: он боялся могущественного соседа. Этот побудительный мотив, вероятно, был наиболее сильным, хотя дополнялся и корыстными соображениями: как и государи Баварии, Вюртемберга, Бадена, прусский король надеялся руками Наполеона расширить свои владения, добиться приращения своей территории и укрепления своего статуса.

В германской политике Бонапарту удалось кое-чего достичь. Он сумел привязать к французской колеснице Баварию, Вюртемберг, Баден, пообещав монархам этих государств соответствующее повышение их ранга. Он сделал первых двух королями, а баденского курфюрста — великим герцогом. Французская дипломатия удерживала Пруссию от присоединения к антифранцузской коалиции ценой обещаний. Фридрих Вильгельм III мечтал о титуле императора, об император-

ской короне, которую издали показывал ему Наполеон; он с жадностью тянулся к ней обеими руками. Наполеон его подзадоривал и заманивал. В беседах с Лукезини, прусским послом в Париже, французский император охотно развивал мысль о том, что в интересах Германии и Европы возложить императорскую корону на голову прусского короля[10]. Наполеон прельщал его также обещанием Ганновера. В значительной мере благодаря стараниям французской дипломатии Пруссия продолжала придерживаться своей «знаменитой политики нейтралитета». Она оставалась сторонней в конфликте великих европейских держав.

Но если поставить вопрос так: была ли возможность хотя бы временно привлечь Пруссию на сторону Франции, то, вероятно, на него можно было бы ответить утвердительно. Франция захватила Ганновер, мотивируя тем, что это владение английского короля, с которым она находилась в состоянии войны. Ганновер был предметом вожделений Пруссии. Позже, когда континентальная война стучалась в двери, Бонапарт предложил Ганновер прусскому королю. Если бы то же предложение было сделано раньше, возможно, результат был бы более успешным.

Политика знаменитого государственного деятеля, который был не только выдающимся полководцем, но и одним из самых крупных дипломатов своего времени, шла в странном противоречии с его собственными замыслами. Он делал иное, чем замышлял, чем предполагал. Сам Бонапарт как-то дал объяснение этому: «Я только слуга природы вещей».

Может быть, правильнее было бы сказать, что его влек за собой ход вещей. Его политика оставалась до определенного времени исторически детерминированной; она определялась глубинными историческими процессами, которые оказывались сильнее его желаний или стремлений и которые, быть может, он не мог всегда достаточно отчетливо осознать. Эту зависимость Наполеона от незримых могущественных сил и порожденную этой зависимостью противоречивость его политики почувствовал и запечатлел М. Ю. Лермонтов:

Зачем он так за славою гонялся?
Для чести счастье презирал?
С невинными народами сражался?
И скипетром стальным короны разбивал?[11]

В этих строках обозначена та внутренняя диалектика исторического развития, которая заставляла Бонапарта делать многое иначе, чем он предполагал и хотел.

Месяцы шли, и становилось все очевиднее, что повторить путь Юлия Цезаря и Вильгельма Завоевателя в XIX веке трудно. Будничная, деловая переписка Бонапарта показывает, что со времени посещения Булонского лагеря в августе 1804 года он стал отдавать себе отчет в том, как много препятствий возникло на пути господства над проливом хотя бы на шесть часов[12]. Латуш-Тревилль умер, как говорили в прошлом столетии, от переутомления. Новому командующему флотом адмиралу Вильневу не удалось осуществить объединение разрозненной французской эскадры и освободить Брест, блокированный английским флотом. Наполеон несколько раз менял свой план. Он проявил много изобретательности, чтобы обмануть бдительность англичан и обеспечить успех задуманного плана. После долгих размышлений и тщательно проверенных расчетов был выработан окончательный вариант вторжения на Британские острова; оно должно было начаться в августе 1805 года.

В начале августа Наполеон выехал в Булонский лагерь, чтобы лично руководить «прыжком через море». Если судить по его письмам, то вначале он был удовлетворен подготовкой решающей операции. Но в десятых числах августа Бонапарт стал нервничать. Эскадра Вильнева, прибытия которой он нетерпеливо ожидал, не приходила. Прошел день, второй, третий — от Вильнева не поступало никаких сведений[13].

В ожидании прибытия эскадры Бонапарт 13 августа продиктовал генералу Дарю план операции на континенте. Этот план доказывает, что в то время, как Бонапарт был занят подготовкой операции на море и десанта на Британские острова, он одновременно обдумывал и другой вариант — операции на суше. Как человек трезвого ума, он допускал возможность неудачи или отсрочки «прыжка через море» и не хотел быть застигнутым врасплох инициативой неприятеля на континенте. План 13 августа удивляет своей логикой: здесь все продумано, все рассчитано, словно Бонапарт располагал совершенно точными сведениями о движении

неприятельских войск. В истории военного искусства этот план был справедливо оценен как одно из замечательных достижений военной мысли.

Но, диктуя Дарю план операции на суше, Бонапарт еще не отказался от идеи главного удара по Англии. Он всё еще ждал Вильнева. Шли дни, но напрасно вглядывался Бонапарт в бескрайнюю даль моря — французские корабли не показывались. Во второй половине августа стало известно, что Вильневу не удалось осуществить маневр, который был ему предписан Наполеоном. Он не сумел выйти из Кадикса, не сумел пройти в Ла-Манш. В то же время все поступавшие к императору сведения сходились на том, что с востока против Франции надвигается грозная опасность.

Когда Бонапарт стал осознавать, что стратегический замысел рушится или в лучшем случае отодвигается на неопределенное время, третья коалиция уже была почти сколочена *. Было очевидно, что в войну против Франции будут втянуты Англия, Россия, Австрия, Швеция, Неаполитанское королевство; донесения, поступавшие из Берлина, говорили о том, что союзникам, по-видимому, удалось достичь соглашения и с Пруссией. Присоединение Пруссии к коалиции стало вопросом времени.

Третья коалиция отличалась от первых двух: и политически, и в военном отношении она была сильнее предшествующих. В отличие от первой и второй коалиций, выступавших под знаменем реставрации как открыто контрреволюционная сила, третья коалиция сняла реставраторские лозунги. Участники коалиции в своих программных документах подчеркивали, что они ведут войну не против Франции, не против французского народа, а только против Наполеона и его завоевательной политики. Здесь сказалась известная гибкость тактики Александра I, который как дипломат и политический деятель оказался наиболее умелым и понимающим дух времени руководителем среди лидеров антифранцузского блока. К этому мы еще вернемся. Третья коалиция представляла собой мощную военную силу: предполагалось, что она сумеет поста-

* Англо-русская союзная конвенция о мерах к установлению мира в Европе была подписана 30 марта/11 апреля 1805 года (см. ВПР, т. II, № 117, стр. 355—368); к конвенции в августе присоединилась Австрия (см. там же, № 149).

вить под ружье более полумиллиона штыков. Осенью 1805 года огромные силы коалиции начали движение на запад, в сторону французской границы. Бонапарт не стал ждать, он решил опередить противников.

Неудача с вторжением на Британские острова — а к сентябрю 1805 года уже все в Европе понимали, что экспедиция закончилась провалом,— естественно, бросала тень на императора. Бонапарт не мог позволить, когда его корона покоилась на еще довольно зыбкой почве, ставить под сомнение свое право на звание императора. Прошел лишь год, как он возложил на голову императорскую корону. И что же? С тех пор ни одной победы и полный провал громогласно объявленного похода на Англию. Победа над силами третьей коалиции отвечала не столько интересам Франции — она отвечала прежде всего личным интересам Наполеона.

И вот «армия Англии», как она официально именовалась во французских правительственных документах, была переименована в «великую армию». Это изменение названия скрывало за собой многое. В сентябре 1805 года «великая армия» перешла через Рейн и вторглась в пределы Германии. Задача Наполеона с точки зрения военной сводилась к сохранению тех преимуществ, которые и ранее давали ему победу. Силы коалиции количественно и по своим потенциальным возможностям, безусловно, превосходили силы французской армии. Что из того? Такое соотношение сил и в прошлом встречалось в его военной практике. Бонапарт как полководец знал, что численное превосходство может быть уничтожено быстрым передвижением французских войск и сокрушением армий противника поодиночке. Основная идея кампании 1805 года была той же: надо расчленить силы противника и наносить им удар за ударом[14].

В ту пору, как шло медленное сосредоточение австрийских войск, вступивших на территорию Баварии, а из России подтягивалась армия, возглавляемая Кутузовым, Бонапарт стремительным маршем шел навстречу врагу. Он хотел нанести удар австрийцам раньше, чем они сумеют объединиться с русской армией и к ним придет на помощь прусская армия. Французы опередили австрийцев, и в середине октября корпуса Сульта, Нея и Ланна обошли с флангов австрийскую армию генерала Мака и принудили ее отступить

к Ульму. Мак пытался маневрировать, но, не использовав всех возможностей, заперся в Ульме и дал французской армии возможность окружить его со всех сторон.

20 октября 1805 года австрийская армия в Ульме капитулировала. В плен было взято более двадцати тысяч солдат, захвачено много артиллерии и военных припасов. Капитуляция австрийцев в Ульме была первым крупным выигрышем Бонапарта. То была победа, отозвавшаяся гулким эхом во всей Европе. Но Наполеон не терял времени — с главными силами он двинулся к Вене.

В этой так удачно начавшейся для французов войне все продолжало им благоприятствовать. Мост через Дунай охранял арьергард австрийской армии под командованием князя Ауэрсперга, австрийский генерал имел жесткую директиву — при отступлении мост взорвать. Французам, видимо, предстояли тяжелые бои за овладение мостом. Но три французских генерала — Ланн, Мюрат и Бельяр — с гасконской изобретательностью отважились на неправдоподобно дерзкую авантюру. Они отправились без свиты, без охраны к князю Ауэрспергу и представились ему как парламентеры. Заверив австрийского командующего, будто подписано перемирие, расточая ему комплименты и любезности, они настолько увлекли его живой, остроумной беседой, что князь Ауэрсперг забыл о своем прямом воинском долге. Пока продолжалась поглощавшая все его внимание беседа с любезными французскими генералами, французские войска бесшумно и беспрепятственно переходили через мост. Когда Ауэрсперг понял, что его обманули, было уже поздно[15].

Наполеон вступил в Вену, и война, казалось, была выиграна. Но внешний ход событий столь успешно начатой кампании еще не определял исхода всей войны. Подтягивались главные силы русских войск, и объединенная австро-русская армия поступила под командование многоопытного Кутузова, генерала суворовской школы. Со дня на день ожидалось, что к союзникам присоединятся прусские войска и подойдет пополнение австрийской армии из других провинций империи. Превосходство сил неприятеля могло стать со временем подавляющим. Французская армия, хотя и находилась после Ульма в состоянии морального подъема, была

крайне утомлена быстрыми, изнурительными переходами.

Прибывший в штаб армии император Александр I, так же как и австрийский император Франц, отнюдь не считал дело проигранным... Напротив, частные удачи, которые были одержаны союзниками,— некоторые из них были весьма значительными, например успех русских при Шенграбене,— подняли настроение в штабе союзных войск.

Важное значение для хода всей кампании имели события, развернувшиеся далеко от театра военных действий в Европе. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар, вблизи Кадикса, английский флот под командованием адмирала Нельсона в ожесточенном морском сражении уничтожил объединенный франко-испанский флот[16]. Нельсон погиб в ходе Трафальгарского сражения, но одержанная им победа имела огромное значение для всей последующей, растянувшейся на многие годы войны. В морской пучине под Трафальгаром были похоронены не только французские корабли — под Трафальгаром была уничтожена идея французского вторжения в Англию. Отныне, по крайней мере на ближайшие годы, Англия стала неуязвимой для Франции; пролив, отделявший Британские острова от континента, стал непреодолимым.

Трафальгар был расценен как крупнейшее событие военной кампании; победа Нельсона заслонила поражение Мака, Трафальгар затмил Ульм. По мнению европейских газет тех дней, после Трафальгара военное счастье перешло к союзникам.

Бонапарт, получив известие о Трафальгарском сражении, был в бешенстве. Он проявил несправедливость к адмиралу Вильневу: тот был храбрым морским офицером и делал все, что ему позволяли возможности. Французский флот был неизмеримо слабее английского, и не вина Вильнева, а его трагедия состояла в том, что он не смог одолеть могучего противника. Вильневу не повезло: он не только проиграл сражение, но и попал в плен к англичанам. Англичане выдали его французам, и Бонапарт распорядился предать его военному суду. Находясь в заключении, этот храбрый человек, судьба которого сложилась так несчастливо, покончил жизнь самоубийством.

Трафальгар уравнял шансы сторон, даже больше того — преимущество вновь оказалось на стороне коалиции. Бонапарт отчетливо понимал, что поражение французского флота при Трафальгаре уронило в глазах всего мира императорское знамя с орлами. Все достигнутые преимущества — Ульм, вступление в Вену — были уничтожены в один день. Ему снова нужна была победа, не обыкновенная, не рядовая, а оглушительная победа, которая заставит признать его военную мощь, его превосходство над силами неприятеля. Его замысел заключался в том, чтобы заманить в западню русско-австрийскую армию и навязать ей генеральное сражение до того, как подойдут дополнительные силы австрийцев и русских. Кутузов своим тонким чутьем разгадал замысел Наполеона. Искусными маневрами он уклонялся всякий раз от навязываемой ему Наполеоном битвы.

Кутузов сумел с главными силами отойти на левый берег Дуная. Его стратегический замысел был ясен: надо избегать столкновения с противником, выиграть время и ждать, пока подойдут остальные воинские части, с тем чтобы при численном перевесе и в благоприятных условиях по собственному выбору и решению навязать противнику битву, а не вступать с ним в бой, когда тот захочет. Но эта мудрая военная стратегия Кутузова столкнулась с нетерпеливо-воинственными побуждениями императора Александра.

Александр и его ближайшее окружение — князь Долгоруков и военная молодежь, воодушевленные Трафальгарской победой союзников и сведениями о плохом состоянии французской армии, которые Наполеон умышленно распространял, считали, что следует использовать, не откладывая, благоприятный момент. Бонапарт разжигал эти настроения в русской и австрийской ставках. Для того чтобы заманить противника, он упорно распространял слухи о том, что ищет мира. Больше того, он послал одного из близких к нему людей — генерала Савари — в штаб русской армии с предложением о перемирии. Миссия Савари представляла собой тонко рассчитанную военную хитрость. Александр принял Савари вежливо, почти любезно; он даже при получении послания Наполеона высказал сожаление, что принужден сражаться против того, кто всегда вызывал его восхищение. Он избегал,

однако, точно определять титул главы французского государства и от прямых переговоров уклонился. Царь предпочел послать в штаб к Наполеону вместе с Савари одного из своих приближенных — генерал-адъютанта князя Долгорукова, пользовавшегося его полным доверием[17].

Петру Петровичу Долгорукову в 1805 году было двадцать восемь лет. Он уже носил эполеты генерал-адъютанта и слыл одним из самых близких к Александру молодых генералов. Царь давал ему важные дипломатические поручения. «Баловень судьбы», он был самоуверен и заносчив.

Наполеон принял Долгорукова и беседовал с ним намеренно осмотрительно, скромно, миролюбиво. Превосходный актер, он играл роль человека, озабоченного возрастающими трудностями и ищущего путей к миру, угнетенного тягостными мыслями, может быть, предчувствием неудачи. Он был сдержан с Долгоруковым, делал вид, что не замечает развязности генерала, вряд ли уместной в разговоре со знаменитым полководцем. Позже Наполеон сказал: «Этот молодой хвастунишка разговаривал со мной как с русским боярином, ссылаемым в Сибирь». Наполеон снес этот высокомерный тон, заносчивость. Он смиренно спрашивал об условиях, на которых было бы возможно «замирение», как говорили в девятнадцатом столетии.

Долгоруков все в том же бравурном и заносчивом тоне требовал, чтобы Франция вернулась к своим естественным границам, чтобы все завоевания были отданы, включая даже Бельгию. «Как, и Брюссель я тоже должен отдать?» — тихо спросил Наполеон. Тот подтвердил. «Но, милостивый государь, — все так же тихо продолжал Наполеон, — мы с вами беседуем в Моравии, а для того, чтобы требовать Брюссель, вам надо добраться до высот Монмартра»[18].

Долгоруков, вернувшись в ставку, доложил императору, что больше всего Наполеон боится сражения, он слаб, он ищет мира, он не рассчитывает на свои войска. Был созван военный совет, в котором участвовали оба императора — австрийский и русский, главнокомандующий Кутузов и высшие офицеры. Генерал-квартирмейстер австрийского штаба Вейротер, схоласт и доктринер, воспитанный в традициях рутинной кордонной стратегии, а потому слывший знатоком военной теории,

представил составленную им диспозицию генерального сражения против Наполеона. Оно должно было быть дано между Праценскими высотами и деревней Аустерлиц. В этой диспозиции было все педантично учтено и перечислено: движение левого крыла, движение правого крыла, выступление колонн — первой, второй, третьей — с точным обозначением географических пунктов, какие им надлежало занимать... Все было предусмотрено, все предвидено... кроме одного — возможных действий неприятеля.

Основной вопрос, который обсуждался на этом высоком совещании,— давать или не давать бой французам? Кутузов считал, что бой в данных условиях давать нельзя. Твердо и настойчиво он требовал, чтобы объединенная армия ушла на подходящие позиции и маневрировала до тех пор, пока не подойдут главные силы. Но император Александр I, Долгоруков и все поддерживавшие царя молодые генералы считали точку зрения Кутузова старомодной, отсталой. О главнокомандующем позволяли себе говорить в снисходительно-покровительственном тоне; его даже жалели: преклонный возраст не позволяет постичь очевидное. Александр и молодые генералы были уверены в близкой победе, они были воодушевлены успехом Павлоградского полка, преследовавшего авангард французов, они предвкушали казавшуюся им уже несомненной победу над Наполеоном[19].

Незабываемые страницы романа «Война и мир» вводят нас в атмосферу необоснованно приподнятого настроения, подъема, который царил в штабе императора Александра накануне решающей битвы. Царь и австрийский император вопреки мнению Кутузова решили дать французам бой.

«...Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова о том, что он думает о завтрашнем сражении?

Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил:

— Я думаю, что сражение будет проиграно...»[20]

Бонапарт говорил, что выиграл сорок сражений. Самой замечательной победой среди них он считал

Аустерлиц. «Солнце Аустерлица!» — он вспоминал его всегда с особенным чувством. Вопреки позднейшему официальному французскому толкованию военная обстановка накануне Аустерлица таила для французов величайшие опасности. Общий перевес сил был на стороне коалиции, и в дальнейшем он должен был возрастать. В Моравию двигались дополнительные силы русских. Австрийское командование собиралось перебросить с Итальянского фронта крупные воинские соединения. Наконец, со дня на день надо было ждать удара с тыла пруссаков. 14 ноября Гаугвиц выехал из Берлина, чтобы предъявить ультиматум французскому императору. Вслед за ультиматумом, рассчитанным на то, что его отвергнут, сто восемьдесят тысяч пруссаков с северо-запада ударили бы по французской армии[21]. Армия Бонапарта была в мышеловке; ее окружили; ее рассчитывали сжать железными клещами и раздавить. Огромное численное превосходство, которым располагали союзники, казалось, не оставляло надежд на возможность одолеть объединенные силы коалиции.

Сведения, поступавшие из Парижа, были также неутешительны. Там царила, как всегда, когда уезжал Бонапарт, подозрительная нервозность, странная уверенность, еле прикрываемая лицемерным сожалением о том, что его обязательно постигнут неудачи, может быть даже гибель (ведь погибли же в бою Жубер, Дезе, Нельсон!), ожидание перемен. «Языки Сен-Жерменского предместья убили больше французских генералов, чем австрийские пушки», — говорил Талейран. Как бывало и раньше — в дни Маренго, эти разговоры полушепотом вели и близкие к нему люди, и прежде всего брат Жозеф, избравший своим амплуа роль лидера либеральной оппозиции. Он давал всем понять, что только он и может обеспечить мир и процветание страны. Никаких изменений в государственном строе: тот же порядок, те же правители, те же люди, та же фамилия во главе империи, только имя другое. И сразу же рассеются тучи войны...

К политическим заботам прибавлялись и иные. Страна переживала острейший финансовый кризис. Перед дверями банков стояли длинные очереди: все хотели получить звонкую монету. Биржу лихорадило. Крупнейшие банкирские дома обанкротились. Банк Рекамье с капиталом в двадцать пять миллионов

франков, банки Граден Карсенак с капиталом в пять миллионов франков и дю Кудре, располагавший примерно таким же капиталом, потерпели крушение и прекратили свою деятельность; известия об этом проникли в европейскую печать[22]. Финансовый кризис старались объяснить частными причинами. Указывали на грандиозные, беспримерные по своему размаху и наглости финансовые спекуляции Уврара и его компаньонов. В этих объяснениях была доля истины. Этот «финансовый Наполеон» действительно превзошел все допустимое. Он вел сложнейшую игру на международном финансовом рынке — от Мадрида до Филадельфии, и его контрагенты через банк Беринга стали фактически на путь деловых сделок с правительством Питта. Уврар по приказу императора был заключен в тюрьму. Ссылались на бездарность и продажность министра казначейства Барбе-Марбуа. И в этом была, видимо, тоже доля верного. «Государь, вы не считаете меня по крайней мере вором?» — спросил вызванный для отчета Барбе-Марбуа. «Я предпочел бы это сто раз. Жульничество имеет какие-то границы, глупость — беспредельна»,— ответил Наполеон. Впрочем, Барбе был, видимо, и глупцом и жуликом. Наполеон его выгнал. Но за этими частными причинами скрывалось и нечто большее. Финансовый кризис 1805 года был кризисом доверия. Бонапарт уничтожил политическую трибуну, через посредство которой буржуазия выражала свои мнения и желания; что из того, она нашла иные каналы? Игра на понижение, отчетливо обозначавшаяся с весны 1805 года на Парижской бирже, показывала, что финансовые тузы не хотят новой затяжной войны и не шибко верят в ее успех. Слова не нужны, к чему слова? Разве финансовый кризис, ажиотаж на Парижской бирже не красноречивее самых пылких речей?[23]

Бонапарт это все понимал, все принимал во внимание. Он отдавал себе отчет и в том, как повлиял Трафальгар на общественное настроение в Лондоне, Петербурге, Берлине, Мадриде и особенно в Париже. Но он не унывал. Он ясно видел решение. Оно было все тем же — надо опережать противников, брать над ними верх в быстроте, стремительности ударов. Как и в итальянской кампании 1796 года, надо было расчленить силы врагов и бить их поодиночке. Коалиция мо-

жет быть сокрушена и уничтожена, только будучи разбитой по частям.

Бонапарт так оценил Аустерлицкую битву, так гордился этой своей победой прежде всего потому, что она вся, от начала до конца, была детищем его стратегии. Он провел свою армию по размытым дождями дорогам Моравии, не давая передышки солдатам, он маневрировал, заставляя их то наступать, то отступать, заманивая в западню противника, пытаясь заставить его дать генеральное сражение до того, как подойдут к нему неисчислимые резервы. И он в этом успел.

Двое суток накануне сражения под Аустерлицем Наполеон то на коне, то пешком, то издали, то вблизи, то ложась на землю, то осматривая всю местность с какой-либо высоты исследовал поле будущей битвы. Он так досконально изучил его, он так свободно в нем ориентировался, что, по словам Савари, предполье Аустерлица стало для Бонапарта столь же знакомым, как окрестности Парижа.

Вечерние часы перед сражением он провел среди солдат: присаживался у костров, обменивался с солдатами шутками, узнавал старых друзей-ветеранов; всюду, где появлялся Наполеон, рождались радостное оживление, бодрость, уверенность в победе.

Расположение войск перед битвой было тщательно продумано. На правом фланге размещался корпус Даву с несколько выдвинутой вперед дивизией Фриана; в центре стояли войска под командованием Сульта, на левом фланге — Ланн и Мюрат... Эта растянувшаяся на громадном неровном, пересеченном пространстве длинная, изгибающаяся темная линия войск казалась неподвижной, застывшей.

Но вот кончилась долгая декабрьская ночь, забрезжил серый рассвет, густой туман стал редеть, рассеиваться, затем начало медленно подниматься холодное, неяркое солнце — «солнце Аустерлица».

Австро-русская армия пришла в движение и двинулась навстречу противнику. Спускаясь с Праценских высот, она наступала на правый фланг французской армии, и Даву медленно, с боями, но вполне намеренно, в соответствии с общим замыслом главнокомандующего отступал в глубь Гольдбахской долины, увлекая за собой неприятеля.

Наполеону было известно, что даже сейчас, 2 декабря, когда еще не подошли ни дополнительные русские и австрийские армии, ни свежие силы пруссаков, противник располагал численным превосходством. Против семидесяти трех тысяч французов стояли восемьдесят пять тысяч солдат союзных армий; преимущество в двенадцать тысяч штыков в решающем сражении было весомым.

Где же ключ к победе? Бонапарт знал, что, как и в 1796 году, как и при Монтенотте, количественное превосходство может быть преодолено и уничтожено только быстротою движения, искусством маневра.

Неподвижность как бы застывшей в оцепенении французской армии была обманчивой. Едва лишь Даву, отступая, увлек с Праценских высот атакующие его дивизии Буксгевдена, как Наполеон бросил против ослабленного центра союзной армии главные силы под командованием Сульта. Стремительным ударом Сульт прорвал линию обороны и рассек союзную армию надвое. Одновременно Ланн и Мюрат с той же сокрушающей силой ударили с левого фланга, а затем начали обход противника с юга. Даву, сжимавший свои отступающие дивизии в кулак, в должный миг сразу, рывком, как разжавшаяся пружина, перешел от обороны к контрнаступлению. Войска Даву отбросили части Буксгевдена, а затем, сжимая их со всех сторон, стали окружать. Армия союзников была расчленена, дезорганизована, разбита.

Бонапарт гордился Аустерлицем потому, что это сражение не было похоже ни на Риволи, ни на Маренго; с раннего утра, с восхода солнца, он, Бонапарт, «вел» эту битву. Не противник, а он направлял развитие событий; он опережал неприятеля в быстроте, в атаке, в искусстве маневра, в трудном искусстве победы. Командование австро-русской армии и прежде всего оба императора, предвкушавшие близкий, как им казалось, триумф, столкнувшись с тем, что сражение развертывается совсем иначе, чем было предусмотрено диспозицией Вейротера, потеряли инициативу, а затем и управление боем. Все смешалось. Связь между частями была нарушена, руководство операциями утрачено. Солдаты дрались мужественно; отдельные генералы, офицеры пытались спасти положение смелыми, тактически оправданными действиями, но изменить ход сра-

жения было уже невозможно. В обстановке хаоса рассеченная на несколько частей союзная армия, атакуемая со всех сторон наступающими французами, была обречена на жестокое поражение.

Еще не стемнело, когда битва закончилась. Союзная армия была разгромлена; она потеряла убитыми и пленными свыше двадцати семи тысяч человек, треть своего состава. Императоры Александр и Франц уносились вскачь в разные стороны с поля проигранного сражения[24].

Сведущие современники быстро разобрались в том, кто в союзной армии был виновен в понесенном поражении. Сторонний наблюдатель, человек умный и информированный, граф Стединг, шведский посол в Петербурге, по стечению обстоятельств оказавшийся в момент сражения в Троппау, вблизи от Аустерлица, в донесении королю Густаву IV на второй день после битвы, 4 декабря 1805 года, писал: «Хорошо осведомленные люди меня уверили, что в большей части ошибок, о которых я писал, генерал Кутузов не повинен и они явились следствием чрезмерного доверия императора советам многих молодых генералов и адъютантов, старавшихся, чтобы выдвинуться, оспорить мнение главнокомандующего и привлечь внимание Его величества к блистательным планам, осуществление которых крайне сомнительно. Кипящий задор великого князя Константина также способствовал неудаче»[25].

Победа под Аустерлицем не может быть объяснена только военным талантом Бонапарта или даже неоспоримым преимуществом смелой, инициативной тактики Наполеона над косной, рутинной тактикой генерала Вейротера, выражавшего наиболее отчетливо ограниченно-педантичный консерватизм отжившей феодальной военной доктрины.

Аустерлиц не был обычным сражением, пусть даже важным для хода и исхода всей кампании. То была не решающая баталия, определявшая последующее развитие войны, а нечто большее — столкновение двух миров, проба сил, проверка степени мощи и преимуществ каждого из них на поле боя.

Аустерлиц часто называли «битвой трех императоров». Но это ходячее название скрадывало главное, чем стало знаменито сражение. Оно потрясло современников, а затем вошло в летописи истории не потому, что

один император взял верх над двумя другими. Современники видели в Аустерлицкой битве не испытание сил трех монархов на поле боя, а неизмеримо более значительное — решающий поединок нового и старого миров. Передовые люди того времени, все, кого коснулись вольнолюбивые мечты минувшего века, рукоплескали победам французского оружия. Французская армия сражалась под трехцветным знаменем революции против стягов тысячелетней монархии Габсбургов и двуглавого орла Российской империи. Офицер без роду, без племени, своей шпагой отвоевавший императорскую корону, против августейших монархов, помазанников божьих, представлявших старейшие династии, властителей феодальных империй — то было сражение не пушек и ружей, а разных общественных систем. За спиной Бонапарта стояло недавнее прошлое — герои Вальми и Флерюса, волонтеры 1793 года, принципы Декларации прав человека и гражданина 1789 года.

Но отдавал ли главнокомандующий французской армией, император французов себе отчет в том, что́ было источником его силы? Понимал ли он в конце 1805 года так же ясно, как десять лет назад в ходе итальянской кампании 1796 года, что одних военных усилий недостаточно для достижения победы и что на чашу весов должно быть брошено что-то потяжелее победы?

Император Наполеон 1805—1806 годов мыслил уже во многом иначе, чем генерал Бонапарт 1796 года.

Аустерлиц был крупной победой французского оружия — это было бесспорно. Вильям Питт умер с горя — так по крайней мере говорили,— узнав о победе французов над объединенными силами коалиции. Австрийский император Франц, оправившись от потрясения, 4 декабря, через два дня после сражения, явился лично на французские аванпосты, чтобы вступить в переговоры с императором Наполеоном о перемирии и мире. Переговоры закончились объятиями[26]. В России значение понесенного поражения подчеркивалось тем, что о нем нельзя было писать. В «Санкт-Петербургских ведомостях» было передано сообщение из Ольмюца от 29 ноября: «Соединенная Российская и Австрийская армия пошла двумя маршами против неприятеля, который, кажется, желает избежать сражения, по крайней мере в сей стране. Главная квартира обоих императоров

была вчера, 28-го, в Вишау»[27]. В следующих номерах газеты не было никаких упоминаний о том, чем закончился этот марш, и лишь через две недели в газете появилось сообщение о том, что 6 декабря в Австрии заключено перемирие и что император Александр прибыл в Витебск и следует в Петербург[28]. Наполеон в воззвании к армии писал: «Солдаты... вам достаточно будет сказать: я участвовал в битве под Аустерлицем, и сразу же скажут — вот храбрец!»[29]

Конечно, Бонапарт отдавал себе отчет в стремлении страны к миру. Мир — это общее требование, его все ждут, все хотят: солдаты, офицеры, маршалы, крестьяне, рабочие, лавочники, мануфактуристы, арматоры, финансисты, служащие, сановники, дипломаты, братья и сестры императора — все требуют мира. Все донесения, поступавшие от Фуше, подтверждали всеобщую жажду мира. Этого же требовали и личные интересы Бонапарта, и интересы его династии. Мог ли он быть уверенным на поле сражения Аустерлица или в Шёнбруннском дворце в Вене, что в далеком Париже не строят коварные козни против него? В чьих руках находится власть? Брата Жозефа — слабого, неспособного, но не лишенного тонкого коварства и одержимого идеей занять не им отвоеванный трон, на который он якобы имеет право по старшинству? Жозефа Фуше — убийцы, преступника, способного с улыбкой на бледных губах всадить из-за угла нож в спину? Этим людям была доверена власть, хотя он, Наполеон, не питал к ним никакого доверия. Всякий раз, когда Бонапарт покидал столицу, он испытывал острое беспокойство. Надо кончать войну и возвращаться скорее в Париж.

Но как достичь этого всеми желанного мира?

Первые дни после Аустерлица, в особенности после свидания с императором Францем, Бонапарт был полон надежд. «Мы возвращаемся в Париж; мир обеспечен»,— говорил он своим приближенным, и эта радостная весть мгновенно облетела армию. Но этот манящий мир, как видение в пустыне, отодвигался, уходил, как только к нему приближались.

Наполеон возвратился в Вену, в Шёнбруннский дворец Габсбургов. Я видел Шёнбруннский дворец, симметричную строгость его гармоничной архитектуры, ровно прочерченную за кажущимся бескрайним парком линию горизонта, аккуратно подстриженные газоны,

спокойствие, тишину, неподвижность, как бы сторожащие дворец Габсбургов. Здесь, в покоях Марии-Терезии, в застывшем чопорном безмолвии огромного, ставшего почти безлюдным великолепного замка, Бонапарт, наверно, думал о том, как высоко он поднялся за годы, прошедшие с тех пор, когда десятилетним мальчиком он закрыл за собой дверь скромной казы на тихой улице Аяччо. В Вене он обдумывал широкое дипломатическое наступление, призванное завершить борьбу на поле сражений. Но по какому пути направлены его усилия? Какие дороги он выбирает?

Через неделю после Аустерлица, 10 декабря, было объявлено, что курфюрст Баварский провозглашен королем с расширением его владений; 11-го королем стал курфюрст Вюртембергский, а 12-го того же месяца курфюрст Баденский получил титул великого герцога[30]. Владения каждого из этих государств соответственно увеличивались. Все три новых германских государства заключили договоры о союзе с Францией[31]. Эти решения победителя при Аустерлице были поняты в Европе так, как их только и можно было понять: наполеоновская Франция создает вассалов в Германии. Но это еще не все. В том же декабре, озаренном «солнцем Аустерлица», Бонапарт в торопливом письме к баварскому королю просит руки его дочери принцессы Августы для своего пасынка Евгения Богарне[32]. Почти в то же время он сватает ближайшую родственницу Жозефины Стефанию Богарне за сына вюртембергского короля. Он озабочен дальнейшими матримониальными планами.

Эти брачные контракты и проекты конца 1805 года заслуживают некоторого внимания. Не потому, что они якобы доказывают преданность Бонапарта своему клану, как в том уверял Фредерик Массон, или его буржуазную рассудительность, по представлению Артюра Леви[33]. Эти аспекты вряд ли вообще интересны. Брачные предприятия 1805 года доказывают нечто совсем иное. Прежде всего они показывают, как узко были использованы плоды аустерлицкой победы, как ограниченно было понято ее значение.

В самом деле, Аустерлиц в военной области был продолжением, развитием, совершенствованием тактики Монтенотте, принципов ведения войны 1796 года. Сражение 2 декабря 1805 года показало, как вырос, окреп полководческий талант Бонапарта, как уверенно,

мастерски он применяет на поле боя принципы, впервые реализованные им в кампании 1796 года. Но первая итальянская кампания Бонапарта была замечательна не только чисто военными операциями, но и смелой стратегией социальной войны. Аустерлиц в еще большей мере открывал широкий простор смелой социальной политике. Сколько порабощенных народов стонало под скипетром империи Габсбургов? Если бы Бонапарт оставался верен принципам антиавстрийской кампании 1796 года, стратегии социальной войны с ее ориентацией на союз с угнетенными народными массами, в каком выгодном положении он оказался бы после Аустерлица! Он мог бы провозгласить освобождение венгров, чехов, словаков, поляков, он мог бы смелой антифеодальной политикой привлечь австрийскую буржуазию, поднять на борьбу буржуазию и народ германских земель. Аустерлиц мог бы стать началом могучей, неодолимой антифеодальной и национально-освободительной революции в Центральной Европе, он мог бы стать повторением итальянского 1796 года, но с еще большим размахом... Он мог бы, но не стал.

Историку не положено гадать: что было бы, если бы... Но чтобы лучше понять и оценить смысл происшедших событий, он вправе сопоставить их с прошлым, в особенности с недавним прошлым. Политика Наполеона Бонапарта 1805—1806 годов может быть лучше понята, если ее сравнить с его же политикой 1796 года. В ту пору он смело шел на развязывание антиавстрийского — национально-освободительного и антифеодального — движения итальянского народа. В 1805 году, воюя с той же Австрией на территории самой Австрии, где стонали под гнетом Габсбургов венгры, чехи, словаки, поляки, он отказался привлечь их как союзников. Союз с народами он заменил союзами с королями; общность интересов антифеодальной борьбы он заменял общностью интересов монархов, скрепленной брачными контрактами.

Но и это было еще не все. 7 декабря в Шёнбруннский дворец на прием к императору явился прусский министр Гаугвиц. Он не спешил; он ехал из Берлина до Вены три недели, и его намеренная медлительность была полностью вознаграждена. Он пришел к императору с единственной целью — поздравить с победой. Грозный ультиматум, который он вез, глубоко спрятан.

Наполеон не обманывался в намерениях прусского правительства. «Эти поздравления были предназначены другим; судьба изменила их адрес»[34],— сказал он Гаугвицу. 15 декабря беседы с Гаугвицем были возобновлены, и император снова предложил Пруссии союз с Францией. Ему было нетрудно преодолеть колебания Гаугвица; он показал собеседнику донесение Талейрана, сообщавшего, что Австрия требовала Ганновер. Наполеон тут же предложил отдать Ганновер Пруссии. Этого было достаточно. Вечно колеблющийся Гаугвиц, не раздумывая, поставил свою подпись под договором, который тут же был составлен Дюроком[35].

Один пункт в этом договоре, написанном наспех, звучал особенно неопределенно — о возможном увеличении французских владений в Италии. Что имелось в виду? Пруссию итальянские дела не интересовали, и на этот пункт внимания не обратили; прусский двор волновали иные проблемы — поважнее. Между тем неопределенность пункта об Италии была весьма существенна. Параллельно с переговорами с Пруссией шли переговоры в Пресбурге (ныне — Братислава) о мирном договоре с Австрией; их вел Талейран под руководством Наполеона. Не ратифицированное еще соглашение с Пруссией было ловко использовано как средство давления на австрийских представителей. Впрочем, вся ситуация заставляла австрийцев быть сговорчивыми. В Шёнбруннский дворец за инструкциями обращались не австрийские дипломаты, а Талейран. Французы были в Вене, и побежденная Австрия должна была принимать те условия, которые диктовал ей из Шёнбрунна император Наполеон. Эти условия были тяжелыми. Они означали не только большие территориальные потери: Австрия должна была отдать Венецию, Истрию, Далмацию, Каттаро, уступить часть своих исконных земель Баварии, Вюртембергу, Бадену; Пресбургский мир фактически уничтожил «Священную Римскую империю германской нации»; австрийский император должен был сам отказаться от этого титула, разбитого вдребезги французскими штыками *.

* Талейран в записке 17 октября 1805 года призывал императора к умеренности в условиях мира с Австрией (*G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, p. 162—165). Наполеон пренебрег этими советами. 6 августа 1806 года Франц II сложил с себя звание германского императора.

В тексте Пресбургского мира, подписанного 26 декабря, пункты об Италии были также отредактированы неопределенно. Случайно ли? В тот же самый день, 26 декабря, Бонапарт продиктовал приказ генералу Сен-Сиру, предписывавший форсированным маршем идти на Неаполь. В Вене он набросал текст обращения к армии: «Солдаты!.. Неаполитанская династия перестала существовать. Ее существование несовместимо со спокойствием Европы и честью моей короны... Опрокиньте в море... эти дряхлые батальоны морских тиранов»[36]. Какое странное сочетание слов — «честь моей короны» и всплывшее из политического словаря минувших лет «тираны»! Кто это говорит о тиранах? Генерал Французской республики или император французов? Но ведь этого императора вполголоса тоже называют тираном.

Неопределенность формулировок об Италии стала проясняться. Французской армии было нетрудно овладеть королевством обеих Сицилий. Неаполитанские Бурбоны должны были спасаться бегством. Современники некоторое время пребывали в замешательстве. Как расценивать изгнание Бурбонов из Неаполя? Продолжение антироялистской политики? Непримиримость вражды к Бурбонам? Восстановление Партенопейской республики?

Гадать пришлось недолго. В марте 1806 года все стало на свои места. Жозеф Бонапарт был торжественно объявлен неаполитанским королем[37]. Старший брат, два года вздыхавший о французском престоле, должен был довольствоваться меньшим. Но все же наконец он король, и даже позже свои воспоминания он издаст как «Мемуары короля Жозефа». Наполеон рад вдвойне: создано вполне зависимое от него государство на юге Италии, и он сумел с почетом удалить из Парижа старшего брата, внушавшего ему опасения. Чтобы быть совсем спокойным в отношении Неаполитанского королевства, он рекомендует королю Жозефу в качестве министра полиции старого своего знакомого — Кристофора Саличетти. Рекомендация императора — это приказ. Король Жозеф, еще в дни юности знавший неукротимого корсиканца, вынужден подчиниться. Теперь у Наполеона одной заботой меньше: за Жозефом установлено неусыпное наблюдение.

Переворот в Неаполитанском королевстве в начале 1806 года вызвал многочисленные толки. Если оценивать его политически, то он не может быть квалифицирован иначе как агрессия в ее самом законченном, химически чистом выражении. Император французов даже не давал себе труда придумать сколько-нибудь оправдывавшие его мотивы. Неаполитанская династия была низвергнута, так как «ее существование несовместимо со спокойствием Европы и честью короны». Слова, которые ничего не объясняли! Отныне «спокойствие Европы» должна обеспечивать династия Бонапартов.

В этом ниспровержении династии Бурбонов на юге Италии и замене ее властью наполеоновских вассалов (Жозеф, затем Мюрат) при всем насильственном характере этих перемен некоторые историки с должным основанием видят проявление каких-то больших исторических закономерностей. Соображения такого порядка в общем верны. Они подтверждают уже приводившуюся ранее мысль Маркса о том, что войны Наполеона были своеобразной формой продолжения политики революционного терроризма, перенесением его за пределы Франции[38]. Верно также и то, что ниспровержение реакционнейших неаполитанских Бурбонов было благом само по себе, независимо от того, во имя чего и кем это делалось. Это было исторически прогрессивное явление. Однако при справедливости этих положений остается столь же несомненным, что субъективно Наполеон в этих операциях не преследовал ничего, кроме завоевательных, агрессивных целей.

Конечно, буржуазная власть Жозефа Бонапарта с ее антифеодальным законодательством, Кодексом Наполеона, введенным в действие, была прогрессивнее, чем свирепый абсолютистский режим Бурбонов. Но была ли она прогрессивнее Партенопейской республики — вот в чем вопрос. И хотел ли принять неаполитанский народ этот урезанный прогресс, принесенный на штыках французских солдат?

Истинный смысл переворота в Неаполе раскрылся еще яснее в свете сопутствовавших и последующих актов политики Наполеона в Европе. 15 марта 1806 года маршал Мюрат, шурин императора, был назначен великим герцогом Клеве и Берга, а маршал Бертье — владетельным князем Нёшательским. 5 июня того же

года Батавская республика была упразднена, а страна преобразована в королевство Голландию. Королем Наполеон назначил брата — Луи Бонапарта. 12 июля после длительных подготовительных переговоров было объявлено о создании Рейнского союза — объединения 16 германских государей и государств: королевства Баварии, королевства Вюртемберг, Великого герцогства Баденского и т. д. Сокровенное значение этого нового государственного образования на карте Европы заключалось в том, что главой Рейнского союза, его протектором был «избран» император французов Наполеон I.

По странной иронии судьбы тот же самый человек, который в 1788 году записывал в своем дневнике с глубокой внутренней убежденностью: «В Европе остается очень мало королей, которые не заслуживают быть низложенными»[39], двадцать лет спустя, в 1806 году, став неограниченным самодержцем, употреблял всю силу своей безмерной власти на учреждение в Европе новых монархий, создаваемых на обломках разрушенных республик.

Казавшаяся иным столь невинной игра в новые словечки — «госпожа» вместо «гражданка», «господин» вместо «гражданин», «император» вместо «консул» — была доведена до конца. С 1 января 1806 года исчезли наименования тринадцать лет сохранявшегося революционного календаря: нивоз, плювиоз, вантоз и т. д., а вслед за ними была вычеркнута из французского словаря и давшая им жизнь «республика». Слово «республика» исчезло с фронтонов французских правительственных зданий, с заголовков официальных бумаг. Его заменила «империя» *.

Как ни иллюзорны были эти словесно сохраняемые понятия и термин «республика», их исчезновение все же стало приметным событием — оно наводило на размышления. Республика во Франции была стерта одновременно с учреждением новых монархий в вассальных от Франции государствах Европы. То были все звенья одной и той же цепи. Умный и талантливый человек, умевший когда-то соразмерять свои желания и цели с объективным ходом исторического развития, он и не

* Дольше всего слово «республика» сохранялось на монетах, находившихся в обращении до 1808 года.

заметил, как сбился с пути, потерял верное направление.

Аустерлиц напомнил ему еще раз и даже показал с великой сцены европейской истории всем современникам, всем последующим поколениям источник мощи наполеоновской армии. В той мере, в какой она продолжала дело революции и опиралась на ее подспудные силы, она могла побеждать врагов, представлявших хотя и сильный, но уже обреченный, вчерашний мир. Солнце Аустерлица поднималось только на смену уходящей ночи.

Наполеон не понял значения и смысла Аустерлица. Плоды этой замечательной победы он разменял на новые уродливые монархии, выкраиваемые из республик, на династические браки, заключаемые по его приказу, которыми он наивно надеялся скрепить узы создаваемой им новой каролингской империи. Альбер Сорель в свое время писал по поводу брака Евгения Богарне с дочерью баварского короля: «Помолвка Евгения объединила короля и принца, которые действительно могут называть себя братом и кузеном, так как у них одна и та же мать — французская революция...»[40] Это было бы верным, если бы эта мысль была продолжена и дальше: мать, кощунственно покинутая и отвергнутая ее сыновьями.

Все эти пышные представления и парады, которые вначале оправдывали тем, что они нужны для престижа государства,— императорский двор, этикет, двадцать пять миллионов цивильного листа, торжества коронации, вся эта мишура и внешняя позолота не проходили безнаказанно. Взгляд Бонапарта свыкался с этим выставленным напоказ великолепием монаршей власти; он терял глазомер, терял дальнозоркость. Он сбился с пути, а ему казалось, что он все поднимается вверх, идет к вершине и что ему продолжает светить «солнце Аустерлица». Оно ему и впрямь сияло —«до самого московского зарева»[41], как зло и верно сказал Сергей Соловьев.

Бонапарт возвратился в Париж 26 января 1806 года. Незадолго перед этим австрийский император утвердил Пресбургский мир; ему некуда было деться; он должен был все принять, как ни тяжелы были продиктованные

условия. Император привез в столицу самый выигрышный из всех мирных договоров, заключенных когда-либо Францией; так по крайней мере тогда говорили. Бонапарт вернулся властным, требовательным, раздражительным. Как всегда, при возвращении он узнал о каких-то кознях, тайных интригах... Ни официальной, ни сколько-нибудь оформленной тайной оппозиции против императорской власти, по-видимому, не было. Но как всегда, велись вольные разговоры. В салонах Сен-Жерменского предместья полушепотом передавали дерзкую остроту графа Нарбона. Какой-то почитатель императора сказал: «Бог сотворил Бонапарта и после этого предался отдыху». Нарбон по этому поводу заметил: «Господу Богу надо было предаться отдыху немного раньше». Острота дошла до императора, но последствий не имела — Нарбон не был наказан; через какое-то время он взял его своим адъютантом. По-прежнему оставалось неясным поведение Бернадота. Еще более сомнительной была тайная и темная армия, управляемая Фуше. Но более всего забот причинял продолжавшийся, несмотря на победы, финансовый кризис. Все усилия власти были направлены на его преодоление.

Император возобновил приемы в Тюильрийском дворце. Он старался придать им пышность, великолепие; невольно подражая своим далеким предшественникам на троне Людовику XIV и Людовику XV, он хотел богатством, роскошью, выставленной напоказ, затмить все европейские дворы. Тогда уже начал складываться стиль ампир. Великолепие, броская нарядность, яркая позолота слепили глаза. Мелкие вопросы придворного этикета были подняты чуть ли не на уровень государственной политики. Из архивной пыли были извлечены дворцовые правила времен Людовика XIV; они подверглись тщательному изучению. Спешно разыскали госпожу Кампан — бывшую первую горничную королевы Марии-Антуанетты; она была приставлена к императрице Жозефине. Во дворце Сен-Клу некоторые залы для приемов были разделены по рангам: ближайший к покоям императора — только для принцев, членов императорской семьи. На приемах приглашенные также размещались строго по рангам. Вновь возникло соперничество придворных дам, жен высших сановников империи. Сколько мелких обид,

уязвленного тщеславия, сколько горьких слез и злых, колких слов, слетавших с улыбающихся губ, чуть прикрытых веером! Перед императором все склоняли головы, но, отойдя в сторонку, беззвучно посмеивались над этой странной манией подражания прошлому веку. Но императора боялись, и каждый старался ему угодить.

Чутье большого актера подсказало Бонапарту, что среди ярких и нарядных туалетов членов императорской семьи и гостей он один может позволить себе сохранить простой серый сюртук без орденов, без украшений. Но эти торжественные, парадные приемы проходили натянуто, напряженно. Как далеки они были от искрящихся молодостью, весельем беззаботных вечеров «двора» Бонапарта в Монбелло! Жозефина уже не могла внести дух оживления, ее угнетали тяжелые предчувствия. Сам Бонапарт был угловат, резок, груб. Он задавал даже дамам неприятные вопросы. К герцогине де Линь он при всех обратился с вопросом: «Скажите, вы все так же любите мужчин?» «Да, государь, но только когда они хорошо воспитаны»,— ответила дама не задумываясь. Но не все решались на смелый ответ императору. Мужчины с опаской ожидали каких-либо вопросов по службе: у Бонапарта была удивительно цепкая память и он во все хотел сам вникнуть. Когда он уходил, в зале чувствовался вздох облегчения; все оживали; лица, движения освобождались от сковывавшей всех напряженности; тогда только и начинался по-настоящему вечер[42].

Все эти мелкие заботы повседневной, будничной жизни не могли заслонить главного. Император привез триумфальный мирный договор, но он не привез мира. А все ждали мира.

В начале 1806 года возможность достижения долгожданного мира снова казалась реальной. Пришедший к власти после смерти Питта Фокс, любимый герой всех французских либералов, был готов со всей серьезностью искать пути прекращения губительной для обоих народов войны. Между двумя воевавшими государствами начались переговоры. Царь Александр дал понять, что он также не исключает возможность мирного соглашения. Чарторыйский зимой 1806 года вступил в переговоры с французским торговым консулом в Петербурге Лессепсом по вопросу о нескольких русских судах, за-

державших в 1805 году во французских портах. Вопрос был сугубо частный, но разве нельзя было от частного вопроса перейти к более общим вопросам?[43]

Политика Бонапарта по отношению к России оставалась подчеркнуто доброжелательной, почти дружественной, насколько это было возможно в условиях формально не прекращенной войны. После Аустерлица Наполеон фактически прекратил военные действия против русской армии; он дал ей возможность беспрепятственно уйти; более того, он возвратил Александру тех, немногих правда, русских солдат, которые оказались во французском плену. С такого же дружеского жеста начиналось сотрудничество Бонапарта и Павла I. Оценит ли это Александр Павлович?

Наполеон оставался верен внешнеполитическим концепциям 1800 года. Он по-прежнему держал курс на установление союза с Россией. Спустя две недели после Аустерлица в беседе с Гаугвицем Бонапарт говорил: «Что касается России, то она будет со мною,— не сейчас, но через год, через два, через три. Время сглаживает все воспоминания, и этот союз, быть может, был бы самым для меня подходящим...»[44] Справедливость требует признать, что он правильно предвидел ход событий: через два года после Аустерлица в Тильзите был заключен франко-русский союз.

Наполеон поддержал предложенный прусским дипломатом старый план тройственного союза — Франция, Пруссия и Россия. Но практически этот план был нереален и, как показал последующий исторический опыт, остался идеей, не имевшей под собой почвы. Договор 15 декабря 1805 года обеспечивал Франции прусский союз *. Но союз с Пруссией Бонапарт рассматривал как временную комбинацию, как маневр. Главным для него оставался союз с Россией; он хотел его создавать на прочных основаниях и надолго.

В мае в Париж был направлен для переговоров умный, ловкий, знавший все салоны Парижа как свои пять пальцев Петр Яковлевич Убри. Но перед Убри стояла сложная задача. Полномочия, которыми он

* Договор 15 декабря 1805 года (текст договора см.: *A. de Clercq*. Op. cit., t. II, p. 143—144) был заменен соглашением 15 февраля 1806 года, внесшим некоторые модификации: в частности, английское владение Ганновер было передано Пруссии в обмен на некоторые территориальные уступки.

располагал, были ограниченны и неопределенны[45]. В России зимой и весной 1806 года совершался некоторый поворот в общественном мнении дворянства. Растерянность, тревога, едва скрываемое осуждение «обожаемого монарха», проявившиеся после Аустерлица, сменились новым приливом верноподданнических и патриотических чувств. Аустерлиц теперь оценивали как вполне случайное происшествие; виной несчастья были австрийцы, англичане и менее всего император Александр. Л. Н. Толстой в сцене приема московским дворянством князя Багратиона верно передал это происшедшее изменение настроений дворянства[46]. В решении важнейших внешнеполитических проблем в ближайшем окружении царя в ту пору были значительные колебания, даже известная двойственность. Эти колебания имели под собой реальные основания: в одном из немаловажных вопросов европейской политики — балканском — Россия наталкивалась на противодействие Англии, быть может более сильное, нежели Франции. Кампания 1805 года, как и кампания 1799 года, породила глубокое разочарование союзниками. Русская дипломатия стояла на распутье.

Тем не менее появление Убри было воспринято в Париже как многообещающее начало. Предложение русского правительства вести общие тройственные переговоры — Россия, Англия, Франция — было отклонено. Параллельно велись сепаратные переговоры с Убри, с лордом Ярмутом и Гаугвицем[47].

Весной 1806 года в Париже снова радовались солнечным лучам; они несли — на это твердо надеялись — мир. Война отодвинулась в сторону. «Moniteur» сообщал почти ежедневно о приезде дипломатов; с ними связывали надежды на мир. Ажиотаж в финансовых кругах прекратился сам собой; начало мирных переговоров было действеннее любых административных мер. В столице, в провинции было заметно хозяйственное оживление: заключались крупные сделки, строились большие планы. Прочный, длительный славный мир стоял у порога, и люди вздыхали свободно и радостно.

Но немногие посвященные, те, кто узнавал политические новости не из газет, а из первых рук — от Талейрана или — об этом говорили шепотом — из Тюильрийского дворца, не могли разделить оптимистической уверенности, овладевшей страной.

Переговоры подвигались туго. Ни одна из сторон не считала себя побежденной, а со времени Амьенского мира к старым нерешенным вопросам прибавилось столько новых, рожденных наполеоновскими завоеваниями последних лет, что соглашение становилось все затруднительнее. Его можно было бы достичь, если бы кто-либо пошел на уступки. На словах все заявляли о готовности идти на уступки и жертвы, но, как только переходили к практическим делам, все начиналось сначала. Все же Убри, оказавшийся в Париже в крайне затруднительном положении, решился на свой страх и риск подписать 20 июля 1806 года совместно с генералом Кларком франко-русский мирный договор. То был компромисс. Франция признавала права России на Ионический архипелаг и обязывалась не вводить в Турцию свои войска. Она сохраняла за собой Далмацию, но обязывалась вывести войска из Северной Германии при условии вывода русских войск с Адриатики. Первая статья договора устанавливала мир между двумя державами на вечные времена[48].

В ходе переговоров с Убри многоопытный Талейран понял, что русский дипломат в какой-то мере повторяет роль Сен-Жюльена, что его полномочия ограниченны; он передоверил поэтому завершение переговоров Кларку. Характер переговоров отразился в какой-то степени и на самом документе. Однако при известных недостатках в целом договор 20 июля был вполне приемлем; жизненные интересы ни одной из сторон не были ущемлены; самое же главное его значение было в том, что он прекращал войну между державами и устанавливал между ними мир.

Но к тому времени, когда договор Убри — Кларк поступил к Александру на ратификацию, царь зашел уже далеко по пути формирования новой антифранцузской коалиции. Секретными декларациями 1 и 24 июля 1806 года Пруссия и Россия договаривались о войне против Франции[49]. Все же Александр I в августе 1806 года собрал закрытое совещание Государственного совета по вопросу о ратификации договора 20 июля 1806 года с Францией. М. И. Кутузов, А. Б. Куракин, Н. П. Румянцев высказались в пользу утверждения договора; они считали, что он дает возможность с честью и без ущерба избавиться от новой войны. Но Будберг и другие министры из ближайшего окружения царя,

знавшие о его воинственных настроениях и приспосабливавшиеся к ним, высказались против ратификации договора[50]. Собственно, июльские соглашения с прусским королем делали ненужным договор с Францией. Александр решился на войну. Убри стал русским Сен-Жюльеном; его образ действий был осужден.

Наполеон придавал заключенному с Россией договору огромное значение; он ждал лишь ратификации договора царем, чтобы вернуть всю армию во Францию; соответствующие распоряжения были уже отданы Бертье. До последнего момента он был уверен, что договор будет ратифицирован: в письме к Жозефу 27 августа 1806 года он пишет, что «хотели породить сомнения в его ратификации», но этому не следует верить[51]. Но 3 сентября он узнал об отказе царя утвердить договор и сразу же задержал приказ о возвращении армии[52].

Колеблющаяся, трусливая, двурушническая политика прусских Гогенцоллернов оставалась главным источником дипломатических затруднений. Король Фридрих-Вильгельм пытался выдать свою нерешительность за высшую государственную мудрость, а двоедушие — за тонкость дипломатического искусства. 26 февраля после двухмесячных колебаний, отказов и согласий, после бесконечных «да» и «нет» Фридрих-Вильгельм наконец ратифицировал договор, подписанный Гаугвицем в Вене. Пруссия официально стала союзницей Франции: она возьмет из французских рук принадлежавший Англии Ганновер и закроет все свои порты для Англии[53]. Однако в тот же самый день, когда подпись прусского короля украсила текст союзного договора с Францией, Фридрих-Вильгельм послал царю Александру письмо, в котором снова клялся в верности.

Это было продолжение прежней двойной игры. В начале апреля Пруссия официально объявила все морские порты закрытыми для англичан; Англия ответила на это 21—23 апреля объявлением войны на море Пруссии. Казалось бы, Пруссия Гогенцоллернов стала союзницей Франции Бонапарта. Но в Париже этому не верили; там имели веские основания считать, что Пруссия, заключив союзный договор с Францией, одновременно вступила в тайный союз с Россией; так оно в действительности и было; секретная декларация 20 марта 1806 года устанавливала тайный союз между

Гогенцоллернами и Романовыми. Декларации 1 и 24 июля его закрепили.

Эти тайные козни, это непрерывное обманывание друг друга, эти взаимоисключающие секретные договоры, вечные споры о Ганновере, переходящем пока еще на словах из рук в руки, не могли продолжаться бесконечно. Наполеон понимал, что от него ждут мира, и преимущества мира перед войной были для него так же очевидны, как и для других. Но вернуться к миру в сложившихся условиях можно было только ценой крупных уступок. Десять лет назад, при заключении Кампоформийского мира, он легко шел на уступки; он понимал, что соглашение невозможно без компромиссов. Император Наполеон, хотя мир для него стал еще более настоятельной необходимостью, уже не желал идти на значительные уступки — он их считал «несовместимыми с честью короны». Эти искусственно созданные фетиши застилали ему глаза; он произносил эти пустые фразы, лишенные реального содержания, и никто не смел ему возражать. Один лишь Талейран с обычной невозмутимостью спокойно доказывал необходимость уступок[54]. Со времени своего письма к Наполеону 17 октября 1805 года Талейран продолжал настаивать на необходимости крупных уступок: отказа от итальянской короны, провозглашения независимости Венеции и т. п. Его позиция была бы еще сильнее, если бы он не настаивал прежде всего на уступках в пользу Австрии. Его давил груз политических концепций XVIII века, и он не мог его преодолеть. Наполеон отвергал все советы умеренности. В разгар ответственных дипломатических переговоров он объявлял об установлении монархии в Голландии с династией Бонапартов на троне. Это значило дразнить британского льва. 15 августа 1806 года, в день рождения Наполеона, во Франции и во всех завоеванных землях были устроены грандиозные празднества в честь «великой империи». «Но где же проходят ее границы?» — с тревогой спрашивали во всех европейских столицах. Возможно ли было, поднимая одной рукой меч, протягивать другую для мирного рукопожатия?

Может быть, состояние полумира, полувойны продолжалось бы и дольше, если бы не проснувшаяся столь

несвоевременно национальная энергия гогенцоллерновской Пруссии. «Знаменитый прусский нейтралитет» полностью сыграл пагубную для третьей коалиции роль в 1805 году. Он в наибольшей мере способствовал тогда победе Наполеона и поражению союзников. Но этот «знаменитый прусский нейтралитет», казавшийся в 1805 году королю и прусским государственным деятелям наиболее соответствующим интересам монархии Гогенцоллернов, год спустя представлялся уже несовместимым с достоинством монархии. Потребовался год, чтобы до прусских тугодумов дошли настроения и доводы, распространенные накануне Аустерлица.

«Военная партия», возглавляемая королевой Луизой — единственным «мужчиной» в семье Гогенцоллернов[55], поддерживаемая Гарденбергом, официально отставленным в угоду Наполеону с поста министра иностранных дел, но с тех пор приобретшим большое влияние, подняла голову. «Военная партия» ввела в разговорный обиход прусского высшего света слова, давно вышедшие из употребления в Берлине: «честь», «долг», «шпага», «слава Фридриха Великого» — весь набор традиционных фраз, в совокупности призванных напомнить о рыцарской доблести прусского дворянства. Королева Луиза на коне объезжала выстроенные на параде полки; офицеры обнажали шпаги и издавали воинственные возгласы. Во дворце Гогенцоллернов и в гостиных прусских господ, перебивая друг друга, стали доказывать, что прусская армия — самая сильная в мире, что прусские офицеры — самые храбрые, а прусские короли — самые могущественные и доблестные из всех известных Европе династий[56].

В Париже с удивлением следили за неожиданным взрывом воинственных чувств[57], которые стали именовать «национальным подъемом». Этот наступивший с опозданием на год пароксизм милитаристской горячки в Берлине был, естественно, замечен и должным образом оценен и в других столицах Европы. В Лондоне были быстро забыты взаимные оскорбления; берлинскому кабинету в целях примирения был предложен полный кошелек — денежные субсидии. Теперь мирные переговоры с Францией можно было свертывать. 9 августа лорд Лаудердаль объявил французские предложения неприемлемыми. Английские министры были

вновь готовы вести войну против Франции до последнего прусского солдата.

И все-таки Наполеон сохранял уверенность, что кризис будет преодолен и тучи войны рассеются. В письме к Жозефу 13 сентября он оптимистически утверждал: «Не пройдет и двух дней, как мир на континенте утвердится прочнее, чем когда-либо раньше»[58]. Два дня прошли. Они действительно принесли нечто новое. Но это было совсем не то, на что рассчитывал Наполеон. 15 сентября 1806 года была оформлена казавшаяся еще полгода назад невозможной четвертая коалиция. В ее состав вошли Пруссия, Англия, Россия и Швеция.

В Берлине были настолько увлечены воинственным пылом, что даже не стали дожидаться, пока подойдет русская армия. Заносчивые, кичливые прусские офицеры хвастались на всех перекрестках, что они разнесут в щепки армию французиков; они объявляли ее военную репутацию дутой, а ее главнокомандующего — выскочкой. Они точили сабли о ступени французского посольства в Берлине и торопились проучить этих «зарвавшихся хвастунов» и показать миру, на что способна настоящая армия — прусская армия Гогенцоллернов.

2 октября Талейрану был предъявлен ультиматум. Он был составлен в высокомерных выражениях и начинался с требования немедленного очищения территории Германии и отвода французских войск за Рейн. Франции давался срок для ответа 8 октября. Наполеон не дочитал присланную ему ноту до конца, он отбросил ее прочь. 6 октября в приказе и в обращении к Сенату было объявлено, что Франция вступает в войну с Пруссией.

Так началась эта удивительная война. Наполеон не стал ждать, когда хвастливая армия Гогенцоллернов перейдет в наступление. Он сам пошел ей навстречу. Когда приказ по армии был объявлен, император был уже в Бамберге во главе армии. Не теряя ни часу, он пошел навстречу врагу.

Прусская армия насчитывала около ста пятидесяти тысяч бойцов. Она была разделена на две неравные части: главную армию во главе с королем Фридрихом-Вильгельмом и престарелым герцогом Брауншвейгским и вторую под командованием князя Гогенлоэ[59]. До того,

как горн протрубил поход, офицеры продолжали хвастаться и осыпать проклятиями французов. Королева Луиза в костюме амазонки верхом объезжала полки, призывая воинов к подвигам и победе. Полки отвечали ей выкриками «Хох!», и офицеры грозили врагу клинками. В русской печати сообщалось о настроениях в Берлине в октябре 1806 года: «Все трактиры и кофейные дома наполнены были политиками разных званий... С крайней нетерпеливостью ожидали первых событий о победах над неприятелем. Боялись, чтобы король не заключил мира, не начавши военных действий... В театре только и представляли, что «Стан Валленштейна»... Зрители пели:

Зовет труба, развеваются знамена...

Но едва лишь армия выступила в поход, как хвастливые возгласы смолкли. Эта армия привыкла отбивать шаг на плац-парадах, но была совершенно не подготовлена к современной войне. Громоздкая, неповоротливая, обремененная бесконечными обозами с провиантом, запасами снаряжения, офицерским добром, она двигалась с медлительностью, которая представлялась бы удивительной даже в семнадцатом столетии. Время, великие события конца восемнадцатого века прошли над Пруссией, не задев ее, не наложив на страну никакого отпечатка. Со своим старым линейным построением, старым прусским чванством эта армия представляла собой далекое прошлое, давно перевернутую страницу военной истории.

После первых столкновений 10 октября, сразу же принявших для пруссаков неблагоприятный оборот, через четыре дня, 14 октября, произошло решающее сражение. Знаменитая битва под Иеной и Ауэрштедтом решила исход кампании[61]. Как известно, это историческое сражение началось с взаимных ошибок. Наполеон, расположившись ночью на берегу Заале, у Иены, полагал, что перед ним находятся главные силы армии противника; он тщательно готовился к предстоящему бою и в течение ночи занял наивыгоднейшие позиции. Гогенлоэ был в уверенности, что перед ним лишь второстепенные части французской армии, и ночь перед битвой провел вполне беззаботно.

Все очевидцы и участники исторического дня отмечали, что утро 14 октября началось с густого тумана.

Когда туман рассеялся, Гогенлоэ, к величайшему своему изумлению, увидел, что на его позиции и с высот Ландграфенберга, и с флангов, и против самого центра армии — со всех сторон идут атакующие французские полки. Это изумление командующего армией, проглядевшего начало наступления противника, стало тоже своего рода «классикой». То были корпуса Ланна, Сульта, Ожеро и Нея, поддержанные конницей Мюрата, по плану Наполеона одновременно наступавшие на прусскую армию. Подоспевшая к Гогенлоэ армия Рюхеля ничего не могла изменить. Армия Гогенлоэ была полностью разгромлена[62].

В тот же день и те же часы, когда Наполеон громил пруссаков под Иеной, другое столь же крупного масштаба сражение развертывалось под Ауэрштедтом. Накануне главнокомандующий направил в обход прусских войск корпуса Даву и Бернадота. Утром 14 октября корпус Даву, заняв Кезенское ущелье, увидел перед собой главную прусскую армию. Несмотря на то что противник располагал более чем двойным превосходством в силах, Даву смело ввязался в бой. Имя Луи-Николя Даву запечатлелось в памяти поколений таким, как зарисовало его гениальное перо Льва Толстого,— французским Аракчеевым, холодным, злым и мелочным человеком. Толстой был несправедлив к Даву; вернее будет сказать, его ввели в заблуждение односторонне враждебные генералу источники. Даву, друг Бурботта, имевший немалые заслуги в революции, прямой и честный солдат, был одним из самых талантливых полководцев наполеоновской армии. Его оперативное руководство сражением под Ауэрштедтом стало для своего времени замечательным образцом военного искусства. По определению Раппа, Даву оказался в столь тяжелом положении, когда всякий менее стойкий военачальник должен был неизбежно потерпеть поражение. Семидесятитысячной армии под командованием прусского короля и герцога Брауншвейгского он мог противопоставить только двадцать шесть тысяч французов. Покинутый Бернадотом, поведение которого, по признанию Наполеона, заслуживало предания военному суду, Даву не только устоял против огромных сил противника, но и, превзойдя в военном искусстве, разгромил его наголову. Остатки разбитой им армии он отбросил на дорогу, по которой бежали разгромленные

под Иеной полки Гогенлоэ[63]. Смешение двух разгромленных армий довершило катастрофу.

Победа при Иене и Ауэрштедте отдала в руки французов всю Среднюю Германию. Из Иены прямая дорога вела в Веймар. Не встречая сопротивления, французская армия вступила в столицу герцогства.

Герцог Карл-Август, как генерал прусской службы, двор, высшие власти, сановники и чиновники бежали из города. Единственным министром, оставшимся в Веймаре, был придворный советник Иоганн Вольфганг Гёте. Его близкие и почитатели были встревожены за его судьбу.

Но грозная лавина французской армии, неудержимым потоком заливавшая германскую землю, остановилась перед домом Гёте. Несколько французских солдат сгоряча ворвались в его дом, но лишь на несколько часов. Маршал Ланн приказал французскому коменданту Веймара принести прославленному писателю заверения в глубоком уважении к его таланту. Затем сам Ланн, а за ним и маршал Ожеро нанесли визиты Гёте. Ему выдали специальную охранную грамоту: дом знаменитого писателя неприкосновенен. Гёте оказывали все знаки внимания и почтения; с ним советовались; все его желания старались выполнять: ведь французская армия сражалась против прусского короля, а не против великого немецкого писателя, составляющего славу и гордость Европы.

Мудрый автор «Фауста» сразу постиг неповторимое своеобразие этой единственной в своем роде ситуации. В письмах к герцогу Карлу-Августу его министр, конечно, писал о бедствиях и несчастьях[64]. Но он хорошо понимал, что катастрофа под Иеной и Ауэрштедтом и вступление французов имеют другой смысл. Он расслышал ведущий мотив «Марсельезы», и через пять дней после иенского разгрома, 19 октября 1806 года, освобожденный французским оружием от необходимости испрашивать разрешения герцога, он обвенчался в церкви со «своей маленькой подругой» Христианой Вульпиус[65], ставшей Христианой фон Гёте. То, что оставалось недостижимым на протяжении почти двадцати лет этого союза для министра герцога Саксен-Веймара, стало сразу же возможным для Иоганна Гёте, которому армия победителей воздавала почести как величайшему писателю века.

Так большие исторические события оказывали влияние на крутые изменения личных судеб.

14 октября, через неделю после начала войны, прусская армия как боевая сила перестала существовать. Под Иеной и Ауэрштедтом она потеряла сорок пять тысяч убитыми, ранеными и пленными и двести орудий. Еще важнее этих цифр была полная деморализация армии. Она была не способна продолжать борьбу. Куда девалась недавняя заносчивость и кичливость! Полки, крепости сдавались без боя при виде первого французского разъезда. То был разгром, какого еще не знала военная история. По крылатому выражению Генриха Гейне, «Наполеон дунул на Пруссию, и она перестала существовать».

Беспримерный, оставшийся единственным в истории нового времени разгром в семь-восемь дней первоклассной европейской державы, к тому же хваставшейся своими военными традициями, в конечном счете объяснялся теми же причинами, которые привели к поражению союзников под Аустерлицем. То была победа нового мира над старым, буржуазного общества над феодально-абсолютистским строем. Конечно, было бы неправильным отрицать полководческий талант Бонапарта и его маршалов, так ярко проявившийся в этой кампании. Но ведь и само военное превосходство французов над пруссаками было также производным от общих больших закономерностей. Не случайно, к слову сказать, победа Даву, одного лишь из маршалов, была крупнее и героичнее победы самого Наполеона; это подтверждало, что французская армия в целом и каждый из ее командиров стояли неизмеримо выше своих прусских противников. Но было ли осознано, понято значение этих событий?

26 октября корпус Даву вступил в Берлин, встреченный почти сочувственным любопытством местного населения. 27-го в побежденную столицу торжественно вошла армия во главе с императором. Первыми шли в строгом порядке, с развернутыми знаменами, ряд за рядом полки императорской гвардии. И снова в том же странном противоречии с императорским орлом на стягах военные оркестры играли «Марсельезу» и «Ça ira!» — боевые песни революции. Комендантом крепости был назначен полковник Юлен — участник взятия Бастилии и суда над герцогом Энгиенским. У Бранден-

бургских ворот императору поднесли ключи от города. Пруссия Гогенцоллернов была повержена — над ее столицей развевалось трехцветное французское знамя.

«Когда пришло известие о разбитии прусского войска,— сообщалось в «Берлинских известиях»,— все вдруг поражены стали унынием и ужасом... Берлинские госпожи заблаговременно оплакивали свою непорочность, а мужья их думали, что это еще не велика беда»[66]. Далее корреспондент сообщал, что любопытство скоро превозмогло страх и берлинцы двинулись к лагерю французских войск. «Сказать правду, начальники города не пропустили ни одного случая угождать неприятелю»[67].

В прусской армии совершалась та же метаморфоза настроений: от бахвальства перешли сразу же к панике и растерянности. Сульт, Бернадот и Мюрат преследовали ускользавшую от них армию Блюхера. 7 ноября Блюхер капитулировал в Любеке. Через два дня крепость Магдебург с двадцатичетырехтысячным гарнизоном сдалась Нею. Когда Клейст, комендант Магдебурга, сдавал Нею свою армию, тот сказал озабоченно своему адъютанту: «Скорее отбирайте у пленных ружья; их в два раза больше, чем нас». Штеттин капитулировал, когда перед ним появился полк кавалерии. Мюрат имел все основания докладывать Наполеону: «Государь, сражение закончено ввиду отсутствия сражающихся». Это было верно: Пруссия более не сражалась, она подняла руки вверх[68].

В Париже известие об ошеломляющих победах в Пруссии было встречено восторженно. В столице после Иены и Ауэрштедта была иллюминация. «Для этой армии, для этого полководца нет ничего невозможного» — таково было общее мнение. В 1805—1806 годах стали складываться наполеоновские легенды; и то было не удивительно: такие победы, как Аустерлиц, Иена, Ауэрштедт, превосходили игру воображения. Но странное дело, эти ослепительные победы рождали и какое-то смутное чувство тревоги. Боялись, что военные триумфы отодвинут мир, к которому стремились настойчивее, чем когда-либо. Из уст в уста передавали слова из письма одного из генералов армии: «Мы увидим Париж не раньше, чем вернувшись из похода в Китай». Настроения такого рода не были единичными в армии; Бертье должен был даже доложить главноко-

мандующему «о желании генералов увидеть войну скорее законченной»[69]. В еще большей мере жажда мира чувствовалась в Париже. Сенат набрался храбрости и при участии Фуше направил депутацию к императору в Берлин; ее главной задачей было почтительно высказать общее пожелание, чтобы скорее был заключен мир. Наполеон принял представление Бертье и Сената с явным неудовольствием. Нечего напоминать о том, что каждому ясно. Мир — первая, главная задача всей политики; он это знает с 1797 года. Но как достичь этот всеми желанный и ускользающий мир?

21 ноября 1806 года в Берлине Наполеон подписал ставшие знаменитыми декреты о континентальной блокаде[70]. Здесь нет необходимости вдаваться в выяснение вопроса, как сложилась эта идея, была ли она подсказана императору виконтом Монгайяром, как это утверждают некоторые исследователи[71], или складывалась постепенно, под влиянием ряда факторов, что представляется значительно более убедительным. История континентальной блокады давно уже изучается учеными; начало научного анализа этой сложной, многосторонней темы было положено более полувека назад классическими трудами Е. В. Тарле, до сих пор непревзойденными. Оно было продолжено рядом ученых[72], но, несмотря на значительные достижения исторической науки, нельзя считать, что этот предмет изучен с необходимой полнотой и что все вполне ясно.

Блокада и контрблокада? Что должно быть поставлено вперед? Навязывала ли Франция Англии ответные действия, или сама идея и практика континентальной блокады Британских островов была ответом на блокирование английским флотом Бреста и других французских портов?

Задачи, поставленные берлинскими декретами, были грандиозны. Наполеон стремился победить Англию на море действиями на суше, на земле. «Я хочу завоевать море могуществом земли»,— с присущим ему умением сжато выражать мысль определил он свой план[73]. Конечно, континентальная блокада не закрывала путей и для иных форм продолжения борьбы против Англии. Но, подписывая берлинские декреты, Бонапарт обрекал Францию на длительную и трудную борьбу против

Карфагена. К тому же жизнь еще не ответила на вопрос: а где, собственно, Карфаген? На Британских островах? Лондон? Но ведь побежденной стороной, Карфагеном может быть и Париж.

Иные из ученых полагали, что сама идея континентальной блокады Англии — одолеть морскую державу с помощью определенных мер, осуществленных на суше, на континенте,— есть химера[74]. Химерой было иное — план подчинения всей Европы задачам блокирования Англии. Как бы ни мыслилось это достичь — силой оружия, дипломатическим соглашением, тесным политическим союзом, это было неосуществимо, это было действительно химерой.

Бонапарт, умевший и при дерзновенности замыслов всегда оставаться трезвым в расчетах, на сей раз ставил перед собой непосильные задачи. Сама идея создания унифицированной хотя бы в сфере экономической политики Европы была воистину химерой. Стремление некоторых авторов, склонных к модернизации прошлого, представить континентальную систему похвальной попыткой предвосхитить современную «Малую Европу» (то есть Европу «Общего рынка») антиисторично. Основное направление социально-экономического развития Европы начала XIX века шло по совсем иным магистралям — то было время формирования буржуазно-национальных независимых государств. Любая попытка унификации древнего континента в ту пору становилась на пути этого могучего, питаемого глубокими жизненными источниками неодолимого движения и рано или поздно должна была быть отброшена.

Но как бы то ни было, шаг был сделан, берлинский декрет подписан и опубликован; надменному Альбиону еще раз предвещена неизбежная гибель; теперь оставалось проводить эту политику в жизнь.

Ближайшим практическим делом было решение проблемы Пруссии. Казалось бы, первым и самым логическим выводом из принятого решения о континентальной блокаде было примирение с побежденным врагом. В сложившейся ситуации не составляло труда получить от Пруссии согласие закрыть все порты, все морские границы для Англии. Еще 22 октября в Дессау к Наполеону прибыл Лукезини; прусский посол вез победителю письмо Фридриха-Вильгельма с просьбой

о мире. «Прусский король, вся его армия, вся прусская нация громко просят мира»[75],— писал 22 октября Бонапарт Камбасересу. Какая счастливая возможность открывалась перед Бонапартом! Он снова мог, как после Кампоформио, вернуться в Париж миротворцем. Его имя благословляла бы вся страна; все враги должны были бы смолкнуть! Мир с Пруссией обеспечивал бы и мир с Россией; ради чего бы стал Александр продолжать войну?

За десять лет до этого, в 1796 году, генерал Бонапарт превосходно понимал значение своевременно заключенного мира. В 1806 году он уже достиг такой степени самоуверенности, самоослепления успехами, что у него рождалась убежденность: нет непреодолимого, все возможно. Он не отклонил переговоров о мире, но он не принял Лукезини, а поручил переговоры с ним Дюроку *. Не предрешая их исхода, он наложил на Пруссию контрибуцию в сто миллионов франков, представлявшуюся по тем временам колоссальной; он потребовал от ее союзников шестьдесят миллионов; он разместил на территории Пруссии свою огромную армию, грабившую и разорявшую страну; он потребовал от Пруссии уступки ее владений к востоку от Эльбы, закрытия всех портов для Англии, разрыва с Россией. В ходе переговоров он менял условия, конечно все в одном направлении — непрерывно растущих требований. Пруссия готова была все принять; ее король подписывал чудовищные условия, диктуемые победителями; но в конце концов с каждым днем становилось яснее: требования будут все возрастать; завоеватель, видимо, полон решимости уничтожить Пруссию. И доведенный до отчаяния король, загнанный на последний клочок земли, еще уцелевшей на востоке, умоляет Александра не покидать его в несчастье — Пруссия будет набирать силы для новой борьбы.

Бонапарт стремился к примирению с Россией. Союз с Россией остается ведущей идеей его внешнеполитической концепции. В доверительных беседах, в письмах он нередко возвращается к мысли о необходимости восстановления сотрудничества с Россией[76]. Принимая

* Чтобы унизить Пруссию, он опубликовал сообщение об этом в 14-м бюллетене «великой армии» (Corr., t. 13, N 11053, p. 384—385).

декрет о континентальной блокаде, он понимает, конечно, что осуществление ее невозможно без России и против России. Берлинские декреты дают новые дополнительные аргументы, обосновывающие необходимость союза с Россией; более того, союз с Россией становится непременным условием реализации задуманного грандиозного плана.

Казалось бы, все ясно... Но, раз сбившись с пути, Бонапарт продолжает блуждать по дорогам мировой истории. Он поступает противоположно тому, что подсказывают его собственные интересы. Логика безудержной агрессии, ослепление деспотически-завоевательной политикой заводят его в трясину войны, которая засасывает его все глубже и глубже.

Он хотел примириться с побежденной Пруссией и установить союз с Россией. Он надеялся к новому году заключить мир и вернуться в Париж. Но беспощадность к Пруссии сделала неизбежной новую кампанию. Полуторастатысячная русская армия медленно вступает в Польшу. И вот вместо того, чтобы поворачивать на запад, главнокомандующий дает приказ: «Поднимать полки! В поход! В путь! И снова — на восток, все дальше на восток!»

Что нужно крестьянину из Оверни или из солнечного Прованса в дремучих польских лесах, на занесенных снегом узких дорогах Восточной Пруссии? Старые ворчуны ропщут: «Что потеряли мы на востоке? Зачем уходим все дальше и дальше от дома? Ради чего эта война?»[77] На этот вопрос никто не может ответить в армии — ни командир взвода, ни командующие корпусами. Ради чего эта война?

Со времени Суворова русских боятся; Наполеон это должен был признать в одном из приказов. Правда, уже нет Суворова и Кутузов заменен Беннигсеном. Но осталась русская армия, прошедшая суворовскую выучку.

Первое сражение произошло у Пултуска, на реке Нарев, 26 декабря. Накануне потеплело, земля оттаяла, и дороги размыло; солдаты, совершая долгие переходы, скользили, падали, еле вытаскивали ноги из хляби. Наполеон стремился к решающему успеху; как и остальные, он по неделе не снимал сапог, спал не раздеваясь; эти бесконечные переходы по бескрайним просторам утомили всю армию. Чтобы поднять дух уставших солдат, нужен был крупный успех, ослепи-

тельная победа. Пултуск не дал ее. То было яростное сражение, в котором обе стороны несли большие потери. Стойкость русских солдат поразила французов. Они дрались молча; их нельзя было ни сломить, ни устрашить. «Мы деремся с призраками»[78],— писал Марбо, участвовавший в этой битве. Когда опустилась ранняя декабрьская ночь, под покровом темноты русские ушли. Ни одного пленного, ни одного знамени. Был ли вообще Пултуск победой? Участники сражения в этом сомневались. Продолжать в условиях этой страшной зимы войну было невозможно. Армия должна была перевести дыхание. Наполеон вернулся в Варшаву.

Зима в Варшаве осталась для него навсегда памятной. После тяжелых переходов по петляющим среди бескрайних лесов вязким дорогам, после зимней стужи, снега, слепящего глаза, так непривычных уроженцу Корсики,— залитые светом гостиные Варшавы, звуки «Полонеза», французская речь, столь же естественная для полячек, как родной язык, восхищение, восторженные ожидания. В эту недолгую варшавскую зиму в его судьбу вошла Мария Валевская, и среди приказов, забот, планов, мыслей он на короткое время почувствовал, что ему ведь тридцать восемь лет и выигранное или проигранное сражение — это еще не все на свете и что его могут любить не потому, что он император, а ради него самого. Или ему это только так казалось?

Много позже, когда все уже было в прошлом, Наполеон как-то воскликнул: «Что за роман моя жизнь!» Это было хорошо сказано, и за этой короткой фразой скрывалось многое. В романе его жизни глава «Мария Валевская» была одной из самых коротких. Но она осталась, наверное, самым сильным, самым ярким его воспоминанием.

Все началось необычно. После жестокой и не давшей победы битвы под Пултуском Наполеон возвращался в Варшаву. Была зима, дороги обледенели, и на одной из почтовых станций пришлось остановиться — сменить уставших лошадей. К карете императора Дюрок подвел прелестную золотоволосую женщину или девушку; она была взволнованна, она приехала сюда, пробилась сквозь толпу, чтобы сказать всего несколько слов на чистейшем французском языке: «Добро пожаловать! Тысячу раз добро пожаловать в нашу страну! ...Ничто не может выразить ни чувства восхищения,

которое мы к вам питаем, ни радости, которую мы испытываем, видя вас вступившим на землю нашего отечества, ожидающего вас, чтобы подняться»[79].

Наполеон слушал ее, сняв шляпу. Он был тронут; в его карете был букет цветов, он протянул ей цветы и сказал несколько ласковых слов.

Она ему крепко запомнилась, эта юная одухотворенная женщина, эта польская Жанна д'Арк, ждущая своего часа. В Варшаве он поручил узнать имя прелестной незнакомки, разыскать ее. Неожиданно это оказалось легко и просто. Стараниями князя Понятовского было вскоре же установлено, что юная незнакомка живет неподалеку от Варшавы, в Валевичах, родовом поместье графов Валевских, что это девятнадцатилетняя жена престарелого графа Мария Валевская, восхищавшая своей красотой, умом и вкусом весь польский высший свет или по крайней мере мужскую его половину.

В ближайшие дни в великолепном дворце князей Радзивиллов, где нашел приют Талейран, был устроен бал с участием императора и польской знати. После долгих блужданий по занесенным снегом дорогам Польши, после метелей, холодов, ночных бивуаков под запорошенными снегом соснами и елями французские офицеры в роскошных, ярко освещенных залах варшавских дворцов чувствовали себя помолодевшими. Все танцевали; балы сменялись концертами; казалось, время передвинулось на десять лет назад; загадочная северная Варшава 1807 года кружила сердца и умы, как Милан 1797 года.

Князь Беневентский приложил немало стараний, чтобы на бал во дворце Радзивиллов пожаловали графиня и граф Валевские. У Талейрана, как заметил однажды Наполеон, «все карманы были наполнены женщинами». Со своими старомодными манерами скучающего сибарита, всегда уверенного в себе «грансеньора» он производил неотразимое впечатление на польских дам и не терял времени даром. Он пользовался расположением — далеко зашедшим — графини Тышкевич, что не составляло большого секрета... и, стремясь отвлечь от себя внимание, всячески старался затянуть в романические сети императора. Польские лидеры во главе с Юзефом Понятовским, воодушевленные планами восстановления «Великой Польши», также хотели,

чтобы польское влияние на могущественного императора было бы сильнее и непосредственнее. Наконец, сам Наполеон, нисколько не заботясь о чьих-то расчетах и планах, искал — ради самого себя — встреч с Марией Валевской.

Но на пути всех этих планов возникло препятствие: Валевская не хотела встречаться с Наполеоном.

На балу во дворце Радзивиллов император оказывал Валевской подчеркнутые знаки внимания. Как писал Талейран, «он публично положил свою славу к ногам прекрасной польки Анастасии Валевской» *[80]. Все было напрасно: его холодно отвергли.

Кому он мог довериться? Талейрану? Понятовскому? Нет, конечно. Его снова должен был выручить старый друг, верный Дюрок. Герцог Фриульский — обергофмаршал империи генерал Дюрок мчался курьером в усадьбу Валевских; он передавал графине цветы и записки.

После бала во дворце Радзивиллов Наполеон писал ей в коротенькой записке, приложенной к великолепному букету цветов: «Я не видел никого, кроме Вас, я не восхищаюсь никем, кроме Вас, никто не может быть желанней, чем Вы. Только быстрый ответ может успокоить нетерпеливый пыл. Н.».

Из покоев графини Валевской было передано: «Ответа не будет».

Наполеон был вне себя; такого с ним еще не случалось. Он был сбит с толку; он снова чувствовал себя младшим лейтенантом, влюбившимся в первый раз. Он послал вторую записку, третью... Он ждал с нетерпением: что же ему будет сказано? И снова: «Ответа не будет».

Так проходили дни и вечера. Для Наполеона теперь все отодвинулось в сторону; все не имело никакого значения, только — Мария.

К усадьбе Валевских один за другим подъезжали экипажи. Дюрок нашептывал ей: «Он вас так страстно любит!» Князь Понятовский, старые польские вельможи, кузины и приятельницы кружились вокруг Марии, что-то шептали ей на ухо, потом глубоко вздыхали: «Бедная Польша! Несчастная родина!»

* Талейран называл Марию на французский манер именем ее мужа Анастаса.

Под этим возрастающим натиском графиня Валевская пошла на уступки: она приняла приглашение приехать вместе с мужем на обед у императора, от которого ранее отказывалась.

Лед сломан. После обеда, прошедшего торжественно и церемонно, в салоне Наполеон подошел к ней. Он говорил ей о красоте ее глаз, лица... словом, все, что в таких случаях говорят. Наверно, убедительнее слов был его взгляд, обращенный к ней; он не выдумывал сказанного; он говорил то, что чувствовал. Она это поняла, и после этой недолгой встречи что-то в ней изменилось.

Так начался этот роман; он развертывался трудно, со срывами: Наполеон прислал ей записку в соцветии бриллиантов — она швырнула драгоценности на пол, и снова последовало: «Ответа не будет». И все-таки любовь победила: она стала взаимной; искренность и пылкость его чувств передались и ей; ей было теперь так же трудно без него, как ему — без Марии. Они почти не расставались; едва лишь она уезжала от него, он слал ей вдогонку записку: «...я испытываю потребность Вам сказать, насколько Вы мне дороги... Мария, думайте о том, как я Вас люблю и как меня услаждает то, что Вы разделяете мои чувства...» *[81]

То была не банальная «походная интрижка», не случайная связь, о которой забывают на другой день; то была любовь, настигшая его и заставившая ради нее позабыть обо всем на свете.

Но жизнь, вторгаясь со всех сторон, нарушила это недолгое и хрупкое счастье. Жозефина безошибочной интуицией догадывалась о чем-то значительном, происходящем в Варшаве; она сердилась и сообщала, что приедет в Польшу. Наполеон писал ей торопливые письма, одно за другим, почти каждый день. «Здесь стоят холода, дороги очень плохие, ненадежные; я не могу дать согласия на то, чтобы ты подвергалась таким опасностям и так утомлялась...»[82] Он ее уговаривал оставаться в Париже, доказывал, что этого требуют государственные интересы, он ей льстил, он шутил, он успокаивал ее.

* К слову сказать, новые материалы о Валевской еще раз доказывают необоснованность и тенденциозность освещения «польского романа» Наполеона в известных мемуарах графини Потоцкой, на которые нередко ссылаются историки (Mémoires de la comtesse Potocka... Paris, 1897, p. 124—127).

Вести с театра военных действий также требовали сугубого внимания. Дважды он выезжал в армию вместе со «своей польской супругой», как он строго и важно говорил о Марии, когда это становилось необходимым.

Наконец, польские дела, польское «море», волновавшееся вокруг него; оно тоже грозило разрушить, размыть этот искусственно созданный мир уединения и счастья. Что будет с Польшей? Когда будет восстановлена независимость Речи Посполитой? 14 января был опубликован декрет о создании Временного польского правительства[83], Польша вооружалась. Но означало ли это полное восстановление независимого Польского государства?

Вокруг императора кипели страсти; на него смотрели с надеждой. Все, начиная с любимой Марии и кончая старыми польскими вельможами, ждали его решений. Наполеон пришел победителем в Варшаву, чего же медлить? Разве польский народ, поднявшийся с оружием в руках против прусских угнетателей, не внес свой вклад в победу над Пруссией? Разве польские полки не храбро сражались за освобождение Варшавы? И разве не пришла пора перечеркнуть все три раздела Польши, произведенные его противниками?

Но Наполеон отвечал уклончиво. Он охотно восхвалял доблести Яна Собесского, говорил о великой роли Польши в истории Европы, но о будущем Польши высказывался туманно и неопределенно.

Трагедия Польши тех лет была не только в том, что страна была насильственно разодрана на три части и перестала существовать как независимое, суверенное государство. Трагедия заключалась в том, что поляки были социально и политически разъединены и что польское общество даже в черные годы бесправия и чужеземного гнета не могло сплотиться в единое национально-освободительное движение. Традиции польских якобинцев Гуго Коллонтая, Ясиньского и других, традиции Тадеуша Костюшко и революционных повстанцев 1794 года[84] были чужды и даже враждебны высшей польской знати во главе с Радзивиллом, Понятовским, Чарторыйским и другими, связывавшими планы возрождения Польши одни с Пруссией, другие с Францией Наполеона, третьи с Россией Александра. Словом, все кто угодно, но только не польский народ...

Наполеон быстро разобрался в этих внутренних трудностях польской проблемы. Еще в Берлине, в ноябре 1806 года, он предписал Фуше направить к нему секретно, под чужим именем, Костюшко. Он, очевидно, хотел поднять национально-освободительное, национально-революционное движение поляков. Но тут же устрашился. Костюшко — это значило верность демократическим и республиканским принципам, то, что его теперь пугало, отталкивало. Он отказался иметь дело с Костюшко[85]. Он не хотел вести войны социальной. В 1806 году у него были совсем иные замыслы, совсем иные расчеты...

Наполеон не мог уклониться от публичных выступлений в Варшаве, но его речам не хватало определенности. Конечно, это проистекало не от ораторской неопытности, скорее наоборот. Он призывал поляков вооружаться; он говорил, что их будущее в их руках, что оно зависит от их решимости, но он уходил от ответа на прямо поставленный вопрос: будет ли восстановлена независимая Польша? По этому главному для поляков вопросу он высказывался туманно, загадочно, неясно. Он не хотел себя связывать прямыми обещаниями.

Восстановление Польши было традиционным требованием французской революции, более того — традиционным требованием французской внешней политики. Наполеон от него отходил; это стало вполне очевидно в Варшаве. Почему? Причины было нетрудно установить. Бонапарт не хотел ради Польши ссориться с тремя монархиями, связанными разделом Польши,— Россией, Австрией, Пруссией.

Идея союза с Россией оставалась для него столь же важной. Ходом вещей Франция была вовлечена в войну с Россией. Бонапарт стремился обеспечить за собой военный успех и делал все возможное в этом направлении: отправил Себастиани в Константинополь, чтобы втянуть Турцию в войну против России; генерала Гардана направил в Тегеран — мутить воду в Персии[86]. Его заигрывания с поляками были подчинены тем же задачам. Война еще не выиграна, и все должно быть поставлено на службу главным, военным задачам. Но что должно быть на другой день после войны? Ответ был однозначный. Снова поиски соглашения, мира, дружбы, союза. Союз с Россией оставался по-прежнему главной внешнеполитической задачей.

В свете этой ближайшей цели, к которой он пробивал себе дорогу, он не мог обещать полякам независимость. Польша стала бы непреодолимым барьером между ним и Александром I. В такой же мере она сделала бы невозможным соглашение и с австрийским императором, и с прусским королем.

Впрочем, двойственность, непоследовательность польской политики были лишь частным случаем общей эволюции проводимого им курса. О чем идет речь? Чтобы мысль была яснее, придется снова напомнить об итальянском походе 1796 года. В итальянской кампании Бонапарт искал для своей армии союзников в лице итальянского народа, поднимаемого им против феодального и инонационального (австрийского) гнета. Десять лет спустя в прусской кампании 1806—1807 годов Наполеон строил свои расчеты на совсем иной поддержке — поддержке монархов: баварского, саксонского, вюртембергского королей, зависимых от него мелких германских государей. Правда, он в какой-то мере обуржуазил эти монархии, но все же то были монархии. С изменением социального и политического содержания наполеоновских войн изменилось и отношение к народам Европы; народы не только перестали быть союзниками наполеоновской Франции — они скоро станут ее самыми грозными, неодолимыми врагами.

Наполеон надеялся пробыть в Варшаве до весны, до солнечных лучей, которые сгонят снег, внушавший ему, южанину, почти мистический ужас. Но уже в двадцатых числах января он узнал, что русские начали движение, и спешно выехал в армию.

8 февраля 1807 года, после десятидневных маневров, в которых обе армии допустили просчеты и ошибки, они сошлись в решающем сражении при Прейсиш-Эйлау[87]. То была одна из самых кровопролитных битв начала века.

Наполеон непосредственно руководил сражением; он тщательно обдумал и разработал план битвы, доказывавший, что его полководческий дар так же силен, как раньше; с ним находились его лучшие маршалы — Даву, Сульт, Мюрат, Ожеро; на подходе были Ней и Бернадот; против него стоял не Суворов и не Кутузов, а всего лишь Беннигсен, и все же, несмотря на все уси-

лия, старания маршалов, отвагу солдат, сражение не было выиграно французами.

Французские историки, начиная с Тьера, уделяли много внимания дурной погоде, выдавшейся 8 февраля 1807 года, жестокому ветру, снегу, застилавшему глаза. Дурная погода была всем дурна — и французам и русским. Корпус Ожеро был сметен не снегом, а «огненным дождем», по выражению Марбо, русской артиллерии[88]. Когда полки русских гренадеров сплошной лавиной двинулись вперед, опрокидывая сопротивлявшиеся французские части и все приближаясь к кладбищу, где был командный пункт императора, Наполеон не мог удержаться от возгласов восхищения: «Какая отвага! Какая отвага!» Он вскоре сам оказался в непосредственной опасности. Вокруг него ложились снаряды; справа и слева падали люди его свиты. Он стоял на том же месте, невозмутимый, спокойный; он верил в свою судьбу: пуля для него еще не отлита. Рейд эскадронов Мюрата остановил наступление русских. Сражение продолжалось весь день с переменным успехом, и, когда сгустившиеся вечерние сумерки прервали битву — противник стал неразличим, ни одна из сторон не знала, за кем же осталась победа.

В сражении при Прейсиш-Эйлау не было победителей: были только мертвые, раненые и чудом уцелевшие смертельно измученные люди. Считали, что русские потеряли тридцать тысяч убитыми и ранеными, французы — соответственно двадцать тысяч. Но Наполеон знал, что за время польской кампании его армия уменьшилась на шестьдесят тысяч солдат и что уже призваны под ружье новобранцы 1808 года. Он не мог не заметить и того, что Бернадот вторично, как и при Иене, не явился со своим корпусом на поле сражения. Случайно ли это было? Вряд ли.

Наполеон обходил поле битвы. Оно теперь как бы срослось с кладбищем, стало его страшным продолжением. Трупы, трупы, умирающие, стонущие раненые со всех сторон. Никто не приветствовал его возгласами: «Да здравствует император!» Умирающие выкрикивали хриплыми голосами: «Франция и мир!»[89]

Он был человеком, со всеми людскими слабостями, с шаткой нервной системой, неустойчивостью настроения. Он был подавлен пережитым, увиденным, услышанным. Некоторое время он ни с кем не мог или не

хотел говорить. Потом он написал несколько писем Жозефине; он скрывал в них правду, но она все-таки прорывалась[90]. На другой день после Эйлау он написал Талейрану: «Надо начать переговоры, чтобы окончить эту войну»[91]. 13 февраля он направил к Фридриху-Вильгельму генерала Бертрана с предложением начать прямые переговоры о мире. Его условия значительно мягче прежних. Он протягивал руку примирения.

Но за время, пока Бертран доехал до Мемеля (нынешней Клайпеды), весть об Эйлау облетела мир. Можно было по-разному толковать исход сражения: Беннигсен уверен, что он победил Наполеона; Талейран острил: «Это немного выигранное сражение»; третьи замечали, что это не столько выигрыш, сколько проигрыш, но все сходились в одном — сражение при Эйлау доказало, что Наполеон не всегда может одерживать победы. Он еще не был побежден, но он уже перестал быть непобедимым полководцем.

На совете, созванном Фридрихом-Вильгельмом в Мемеле, голоса разделились. Король, как всегда, колебался. Королева Луиза, присутствовавшая на совете, сказала на ухо мужу одно лишь слово — «твердость». Это слово, произнесенное шепотом, затем повторила вся Пруссия. Предложение Наполеона о мире было отклонено. 25 апреля в Бартенштейне Фридрих-Вильгельм и Александр I подписали новое соглашение о союзе; оба монарха обязывались не вступать ни в какие переговоры с Наполеоном, пока Франция не будет отброшена за Рейн.

Приходилось снова браться за оружие, продолжать войну. Эта война была уже всем поперек горла: Наполеону, ютившемуся в каких-то лачугах Остероде и по две недели не снимавшему сапог, его маршалам, ропщущим и жаждущим вернуться домой, солдатам, стершим ноги от бесконечных переходов, измученным, усталым и злым, его вассалам и близким. Осторожный и сдержанный Кларк писал Талейрану: «Заключайте мир! Ради интересов императора, ради интересов Франции, ради ваших, ради моих интересов...» Жозеф в конце марта писал своему августейшему брату: «Ваше величество должно заключить мир любой ценой!»[92] Эта крайняя формула «la paix à tout prix», может быть, в этом письме прозвучала первый раз и заставила Наполеона задуматься: «любою ценой» — так говорят,

когда вода подступает к горлу. И он это чувствовал, но война шла, и надо было ее продолжать.

Беннигсен, получивший подкрепление и жаждавший укрепить свою репутацию «победителя Наполеона», начал наступательные действия и атаковал Нея. Но последующие его операции были крайне неудачны. Перейдя Аллер у Фридланда, он остановился на левом берегу реки в позиции, хуже которой было трудно придумать. Наполеон не мог пренебречь выигрышными преимуществами, добровольно созданными противником. Сражение при Фридланде 14 июня 1807 года (в день битвы при Маренго) закончилось поражением русской армии.

Но если старший брат требовал от Наполеона «мира любой ценой», то это же требование предъявлял Александру его младший брат Константин. Явившись к императору в ставку Шавли (Шяуляй), он доказывал, что мир надо заключить без промедления, не откладывая ни на день, ни на час. Беннигсен после Фридланда прислал царю донесение, совсем не похожее на его победную реляцию после Эйлау. Он также настаивал на немедленном перемирии.

Ради чего, ради кого погибали русские солдаты? Pour le roi de Prusse? «Ради прусского короля?» Но можно ли дольше приносить эти тяжелые и бесполезные жертвы? А что будет, когда армия Наполеона перейдет через Неман и война будет перенесена на русскую землю?

Беседа Константина и Александра неизвестна во всех подробностях; существует ряд версий. Говорили, что Константин напоминал о трагической судьбе их отца. Было ли так или нет? Александру и без того было ясно: он не может дольше вести войну, приносящую ему лишь унижения, а армии — потери. И до него доходил приглушенный ропот офицеров. Еще не был забыт Емельян Пугачев, и уже начиналось преддекабрьское время. Ростопчин с тревогой писал, что среди петербургской молодежи бродят «сотни молодых людей, которых можно считать прямыми сыновьями Робеспьера и Дантона»[93]. Нельзя было дальше испытывать судьбу.

Александр послал в штаб к Наполеону князя Лобанова-Ростовского; он должен договориться о перемирии, а если можно, то и о подготовке мира. Александр тогда

еще не знал, что Наполеон стремится к тому же: мир стал и для него необходимостью.

В возможных переговорах с французской стороной было выдвинуто лишь одно предварительное условие: Россия не согласится ни на какие территориальные уступки. Но опасения Александра были напрасны. Лобанов-Ростовский в штабе противника был встречен вежливо, радушно, почти дружески. Ни о каких территориальных притязаниях и речи быть не могло. Франция стремилась не к территориальным приращениям за счет России, не к материальным выгодам, не к унижению своего противника. Совсем наоборот, Франция искала дружбы с Россией. Она готова тотчас же прекратить эту ненужную, тягостную для обеих сторон войну и вступить на путь переговоров, поисков рыцарского соглашения со своим храбрым и мужественным противником.

Таков был смысл бесед, которые вел с Лобановым-Ростовским в главной ставке французской армии маршал Бертье, а затем сам император. Одновременно те же идеи развивали Мюрат в беседах с великим князем Константином и Дюрок, направленный Наполеоном в русскую ставку[94], в переговорах с Беннигсеном. Обе армии стояли одна против другой, разделенные широким течением Немана; издали они могли казаться грозными противниками, готовыми вот-вот ринуться в бой, но обе эти армии — и их солдаты, и командиры, и главнокомандующие — не были в состоянии больше воевать, им нужен был мир.

Прошло всего десять дней с момента памятного сражения при Фридланде, и на середине реки, разделявшей две армии, саперы стали сооружать огромный устойчивый плот с нарядной палаткой посредине. 25 июня в 11 часов утра — солнце стояло уже высоко — от противоположных берегов на глазах обеих армий отчалили две лодки. Они сошлись у плота. Наполеон вышел первым и пошел встречать Александра.

«Из-за чего мы воюем?» — обратился он к Александру. То был вопрос, который он столько раз самому себе задавал. Они обнялись и вошли в палатку. Свидание продолжалось два часа.

Когда они вышли под руку, они были союзниками и друзьями. То не были шаблонные, лишенные реального содержания слова. Они были полновесны; не часто

чувства союзнической связи ощущались так полно и искренне.

Как могло свершиться это почти чудодейственное, мгновенное превращение врагов в друзей?

Александр, как и все Романовы, был charmeur, он умел очаровывать, умел нравиться; все свидетельства современников сходятся на этом. Великий актер, Бонапарт в совершенстве владел тончайшим искусством обольщения; он хотел завоевать Александра и инстинктивно находил нужные слова, интонации, жесты, чтобы привлечь к себе своего собеседника. Обоим это полностью удалось.

Но было бы неправильным видеть в этом первом свидании врагов, ставших друзьями, игру. Остались реальные памятники эпохи, в том числе заслуживающие доверия: письма Наполеона к жене Жозефине и Александра к своей матери; искренность их не приходится брать под сомнение. Наполеон был в самом деле очарован Александром — он находил его красивым, добрым, умным, «гораздо умнее, чем обычно считают». Александр был более сдержан; он больше говорил о выгодах и преимуществах; но его сдержанность нетрудно понять: ему надо было еще приучить мать, своих близких, армию, всю страну к мысли, что Бонапартий, «враг человеческого рода», за два часа превратился в императора Наполеона — друга и союзника.

Но как ни существенны различия этих писем, в них есть и нечто общее — это пронизывающее письма обоих, и Александра и Наполеона, чувство облегчения, может быть даже счастья. В самом деле, то, что сделало встречу на плоту на Немане искренне радостной, что заставляло обоих неподдельно улыбаться, было прежде всего ощущение неожиданно легкого и счастливого избавления от смертельной опасности. Они сбросили на неманском плоту давивший их плечи тяжелый груз. Каждый из них ощущал приближение катастрофы. Русская армия летом 1807 года не могла больше обороняться. Французская армия была не в состоянии наступать. Каждая из этих констатаций влекла за собой неисчислимые последствия. И вдруг Тильзит, крепкое рукопожатие, оживленная, дружеская беседа, поражавшая тем, как быстро они понимали друг друга, как совпадали их взгляды,— и все душившие заботы, да-

вивший гнет неизвестного, ужасы войны — все через два часа осталось позади.

Это было как во сне — почти неправдоподобное осуществление всех мечтаний. «Единственной союзницей Франции может быть только Россия». Бонапарт говорил это в 1800 году. Он стремился к этому все годы. Уитворт, убийство Павла, английские козни, труп герцога Энгиенского в Венсеннском рву, Аустерлиц, Эйлау, Фридланд — сколько препятствий на пути, и все это теперь в прошлом.

Наполеон чувствовал свою власть упроченной; она стала могущественнее, чем когда-либо. Казалось, он достиг всего, чего ему недоставало. Он выразил это простыми словами: «В согласии с Россией нам нечего бояться».

Когда на острове Святой Елены Наполеона спросили, какое время своей жизни он считает самым счастливым, он ответил — Тильзит. И этому можно было поверить.

День 25 июня 1807 года — с него начинался Тильзит — не мог быть забыт. Непривычное ему северное лето было в разгаре. Был июнь, время дней без начала и без конца. Короткая воробьиная ночь отделяла вечерний свет от утреннего. Огромные, уходящие в небо, никогда не виданные им ранее сосны сторожили неторопливое течение широкой реки. Медленно поднимавшееся в высоком небе солнце к полудню достигало зенита.

Мог ли он забыть этот день, когда ощутил, что все его надежды, мечтания сбылись, что в своем движении вверх он дошел до самой вершины и слава его, как солнце в июне, достигла зенита!

Тильзит называется ныне Советск. Это районный центр Калининградской области Российской Федерации — чистый, немноголюдный, летом весь в зелени. В городе большой целлюлозно-бумажный комбинат, несколько более мелких предприятий, много школ, техникумов, кинотеатров, недавно построенная гостиница «Россия».

Сто шестьдесят лет назад Тильзит выглядел иначе. То был маленький, богом забытый городок с несколькими десятками деревянных домов, расположенных по обоим берегам реки Неман, живший в полудремоте, никем никогда не вспоминаемый до тех пор, пока в 1807 году на короткий срок — на две недели — он не оказался в центре внимания всего мира. Местные жители и сейчас, показывая на плавное течение величавой реки, округлым жестом охватывая неопределенно широкое прибрежное пространство, не без гордости объясняют приезжему, что вот именно здесь и происходили знаменитые встречи двух императоров, благодаря которым Тильзит оказался навсегда внесенным в летопись истории.

И верно, в жизни города четырнадцать дней, с 25 июня по 9 июля 1807 года, остались краткой, но памятной эрой. Тильзит был объявлен нейтральным городом. На правом берегу Немана расположился император Александр со всей своей блестящей свитой и гвардией, на левом — император Наполеон со своим штабом и императорской гвардией. Никогда еще на столь малом пространстве, под скромными кровлями небогатых тильзитских домов не собиралось столько знаменитостей: прославленных полководцев, всему миру известных государственных деятелей, министров, дипломатов, генералов.

На протяжении двенадцати дней и утром и вечером происходили встречи двух императоров. Некоторые из них шли с глазу на глаз, и содержание бесед осталось неизвестным; историки их назвали позже «тайнами Тильзита».

По настоянию Александра на официальные приемы и парадные обеды приглашали также прусского короля

Фридриха-Вильгельма, но его положение было незавидным: Наполеон сохранял по отношению к нему сухой, холодный тон и решительно отказывался от всяких переговоров втроем. Даже когда все три монарха выезжали на прогулку верхом, Фридрих-Вильгельм, не выдерживавший быстрого аллюра, который сразу брали Наполеон и Александр, через короткое время оказывался далеко позади своих спутников. Параллельно происходили встречи императоров вместе с Талейраном и Куракиным, министров и высших должностных лиц отдельно, наконец, обеды, приемы, банкеты, совместно и весело проводимые вечера.

Тильзитские переговоры закончились в беспримерно короткий срок: первая встреча двух императоров состоялась 25 июня; основные тильзитские документы были подписаны 7 июля. 9 июля был подписан договор с Пруссией. Понадобилось менее двух недель, чтобы нащупать решение многочисленных спорных вопросов и, несмотря на разногласия, найти взаимоприемлемые условия соглашения. Вчерашние враги не только прекратили войну, они стали союзниками.

Не подлежит сомнению, что в Тильзите под покровом дружественных слов, взаимных комплиментов и любезностей, под звон хрустальных бокалов с шампанским шла невидимая посторонним, но явственно ощутимая борьба двух внешнеполитических линий, двух разных программ. Исследователи, изучавшие эти вопросы, в той или иной мере должны были это признать[1]. Последние советские публикации документов и ценные исследования А. Ф. Миллера, А. М. Станиславской и В. Г. Сироткина дали тому новые убедительные подтверждения[2].

Однако при всем том нельзя отрицать, что столь быстрое достижение соглашения между еще вчера воевавшими государствами стало возможным лишь потому, что с обеих сторон были проявлены добрая воля, несомненное желание преодолеть многочисленные разногласия. Это желание достичь соглашения было в равной мере присуще и Наполеону и Александру.

Наполеон, как уже говорилось выше, обдуманно и планомерно прокладывал пути к примирению и сближению с Россией. Задачу, поставленную в самом начале своей государственной деятельности, он никогда не забывал, не терял из виду. Со времени трагической

кончины Павла I он отдавал себе отчет в том, что осуществление намеченной цели не будет ни скорым, ни легким. Ему пришлось дважды вести войну против сына Павла — против Александра, и, взявшись за оружие, он следовал правилу: на войне как на войне; он вел войну, стремясь к достижению военного успеха, победы. Но ни в 1805-м, ни в 1806—1807 годах он не вынимал первым меч из ножен против России; он мог с должным основанием утверждать, что не он искал конфликта с Россией; война была предопределена вступлением России Александра I в третью и четвертую антифранцузские коалиции. Но разве в войнах этих коалиций Россия защищала свои собственные интересы? Ради чего, собственно, французы и русские убивали друг друга?

На протяжении всей кампании 1806—1807 годов Наполеон ни на мгновение не упускал из поля зрения цель, к которой стремился. Вся польская политика Наполеона, ее внутренняя противоречивость, двойственность, непоследовательность не могут быть правильно поняты и объяснены, если не учитывать конечных целей его русской политики. Он отбрасывал в сторону, он намеренно исключал все решения, могущие навсегда или хотя бы надолго поссорить его с Александром и тем самым затруднить франко-русский союз.

В декабре 1806 года через Лукизини, в начале 1807 года через посредство прусских дипломатов Гольца и Круземарка, а затем генерала Застрова Наполеон ставил перед русским царем вопрос о возможности заключения мира между Францией и Россией. 15 февраля 1807 года он послал к Беннигсену генерала Бертрана с предложением начать переговоры о мире. Беннигсен, окрыленный почти одержанной победой под Прейсиш-Эйлау, отклонил это предложение[3]. 26 февраля в письме к прусскому королю Наполеон опять выдвинул идею мирного соглашения с Россией, Англией и Пруссией[4]. Но Наполеон думал не только о мире, но и о своей старой идее 1800—1801 годов. Мир должен был быть лишь началом, первым необходимым условием на пути к союзу. Об этой важнейшей дипломатической задаче, поставленной императором, хорошо знали его ближайшие помощники — маршалы Бертье, Мюрат, генерал Дюрок; не случайно уже при первых встречах с предста-

вителями Александра I они сразу же поставили вопрос о союзе двух держав.

В ближайшем окружении французского императора лишь один из его сотрудников, правда весьма влиятельный в вопросах дипломатии, не разделял этих планов. То был князь Беневентский Морис Талейран, министр иностранных дел империи. Не смея открыто оспаривать мнение императора, он пытался на практике вести иную линию: он тянул в сторону Австрии. В конце 1806 и в начале 1807 года Талейран прилагал много усилий к тому, чтобы добиться союза с Австрией. Когда стало очевидным, что в обозримом времени союз с Австрией маловероятен, он, действуя в согласии с австрийскими дипломатами Винцентом и Стадионом, стал домогаться посредничества Австрии в конфликте держав. Ближайшая практическая цель, преследуемая им, была ясна. Сближением в той или иной форме с Австрией он хотел определить (или даже предотвратить) сближение с Россией. От Наполеона не могли ускользнуть старания его министра иностранных дел направить внешнеполитический курс Франции по иному руслу. Уже к началу 1807 года расхождение внешнеполитических концепций Наполеона и Талейрана обнаружилось вполне отчетливо. Но в ту пору император еще хотел сохранить опытного, хотя и не слишком верного дипломата и потому пытался его переубедить. 14 марта 1807 года он снова напомнил Талейрану: «Я убежден, что союз с Россией был бы нам очень выгоден»[5]. Он заставлял Талейрана следовать избранному им курсу.

Одержав победу под Фридландом, Наполеон не стал преследовать разбитого и деморализованного Беннигсена. Он дал возможность русской армии беспрепятственно и спокойно отступить, а затем переправиться через Неман и сжечь за собой мосты. Всем своим поведением французская армия после Фридланда давала понять противнику, что она не стремится к продолжению военных действий.

По ту сторону Немана, в ставке императора Александра, это было правильно оценено.

В связи с вопросом о тильзитских переговорах нельзя не коснуться одного частного вопроса, заслуживающего все же внимания. В исторической литературе давно уже стало почти общепринятым в изображении пси-

хологических и дипломатических коллизий, возникавших в Тильзите, рисовать Наполеона тонким и умным обольстителем, сумевшим обойти чувствительного, тщеславного и слабого Александра. В известном труде Вандаля о двух императорах, имевшем в свое время широчайшее распространение, эта точка зрения выражена с предельной отчетливостью: Александр «проявляет великодушные намерения и весьма часто полное бессилие действовать; он увлекается мечтами, проводит жизнь в погоне за идеалом, в борьбе с противоречивыми стремлениями...». В Тильзите «неуравновешенная душа Александра легко делается его (Наполеона) добычей...»[6]. С тех пор эта версия варьировалась на все лады французскими историками, не исключая даже такого глубокого и осторожного в суждениях исследователя, как Жорж Лефевр. Это противопоставление двух неравносильных психологически персонажей продолжил на свой манер и Эмиль Людвиг[7].

Эта версия, к слову сказать, создавалась не только французской историографией. В нашей стране давно уже стало традицией смотреть на Александра I глазами Пушкина: «властитель слабый и лукавый» вызывал особо пристальное внимание поэта. Пушкин был едва ли не первым историком этого царствования, правда не осуществившим своего намерения. Но замысел его был ясен: он говорил, что напишет «историю... Александрову — пером Курбского»[8]; он не скрывал своей враждебности к царю.

Эти чувства великого поэта разделялись многими. Пушкин входил в жизнь в преддекабрьское время и позже мыслями, чувствами, личными связями был вместе с «синими гусарами», вышедшими 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. Для поколения Пушкина и декабристов царь Александр был первым врагом[9].

Позже Лев Толстой в романе «Война и мир» (задуманном первоначально как роман о декабристах) продолжил развенчание Александра I. Портрет, воссозданный на страницах знаменитой эпопеи гениальным пером, дискредитировал царя прежде всего эстетически и этически: он представал перед читателями тщеславным, слабым и лживым человеком, позером и мелким себялюбцем.

Само собой разумеется, что речь идет не о пересмотре ставшего традиционным отношения к царю Александру и, конечно, не о какой-то его «реабилитации». Речь идет об ином — о сохранении необходимого историзма при оценке определенных действий царя Александра. Не рассматривая здесь ни его деятельности в целом, ни всех присущих ему черт, следует, отправляясь от источников, доступных историку, все же признать его дипломатическую игру в Тильзите искусной. Александр претендовал на роль военного руководителя и, вероятно, грезил о военной славе. Какой молодой монарх не мечтал о лаврах Юлия Цезаря! Кампании 1805 и 1807 годов показали, что у него нет к тому данных: его пребывание в армии приносило ей ущерб. «Под Австерлицем он бежал, в двенадцатом году дрожал»,— осмеивал царя Пушкин. Но в политической сфере и еще у́же — в области дипломатии он оказался на высоте задач. Ученик Лагарпа, легко усвоивший неопределенно «вольнолюбивую» фразеологию XVIII века, гибкий, превосходный актер, скрывавший под привлекательным прямодушием коварство, Александр I был и расчетливей и жестче, чем он представлялся современникам, и во многом был на уровне века. Среди монархов династии Романовых, не считая стоявшего особняком Петра I, Александр I был, по-видимому, самым умным и умелым политиком. И среди монархов начала девятнадцатого столетия он тоже был, вероятно, наиболее современным, во всяком случае более умным и ловким политиком, чем Фридрих-Вильгельм прусский или австрийский император Франц.

Наполеон, встретившийся впервые с Александром в Тильзите и год спустя — тоже в течение нескольких дней — в Эрфурте, дал высокую оценку русскому императору. Он отметил прежде всего его ум, его способность, оставаясь любезным со всеми, в том числе и с людьми ему неприятными, скрывать свои подлинные чувства и мысли. При первых свиданиях Александр показался ему даже добрым и, может быть, слишком либеральным. Позднее он отказался от таких определений, но продолжал считать, что Александр с его обходительностью, вежливостью, галантностью как монарх «более всего подходил бы парижанам. Это монарх, который понравился бы французам». Позже, на острове Святой Елены, Наполеон называл Александра «визан-

тийцем эпохи упадка империи», но признавал, что, хотя он и не имеет военных талантов, «это, несомненно, самый способный из всех царствующих монархов»[10].

В очень трудных условиях, после Фридланда, двух проигранных войн, Александр I сумел в прямых переговорах с Наполеоном найти и верный тон, и нужные аргументы, и необходимую гибкость, чтобы, сохраняя положение равноправного партнера, прийти в короткий срок к удовлетворяющему обе стороны компромиссу.

Тильзит во многих исторических работах изображают односторонне, как вершину успехов Наполеона. Но Тильзит был не только успехом Наполеона (против чего спорить не приходится), но и успехом русской дипломатии. Как это доказано новейшей публикацией русских документов, Александр первоначально не хотел идти на союз с Францией; он предпочитал ограничиться заключением мира. Напротив, для Наполеона союз с Россией был главной целью, к которой он стремился с 1800 года. Для Александра необходимым условием «замирения» с Францией было сохранение Пруссии, хотя бы и потерявшей часть своих владений. Это диктовалось не только и не столько клятвенными обещаниями, данными прусскому королю и королеве Луизе, сколько прямыми стратегическими интересами: Пруссия должна была быть буфером (а в дальнейшем, возможно, и противовесом), предохраняющим границы России от прямого соприкосновения с могущественной наполеоновской империей. Наполеон был склонен полностью уничтожить Пруссию, разделить ее владения.

Весьма трудной, острой, таившей множество подводных камней была польская проблема; здесь опасность резкого расхождения взглядов и стратегических планов была особенно велика. Восточный вопрос — проблемы Восточного Средиземноморья, проблемы турецких владений, наконец, прикрываемый дымкой недоговоренности, всегда отодвигаемый вопрос о Константинополе, с давних пор притягивавший внимание и Бонапарта и Александра I,— был не только предметом взаимного интереса, но и полем возможного столкновения противоположных замыслов и планов. Исследования А. Р. Иоаннисяна о соперничестве и борьбе европейских держав в Иране в начале XIX века[11] и А. Ф. Миллера о турецком вопросе во взаимоотношениях России и Франции в ту же эпоху, и в частности в

период Тильзита[12], внесли много ценного, нового в освещение восточного вопроса. К названным трудам мы и отсылаем читателей, не имея возможности по условиям места раскрыть все эти проблемы по существу.

Было немало и других спорных вопросов более частного характера.

Важнейшие документы, относящиеся к тильзитским переговорам, были опубликованы[13], и то, что сохраняется в архивах, не меняет уже известной в главном картины. Опубликованная переписка Александра и Наполеона в дни Тильзита, наконец, самый текст тильзитских соглашений показывают, какой широкий круг сложных и трудных проблем удалось обсудить и решить во взаимоприемлемой форме в столь короткий срок. Обе стороны проявили готовность к взаимным уступкам и волю к соглашению. Удивляться следует не тому, что в Тильзите выявилось много трудных проблем,— иначе и быть не могло, ведь там обсуждались все вопросы мировой политики тех лет,— а скорее тому, что так скоро, почти за неделю, была найдена почва для соглашения.

Александр пересмотрел свой взгляд на проблему союза с Францией; Наполеон изменил свои планы в отношении Пруссии. Компромисс был найден; дух согласия, господствовавший в Тильзите, преодолевал препятствия. Через пять дней после начала переговоров стали уже отчетливо проступать очертания достигнутого соглашения. Талейрану и Куракину оставалось лишь придать должную юридическую форму соглашению о мире и союзе двух держав. Основные документы: русско-французский договор о мире и дружбе, отдельные и секретные статьи, русско-французский договор о наступательном и оборонительном союзе — были подписаны 25 июня (7 июля) 1807 года и ратифицированы через два дня[14].

Выпить до дна чашу унижений в Тильзите пришлось лишь Пруссии Гогенцоллернов. По-видимому, в первые дни тильзитских переговоров Фридрих-Вильгельм с присущей этой династии самонадеянностью тешил себя надеждами, что Александр, а вслед за ним и Наполеон будут руководствоваться химерическим планом союза трех — Франции, России, Пруссии, который предложил царю 22 июня Гарденберг. Но, оставаясь в дни тильзитских феерий в весьма незавидном поло-

жении, прусский король наконец понял, что о главенствующей роли в Европе нечего думать; пока что его не приглашали даже на переговоры. Тогда на помощь была призвана королева Луиза. Ее красота оставалась последним оружием, с помощью которого Гогенцоллерны защищали свой трон.

Известна знаменитая сцена первого свидания Наполеона с королевой Луизой, кстати сказать рассказанная самим Наполеоном с явным удовольствием. Прусская королева показалась Бонапарту значительно лучше, чем он ожидал: она была красива, умна, находчива. Желая быть вежливым по отношению к даме, тем более красивой, Наполеон оказал ей все знаки внимания, предоставил лучшие кареты и первым нанес ей визит. Она встретила его в парадном платье, с диадемой на голове, гордая, величественная — истинная королева. Она приехала в Тильзит, унизилась до свидания с неприятным ей человеком ради великой цели, ради служения своей несчастной родине. «Она приняла меня с трагизмом, как мадемуазель Дюшенуа * в Химене. Государь! Справедливость! Справедливость! Магдебург!»[15] — так изображал Наполеон их первую встречу. Он был озадачен этой непредвиденной тирадой в стиле классической трагедии и не знал, как остановить королеву. В одну из драматических пауз ее взволнованного монолога он подвинул стул и тоном галантного кавалера предложил ей сесть. Человек практического склада ума, он резонно полагал, что сидя труднее продолжать речи Химены, чем стоя: сидячая поза не предрасполагает к риторике. Но королева отвергла эти любезности; она продолжала взволнованную речь о страданиях и бедствиях своей родины, о славе Фридриха Великого, о воспоминаниях об этой эпохе, увлекших Пруссию на путь, за который она так жестоко расплачивается. Улучив еще одну паузу в каскаде обвиняющих слов, Наполеон спросил ее деловито-любезным тоном: «Какое чудесное платье! Скажите, это креп или итальянский газ?» Он стремился к «снижению стиля», к переключению беседы в иной жанр; частично ему удалось этого достичь.

За обедом королева сидела между двумя императорами, соревновавшимися в любезностях. Она искусно

* Дюшенуа — известная актриса того времени.

направляла беседу, и Наполеон не мог не воздать должное ее уму и красоте. Впоследствии он признавался, что если бы королева приехала раньше, то, вероятно, ему пришлось бы пойти на уступки.

Вечером, после обеда, он преподнес королеве розу. Она сказала, что согласна ее принять лишь в обмен на Магдебург. «Но ведь розу предлагаю я, а не вы»,— отчитал ее Бонапарт. Луиза не осталась в долгу. Когда в следующий раз, за столом, Бонапарт подшутил над ее тюрбаном: «Прусская королева носит тюрбан. Кому она хочет сделать приятное? Во всяком случае не русскому императору, воюющему с турками», королева тут же парировала шутку. «Вероятно,— холодно сказала она,— я хочу сделать приятное вашему мамелюку Рустану». Наполеон был в восторге от нее[16]. «Прусская королева действительно очаровательна; она кокетничает со мной,— писал он Жозефине,— но не ревнуй; все это скользит по мне, как по клеенке. Мне стоило бы слишком дорого ухаживать за ней»[17].

Последний род оружия, введенный Гогенцоллернами в бой,— чары королевы Луизы — не дал ощутимых результатов. Наполеон был в большей мере склонен считаться с желанием своего союзника. Благодаря настояниям Александра Пруссия сохранилась на европейской карте. Но подписанный 9 июля договор с Пруссией, составленный торопливо, небрежно, как бы на ходу, был для побежденной стороны ужасен. Пруссия была отдана на милость победителя. Он мог с ней делать что хотел. Французские войска оставались на территории Пруссии до тех пор, пока не будет выплачена полностью контрибуция. Но как могла Пруссия избавиться от ига оккупации, если в тексте договора не была даже определена сумма контрибуции? С завязанными глазами Пруссия должна была следовать за колесницей победителя до тех пор, пока он не смилостивится — не определит окончательно размера дани.

Тильзитский мир как нарицательное имя — мир похабный, тяжелый, унизительный — это мир, продиктованный в Тильзите Наполеоном Пруссии. Именно в этом смысле говорил о нем В. И. Ленин в 1918 году, в дни брестских переговоров с империалистической Германией. Воспользовавшись тем, что молодая Советская Республика не могла продолжать в тот момент войну, германский империализм диктовал Советскому госу-

дарству кабальные условия Брестского мира. То были условия Тильзита[18]. И Ленин в спорах с «левыми коммунистами» и левыми эсерами настаивал на том, чтобы эти кабальные условия принять. Великий стратег революции был убежден, что Брестский мир будет еще более кратковременным, чем его прототип — Тильзит. Жизнь это полностью подтвердила.

27 июля 1807 года Наполеон возвратился в Париж, во дворец Сен-Клу. Позади осталось длительное триумфальное путешествие по городам побежденной Германии, принимавшей его с восторженным раболепием. Париж, расцвеченный флагами, гирляндами цветов, ночной иллюминацией, встречал его торжественнее, чем когда-либо. 15 августа — день рождения императора был отпразднован с пышностью и размахом, каких еще не знали. Август 1807 года был удивительно жарким. Все население столицы вышло на улицы. Париж рукоплескал императору, возвратившемуся с почетным миром. Престиж Франции был поднят на небывалую высоту. Могущество императора достигло апогея.

Никогда еще слава Наполеона не была столь безмерной. Он привез не только победы, почетный мир, но и союз и дружбу с величайшей державой Европы. Еще у всех в памяти были свежи ошеломляющие победы Суворова 1799 года; недавнее сражение под Эйлау о них снова напомнило. Военный престиж России в начале XIX века был очень высок. Теперь могущественная империя Севера — союзница Франции. Тильзит означал не только мир, как Амьен; он был новой, высшей ступенью в возраставшем могуществе Франции. Союз России и Франции — двух самых сильных военных держав континента — то был воистину неодолимый союз.

В Нотр-Дам де Пари состоялось торжественное богослужение по поводу заключенного мира. Под высокими сводами собора величественно звучало «Te Deum». Паскье, присутствовавший на церемонии, рассказал в своих мемуарах об огромном впечатлении, оставшемся у всех ее участников. Он запечатлел картину торжества, облик императора:

«...Я думаю, что никогда, на протяжении всей своей карьеры, Наполеон не испытывал столь полно, с такой

очевидностью милостей судьбы... Я вижу еще и сейчас черты его фигуры, неизменно спокойной и серьезной, напоминающей старые камеи с изображением римских императоров. Он был невелик ростом, и вместе с тем весь его облик в этой торжественной церемонии полностью соответствует той роли, которую он призван был играть. Привычка к командованию и сознание своей силы его возвышали»[19].

Вся Франция, как утверждал Савари, в эти первые недели после Тильзита и торжественного возвращения императора находилась как бы в состоянии опьянения. Законодательные собрания, депутации от департаментов, от городов подносили императору поздравления, выражение своих восторженных чувств. В этом потоке приветствий и поздравлений не все было наигранным или казенным. В июле — августе 1807 года радовались не столько могуществу империи, сколько достигнутому наконец долгожданному миру. В те дни царила прочная уверенность, что мир — всеобщий мир («la paix universelle») — утвержден Тильзитом надолго, быть может, навсегда. Тильзит, союз с могущественной северной империей — Россией устраняли вероятность и даже возможность войны на Европейском континенте. Кто решится начать войну против двух величайших и самых сильных держав мира? В те дни распевали песенку, кем-то сочиненную и пришедшуюся ко времени, «Свидание двух императоров», где слова ils sont d'accord et d'une union si belle («они в согласии и союзе столь прекрасном») рифмовались, конечно, с la paix universelle («всеобщим миром»). Наблюдательная, умная Гортензия записала: «Тильзит установил спокойствие и счастье. Казалось, все желания были исполнены».

Император Наполеон, уже начавший полнеть, отяжелевший, как бы отягощенный чрезмерной славой, выпавшей на его долю, но счастливый осуществлением всех замыслов, всех желаний, был внимателен ко всем, милостиво добр, ласков. Он достиг всего, чего хотел. Что оставалось еще желать?

Здесь невольно приходят на память «Шагреневая кожа» Бальзака, оттиснутые на жестком большом куске кожи таинственные слова по-санскритски: «Желай, и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои

желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни».

Эти слова из полуфантастической новеллы Бальзака могли бы стать эпиграфом к истории удивительной жизни Наполеона Бонапарта. Его желания, самые дерзновенные, самые всеобъемлющие, исполнялись, словно он владел таинственным талисманом. Но, подобно шагреневой коже Бальзака, круг его дней сжимался; он шел со всевозрастающей быстротой к гибели. Сознавал ли это он? Ни в малой мере.

Тильзит стал вершиной могущества Наполеона. С 1797 года на протяжении десяти лет Бонапарт совершал восхождение вверх. Кампоформио, Люневиль, Амьен, Пресбург, Тильзит — то были ступени лестницы славы, по которой он поднимался все выше и выше. Тильзитский мир осуществил его давнишнюю мечту. «Союзницей Франции может быть только Россия»,— говорил он, впервые взяв в руки руль государственной власти в начале 1800-х годов. В течение многих лет ему не удавалось догнать эту ускользающую из рук мечту, и вот наконец после распрей, вражды, которой он не хотел, после кампании 1805—1807 годов он установил дружбу с императором Александром; Франция и Россия — союзники.

Тильзитский мир фиксировал, что отныне на древнем Европейском материке Франция не имеет больше противников. Пятнадцать лет, с небольшими перерывами, длилась война, и вот теперь все те, кто сражались против Французской республики, а затем Французской империи,— либо вассалы наполеоновской Франции, либо ее друзья и союзники.

В ходе военной кампании 1807 года Наполеон имел возможность измерить силу русских войск. Он оценил их высоко. Судьба не сводила его ни разу на поле брани с Суворовым, но он, знаток военного дела, смог полностью оценить военный талант великого полководца; он хорошо помнил те страшные удары, которые нанес русский генералиссимус армиям Макдональда, Жубера и Моро. Кампания 1807 года показала боевую силу русских. Он остался невысокого мнения о Беннигсене как о полководце, и в этом он был прав. Но он не забыл поразившую его стойкость русских солдат в сражении под Пултуском, и в его память навсегда врезалось Эйлау. Первым сражением, в котором он не сумел

достичь победы, несмотря на все усилия, несмотря на стечение благоприятных обстоятельств, была битва при Эйлау. В сражении при Эйлау Наполеон как искушенный полководец, глубоко познавший тайны военного ремесла и законы военного искусства, сумел должным образом оценить огромную потенциальную силу русской армии.

Союз с Россией, заключенный в Тильзите, был союзом равноправных сторон. Он установил разделение сфер: Западная и Центральная Европа — сфера господства Наполеона; Восточная Европа — Александра I. Конечно, то был союз империалистический, если понимать это слово не в современном его смысле, а в широком, как употреблял его Ленин. Тильзит устанавливал господство в Европе двух сильнейших в военном отношении держав. Но именно потому, что две сильнейшие военные державы достигли соглашения и установили союз, война для наполеоновской Франции перестала быть необходимостью. С кем еще воевать? Австрия и Пруссия были побеждены; Западная Германия (Рейнский союз и Вестфальское королевство), Голландия, Италия, Неаполитанское королевство стали вассальными государствами, полностью зависевшими от Французской империи; Испания была союзником, хотя и не очень исправным, но все же союзником Франции. На карте континента оставалась лишь узкая полоска земли — маленькое королевство Португалия, управляемое домом Браганца, поддерживавшее тесные связи с Великобританией.

Но кто в Париже думал о Португалии? Если Лисабон когда и вспоминали, то разве лишь по поводу знаменитого землетрясения, так поразившего современников. Конечно, оставалась еще Англия — вечный враг Франции, и этой старой войне Рима против Карфагена не было видно конца. К этой войне с государством, сильным на море, но беспомощным на суше, уже привыкли; в представлении французов она отодвигалась в отдаленную перспективу. Она не требовала набора новобранцев и мобилизации всех ресурсов страны. К тому же, как всем стало известно, новый союзник — император Александр I взял на себя посредничество между Францией и Англией. Осенью 1807 года в Париже возможность нового Амьена и, может быть, даже

более прочного мира с Британией считали более вероятной, чем когда-либо.

Страна жила надеждами. Лаура д'Абрантес утверждала, что «никогда авторитет и престиж Наполеона во Франции не были так велики, как после Тильзита»[20]. Почти в тех же словах: «Никогда слава Наполеона не достигала такой высоты, как во время Тильзита» — определял положение Понтекулан[21]. Биржа ответила на заключение Тильзитского мира повышением всех курсов: в августе — сентябре 1807 года курсы ценных бумаг поднялись так высоко, как никогда ни ранее, ни тем более позже.

Было объявлено, что начинается крупное строительство: правительство оповестило о сооружении трех больших каналов в разных областях империи. В Париже намечалось сооружение большой «башни мира» на Монмартре. Прокладывались новые улицы, одевались в камень набережные, повсеместно строились дома. Промышленники разворачивали производство; заключались крупные сделки; во всех отраслях хозяйственной деятельности наблюдалось оживление. Мир после долгой войны, как живительный дождь после всеиссушающей жары, сразу пробудил к жизни промышленность, торговлю, сельское хозяйство; все оживало, жизнь снова била ключом.

Александр, возвратившись в столицу из Тильзита другом и союзником императора Наполеона — вчера еще проклинаемого «антихриста Бонапарта», — сразу же почувствовал, что новый внешнеполитический курс наталкивается на едва прикрываемую почтительным смирением оппозицию. Она шла прежде всего со стороны «старого двора» — императрицы-матери Марии Федоровны и ее окружения. Эти круги не считали нужным скрывать осуждение договора, заключенного августейшим сыном. Тильзит был в их глазах чем-то постыдным, унизительным, чуть ли не святотатственным. Такова же была точка зрения и «екатерининских вельмож», и всех ревнителей старины — консервативно-охранительного крыла родовитой аристократии во главе с адмиралом Шишковым, графом Ростопчиным и Карамзиным.

Но тильзитские соглашения встретили оппозицию

и даже своего рода скрытое противодействие и со стороны «молодых друзей» императора: его осуждали и те, кого называли либералами,— сторонники реформы. Новосильцев сразу же по возвращении царя попросил уволить его в отставку. Просьба была удовлетворена. Новосильцев был англофилом, и каждому без слов было понятно, что вся «английская партия», все приверженцы союза с Британией — от Новосильцева до Семена Воронцова — должны сойти с политической сцены; они не могли быть проводниками нового, антианглийского курса.

Примеру Новосильцева вскоре же последовал Кочубей. Затем и Строганов и Чарторыйский должны были отойти в сторону; царь не мог не почувствовать, что недавние друзья не одобряют его новую ориентацию. «Негласный комитет» перестал существовать.

Но недовольство новым союзом, молчаливое осуждение царя, еще недавно всеми восхваляемого, «обожаемого монарха», приняло в кругах столичной аристократии, а тем более провинциального дворянства почти всеобщий характер.

Как далеко зашли эти расхождения в 1807—1809 годах?

Савари, герцог Ровиго, первый представитель императора Наполеона в Петербурге, и на долгом пути следования в столицу империи, и по прибытии чувствовал леденящую атмосферу враждебности, окружавшую его со всех сторон. Первоначально, особенно во время долгого путешествия по глухим дорогам и, казалось, заснувшим за полосатыми столбами маленьким городкам западных губерний, где в церквах предавали анафеме «антихриста» и «врага рода человеческого», злые взгляды и угрюмые лица можно было еще объяснить инерцией войны. Но то же самое Савари почувствовал и в Петербурге. Здесь не могли ссылаться ни на инерцию, ни на неосведомленность.

«На протяжении первых шести недель все двери оставались передо мной закрытыми»[22],— вспоминал позднее об этом времени герцог Ровиго. Всюду, куда ни ступал официальный представитель императора французов, вокруг него сразу же образовывалась пустота. В большом, оживленном городе, в великолепной столице империи генерал Савари чувствовал себя одиноким: для него город оставался пустынным. Это же отмечал

и наблюдательный шведский посол в Петербурге граф Стединг. Он доносил в Стокгольм, что посланца Наполеона, за небольшими исключениями, «нигде не принимают» в столице[23].

В резком контрасте с общим враждебным приемом была подчеркнутая доброжелательность, более того, дружественность императора. Царь был ласков, любезен; он оказывал французскому генералу знаки внимания, каких не удостаивался ни один из дипломатов, аккредитованных при его дворе. Савари многократно был приглашаем к обеду и в Зимнем дворце, и в летнем — Каменноостровском, и на торжественных приемах в Петербурге. Единственный из иностранцев генерал Савари получал приглашения на военные парады, и ему отводилось место непосредственно рядом с императором[24].

Словом, император Александр как бы намеренно подчеркивал, афишировал свое расположение к французскому генералу. Но странное дело, казалось бы, вымуштрованное, привыкшее во всем подражать двору петербургское высшее общество на сей раз осмелилось не следовать за высочайшим примером. Двери великосветских салонов столицы оставались замкнутыми для генерала Савари.

Даже прямое распоряжение царя приглашать представителя императора Наполеона и то наталкивалось на явственно ощутимое сопротивление. Императрица Мария Федоровна, уступая настоятельному желанию сына, приняла французского генерала в Таврическом дворце. Но как сообщал Савари, «прием был холоден и длился менее одной минуты». Этот сугубо официальный, ледяной прием лишь подчеркивал недоброжелательство императрицы-матери и всего «старого двора», политический вес которого наблюдательный французский генерал сумел быстро оценить.

Такой же холодный прием ожидал Савари в салонах высшего общества Петербурга, вынужденного подчиниться воле самодержавного монарха.

Было ли это лишь невинной формой камерной фронды придворной знати? Не шли ли намерения дальше?

Вскоре стало известно, что в петербургских и московских гостиных сановной аристократии зачитываются книжкой, хлестко озаглавленной: «Мысли

вслух на красном крыльце ефремовского помещика Силы Андреевича Богатырева». Книжка эта, написанная не без бойкости, в народном или, вернее сказать, псевдонародном лубочном стиле, высмеивала увлечение всем французским, французоманию русского дворянства, восхищавшегося всем приходящим из Парижа — от женских мод до политических планов. Книжечка эта при всем ее балагурном тоне вовсе не была столь безобидной, как могло показаться с первого взгляда. За словесным ухарством скрывалась определенная политическая программа.

Сила Андреевич Богатырев говорил: «Революция — пожар, французы — головешки, а Бонапарте — кочерга». Более того, об императоре французов, официально объявленном «братом и другом» российского императора, говорилось в издевательски-пренебрежительном тоне: «Что за Александр Македонский!.. Ни кожи, ни рожи, ни видения, раз ударишь, так след простынет и дух вон!»

То было явное — двух мнений быть не могло — осуждение правительственной политики, осуждение образа мыслей и действий самого государя.

Ни для кого не было секретом, что за колоритной фигурой «ефремовского помещика Силы Андреевича» скрывалось иное, более реальное лицо, всем давно и хорошо знакомое.

То был московский барин, богач и бонвиван, многоопытный царедворец граф Федор Васильевич Ростопчин, в прошлом царствовании фаворит Павла I, осыпанный его милостями и благодеяниями, первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел и самый рьяный поборник союза с Францией. Казалось, он первым должен был поддержать тильзитский курс...

Но с тех пор как Ростопчин ратовал за союз Российской империи с Французской республикой, возглавляемой Бонапартом, минуло шесть-семь лет... Положение Ростопчина во многом изменилось. Опальный сановник, с началом нового царствования находившийся не у дел, удалившись из столицы в Москву и терзаемый неутолимой жаждой деятельности, избрал для себя новое поприще: он выступал теперь в роли хранителя и защитника незыблемых традиций старины, вековых устоев, завещанного дедами порядка. С этих позиций ему было нетрудно, соблюдая необходимую осмотри-

тельность, выступить сначала с осторожной критикой либеральных веяний нового царствования. Это было сразу же замечено и должным образом оценено всем консервативным, стародворянским лагерем. Тильзит дал возможность этому полуфранцузу, полурусскому, как называли Ростопчина современники *, подвергнуть резкой критике политику сближения с Францией...

Что из того, что его утверждения, относящиеся к 1807 году, вступали в прямое противоречие с его же мыслями и словами, сказанными семь лет назад? Ростопчин знал, что ему будет рукоплескать вся проанглийская партия, все недовольные новым направлением политики. Он знал, что про него станут вновь говорить: «Он человек заметный».

Но ограничивалось ли недовольство только осмотрительным фрондированием в великосветских салонах Петербурга и литературными выходками, порой даже довольно дерзкими? Не шло ли оно дальше?

Современники допускали такую вероятность. Правда, сохранившиеся от той поры свидетельства принадлежат по большей части иностранцам, к тому же защищенным дипломатическими паспортами. Но это понятно: подданным российского самодержца изъясняться на такую тему было слишком рискованно.

Уже упоминавшийся граф Стединг, шведский посол в Петербурге, имевший самые широкие связи в русском обществе и всегда превосходно информированный, в донесении своему королю от 6 (18) сентября сообщал о крайнем негодовании, которое вызывает в Петербурге и Москве новая, профранцузская ориентация царя и его дружественное внимание к генералу Савари: «За все время, что я нахожусь здесь... я никогда не видел такого всеобщего недовольства»[25].

Стединг был послом в Петербурге с 1790 года, и за семнадцать лет, проведенных в столице империи, он многое успел повидать. Его слова поэтому заслуживают

* Уместно напомнить, что Ростопчин, расставшись в 1813 году с постом московского главнокомандующего, почти сразу же, в 1814 году, уехал во Францию и жил в Париже около десяти лет, до 1823 года. Кстати сказать, антифранцузские памфлеты Ростопчина были далеко не единственными. Следует вспомнить и о «Русском вестнике» С. Н. Глинки, и о выступлениях Н. М. Карамзина, А. С. Шишкова, и о ряде других произведений тех лет.

внимания. Двумя неделями позже, 28 сентября (10 октября), он снова доносил шведскому королю: «Недовольство против императора все более возрастает, и со всех сторон идут такие толки, что страшно слушать... Но ни у кого не хватает смелости дать понять императору ту крайнюю степень опасности, которой он подвергается»[26]. Это уже звучало весьма серьезно, а Стединг был не из тех людей, кто бросает слова на ветер. Действительно, в том же донесении он сообщал, что в беседах в узком кругу и даже на публичных собраниях часто обсуждается вопрос о смене царствующей персоны. «...Забвение долга доходит даже до утверждений, что вся мужская линия царствующей семьи должна быть исключена и, поскольку императрица-мать, императрица Елизавета не обладают надлежащими качествами, на трон следует возвести великую княгиню Екатерину»[27].

Итак, по сведениям шведского посла, недовольство тильзитской политикой Александра I осенью 1807 года зашло так далеко, что в кругах придворной знати шепотком заговорили об устранении монарха, о возможности восшествия на трон новой императрицы — Екатерины III.

Насколько обоснованны были эти сообщения шведского посла? На какие факты он опирался? Что давало ему повод для столь ответственных утверждений в донесении — не министру, а самому королю?

Вопрос этот нельзя считать до конца выясненным. Как уже говорилось, не обнаружены русские документы, подтверждающие эту версию; столь опасные бумаги (если они действительно были) обычно не сохраняются. Конечно, к не подтвержденным прямыми доказательствами сообщениям надо относиться настороженно. Вопрос требует дальнейшего самостоятельного исследования.

Но вместе с тем следует признать, что Стединг не Уитворт; он был вне закулисной борьбы, да и отношения между Россией и Швецией тогда, осенью 1807 года, еще не определились. К тому же за долгие годы пребывания в Петербурге он так укрепил свои связи с русским обществом, что по окончании русско-шведской войны вновь вернулся послом в Петербург: лучшего посла шведский двор найти не мог. Его свидетельства, повторим еще раз, не могут быть игнорируемы.

Тогда же, осенью 1807 года, маршал Сульт, находившийся в то время в Варшаве, переслал со своим адъютантом Сен-Шаманом, специально направленным в Петербург, перехваченное французскими властями письмо. Власти усмотрели в нем закамуфлированное свидетельство подготавливаемого покушения на жизнь царя. Письмо, адресованное неизвестным корреспондентом в Россию, при всей умышленной затемненности и загадочности выражений все же не оставляло сомнений в злонамеренности планов. «Разве среди вас больше нет ни П..., ни Пл..., ни К..., ни Б..., ни В...?»[28] — спрашивал автор письма.

Расшифровать многоточия не составляло труда. За начальными буквами сокращенных слов легко угадывались фамилии главных участников убийства Павла I: Палена, Платона Зубова, Никиты Панина, Беннигсена.

Конечно, к самому этому документу надо отнестись критически и его значение не следует переоценивать, но, как косвенное подтверждение каких-то враждебных Александру намерений, он должен быть принят во внимание.

Идеи насильственного устранения царя, повторения в какой-то форме трагедии в Михайловском замке распространялись осенью 1807 года в Европе. Неожиданно многие об этом заговорили. Наполеон в письме к Савари от 16 сентября писал: «Надо быть крайне настороже в связи со всякими дурными слухами. Англичане насылают дьявола на континент. Они говорят, что русский император будет убит...»[29]

Одновременно Савари конфиденциально сообщал Нарышкиной (а через нее и императору Александру), что, по сведениям, которыми он располагает, на императора готовится покушение, и рекомендовал произвести «чистку» в министерствах и убрать недовольных. Савари в подобных делах был человеком искушенным и опытным; не случайно Наполеон поручал ему самые тонкие задания: дело герцога Энгиенского, руководство контрполицией, контролировавшей полицию Фуше, и т. д. По той же профессиональной опытности Савари был немногословен и не сообщал подробностей. Но к его сообщениям надо прислушиваться.

Следует признать, что в самом возникновении подобных слухов не было ничего невероятного. Нельзя за-

бывать: прошло лишь шесть лет с тех пор, как убийство Павла I, казалось бы, в неприступном, защищенном со всех сторон Михайловском замке доказало, что для заговорщиков нет преград. И разве вся история дома Романовых не свидетельствовала о том же?

Царь Александр не мог забыть ни страшной ночи 11 марта 1801 года, ни утра 12-го, когда он взошел на престол, переступив через труп своего отца и спрятав в руках лицо, чтобы не видеть окружавших его отцеубийц, почтительно склонявшихся перед новым монархом.

Александр не мог не помнить, что его бабка, прославленная императрица Екатерина II, также начала свое царствование с ночного убийства в Ропше супруга и законного государя Петра III и похищения трона. Он знал, что и прабабушка, императрица Елизавета Петровна, взошла на трон, переступив через труп законного монарха. Он помнил всю залитую кровью историю своей родословной...

Ему было чего опасаться...

Но не только император Александр знал о прошлом династии Романовых. О нем знали и подданные царя, его современники. Пушкин в сохранившихся отрывках его «Записок» писал: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою»[30]. Это замечательное по своей сжатости и выразительности обобщение исторического опыта монархии Романовых датируют 1822 годом[31]. Но разве — наверно, не в столь отчетливой форме — эти мысли не приходили на ум склонным к действию людям предшествующего поколения?

Сведения, сообщаемые шведским посланником, заслуживали внимания еще и потому, что в них названо совершенно определенное лицо, призванное заместить Александра на троне. И здесь неожиданно речь шла не о младшем брате царя — Константине, чего было бы естественно ожидать. Царский трон должна была занять снова женщина — сестра Александра — великая княгиня Екатерина Павловна. На русском престоле Александра I, если верить сообщениям шведского посланника, должна была заменить Екатерина III. Именно эта существенная деталь, упоминаемая Стедингом, и придает его сведениям правдоподобность, заставляет думать, что не было дыма без огня.

Любимая внучка Екатерины II, избалованная, начитанная, умная, талантливая художница, умелая рассказчица, превосходно владевшая не только французской, но и русской речью, что было в ту пору редкостью, Екатерина Павловна была одной из самых примечательных женщин своего времени. Если верить портрету Тишбейна, то была привлекательная, нежная, в чем-то очень напоминавшая брата — вероятно, обманчивой мягкостью черт — юная дама с задумчиво-капризным выражением лица, кокетливо одетая и все же чем-то неуловимо значительная.

Как и ее старший брат, она в совершенстве владела искусством скрывать свои подлинные мысли и чувства под обвораживающей, доверчивой улыбкой; она мгновенно схватывала, как с кем нужно говорить, и долго слыла общей любимицей. Но постепенно ей расхотелось нравиться всем; она нашла свое истинное призвание: в императорской семье она прослыла верной защитницей принципов консерватизма и великодержавия, поборницей твердой власти и старины. Ее ведущей, главной идеей стала мысль, что самодержавная сильная Россия должна первенствовать в Европе. Как-то неприметно, без видимых усилий она стала признанной главой всей старорусской, стародворянской партии.

Позже, после того как Екатерина Павловна в 1809 году вышла замуж за принца Георга Ольденбургского, назначенного тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором и главнокомандующим путей сообщения, и переехала в Тверь, она сумела создать своего рода политический центр этой партии. Великолепный дворец Екатерины Павловны в Твери с трехэтажным центральным корпусом (что в ту пору было редким), с огромными, сиявшими зеркальным блеском полукруглыми окнами, тяжелыми массивными дверьми явно претендовал на соперничество с Трианоном или Фонтенбло. Несмотря на отдаленность от обеих столиц, тверской салон Екатерины Павловны не пустовал. Здесь можно было встретить немало именитых людей, и в их числе главных лидеров консервативной партии — Ростопчина, Карамзина, И. И. Дмитриева. Сам император Александр, не страшась дальности пути, часто наведывался к своей сестре.

Отношения брата и сестры не вполне ясны. Их переписка [32] оставляет впечатление какой-то преувеличен-

ности чувств; уж слишком много взаимных клятвенных уверений в любви и поцелуев. При всем том остается бесспорным, что царь весьма считался с мнением сестры во всех вопросах, в том числе и политических. Екатерина Павловна с присущей ей гибкостью и сообразительностью быстро нашла чувствительные точки, затрагивающие личные интересы брата: она исключила из переписки и бесед все, что касалось императрицы Елизаветы Алексеевны — официальной супруги Александра; ее как бы вовсе не существовало. В то же время она установила самые дружеские отношения с М. А. Нарышкиной — морганатической возлюбленной царя — и постоянно возвращалась к этой приятной Александру теме. Она легко находила с ним общий язык и в делах, касающихся их взаимоотношений с матерью; они оба не ладили с ней. Словом, во всем затрагивающем брата лично Екатерина Павловна охотно шла ему навстречу.

Но там, где начиналась сфера политики, она обособлялась от августейшего брата и вела свою собственную линию. Мнения брата и сестры по политическим вопросам существенно расходились: и в отношении Тильзита, и в оценке Наполеона и союза с Францией, и в вопросах австрийской политики, и в особенности в оценке внутриполитических проблем; ее отношение к проектам реформ, ко всем новшествам и к их вдохновителю М. М. Сперанскому было резко отрицательным[33].

Тот же Стединг в мае 1810 года вновь доносил, что великая княгиня Екатерина — «принцесса, обладающая умом и образованием, сочетаемым с весьма решительным характером», крайне настроена против Наполеона и современного положения в России. Он связывал с этим ее большое влияние на императорскую семью, и в особенности на великого князя Константина, и объяснял этим же ее популярность в русском обществе[34].

Существенным было, однако, не само расхождение взглядов между братом и сестрой; такое расхождение было вполне возможным, да и царь, как известно, не отличался большим постоянством; он менял и взгляды, и политику, и друзей. Важнее было то, что скрывалось за этими разногласиями... Куда они вели? К чему стремилась «тверская полубогиня», как называл ее Карам-

зин, сумевшая создать в своем салоне штаб «старорусской партии»?

При ее уме, при ее огромном честолюбии, остававшемся неутоленным, при ее склонности к острой политической игре готова ли она была довольствоваться успехами в своей тверской гостиной и похвалами, расточаемыми ей опальными вельможами и сановными старцами не у дел? Кто знает, быть может, она и в самом деле была не прочь повторить еще раз на политической сцене русской истории роль, так искусно и с таким успехом сыгранную ее бабушкой Екатериной II?

Нет, сведения, сообщенные Стедингом, вряд ли были абсолютно беспочвенными. Не представляется исключенной возможность возникновения замыслов, планов, может быть, недосказанных до конца мыслей... Они могли иметь своей конечной целью замену лиц на царском троне. Во всяком случае не только всем известные прецеденты в прошлом, но и почва для попыток повторения их в 1807 году, после Тильзита, несомненно, была.

Но и царь Александр был не прост; его нелегко было захватить врасплох; он нимало не напоминал ни своего отца, ни своих незадачливых предков. Степень его информированности была весьма велика. Даже в пору наибольшего увлечения либеральными фразами (у него фразы всегда преобладали над делом) он одновременно без шума, но с большой настойчивостью и деловитостью налаживал аппарат тайной полиции.

Дошли ли до него слухи, о которых сообщал Стединг? Это остается неизвестным. Но о широком недовольстве политикой Тильзита он, конечно, знал и не мог не знать. Не только вызывающее поведение петербургского высшего света, бойкотировавшего представителя императора Наполеона, подтверждало это; но и от той же сестры, Екатерины Павловны, он получал прямые выражения неудовольствия.

Известное определение Пушкина «властитель слабый и лукавый» было верным главным образом во второй своей части. Александр I охотнее притворялся слабым, чем был им на деле; то была также одна из форм его лукавства. Со времени его соучастия в низвержении с трона отца роль слабого, покорно подчиняющегося ходу событий, безвольного человека стала его защитной маскировкой; только этим и можно было бы оправдать

в глазах матери, в глазах всей императорской семьи, всех современников его роль молчаливого, бездействующего наблюдателя трагических событий, завершившихся убийством 11 марта. Но ведь в этом заговоре, подготовлявшемся на протяжении шести месяцев, он играл в сущности главную роль: отца надо было убрать, чтобы передать власть сыну. Без соучастия Александра заговор против императора Павла I был бы невозможен.

Скрывать, маскировать свои намерения и истинные чувства какой-то ролью, сбивающей с толку, стало линией поведения Александра Павловича всю первую половину его царствования, во всяком случае до марта 1814 года, когда настал час его торжества: триумфатором, на белом коне, он въехал в побежденный Париж.

И в 1807 году, после Тильзита, он ничем не выдал своей озабоченности, беспокойства. По разным каналам до него доходили сведения о враждебных замыслах, а может быть, действиях против него. В беседах с Савари царь заявлял, что он уже слышал ранее о замыслах против него, но что все эти угрозы не заставят его изменить избранный им курс. «Я не верю в то, что они посмеют... но, если все же они решатся, пусть попробуют; но я им ни в чем не уступлю»[35]. Впрочем, он признавал, что его беспокоит лишь одно, вернее, один: «Это — Беннигсен; он в известном смысле предатель и способен встать во главе партии, действующей против меня»[36]. Александр Павлович знал Беннигсена с ночи 11 марта 1801 года. В разговоре с французским генералом высказанное столь определенно суждение о Беннигсене было весьма весомым. Если царь счел нужным сказать об этом Савари, то это доказывало, сколь большое значение он придавал идущей от Беннигсена опасности.

Но Александр отнюдь не собирался уступать. Напротив, он быстро нашел действенные решения. Он сменил людей на важнейших постах. Его первым актом на следующий же день после подписания договора с Наполеоном, 10 июля 1807 года, было смещение Беннигсена с поста главнокомандующего армией; его заместил на этой должности Ф. Ф. Буксгевден. В руководстве министерством иностранных дел враждебного Франции Будберга он заменил сторонником русско-

французского сближения — графом Н. П. Румянцевым. Англофильских друзей своей молодости из «Негласного комитета» он отстранил от руководства государственными делами — вместо них был приближен и возвышен М. М. Сперанский, приобретший огромное влияние. Персональные изменения, перемещения в короткий срок были произведены и в ряде других ведомств и учреждений. Этот ласково улыбающийся царь с ясными, доверчивыми голубыми глазами был совсем, совсем не прост!

Когда в июне 1807 года Наполеон и Александр I в течение нескольких дней сумели договориться не только о заключении мира, но и о союзе двух держав, это было не случайно. Русский союз во внешнеполитической концепции Бонапарта всегда оставался ведущей идеей.

Было бы глубоко ошибочно, как это делают некоторые французские историки (например, Жак Бенвиль), брать под сомнение саму эту идею и считать ее не отвечавшей реальным историческим условиям той эпохи. Скорее наоборот. Наполеон и в данном вопросе обнаружил присущую ему склонность к смелым решениям, основанным на анализе новых, изменившихся реальных условий.

Несомненно, что, провозгласив важнейшей задачей французской внешней политики сближение с Россией, Наполеон нарушал устоявшиеся, давние традиции европейской политики Франции. В истории Франции XVII — XVIII столетий были известны кратковременные эпизоды франко-русского сближения, но они оставались именно эпизодами, а не рассчитанной на длительный период политикой.

Привычная для французской дипломатии ориентация на монархию Габсбургов была отброшена Наполеоном. Он нарушил созданные династией Бурбонов традиции, опиравшиеся на долголетний опыт представления, вернее, даже догмы о незыблемых принципах французской внешней политики. Трезвый учет особенностей географического положения, политических интересов двух держав в Европе — России и Франции, анализ расстановки сил в Европе привели его к идее союза этих двух держав.

В директивах Савари перед его отъездом в Петербург Наполеон ориентировал его на всемерное укрепление франко-русского сотрудничества как длительного союза: «...если я могу укрепить союз с этой страной и придать ему долговременный характер (et y faire quelque chose de durable), ничего не жалейте для этого». Он ссылался на предшествовавший отрицательный опыт поисков сотрудничества с Австрией и Пруссией: «Вы видели, как я был обманут австрийцами и пруссаками. Я отношусь с доверием к императору России, и между обоими государствами нет ничего, что могло бы помешать их полному сближению»[37].

То была целостная внешнеполитическая концепция. Примечательно, что Наполеон, умевший позже критически оценивать свои решения, никогда не пересматривал эти свои идеи и в воспоминаниях, продиктованных на острове Святой Елены, возвращаясь к первым шагам своей внешнеполитической деятельности, вновь и вновь подтверждал правильность избранного им курса: союзником Франции могла быть только Россия.

Одним из основных положений этой концепции была правильно подчеркнутая Наполеоном мысль, что между Францией и Россией отсутствуют коренные противоречия, что нет почвы для неустранимых конфликтов. Неустранимый конфликт был и оставался на протяжении всей его политической деятельности между Францией и Англией. Наполеон отдавал себе отчет в том, что длительное примирение, а тем более союз между Францией и Англией были невозможны: обе эти державы оспаривали первенство в Западной Европе и в мире.

Талейран, воспитанный в традициях XVIII века, мысливший старомодными представлениями Шуазеля и Вержена, упорно цеплялся за мысль о союзе с Австрией, и не потому, что он получал с 1808 года деньги от австрийского правительства. Разногласия между Талейраном и Наполеоном по вопросу об Австрии зрели давно; перед Тильзитом они выступили вполне явственно. Талейран был фанатически предан идее союза с Австрией; то была идея, которой он никогда не изменял. Но уже с войны 1796 года, с того времени, когда Наполеон противопоставил Австрийской монархии свободные итальянские государства, всякое сотрудничество, а тем более союз с Австрией были исключены. Умение Наполеона быстро ориентироваться в меняю-

щейся обстановке сказалось и в этом вопросе. Он легко уловил, что нужно пересматривать традиционные внешнеполитические концепции старого времени и искать новые решения.

Союз с Россией и был таким новым решением — новым словом, внесенным Наполеоном в историю французской внешней политики.

Не следует упускать из виду и парадоксальной особенности дипломатической деятельности Наполеона. Многие авторы, и это относится в первую очередь к его апологетам — Эдуарду Дрио, Артюру Леви, Луи Мадлену, старательно подчеркивали искренность стремлений Наполеона к достижению мира. Генерал Бонапарт, как и позже Наполеон, действительно отдавал себе отчет в тех выгодах и преимуществах, которые мир приносил Франции. Он охотно говорил о мире и любил повторять шокирующую своей парадоксальностью мысль о том, что он и войну ведет ради достижения мира. Но если в период Маренго еще кто-либо мог поверить этим утверждениям, то позже они воспринимались уже как насмешка: за мир не борются такими средствами, какими боролся Наполеон.

Наполеон нес мир на острие штыка, и, сколько бы он ни заверял, что он стремится обеспечить французскому народу «достойный мир», «прочный мир», на деле мир, который он навязывал силой оружия Европе, был миром французской гегемонии, миром порабощения европейских народов.

Возможно, что Наполеону за каждой войной мерещился мир, но его программа мира год от году становилась все более экспансионистской: за Кампоформио шел Люневиль, за Люневилем — Пресбург. Его требования возрастали; они становились необузданными, безграничными, и мир, желанный мир, о котором двадцать лет, с 1792 года, мечтали терзаемые войной народы Европы, отодвигался все дальше и дальше, становился недостижимым.

Конечно, Бонапарт по-разному оценивал перспективы союза с Россией в 1800—1801 годах, когда он его домогался, и в 1807 году, когда он наконец был заключен. Международные позиции Франции в 1807 году были уже совсем иными, чем в критическом 1800 году. Они стали неизмеримо более выгодными для наполеоновской Франции. Но и в 1800—1801 годах, и в

1807 году Наполеон видел в союзе двух сильнейших военных держав континента гарантии сохранения статус-кво в Европе, конечно, статус-кво, отвечавшего французским интересам. Он полагал, что союз двух самых сильных континентальных держав делает невозможной войну какой-либо третьей державы против одного из двух союзников. Формула Шампаньи, подсказанная Наполеоном,—«В согласии с Россией нам никто не опасен»— отражает это новое, сложившееся после Тильзита положение вещей.

Тильзит был соглашением двух сильнейших военных держав Европы. Как показали сами переговоры, конечно, у каждой из держав были свои интересы, свои расчеты, свой подход к вопросам европейской политики. Но эти различия не помешали обеим сторонам преодолеть трудности и найти взаимоприемлемое решение. Обычно подчеркивают, что в основе тильзитских соглашений лежало разграничение сфер влияния. Наполеон соглашался на то, чтобы Россия доминировала в Восточной Европе; Александр признавал за наполеоновской Францией те же права или, вернее, те же возможности в Западной Европе.

Кому это было выгоднее? Франции или России? Так нередко ставится в литературе вопрос. Но такая постановка вопроса едва ли плодотворна: тильзитские соглашения были выгодны и той и другой стороне; без этого они не могли быть так быстро заключены.

Наполеон отчетливо понимал в ту пору, что ни с какой другой великой державой подобного соглашения заключить было нельзя. В 1807 году кроме России оставались только Австрия и Англия. Австрия имела столь ограниченный военный потенциал, что соглашение с нею не представлялось ценным. К тому же неустранимые противоречия в итальянском и германском вопросах делали невозможным сотрудничество двух держав как равноправных партнеров. С могущественной Британией соглашение типа тильзитского было исключено прежде всего потому, что обе державы, Франция и Англия, претендовали на одну и ту же добычу: и та и другая стремились к господству в Западной Европе. Бонапарт уже в 1800 году понял, что ему следует добиваться соглашения с Россией. Неудача амьенского примирения с Англией еще более укрепила его в этом мнении.

Тильзитские соглашения были направлены своим острием против Англии. Однако в интересах точности следует отметить, что первоначально, до осени 1807 года, и в Париже, и в Петербурге еще сохранялись некоторые иллюзии: еще не исключалось, что русское посредничество будет либо принято Лондоном, либо Англия перед лицом могущественного русско-французского союза будет в какой-либо другой форме искать пути к соглашению.

Александр I также проявил понимание новых исторических условий и, если угодно, известную смелость, решительно пойдя на союз с наполеоновской Францией. Тильзит для России не был неудачей, как считают некоторые историки. Прекращение войны, заключение мира для России были необходимостью. В сложившихся условиях 1807 года, после двух неудачно закончившихся войн, для Александра, для России Тильзит был успешным политическим ходом. Конечно, по тильзитским соглашениям России пришлось отказаться от некоторых позиций в Восточном Средиземноморье. Но эти позиции Россия теряла в большей мере из-за противодействия Англии; эта союзница была опасным противником. Выигрыш от союза с наполеоновской Францией заключался не только и не столько в том, что после проигранной войны Россия ничего не потеряла и приобрела еще Белостокскую область. Выигрыш был в том, что союз с могущественной империей Запада усиливал позиции России, оказывался для нее выгодным.

В литературе высказывалось мнение, будто недоброжелательство, проявленное петербургским светом к генералам Савари и Коленкуру, объяснялось причастностью их обоих к казни герцога Энгиенского. Причина была глубже. Холодный прием, оказанный в Петербурге французским официальным лицам, был, как уже говорилось, косвенной формой осуждения политики императора, неодобрения духа Тильзита.

Что же лежало в основе враждебного отношения русской аристократии к политике Тильзита? Было бы ошибочно искать здесь какую-либо одну причину. По-видимому, правильное объяснение можно найти, лишь рассматривая комплекс мотивов. Должны быть приняты во внимание, бесспорно, имевшие большое значение экономические интересы русских дворян, какой-то

части купцов, связанных с экспортом товаров в Англию. Торговые связи России с Англией были гораздо более развиты, чем с Францией, что легко объяснимо, так как Англия экономически была более передовой страной. К тому же нельзя забывать, что за двадцать лет революции и войн по существу прекратились всякие торговые связи между Францией и Россией: практически они стали невозможными. Политика Тильзита, превратившая Англию во враждебную России державу, заставившая русское правительство присоединиться к континентальной блокаде, затрагивала интересы русского дворянства, экспортеров леса, пеньки, зерна и других товаров, которые до сих пор морским путем шли через Балтику и Черное море в Англию и английские владения. Ни как покупатель, ни как экспортер товаров Франция не могла заменить Англию.

Тильзит действительно привел к сокращению русского экспорта. Исследования Е. В. Тарле и в особенности последняя работа М. Ф. Злотникова убедительно показали, как велик был материальный ущерб, который терпели вследствие этой политики русские круги, связанные с экспортом товаров[38].

Однако недовольство политикой Тильзита объяснялось не только экономическими причинами. Сказывались также российский дворянский консерватизм, устарелые представления минувшей эпохи, традиционно недоброжелательное отношение к политическому режиму наполеоновской Франции, который не искушенные в тонкостях политики русские дамы типа Анны Павловны Шерер из романа «Война и мир» продолжали отождествлять с революцией или же считать ее детищем. Нельзя также упускать из виду прочность проавстрийских и в особенности пропрусских симпатий. Династия Романовых со времен ангальтцербстской принцессы Софьи-Фредерики, вступившей на русский престол под именем Екатерины II, стала немецкой семьей, была тысячами нитей связана с Пруссией Гогенцоллернов, с герцогом Ольденбургским, со множеством дворов германских курфюрстов. Политика Романовых была традиционно ориентирована на Вену Габсбургов и Берлин Гогенцоллернов. Еще свежи были в памяти идеологические концепции первой и второй, третьей и четвертой антифранцузских коалиций. Подавляющее число царских сановников, генералов,

среднего офицерского состава и вообще служилых людей были воспитаны на протяжении двадцати с лишним лет в духе дружбы и легитимистской солидарности с монархией Габсбургов и Прусской монархией и вражды к Франции[39].

Роль французских эмигрантов в России, которую некоторые авторы склонны оценивать как весьма значительную, на деле не была таковой. За двадцать с лишним лет пребывания на чужбине французские эмигранты достаточно показали свои непривлекательные стороны, и в начале XIX века к их голосу прислушивались менее внимательно, чем в век Екатерины. Все же какую-то роль некоторые из них продолжали играть. Достаточно вспомнить Жозефа де Местра или Поццо ди Борго, озлобленных врагов новой Франции, не жалевших усилий, чтобы влить свою долю яда в общественное сознание, определявшее политику по отношению к Франции[40].

Наконец, следует принять во внимание еще одно обстоятельство. Эпоха Тильзита, как ее называли, была в то же время эпохой Сперанского. Союз и дружба с наполеоновской Францией, с буржуазной монархией — а Франция оставалась буржуазной монархией даже при всем личном деспотизме Наполеона — заставляли Александра вновь задумываться над проблемами модернизации русского государственного строя. Вряд ли случайно расцвет влияния Сперанского совпал с годами дружбы с наполеоновской Францией.

Проекты Сперанского не были ни революционными, ни даже радикальными. Все же это были планы каких-то реформ, которые должны были придать русскому государственному строю более современный вид, модернизировать его. Эти реформы вызвали недовольство старого, крепостнического дворянства. Недовольство реформами Сперанского, опасения дальнейших преобразований связывались с непривычным внешнеполитическим курсом. Тильзит, Эрфурт, Сперанский в представлении «екатерининских вельмож», дворянской оппозиции справа — все это были звенья одной цепи: к добру они не приведут[41].

Совокупность этих причин и объясняет, почему и Савари и Коленкур были так холодно встречены в Петербурге. Несмотря на подчеркнутую любезность

царя, посланцы Наполеона очень медленно отвоевывали дом за домом в петербургском высшем свете.

Но союз двух держав — России и Франции — мог бы стать стабильным, прочным лишь в том случае, если бы он служил целям укрепления мира хотя бы на основе сложившегося в 1807 году статус-кво или был преградой против агрессивных поползновений третьей стороны. Действительность была иной. Союз был заключен между державами, по самому своему социальному строю стремившимися к тому, чтобы использовать достигнутое соглашение прежде всего для территориальных приращений, захватов, расширения сферы экспансии. Несмотря на то что между наполеоновской Францией и Россией Александра I были известные различия — первая представляла собой буржуазную монархию, вторая — феодально-абсолютистскую, обе они сходились как военные державы в стремлении расширить свои владения в Европе, а может быть, и за ее пределами.

В 1807 году, непосредственно после Тильзита, был недолгий период иллюзий. Александр, несмотря на встретившиеся препятствия, сопротивление, вражду, оппозицию, даже опасность, был крайне увлечен открывшимися новыми перспективами. Чтобы правильно понять его настроение этого времени, должно быть принято также во внимание его крайнее раздражение против своих союзников, и в особенности против Англии. Александр I весной 1807 года оказался почти в таком же положении, как Павел в конце 1799 года. Он был обманут союзниками. Англия не только не оказала обещанную военную помощь, она и денег не хотела давать, а в Средиземноморье и на Ближнем Востоке строила козни и противодействовала России. От Пруссии, Австрии тоже не было никакой помощи. Так ради чего русские солдаты проливали кровь в Восточной Пруссии? Ради кого?

Александр психологически испытывал облегчение, освободившись от тяготивших его и ненужных по существу, чуждых интересам России обязательств по отношению к Англии и Пруссии.

Более того, союз с Наполеоном открывал заманчивую будущность. Александр готовился к поездке в Париж; предполагалось, что поездка состоится весной 1808 года. Оба императорских двора обменивались

дружескими письмами, взаимными любезностями. Александр послал Наполеону две великолепные меховые шубы стоимостью 80 тыс. рублей каждая. Наполеон в ответ прислал изумительный севрский сервиз; с обеих сторон тщательно выбирались и направлялись друг другу иные подарки.

Во Франции Тильзит был встречен тоже восторженно. Эти радостные чувства были порождены тем, что Тильзит рассматривался как гарантия против новых войн. Обещанию, данному Наполеоном в 1807 году солдатам,— «то была последняя война» — тогда еще верили. Но Наполеон стал на путь новых завоеваний. К Франции были присоединены Тоскана, Римская область, позже, в 1810 году,— Голландия, ганзейские города. В 1808 году была начата война против Португалии, затем в Испании, принявшая вскоре непредвиденно грозный и опасный характер.

Россия в эти же годы вела войну со Швецией, в результате которой была присоединена Финляндия, и с Турцией. Александр мечтал о Константинополе, и идея раздела Турецкой империи была одной из наиболее острых и соблазнительных тем в переговорах двух стран. Но решение медленно подвигалось вперед потому, что Наполеон сам имел тайные виды на Константинополь и не спешил отдать его своему союзнику.

Так на почве завоевательной политики обеих стран между ними стали возникать разногласия. Они преодолевались, но не устранялись. Стали накапливаться взаимные претензии.

Времена безмятежных иллюзий, розовых надежд прошли. Наступали трезвые будни.

«Обзор положения империи в 1807 году», представленный правительством в конце августа[1], перечислял неоспоримые достижения и во внешней политике, и во внутренней. Если верить опубликованному отчету, то империя представляла собой цветущий сад. Конечно, то было грубое преувеличение. И все-таки, отбрасывая гиперболы, нельзя не признать, что в нарисованной картине было много верного.

Все были утомлены, пресыщены войной: она длилась уже пятнадцать лет, она поглощала все молодое поколение французов, мужей и братьев. Женщины были во Франции всегда большой силой, и (несмотря на Гражданский кодекс, подчинявший их мужчине) во времена империи не меньшей, чем при Республике и королевской власти. Армия отнимала у промышленности и сельского хозяйства самые сильные рабочие руки; война нарушала нормальную хозяйственную деятельность; она вносила элементы напряжения, неустойчивости, постоянных конъюнктурных колебаний во все сферы хозяйственной деятельности. Но при всем том нельзя упускать из виду, что до определенного времени, до 1807 года во всяком случае, завоевательные войны — а все войны консульства и империи были завоевательными — приносили и выгоды, хотя и тут, как и в остальном, их влияние на экономическое и социальное развитие страны было противоречивым. Кратковременность войн, наступательно-агрессивный их характер, при котором военные операции совершались на территории противника, сравнительно небольшие (кроме кампании 1807 года) потери французских войск избавляли собственно французское население от ужасов войны. Поэтому для большинства французов того времени войны означали еще нечто совсем иное, чем для народов тех стран, на территории которых они велись. Войны приносили и выгоды, и выигрыш не только в смысле территориального увеличения Франции, которое само по себе представлялось чем-то исключительным: никогда — ни раньше, ни позже — Франции не удавалось добиться такого огромного расширения

владений. Война сопровождалась и беспрецедентным ограблением побежденных стран в форме колоссальных контрибуций и реквизиций и в форме прямого грабежа, который позволяли себе все — от простых солдат до маршалов.

Андре Массена, бесспорный военный талант, высоко оцененный всеми специалистами, снискал себе известность во французской армии не только как выдающийся полководец, но и как самый беззастенчивый расхититель чужих богатств. Маршал Сульт в Испании наряду с профессиональными обязанностями — руководством операциями — уделял большое внимание поискам редких картин прославленных испанских мастеров кисти. Он не был поклонником таланта Эль Греко или Веласкеса; искусство как таковое его не прельщало. Замечательные творения испанских художников он превращал в личную собственность, ценя в них прежде всего их рыночную стоимость. Он не просчитался — похищенные им картины стали одним из источников его обогащения. Но если маршалы Массена, Сульт позволяли себе ничем не прикрытый грабеж, то следовало ли удивляться, что нижестоящие офицеры и рядовые брали пример со своих начальников. Это значило, что в общей сумме, к чьим бы пальцам ни прилипали деньги, поток награбленных ценностей в конечном счете поступал во Францию и здесь оседал. Поток золота, который генерал Бонапарт еще десять лет назад научился выкачивать из недр Италии в пользу Директории, он направлял ныне из всех завоеванных стран Европы в казну империи. Франция обогащалась за счет ограбления и разорения завоеванной Европы.

Но завоевательные войны оказывали и косвенное влияние на экономику Франции. Захватывая новые территории, подчиняя государства Центральной Европы власти Франции, Наполеон превращал их в обширные рынки для сбыта французских товаров. Продукции английской промышленности был закрыт доступ на европейские рынки, а, избавившись от мощного конкурента, который был экономически сильнее Франции, французская промышленность получила дополнительный стимул для своего развития.

Первое десятилетие XIX века — эпоха консульства и империи — ознаменовано крупным подъемом почти во всех отраслях французской экономики. Весьма зна-

чительных успехов достигла промышленность. В промышленности наряду с мануфактурой развивалось новое фабричное машинное производство. В текстильной промышленности к 1812 году было более двухсот механических прядильных фабрик. Машины внедрялись и в производство шелка. В 1804—1808 годах станок Жаккара значительно ускорил развитие шелковой промышленности. С 1800 по 1811 год производство тканей в Лионе почти утроилось. Этот рост был связан с изменениями в технике, с внедрением более совершенных способов обработки и применением машин. Значительный рост обнаружился не только в легкой, но и в тяжелой промышленности. С 1790 по 1810 год выплавка чугуна выросла более чем в два раза. Шапталь, министр внутренних дел и один из крупнейших французских ученых, отмечает большие успехи почти всех отраслей французской промышленности[2].

Значительный прогресс в это же десятилетие был достигнут в сельском хозяйстве. Прежде всего улучшаются сами методы обработки земли. Больших успехов добились такие прибыльные отрасли, как виноградарство, шелководство, льноводство. Тот же Шапталь, а также ряд других авторов указывают на рост поголовья скота. И хотя из деревни уходила самая сильная ее часть — молодые люди, мобилизуемые в армию, все же сельское хозяйство в целом росло, и наполеоновский режим имел, безусловно, поддержку крестьянства.

Здесь уместно вспомнить давнее суждение Маркса. «...Наполеон,— писал Маркс,— упрочил и урегулировал условия, при которых крестьяне беспрепятственно могли пользоваться только что доставшейся им французской землей и удовлетворить свою юношескую страсть к собственности»[3]. Не следует забывать, что армия Наполеона была в основном крестьянской армией, и подвиги, совершаемые французскими солдатами, были бы невозможны, если бы крестьянство не поддерживало императора, укрепившего собственность и окружившего Францию ореолом славы.

Казалось, империя процветает и успехи ее внешней политики находятся в полной гармонии с успехами внутренней политики. Так полагал Наполеон, о чем свидетельствовал опубликованный от его имени «Обзор положения империи в 1807 году». Но император обольщался. Даже в эту наиболее благополучную пору,

когда развитие империи шло еще по восходящей линии, уже появился ряд тревожных симптомов. Они показывали, что не все в организме здорово и что идет какой-то пока еще незаметный болезненный процесс, который рано или поздно прорвется наружу.

В 1805 году, об этом речь шла выше, во Франции разразился острейший финансовый кризис. Он был не случайным, отражая совершавшееся подспудное нарушение нормальных хозяйственных связей. В 1807—1808 годах наступил промышленный кризис. Он был одним из первых признаков неблагополучия в области экономики. Были и иные симптомы, которые показывали, что, хотя империя могла похвалиться ростом богатства, новыми дорогами, прокладываемыми по стране, новыми великолепными зданиями, нарядными набережными, широкими красивыми мостами, сооружаемыми в Париже, ростом золота в ее кладовых, выкачиваемого из всех европейских подвалов,— несмотря на все это, были какие-то признаки, на первый взгляд казавшиеся второстепенными, заставлявшие полагать, что не все благополучно.

В применении машин, внедрении новой машинной техники в производство Франция заметно отставала от Англии. Император, человек передовой мысли, обнаружил косность, непонимание значения новых технических сдвигов. В 1804 году известный изобретатель Фултон, проводивший в Париже на Сене ряд опытов, чаще с успехом, предложил Франции перевести корабли на использование паровой тяги; то был смелый план принципиально нового средства движения корабля по воде — план создания парохода. Никакая другая проблема не стояла для наполеоновской Франции так остро, как проблема морского соперничества с Англией. Все задачи борьбы против Англии в конце концов упирались в несомненную слабость французского флота по сравнению с английским. Какие спасительные возможности открывало предложение Фултона, если бы Наполеон принял его предложение! Быть может, многое в борьбе Франции с Англией пошло бы иначе. Но Наполеон и его министры не оценили предложения Фултона; зато в Англии и Америке их значение сразу поняли. В 1807 году по реке Гудзон пошел первый пароход Фултона «Кларемон».

Да и в других отраслях производства наблюдалась та же косность, то же желание работать по старинке. Даже в армии, которая была в центре внимания правительства, даже и здесь наблюдалось известное отставание. Армия количественно росла, все больше пополнялась иностранными полками и инородными элементами, становилась многонациональной, но как боевая сила не совершенствовалась[4]. Генералы старели, новые выдвигались медленнее, чем это было раньше; в самом военном мастерстве не проявлялось новых значительных достижений. Все, что было достигнуто наполеоновским военным искусством в первые годы, в последующем лишь варьировалось, не внося ничего нового. Солдаты ворчали. Ветераны, старая гвардия, на которую больше всего надеялся Наполеон, стала гвардией ворчунов[5]. Война XIX века была войной ног. Выигрывал тот, кто мог больше и быстрее ходить. Но даже выносливые ветераны и те в последней кампании стали роптать. Пройти пешком всю Европу — от Сены до Вислы — это превосходило человеческие возможности. Наполеон умел разговаривать с солдатами. Он старался оставаться для них все тем же «маленьким капралом», месившим грязь сапогами вместе со всеми по непроезжим дорогам Польши, стоявшим, не склоняя головы, под градом снарядов и пуль, отмахиваясь от них солеными словцами. Он был фаталист и верил в свою звезду; это питало его неустрашимость, которую так ценили солдаты. Но и он понял в польскую кампанию 1807 года, что солдатское терпение иссякло. Чтобы поддержать ослабевший дух, он сказал кому-то из солдат, что нужны последние усилия: эта война — последняя война. Такие слова нельзя было бросать на ветер; через два часа вся армия повторяла слова императора «это последняя война». Он не мог даже отступить от сказанного, это значило бы морально убить армию. «Последняя война» — эти слова обладали магической силой. Они превращали измученных, валившихся с ног от усталости людей в храбрецов и героев. Воспрянувшие духом солдаты были готовы теперь драться насмерть. Они шли вперед, штыками прокладывая себе путь для возвращения на родину. Не окрыляла ли надежда на близкое возвращение домой французских солдат, устремившихся в яростной атаке при Фридланде?

«Последняя война...» Какой огромной силой обладали эти два слова! Каждый их повторял; вся армия жила великой надеждой. Шутка ли, не кто-либо, сам император сказал: «Последняя война». Эти слова кружили головы, сердца; все думали о завтрашнем дне. Французская армия становилась непобедимой.

Но верил ли император, верил ли Наполеон Бонапарт в то, что война 1807 года и в самом деле станет последней?

Возвратившись после десятимесячного отсутствия в Париж, Наполеон ревностно занялся вопросами гражданской политики, казавшейся ему запущенной. Конечно, как всегда, когда он уезжал, усилились вольные разговоры в салонах. Эта «ворона, накликающая беду», Жермена де Сталь настолько осмелела, что самовольно вернулась в Париж и принимала в своем доме гостей — весь спектр цветов оппозиции, готовых с притворным сочувствием, не скрывавшим воодушевления, обсуждать вероятные пагубные последствия сражения при Эйлау. Ее самомнение было беспредельно. Передавали, что однажды она спросила Талейрана: «Как вы думаете, император так же умен, как я?» «Сударыня,— вежливо ответил князь Беневентский,— я думаю, он не так смел». Самомнение подсказывало ей, что именно она должна стать истинным вождем либеральной партии. Колоссальное состояние, унаследованное от отца, литературный талант и призвание к интриге — сочетание трех таких слагаемых делало взбалмошную женщину действительно силой. Наполеон приказал выдворить ее из Парижа. Первая красавица Европы Жюльетта Рекамье, дружившая со Сталь, позволила себе дерзкое замечание: «Можно извинить мужчинам некоторые их слабости, например когда они очень любят женщин, но когда они боятся их — этого простить нельзя». Эти слова дошли до Наполеона, и, по существующей версии, он ответил просто: «Я не считаю ее женщиной». С госпожой Рекамье он не видел возможности воевать, хотя и знал, что в ее салоне ведутся вольные разговоры. Он был уверен также в том, что лучше всех осведомлен о подозрительных нашептываниях Фуше; его министр полиции, как всегда, казался ему крайне сомнительным. «Интрига,— говорил позднее Наполеон,— так же необходима Фуше, как пища. Он интриговал во всякое время, во всех местах, всеми

способами и со всеми. Его манией было всюду совать свой нос»[6].

За Фуше внимательно следили: сверху — Савари, снизу — префект парижской полиции Дюбуа, но даже под скрещивающимися лучами двойного наблюдения Фуше оставался неуловимым, хотя Наполеон был внутренне убежден, что Фуше неверен. Поступали также неоспоримые доказательства — их раздобыл ненавидевший своего начальника Дюбуа,— что Фуше поддерживает какие-то отношения с роялистами в Лондоне, чуть ли не с главным агентом графа Лилльского Фош-Борелем. Но Фуше сумел выйти сухим из воды[7]. Наполеон сохранил за ним министерство полиции; его поразительный талант проникать бесшумно сквозь непроницаемую стену или замочную скважину был уникален; с таким человеком нельзя было просто расстаться: его надо было либо сохранить, либо уничтожить. Наполеон полагал, что время Фуше еще не пришло; он ошибался.

Но все эти разговоры недовольных, сообщаемые весьма старательно в донесениях полиции[8], вызывали его раздражение. Надо было их пресечь какой-то радикальной мерой, и он сразу же нашел ее. Декретом 19 августа 1807 года был уничтожен Трибунат. Роль этого представительного учреждения, как, впрочем, и всех иных, давно была сведена к чисто декоративной. Но Наполеон хотел показать, что он не побоится убрать и все декорации; пусть сцена будет пустой, совершенно голой; он может остаться на ней один, декорации ему не нужны.

Роспуск Трибуната не имел последствий ввиду полной беспомощности этого учреждения. То была мера устрашения, и именно так ее и поняли. Время Республики прошло. Империей правит император. Теперь не нужны ни трибуна, ни трибуны, ни Трибунат; есть только одно мнение и одна воля — императора, и его воля — закон.

Бонапарт это доказал и иным путем. Вернувшись в столицу империи, он начал реформы с изменения состава правительства. Первым должен был уйти его бессменный министр иностранных дел князь Беневентский — Талейран. При том влиянии, которое приобрел в стране и за ее пределами этот знаменитый дипломат, его отставка стала крупным событием. Чем она была

вызвана? Одни объясняли ее тем, что Талейран, поздравляя императора с победой при Фридланде, посмел высказать надежду, что эта победа будет последней. Другие искали причины немилости в чрезмерных поборах, налагаемых министром иностранных дел на иностранных партнеров, которые по необходимости имели с ним дело; говорили, что на него жаловались короли Баварский и Вюртембергский. Третьи объясняли отставку общим расхождением внешнеполитических концепций: Талейран не одобрял суровых условий, предъявленных Австрии и Пруссии; его навязчивой идеей был союз с Австрией. В Тильзите Наполеон проводил избранный им курс, не считаясь с мнениями Талейрана, обязывая министра быть исполнителем его воли.

Во всех этих объяснениях была доля истины[9]. К указанным мотивам следовало бы добавить еще один, хотя он был и менее определенным. Талейран своим тонким политическим чутьем сумел уловить, что Наполеон, самоуверенность и диктаторский тон которого все возрастали, где-то сбился с пути, потерял верную ориентацию. Талейран не был, как раньше, уверен, что направляемый Наполеоном корабль сумеет благополучно пройти через подводные рифы и преодолеть встречные ветры.

Князь Беневентский и сам был не прочь на всякий случай на время отойти в сторону. У него к тому были и внешне убедительные доводы: он считал себя обиженным, полагая, что за свои заслуги имел право на получение высших отличий — стать одним из «архи»: архиканцлером, или архиказначеем, или великим электором. Наполеон удовлетворил претензии Талейрана, правда внеся некоторые поправки. Он назначил его вице-великим электором, но зато отнял портфель министра иностранных дел. Фуше это дало повод для злого каламбура: по-французски слова вице (vice) и порок (vice) пишутся и произносятся одинаково: Ce le seul vice qui lui manquat — «Это единственный порок, которого ему недоставало». Талейран был заменен послушным, безличным Шампаньи; новый министр мог быть только исполнителем воли Наполеона. Но император имел неосмотрительность по-прежнему доверять Талейрану некоторые важные поручения; тот воспользовался этой оплошностью не только для того, чтобы

пополнять этим путем свои постоянно просвечивающие карманы, но и чтобы вести тонкую партию против своего суверена, которому он клялся в верности.

Бонапарт счел неудобным убирать одного Талейрана. Одновременно от обязанностей военного министра он освободил и Бертье. Военным министром был назначен Кларк, обращенный им в свою веру еще в дни Кампоформио. Кларк был самым невоенным из всех генералов. В 1797 году его называли генералом-дипломатом; десять лет спустя, когда он продолжал восхождение по иерархической лестнице, его вполголоса именовали маршалом чернил. Практически назначение Кларка означало, что он будет беспрекословным исполнителем воли императора, как Шампаньи в министерстве иностранных дел[10]. Бертье получил такую же синекуру, как Талейран, дававшую ему лишние полмиллиона дохода в год, которые ему в сущности были не нужны. Наполеон сделал Бертье владетельным принцем Невшательским и маршалом империи. Но он сделал его также несчастным человеком: он заставил Бертье покинуть госпожу Висконти — привязанность всей его жизни — и жениться на какой-то германской принцессе, выбранной Наполеоном по политическим мотивам. То было одно из частных проявлений «династического безумия», по выражению Маркса, овладевшего Наполеоном, когда он пытался большие политические вопросы подменять брачными комбинациями в верхах, представлявшимися ему более или менее удачными.

На освободившееся место министра внутренних дел претендовал Реньо де Сент-Анжели, один из видных деятелей брюмера. Наполеон дал ему синекуру — хорошо оплачиваемое звание государственного министра, а министром внутренних дел назначил бесцветного и послушного Крете. Смерть Порталиса освободила должность министра культов — она была замещена бывшим фельяном Биго де Прамена. При всей кажущейся случайности этих назначений они имели определенный смысл: из правительства устранялись брюмерианцы — люди, игравшие значительную роль в событиях 18—19 брюмера. Нетрудно было также заметить, что перемены, произведенные в персональном составе правительства, имели и другую тенденцию. Люди, сколько-нибудь самостоятельные, мыслящие и способ-

ные защищать перед императором свои взгляды, заменялись простыми агентами, беспрекословными исполнителями распоряжений императора.

С тех пор как 26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, в 1-й статье которой было записано: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», великий принцип, сформулированный в этих словах, не раз нарушался. И все же целое поколение французов выросло в убеждении, что этот принцип — незыблемая основа общества, что сословия и титулы давно уничтожены, как противоречащие «естественным правам человека», и что все французы не в смысле имущественном, а юридически равны. Наполеон нарушил этот принцип. Учреждение ордена Почетного легиона, а затем учреждение звания маршалов империи было юридически оформленным актом создания особой элиты — высшей привилегированной верхушки. Официальной формой обращения императора к маршалам было «мой кузен». Тем самым устанавливались хотя и подновленные, но в общем давно знакомые иерархические ступени. Учреждение ордена Почетного легиона вызвало недовольство, созданию института маршалов не придавалось большого значения хотя бы потому, что всех маршалов вместе с почетными насчитывалось не более двадцати. В равной мере легко примирились с принцами — членами императорской семьи, и гофмаршалами, камергерами и фрейлинами: раз есть император, то неизбежен и императорский двор.

Но это было только начало. Раз ступив на этот путь, Наполеон не мог удержаться. Императорская мантия, накинутая на плечи, требовала совсем иного интерьера. Менялся не только внешний вид императорского дворца, не только его убранство — менялись и люди. Наполеон стал оказывать внимание старому дворянству, родовитой аристократии. Он окружил свою жену императрицу Жозефину дамами из старинных аристократических фамилий, он им охотно покровительствовал. Правда, у него хватило ума избежать опасности быть смешным: он не намеревался дублировать роль «мещанина во дворянстве». Летиция, государыня-мать, перехватила как-то насмешливый взгляд герцогини де

Шеврез, которым она обменялась с другой придворной дамой. Об этом было сообщено сыну. Переоценившая положение герцогиня была уволена и выслана из Парижа. Наполеон не для того стал императором, чтобы учиться манерам у реэмигрировавших аристократов[11]. Он держал их в строгости, они могли ему только служить. «Я открывал им путь славы — они отказывались; я приоткрыл дверь в прихожую — они все туда устремились»,— говорил он презрительно о старых аристократах.

Но императорский двор должен быть окружен сиянием и блеском, и если старое дворянство годится только для роли слуг, к тому же не заслуживающих доверия, то кто мешает создать новое дворянство — дворянство империи? Эти рассуждения вступали в противоречие со знаменитой первой статьей Декларации прав. Но Бонапарт никогда не делал из принципов фетишей; жизнь не стоит на месте, и империя сама диктует свои принципы и законы.

С весны 1807 года французы должны были снова привыкать к титулам, почти двадцать лет непроизносимым в стране и забытым, как средневековая ветошь. Вновь появились герцоги, князья, графы, бароны. В кругах, близких к правительству, разъяснялось, что новое имперское дворянство — это не возврат к старым сословиям, это аристократия талантов, лучшая часть нации, сам народ, олицетворенный своими наиболее выдающимися представителями. Был определенный политический расчет в том, что первый герцогский титул империя даровала бывшему сержанту Лефевру, а его жена белошвейка Катрин, не знавшая, с какого конца едят спаржу, стала герцогиней Данцигской. За ними последовали многие. Сослуживцы императора, солдаты, ставшие маршалами, бывшие депутаты Конвента и даже члены Комитета общественного спасения росчерком пера были превращены в высокопоставленных представителей новой имперской знати.

Бывший контрабандист Массена мог находить удовлетворение в том, что он назывался герцогом Риволи, а позже князем Эсслингским. У него были огромные имения, великолепные особняки. Он владел состоянием, размеры которого трудно было определить. Бертье — ближайший помощник Наполеона по руководству армией — был сделан принцем Невшательским,

позднее князем Ваграмским и герцогом. Обширные владения княжества Невшатель он получил в личную собственность. Его доходы были огромны, он стал одним из самых богатых людей. Маршал Ней, сын бочара, получил титул герцога Эльхингенского, позже ему присвоили еще титул князя Московского. Иоахим Мюрат, сын трактирщика, был сначала сделан великим герцогом земель Берг и Клеве, маршалом, а затем королем Неаполитанским. Бернадот был сделан князем Понтекорво и получил соответствующие владения. Старый бретер Ожеро стал герцогом Кастильоне, Фуше — герцогом Отрантским, Мармон — герцогом Рагузским, Жюно, товарищ юношеских лет Бонапарта,— герцогом д'Абрантесом. Даву был наделен званиями герцога Ауэрштедтского и позже князя Экмюльского. Ланн стал герцогом Монтебелло, Мортье — герцогом Тревизским, Савари — герцогом Ровиго, Коленкур — герцогом Виченцским, Сульт — герцогом Далматским, Бессьер — герцогом Истрии, Дюрок — герцогом Фриульским, Маре — герцогом Бассано, Кларк — герцогом Фельтрским, Камбасерес — герцогом Пармским и т. д. Иным приходилось довольствоваться меньшим. Бывший сподвижник Робеспьера Жанбон Сент-Андре был сделан бароном, бывший помощник Шометта Реаль стал графом *.

Так создавалась новая аристократия. Она обладала не только громкими, звучными именами, то были не только герцоги, князья, графы, бароны — это к тому же были и очень богатые люди, которые могли соперничать огромными своими состояниями со старинными богатейшими домами Европы. Наполеон утешал обойденных: он создает новое имперское дворянство, дворянство талантов, храбрости, мужества. Он любил напоминать, что герцог Монтебелло — это бывший солдат Ланн, сын крестьянина. Каждый солдат носит в своем ранце жезл маршала, каждый преданный империи француз может стать князем, графом, герцогом, одним из самых знатных людей страны.

Золотые пчелы на бархате империи против белых лилий Бурбонов — разве они не принесут Наполеону

* Общее число лиц, возведенных в дворянство, превышало три тысячи человек (*Campardon.* Liste des membres de la Noblesse impériale d'après les lettres patentes. Paris, 1889).

победу и славу? То была иллюзия. Жизнь ставила иное противопоставление: красный фригийский колпак против красных каблуков дворянства, народ против аристократии — только в этом противопоставлении можно было рассчитывать на победу. Но в странном ослеплении Наполеон тешил себя иллюзией, будто с помощью этих звучных титулов, с помощью высоких чинов, огромных денежных сумм, которыми он щедро награждал своих генералов и сановников, он сможет укрепить свою власть. То была иллюзия, ошибка, в которой он вскоре убедился.

На острове Святой Елены, обозревая ушедший в прошлое путь своей жизни, Наполеон правдиво рассказал о Жюно — друге его юности, с которым они были когда-то на «ты», делили в 1795 году последние медяки, отказывая себе в куске хлеба или чашке кофе. Жюно волей императора Наполеона превратился в герцога д'Абрантеса. Самые высокие должности, почести, десятки тысяч франков предоставлялись человеку, о котором знали, что он близок к императору. Жюно был военным губернатором Парижа, командиром гусар, у него были огромные поместья в Пруссии, в Вестфалии, великолепный дом в Париже, известный всей столице, сотни лошадей, блестящий выезд; он мчался по стране с быстротой, которую мог позволить себе разве что император. Когда Жюно был назначен в Португалию, ему определили жалованье в шестьсот тысяч франков. В Париже он получал немного меньше этого. И что же? Наполеон рассказал о том, как он должен был пригласить жену Жюно Лауру д'Абрантес (он знал ее по годам молодости, проведенным на Корсике), чтобы пресечь безмерную трату денег, кутежи, оргии, скандальный образ жизни, которым прославился на весь Париж бывший сержант крестьянский сын Андош Жюно[12]. При огромных доходах Жюно не хватало денег; он должен был обращаться к императору с просьбой покрыть его громадные долги. В не меньшей мере, чем безрассудной тратой денег, Жюно прославился скандальными связями, на которые его жена отвечала тем же. Дело дошло до того, что Наполеону пришлось лично вмешаться, чтобы положить конец развлекавшей «весь Париж» близости Лауры д'Абрантес с Меттернихом, австрийским послом, одним из самых опасных врагов Франции. Император не мог допустить, чтобы государ-

ственные тайны, доверенные военному губернатору Парижа, вхожему в Тюильрийский дворец, уходили по закрытым каналам в Вену. Жюно вместе с женой был отправлен в Португалию[13].

Но этот частный случай с Жюно имел и более общее значение. Кто мог бы узнать в этом пресыщенном, тяжеловесном человеке с расплывшимися чертами лица, небрежными жестами, равнодушным взглядом погасших глаз молодого офицера, полного жизни и отваги, именуемого в узком кругу «Жюно-буря»? А ведь прошло всего десять — двенадцать лет. Пройдет еще несколько лет, и герцог д'Абрантес то ли в припадке безумия, как это было объяснено, то ли в состоянии глубочайшей душевной депрессии покончит жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

Не выражала ли трагическая судьба Жюно д'Абрантеса нечто большее, чем личную катастрофу способного человека, сбившегося с пути? Не шли ли его товарищи и друзья сходными путями? «Когорта Бонапарта» — «железная когорта» молодых, беззаботных, ничего не страшившихся людей, смело уверовавших, что над ними сияет звезда счастья. Что стало с ней? Мюирон, Сулковский погибли в начале пути. Ланн давно уже разошелся с императором; Бонапарт пытался его и застращать, и задобрить; в 1807 году он поднес герцогу Монтебелло миллион франков; он его ценил больше всех и хотел вернуть его дружбу. Ланн остался равнодушен и к титулам, и к деньгам. В 1809 году он был убит. Та же участь ждала Дюрока, он погиб в 1813 году; Бертье в 1815 году кончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна, как Жюно. Мюрат, король Неаполитанский, блещущий нарядами, в пышных плюмажах, заставлявших принимать его за персонаж из цирка Франкони, всегда хотел большего — королевского трона в Варшаве или Мадриде. В конце концов он добился дюжины пуль в сердце: его расстреляли в 1815 году. Кто же оставался? Мармон, герцог Рагузский, один из первых друзей Бонапарта, прошедший с ним весь путь начиная от Тулона и Монтенотте. Этот пережил всех. Он был первым, кто в 1814 году предал Наполеона, открыв фронт и дорогу на Париж армиям иностранной коалиции.

Была ли в самом деле счастливой звезда, поднявшаяся на темном небе 1796 года, для этой горстки молодых людей, так дерзко бросавших вызов судьбе?

Наполеон обещал в 1807 году, что польская кампания будет «последней войной». Тильзит давал ему необходимые гарантии, и в дни расцвета франко-русского союза, летом и осенью 1807 года, большинство французов поверило, что время войн — слава богу и императору! — осталось позади.

Тем не менее вскоре по возвращении в Париж Наполеон дал Жюно приказ отправиться в Байонну и там встать во главе армии, предназначенной для вторжения в Португалию. Это не было ни неожиданностью, ни секретом. Еще в Тильзите Наполеон доказывал Александру, что Португалия — единственное королевство Европы, поддерживающее торговые и политические связи с Англией, и что с этим нужно покончить: этого требуют интересы континентальной блокады. Судьба Португалии не интересовала Александра, да и в ту пору у него были заботы поважнее. 15 октября 1807 года на большом дипломатическом приеме в Фонтенбло Наполеон обратился с резкими словами к португальскому послу. Перепуганный регент из дома Браганца немедленно объявил войну Англии и выслал английского посла. Конечно, это была инсценировка, аляповатая игра, но, впрочем, что бы ни предприняло португальское правительство, ничто бы не удовлетворило Наполеона[14]. Судьба Португалии была решена... 27 октября в Фонтенбло был подписан франко-испанский договор о разделе Португалии[15]; армия Жюно уже маршировала по дорогам Испании, продвигаясь к Лисабону.

Нарушил ли император данное им слово? Была ли португальская экспедиция новой войной? Ни Наполеон, ни большинство французов этого не считали. В представлении Наполеона то была лишь будничная мера по осуществлению континентальной блокады. Как мало он придавал значения португальскому делу, видно хотя бы из того, что, пока солдаты Жюно медленно продвигались по каменистым дорогам Испании, Наполеон выехал в Италию. Здесь у него были более важные дела. 23 ноября без единого выстрела королевство Этрурия было объявлено прекратившим существование; во

Флоренцию вступили французские войска, казалось бы только для того, чтобы восстановить старое название — Тоскана. Позже выяснилось, что изменилось не только название государства, изменилась и правившая им династия; вместо Марии-Луизы из дома Бурбонов на престоле Тосканы оказалась также женщина, но из династии Бонапартов — Элиза. Еще через полгода, 30 мая 1808 года, Великое герцогство Тосканское было включено в состав Французской империи с сохранением, впрочем, своей автономности[16].

23 ноября в Милане Наполеон издал декрет, расширявший знаменитые берлинские декреты: все суда и товары, принадлежащие англичанам, подлежат блокаде[17]. Строжайшее осуществление блокады представлялось императору важнейшей задачей. Пий VII, римский папа, как светский государь не считал для себя обязательными постановления о блокаде; в папских владениях продолжали вести оживленную торговлю с англичанами. Наполеон потребовал прекращения всяких связей с Британией; требование было оставлено без последствий. По-видимому, в Ватикане наивно полагали, что император, постигший важность поддержки католической церкви, не рискнет ссориться с ее главой. То были ошибочные расчеты. Наполеон стал возвышать голос. В письме, сопровождающем ноту Шампаньи римскому папе, продиктованном Наполеоном, было угрожающе заявлено, что император сумеет дать почувствовать «контраст между Иисусом Христом, погибшим на кресте, и его преемником, сделавшим из себя короля»[18]. То был почти стиль пропаганды дехристианизаторов 1793 года. Но Наполеон всегда предпочитал действия словам. Еще в ноябре 1807 года генералу Миоллису, командовавшему войсками во Флоренции, был дан приказ быть готовым к походу на Рим. В феврале 1808 года Миоллис без единого выстрела занял Рим. В мае того же года «вечный город» был включен в состав Французской империи[19].

Был ли захват Рима и Тосканы новой войной? Кто решился бы это утверждать? Ведь вся операция была проведена в лайковых перчатках, без одного выстрела, без единой жертвы. Но люди, склонные задумываться над завтрашним днем, недоуменно пожимали плечами: зачем Рим и Флоренцию присоединять к Франции? Эти города никогда не были французскими; они и не захо-

тят и не смогут стать частью Франции. Разве такие аннексии способствуют укреплению мира?

А Наполеон думал уже о большем. Психологически он, вероятно, был в состоянии игрока, сорвавшего банк — крупный выигрыш — и решившего больше не играть, не испытывать судьбу. Но вот он пошел с маленькой карты так лишь, чтобы размять пальцы,— и неожиданно крупный выигрыш. Он снова идет с маленькой, и опять негаданное везение — большой выигрыш. И вот, продолжая уверять, что он навсегда отказался от всяких азартных игр, он незаметно — одна маленькая карта, затем вторая, затем третья, и каждая приносит крупный куш! — снова втягивается, уходит с головой в игру.

Конечно, это сравнение очень условно: ведь игра, которую вел Наполеон Бонапарт, шла не на золотые — она велась на человеческие головы.

Во время пребывания в Италии в ночь с 12 на 13 декабря (по предварительному сговору) в Мантуе Наполеон встретился со своим братом Люсьеном. Из многочисленного клана Бонапартов Наполеон был более всего, вернее даже сказать, единственно обязан Люсьену: без его помощи переворот 18—19 брюмера потерпел бы неудачу. Но брат, помогавший возвышению Наполеона, ходил в изгоях и скитался где-то по свету — Бонапарт, оставшийся вне императорской фамилии, без пышных титулов, без владений, без состояния. Причина тому была прозаичной: Наполеон отказывался признать вторую жену Люсьена — некую госпожу Жубертон; он считал ее неподходящей для императорской семьи. Люсьена это оскорбляло, и он отказывался иметь дело со своим могущественным братом. Государыня-мать Летиция взяла сторону обиженного младшего сына, и по этим мотивам также затянувшаяся ссора с Люсьеном еще более тяготила Наполеона. Но в рассматриваемой связи важен не семейный и не личный аспект взаимоотношений братьев Бонапарт, а иное. Ночное свидание в Мантуе осталось не во всем выясненным; но то, что стало известным, содержит нечто важное[20]. Наполеон искал примирения с братом; он просил его формально развестись с госпожой Жубертон (так же как поступил в аналогичном случае Жером), сохраняя с ней любые неофициальные отношения. В качестве компенсации Наполеон предлагал Люсьену королевский пре-

стол на выбор — во Флоренции, в Лисабоне или Мадриде. Именно это последнее предложение и заслуживает наибольшего внимания.

Люсьен отверг все предложения; он предпочел остаться со своей обидой; примирение не состоялось. Но естественно, возникал вопрос: как мог предлагать Наполеон в декабре 1807 года испанский трон своему брату, когда трон этот не был вакантным, на нем восседал давний союзник Наполеона король Карл IV? Следовательно, уже в начале декабря 1807 года у Наполеона возникала мысль, пусть еще не отстоявшаяся, мимолетная, о возможности овладения Испанией...

19 ноября корпус Жюно добрел наконец до стен Лисабона. По единодушным свидетельствам, армия Жюно дошла до португальской столицы в крайне жалком состоянии. Шестинедельный поход не только изнурил неопытных новобранцев, но и полностью деморализовал их. В испанских селениях они грабили все, что попадалось им под руку, но не могли утолить ни голода, ни жажды. Тем не менее, когда орда оборванных солдат появилась перед Лисабоном, все члены королевского дома Браганца, бросив свои богатства и страну на произвол завоевателей, бежали на корабль и сразу же, подняв паруса, взяли курс на Бразилию[21].

Снова без единого выстрела Португалия стала добычей французской армии. Но теперь, когда французское знамя развевалось над Лисабоном и Жюно всемогущим властителем расположился в королевском дворце, у Бонапарта возникли сомнения: а зачем выполнять обязательства по договору Фонтенбло? Зачем делить с кем-то Португалию? Логика подобных рассуждений вела и дальше: вместо того чтобы делить Португалию с Испанией, не проще ли поступить с самой Испанией, как с Португалией? То была логика безнаказанного агрессора, завоевателя, не встречавшего сопротивления на своем пути.

Правда, как явствует из документов эпохи — писем, распоряжений Наполеона, крайне противоречивых и порой даже как бы взаимоисключающих[22], из свидетельств близких к нему людей, император, прежде чем решиться на этот шаг, долго колебался. Испания не Тоскана, не Португалия. В представлении политических деятелей начала девятнадцатого столетия Испания оставалась великой державой, а династия испанских

Бурбонов — одной из самых давних в Европе династий[23]. К тому же Испания много лет была союзницей наполеоновской Франции. Словом, отнять трон у испанского короля и проглотить Испанию было не просто. Задача Наполеона неожиданно облегчилась тем, что в королевской семье возник острый конфликт между королем и наследным принцем, осложняемый непомерно возросшей ролью фаворита королевы «князя мира» Годоя. Семья испанских Бурбонов дошла уже до крайней степени вырождения, и жестокая своей правдой кисть Франсиско Гойи показала это с большей убедительностью, чем любые исторические сочинения. Но все спорившие между собой члены испанской королевской семьи обращались за поддержкой к могущественному императору. Самим ходом вещей он становился арбитром в решении испанских судеб.

С двух сторон его уговаривали решиться на смелые действия. Талейран давно уже нашептывал советы следовать примеру Людовика XIV; вероятнее всего, опальный министр иностранных дел вел политику в провокационных целях. Мюрат, назначенный главнокомандующим французскими войсками, введенными в Испанию, доказывал императору в письмах с чисто гасконскими преувеличениями, что вся Испания ждет его как мессию. Мюрата вдохновляла навязчивая мечта занять самому шаткий трон Мадрида. Но Наполеон не был из тех, кто прислушивается к чужим мнениям. Даже после того, как в Испанию корпус за корпусом входили французские войска (под предлогом поддержки обсервационной армии в Португалии), Наполеон продолжал колебаться. Существует документ — письмо императора к Мюрату от 29 марта 1808 года, подлинность которого не вполне установлена, но весьма вероятна[24]. Оно примечательно тем, что показывает, как, видимо, в недолгие минуты озарения Наполеон отчетливо видел неисчислимые препятствия и фатальные последствия, которые может повлечь за собой затеваемое в Испании дело. Но доминирующим началом психологии Наполеона того времени были уже расчеты агрессора, волчьи чувства добытчика, увидевшего беззащитную жертву и готовящегося к прыжку. Они заглушили собственные предостерегающие мысли. Бонапарт опасался неблагоприятной реакции со стороны Александра; теперь прежде всего он оглядывался на Петер-

бург. Но Александр втягивался в войну со Швецией, всячески поощряемую французской дипломатией[25] Наполеон позднее говорил: «Я продал Финляндию за Испанию». Позиция России, позиция Александра имела для него решающее значение в пору колебаний. К тому же, избалованный успехом легких территориальных приращений в Италии и Португалии, он надеялся овладеть и Испанией, не снимая перчаток.

Раз решившись, он старался осуществить задуманный план с присущим ему артистизмом. Ему важно было прежде всего завоевать полное доверие короля, и наследника престола, и Годоя, и королевы — и всех обмануть. Он взял на себя роль ни в чем не заинтересованного старшего (не годами, а положением) монарха, заботящегося о чести и достоинстве своих собратьев по престолу. Когда он получил от Фердинанда, считавшего себя уже королем, письмо, в котором тот просил Наполеона признать его таковым и сообщал о своем намерении начать процесс против Годоя, Наполеон тотчас же ответил ему тонко и уклончиво. Процесса против Годоя не следует затевать. «Ваше королевское высочество не имеет никаких иных прав, кроме исходящих от матери. Если процесс ее опозорит, Ваше высочество тем самым уничтожит свои собственные права»[26]. Жозеф де Местр заметил, когда ему стало известно это письмо: «Не думаю, чтобы Людовик XIV мог написать лучше... Место, относящееся к королеве, написано... когтями сатаны»[27].

Тщательно продуманная и мастерски исполненная игра близилась к завершению. Ему удалось заманить в западню и короля, и королеву, и Фердинанда, и Годоя; все они в разное время, но по своей доброй воле приехали в Байонну *. Император ранее их прибыл туда; он согласился взвалить на свои плечи тяжкую миссию — рассудить семейные распри дружественной династии. Он оставался доброжелательным судьей, чуждым личных пристрастий, всех внимательно выслушивал, никого не торопил. Ни на секунду он не обнаружил ни малейшего признака личной заинтересованности. Только одна фраза в письме к Талейрану раскрывала его намерения: «Испанская трагедия, если не ошиба-

* В то же самое время, когда Наполеон писал дружественные письма Фердинанду, он поручал Савари заманить его в Байонну, а Бессьера предупреждал, что если он откажется ехать, то его надо немедленно арестовать (Corr., t. 17, N 13749, 13751, 13756).

юсь, вступила в свой пятый акт. Близится развязка»[28]. Она наступила 10 мая в полном соответствии с законами сценического действия, когда король Карл IV и Фердинанд отказались от своих прав на престол в пользу французского императора. Наполеон довел роль до конца. Он раздумывал, может быть даже колебался. Прошло еще около месяца, прежде чем с соблюдением всех процедурных формальностей 6 июня 1808 года Жозеф Бонапарт был провозглашен королем Испании.

Вероятно, в смысле мастерства режиссуры и тонкости исполненной им роли байоннская комедия или трагедия (она была и тем и другим) была высшим достижением Бонапарта. Он провел всю потрясающую операцию похищения трона сразу у двоих — и у отца и у сына — действительно виртуозно, не снимая перчаток. Ни одного выстрела, ни одного резкого жеста, ни одного жестокого слова — и Испания была завоевана.

Он мог торжествовать победу. Четыре столицы, четыре знаменитых города мира — Флоренция, Рим, Лисабон, Мадрид — признали первенство и власть французской императорской короны. Он гордился тем, что это было достигнуто в течение нескольких месяцев без кровопролития, без грохота пушек, без жертв. Одного мановения руки оказалось достаточным, чтобы три старинных государства Европы склонились перед трехцветным французским знаменем.

Все самые дерзкие, почти невероятные мечты превращались в действительность. Все желания исполнялись. Но если бы Наполеон мог, как Рафаэль Бальзака, взглянуть на таинственный талисман — шагреневую кожу, сжимавшуюся по мере исполнения желаний, он ужаснулся бы, увидев, как мал оставшийся в его руках лоскуток, как приблизились сроки крушения.

Апологеты Наполеона в прошлом и ныне охотно именуют режим, установившийся во Франции в 1805—1809 годах, «империей славы». Однако это распространенное выражение не более чем одна из форм наполеоновских легенд. Если бы нужно было дать какое-то краткое определение характера этой власти, то следовало бы, вероятно, сказать, что то была деспотическая военно-буржуазная диктатура генерала Бона-

парта. Новое, что отчетливо обозначилось в 1806—1808 годах,— это было бесспорное усиление деспотизма. Человек, давно забытый Бонапартом, но сыгравший когда-то решающую роль в его судьбе,— его бывший начальник (1795 года) в топографическом бюро Дульсе де Понтекулан, легкий, как будто бездумный, Понтекулан был одним из первых, кто точно определил происшедшие перемены: «Настало царство деспота»[29].

В императоре Наполеоне было уже нелегко узнать не только генерала итальянской армии 1796 года, но и первого консула после брюмера *[30]. Со времени торжественной церемонии коронации 2 декабря 1804 года, ослепившей своей помпезностью Наполеона, он продолжал жить в странном самоослеплении, мешавшем ему, человеку сильного и трезвого ума, видеть и оценивать многие явления в их истинном значении. Ему представлялось (и это легко прослеживается по его письмам, по его разговорам), что он продолжал подниматься все выше и выше по ступеням славы и могущества, что он достиг уже таких вершин, какие не достигались никем из великих людей прошлого, что его звезда ведет от удачи к удаче и что для него нет ничего невозможного.

Такие настроения у него складывались не сразу, а постепенно; они особенно усилились после ошеломляющих побед 1805—1806 годов, после разгрома Австрии и Пруссии, после Тильзита и союза с русским императором. Когда, завершив триумфальную поездку по Германии, император возвратился в Париж, все соприкасавшиеся с ним лица заметили, не могли не заметить происшедшую перемену. Францией правил повелитель, ничем не ограниченный монарх. Его политика имела определенное содержание: она защищала интересы буржуазии и крестьян-собственников. Но и те, чьи интересы защищал Бонапарт, были полностью отстранены от политического руководства и фактически лишены политических прав. Права, ничем не ограниченные, имел лишь один человек — император Наполеон.

Во внешнем положении Наполеона Бонапарта с 1804 года произошло немало изменений. Он становился,

* Понтекулан после восемнадцати месяцев отсутствия, увидев Наполеона, давшего ему аудиенцию, был потрясен происшедшей в нем переменой.

по крайней мере по видимости, год от году все более могущественным. 2 декабря 1804 года он короновался как император французов. В следующем году в Милане он возложил на себя железную корону итальянских королей. Позже он стал протектором Рейнского союза. Император французов, король Италии, протектор Рейнского союза — никогда еще в Европе не объединялись в руках одного властителя столько титулов и столь широкая власть, простирающаяся над бескрайней территорией. Но действительная власть его была еще больше. И Королевство обеих Сицилий было его вассальной вотчиной, так как во главе неаполитанской монархии стоял его брат Жозеф. Голландское королевство было под властью младшего брата Луи; Вестфальское королевство возглавлял король Жером Бонапарт. Баварский король, Саксонский король, Вюртембергский король, великий герцог Баденский, великий герцог Варшавский были полностью зависимы от могущественного французского императора. То были его сателлиты. Пруссия была оккупирована. Австрия побеждена. Вся Западная и Центральная Европа подчинялась воле Наполеона.

Эта возросшая мощь в Европе сопровождалась усилением личной власти в империи. Оппозиция, причинявшая ему столько забот в первые годы консульства и империи, полностью смолкла. Были усилены гонения на прессу; немногие газеты, оставленные в стране, подверглись новым преследованиям; их перестали читать[31]. Театры были отданы под контроль Фуше. Министр полиции в роли ревнителя искусств! Можно ли было низвести великое искусство Франции до столь позорного состояния? В переписке Наполеона сохранились его письма по поводу некоторых постановок на парижской сцене, адресованных — кому? — Фуше! * Больше всего на свете Наполеон всегда боялся быть смешным — être ridicule. Он не чувствовал, что переписка главы государства с начальником полицейского сыска о пьесах, идущих на парижских сценах, показывает его не только мелочным деспотом, она делает его смешным.

* Corr., t. 15, N 12396—12397, 12517, 12612 (последнее письмо особенно примечательно: в нем он осуждает восторженную речь президента Академии наук о Мирабо: «Что имеет общего Академия наук с политикой? Не более чем грамматические правила и военное искусство»), p. 251.

В биографии Наполеона как главы французского государства было время колебаний — начало консульства, когда он не мог окончательно решить, куда идти: пользоваться ли всеми преимуществами, которые давала поддержка народа, или поворачивать круто вправо, идти по пути монархии? Даже когда в 1804 году Наполеон провозгласил себя императором французов, он счел благоразумным называться императором Республики. Он не решился тогда стереть с фронтонов правительственных зданий великие лозунги, рожденные французской революцией, — «Свобода, Равенство, Братство». Он понимал их силу и понимал, что верность революционным традициям, хотя бы даже урезанным, даст ему больше преимуществ в борьбе с феодальными консерваторами Европы. Но время шло, и реакционное начало, заложенное с 18 брюмера в его политике, закономерно усиливалось. Бывший якобинец, республиканец, написавший «Ужин в Бокере» — произведение передовой политической мысли конца XVIII века, отворачивался от своего прошлого. Он все больше становился монархом и незаметно для самого себя подчинялся навязываемой ему извне новой морали. Раньше, чем Наполеон был побежден на поле битвы, он потерпел поражение, быть может не осознанное им и не замеченное современниками, во вневоенной сфере. Наполеона внутренне подтачивала незримая, неосязаемая, неодолимая сила старого мира, против которой он так успешно сражался в молодости. Сам того не замечая, он становился пленником обычаев, духовных норм, морали, даже внешнего облика старого общества.

Сын революции, прославленный полководец, «маленький капрал», любимый солдатами, он незаметно для себя терял все то, что составляло его неповторимую силу, и превращался в обычного, будничного, даже банального монарха. В своем дворце в Тюильри, в Мальмезоне, в Сен-Клу он хотел затмить роскошью и богатством самые знаменитые дворцы старых династий Европы. Он тратил миллионы франков на великолепие, на бьющую в глаза пышность убранства. И что же? Он превращался лишь в заурядного копииста Людовика XIV, Людовика XV. Какая жалкая роль для победителя сражений при Аркольском мосту, при Лоди!

У Бонапарта были, конечно, определенные расчеты. Создавая новое, имперское дворянство, награждая сво-

их соратников высшими титулами и огромным богатством, он полагал, что этими средствами он навеки свяжет их с имперским режимом; они будут слиты с ним прямыми материальными интересами. Полуграмотный Лефевр, ставший герцогом, или сын трактирщика Мюрат, сделавшийся королем, должны были, по мысли Бонапарта, драться насмерть, защищая свои приобретения. Вполне сознательно Наполеон наделял своих ближних сподвижников огромными богатствами; дарил им поместья, замки, заставлял их приобретать великолепные особняки и вести подобающий богатым и знатным сановникам образ жизни *. Он сам изменил революции, уничтожил республику, и он хотел, чтобы его соратники, как и он сам, стали титулованной знатью и богатейшими собственниками.

Эти расчеты были связаны с совершившимися за эти годы коренными изменениями его старых мыслей, его психологии. Идейная эволюция Бонапарта в главном была завершена. Пылкий ученик Руссо и Рейналя, убежденный республиканец и поборник равенства к сорока годам превратился в циника, без идеалов, без иллюзий, ни во что не верящего и ничего не признающего, кроме желаний своего ненасытного честолюбия. Совершившееся за двадцать лет духовное перерождение Бонапарта, отражавшее закономерную эволюцию класса, который он представлял,— буржуазии, вело его в тупик. Само мышление Бонапарта менялось; с некоторых пор он стал признавать лишь количественные измерения. Все в том же ослеплении, он наивно полагал, что на этом свете все решается количественным превосходством. Чем больше золота, чем выше богатство, чем больше дивизий будет вооружено и двинуто против неприятеля, тем выше могущество.

Кто решился бы отрицать значение в реальной жизни государства таких факторов, как деньги, армия? Конечно, они играли важную роль. Беда Бонапарта была не в том, что он признавал важность золота и военной силы, а в том, что он их абсолютизировал: «Для того чтобы управлять миром, нет иных секретов, кроме того, чтобы быть сильным; сила не знает ни ошибок, ни иллюзий»[32]. В его представлении сила штыков, сила

* Так, например, он заставил Нея за миллион франков купить и должным образом обставить особняк.

золота все решала. Право всегда на стороне сильного; в жизни важны не отвлеченные соображения, не идеи, не убеждения, а конечные результаты: «Добивайтесь успеха; я сужу о людях только по результатам их действий»[33]. То была идеология класса, который он представлял,— буржуазии, освобожденная от всех иллюзий и всех присущих ей на раннем этапе гуманистических тенденций; идеология доведенного до крайности буржуазного эгоизма, идеология агрессора, живущего по волчьим законам: волк среди волков.

Вероятно, можно было бы объяснить и проследить шаг за шагом, как на протяжении двадцати лет Бонапарт, переходя от одного разочарования к другому, постепенно превратился из защитника свободы и равенства, солдата революции в апологета волчьих законов, агрессора и палача народов. То была в концентрированном и наиболее ярком выражении эволюция его класса.

Здесь же важно подчеркнуть другое. Эта метаморфоза и стала главной причиной его личной трагедии; она привела его в конечном счете к гибели.

Культ силы, преклонение перед силой батальонов и пренебрежение к интересам и воле народа, положенные Наполеоном в основу своей политики примерно с 1805—1808 годов, были ошибочны; они влекли за собой фатальные просчеты. Бонапарт, так гибко, так реалистически, в соответствии с главными движениями эпохи строивший свою политику в начале жизненного пути, с 1807—1808 годов, именно потому что он исходил из ошибочных предпосылок, нагромождал одну ошибку на другую.

Только что шла речь о новом, имперском дворянстве. Наполеон этой мерой рассчитывал укрепить свою власть, осуществить своеобразную социальную амальгаму и приобрести в лице нового, созданного им дворянства и в лице старого, амнистированного и обласканного им дворянства верных и преданных защитников режима. Эти расчеты не оправдались. Создание новой и восстановление старой аристократии возбудили недовольство всей трудящейся Франции — рабочих, крестьян, средних слоев, интеллигенции — всех, кто остался за пределами избранной элиты, а это было подавляющее большинство нации. Не для того принесено было столько жертв и пролито столько крови, чтобы

новые герцоги и князья снова, как при старых Людовиках, пускали по ветру деньги и заставляли расступаться прохожих, проносясь в раззолоченных экипажах, запряженных шестеркой лошадей. Создание дворянства было мерой крайне непопулярной в стране. Но и те, кто должен был верой и правдой служить своему благодетелю, оказались также ненадежной опорой.

Опыт Наполеона показал и доказал, что золото не может служить материалом, цементирующим фундамент здания. Напротив, золото все разъедало, все превращало в тлен. Полководцы наполеоновской армии, его маршалы, делившие с ним почести и военную славу, превратившись в богатых аристократов, в собственников огромных имений, дворцов, больше не хотели ни воевать, ни служить. Они всего достигли, все получили, они жаждали воспользоваться плодами приобретенного. Бонапарт замечал, как с каждым годом ему становилось все труднее осуществлять то, что раньше давалось легко. Он думал, что, сыпля как из рога изобилия блага — чины, звания герцогов и князей, золото без счета — своим ближайшим сотрудникам — генералам, министрам, сановникам, он превратит их в своих верных друзей и слуг, навсегда заслужит их благодарность. Он ошибался; он вступал на зыбкую почву — в трясину корыстных расчетов, мелкого себялюбия, обмана и лицемерия, из которой никогда нельзя выбраться.

Наполеон рассчитывал, что за блага, которые он дал приближенным, они будут драться, будут служить ему верой и правдой; он их облагодетельствовал; они должны быть всем довольны. И снова просчет: все были недовольны, у каждого были на то свои причины. Брат Жозеф был недоволен тем, что ему дали захудалую неаполитанскую корону, тогда как он, старший в семье, «имел право» на французский трон. Брат Луи, король Голландии, был недоволен тем, что Наполеон не давал ему править страной, как он хотел.

Даже «маленький Жером» (он был моложе Наполеона на пятнадцать лет), получив в двадцать три года королевский трон в Касселе, в Вестфалии, захотел управлять королевством по-своему. Ему представлялось, что высшее его призвание — в покровительстве искусствам: он назначил знаменитого танцовщика Филиппа Тальони (отца прославленной Марии Тальони) балет-

мейстером королевства, а на должность первого капельмейстера пригласил Бетховена. Но Наполеона мало заботило, чтобы Кассель стал Афинами Германии; он требовал от брата прежде всего строгого соблюдения правил континентальной блокады; Жерома же эти вопросы не волновали. Между братьями росли взаимное непонимание, разобщенность.

Мюрат считал себя кровно обиженным за то, что ему не дали трон польского короля — ему очень понравилась Варшава. Талейран считал себя «морально вправе» (он больше всего заботился о морали) быть неверным императору, так как он его оскорбил, поставив ниже Камбасереса, и к тому же пренебрег его советами о пользе союза с Австрией. Камбасерес причислял себя также к «обойденным», так как при консульстве был вторым в стране, а при империи — пятым или десятым. Жюно, герцог д'Абрантес, жаловался императору на то, что его министр финансов не дал взаймы несколько миллионов банкиру Рекамье, мужу Жюльетты, за которой Жюно ухаживал. Когда Наполеон возразил, что министерство финансов существует не для того, чтобы оплачивать любовные похождения Жюно, герцог д'Абрантес причислил себя также к числу обиженных. Мармон затаил обиду в сердце потому, что при раздаче маршальских жезлов он не был включен в первый список. Император вскоре сделал Мармона маршалом и дал ему титул герцога, но обида осталась, и маршал Мармон, герцог Рагузский, ходил в числе униженных и оскорбленных. Послушать всех этих знатных господ — герцогов, князей, графов, все они были обижены императором; можно было подумать, что он у каждого что-то отнял, каждого обездолил. Новая знать — это было скопище недовольных и обиженных, у каждого был какой-то счет к императору. Эти ли недовольные, брюзжащие, чванливые сановники, целиком поглощенные заботами о своих владениях и доходах и бесконечными распрями, могли стать опорой империи?

Но ложные постулаты вели Наполеона к еще большим просчетам, имевшим для него катастрофические последствия.

Оборотной стороной его наивной веры во всемогущество силы штыков было отрицание иных важных факторов в общественной жизни. Национальные чувст-

ва, идейные убеждения, революционные стремления, патриотизм — все категории, не поддающиеся пересчету ни в миллионах франков, ни в количестве дивизий, он попросту отрицал, он не придавал им никакого значения, они для него не существовали. В молодости и позже, в первой итальянской кампании, он превосходно понимал значение этих факторов и в значительной мере благодаря им достигал успеха. Подготавливая египетский поход, он надеялся не столько на силу своей армии, сколько на «великую восточную революцию», которая должна была быть его самым важным союзником. Но по мере своего превращения в диктатора, императора, обладавшего неограниченной властью, он отрывался от действительности, он переставал ее ясно видеть и понимать. На глазах его были шоры, ограничивавшие его кругозор. Он жил, ослепленный своим кажущимся могуществом, наивно полагая теперь, что силы штыка достаточно для преодоления всех препятствий.

В Нюрнберге в августе 1806 года по приговору французского военного суда был расстрелян книгопродавец Пальм за распространение запрещенной литературы. Этой жестокой мерой рассчитывали запугать Германию, заставить всех повиноваться. Результат оказался прямо противоположным. Расстрел Пальма вызвал негодование в разных кругах германского общества и усилил антифранцузские настроения в германских государствах. Правда, порой у него наступало прозрение: «На свете есть лишь две могущественные силы: сабля и дух. В конечном счете дух побеждает саблю»[34]. Но он тотчас же забывал об этом и строил все свои расчеты на силе сабли. К тому же дух и силу духа он понимал в годы империи крайне ограниченно: он видел их главным образом в религии, религиозных верованиях. Он столкнулся с религиозным фанатизмом в Италии, затем в Египте, и это запомнилось ему на всю жизнь; он признавал религию силой и потому со времени конкордата старался поставить ее на службу своим интересам. Все остальное в годы империи представлялось ему «выдумкой метафизиков» или идеологов, как он презрительно именовал тех людей, к которым сам некогда принадлежал.

Но вот с некоторых пор в его необъятной империи стали происходить какие-то странные вещи. В Италии,

в любимой им Италии, где в 1796 году французов встречали цветами и радостными приветствиями как освободителей, десять лет спустя, в 1806 году, началось вооруженное восстание против оккупантов. Оно не приняло общенационального характера и не имело даже ярко выраженной национальной окраски. Оно ограничивалось преимущественно Калабрией и приняло форму налетов вооруженных групп, возглавляемых прославившимся в ту пору и слывшим неуловимым Фра-Дьяболо. Официальная печать изображала это движение как выступление разбойников. Движение Фра-Дьяболо, по-видимому, представляло что-то среднее между дерзким разбоем на дорогах и партизанской войной. Самым примечательным было то, что местные власти не могли справиться с «разбойниками». Живучесть отрядов Фра-Дьяболо объяснялась тем, что они повсеместно встречали поддержку итальянского населения. И в Северной и в Южной Италии народ, недавно радовавшийся приходу французов, видел в них уже не освободителей, а завоевателей, разоряющих и грабящих страну. Чтобы подавить восстание в Калабрии, туда пришлось направить армию во главе с маршалом Массена.

В Сицилии ни Жозефу Бонапарту, ни его преемнику Мюрату никогда не удавалось полностью стать хозяевами острова. То здесь, то там в разных концах вспыхивали антифранцузские выступления. Этому не придавали значения ни в Неаполе, ни в Париже, это изображали не заслуживающим упоминания. И Наполеон, считавший, что в мире все измеряется числом батальонов или золотом, не обращал внимания на нематериальную силу, которая двигала людьми, поднимала их на борьбу против французов.

В самом деле, что заставляло крестьян выступать против французов, сражаться с завоевателями? Это было нечто не поддающееся измерению ни в цифрах, ни в счете денег, ни в количестве батальонов. То было пробуждающееся национальное чувство. И оно становилось силой, с которой, хотел того Наполеон или нет, нельзя было не считаться.

Что-то совершалось и в оккупированной французами Германии. На первый взгляд все казалось вполне невинным и далеким от злобы дня. В Гейдельберге романтики обратились к далекому прошлому: их интере-

совали народные сказки, легенды средневековья. Но воспоминания о Нибелунгах и Миннезингерах заставляли думать не только о древности германской культуры — они будили национальное самосознание. В 1806—1807 годах в Берлинском университете знакомый доселе лишь любителям философии профессор Фихте читал курс лекций, ставший позже известным под названием «Речи к германской нации»[35]. Через некоторое время «Речами» Фихте зачитывалась вся молодая Германия. Даже в униженной и раздавленной Пруссии, в Кёнигсберге, городе Канта, где ютились королевская чета и правительство, наблюдалось непонятное на первый взгляд оживление. Молодые офицеры, очевидцы или участники катастрофы 1806 года — Шарнгорст, Гнейзенау, Клаузевиц в содружестве со Штейном строили смелые планы реформы и реорганизации армии[36].

Когда Наполеону докладывали о происходящем в Пруссии, в Германии, он презрительно пожимал плечами; в его представлении все решал счет батальонов; для Пруссии этот счет был крайне неблагоприятным. Впрочем, он приказал выгнать Штейна, которого незадолго до этого сам рекомендовал прусскому королю. В остальном совершавшееся в Германии не заслуживало его внимания.

Он так же пренебрежительно отнесся и к тревожным известиям, начавшим поступать из Испании. Партизанские отряды, атаковавшие французские войска, оставались для него «чернью», «скопищем разбойников», «бандами». Он был уверен, что они разбегутся и спрячутся по щелям при первых же залпах французских пушек. Когда на генерала Дюпона была возложена задача ликвидации выступлений «мятежников», Наполеон выражал недовольство, что «у него больше войск, чем это нужно»[37].

Так продолжалось до катастрофы в Байлене.

Наполеона часто называли, да и сейчас называют гениальным человеком. Он был действительно человеком необычайно одаренным. Но если настаивать на слове «гениальный», то, вероятно, правильнее всего было бы сказать, что с определенных пор он стал гениально ограниченным человеком. Кажущаяся парадоксальность этого сочетания слов означает лишь, что император Наполеон (это не относится к Бонапарту) ясно

видел окружающее его на близком расстоянии и с изумительной быстротой и точностью реакции находил головокружительные, лишь одному ему свойственные решения сложнейших задач. Лучше, чем кто-либо из его современников, он воплотил в себе все сильные стороны буржуазного мышления, буржуазного духа. Но это же стало и источником его слабости. Превратившись из буржуазного революционера в буржуазного императора, деспота, агрессора, он потерял присущую ему в молодости дальнозоркость. Он перестал понимать то, что выходило за круг корыстных интересов его класса или собственных интересов и честолюбивых своих замыслов. В ослеплении он не видел, что повсеместно в подневольных странах Европы зажигаются огоньки национально-освободительного движения, что растет национальное самосознание угнетенных народов и что оно предвестник надвигающейся бури. Он этого не видел, не постиг. Ограниченность его кругозора помешала ему разглядеть, что избранная им дорога ведет его не к триумфу, как он полагал, а к крушению.

Байонна, представлявшаяся Наполеону замечательной дипломатической победой, своего рода политическим Аустерлицем, в действительности была крупнейшим просчетом в его стратегических замыслах. Горе стратегу, разучившемуся отличать проигрыш от выигрыша! Байонна показала, что Бонапарт в опьянении легких побед потерял необходимую для полководца способность трезвых оценок[38].

Байонна, повторяя известное выражение Фуше по другому поводу, «была хуже, чем преступление; это была ошибка». Она бросила в лагерь врагов Франции все сохранившиеся на европейских тронах легитимные монархии. Похищение престола у испанских Бурбонов в пользу брата французского императора заставило всех уцелевших монархов старых династий — в 1808—1809 годах их осталось немного — заподозрить, что следующим будет кто-либо из них. Наполеону в ту пору настойчиво приписывали слова: «Скоро Бонапарты станут старейшей династией Европы». Этот афоризм можно было понимать лишь в том смысле, что остальные династии — Габсбурги, Гогенцоллерны, кто еще оставался? — должны будут исчезнуть. Весьма вероят-

но, что то была лишь выдумка противников Наполеона, но сама возможность появления такого рода фальшивок была не случайной. Политика Наполеона создавала для них благоприятную почву.

Английская дипломатия умело использовала панический резонанс Байонны в европейских столицах. С наибольшим вниманием британские обольщения воспринимались в Вене. Габсбурги считали, что после Байонны опасность приблизилась к ним вплотную. Прусского короля, сколь ни жалким было его положение, будет и дальше охранять поддержка русского императора. Но кто окажет помощь австрийскому дому, когда ненасытный Наполеон набросит свое смертельное лассо? В Байонне были заложены семена новой войны с Австрией; она ускорила формирование пятой коалиции.

Но возмездие пришло еще быстрее, и с той стороны, откуда Бонапарт менее всего ожидал.

В ту пору, когда, упоенный победой, столь блистательным завершением тонкой партии, он с присущей ему склонностью к увлечениям стал обдумывать новый грандиозный план завоевания дипломатическими средствами или силой оружия Алжира, Туниса[39], может быть даже Марокко[40], случилось непредвиденное. В так удачно завершенную партию вмешалась сила, которую он не принимал в расчет. Народ Испании, когда до него дошли сведения о байоннских решениях, сразу поняв их истинный смысл, ответил вооруженным восстанием.

2 мая вспыхнуло восстание в Мадриде; Мюрат без труда подавил его картечью, но, восстановив порядок в столице, ошибочно заключил, что «мятеж ликвидирован»[41]. В ближайшие дни восстанием были охвачены Севилья, Гренада, Сарагоса, Валенсия, с поражающей быстротой оно перебрасывалось из провинции в провинцию, оно становилось всенародным.

Известия из Испании неприятно удивили Наполеона, но не обеспокоили. С тех пор как он стал монархом и строил свою политику как цепь разных комбинаций с монархами, к народу он относился пренебрежительно. Он приказал генералу Дюпону, военные дарования которого высоко ценил[42], двигаться на юг, к Севилье. Одновременно корпус генерала Монсея был направлен к Валенсии, корпус маршала Бессьера прокладывал

путь Жозефу в Мадрид. 14 июля в сражении при Медине-дель-Рио-Сено Бессьер одержал крупную победу над двумя объединенными испанскими армиями. Через неделю, 20 июля, Жозеф торжественно вступил в Мадрид и милостиво принял испанских грандов, велеречиво поздравлявших его изысканными кастильскими приветствиями[43].

Испанская глава шла к счастливому завершению — Наполеон выехал из Байонны; неторопливо он совершал путешествие по империи, чтобы своими глазами проверить, как живут под его скипетром подданные. Его встречали повсеместно с восхищением и страхом.

В Бордо после торжественной церемонии в префектуре, благосклонно приняв пожелания населения, император возвратился в свои апартаменты, чтобы прочитать обширную корреспонденцию, которую каждый день привозили мчавшиеся через всю страну курьеры. Никто не смел мешать императору, когда он читал поступившие ему доклады.

И вдруг из покоев, занятых императором, раздался грохот падающих предметов, звон разбитой посуды, неотчетливые гневные восклицания. В мгновенном приступе ярости Наполеон бросил на пол и разбил вдребезги фарфоровый графин; в бешенстве он шагал по залитому водой ковру, ломая все, что попадалось под руку. Он прочитал донесение о капитуляции 23 июля армии Дюпона в Байлене. Пьер Дюпон де Летан, один из лучших боевых генералов, считавшийся первым и наиболее заслуженным претендентом на маршальский жезл, Дюпон дал окружить свою дивизию отрядам партизан и полкам генерала Кастеньоса и после неудачных и неуверенных маневров, не исчерпав всех возможностей, капитулировал в чистом поле[44]. Испанцами было взято в плен около восемнадцати тысяч французов. Только генералы и старшие офицеры получили право возвратиться на родину. Большинство солдат погибло в плену.

Байленская катастрофа была не только позором империи. «Он опозорил наши знамена, опозорил армию»[45],— повторял много раз Наполеон. «У меня здесь несмываемое пятно»,— говорил он, показывая на свой походный сюртук на груди. Но значение байленской капитуляции было не в том. Весть о Байлене поднялась над темным небом Европы, как красная сигнальная

ракета, возвестившая, что настал час борьбы. Наполеон это превосходно и сразу же понял. «Такие события требуют моего присутствия в Париже. Все связано между собой: Германия, Польша, Италия...»[46] Мысль здесь остается недоговоренной до конца, но ее легко понять. Байлен — это поражение империи: все враждебные ей силы поднимут голову.

Так оно и было на деле. Байлен доказал, что наполеоновская армия перестала быть непобедимой. Она сдается в плен храбрым. Байлен удесятерил силы испанского национально-освободительного движения. Наполеон утешал Жозефа, в страхе бежавшего из Мадрида и готового навсегда отказаться от этого ужасного испанского престола: «Стотысячная армия, и к осени Испания будет снова завоевана». То была еще одна ошибка. Испанию после Байлена нельзя было ни завоевать, ни победить. Наполеон до сих пор вел войну против армий; в Испании он должен был вести войну против восставшего народа. Победить его он не мог.

Известие о Байлене вдохнуло мужество в португальцев. Через две недели после капитуляции Дюпона вся Португалия была охвачена восстанием. 6 августа в Португалии высадились английские войска под командованием Артура Уэлсли, будущего герцога Веллингтона. Жюно со своей небольшой и полуразложившейся, как и ее шеф, армией был бессилен преодолеть возраставшую с каждым часом опасность. Наполеон еще ранее, до Байлена, резко порицал Жюно: «Я не узнаю человека, прошедшего выучку в моей школе». В критических обстоятельствах Жюно проявил энергию, но уже ничто не могло его спасти. 30 августа он подписал акт о капитуляции в Синтре; он утешал себя тем, что англичане добросовестно вывезли сдавшихся французов на родину, но что это могло изменить? Синтра дополнила Байлен. Две капитуляции императорской армии за два месяца — можно ли было сомневаться в значении этих событий?

Вся Германия пришла в движение. Трех лет французской оккупации в союзных и завоеванных германских государствах было более чем достаточно, чтобы повсеместно пробудить ненависть к иностранным пришельцам. Своеобразный исторический парадокс заключался в том, что за десять минувших лет социальное содержание наполеоновской политики было, если

можно так сказать, перевернуто наизнанку. В 1796 году генерал Бонапарт начал войну против европейских монархий при поддержке освобождаемых от феодального и чужеземного гнета народов. Десять — двенадцать лет спустя император Наполеон опирался на поддержку зависимых от него монархов и вел войну с народами, поднимающимися против установленного им чужеземного гнета. Удары, нанесенные на первом этапе феодальному строю в Европе французскими армиями, и проведенные им в ту пору буржуазные преобразования лишь ускорили формирование национального духа. То была живая диалектика исторического развития, но Наполеон уже не мог и не хотел ее постигнуть. Он видел теперь решение всех проблем в силе штыков. Он начинал свой жизненный путь как политический деятель, шедший в ногу с веком и опиравшийся на силы общественного прогресса. Он превратился в деспота, агрессора, завоевателя, пытавшегося в огромной, искусственно созданной им военно-деспотической империи удержать порабощенные народы в повиновении.

Эта задача была неосуществима, она противоречила неодолимым законам общественного развития: не было силы, которая могла бы задержать процесс роста и складывания независимых национальных государств. XIX век начинался как век национально-буржуазных и революционно-демократических движений. До тех пор пока Бонапарт шел в русле этого общественного потока, ветер удачи надувал его паруса. Созданная им колоссальная империя стала плотиной, пытавшейся преградить этот поток. Раньше или позже плотина должна была быть снесена потоком. Всемогущий император Наполеон, рассчитывавший со стотысячной армией в два месяца привести Испанию в повиновение, уподоблялся, не подозревая того, знаменитому герою золотого века испанской литературы — бедному идальго Дон-Кихоту Ламанчскому, правда без присущих странствующему рыцарю возвышенных иллюзий.

Перед решающим столкновением (1808—1811 годы)

Пятнадцатого августа 1808 года Париж утопал в цветах. Вечером город был ярко иллюминирован; на площади перед скоплениями народа взлетали разноцветные огни фейерверка, до поздней ночи играла музыка. Столица праздновала день рождения императора. Было известно, что накануне, 14-го, он прибыл в Сен-Клу. Пятнадцатого, выступая в день своего праздника — праздника империи, Наполеон сказал: «Я чувствую себя счастливым, возвратившись в мой добрый Париж». Он добавил, что проявление радости и преданности народа, которое он встречал на пути, создало у него впечатление, будто он никогда не покидал город.

Граф Толстой, русский посол в Париже, донося о праздновании 15 августа во Франции, выражал сомнение, так ли велика была радость народа[1]. Толстой был противником союза с Францией; все совершавшееся в этой стране он видел в черном свете[2]; поэтому к его суждениям надо относиться критически. И все же в одном вопросе Толстой был, безусловно, прав: у Наполеона в августе 1808 года, несмотря на его внешнюю безмятежность, было действительно много забот.

В письме к Жозефу 16 августа Наполеон писал: «Все происходящее в Испании крайне плачевно. Можно подумать, что армией командуют не генералы, а почтовые чиновники. Как можно было так оставить Испанию, без причины, даже не зная, что делает неприятель!»[3] Это был выговор королю Испании. Но Наполеона тревожило не только положение на Пиренейском полуострове. Трезво оценивая значение Байлена, он с должным основанием полагал, что ближайшим и наиболее вероятным последствием байленской катастрофы будет новая война с Австрией.

Австрийским послом в Париже в ту пору был граф (позже князь) Клемент Меттерних. В январе 1848 года молодой Фридрих Энгельс в статье «Начало конца Австрии» предсказал скорый конец человеку, в течение многих лет управлявшему «скрипучей государственной машиной» Австрии —«трусливому мошеннику и вероломному убийце Меттерниху»[4]. Не часто предсказания

сбывались с такой быстротой. Через два месяца, в марте 1848 года, Меттерних, переодевшись в чужую одежду, бежал из Вены в Англию, спасаясь от народного гнева.

В 1808 году он был на сорок лет моложе; то был успешно дебютировавший дипломат — элегантный, умный, лживый, дамский угодник и вкрадчивый собеседник, еле умевший прятать свои пороки под внешним лоском светского молодого человека, казалось бы думавшего только о том, как рассеять свой сплин. В поисках мнимых развлечений он завел широкие связи в Париже, и в частности подозрительную дружбу с Талейраном и Фуше, которую он делил (как и все остальные связи — келейно) с графом Толстым[15]. В зависимости от обстоятельств он прикидывался то верным рыцарем легитимизма, то человеком передовых идей, чуть ли не поборником «прав нации». При прирожденной склонности и даже таланте к секретным козням, темной и нечистой игре, выдаваемой благодаря несокрушимому апломбу за высокое искусство дипломатии, ему удалось превратить австрийское посольство в Париже в международную штаб-квартиру тайных интриг. Здесь плелась паутинная сеть, протягивавшаяся во все уголки света.

При всем том при несомненной внутренней склонности к предательству и вероломству, делавшей его особенно изобретательным в разного рода обманах, Меттерних как политик, как дипломат допускал поразительные просчеты и ошибки, но у него был счастливый дар замечать и регистрировать только ошибки других; свои собственные он никогда не признавал, и эта непоколебимая убежденность в своей постоянной и, если так можно сказать, универсальной правоте позволила ему удержать почти на полвека репутацию выдающегося государственного деятеля[6].

15 августа на большом дипломатическом приеме Наполеон спросил Меттерниха, против кого Австрия вооружается. Австрийский посол все отрицал; он стремился убедить императора в глубочайшем миролюбии Габсбургов. Наполеон не стал оспаривать доводы Меттерниха, но беседа с ним укрепила его во мнении, что в Вене готовятся к войне[7].

С июня 1808 года слухи о близкой войне между Австрией и Францией стали распространяться первоначально в узкой дипломатической сфере, а затем и в бо-

лее широких кругах. Барон Штакельберг, царский посол при берлинском дворе, доносил в Петербург, что во французских войсках, расположенных в Пруссии, с весны стало крепнуть мнение о близости разрыва между державами[8]. Но само появление этих слухов было в сущности их опровержением. Давно уже было установлено — и Жак Годшо недавно справедливо напомнил, что это стало как бы аксиомой,— наполеоновская стратегия основывалась прежде всего на внезапности[9]. Между тем слухи о вероятности войны между Францией и Австрией вновь и вновь возникали. И в июле, и в августе Штакельберг снова сигнализировал в Вену и Париж об усиливающихся разговорах о близости войны[10].

Наполеон в действительности не хотел тогда войны с Австрией. Не потому, что он обещал солдатам, что больше не будет войны; ему не раз случалось нарушать обещания, и это его не смущало. Война эта была не нужна: по Пресбургскому миру он получил от Австрии все, что она могла дать, а свержение династии Габсбургов не входило в его задачи. Он знал, что во Франции не хотят новой войны, и он сам превосходно понимал, что страна нуждается в мире. Главное же, что заставляло его уклоняться от австрийской войны,— незавершенность, чтобы не сказать хуже, начатого им «испанского дела». Ввязываться в войну на востоке до того, как будет достигнута победа на юге, противоречило всему его опыту ведения войны.

Для предотвращения войны с Австрией, как и для решения многих иных задач, у Наполеона в резерве сохранялось мощное средство, приберегаемое им для крайнего случая,— союз с Россией.

Союз этот продолжал занимать во внешнеполитических расчетах Наполеона главное место. Он ценил его чрезвычайно высоко, считал важнейшим своим достижением предыдущих лет и возлагал на него и в будущем большие надежды. В этом легко удостовериться, обратившись к деловой переписке Наполеона 1807—1808 годов, в особенности к его письмам к Савари, Коленкуру, а также к Жозефу и Евгению Богарне[11].

Эрфуртское свидание двух императоров, давно уже предусмотренное, состоялось лишь в сентябре — октябре 1808 года в обстановке, неблагоприятной для

Наполеона. Позади были Байлен и Синтра, оставшиеся неотмщенными, впереди — угроза войны со стороны Австрии. Наполеон пытался компенсировать неудовлетворительность своих позиций внешней помпезностью встречи. На свидание двух императоров были приглашены все союзные государи из многочисленных германских государств. «Партер из королей» дополнялся прославленными артистами французской сцены во главе с Тальма. Но за пятнадцать месяцев, прошедших с момента Тильзита, Наполеон лучше узнал Александра; он не представлялся ему больше добрым и доверчивым; он отдавал себе отчет в том, что фразами или театральными эффектами Александра не проведешь; тот и сам был мастер в этом жанре. И верно: «партер из королей» не произвел на Александра никакого впечатления; его черновые записи лишь трезвенно регистрируют многочисленные просьбы, обрушенные на него германскими государями. Почти все они — от герцога Мекленбургского до принца Тур и Таксис — выпрашивали повышения государственного статуса или территориальных приращений[12].

Но укрепление дружбы с Россией было Наполеону крайне необходимо. Накануне Эрфурта, 8 сентября, Наполеон подписал наконец с прусским королем договор о выводе французских войск из Пруссии *[13]. Это было сделано, конечно, не ради прусского короля, а ради Александра.

Эрфуртское свидание или, вернее, эрфуртские торжества, длившиеся две недели, проходили в двух строго разграниченных сферах. Официальная, парадная сторона Эрфурта, обращенная лицом к многолюдному, блестящему эрфуртскому обществу — «партеру королей», титулованной знати, владетельным князьям, дипломатам, маршалам, генералам, министрам, сановникам, знаменитостям искусства, первым красавицам Европы, представляла все совершаемое на сцене главными действующими лицами — а их было всего два — в розовом, почти идиллическом свете. Разыгрывались трогательная неизменность чувств, вечность дружбы двух значительных, каждый по-своему, государей, не-

* Размер контрибуции был установлен в сто сорок миллионов франков. В Эрфурте Александру I удалось добиться снижения контрибуции на двадцать миллионов франков.

рушимость союза двух могущественных империй, полное взаимопонимание, обоюдное глубокое уважение. Глядя на этих улыбающихся, оживленных собеседников, рука об руку прогуливающихся по залитым светом залам эрфуртского дворца или появляющихся верхом на конях в лесу за городом в сопровождении почтительно следующей поодаль блестящей свиты расшитых золотом генеральских мундиров, султанов, плюмажей или вечером — в ложе театра, всегда рядом, вместе, все с той же дружественной улыбкой,— кто мог бы усомниться в прочности союза?[14]

С этой показной стороны, как представление, как бьющая на внешний эффект демонстрация незыблемости франко-русского союза, Эрфурт, безусловно, удался Наполеону. Эти две недели развертывались как феерия торжественных приемов, балов, спектаклей, званых обедов, концертов, сменяющих друг друга в разнообразной и всегда интересной программе. Пребывание в Эрфурте на два дня было прервано поездкой в Веймар — Афины Германии. Герцог Карл-Август позаботился о встрече именитых гостей. Здесь было все — от охоты в парке, где под ружье августейших стрелков счастливо «попадались» олени и лани, до старомодных театрализованных приветствий цветами и стихами. Чутье большого актера вдохновляло Наполеона на удачные импровизации. На строгом, чинном обеде на шестнадцать персон — только для государей — он озадачил монархов, собравшихся за столом, удивительными познаниями в области германской истории. Когда один из собеседников, говоря о «Золотой булле», датировал ее 1409 годом, Наполеон его поправил: «Она была обнародована в 1356 году, в царствование императора Карла IV». На почтительный вопрос, как и когда его императорское величество мог изучить столь специальный предмет, Наполеон, чуть задумавшись, ответил: «Когда я был младшим лейтенантом артиллерии...» Он на мгновение остановился, еще раз оглядел важно восседающих за столом, уставленным серебряной посудой, хрусталем, яствами, монархов и поправился: «Когда я имел честь быть младшим лейтенантом артиллерии в Валансе... я много читал». В присутствии российского императора, баварского короля из династии Виттельсбахов, владеющих троном с XII века, вюртембергского, саксонского, вестфальского королей и десяти других

германских государей это небрежно-горделивое «Когда я имел честь быть младшим лейтенантом» было как грозное сверкание молнии. На время все замолчали.

Еще ранее в Эрфурте он вел долгие беседы с Гёте и Виландом. То были беседы равных. Император заставлял ждать в приемной германских монархов, но старался подчеркнуть свое уважение к прославленным писателям Германии.

Особое внимание было оказано Гёте. Наполеон приветствовал его словами: «Vous êtes un homme». Буквально это надо было перевести: «Вы человек». Но в его устах эта краткая формула значила, конечно, больше: «Вы настоящий человек!» или даже «Вы великий человек!». Беседа шла преимущественно о вопросах литературы. Наполеон признался, что он семь раз перечитывал «Страдания молодого Вертера» и брал эту книгу с собой во время египетского похода. Но конец романа представлялся ему неудачным: он ставил под сомнение мотивы самоубийства Вертера. Гёте смеялся и, отчасти соглашаясь, доказывал, что автор имеет право и на такое художественное решение, которое производит наибольшее впечатление на читателя.

Затем речь пошла о французском театре, о драматургии, о трагедии. Наполеон высоко оценивал роль трагедии: она могла бы быть школой для народов и правителей. Но в театре этого нет. Особенно резко отзывался Наполеон о трагедии судьбы. Тогда он и произнес свои знаменитые слова: «Какой смысл имеет сейчас судьба? Политика — вот судьба!»[15]

Обращаясь к Гёте, Наполеон произносил его фамилию на французский манер: «Мосье Готт». Писателю это, видимо, нравилось, по-немецки это звучало: «Господин бог».

— Мосье Готт, приезжайте к нам в Париж... Вы должны написать трагедию «Смерть Цезаря». Вы напишете ее превосходно, величественнее, чем Вольтер...

Беседа длилась более часа. Оба собеседника остались довольны друг другом. Когда вечером Гёте по приглашению Наполеона пришел в театр, Талейран почтительно проводил его на место в первом ряду партера. Первый ряд предназначался только для коронованных особ. Монархи, представлявшие старейшие германские династии, должны были смиренно потесниться. В век, когда младший лейтенант превратился в могуществен-

ного императора и короля, сын бюргера из Франкфурта-на-Майне, ставший самым знаменитым писателем Германии, автором «Вертера» и «Фауста», по праву занимал кресло в первом ряду.

Впрочем, даже в этих представлениях Наполеону не всегда сопутствовали удачи. 9 октября он писал Жозефине: «Я был на балу в Веймаре. Император Александр танцевал, а я нет, сорок лет — это сорок лет». Кажется, в Эрфурте в первый раз он стал жаловаться на возраст. Во всем остальном, если судить по его письмам, он был доволен. Камбасересу, Жозефу, Мюрату он писал краткие записки: «Все идет как нельзя лучше»[16]. То же он писал Жозефине: «Все идет хорошо. Я доволен Александром; он должен быть доволен мной; если бы он был женщиной, я думаю, что это была бы моя возлюбленная»[17].

Но все ли шло в действительности «как нельзя лучше»? И был ли он в самом деле доволен результатами встречи? Достоверные документы доказывают, что то была лишь игра. За лицевой, парадной стороной эрфуртского свидания, за дружескими рукопожатиями и улыбками скрывалась невидимая посторонним неожиданно острая борьба.

На протяжении более года Наполеон получал и от самого Александра, и в особенности от Коленкура многократные заверения в прочности дружественного союза России и Франции. Правда, тильзитский угар рассеялся быстро, трезвые расчеты оттеснили сантименты, если они когда-либо были; уже после возвращения Савари и долгих бесед с ним Наполеон понял, что Александр и сложнее и хитрее, чем он вначале предполагал. Много позже, на острове Святой Елены, сравнивая Александра с австрийским и прусским монархами, он говорил: «Русский император — человек, стоящий бесконечно выше всех остальных. Он обладает умом, изяществом, образованием; он обольстителен; но ему нельзя доверять: он неискренен, это истинный византиец эпохи упадка империи... Если я здесь умру, он будет моим подлинным наследником в Европе»[18]. В устах скупого на похвалы Наполеона это высокая оценка, и она складывалась постепенно. Перед Эрфуртом Наполеон оценивал Александра уже вполне трезво, но при этом твердо был уверен в дружеском характере встречи. В Эрфурте он почувствовал что-то новое, иное. Алек-

сандр был любезен, доброжелателен; он охотно шел в мелочах навстречу Наполеону, но это уже был совсем иной человек, чем в Тильзите. Почти по всем вопросам обнаруживались разногласия, и Александр не только не искал путей смягчения их, напротив, он ни в чем не хотел уступать. «Он стал непоколебим»,— писал Коленкур. Дело доходило до бурных сцен между ними, и Александр пригрозил, что уедет[19]. Наполеону пришлось идти на уступки. Неожиданно изменившееся поведение царя Наполеон первоначально связывал с неудачами в Испании — Байленом, Синтрой. Но видимо, было что-то еще иное; кто-то, может быть, предавал Наполеона; император даже заподозрил Ланна; по приказу императора он ездил встречать Александра и царю понравился. Александр наградил Ланна орденом Андрея Первозванного. До конца эрфуртского свидания и позже Наполеон так и не узнал правды.

А правда — ужасающая правда! — была совсем рядом. Наполеона предал и продал Талейран. Бонапарт давно относился к нему с недоверием, и именно потому, что он ему не доверял, он отстранил князя Беневентского от руководства внешней политикой. Тем поразительнее допущенная Наполеоном в 1808 году ошибка. Он возложил на Талейрана самую деликатную миссию — дать понять Александру, что Наполеон хотел бы породниться с ним, женившись на его сестре. Психологически трудно объяснить образ действий Наполеона. Как мог он доверить самые важные политические переговоры (а в то время не было ничего важнее союза с Россией!) человеку, вызывавшему его подозрения? То было удивительное ослепление, не случавшаяся до сих пор ни разу потеря интуиции. Непостижимым образом, теряясь в догадках, кто мог его предавать, он исключал из числа подозреваемых Талейрана.

А человек, которому он почему-то доверял самые важные и политически, и лично переговоры, еще в Париже вступил в тайный сговор с Меттернихом и в Эрфурте, оказавшись наедине с Александром в доме принцессы Турн и Таксис, сразу же открыто выступил против Наполеона: «Государь, зачем вы сюда приехали? На вас пала задача спасти Европу, и вы можете достичь этого, лишь возражая во всем Наполеону»[20]. Иные из исследователей полагали, что Талейран тем самым совершил «безрассудно смелый ход»[21]. Сме-

лости особой здесь не было; нельзя было сомневаться в том, что Александр захочет выслушать суждение, исходящее от оставшегося весьма влиятельным бывшего французского министра иностранных дел. Талейран пытался оправдать свое беспримерное предательство тем, что, изменяя Наполеону, он действовал будто бы в интересах Франции. То были, конечно, софизмы. Талейран действовал в своих личных интересах и в интересах Австрии. Углублявшееся на протяжении ряда лет расхождение Наполеона и Талейрана во внешнеполитических вопросах упиралось прежде всего в споры о союзе: союзу с Россией, на который ориентировался Наполеон, Талейран противопоставлял союз с Австрией. Его слепая враждебность русскому союзу имела оборотной стороной столь же слепое, безудержное преклонение перед Австрией. Начиная с 1807—1808 годов Талейран действовал фактически как агент Австрии, и насмешливо-критическое замечание Наполеона Талейрану: «А вы все тот же австриец» — имело под собой глубокую почву.

Предательство Талейрана повлекло за собой важные последствия. Хотя Александр относился к союзу с Францией гораздо трезвее, чем он изображал это Наполеону, Савари и Коленкуру, он все же считал его отвечающим в тех условиях интересам России и, направляясь в Эрфурт, был полон решимости, как это видно из письма к матери[22], укреплять этот союз. Измена Талейрана и удивительная близорукость Наполеона в свете Байлена произвели на Александра большое впечатление. Если такой человек, как Талейран, к тому же пользующийся доверием императора, призывает бороться с Наполеоном, значит, дела наполеоновской империи действительно плохи. Предательство Талейрана способствовало разладу между союзниками.

12 октября (30 сентября) была подписана союзная конвенция между Россией и Францией[23]. На основе взаимных уступок был достигнут приемлемый для обеих сторон компромисс. В преамбуле к основному тексту говорилось: «Е. в-во император всероссийский и е. в-во император французов, король итальянский, протектор Рейнского союза, желая придать соединяющему их союзу более тесный и навеки прочный характер...» и т. д.[24] «Навеки прочный...»? Два слова эти были запечатлены на бумаге, скрепленной подписями и печатями. Но

можно ли было им верить? Сличение окончательного текста конвенции с первоначальными вариантами — проектом и контрпроектом — убеждает в том, что обе стороны искали взаимоприемлемых решений и что, следовательно, союз двух держав они по-прежнему считали необходимым. Признание необходимости союза с Россией побудило Наполеона уступить в существенном для Александра вопросе — об отношениях с Турцией, и статья 8-я конвенции была принята в редакции, на которой настаивали Александр и Румянцев[25].

Затем было подписано обоими императорами послание к английскому королю Георгу III с призывом к миру. По просьбе Наполеона было условлено, что Толстой будет заменен в Париже иным послом. Дела были закончены, настал час расставания.

После показного согласия и долгих пререканий последнее прощальное свидание было неожиданно дружеским. Верхом на лошадях Наполеон и Александр вдвоем — свита на большом расстоянии следовала позади — проехали шагом за город, где Александра ожидали кареты. Они сошли с лошадей и долго еще ходили взад и вперед, оживленно беседуя. Содержание этой их последней беседы так и осталось неизвестным. Они крепко пожали друг другу руки, потом обнялись и расцеловались. Это была их последняя встреча.

Наполеон возвращался в Эрфурт медленно; лошадь шла тихим шагом; он был задумчив и ни с кем не разговаривал.

19 октября Наполеон вернулся в Париж. В порядок дня была поставлена война в Испании. Из Германии, из Италии спешно перебрасывались войска на испанскую границу. Правительство объявило дополнительный набор новобранцев. В короткий срок за Пиренеями была сосредоточена стопятидесятитысячная армия, включавшая императорскую гвардию и лучшие, отборные части. Польская дивизия, вместо того чтобы сражаться за свободу Польши, была направлена на юг — душить свободу Испании.

Ради чего велась эта война? Какова была ее цель? Шампаньи в докладе, опубликованном в «Moniteur» и редактированном Наполеоном, заявлял, что эта война ведется ради безопасности Франции; она призвана

освободить Испанию от ига «тиранов моря... врагов мира» — Англии. «Английское золото, интриги агентов инквизиции... влияние монахов» объявлялись главными источниками смуты. Но наряду с этими утверждениями, как будто воскрешавшими дух прокламаций 1796 года, в том же докладе звучали прямые угрозы «испанской черни», стремящейся к господству[26].

В разговорах с глазу на глаз, без посторонних Наполеон выражал свои мысли гораздо более откровенно. «Надо, чтобы Испания стала французской... Это ради Франции я завоевываю Испанию»[27],— говорил он Редереру, предлагая ему пост министра финансов при короле Жозефе.

В послании Сенату Наполеон писал: «Я возлагаю с доверием новые жертвы на мои народы... они необходимы для достижения всеобщего мира... Французы, у меня нет других целей, кроме вашего счастья и безопасности ваших детей»[28]. Но после стольких лет войны словам о мире переставали верить. Народ не хотел больше войны, он был ею пресыщен. И даже люди далекие от политики не могли не задуматься над вопросом, почему для достижения мира необходимо, чтобы на испанском троне сидел брат императора. Разве безопасность французских детей зависит от того, какой престол занимает Жозеф Бонапарт — неаполитанский или испанский?

В узком кругу, защищенном от всепроникающих глаз и ушей полиции, политика императора подвергалась более резкому и открытому осуждению. Дени Декри, бессменный морской министр, в молодости, до Тулона, приятель капитана Бонапарта, затем державший перед ним руки по швам, в 1808 году получивший титул графа, а позже герцога, говорил людям, которым доверял: «Он (император) сошел с ума, он полностью сошел с ума. Он погибнет сам и погубит всех нас»[29]. Родной брат Жозеф, король Испании, ради которого велась эта война, во время недолгого своего пребывания в Мадриде окружил себя людьми вроде маршала Журдана, известными фрондой против Наполеона, и говорил своим приближенным, что его долг — защитить своих новых подданных от тирании Наполеона[30]. Коленкур в Эрфурте в доверительной беседе с императором набрался храбрости сказать, что избранная им система действий, его политика в Германии, в Испании

внушают всем страх, все чувствуют себя под угрозой. «Какие же планы мне приписывают?» — спросил Наполеон. — «Господствовать одному». Наполеон пытался оправдать свои действия непредвиденными обстоятельствами — кознями одних, бездарностью других[31].

Находились люди, полагавшие, что нельзя останавливаться на полумерах и ограничиваться кулуарной критикой. Летом 1808 года были арестованы генералы Мале, Гюне, Дютерт и несколько офицеров; им инкриминировалась подготовка антиправительственного заговора в целях восстановления Республики. По-видимому, к заговору были причастны Серван, Ланжюине и, вероятно, Буонарроти; Наполеон дал директиву Фуше не предавать дело огласке[32]. Он не хотел никому давать повода ставить под сомнение его популярность в империи. То ли Фуше, воспользовавшись этими директивами, не захотел выяснить дело до конца, то ли заговор еще полностью не созрел, но дело было приглушено, хотя и внушало Наполеону немалые опасения: он подозревал причастность к нему Бенжамена Констана, Гара и, возможно, Лафайета[33] и был уверен, что в деле участвуют «анархисты». Мале был объявлен сумасшедшим, но дело не было выяснено до конца. В письме к Камбасересу 29 июня Наполеон писал: «Невозможно быть более недовольным, чем я, поведением министра полиции»[34]. Он требовал, чтобы за Фуше следили. Образ действий герцога Отрантского вызывал худшие опасения. «Что это — сумасшествие или насмешка со стороны этого министра? — спрашивал он Камбасереса две недели спустя.— Объясните мне роль Фуше во всех делах. Он сошел с ума? К чему он стремится?»[35] И все-таки, несмотря на крайнее раздражение и обоснованные подозрения против Фуше, Наполеон оставил его на прежнем посту.

Наполеон Бонапарт видел грозные симптомы общественного недовольства, проявлявшиеся то в том, то в этом. Фронда Декре, брюзжание Жозефа, прямо высказанные возражения Коленкура, тайные козни Фуше, республиканский заговор — разве все это не были звенья одной цепи? Император не хотел в том признаться даже наедине с собой. Ему все еще казалось, что народ боготворит его, что могущество его беспредельно, что ему стоит только сдвинуть брови, и все враги будут мгновенно повержены. Удивительным образом именно

в этот поздний час империи, когда кризис режима с каждым днем становился очевиднее, у императора крепла уверенность в том, что ему все дозволено, что он может достичь всего, чего захочет, что все подчиняется его воле. Когда в Испании во время невероятно трудных переходов через обледенелые горные хребты, защищаемые храбрыми до отчаянности испанскими патриотами, один из офицеров в ответ на данный ему приказ непосильной операции воскликнул: «Это невозможно!», Наполеон возразил холодно и убежденно: «Этого слова для меня не существует; я его не знаю». С тех пор он не раз повторял этот понравившийся ему собственный афоризм; он его дополнял: «Не нужны ни «если», ни «но»; надо достичь успеха — и это все».

То было странное и всевозраставшее самоослепление. Он убеждал других и незаметно сам проникался верой в неодолимое могущество воли, в свое всесилие. Это было логическим завершением всего предшествующего жизненного пути: жестоких разочарований, потери веры, удивительной цепи почти фантасмагорических успехов и на этой почве духовного одичания. Пушкин с его поразительным даром афористических обобщений сумел свести весь этот сложный, многосторонний комплекс противоречий к двум изумляющим глубиной мысли строчкам:

Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой[36].

Через десять дней после возвращения в Париж из Эрфурта, 29 октября, Наполеон покинул столицу; он сам стал во главе армии, двинувшейся в Испанию, чтобы смыть позор Байлена и Синтры.

Армия Наполеона, словно огненный смерч, прошла через Испанию, все сокрушая на своем пути. То были лучшие солдаты империи: ветераны Маренго, Аустерлица, Иены — императорская гвардия. Самые прославленные полководцы — Ланн, Ней, Сульт, Бессьер, Гувион Сен-Сир — шли под командой императора. Наполеон бросил против Испании все лучшее, что он имел, и уже одно это доказывало, какое огромное значение он придавал сокрушению противника, которого вчера еще презрительно называл «испанской чернью».

Такой армии ничто не могло противостоять: ни ре-

гулярные части, ни партизанские отряды. Они откатывались под ударами железных полков. Все же при переходе через горные хребты Сьерра-де-Гвадарама французская армия натолкнулась на яростное сопротивление испанцев. Сражение при Сомоснерра 30 ноября, в котором особенно отличились польские полки, было выиграно ценой огромного напряжения. Дорога на Мадрид была открыта. 4 декабря Наполеон вступил в столицу Испании. Некоторое время у него были колебания: восстанавливать ли Жозефа, показавшего полную неспособность и к тому же весьма сомнительного в смысле профранцузских и даже братских чувств, на испанском троне? Не лучше ли оставить заботы о лукавом, вероломном старшем брате? Но привитое с детских лет чувство клана взяло верх. Он приказал Жозефу оставаться подальше от карательной армии; он не должен пачкать своих рук кровавой расправой, он должен вернуться в Мадрид «хорошим», «добрым королем»[37].

Едва лишь вступив в Мадрид, 4 декабря Наполеон за своей подписью опубликовал декреты, свидетельствовавшие о том, что он еще не все забыл из уроков социальной стратегии. Первым декретом объявлялись отмененными на всей территории Испании феодальные права. В равной мере объявлялись уничтоженными и все личные привилегии и права, связанные с феодальным законодательством. Вторым декретом отменялись и запрещались суды инквизиции. Все имущество, принадлежавшее инквизиции, подлежало секвестру и поступало в распоряжение государства. Другими декретами на одну треть сокращалось количество монастырей в стране и монастырское имущество (закрытых монастырей) поступало в собственность государства. Монастыри и религиозные конгрегации ставились под контроль государства. В стране уничтожались все таможенные барьеры и иные искусственные преграды, установленные между провинциями государства.

Мадридские декреты Наполеона 4 декабря 1808 года имели ярко выраженное антифеодальное содержание; их прогрессивный характер не вызывал ни малейших сомнений. Недостаток этих декретов был не в их характере — в способе, которым они навязывались испанскому народу. Мадридские декреты не сыграли и не могли сыграть той роли, на которую рассчитывал На-

полеон. Испанский народ отверг их с порога: он их не принимал не потому, что они были плохи или могли быть лучше, а потому, что это были законы завоевателей. Испанцы хорошо ли, плохо ли, но сами хотели решать свои дела. Во французах они видели только завоевателей и не прислушивались ни к увещеваниям, ни к угрозам, они сплачивались во имя единой великой цели — защиты родины от чужеземцев, от французов.

Не задерживаясь в Мадриде, армия Наполеона двинулась на северо-запад. Император получил известие, что тридцатитысячная армия генерала Мура пытается ударить на Мадрид в обход французских войск. Наполеон пошел наперерез: ему не терпелось разгромить и сбросить в море англичан. Армия во главе с императором стремительным маршем шла вперед, отбрасывая все встававшее на ее пути. Но Наполеон не мог обманываться: Испания не была ни завоевана, ни побеждена. В двух километрах от дорог, по которым победно шла императорская армия, начиналась непобежденная Испания — Испания «гверильи». По всей стране шла не прекращавшаяся ни на час «малая» партизанская война. Но эта «малая война» была страшнее сражений в открытом поле.

Испанцы дрались с отвагой, ожесточением, готовностью идти на смерть. Оборона Сарагосы, в особенности вторая[38] (декабрь 1808 — февраль 1809 года), поразила весь мир мужеством и героизмом оборонявшихся. Чтобы сломить сопротивление испанских патриотов, в Сарагосу был направлен лучший из наполеоновских полководцев — маршал Ланн. Но даже когда город был взят штурмом, исход борьбы оставался неясен: драка шла за каждую улицу, каждый дом, каждый подвал, каждую дверь. Когда французы смогли наконец поднять трехцветное знамя над побежденным и разрушенным городом, им не над кем было устанавливать власть: в Сарагосе остались только мертвые. Ланн был потрясен победой, купленной такой ценой и, может быть, более страшной, чем поражение.

Не давая передышки своей армии, Наполеон гнал и гнал солдат навстречу английским дивизиям Уэлсли и Мура. Зима 1808/09 года выдалась в Испании особенно суровой. Шли непрерывные, леденящие дожди, их сменял густой снег; по плохим дорогам, увязая

в снегу, армия вскарабкивалась на горные выступы. Наполеон приказал всем идти пешком; он шел впереди, между Ланном и Дюроком, под снегом и дождем, казалось бы не испытывая ни холода, ни усталости. Со всех сторон он слышал ворчанье солдат: «Каторжники меньше испытывают мучений, чем мы». Передавали даже, что кто-то из солдат говорил: «Дать бы ему разок из ружья». Наполеон притворялся, что он ничего не слышит и ничего не видит. Ему надо было опередить англичан.

Армия поднималась все выше и выше по горной гряде. На подступах к Асторге ее нагнал наконец курьер из Парижа. Наполеон остановился; он погрузился в чтение бумаг. Некоторое время он был в раздумье. Англичане были почти окружены; еще несколько дней, небольшое усилие — и испанский поход будет увенчан великолепной победой.

И все-таки после недолгих колебаний он принял решение. Он приказал запрячь лошадей. Он не мог оставаться больше ни часу на затерянных в горах непроезжих дорогах Леона и Астурии, вдали от Франции, от Парижа. Командование армией было передано Сульту. Наполеон сел в почтовую карету и приказал гнать что есть мочи коней. 7 января он был уже в Вальядолиде. Отсюда была прямая связь с Францией. Он пробыл здесь до 16 января, рассылая приказы, запросы, требования во все концы огромной империи[39]. 23-го утром пушка во дворе Дома Инвалидов возвестила о возвращении императора. Его никто не ждал в эти дни в Париже.

Известия из Парижа, заставившие Наполеона изменить все свои планы, бросить испанскую кампанию незавершенной (чего он никогда ранее не делал) и ехать в Париж, заслуживали серьезного внимания. Из ряда источников поступили совпадавшие в главном сведения о том, что Австрия сосредоточивает на границах с Баварией и Италией крупные силы и что не сегодня-завтра следует ожидать начала войны. Одного этого было бы вполне достаточно для того, чтобы император поспешил возвратиться в Париж. Но по-видимому, еще большее впечатление на Наполеона произвело другое, казалось бы менее важное, сообщение: Фуше и Талейран, известные до сих пор как непримиримые враги, теперь постоянно появляются вместе; они ходят под

руку, демонстративно афишируя всему Парижу свой тесный союз. Это представлялось Наполеону особенно опасным. «Порок, опирающийся на руку преступления» — эта крылатая фраза более позднего времени могла быть произнесена уже в 1809 году. Наполеона интересовала, понятно, не моральная сторона этого союза — примирение двух вчерашних врагов могло произойти только на политической почве. Можно было безошибочно определить, что в основе этого неожиданного сближения лежала общность интересов. «Враг моих врагов — мой друг». Врагом, заставившим Талейрана протянуть руку Фуше, мог быть только очень сильный и опасный противник; им мог быть лишь он, император Наполеон.

Эта цепь логических заключений, побудивших Наполеона в Асторге сразу же принять решение вернуться во Францию, получила в Париже новые подтверждения. От своей матери, всегда молчаливой, сдержанной, но до старости сохранившей зоркий взгляд, он получил важные разъяснения. Ее считали далекой от парижского большого света, чуждой его интересам и потому при ней позволяли себе говорить откровенно. Волнения большого света ее действительно мало занимали, но к интересам сына она не была равнодушна[40]. Она услышала в щебетании княгини де Водемон несколько слов, подтверждавших наличие тесного союза между Талейраном и Фуше. От Лавалетта, перехватившего одно из писем к Мюрату в Неаполь, от пасынка Евгения Богарне, от Савари по клочкам до Наполеона начали доходить какие-то части, еще не соединявшиеся в целое. Но было очевидно: против него вели какую-то тайную темную игру. Доходили какие-то обрывки фраз. Передавали, что Фуше где-то говорил: «С этим надо кончать». Наполеон еще многого не знал; ему осталось неведомо предательство Талейрана в Эрфурте, он не подозревал о его секретных связях с Меттернихом; все это оставалось от него скрытым, но, еще не зная ничего достоверного, он уже чувствовал, как в 1800, 1804 году, разлитый в воздухе яд, подстерегавшие его из-за угла клинки убийц.

Через пять дней после возвращения, в субботу 28 января, он вызвал на послеобеденное время в свой кабинет высших сановников империи — Камбасереса,

Лебрена, адмирала Декре, Фуше и Талейрана. Все пришли вовремя, почтительные, слегка встревоженные; передавали, что император вернулся не в духе, и каждый опасался, не его ли заденет монаршая немилость.

Наполеон сел за свой огромный стол и пригласил всех сесть. Видимо сдерживаясь и стараясь говорить спокойно, он выражал недовольство истолкованием событий последнего времени: несомненные успехи преподносятся общественному мнению как неудачи. Высшие сановники и министры плохо выполняют свои обязанности, не соблюдают дисциплину...

Все слушали склонив головы, почтительно эту речь; они ее воспринимали почти с удовольствием, так как вопреки опасениям речь была довольно общей и, касаясь бесспорно важных вопросов — император справедливо указывал на недостатки,— не затрагивала никого персонально.

Но разговор не был закончен. Наполеон встал, и вслед за ним все поднялись. Продолжая еще развивать свои общие соображения, император, ходивший крупным шагом из одного конца громадного своего кабинета в другой, неожиданно изменил свой курс и пошел прямо на Талейрана, стоявшего прислонившись к камину. Он подошел вплотную, замолчал, некоторое время пристально вглядываясь в его лицо. В зале наступила полная тишина. «Вы — вор!» — вдруг резким голосом крикнул Наполеон, и эти слова были как удар по лицу. Талейран побледнел.

«Вы подлец!» Талейран стал еще бледнее. «Вы бесчестный человек... Вы всех предавали и обманывали! Для вас нет ничего святого! Вы бы продали родного отца!»

В приступе неукротимой ярости резким, прерывающимся голосом Наполеон бросал оскорбления — короткими фразами, отделенными паузами, словно бил по лицу. Он ему все напомнил: и нашептывания во время дела герцога Энгиенского, из которого он хочет выйти теперь сухим, и его настойчивые уговоры впутаться в дело с Испанией, и как теперь на всех перекрестках он осуждает и хулит войну за Пиренеями. Он все ему перечислил: весь длинный список предательств и преступлений; в нем недоставало главного — эрфуртской измены; о ней он не знал.

Талейран, смертельно бледный, не произнося ни слова, стоял неподвижно. Все молчали, и в огромном кабинете раздавался только гневный голос императора. Он закончил свои обвинения неожиданно:

— Почему я вас не повесил на решетке площади Карусель? Но берегитесь, это еще не поздно! Вы, вы...— гнев его душил; он не находил, видимо, нужного слова и наконец выкрикнул грубо: — Вы дерьмо в шелку!

И крупными шагами он пошел к двери и с грохотом ее захлопнул[41].

Когда все вышли и в соседней комнате Сегюр обратился к Талейрану с вопросом, почему так долго шло заседание, тот, погруженный в свои мысли, видимо не вслушиваясь или не понимая, о чем его спрашивают, ответил, думая совсем о другом:

— Есть вещи, которые никогда не прощаются.

На другой день к Талейрану пришел Савари. Талейран, видимо, ждал этого посещения и сразу поднялся.

— Что — в Венсенн или Гам? — спросил он.

— У меня нет никаких приказаний относительно вас,— отвечал герцог Ровиго. Он ограничился тем, что объявил: князь Беневентский лишен звания обер-камергера.

Странным образом Наполеон повторял ошибку Робеспьера. Бросив публично в лицо Талейрану обвинение, косвенно, через Талейрана ударив и по Фуше, он оставил того и другого на свободе. Более того, он сохранил за ними общественное положение, влияние, возможность безнаказанно приносить вред. Это значило сохранять в штабе армии на высших командных постах изменников и врагов. Наполеон в 1809 году не знал еще, что тот и другой изменники в самом точном значении этого слова. Но он уже достоверно знал, что они враги. Разве этого не было достаточно, чтобы их уничтожить? Император проявил странное великодушие или пренебрежение к опасности. Некоторые из современников расценили это труднообъяснимое поведение как слабость.

Талейран, убедившись, что ему не грозит ни расстрел, ни даже тюрьма, не стал терять времени. На следующий же день после страшной сцены у императора, в воскресенье, он нашел способ встретиться с глазу на глаз с Меттернихом.

Эмиль Дард, знакомившийся с неопубликованными документами Меттерниха в венском архиве, обнаружил предусмотрительно спрятанное среди второстепенных бумаг, зашифрованное особо секретным шифром донесение Меттерниха от 31 января, сообщавшее о беседе с Талейраном: «Он мне сказал позавчера, что час настал; он считает своим долгом вступить в прямые отношения с Австрией... Он сказал далее, что цели, преследуемые Австрией, являются и его целями и что ему ничего не остается, как вместе с нею восторжествовать или погибнуть»[42]. Человек практического склада, Талейран в той же беседе, как доносил австрийский посол, попросил за оказываемые услуги несколько сот тысяч франков[43].

Конечно, предложенные услуги были приняты. Но в моральном облике Меттерниха были черты, в чем-то сходные с Талейраном. Он был тоже не лишен практической жилки и трезво рассудил, что Талейрану в его рискованном положении не приходится особо выбирать. Вместо нескольких сот тысяч ему для начала были даны лишь сто тысяч. Остальные еще надо было заработать.

Тайное сотрудничество, установленное 29 января, продолжалось и до и во время войны. Предвидя, что, когда стороны вступят в войну, прямые сношения будут невозможны, Талейран договорился с Меттернихом и о будущем: было условлено, что секретные сведения (в обмен на золото) будут переправляться через банкира Бетмана, связанного с русским и австрийским правительствами[44]. Талейран служил Австрии не за страх, а за совесть. Он переправлял в Вену самые секретные государственные документы: дипломатическую переписку с Петербургом, директивы послам, сведения о расположении войск, военные планы. Хладнокровно совершая эти беспримерные акты государственной измены, караемые расстрелом, Талейран в то же время писал Наполеону почтительно-восхищенные письма и, действуя, как обычно, через дам — госпожу де Ремюза, госпожу де Лаваль, даже через королеву Гортензию[45], старался вернуть себе расположение императора. Наполеон не отвечал на его письма и отверг домогательства дам; он перестал обращать внимание на Талейрана. Это, вероятно, было одной из его серьезных ошибок.

12 апреля 1809 года вечером, находясь в театре, в опере, Наполеон получил известие о том, что австрийская армия 9-го переправилась через реку Инн и что ее передовые части вступают в Мюнхен.

Сообщение это не было неожиданностью для Наполеона. Почти два года Австрия готовилась к войне[46], а начиная с весны 1809 года сосредоточила на своих границах столь крупные силы, приведенные в полную боевую готовность, что с часу на час надо было ожидать наступательных операций[47]. И если Наполеон медлил и не начинал опережающих противника действий, то только потому, что политически для своего союзника России и для общественного мнения своей страны ему важно было, чтобы инициатива развязывания войны исходила от Австрии.

Он и в самом деле не хотел этой войны. Но война была начата; выбора не было, и, написав еще несколько писем во все концы света[48], Наполеон в три часа ночи сел в походную коляску, и лошади помчали его на восток. 15-го он был уже в Страсбурге, 18-го — в Ингольштадте, где принял непосредственное руководство операциями. Он сразу же отдал приказы о перегруппировке войск, сосредоточивая их в ударный кулак, и начал боевые действия.

В течение ближайших пяти дней в так называемой Регенсбургской операции, осуществленной армиями Даву и Лефевра под руководством Наполеона, французы принудили австрийцев к отступлению и в завершающем сражении при Экмюле 22 апреля нанесли эрцгерцогу Карлу тяжелое поражение. Потери австрийцев составляли сорок пять тысяч, французская армия потеряла шестнадцать тысяч. В ходе сражения Наполеон был легко ранен в ногу, но оставался в строю. Путь на Вену был открыт. 11 мая приказы Наполеона были даны уже из Шёнбрунна; 13 мая столица Австрии была полностью занята французскими войсками[49].

Австрийская кампания 1809 года началась с громких побед, и это имело существенное значение для ее последующего хода и исхода. Эта начальная стадия войны показала, сколь ошибочны были расчеты Меттерниха, дезориентировавшего свое правительство преувеличениями слабости Наполеона. Образование комплота Фуше — Талейран Меттерних расценивал в декабре 1808 года как доказательство глубокого кризиса

режима[50]. Он переоценивал также влияние неудач в Испании на боеспособность французской армии и степень общественного возмущения в Пруссии и остальной Германии. Словом, Меттерних, как это и позже с ним часто случалось, допускал грубые просчеты. «Я еще не умер»,— заметил Наполеон, когда до него дошли оптимистические прогнозы, чтобы не сказать бахвальство, его противников. Экмюль доказал, что эта краткая реплика была вполне уместна. Такого начала войны ни в Вене, ни в Берлине, ни в Лондоне — нигде не ожидали. Талейран написал почти раболепное письмо Наполеону, поздравляя его с блистательными победами[51]. Три года австрийцы рвались в бой, они «жаждали войны», перестроили свою армию, переучили ее, заимствовав французский опыт, создали обширные резервы в виде ландвера, выдвинули новых молодых генералов, и вдруг такой неожиданно скандальный дебют.

И все-таки даже при этом блестящем начале, показавшем, что еще рано хоронить Наполеона, эта война была во многом непохожа на прежние. Дело было не только в том, что Франция должна была вести ее при неблагоприятных условиях, фактически на два фронта. Около трехсот тысяч солдат завязли в Испании. Армии, действовавшие в Германии, в большинстве своем состояли из новобранцев и иностранных полков, немцы из стотысячной армии Рейнского союза не проявляли энтузиазма, сражаясь с австрийцами, в которых они видели родственный им народ. В Тироле с 9 апреля вспыхнуло национально-освободительное восстание тирольских крестьян под руководством Андреаса Гофера. Тирольские патриоты действовали в сговоре с венским двором, что вряд ли усиливало их позиции. Но тогда как эрцгерцог Карл начал с поражения, крестьянский вожак Гофер в сражении при Изеле одержал победу, освободившую Тироль от франко-баварского гнета[52]. На севере Германии действовали «гусары смерти» майора Шилле, отряды немецких патриотов Дёрнберга и более мелкие партизанские группировки. Но эти немецкие патриотические силы еще оставались разрозненными и не представляли серьезной опасности. Они, как и победоносно действовавшие повстанцы Тироля, пока еще были важны как грозный

симптом: они выступали предвестниками надвигавшейся народной бури.

Новым, непохожим на прежние войны было и боевое настроение, и воля к борьбе австрийской армии. В войне, которую вела Австрия, сливались воедино две различные и в какой-то мере противоположные тенденции. Не подлежит сомнению, что австрийское дворянство, как и венгерское, было враждебно к наполеоновской буржуазной Франции прежде всего потому, что опасалось французского антифеодального законодательства, отмены крепостного права, введения буржуазного Гражданского кодекса Наполеона и т. п. К этому примешивались и династические интересы Габсбургской монархии, после падения испанских Бурбонов вновь поднявшей знамя легитимизма. Но наряду с этой открыто реакционной тенденцией все сильнее проступала иная, исторически прогрессивная — стремление австрийского народа сохранить и отстоять свою национальную и государственную самостоятельность. Народы Австрийской империи не хотели участи Пруссии или Вестфалии; они не хотели жить под пятой иноземных завоевателей. Именно эта вторая тенденция, выражавшая национальные стремления австрийского народа, и придавала его армии стойкость, упорство и волю к борьбе, отсутствовавшие в кампаниях 1796—1797, 1799, 1800 и 1805 годов *.

Наполеону пришлось в этом убедиться вскоре же после занятия Вены. Падение столицы не было воспринято как конец войны; оно не сломило воли народа. Напротив, неудачи еще более ожесточили народ и армию; сознание опасности умножило их силы. Наполеон недооценил совершившиеся изменения, он судил об австрийской армии по старинке. 21 мая с острова Лобау, расположенного в рукаве Дуная, соорудив легкий понтонный мост, Наполеон переправил на правый берег армию и атаковал между Асперном и Эсслингом армию эрцгерцога Карла. Сражение, продолжавшееся два дня, отличалось беспримерным ожесточением и кровопро-

* Современники это хорошо понимали. Коленкур, желая воздействовать на Александра I, доказывал ему, что в этой войне «порядок» защищает Наполеон, тогда как Австрия представляет революционное начало. Он утверждал даже, что император Франц II «такой же якобинец, как Марат» (*А. Вандаль*. Наполеон и Александр I, т. II, стр. 85).

литием; позиции переходили по нескольку раз из рук в руки; но, несмотря на все усилия французов и понесенные ими потери, особенно высших военачальников (Ланн был смертельно ранен, генерал Сент-Иллер убит), двухдневная битва закончилась поражением армии Наполеона. Асперн и Эсслинг остались в руках австрийцев; французская армия, с трудом сохраняя порядок, должна была отступить на исходные позиции. Ф. Энгельс, крупнейший знаток военных вопросов, охарактеризовал Асперн «как первое поражение императора Наполеона, который был разбит здесь эрцгерцогом Карлом» *.

Эсслинг произвел огромное впечатление во Франции и в Европе. Хотя Наполеон в опубликованном им бюллетене[53] всячески превозносил доблесть французских войск и объяснял отступление исключительно разрушением мостов, правда о проигранном сражении облетела весь мир. Парижская биржа ответила на Эсслинг резким падением всех курсов. Когда стали известны официальные сообщения австрийцев, торжествующих великую победу, в кругах, близких к императорскому двору, наступило глубокое замешательство. Несдержанная Полина воскликнула: «Если он погибнет, что станет со всеми нами? Нас попросту перережут»[54]. Эти слова перепуганной принцессы охотно передавали из уст в уста все недруги империи.

После Байлена и Синтры Эсслинг был воспринят как свидетельство кризиса империи. Поражение на этот раз потерпел не рядовой генерал вроде Дюпона, а сам император. Он непосредственно руководил сражением, и с ним были его лучшие маршалы — Ланн, Массена, Даву, и все они оказались бессильны против австрийцев. Престижу империи был нанесен большой урон.

Положение осложнилось еще тем, что на Пиренейском полуострове после отъезда Наполеона дела пошли из рук вон плохо. Жозеф и начальник его штаба Журдан не могли заставить маршалов считаться с их распоряжениями; Сульт и Ней действовали как им заблагорассудится. Сульт, успешно начавший операции против англичан в Португалии, нанес поражение генералу

* Во французской литературе сражение 21—22 мая 1809 года называют обычно Эсслинг, в немецкой — Асперн (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Соч., т. 14, стр. 64; *Marbot*. Mémoires, t. II, p. 174—207).

Муру и занял Опорто. Но вместо того чтобы воспользоваться плодами победы и закрепить ее в военном и политическом отношении, Сульт пустился на авантюры[55]. Чувствуя себя полновластным хозяином оккупированной страны и считая, что Наполеона, завязшего в австрийской войне, можно будет поставить перед совершившимися фактами, Сульт решил провозгласить себя королем Португалии под именем Николая I. Он был, видимо, настолько увлечен этой вздорной идеей, что проглядел десант англичан под командованием Уэлсли, занявший Лисабон. Теперь пришлось думать уже не о португальской короне, а о спасении своей армии. Удержать позиции ему не удалось. Он должен был отступить под натиском англичан. Отступление Сульта повлекло за собой отход из Галисии маршала Нея. Прославленный маршал также был более увлечен непотухающей враждой к Сульту, нежели непосредственными задачами борьбы с противником[56].

Поражение под Эсслингом, неудачи в Испании, пробуждение национально-патриотического движения в оккупированной Германии — не есть ли это начало конца? Этот вопрос задавали многие, в особенности враги Наполеона.

Наполеон отдавал себе отчет в том, что враждебные ему силы поднимают голову. Но в час опасности он сохранил величайшее хладнокровие. Его главные усилия были направлены на то, чтобы обеспечить решающий перелом в ходе войны. Противник оказался значительно сильнее, чем в прежних кампаниях. Значит, надо лучше подготовиться к предстоящему сражению. Хотя остров Лобау, по мнению многих, не был идеальным плацдармом для развертывания наступательных операций, Наполеон по политическим соображениям, которые никогда не отделял от чисто военных, не считал возможным его оставить. Остров был бы немедленно занят австрийцами. Общественное мнение восприняло бы это как крупную победу Австрии. Следовательно, надо было сперва зацепиться на острове, затем построить несколько прочных мостов, способных выдержать любые испытания, наконец, накопить в должном количестве силы наступления. Переодетый в форму сержанта, дабы не быть узнанным, со своей свитой в солдатских мундирах Наполеон то в одном, то в другом конце острова наблюдал и проверял, как ведутся работы по сооруже-

нию мостов, как строятся укрепления, каковы настроения солдат.

Как ему было свойственно в минуты опасности, он вел игру на обострение. Нараставшие разногласия с римским папой он решил радикальным образом. 17 мая 1809 года папа был лишен светской власти, а папские владения присоединены к Франции. Но «святой отец» не желал примириться с произволом своевольного монарха, которого пять лет назад он короновал как императора французов. Исправляя прежние ошибки, он предал осуждению нечестивого императора, посягнувшего на священные права Ватикана. 5—6 июня по приказу Наполеона французские солдаты вошли в священные покои главы католической церкви и вывезли Пия VII из Рима[57]. Не ожидавший такой святотатственной дерзости, римский папа опубликовал буллу, отлучавшую Наполеона.

Обращает на себя внимание прежде всего дата этого смелого акта. Римский папа был арестован и стал пленником императора через две недели после Эсслинга. Наполеон этим как бы хотел сказать: пусть никто не думает, что император французов напуган и стал покладистее; напротив, он всем покажет, что есть еще порох в пороховницах[58]. Людям начала XIX века, когда власть церкви была весьма велика, дерзновенные действия Наполеона, не побоявшегося чуть ли не посадить на гауптвахту «святого отца», представлялись потрясением всех основ, святотатством, кощунством. Не только католики — все сторонники церкви и порядка негодовали. Наполеона были готовы снова объявить «исчадием революции». Люди левых взглядов не могли, естественно, возражать против этого акта, но им оставалась непонятной логика этих действий. Для чего было заключать конкордат, чтобы через пять лет вступить в открытый конфликт с католической церковью? Не могло не смущать и превращение Рима и Папской области в один из департаментов Французской империи. Можно было как угодно относиться к римскому папе, но при самом пылком воображении нельзя было считать «вечный город» одним из французских городов.

Наполеон зорко следил и за тем, что делалось в вассальных королевствах и в метрополии — в Париже. Три брата — три короля восседали на тронах, две сестры были государынями; вся Западная Европа была под

властью династии Бонапартов. Но что толку из того? Три брата — три короля, а помощи нет ниоткуда, и не братья-короли помогают ему, а он им должен оказывать помощь. И из Шёнбрунна в Мадрид, в Амстердам, в Кассель несутся курьеры с суровыми письмами — осуждениями братьев-королей[59].

Из далекой Вены Наполеон не спускает глаз с Фуше. Этот увертливый министр полиции с каждым днем ему кажется все подозрительнее. Император шлет ему резкие письма, читает нотации, делает выговор *. «Наполеон еще не умер» — пусть это запомнят все.

5—6 июля 1809 года произошла наконец битва, к которой Наполеон готовился два месяца,— знаменитое сражение под Ваграмом. Битва отличалась крайним ожесточением, и потери с обеих сторон были велики. Ваграм закончился победой французского оружия; австрийская армия должна была отступить[60].

С точки зрения военного искусства Ваграм был подготовлен и проведен Наполеоном артистически. В ходе сражения он применил новинку — удар тараном: для прорыва центра противника были двинуты сомкнутыми рядами три дивизии под командованием Макдональда; им действительно удалось прорвать фронт неприятеля, и этот прорыв имел решающее значение для исхода сражения. Когда Даву одновременно начал обходить фланг противника, эрцгерцог Карл, опасаясь худшего, дал приказ об отступлении.

И все-таки Ваграм был совсем не похож ни на Аустерлиц, ни тем более на Иену. Австрийская армия не была ни уничтожена, ни сокрушена. Она отступила в полном порядке и, вероятно, через короткое время смогла бы снова ввязаться в битву такого же масштаба. А Наполеон уже чувствовал, что победа одержана ценой огромного напряжения сил и что ему было бы крайне тяжело идти еще на одно сражение, столь же ожесточенное, как Ваграм.

Император шумно праздновал одержанную победу. Бертье был пожалован титул князя Ваграма, Даву —

* «Фуше занимается болтовней о внешней политике, а не своими обязанностями» (*Lecestre*. Op. cit., t. I, N 448, 20 mai 1809); «Надо сказать правду: полиция не умеет читать» (Ibid., N 486, 26 juillet).

князя Экмюля, Массена — несколько двусмысленно звучавший титул князя Эсслингского. Макдональд, Мармон и Удино получили звание маршалов. Все трое были многоопытными боевыми генералами, но в армии вполголоса спрашивали: могут ли три новых маршала заменить одного погибшего Ланна? За этим вопросом вставал и иной: весит ли отлитая в золото и бронзу слава Ваграма больше, чем легкая, не отмеченная никакими наградами победа при Монтенотте?

Впрочем, жизнь не оставляла времени для раздумий. Едва лишь одержав победу под Ваграмом, Наполеон должен был готовиться к продолжению борьбы и новым битвам. Но был ли он все так же уверен, что ему светит, как и раньше, счастливая звезда?

Ему повезло: эрцгерцог Карл, при выдающихся военных способностях не отличавшийся твердостью характера, был склонен также прекратить войну[61]. 12 июля в Цнайме он предложил заключить перемирие, и Наполеон сразу же принял предложение. За перемирием последовали переговоры о мире, закончившиеся 14 октября подписанием Шёнбруннского договора. Австрия потеряла юго-западные и восточные провинции, должна была уплатить контрибуцию в восемьдесят пять миллионов франков и обязалась сократить свою армию до ста пятидесяти тысяч человек[62].

Ранней осенью в Шёнбрунне Наполеон получил письмо от Марии Валевской; она спрашивала, хочет ли он видеть ее в Вене.

Он ответил письмом, в котором нельзя было не чувствовать искреннюю взволнованность. Он приглашал Марию приехать как можно скорее, уверял в своей преданности, любви. Письмо заканчивалось такими словами: «Я покрываю Ваши прелестные руки тысячами самых нежных поцелуев и одним-единственным — Ваши прекрасные уста»[63].

Мария Валевская приехала. Она поселилась в живописном селении Модлинг, недалеко от Вены. Каждый вечер из Модлинга в Шёнбрунн стремительно неслись экипажи. В один из вечеров Мария призналась, что ждет от него, от Наполеона, ребенка, наверное сына.

У него будет сын от женщины, которую он любит. Чего же еще желать?

Было несколько дней, светлых, солнечных дней октября в Вене, когда ему казалось, что счастье найде-

но! Оно здесь, во всем: и в неярком свете осеннего солнца, и в золотых волосах Марии, и в плененных австрийских знаменах, и в славе Ваграма, и в будущем, давно желанном сыне — наследнике императорской короны, продолжателе династии.

Наполеон был полон самой нежной предупредительности к Марии. Он был внимательнее, чем когда-либо, старался угадывать ее желания, был заботлив.

Сколько длилось счастье? Оно оказалось недолгим. Этот неугомонный корсиканец, всегда что-то ищущий и к чему-то стремящийся, он не мог удержать счастье в руках, не мог его зажать в кулак; оно просачивалось между пальцами.

Неожиданно к нему пришли мелкие, суетные мысли. Сын от польской графини? Подходит ли это великой империи? Он уже привык облекать простые, трезвенные, продиктованные жестким расчетом мысли в выспренние, торжественные фразы, над которыми сам пятнадцать — двадцать лет назад, в дни якобинской юности, издевался бы. Наследник престола, сын чужеземной, польской графини — примет ли это французский народ? Не оскорбит ли это чувства французского величия?

Логика этих сомнений возвращала Наполеона к тешившей его тщеславие, ставшей уже привычной мысли: только принцесса старейших императорских династий — из дома Романовых или дома Габсбургов — может быть матерью наследника его славы и престола.

Он простился с Марией Валевской торопливо, почти холодно, объяснив наспех, что неотложные государственные дела требуют его возвращения в Париж. О будущем не было сказано ни слова.

Вскоре у Валевской родился сын; его назвали Александр-Флориан-Жозеф-Колона. В историю он вошел под именем графа Валевского, министра иностранных дел Второй империи; он председательствовал на Парижском конгрессе 1856 года, завершившем Крымскую войну. Тогда его имя было у многих на устах. Иным даже казалось, что это начало восхождения по лестнице славы. Но Наполеон III — племянник великого императора (если он только был действительно его племянником) — не склонен был поощрять успехи прямого сына основателя династии. Граф Валевский должен был

отойти в сторону; он затерялся в толпе мелкой придворной знати и в 1868 году умер.

Наполеон, вернувшись в Париж, сразу забыл и о сыне, и о женщине, без которой, как ему недавно казалось, нет жизни. По-видимому, он был даже доволен, что не поддался сантиментам, непростительной слабости. Он энергично потирал свои маленькие руки. Пора, давно пора увенчать здание империи блистательным браком с царственной особой из самых знаменитых монархий. После возникших затруднений — они еще не были явными, но он их угадывал — с проектами брака с сестрой Александра I он все больше склонялся в пользу династии Габсбургов. Тысячелетняя монархия — это чего-то стоило! Камбасересу были уже даны указания основательно ознакомиться с этим возможным вариантом.

Наполеон был доволен; он даже что-то насвистывал. Он сам, инстинктивно, избежал подстерегавшей его опасности; он был теперь снова на верном пути.

Бедный, бедный корсиканец, позволивший ослепить себя позолотой имперского скипетра! Он прошел мимо простого человеческого счастья, приблизившегося вплотную: протяни только руку — оно рядом, достанешь, и заменил его мишурой внешнего блеска, обманчивого, лживого, заставившего позднее с ужасом и горечью вспоминать о роковых просчетах.

Наполеон вышел победителем из войны, грозившей ему неисчислимыми опасностями. Министр иностранных дел Шампаньи рассылал во все концы света победоносные реляции. Империя еще раз доказала несокрушимую мощь, а император — военный гений; кто решится еще им противостоять? Но люди, ближе наблюдавшие императора, утверждали, что они никогда его не видели таким сосредоточенным, хмурым, мрачным, как в дни пребывания в Шёнбруннском дворце. Передавали, что он чем-то болен, подвержен каким-то приступам. Дурное настроение императора чаще всего объясняли смертью Ланна. Наполеон был потрясен его гибелью; Ланна он любил и ценил больше всех; только от него одного он готов был выслушивать правду. Была распространена версия, будто умирающий Ланн, к которому Наполеон приходил дважды — утром и вечером, высказал ряд горьких истин и резко обвинил Бонапарта. Наполеон в своих мемуарах передал правди-

вый рассказ, как Ланн, лишившись обеих ног и чувствуя, что жизнь покидает его, сердился, ругался и цеплялся за Наполеона; он надеялся с его помощью остановить надвигавшуюся смерть[64]. Такие вещи нельзя придумать; это была правда. Но весьма возможно, что это была лишь часть правды, а другую, тяжелую и трудную для Наполеона правду он не рассказал. Новейшие исследователи склонны принять за истину старую версию о горьких словах Ланна[65].

Но как бы много ни значила для Наполеона гибель Ланна, ею нельзя объяснить его тягостное состояние. Он был солдат, он близко и часто видел смерть; он испытал уже и смерть Мюирона, Дезе, многих близких ему людей. Причина его дурного расположения духа была глубже: он не мог не чувствовать зыбкость почвы, на которой возвышалось казавшееся таким монументальным и прочным здание великой империи.

В Вене случилось странное происшествие. Во время смотра войск перед Шёнбруннским дворцом генерал Рапп, находившийся в свите императора, обратил внимание на юного, хорошо одетого немца, настойчиво добивавшегося возможности лично переговорить с императором. Что-то напряженное во взгляде этого внешне спокойного и сдержанного молодого человека показалось Раппу подозрительным. Он приказал его задержать и обыскать. Арестованный назвал себя Фридрихом Штапсом, сыном пастора, студентом, семнадцати лет. При нем был найден портрет молодой девушки и большой кухонный нож. На вопрос, зачем он взял с собой нож, он ответил хладнокровно: «Чтобы убить Наполеона».

Императору доложили о происшедшем, и он приказал привести к нему Штапса. «Почему вы хотели меня убить?» — спросил он молодого немца.— «Потому что вы приносите несчастье моей стране».— «Я вам причинил зло?» — «Да, как всем немцам». Спокойствие этого юного студента поразило Наполеона; он заподозрил, что перед ним сумасшедший, маньяк, и приказал своему врачу Корвисару освидетельствовать его. Корвисар подтвердил, что Штапс совершенно здоров.

Видимо, что-то в этом собранном, непоколебимо уверенном в своей правоте молодом человеке нравилось Наполеону; может быть, он чем-то напомнил ему собственную юность в Валансе, Оксонне? Он обещал ему

сохранить жизнь, протягивал руку примирения при одном лишь условии признания своей вины или какой-либо другой формы просьбы о прощении.

Штапс холодно, почти высокомерно отказался от всякой милости со стороны Наполеона. Старательно подбирая точные слова, он выразил «самое глубокое сожаление о том, что не сумел выполнить поставленной задачи...». «Черт вас возьми! Можно подумать, что преступление для вас ничего не значит!» — вскрикнул потерявший сдержанность Наполеон. Штапс ответил так же холодно и уверенно: «Убить вас — это не преступление, это долг».

Могущественный монарх, властитель величайшей империи, всесильный самодержец, перед которым все трепетали, он должен был почувствовать свое бессилие сломить волю этого дерзкого, несокрушимого в своей убежденности мальчишки. Тщетно Наполеон уговаривал его, предлагал выпустить на свободу, вернуть невесте, семье, если только он обещает не возобновлять попыток убийства. Штапс от всего отказался.

17 октября 1809 года Фридрих Штапс по приговору военного суда был расстрелян. Перед смертью он крикнул: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия! Смерть тиранам!»

Наполеон на всю жизнь запомнил этого юношу с таким твердым взглядом ясных глаз. Он вспоминал о нем на острове Святой Елены.

Наполеон был человеком действия, и он не мог себе позволить предаваться раздумьям, пусть даже горестным и критическим. Надо было безотлагательно реализовать все возможные преимущества одержанной над Австрией победы. Продолжая идти все тем же ложно избранным путем, ведшим его от одной ошибки к другой, Наполеон спешил завершить победоносный мир политическим браком. Он наивно полагал, что, породнившись с одним из царствующих домов великих держав Европы, он тем самым укрепит свою династию. Это «династическое безумие» — повторим еще раз выражение Маркса — завело его так далеко, что, наткнувшись на фактический отказ Александра выдать за него замуж свою сестру *, он решил жениться на дочери

* Когда Александр еще в Эрфурте сказал, что решение вопроса о браке зависит не от него, то была сущая правда. При резко враж-

австрийского императора, против которого на протяжении тринадцати лет четырежды вел войну. В Вене первые же матримониальные намеки были восприняты с величайшей готовностью. Дом Габсбургов, имевший богатый опыт беспринципных сделок в любой сфере, и особенно в сфере династических брачных комбинаций, рассматривал сватовство победителя как счастливую находку. Все, начиная с Меттерниха и кончая оплачиваемым австрийцами Талейраном, обнаружили вдруг удивительную расторопность, не проявлявшуюся ранее ни при каких иных обстоятельствах. Мария-Луиза, мнение которой менее всего принималось во внимание, с точки зрения Меттерниха, стала главным козырем в антирусской игре. Разрушить франко-русский союз, ликвидировать «дело Тильзита» было навязчивой идеей Меттерниха. Брачный контракт Габсбургов и Бонапартов оказался для него божьим даром: никто не проявлял в этом деле столько стараний, как австрийский министр.

Наполеон охотно, даже с рвением пошел в расставленные ему сети. Для брака с Марией-Луизой ему пришлось преодолеть немало препятствий. Вероятно, самым трудным из них психологически был разрыв с Жозефиной. Эту женщину он продолжал любить, конечно иначе, чем в 1796 году, но в сущности она оставалась единственной женщиной, которую он любил. К тому же, как суеверный корсиканец со всеми атавистическими предрассудками и верой в приметы, он в глубине души считал, что это она принесла ему счастье. Удача стала ему сопутствовать лишь с того дня, когда он соединил свою судьбу с жизнью вдовы генерала Богарне. Та же женщина, принесшая несчастье Александру Богарне, ему принесла удачу. Это было проверено долголетним опытом, тринадцатью годами совместной жизни. Со всеми своими недостатками — мотовством, склонностью все отрицать, на все вопросы находить всегда одно и то же слово «нет», со всеми слабостями эта уже увядающая креолка была ему бесконечно дорога. Он с трудом переносил ее отсутствие; когда Бонапарт уезжал, у него сразу же появлялась потребность писать ей коротенькие записки,

дебном отношении его матери Марии Федоровны и всего русского общества к Наполеону брак его сестры был фактически невозможен.

не более того, но мысленное общение с нею успокаивало его. Когда кто-либо приезжал из Парижа и о чем-то рассказывал, он тут же перебивал: а что говорит императрица?

Жозефина последние два-три года уже знала, что дело идет к разрыву, и все же решающее объяснение для обоих было очень тяжелым.

Наполеону пришлось преодолеть немало препятствий формального характера. Чтобы осуществить юридический акт развода, ему пришлось нарушить конституционные законы, им самим установленные, и церковные. Но он считал брак с принцессой из дома Габсбургов спасительным для своей династии и, ломая законы, в короткий срок добился согласия Жозефины. За ней был сохранен титул императрицы со всеми вытекающими отсюда следствиями, и ей был передан дворец в Мальмезоне. Две императрицы, не считая государыниматери; возможно ли это? Наполеон уже давно разъяснил, что слово «невозможно» для него не существует.

1 апреля 1810 года в Сен-Клу была торжественно оформлена гражданская свадьба. На следующий день в Лувре состоялась церковная свадьба; Наполеон намеренно предпочел Лувр собору Парижской богоматери — он хотел избежать следования кортежа через весь город. В Париже и во всей империи были большие торжества. Но ни народ, ни армия, ни даже правящая послушная во всем элита не одобряли этого брака. Наблюдательный, умный Тибодо, присутствовавший на торжестве в Сен-Клу и стоявший рядом с Массена, также не скрывавшим своего критического отношения к браку с австриячкой, заметил, что церемония бракосочетания «прошла холодно и грустно, как если бы это были похороны»[66].

Императрицей, полноправной властительницей Тюильри, Сен-Клу, Фонтенбло стала снова «австриячка», дочь императора Франца, принцесса из дома Габсбургов. Разве для того была казнена Мария-Антуанетта, чтобы через пятнадцать лет ее племянница, носящая почти то же имя, взошла на французский трон? В этом браке было нечто оскорбительное для французской нации; в нем видели как бы надругательство над могилами героев Вальми, Маренго, Аустерлица, даже более того — косвенную реабилитацию «старого режима». Ни

один из политических актов Наполеона не был так непопулярен, как этот[67].

«Австрийский брак» имел и иные последствия: он ускорил и углубил разброд в правящих верхах империи. Новый двор императрицы Марии-Луизы, сформированный в основном из старого дворянства, из полуэмигрантских, полуроялистских кругов, вступил в конфликт с новым, имперским дворянством. Многочисленный клан Бонапартов, успевший обрасти своими малыми дворами и своей политической клиентурой, был теперь также в оппозиции. Бонапарты потеряли, в особенности после рождения в марте 1811 года сына Наполеона, получившего титул римского короля, всякие надежды на французский трон. Они должны были потесниться и уступить первое место новой, габсбургской родне императора[68]. Круги, связанные с семьей Богарне, с Жозефиной, были также, естественно, против «австрийского брака». Наконец, его осуждало по понятным причинам все поколение, прошедшее через революцию и двадцать лет антиавстрийской политики.

Политически «австрийский брак» не дал и не мог дать тех преимуществ, на которые рассчитывал Наполеон. Он не укрепил престижа династии ни внутри страны, ни вне ее. По-видимому, лично, по крайней мере первое время, Наполеон был поглощен новой, многое менявшей в его жизни ситуацией. Может быть, даже, женившись на восемнадцатилетней девушке, начинавший стареть Наполеон почувствовал себя как бы помолодевшим.

Но это длилось недолго; женщина, ставшая без ее согласия его женой, оставалась для него в сущности чужой. Ее последующее равнодушие к падению императора и измена с каким-то ничтожным Нейпергом были, конечно, не случайны: то было продолжение брака по расчету. После шумно справленной свадьбы и даже после счастливого отцовства Наполеон почувствовал себя еще более одиноким, чем раньше. Кому он мог довериться? С кем мог говорить откровенно?

Огромное внимание, уделяемое зарубежной историографией «австрийскому браку» Наполеона[69], неоправданно. Этот брак был лишь одной из многих ошибок, допущенных Наполеоном, это был не более чем частный случай в общей ошибочной политике.

Когда некоторые крупные историки, например Луи Мадлен, называют 1809—1810 годы апогеем империи и признают ее кризис начиная с 1811 года[70], то это доказывает, что внешний ход событий заслоняет их внутреннее содержание.

О каком апогее могла идти речь? — он остался давно позади. Начиная с 1808 года, с новых территориальных приобретений и первых выстрелов испанской авантюры, кризис империи стал прогрессировать. Попытка подчинить французскому господству бо́льшую часть Европы с ее старыми, давно сложившимися государствами и с новым, неодолимым процессом складывания единых национальных государств была химерой, авантюрой, неизбежно обреченной на поражение. Эта политика химер означала в то же время превращение войны из временной, чрезвычайной меры в постоянную институцию режима империи. Материальные ресурсы и физические силы Франции не могли выдержать такого напряжения — оно становилось невыносимым для всех классов общества. Наконец, попытка задушить Англию с помощью континентальной блокады также оказалась непосильной для Франции. Хотя ослабление английской конкуренции на европейских рынках стимулировало развитие французской промышленности, она была не в состоянии покрыть ни потребности Европы, ни даже свои собственные. Экономический кризис 1811 года был далеко не случаен: он явился закономерным результатом общего перенапряжения французской экономики. В то же время становилось все более очевидным, что поставить Англию на колени не удалось.

Складывание в 1808 году оппозиционного комплота Фуше — Талейран было не только выражением их личного недовольства какими-то сторонами режима, до сих пор ревностно ими поддерживаемого. Оно имело и более глубокий смысл. В лице Фуше и Талейрана, в лице миллионера Уврара, арестованного в 1808 году, брюмерианская буржуазия, являвшаяся до сих пор опорой империи, переходила в оппозицию к бонапартистскому режиму. Она мирилась с потерей всех политических прав, она готова была подчиняться жесткой руке императора до тех пор, пока его власть защищала ее интересы и создавала гарантии на будущее. Авантюризм, политика химер, ставшие неотделимыми от имени Наполеона, противоречили практическому здра-

вому смыслу буржуазии; трезвые подсчеты показывали, что рано или поздно дело закончится крахом. Война высасывала из деревни все молодое мужское поколение. Пока это длилось год, два, три и сопровождалось блистательными победами, с этим легко мирились; когда же набор новобранцев, год от году все более жестокий, превратился в систему, когда армия только поглощала и никто не возвращался, крестьянство начало глухо роптать.

В совокупности эти процессы означали постепенное сужение социальной опоры империи. То был процесс медленный, подспудный, почти незаметный взгляду непосвященного. Внешне могло даже казаться, и многих это вводило в заблуждение, что империя могущественнее, чем когда-либо.

Владения Франции достигли небывалых размеров. Императорские орлы парили над огромными пространствами от Эбро до Эльбы. Над поверженными государствами Западной и Центральной Европы нависал трехцветный французский стяг. От Балтийского моря до Средиземного, на границах бескрайней империи часовые перекликались: «Кто идет?» — «Франция». Франция властвовала над побежденной Европой. Но за внешней покорностью склоненных голов скрывался неуловимый, тайный дух возмущения. Его нельзя было ни измерить, ни подсчитать. Но то была невидимая, неосязаемая могучая сила, перед которой пасовали чиновники, полиция, армия. Мятежный дух итальянских карбонариев, немецкого «Тугенбунда», испанской «гверильи» пробивался сквозь полицейские кордоны и полосатые пограничные столбы. Народы Европы готовились к великому часу освобождения.

Император Наполеон не замечал, не видел происходящего вокруг него. Императорский двор в Тюильри — золотые пчелы на пурпурном бархате — затмил богатством, роскошью все дворы старинных монархий. В Тюильри решались судьбы Европы.

Уединенный, замкнутый, окруженный толпой бессловесных слуг — министров, сановников, генералов, привыкших выполнять приказы и произносить лишь два слова: «Да, государь», император Наполеон — повелитель великой империи был более одинок, чем когда-либо. Он по-прежнему работал с шести часов утра до позднего вечера, вникая во все вопросы, большие и ма-

ленькие, связанные с деятельностью громадного государственного механизма, держал в своих руках все рычаги политического и государственного руководства. Он читал донесения, поступавшие со всех концов огромной империи из вассальных государств; он принимал высших сановников, министров, командующих армиями, иностранных послов; он диктовал приказы, распоряжения, дипломатические ноты, письма братьям-королям и европейским монархам. Всецело поглощенный этим многообразным трудом, кажущимся непосильным для одного человека, он жил в иллюзии, будто все рычаги покорно подчиняются малейшему движению его руки, будто он управляет ходом событий, людьми, временем.

Он заблуждался. В письме к брату Жозефу в январе 1809 года он писал, что «час покоя и отдыха еще не пробил»[71]. Конечно. Но он ошибался и в счете времени.

Эта огромная, безграничная власть, сосредоточенная в руках одного человека, простиравшаяся над необозримыми пространствами побежденных и завоеванных стран, страх, который внушало имя, окруженное ореолом многочисленных побед, породили у него высокомерную самоуверенность: нет ничего невозможного, нет ничего непреодолимого.

С 1811 года после стольких войн, после стольких жертв в порядок дня была поставлена война против самой могущественной и грозной державы, против союзницы Франции — против России. Была ли эта надвигающаяся война для французов необходимостью? Отвечала ли она хоть в малой мере государственным интересам Франции? Конечно, не было недостатка ни в спорных вопросах, ни в частных противоречиях интересов, ни во взаимных претензиях. Но сколько бы их ни было, они не могли оправдать вооруженного столкновения между двумя великими державами Европы. Сам Наполеон в ночные часы раздумий испытывал колебания; этот поход в далекую, неведомую страну страшил его; он теперь с особым вниманием штудировал книги о Карле XII; Полтава, судьба несчастливого шведского короля не выходили из головы. И все же, несмотря на сомнения, колебания, логика безудержной агрессии, стремление к неограниченному господству толкали его к войне с державой, которую он всегда мечтал иметь своим союзником. Он и сейчас еще, осо-

бенно в переписке с Александром, многократно заявлял о своей верности идее союза с Россией. Но в самоослеплении он не замечал или, вернее, не хотел замечать, что отношения, именуемые им по-прежнему союзными связями, на деле превращались в отношения вассалитета, которые он тщетно пытался навязать России. Он шел навстречу войне, не вызываемой ни необходимостью, ни государственными интересами, войне, в которой все оставалось загадочным и неясным.

Смутно ощущая таящиеся в этой войне опасности, Наполеон надеялся их парировать и преодолеть огромным, подавляющим превосходством сил. Старую идею Екатерины II создать коалицию европейских монархий против революционной Франции император французов переворачивал наизнанку: он создавал возглавляемую нереволюционной Францией европейскую коалицию против России. Ему казалось, что он все предусмотрел, все подсчитал. Он считал батальоны, полки, дивизии, корпуса, армии. Он подсчитывал дни, недели, месяцы. Но, решившись на эту войну, самую грозную, самую опасную из всех, какие он когда-либо вел, он сбился в счете времени, в счете часов. Был 1811 год, за ним шел 1812-й. И он не различил, не расслышал в «глаголе времен», что этот 1812 год должен стать для него двенадцатым часом.

Поход на Россию и крушение империи

24 июня 1812 года в предутренние, ранние часы по трем понтонным мостам, переброшенным через Неман, армия Наполеона вступила на территорию Российской империи. Первой переправилась на правый берег дивизия генерала Морана. За ней шли дивизии корпуса маршала Даву, за ними кавалерия короля неаполитанского маршала Иоахима Мюрата, затем императорская гвардия — старая и молодая.

Солнце поднялось уже высоко над землей, и под его яркими лучами заблестели холодные грани штыков, расшитые золотом мундиры драгун и ментики гусар.

Вторжение осуществлялось в величайшем порядке. Дивизии нескончаемым потоком следовали одна за другой, с развернутыми боевыми знаменами, сомкнутыми рядами. Командиры в касках, украшенных султанами, на гладких, сытых конях впереди, затем солдаты мерным шагом, нигде не нарушая строя. Конно-гренадеры гвардии в белых плащах, с высокими киверами на головах, на крупных лошадях вороной масти безмолвно следовали по мостам через реку. Весь день и ночь и снова день над Неманом стоял ровный дробный гул тысяч солдатских ног и конских копыт. Армия была так велика, что переправа продолжалась более двух суток. Последними, уже 26 июня, через Неман прошли драгуны и кирасиры дивизии Груши. Затем еще в течение недели пришедшие издалека полки догоняли «великую армию».

За день до вторжения Наполеон прибыл в расположение войск. Его видели в разных концах огромного прибрежного пространства, на котором сосредоточивалась армия, то верхом на белой лошади, то пешком. Переодевшись в чей-то чужой мундир, дабы не привлекать внимания, он появлялся то здесь, то там, внимательно наблюдая за размещением подходивших частей, за наведением мостов, за подготовкой вторжения. В излучине Немана против селения Понемонь, близ Ковно, император наметил переправу главных сил.

23 июня с Наполеоном случилось происшествие, само по себе незначительное, не имевшее последствий

и все-таки обратившее на себя внимание. В середине дня император верхом на лошади объезжал прибрежную полосу реки. Он внимательно следил за ее течением, за противоположным берегом, как бы определяя на глаз возможную ширину реки. Свита, ехавшая на почтительном расстоянии от него, вдруг увидела: император, уверенно, казалось бы, сидевший в седле, упал с лошади и через мгновение оказался на земле. Все бросились к нему. Наполеон лежал распростертым на траве.

Что же произошло? Позже выяснилось: под ногами лошади пробежал заяц, она испугалась, взметнулась, и не ожидавший этого порыва всадник вылетел из седла.

Наполеон не был ни ранен, ни контужен, и незначительный этот эпизод не заслуживает даже быть упомянутым, если бы он не был воспринят Наполеоном и окружавшими его высшими командирами как дурное предзнаменование. Кто-то воскликнул: «Плохое предвестие! Римляне не перешли бы через реку!» Суеверный корсиканец был повергнут в плохое расположение духа. Все последующие часы он молчал, был мрачен, почти не отвечал на вопросы. Этот случай вывел его из душевного равновесия[1].

Но время шло. Наступил полдень; жаркий солнечный день был в разгаре. Неотложные заботы отвлекли его от мрачных раздумий.

В этих краях все было Наполеону знакомо: и плавное течение широкого Немана, и песчаные золотистые отмели вдоль его берегов, и уходящие в небо высокие сосны. Пять лет назад здесь, на берегу Немана, в Тильзите, он переживал самые счастливые дни своей жизни.

Как могло случиться, что спустя всего пять лет после того, как был заключен «на вечные времена» мир, как было записано в тексте договора о мире и союзе с Россией, он, Наполеон, начинал войну против недавнего союзника? Как могло случиться, что два государства, две стороны, еще вчера уверявшие друг друга во взаимной дружбе, стали врагами и готовились скрестить оружие?

В письме, направленном Александру I из Вильно в ответ на послание царя, переданное генералом Балашовым, Наполеон перечислял все те претензии, обиды,

недоразумения, которые в конце концов привели к тому, что обе стороны оказались в состоянии войны[2].

Альбер Вандаль в свое время написал три тома объемистого исследования, в котором подробно изложил историю возникновения франко-русского союза начала XIX века и постепенное угасание «духа Тильзита». Нет возможности по условиям места, да и по существу нет надобности рассматривать здесь взаимные претензии и взаимные обиды, которых немало накопилось с обеих сторон. Но найти какое-то общее объяснение возникновения войны 1812 года, ее значения для судьбы Наполеона необходимо.

Во время русско-шведской войны Наполеон обещал Александру оказать военную помощь, и корпус Бернадота был двинут для того, чтобы нанести удар шведам. Но Бернадот, видимо больше по собственной инициативе, чем в результате инструкций, не оказал в нужный момент помощи, и военная поддержка Франции осталась платонической.

Во время австро-французской войны 1809 года правительство Александра I отплатило Наполеону тем же. Наполеон добивался, чтобы Россия двинула крупные воинские силы против Австрии. Александр, уклонявшийся от точных обязательств, тем не менее в апреле 1809 года заверял Наполеона: «Ваше Величество может рассчитывать на меня. Мои возможности, поскольку я веду две войны, не велики, но все, что возможно, будет сделано»[3]. Александр приказал корпусу генерала Голицына идти в направлении австрийской границы[4]. Он не обманывал Наполеона со Шварценбергом, как утверждали некоторые историки. Но участие России в войне 1809 года в целом имело примерно такую же степень действенности, как участие Франции в войне России со Швецией.

С течением времени споры и разногласия стали возрастать. Предметом постоянных взаимных подозрений и препирательств было Великое герцогство Варшавское. Александр I подозревал Наполеона в стремлении восстановить Польшу. Политика Наполеона в польском вопросе была действительно двусмысленной. Он не скупился на обещания польским патриотам, но в то же время, став уже монархом, связанным со старыми европейскими династиями, был чужд мысли восстановить независимое Польское государство. В апреле 1811 года

Бонапарт говорил: «Я весьма далек от того, чтобы стать Дон-Кихотом Польши». Он не собирался жертвовать ничем реальным ради восстановления независимости Польши. Скорее напротив, он стремился поставить поляков на службу агрессивным французским планам, использовать их в своих интересах, реально ничего не делая для них. Но его постоянное заигрывание с поляками, его стремление сохранить на русских границах форпост в виде герцогства Варшавского вносило элементы нервозности, напряженности в отношения двух государств.

Александр был крайне чувствителен к вопросу о Польше, он придавал ему первостепенное значение. Увеличение территории герцогства Варшавского после войны 1809 года его весьма обеспокоило.

Чтобы покончить с вопросом о Польше, Александр предложил Коленкуру подписать конвенцию, по которой французская сторона официально обязывалась никогда не восстанавливать независимой Польши. Коленкур, человек умный, хорошо разбиравшийся в истинных намерениях французского императора и в политической обстановке в Петербурге, легко пошел на этот акт. 4 января 1810 года конвенция была подписана Коленкуром и Румянцевым, и она могла бы стать, по крайней мере на какое-то время, платформой примирения двух держав[5]. Но оформление конвенции совпало по времени с трудными для Наполеона переговорами о его политическом браке. Уже говорилось, что Наполеон сватался к сестре Александра Анне Павловне, и этот демарш породил неисчислимые осложнения между Парижем и Петербургом. Здесь нет возможности вдаваться в историю этих тягостных для обеих сторон переговоров[6]. «Династическое безумие» Наполеона нашло в конце концов свое завершение в браке с дочерью австрийского императора Франца II Марией-Луизой. Но затруднительные и, как казалось Наполеону, оскорбительные для его достоинства переговоры о браке с сестрой русского императора, оставшиеся безрезультатными, повлияли на решение вопроса о конвенции 4 января. Наполеон был задет лично[7] и отказался ратифицировать конвенцию в тех формулировках, как ее подписал Коленкур, и внес иные предложения. Переговоры затянулись, и конвенция в конце концов не была подписана.

В литературе нередко встречаются утверждения, что охлаждение отношений между двумя державами было связано с неудачным выбором послов в обеих столицах. Выбор был действительно не вполне удачным. Первый царский посол — граф Петр Александрович Толстой — был убежденным противником франко-русского союза, тяготился возложенной на него миссией и все совершавшееся в Париже видел сквозь темные очки *. По-видимому, не вполне удачен был выбор и первого посла Наполеона — генерала Савари, герцога Ровиго. Савари не хватало аристократизма, личного обаяния, которыми в полной мере обладал его преемник Коленкур; с военной напористостью и резкими манерами Савари было нелегко завоевать симпатии петербургских гостиных.

И все-таки, каковы бы ни были достоинства или недостатки первых послов — Толстого и Савари, возникшие разногласия происходили не от их личных качеств. После Эрфурта были найдены вполне подходящие послы. В Париж приехал князь Александр Борисович Куракин, один из авторов тильзитских документов, убежденный сторонник союза с Францией, человек обходительный и приятный, вполне пришедшийся ко двору. Коленкур также сумел завоевать симпатии петербургского общества. Но, несмотря на то что теперь и в Петербурге, и в Париже были хорошие посланники, отношения между обеими странами все более разлаживались.

Одним из главных источников разногласий оставалась проблема континентальной блокады. Антианглийская блокада была невыгодна с точки зрения экономических интересов господствующих классов России, и Александр пошел на нее скрепя сердце, потому что политические преимущества союза с наполеоновской Францией превышали экономический ущерб от антианглийской торговой политики **. Но претензии Наполеона к русскому партнеру не были беспочвенны: было

* Следует напомнить, что Толстой был принят с исключительным вниманием и любезностью Наполеоном и его министром (сб. РИО, т. 88, № 98—99, стр. 282—289, ноябрь 1808 года). Но уже год спустя Наполеон должен был просить Александра сменить посла.

** Напомним, что фактически континентальная блокада начала применяться в России с осени 1808 года, а окончательно была принята в мае следующего года, но уже с осени 1809 года начались ее нарушения (см. *М. Ф. Злотников.* Континентальная блокада и Россия).

верно, что русские власти не проявляли педантизма в строгом соблюдении континентальной блокады. Они нарушали установленные жесткие правила, и удивляться тому не приходилось: они действовали в соответствии с собственными интересами. И хотя в переписке между двумя правительствами нередко затрагивался вопрос о тех или иных отклонениях от блокады, Наполеон должен был с этим мириться, потому что и само французское правительство по необходимости ее нарушало.

Пять лет континентальной блокады доказали на практике ее несостоятельность. Идея удушения Англии на островах была опровергнута жизнью. Наполеон, несомненно, недооценил ни значение технической революции в Англии, совершавшейся в эти годы, ни возможности британской торговли с США. Англия оставалась «мастерской мира»; она сохраняла неоспоримое преобладание на море, и сама французская экономика не могла обойтись без Англии. Наполеон нередко давал фактически указания нарушать континентальную блокаду. Так, например, в одной из директив Бертье он ясно дал понять, что надо закрыть глаза на ввоз кофе и сахара на Корсику[8]. Французская промышленность даже в благоприятных условиях, стимулировавших ее рост, в силу технической отсталости и нехватки сырья не могла покрыть потребностей ни Европы, ни самой Франции в ряде промышленных товаров. Правительство вынуждено было давать лицензии на ввоз товаров, которые в конечном счете оказывались английского происхождения.

Ухудшение отношений с Францией толкнуло русское правительство на ответные меры. Тариф, введенный с начала 1811 года, повышал на пятьдесят процентов пошлины на все ввозимые промышленные товары; практически это был удар по французским интересам[9]. Длительные войны, которые вело царское правительство, и политика континентальной блокады, резко сократившая экспорт товаров из России, отразились на состоянии русских финансов. Курс рубля резко упал.

Преодолеть финансовые трудности царское правительство пыталось с помощью займа у французского банкира Лаффита. Соответствующее соглашение после трудных переговоров было достигнуто. Лаффит, однако, поставил условие, чтобы соглашение было гарантиро-

вано французским правительством. Наполеон отказал в этом[10]. Это было проявлением его нового, антирусского курса. Захват в 1811 году владений герцога Ольденбургского, ближайшего родственника царя Александра, показал, как далеко зашли франко-русские разногласия. Год от года накапливалось все больше спорных вопросов. Эти вопросы не касались коренных жизненных проблем, но возникло много разногласий частного характера.

Были ли устранимы эти споры, расхождения взглядов, взаимные претензии? Да, конечно, так как каждое из них не было само по себе значительным. Но эти разногласия можно было преодолеть лишь при наличии доброй воли с обеих сторон. Но была ли она?

20 марта 1811 года сто один пушечный залп возвестил жителям французской столицы, что у императора родился сын, наследник престола. Накануне было объявлено, что двадцать один выстрел будет дан по поводу рождения дочери. После двадцать первого выстрела наступила долгая пауза, затем раздался новый залп, и последующие выстрелы оповестили, что отныне династия Бонапартов имеет законного продолжателя.

Еще одно желание Наполеона сбылось. Все первые десять лет своей диктатуры, и особенно с 1804 года, когда он провозгласил себя наследственным императором, Наполеон жил с ощущением непрочности совершаемого им дела. У него не было законного наследника, и будущее империи оставалось неясным. Он предвидел ссоры братьев, распри в семье... Теперь и это желание сбылось.

В Париже сто один пушечный выстрел пробудил чувство радости, облегчения. Не потому, что народ жил семейными радостями императора, как в том уверяла верноподданническая печать, а потому, что многие люди считали, что рождение наследника престола означает укрепление мира.

Почти двадцать лет Франция находилась в состоянии войны, и жажда мира, требование мира стали повелительной необходимостью для страны. Мир, давно ожидаемый и отодвигавшийся с каждым годом куда-то в неизвестность, теперь, весной 1811 года, казался обеспеченным.

Но странное дело, теперь, когда, казалось, все желания Наполеона были исполнены, когда он достиг всего, к чему стремился, сам властитель французской монархии становился день ото дня все более мрачным, нелюдимым. На торжественных приемах в Тюильрийском дворце, на которых собирались, соперничая богатством, представители и старинной родовой французской аристократии, и нового, имперского дворянства, и германские наследные принцы и князья, и итальянская знать, царили холод и принужденность. Здесь были выставлены напоказ роскошь, богатство, великолепие. Все танцевали. Со времени воцарения молодой императрицы из дома Габсбургов императорский двор полностью восстановил обычаи и традиции старого королевского двора. Мария-Луиза шла по стопам своей тетушки Марии-Антуанетты. Парадные балы сменялись костюмированными балами[11]. Но эти имевшие почти принудительный характер развлечения не веселили. Причина была не только в том, что Марии-Луизе не хватало беззаботного, искрящегося легкомыслия Марии-Антуанетты. Как справедливо писал Стендаль: «При этом дворе, снедаемом честолюбием, совсем не было мелкой подлости; но зато там царила удручающая скука... Празднества в Тюильри и Сен-Клу были восхитительны. Недоставало только людей, которые умели бы развлекаться. Не было возможности вести себя непринужденно, отдаваться веселью; одних терзало честолюбие, других — страх, третьих волновала надежда на успех»[12]. Император стал нелюдимым, избегал собеседников. Он появлялся ненадолго — располневший, тяжеловесный, медлительный в движениях, с неподвижно-холодным лицом, сдвинутыми хмурыми бровями; казалось, он всем был недоволен. Его тяжелый, пристальный взор, скользивший по лицам, всех леденил; при его появлении шутки обрывались на полуслове, умолкал смех. Он распространял вокруг себя холод и страх...

Но он знал, что на балах должны быть танцы, и он хотел, чтобы все танцевали. И танцевали кадриль, словно отбывали повинность, с испугом озираясь на как бы застывшую фигуру императора. Танцевали по рангам: в первой паре князь Невшательский и Ваграмский — Бертье с императрицей, во второй — обергофмаршал герцог Фриульский — Дюрок с королевой Гор-

тензией и далее — по чинам. Затем в газетах появлялось сообщение: «Вчера в Тюильри был большой бал». Если судить по прессе, во Франции только и занимались тем, что танцевали кадриль.

Наполеон становился все более угрюмым. Ни счастливый, как могло казаться, брак с молодой женой, ни радость отцовства не могли вернуть ему той полной жизненной силы увлеченности, которая так привлекала в генерале Бонапарте десять — двенадцать лет назад. Люди, близко наблюдавшие повседневную жизнь Наполеона, передавали шепотом, что император стал плохо спать. Об этом говорили потому, что Наполеон принадлежал к числу людей, умевших управлять не только своими эмоциями, но даже сном. Известен случай, когда во время упорной и требовавшей большого душевного напряжения битвы под Ваграмом Наполеон в разгар сражения, передав на какое-то время командование Бертье, лег на меховую шкуру прямо на землю, среди грохота орудий и, сказав, что проспит десять минут, действительно мгновенно заснул. Через десять минут он проснулся и снова принял командование. Человек, умевший засыпать, когда хотел, и просыпавшийся, когда было нужно, теперь лишился сна.

С ним случались какие-то странности. Однажды во время приема в Тюильрийском дворце он вышел к присутствующим, окинул всех невидящим взглядом, остановился посередине зала и в течение нескольких минут, опустив голову вниз, разглядывал что-то одному ему видимое на паркете, пристально смотрел в одну точку. Это длилось так долго, что породило заметное замешательство среди гостей. Маршал Массена, желая выручить императора, подошел к нему и задал какой-то вопрос. Наполеон что-то недовольно буркнул и вышел из зала.

Что же порождало столь необычное, тревожное, почти сумрачное состояние духа могущественного императора? При внешней роскоши, богатстве, блеске императорского двора, при кажущейся безграничной силе бескрайней империи Наполеона она, империя, переживала внутренний кризис. Симптомы болезни стали обнаруживаться давно. Первые черные точки появились в 1804 году, они усилились в 1808 году, и с тех пор кризис стал прогрессировать. В 1810—1812 годах На-

полеон не мог уже от себя скрывать, что видимость и сущность не тождественны.

В 1811 году разразился экономический кризис небывалой силы[13]. Он проявился в резком сокращении торговли, в значительном упадке промышленной деятельности и, наконец, в продовольственном кризисе.

О тяжелых последствиях двух неурожайных лет и экономическом кризисе 1811 года нужно было судить не по приглаженным официальным отчетам, а по свидетельствам современников. Тот же трезвенный Тибодо, хорошо знакомый с обстановкой на юге Франции (с 1803 года он был префектом департамента Буш-дю-Рон), рисовал бедственное положение трудовых людей, страдавших от голода и дороговизны. Цены на хлеб в Марселе с пятнадцати — двадцати сантимов за фунт поднялись до семидесяти — восьмидесяти сантимов, то есть возросли в четыре раза, и хлеба вообще не хватало. В Марселе при населении в девяносто тысяч жителей свыше десяти тысяч семей, то есть почти половина населения, записались в списки на вспомоществование. Десять тысяч франков, выделенных правительством для питания неимущих, были, по выражению Тибодо, каплей в море.

Ни частная благотворительность, ни меры, принятые властями, не могли преодолеть жестокой нужды народа. «Было много несчастных, не переживших это ужасное время, когда они должны были отбивать у животных продовольственные отбросы» [14]. В таком же положении, как Марсель, находились многие другие города. В 1812 году острота продовольственного кризиса смягчилась в связи с хорошими видами на урожай и жесткими мерами, принятыми правительством против скупщиков зерна и другого продовольствия. Все же нужда, особенно в городах, оставалась большой. Французская печать, находившаяся под строгим правительственным контролем, скрывала истинное положение. Но сведения о продовольственных бедствиях трудящегося населения Франции проникали в иностранную печать, в частности русскую. «Во многих провинциях [Франции] зажиточные люди обязались выдавать каждому неимущему человеку по фунту на день хлеба»[15],— писали в русских газетах летом 1812 года. Еще ранее, до разрыва с Францией, в начале мая того же года сообщалось, что французским правительством «запрещено

скупать в одни руки хлеб всякого рода зерном или мукою», что запрещено также продавать хлеб в иных местах, кроме рынков, в установленные дни и часы[16].

Столкнувшись с острыми продовольственными затруднениями, правительство вынуждено было прибегнуть к чрезвычайным мерам. Летом 1811 года оно пошло на повторение мер якобинского Конвента: установление «максимума» — твердых цен на продукты питания. И Тибодо, многоопытный Тибодо в своих мемуарах прямо указывал, что правительство вернулось к продовольственной политике якобинцев 1793 года[17]. Твердые цены на продукты питания, реквизиции, вмешательство государства в экономическую сферу — эти чрезвычайные меры были порождены остротой экономического кризиса.

Но не только экономическое состояние Франции и вассальных государств внушало опасения императору. Плохо шли дела в Испании. Наполеон, верный своим династическим предрассудкам, назначил брата Жозефа генералом, главнокомандующим вооруженными силами, действовавшими на Пиренейском полуострове *[18]. Ему приходилось держать больше двухсот тридцати тысяч войск в Испании, чтобы создавать подобие нормального функционирования государственного организма. На самом деле в Испании продолжалась народная война, и лучшие наполеоновские маршалы не могли ее подавить. Сульт потерпел поражение под Кадиксом, Сюше испытал неудачу под Арагоном, прославленный Массена потерпел неудачу под Фуенте д'Оноро[19].

Император был взбешен. Он выразил свое недовольство Массена и отстранил его от руководства военными делами. Знаменитый полководец оказался в опале. Конечно, эти меры, как и жестокие репрессии против испанского населения, как и выговоры, нотации, которые он читал своему брату — испанскому королю, были бесполезны. Подчинить Испанию было невозможно: весь испанский народ сражался за независимость и свободу; война не прекращалась ни на день.

В Германии дело не дошло еще до взрыва, но он назревал. Король Вестфальский — младший брат Напо-

* Жозеф стремился к большему: он хотел стать генералиссимусом, на что Наполеон не соглашался.

леона Жером предупреждал, что если возникнет война, то «все области между Рейном и Одером станут очагом всеобъемлющего восстания». Генерал Рапп говорил, что «при первой военной неудаче от Рейна до Сибири все поднимутся против нас»[20] В Италии, которая частью стала французской провинцией, частью вассальным королевством, приходилось увеличивать гарнизоны для того, чтобы держать в повиновении страну: там уже началась освободительная партизанская война. В ноябре 1811 года Наполеон предписывал пасынку — вице-королю Евгению Богарне формировать подвижные колонны из итальянцев и французов, придать им кавалерийские отряды, поставить во главе генерала и их усилиями покончить с бандитизмом в окрестностях Рима[21]. Но что представлял собой этот бандитизм? То было антифранцузское партизанское движение итальянских крестьян, итальянских патриотов, поднявшихся на освобождение родины от иноземных угнетателей. Такие же приказы о создании военных формирований для борьбы с бандитизмом были даны генералу Миоллису в Риме и великой герцогине Тосканской Элизе.

Принятые меры не дали ожидаемых результатов, и в апреле 1812 года Наполеон дал новое распоряжение принцу Евгению. Он требовал от него покончить с бандитами, гнездящимися в горах Венецианской области[22].

Не лучшим было положение в других вассальных государствах. На протяжении ряда лет нарастал конфликт между Наполеоном и его младшим братом Луи, королем Голландии. Из всех братьев Наполеона Луи был ему ближе других. Но Луи, став королем Голландии, удостоверился, что политика французского императора идет во вред народу, монархом которого он стал. Упрямый и своенравный, Луи не захотел покорно следовать предписаниям старшего брата. Конфликт обострился; он закончился тем, что в 1810 году Луи отрекся от престола в пользу своего сына. Наполеон не пожелал выполнить волю брата, он просто присоединил Голландию к французскому государству[23]. Но дела в Голландии не внушали доверия императору, и в приказе генералу Молитору он обязывал следить за поддержанием порядка в этой части Французской империи.

Императорские орлы по-прежнему парили над Парижем, над огромной Французской империей, над вассальными государствами Европы. От Мадрида до Вар-

шавы, от Гамбурга до Неаполя слово императора звучало беспрекословным приказом.

Но во всей Европе — в Германии, Италии, Испании, Голландии, Бельгии, в самой Франции был слышен подземный гул. То подспудно накапливались силы народного гнева.

Наполеон не хотел отдавать себе отчет в истинном значении всех этих тревожных симптомов. Их действительный смысл он постиг много позже — в часы раздумий сурового уединения на острове Святой Елены. Тогда же, в 1810—1811 годах, когда его слава и власть внешне казались безграничными, он был как бы ослеплен своим всемогуществом. Он видел перед собой лишь склоненные головы; никто уже не смел ему перечить, никто не решался вступать с ним в спор. Он и сам разучился спрашивать, выслушивать чужие мнения; жестким, требовательным голосом он лишь отдавал короткие приказания.

Иногда наступали минуты прозрения, и тогда он остро ощущал леденящий страх, который он распространял повсюду вокруг себя, и холод собственного одиночества. «И внутри страны, и вне ее я царствую лишь благодаря внушаемому всем страху»,— говорил он. В другой раз, охваченный дурными предчувствиями, он признавался горестно Моллиену: «Когда настанет час опасности, меня все покинут». И как только заканчивался день с его всепоглощающими заботами и наступала ночь и тишина, тревожные вопросы обступали со всех сторон, Наполеон не находил на них ответа. Сон бежал от него в долгие ночные часы; он ходил из угла в угол своей огромной комнаты и снова возвращался к тем же терзавшим его вопросам, и снова не мог найти решений, предотвращавших неясную, смутно ощутимую опасность.

По-видимому, с 1811 года, может быть с конца 1810 года, возникла мысль о войне с Россией. Во всяком случае в феврале 1811 года в Петербурге при дворе уже сложилось мнение о вероятности и даже близости войны[24]. Эта мысль еще не имела отчетливого завершения, и ее трудно было освоить даже самому Наполеону. Едва лишь возникнув, она наталкивалась на само собой разумеющийся вопрос: зачем, для чего, кому нужна война

против России? В самом деле, как мог политик, провозгласивший, что единственным союзником Франции может быть Россия, начинать против нее войну? Ради чего? Почему?

Когда в 1811 году возникли слухи о возможности войны против России, они вызвали всеобщее, приглушенное, конечно, негодование: зачем, кому нужна эта война? * Сам Наполеон в период подготовки к войне порой понимал ненужность ее, а может быть даже гибельность. 1 июля 1810 года он говорил Коленкуру: «Я не хочу завершения своей судьбы в песках пустыни России». Он не раз напоминал, что помнит о судьбе Карла XII шведского, что он не хочет новой Полтавы. Паскье утверждал: «Он сознавал опасности, навстречу которым шел»[25]. То было верное наблюдение, и многое его подтверждает. Но он старался заглушить тревожные мысли и в спорах с Коленкуром убедить не только своего собеседника, но и самого себя[26].

Анализируя политику Наполеона 1811—1812 годов, нельзя не видеть глубокие колебания, которые он испытывал. 16 июня 1811года он говорил: «Надеюсь, что мир на континенте не будет нарушен»[27]. Он уверял Коленкура, что не хочет войны. В том же 1811 году он снова вернулся к мысли о вооруженном десанте против Англии. Он написал письма морскому министру, товарищу юношеских лет графу Декре. Он ставил перед ним вопрос о спешной подготовке вооруженной высадки на Британские острова **[28]. Эти колебания, это метание между разными вариантами и планами доказывают, сколь неясным представлялось Наполеону будущее. Война против России? Она была бессмысленна, гибель-

* Даже оправдывавший все действия Наполеона Савари вынужден был признать замешательство, смятение, царившие во Франции в связи со слухами об этой войне. Он признавал, что идею похода на Москву никто в армии не одобрял, кроме дворянской молодежи, занявшей все штабные должности и легкомысленно надеявшейся отличиться и развлечься в этом походе. Эти безответственные настроения, по словам Савари, поддерживал лишь искавший популярности у молодежи Мюрат (*Rovigo.* Mémoires, t. V, p. 193—202, 265—271, 287—289, 299).

** В литературе иногда встречается мнение, будто уже доклад Шампаньи марта 1810 года (см. *Н. К. Шильдер.* Император Александр I, т. III, стр. 471—483, опубликованный здесь впервые) по существу предрешал войну с Россией. С этим трудно согласиться; доклад Шампаньи, на мой взгляд, доказывает, что весной 1810 года Наполеон не имел никаких ясных планов.

на, и сам Наполеон позже, на острове Святой Елены, прямо признал, что война с Россией была его фатальной ошибкой[29].

Но и в ту пору, когда он уже стал на путь подготовки войны с Россией и уже создавал огромную армию вторжения, его постоянно охватывали сомнения, раздумья. Летом 1811 года он отозвал из Петербурга Коленкура. Коленкур, по-видимому, оставался одним из тех немногих людей, к мнению которых Наполеон был готов прислушаться; остальных он слушать не хотел. Коленкур был заменен в Петербурге генералом Лористоном. Это назначение было вызвано убеждением Наполеона, что Александр обворожил, заколдовал Коленкура и что Коленкур уже не способен защищать его, Наполеона, интересы.

Коленкур по возвращении в Париж был принят императором. Наполеон поставил перед послом основной вопрос: готовится ли Россия к войне против Франции? Отрицать это было невозможно. Но Коленкур со всем пылом убежденности доказывал, что война против России будет безумием, что она невозможна для Франции и не вызывается никакой необходимостью. Конечно, существует множество спорных вопросов, начиная с Польши, с проблем континентальной блокады, с наличия в Данциге и Восточной Пруссии французских войск, воспринимаемых в Петербурге как угроза России, но все это частные вопросы, по которым можно найти взаимоприемлемые решения. Коленкур доказывал, что Александр I не вынет первым шпаги из ножен. Но если Наполеон нападет на Россию, то это будет означать войну без конца. И он передал фразу царя, столько раз потом повторяемую: он уйдет до Камчатки, но не примирится с завоевателями.

Как рассказывал Коленкур, император Наполеон повторил ему «еще раз, что он не хочет ни войны, ни восстановления Польши»[30].

Но значило ли это, что он готов отказаться от военных приготовлений и протянуть руку примирения России? Нет, конечно. Внешне все оставалось по-прежнему. Александр и Наполеон, как и ранее, обращаясь друг к другу с посланиями, писали: «Государь, брат мой» — и всякий раз заверяли в глубоком уважении и неизменности дружеских чувств[31]. Русские газеты почтительно сообщали о всех выступлениях его величества

императора и короля Наполеона I и с особой охотой печатали речи августейшего оратора, в которых он клеймил «все зло, причиняемое мятежами»[32]. Как сообщали газеты, в театрах Москвы 24 февраля 1812 года «императорскими французскими актерами представлена будет в первый раз «Цинна» — трагедия в пяти действиях Корнеля», и знаменитая мадемуазель Жорж, находившаяся в расцвете славы, должна была исполнить роль Эмилии[33]. Все шло своим чередом.

Войну против России осуждал не только Коленкур. Все ее не хотели. В окружении Наполеона не было никого, кто бы ее поддерживал.

Фуше в своих мемуарах рассказал, что в начале 1812 года, когда грандиозные приготовления к походу на Россию уже шли полным ходом, он осмелился представить императору памятную записку, предостерегавшую против войны.

Из всех политических деятелей той бурной эпохи Фуше заслуживает менее всех доверия. Его мемуары как исторический источник требуют сугубо критического отношения. Это относится и к излагаемому им рассказу. По версии Фуше, он не только представил Наполеону составленный им меморандум, но и добился аудиенции у императора. И письменно и устно Фуше заклинал Наполеона остановиться, отказаться от этой войны, влекущей за собой неисчислимые последствия. По словам Фуше, он предупреждал, что мысль о создании всемирной монархии путем завоевания России — это «блестящая химера». «Государь, я Вас умоляю, во имя Франции, во имя Вашей славы, во имя Вашей и нашей безопасности, вложите меч в ножны, вспомните о Карле XII» [34].

Наполеон выслушал Фуше; он, как уверял бывший министр полиции, странным образом был уже осведомлен о его меморандуме, написанном в глубокой тайне. Доводы Фуше император отверг: «Со времени моего брака решили, что лев задремал; пусть узнают, дремлет ли он... Через шесть или восемь месяцев вы увидите, чего может достичь глубокий замысел, соединенный с силою, приведенной в действие... Мне понадобилось восемьсот тысяч человек, и я их имею; я поведу за собой всю Европу...»[35] Повторяю еще раз: рассказ Фуше требует критической проверки; нельзя также забывать, что его мемуары были опубликованы в 1824 году. При всем

том представляется маловероятным, чтобы этот эпизод был целиком выдуман. Он заслуживает внимания как еще одно подтверждение глубокой тревоги, которую вызывал у элиты наполеоновской Франции предполагаемый поход в Россию.

После беседы с Коленкуром Наполеон, казалось бы, задумался. Он не мог не испытывать тревожные внутренние сомнения. Наполеон не мог не сознавать, что в сущности нет глубоких, истинно важных причин для войны между двумя государствами. «Если я буду принужден воевать с вами, то совершенно против моей воли,— говорил он в августе 1810 года князю Алексею Куракину (брату посла),— вести 400 тысяч войска на север, проливать кровь без всякой цели, не имея в виду никакой выгоды!»[36] То не были только фразы, призванные ввести в заблуждение противника. Конечно, обе стороны скрывали военные приготовления и маскировали свои намерения. Но намерения и в самом деле были неясны и окончательно еще не определились.

С 1809 года взаимные претензии, недовольство, возрастающие подозрения быстро прогрессировали. Среди множества вопросов, ставших предметом взаимных упреков, для Наполеона наибольшее значение имели нарушение Россией условий континентальной блокады, для Александра — польский вопрос, то есть опасение восстановления Польши под французской эгидой. Ни та ни другая проблема не затрагивала жизненных интересов народов обеих стран. Но в условиях автократических режимов обеих империй недоразумения, а тем более разногласия между двумя монархами быстро перерастали в конфликт между двумя государствами.

Недоверие, взаимные подозрения вызвали военные приготовления с обеих сторон, в свою очередь накалявшие политическую атмосферу. Каждая из сторон стремилась опередить другую в военных приготовлениях. Конфликт, начавшийся «из-за пустяков», как говорил Наполеон, незаметно перерос в серьезную опасность.

Меттерних, со времени австрийского брака ставший частым гостем в императорском дворце, старательно подливал масла в огонь. Пожалуй, самым неоспоримым талантом австрийского дипломата было искусство тонкой лести. Талейран, сам знавший толк в этом мастерстве, уважительно говорил о Меттернихе: «Он умел гладить льва по гриве»[37].

После стольких поражений, понесенных Австрией, успехи русского оружия в войне против Турции Меттерних воспринимал почти как личное оскорбление. «У Европы один страшный враг — это Россия... император Наполеон один может ее сдержать»,— подзадоривал он Наполеона, призывая его к «спасению Запада». Еще больше, чем на свои таланты лжеца и лицемера, Меттерних возлагал надежды на чары австрийской эрцгерцогини, ставшей любимой женой французского императора. Счастливый брак Меттерних торопился дополнить тесным политическим союзом Вены и Парижа. Австро-французский союз должен был возникнуть на развалинах франко-русского союза.

Но «приручить льва» Меттерниху не удалось. Наполеон не был так прост, чтобы дать провести себя какому-нибудь Меттерниху. Он дал понять австрийскому дипломату, что достоинства Марии-Луизы и политические интересы Австрии не имеют между собой ничего общего.

Независимо от расчетов Меттерниха Наполеон был сам обеспокоен русскими успехами в войне против Турции и перспективами успешного завершения войны. Это заставляло спешить с военными приготовлениями.

Наполеон колебался... Савари рассказал, что накануне отъезда в армию, весной 1812 года, Наполеон ему сказал: «Тот, кто освободил бы меня от этой войны, оказал бы мне большую услугу...»[38] И все же он решился. С 1811 года Наполеон стал готовиться к войне против России, и, как это он делал обычно, он вел эту подготовку самым тщательным образом, вникая во все детали грандиозного плана. По его замыслу надо было перевернуть идею коалиций наизнанку: против России нужно было двинуть всю Европу, все вассальные государства. Ему удалось заключить союзные договоры с Пруссией и Австрией, в соответствии с которыми оба этих государства должны были поставить войска. Он обязал монархов, входящих в Рейнский союз,— саксонского, баварского, вестфальского королей и более мелких монархов — дать войска для «великой армии». Он многого достиг. И все-таки в дипломатической подготовке войны против России в крупном он просчитался. По замыслу Наполеона надо было прежде всего связать России руки на Юге и на Севере. Задача казалась ему да-

же простой. На Юге нужно было только активизировать действия Турции, заставить турок вести военные операции энергичнее. На Севере надо было втянуть Швецию в войну против ее восточного соседа, прельщая ее возвращением недавно потерянной Финляндии[39]. Выполнение последнего плана, по расчетам Наполеона, облегчалось тем, что с осени 1810 года наследником престола и фактическим руководителем шведской политики стал наполеоновский маршал Бернадот. Со времен брюмера Бонапарт относился к Бернадоту с подозрением. Но с тех пор многое изменилось. Бернадот получил от императора все: маршальский жезл, титул князя Понте-Корво, наконец, шведский престол. Наполеон не забывал, что и жена наследного шведского принца — будущая королева — это его бывшая возлюбленная Дезире Клари. Бернадот, полагал Наполеон, будет что-то выторговывать, будет набивать цену, но в главном он выполнит директивы императора.

Наполеон ошибся. Хитрый гасконец, Бернадот в новой шведской столице очень быстро сориентировался[40]. Конечно, он по-прежнему клялся Наполеону в преданности и верности. Но в то же время, как сообщал Чернышев из Стокгольма, уже в декабре 1810 года Бернадот заявил, что он ничего иного не желает, как заслужить доверие царя. «Рассчитывайте всегда на меня»,— отвечал ему Александр, уверяя, что «всей душой хочет быть его другом»[41]. От общих слов быстро перешли к делу. Вместо Финляндии Александр обещал нечто еще более весомое — Норвегию. На этой реалистической основе дружба расцвела пышным цветом. Конечно, ей было придано должное идеологическое оперение. «...Задача заключается в том, чтобы возродить в Европе либеральные идеи и предотвратить ее от варварства...» [42] — писал Александр своему новому шведскому другу и союзнику. Эти взаимные возвышенные уверения новых друзей не были лишены своеобразия. В окружении шведского наследного принца было замечено, что он упорно сопротивляется всякому осмотру его врачами. Причина была вскоре разгадана и стала широко известна. На груди будущего короля была татуировка. «Смерть королям и тиранам!» — гласила нестираемая надпись, сохранившаяся от дней якобинской молодости. Но Александр I, до которого, естественно, дошли эти слухи, умел не слышать и не видеть, что не надо. Само-

держец российский не скупился на любезности бывшему якобинцу. В апреле 1812 года царь выражал «глубокое удовлетворение прочными и многообещающими узами, скрепляющими союз двух держав...»[43]. Ставка Наполеона на Швецию была бита. Почти одновременно, 16 мая 1812 года, М. И. Кутузов в Бухаресте подписал мирный договор с Турцией. И правая и левая рука Александра, которые Наполеон рассчитывал сковать, были свободны. Дипломатическая история кампании 1812 года начиналась для Наполеона с крупных неудач.

Но было еще и иное. При всей тщательности подготовки в чисто военной области также оставались поразительные пробелы. Начиная подготовку кампании 1812 года, он не только не имел общего стратегического плана войны, но даже не был в состоянии решить основной вопрос: что будет театром войны, где будут происходить военные действия, куда и как далеко должна будет зайти французская армия, чтобы одержать победу над Россией?

Как это могло произойти? Это объяснялось прежде всего тем, что до последнего момента Наполеон испытывал колебания в вопросе о том, нужно ли идти на эту войну; он не был в том уверен. У него оставалась надежда, что грозные приготовления напугают Александра, что царь не выдержит, пойдет на уступки и тем будет достигнута моральная и политическая победа. Во-вторых, у него были колебания в том, как долго должна длиться война и как далеко может продвинуться французская армия вторжения. Следует обратить внимание на то, что в одном из первых официальных документов — в воззвании к «великой армии» от 22 июня 1812 года — главнокомандующий писал: «Солдаты! Вторая польская война началась!»[44] Эта война начиналась для Наполеона не как русская война — она была второй польской войной, повторением 1807 года. Его распоряжения по дислокации военных сил показывают, что он ожидал вторжения русских войск в Великое герцогство Варшавское[45] и его первоначальный расчет строился на том, что решающие битвы произойдут в начальный период войны. При всех обстоятельствах он и его окружение считали, что война

будет кратковременной *. Ни в одном из официальных документов французского командования начала войны нельзя найти никаких упоминаний о Москве. Мысль о глубоком вторжении, о проникновении в глубь Российской империи первоначально исключалась Наполеоном.

Если верить Меттерниху, весной 1812 года в Дрездене Наполеон говорил: «Я открою кампанию переправой через Неман; ее границами будут Минск и Смоленск. Здесь я остановлюсь. Я укреплю эти два пункта и вернусь в Вильно, где будет главная ставка командования, и займусь организацией Литовского государства...»[46]

Симптоматично также и то, что, начиная кампанию против России, Наполеон намеренно отказывался от плана восстановления независимой Польши. Польские лидеры настойчиво предлагали ему с этого начать: провозгласить образование независимой Польши и сразу приобрести поддержку всех поляков против Российской империи. Император, не желая ссориться с поляками, все же не шел на этот шаг. Поляки, польская проблема его интересовали в 1812 году в плане узко утилитарном: использовать Великое герцогство Варшавское как базу для развертывания наступательных действий и возможно полнее и эффективнее применять в деле польские вооруженные силы Понятовского. С поляками он хитрил: он им охотно давал обещания на будущее, придумывал разного рода планы и проекты, призванные убедить их в серьезности намерений[47]. На деле же он не хотел радикального решения польской проблемы не только потому, что это вызвало бы недовольство Австрии и Пруссии, но и потому, что он хотел исключить все, что сделало бы невозможным последующее примирение с русской монархией.

«Великая армия» Наполеона, беспрепятственно переправившись через Неман и не встречая нигде сопротивления, двинулась в глубь Российской империи.

* Жозефина писала 28 июля дочери Гортензии, ссылаясь на полученные от Евгения письма: «Все надеются, что кампания не будет долгой. Чтобы эта надежда сбылась!» («Lettres de Napoléon et Joséphine...», t. II (éd. 1833), p. 201).

25 июня был занят город Ковно, 28 июня французская армия вступила в Вильно.

История французского нашествия и Отечественной войны 1812 года описана во множестве работ русских дореволюционных[48] и советских историков. Не говоря о многих более давних работах, отметим вышедшие сравнительно недавно капитальные труды Е. В. Тарле[49], П. А. Жилина[50] и Л. Г. Бескровного[51], монографически исследовавших тему. К этим интересным исследованиям, внесшим много нового в освещение событий, имевших огромное значение для судеб Европы, и обоснованно опровергшим ряд версий и неправомерных суждений, распространенных в исторической литературе, мы и отсылаем читателя. Французская научная литература о кампании 1812 года значительно беднее русской литературы. Это объясняется главным образом тем, что работы французских историков в основном базируются на воспоминаниях участников похода 1812 года, а не на архивных материалах. Хранящиеся в Национальном архиве материалы[52] содержат либо второстепенные документы, имеющие косвенное отношение к кампании 1812 года (письма Бассано и письма к нему, польские дела и прочее), либо документы, датируемые началом 1813 года, то есть уже после отступления и гибели «великой армии».

Где же основной архивный фонд «великой армии»? Где же архив похода 1812 года? Исследователи давно уже стремились внести ясность в этот остававшийся невыясненным вопрос. Лишь сравнительно недавно поступившие документы фонда Дарю дали исчерпывающий ответ на этот волновавший историков вопрос. При отступлении наполеоновской армии, уже после Смоленска принявшем катастрофический характер, в Орше 20—21 ноября 1812 года по распоряжению Дарю из-за отсутствия лошадей и повозок весь архив наполеоновской армии, до тех пор тщательно сохранявшийся, был сожжен *[53]. Теперь можно уже с полной определенностью утверждать, что архива наполеоновской армии, вторгшейся в Россию, не существует.

Понятно, что в данной работе автор не имеет возможности раскрыть во всей полноте и во всем значении

* Автор приносит благодарность графине Дарю, любезно разрешившей пользоваться материалами фонда Дарю.

героическую эпопею 1812 года, завершившуюся разгромом и гибелью наполеоновской армии. Лишь коротко и сжато здесь будет восстановлен основной ход событий в их причинной связи.

Как уже говорилось выше, Наполеон, с величайшей тщательностью подготавливая огромную, могущественную, казалось бы неотразимую, армию вторжения, внимательнейшим образом продумав продвижение и дислокацию корпусов отдельных частей громадной военной машины, странным образом не имел столь же отработанного и ясного для него самого плана последующих военных действий. Стремительным маршем за три дня пройдя немалое расстояние от берегов Немана до Вильно, он затем задержался на восемнадцать суток в этом городе. Почему? Какая в том логика? Ведь все преимущества быстрого, почти молниеносного продвижения первых дней войны были утрачены. Правда, корпус Даву успешно продвигался и занял Минск, и Наполеон тщетно ожидал столь же быстрого продвижения Жерома, надеясь, что тот настигнет Багратиона. Жером не выполнил эту задачу, и рассерженный Наполеон подчинил вестфальского короля маршалу Даву *. Но помимо этих непредвиденных военных просчетов объяснения потери темпов наступления надо, видимо, искать в политических соображениях, оказавшихся ошибочными.

Прибытие в ставку французской армии генерала Балашова с посланием Александра было неправильно истолковано Наполеоном. Со стороны Александра то было не более чем маневром; Наполеон же увидел в нем доказательство слабости Александра; он создал себе иллюзию, будто царь напуган, растерян и не сегодня-завтра снова обратится с просьбой о мире[54]. Эти ошибочные расчеты продолжали определять действия Наполеона и в дальнейшем.

Нельзя не видеть также, что Наполеон в начатой им войне строил все планы, все расчеты только на последующем соглашении с царем. Стратегия социальной войны, курс на привлечение в качестве союзников угнетенных и недовольных, широко проводимый им

* «Вы компрометируете все достигнутое правым крылом в кампании. Так невозможно вести войну»,— писал 4 июня Наполеон Жерому из Вильно (*Lecestre*. Op. cit., t. II, N 932, p. 200).

в ранних кампаниях, например 1796 года, был полностью исключен в войне 1812 года. Вступив в страну, где сохранялось крепостное право, где сорок лет назад Великая крестьянская война под руководством Пугачева потрясла основы феодально-абсолютистского государства, Наполеон не пытался и не хотел привлекать крестьян на свою сторону. Он до такой степени ощущал себя монархом, властелином, уже настолько проникся пренебрежением к «черни», что ему теперь претило прямое обращение к народу и он уже считал для себя невозможным привлечение раскрепощаемых крестьян в качестве союзников.

Более того, он не решался поднять против царской власти и нерусские народы — литовцев, латышей, эстонцев, финнов. Он даже полякам, давно уже им используемым в корыстных целях, боялся обещать полное восстановление независимости[55]. Иначе, впрочем, и быть не могло. Мог ли Наполеон призывать народы к национально-освободительному восстанию, когда он сам беспощадно подавлял национальные движения в своей огромной империи и вассальных государствах и пять лет железом и кровью пытался смирить испанский народ?

Он шел теперь в чужую страну как завоеватель, как агрессор, рассчитывающий только на силу штыка. То была агрессия, освобожденная от всякого идеологического оперения, ничем не прикрытая, грубая, рассчитывавшая найти свое оправдание в торжестве силы. Каждая из сторон начинала войну со своего рода манифеста — обращения к армии. Что мог сказать Наполеон? Какое объяснение он мог дать начатой им войне? Ему нечего было сказать, и он прибег к почти мистическим формулам: «Рок влечет за собою Россию; ее судьбы должны свершиться»[56]. Не примечательно ли, что царь Александр — самодержец, неограниченный властелин империи крепостных — противопоставил этим лишенным реального содержания фразам призывы, звучавшие более определенно и, хотя бы внешне, более прогрессивно: «Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу!»[57] Мог ли кто даже лет десять назад, в начале XIX века, предположить, что политический деятель, поклявшийся служить республике и свободе, будет чураться самих слов этих, а всероссийский самодержец, обороняясь от движущихся против его империи не-

сметных воинских сил Наполеона, поднимет против них как щит великое слово — свобода?

Все изменилось, все оказалось как бы перевернутым наизнанку, и в этой войне, начавшейся в самую короткую ночь лета 1812 года, с первого ее часа все определилось с предельной четкостью. Огромная, беспримерная по масштабам того времени армия Наполеона, вторгшаяся в пределы далекой от нее страны, была армией насилия, агрессии и порабощения. Она надвигалась как черная грозная туча, готовая все испепелить, все уничтожить. Поднявшийся на защиту своей земли народ, и в лице своей армии, и в лице крестьян, сжигавших свои избы и небогатое добро, чтобы ничего не досталось неприятелю, и шедших в партизаны, и в лице военачальников, возглавивших трудную оборону против превосходящих сил завоевателей,— для всех, для всей России война эта была справедливой, народной, истинно Отечественной войной.

Вся Европа, весь мир затаив дыхание, с напряженным вниманием следили за битвой гигантов, развертывавшейся на бескрайних просторах России. То, что происходило там, в первое время было трудно правильно понять и оценить.

В интересах научной точности следует сказать, что на первых порах о военных действиях, происходивших в далекой России, ни в Париже, ни во Франции, ни в Европе почти никто не был осведомлен. Война против России? Никто, решительно никто в Париже об этом ничего не знал.

22—23 июня 1812 года, когда «великая армия» Наполеона уже вышла к берегам Немана, сосредоточиваясь для вторжения в Россию, французская официозная печать продолжала уделять главное внимание вопросам литературы и искусства, не обнаруживая ни малейших признаков озабоченности проблемами международного положения. «Moniteur» в эти дни публиковал на своих страницах пространные обзоры переписки Цицерона и Брута с длинными цитатами из сочинений древнеримских авторов, элегии некоего Эдмона Жиро под названием «Сумерничание трубадура», сообщения о деятельности императорской академии музыки и о выступлениях мадемуазель Полен в роли Альцесты[58]. Все

на свете оказывалось важнее надвигавшихся на берегах Немана событий, имевших неисчислимые последствия для судеб Франции, империи, всего Европейского континента.

Армия вторжения уже давно переправилась через Неман, заняла Ковно, Вильно, далеко продвинулась в глубь Российской империи, а французская печать все еще хранила молчание о военных действиях.

Лишь спустя две недели после начала военных операций, 8 июля 1812 года, «Moniteur», опубликовав на пяти страницах дипломатическую переписку двух держав, в конце сообщил, что истребование князем Куракиным паспорта означало разрыв между державами и что с этого времени император и король считает себя в состоянии войны с Россией[59].

Чем объяснить столь странное поведение газеты, непосредственно руководимой Наполеоном? С полной определенностью ответить на этот вопрос затруднительно. Но в порядке гипотезы можно высказать такую мысль: Наполеон, ошибочно полагавший, будто Александр крайне напуган и ищет мирного соглашения, надеялся, что удастся быстро договориться с царем, и не хотел затруднять возможность такого соглашения.

Главные силы «великой армии» во главе с Наполеоном, выступив 16 июля из Вильно, быстрым маршем двигались на восток, в направлении Глубокое — Островно — Витебск. Армия вступила в неведомый ей край; с обеих сторон неширокие дороги сторожил густой, высокий, непроходимый лес. Армия шла, казалось, по безлюдной стране; она входила в пустые деревни и селения, где ее встречали темные глазницы окон нежилых домов; нигде не курился из труб дым; местные жители уходили с насиженных мест; они сжигали мосты через реки, угоняли свой скот, уничтожали все, что могло стать добычей неприятеля. А главное, французской армии, несмотря на все ее старания, не удавалось схватиться грудь с грудью с русской армией.

Хотя у Наполеона и не было четкого плана всей кампании, он хорошо знал, к чему должна стремиться возглавляемая им армия, каковы ее первоочередные задачи. Ему важно было использовать огромное, подавляющее превосходство в вооруженных силах над русскими, которым он располагал в начале кампании.

Ему нужно было поэтому в самые первые дни, желательно даже в пограничной зоне, навязать русским генеральное сражение; оно должно было уничтожить русскую армию и сломить сопротивление русских. Но план этот был сорван маневрами русских армий[60].

1-я армия Барклая де Толли, дислоцированная вначале в районе Ковно — Вильно, и 2-я армия Багратиона, расположенная между Неманом и Бугом, ввиду огромного численного превосходства противника начали отходить в глубь страны. Это была единственно правильная тактика, и выполнена она была обеими русскими армиями мастерски.

Не сумев навязать в начале кампании сражения, Наполеон пытался затем обойти с разных сторон армии Барклая и Багратиона, разъединить их и уничтожить поодиночке. И это ему не удалось. Умело маневрируя, отбрасывая наседавшие части французского авангарда, и Барклай и Багратион сумели вывести свои армии из-под удара и соединиться в Смоленске. Барклай де Толли, принявший командование объединенными армиями, приказал и дальше отступать на восток.

Со стороны могло казаться, что французская армия успешно развертывает наступление, а русские непрерывно отступают и, видимо, проигрывают войну. Наполеон оповещал мир о своих успехах. Бюллетени «великой армии» неизменно сообщали о продвижении французских войск[61]. Английская печать предсказывала неизбежность и уже близкое поражение России. В конце июля, по мнению английских внешнеполитических комментаторов, надо было ожидать занятия Риги французами, а «отсюда до столицы Российской империи менее трехсот миль»[62]. «Moniteur» охотно перепечатывал выдержки из английской газеты «Стейтсмен», требовавшей от английского правительства скорейшего заключения мира с Францией[63]. Словом, победа французов в этой войне ни у кого, казалось, не вызывала сомнений. Меттерних, обманывавший и Францию и Россию, но видевший все же главного врага в лице России, осенью 1812 года не мог скрыть своего злорадства: «...в вынужденном отступлении из самых лучших и богатейших провинций империи, в неслыханном опустошении Москвы я вижу только признаки доказательства бессвязности и слабости... я тут вижу только потерю европейского существования Рос-

сии... Я не рассчитываю ни на какую твердость со стороны императора Александра... Я отрицаю возможность, чтоб те же самые люди, которые поставили государство у края погибели, могли вывести его из этого положения»[64]. Так утверждал в начале октября 1812 года знаменитый австрийский политический деятель, которого многие современники были склонны считать одним из самых выдающихся государственных умов Европы.

И если уж «лучшие государственные умы Европы» полагали, что Россия находится на краю гибели, то могли ли иначе воспринимать непрерывное, без боев отступление русских армий простые русские люди, вынужденные покидать родные гнезда, где жили их отцы и деды?

Но что бы ни испытывали русские люди, сам Наполеон и его ближайшие военные соратники с возрастающей тревогой следили за развитием этой столь необычной кампании. Наполеон не мог скрывать от самого себя, что война развертывается по совсем иному плану, чем он предполагал. Чем дальше уходили русские в глубь страны и, отступая, увлекали за собой шедшую по их пятам французскую армию, тем все очевиднее становилось для Наполеона, что не он навязывал неприятелю свою волю и не он определял характер и формы войны; он должен был действовать так, как того хотели эти отступавшие русские армии.

Наполеон видел, чувствовал, как слабеет его армия, еще месяц назад казавшаяся несокрушимой. Она убывала в численности не только потому, что по мере удлинения коммуникаций и роста протяженности фронта приходилось повсеместно оставлять гарнизоны и дробить силы. Армия таяла потому, что многие иностранные солдаты и молодые французские новобранцы не выдерживали напряжения бесконечных переходов, потому, что, действуя во враждебной стране, занимая покинутые населением деревни и города, солдаты оставались необеспеченными питанием, они начинали сами грабить и мародерствовать и дисциплина в армии резко упала.

В русской печати появились сообщения о том, что во французской армии происходит падеж лошадей вследствие форсированных маршей и недостатка фуража. «Люди претерпевают таковой же недостаток в пище»[65].

То не были выдумки пропаганды противника. Тибодо передавал, что в письме, полученном не по почте (то есть неподцензурном), датированном 14 августа 1812 года, сообщалось: «В армии умирают от голода и люди и лошади. Русские позаботились о том, чтобы после них ничего не осталось»[66]. Не вступая в серьезные столкновения с противником, армия таяла: из четырехсот сорока тысяч солдат, перешедших Неман, до Витебска дошло лишь двести пятьдесят пять тысяч солдат[67]. Наполеон отдавал себе отчет в том, что, чем дальше армия будет продвигаться в глубь страны, тем больше будут возрастать трудности и опасности. В Витебске Наполеон воскликнул сгоряча: «Мы не повторим безумия Карла XII!»; в 1812 году он ни на минуту не забывал об устрашающем примере несчастливого шведского короля. Что же делать? Ждать? Оставаться в бездействии? Но военный опыт подсказывал, что бездействие — это гибель. Значит, нужно идти вперед и стараться навязать русским сражение. И все же ему пришлось признаться самому себе, что в искусстве маневра русские оказались более умелыми, чем он, признанный мастер маневра. Багратион сумел переиграть победителя под Ауэрштедтом маршала Даву; под Витебском Барклай переиграл Наполеона — он ушел без потерь, оставив великого полководца перед той же дилеммой — куда идти?

Наполеон пробыл в Витебске более двух недель, его одолевали сомнения, он не знал, на что решиться. Он пришел даже на какое-то время к мысли о разжигании крестьянского мятежа. В письме Евгению Богарне 5 августа он спрашивал: «Дайте мне знать, какого рода декреты и прокламации нужны, чтобы возбудить в России мятеж крестьян и сплотить их»[68]. Но позже он к этой мысли не возвращался: его как монарха страшили такие союзники. В послании к Сенату 20 декабря 1812 года Наполеон писал: «Я мог бы поднять бóльшую часть населения, объявив освобождение рабов; многие деревни просили меня об этом, но я отказался от этой меры»[69]. Толстой, рисуя в романе «Война и мир» сцены разгорающегося мятежа крестьян Богучарова, показывал, что почва для крестьянских движений была подготовлена. Наполеон не захотел воспользоваться этой возможностью. Наконец после колебаний он принял решение: продолжать движение вперед, навязать рус-

ским под Смоленском генеральное сражение. Когда он сообщил о своем решении маршалам и старшим военачальникам, они, в первый раз за все годы, рискнули возражать. Бертье, Дюрок, Коленкур и особо Дарю, главный интендант армии,— все стали доказывать императору гибельность дальнейшего движения в глубь необъятной страны.

Самым удивительным были возражения Дюрока. Старый товарищ Бонапарта, ныне герцог Фриульский, в политических и военных вопросах безгранично доверял Наполеону Дюрок всем говорил: «Император понимает лучше нас». И если верный Дюрок стал возражать, то это лишь доказывало, сколь серьезным считал он положение французской армии. Впрочем, Наполеон и сам это хорошо понимал, но он не находил в создавшемся положении лучшего решения и отклонил возражения своих помощников[70].

15 августа под Смоленском Наполеон надеялся, что ему удастся наконец навязать противнику генеральное сражение[71]. Битва под Смоленском действительно произошла, но то корпуса Дохтурова и Раевского героически отражали натиск французской армии, прикрывая отход главных сил, отступавших далее на восток.

7 сентября (26 августа) произошло знаменитое Бородинское сражение. Эта историческая битва породила большую полемику, и споры, начатые еще сто пятьдесят лет назад ее главными участниками, не затихали на протяжении последующих полутора веков[72]. Здесь нет возможности ни вдаваться в эти споры, ни излагать даже важнейшие события этого навсегда памятного дня. Следует лишь напомнить для понимания последующего, что это генеральное сражение, к которому так стремился с первого дня войны Наполеон, не дало ожидаемых результатов. Солнце, поднявшееся над Бородинским полем, не стало «солнцем Аустерлица», как приветствовал его Наполеон в ранний утренний час 7 сентября,— оно не принесло ему победы.

Бородино, или bataille de Moskova («битва под Москова»), как называют ее французы, было самой кровопролитной и самой ожесточенной из всех известных до того времени битв. О степени ее ожесточенности можно судить не только по огромным потерям с обеих сторон и по отсутствию пленных, но и по числу погибших в сражении генералов. Под Бородином погиб Баг-

ратион — один из лучших генералов суворовской школы, генералы Кутайсов, Тучков 1-й, Тучков 4-й. Многие генералы были ранены. Французы потеряли боевых генералов Бренена, Дама, Коленкура (брат герцога Виченцского), Компера, де Лепела, Мариона, Ламбера, Юара де Сент-Обена, Тарро и других.

Бородино иногда сравнивали с битвой при Прейсиш-Эйлау. Черты внешнего сходства были лишь в том, что, как и при Эйлау, по окончании Бородинского сражения каждая из сторон считала себя победительницей. Но на этом, пожалуй, внешнее сходство между двумя сражениями кончалось. Различие было не только в том, что руководство русской армией на Бородинском поле было в руках крупнейшего после Суворова русского полководца — мудрого и многоопытного М. И. Кутузова, а под Эйлау армией командовал несопоставимый с ним Беннигсен, различие было и не в масштабах битвы и тех последствиях, которые они имели для последующего хода событий. Различие было прежде всего в историческом значении этих сражений.

Эйлау в конечном счете осталось эпизодическим крупным сражением, не давшим Наполеону победы и не изменившим даже хода кампании 1807 года; оно не оказало влияния на последующую судьбу наполеоновской империи. Бородино было переломным сражением, битвой великого исторического значения. 7 сентября на берегах реки Колочи переламывалась судьба Наполеона, судьба его империи, судьба народов Европы.

Можно и даже должно не соглашаться с философией истории Л. Н. Толстого, но нельзя отказать великому романисту в изумляющем глубиной понимания раскрытии истинного значения Бородинского сражения.

«Наполеон испытывал,— писал Л. Н. Толстой,— тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что, чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает». И дальше: «Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска,— а победа нравственная, та, которая убеждает противника

в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным»[73].

То была победа нравственная, но еще оставалась нерешенной задача достижения материальной победы над вторгшейся в Россию армией. Бородино не дало решающего перевеса ни одной из сторон и потому в сложившейся обстановке не могло предотвратить оставление Москвы русской армией. Следует согласиться с П. А. Жилиным в том, что для полного перелома в войне «необходимо было качественное изменение самого характера боевых действий, необходим был переход армии от обороны к наступлению»[74].

14 сентября французские армии вступили в Москву. За несколько дней до того жители древней столицы не допускали даже подобной возможности. Уже после Бородина в «Московских ведомостях» появилось такое объявление: «В пятницу, 30 августа (то есть 11 сентября.— *А. М.*), императорскими российскими актерами представлена будет «Наталья, боярская дочь», драма в 4 действиях, сочинение г. Глинки... После спектакля на оном же театре дан будет маскерад»[75].

Был ли «дан маскерад»? Это осталось неизвестным. Близился «последний день Москвы», как назвал его Лев Толстой. «Московские ведомости» перестали выходить.

Французы в Москве... Те смешанные чувства смятения, тревоги, ужаса и решимости, овладевшие жителями старой столицы, покидаемой войсками, которые с такой жизненной силой были воспроизведены в заключительной части третьего тома романа «Война и мир»,— эти чувства разделяла вся Россия. Царь Александр пытался возложить вину на Кутузова. В письме к Бернадоту, союзнику России, Александр писал: «Случилось то, чего я боялся. Князь Кутузов не сумел воспользоваться прекрасною победою 26 августа. Неприятель, потерпевший страшные потери, в шесть часов после обеда прекратил огонь и отступил за несколько верст, оставляя нам поле битвы. У Кутузова не достало смелости напасть на него в свою очередь... Эта непростительная ошибка повлекла за собою потерю Москвы...»[76]

Но, несправедливо и неблагородно обвиняя старого, мудрого полководца, царь лишь показывал, что, как и под Аустерлицем, он не мог постичь стратегических замыслов Кутузова. Новейшие исследователи с дол-

жным основанием указывают, что Александр I и Ростопчин, отвечая отказом на многократные просьбы Кутузова о резервах, намеренно исключали и все иные возможности обороны Москвы. Силами одной лишь армии Кутузова оборонять Москву было нельзя: это значило ставить армию под удар. Но оборона столицы была возможна; для этого нужны были чрезвычайные меры. «...Для этого необходимо было открыть московский арсенал, вооружить патриотов. Однако Ростопчин, выражая классовые интересы реакционных кругов дворянства, предпочел оставить противнику десятки тысяч ружей, более сотни орудий, боеприпасы, чем вооружить ими народ»[77].

Кутузов исходил в своих решениях из реальных условий, из сложившейся к сентябрю 1812 года обстановки. Еще на знаменитом и столько раз описанном заседании военного совета в Филях, в исторической избе, которую ныне можно увидеть на проспекте, носящем имя прославленного полководца, Кутузов принял на себя всю ответственность за оставление Москвы. Главное он видел в том, чтобы сохранить армию: «Доколе будет существовать армия... до тех пор сохраним надежду благополучно завершить войну». На совете в Филях Кутузов думал не только о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем...

Его величие как полководца, как государственного деятеля в наибольшей мере сказалось в эти критические вечерние часы 13 сентября, когда, не спросив согласия государя, предвидя обвинения и нападки и царя, и великих князей, и сановных генералов царской свиты, и доморощенных стратегов из петербургских гостиных, и московских господ, покидающих свои особняки, и Ростопчина, ищущего, на кого переложить вину, и многих, многих других, он решился произнести эти два полновесных слова: «Приказываю отступать».

Он взял на свои плечи всю тяжесть дня 14 сентября, когда армия в унылой тишине погожего осеннего дня шла, сопровождаемая пронзительно-жалостливыми взглядами многих тысяч москвичей — женщин, мужчин, стариков, детей, безмолвно следивших за рядами полков, уходящих через город к Рязанской дороге, оставляя Москву неприятелю. Старый полководец, он мысленно провидел уже недалекий день, когда он даст приказ армии двигаться с востока на запад.

Падение Москвы громовым эхом прокатилось по всей России, по всему миру. Оно было воспринято первоначально как крупнейшая, едва ли не решающая победа наполеоновской армии, как еще одно доказательство неотразимости военного гения великого полководца.

В правящих верхах царской России, даже в самой императорской семье, падение Москвы вызвало острый кризис.

«Москва взята. Это необъяснимо. Не забывайте Вашего решения: никакого мира, и тогда у Вас еще остается надежда восстановить Вашу честь...»[78] — так писала в коротенькой записке из Ярославля 3 (15) сентября 1812 года великая княгиня Екатерина Павловна своему брату императору Александру.

Эти слова о попранной чести, которую есть еще надежда восстановить, не были обмолвкой, сгоряча вырвавшейся из-под пера. Через три дня, когда первое потрясшее всех впечатление несколько ослабло, в письме от 6 сентября, более спокойном и взвешенном, Екатерина Павловна вновь вернулась, на сей раз вполне трезвенно, к той же теме: «Взятие Москвы вызвало крайнее раздражение умов; недовольство достигло самой высокой степени, и Вашу особу далеко не щадят. Если это доходит даже до меня — судите обо всем остальном. Вас громко обвиняют в несчастии Вашей империи, в разорении — всеобщем и частных лиц, наконец, в потере чести страны и Вашей собственной чести»[79].

Эти жесткие слова Екатерина Павловна произносила безбоязненно и уверенно. Холодным, почти деловым тоном она разъясняла императору, что недовольство монархом стало всеобщим; оно охватило не какую-либо одну группу или класс — «все объединились в том, чтобы Вас хулить». Царя обвиняют и в том, как велась война, и в особенности в том, что вопреки данным обещаниям Москву отдали врагу. «Это выглядит, как если бы Вы ее предали». Царю не следует опасаться катастрофы в революционном духе, но «я Вам предоставляю возможность самому судить о положении вещей в стране, где презирают вождя»[80].

Не щадя самолюбия августейшего брата, великая княгиня хладнокровно выписывала на бумаге эти страшные, казалось, непроизносимые слова: «презира-

ют вождя» («on méprise le chef»). Она добавляла, что все озабочены будущностью страны, искалеченной и приведенной на край пропасти неспособностью вождей. Трижды она писала о попранной чести. «Спасайте Вашу честь, на которую нападают»[81] — так заканчивала Екатерина Павловна письмо императору.

За одиннадцать лет царствования Александра I, за тридцать пять лет его жизни никто никогда не смел в таком тоне, такими словами с ним говорить.

Царь хорошо знал историю своей родословной, он на всю жизнь запомнил томительные часы ужасной ночи 12 марта 1801 года в Михайловском замке. Он сразу же оценил — а его болезненная подозрительность тотчас же приумножила — все роковые последствия, которые могли скрываться за жесткими и жестокими словами сестры.

Александр не оскорбился, не обиделся. Он ответил не сразу: он отдавал себе отчет в серьезности положения и взвешивал, обдумывал ответный ход.

18 сентября он направил в Ярославль сестре пространное, на многих страницах, письмо. Оно было написано в сдержанном, почти спокойном тоне, не без горечи — сам предмет этого требовал,— но без каких-либо признаков внутреннего смятения. Он оправдывался; шаг за шагом, пункт за пунктом, со ссылками на точно датированные письма он оспаривал выдвигаемые против него обвинения. Но хотя эти оправдания занимали добрых две трети письма, все это было второстепенным. Главное содержалось в нескольких строках, как будто равнодушно написанных где-то в заключительной части письма. Как бы мимоходом, небрежно царь сообщал своей сестре, что еще весной, до начала войны, он получил из надежного источника сведения о том, что секретные агенты Наполеона прилагают все усилия к тому, чтобы вызвать в стране недовольство против правительства и, более того, породить раздоры в императорской семье.

Александр со времени послетильзитских трений в семье отчетливо представлял, что наиболее вероятный вариант дворцового переворота заключался в возведении на трон Екатерины III. Небрежным тоном он писал сестре: «Будете ли Вы удивлены, если я Вам скажу, что за 8—10 дней до моего отъезда (в Вильно.— *А. М.*) я был уведомлен, что операцию начнут именно с Вас

и что будут приложены все усилия, чтобы представить меня в самом непривлекательном свете в Ваших глазах?.. Должны были также попробовать зародить у меня беспокойство на Ваш счет, но скоро убедились в том, что это значило бы зря терять время»[82].

Далее тем же подчеркнуто равнодушным тоном Александр замечал, что подготовляемая вражескими агентами операция должна была быть приурочена к падению одной из столиц.

То был точно нацеленный и хорошо рассчитанный ответный удар. Царь предупреждал: всякая критика, тем более всякие задевающие интересы трона попытки будут квалифицированы как осуществление секретных планов противника. Остерегайтесь!

Этот милостивый, ласковый монарх с ясным взглядом голубых чистых глаз был вовсе не прост — голыми руками его не возьмешь.

Екатерина Павловна тотчас же поняла смысл ответного хода; от нападения она перешла к обороне. Теперь пришла ее пора оправдываться, она должна была объясняться по всем пунктам, и, конечно, по самому главному: «...Ваш брат [Константин], единственный, кто мог бы действовать, столь искренне к Вам привязан, что никогда не сможет стать Вам опасным; в том, что касается меня, то я считаю ниже своего достоинства отвечать по такому поводу...» Впрочем, несколькими строками ниже она, смирив свою гордыню, писала: «Вы можете проверить мое поведение и все мои отношения; они ничего не докажут, что шло бы мне в ущерб!»[83] Екатерина Павловна заканчивала письмо взволнованными заверениями в своей любви и бесконечной преданности брату.

В этом столкновении внутри царской семьи на другой день после падения Москвы Александр победил. Но эта переписка, сохранявшаяся в течение многих десятилетий в глубокой тайне и ставшая известной лишь спустя сто лет после того, как были написаны эти полные скрытого яда письма, показывала, какой остроты достиг кризис в верхах императорской России в связи с падением первопрестольной столицы.

Совсем иным, далеким от приглушенной внутренней борьбы в царской семье, было отношение простых русских людей к вступлению неприятельских войск в древнюю столицу. «...Москвы нет! Потери невозврат-

ные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук — все осквернено шайкою варваров! ...Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды?»[84] — писал Батюшков в начале октября 1812 года П. А. Вяземскому. Чувства скорби и гнева — гнева против завоевателей владели русскими людьми. Сергей Глинка, вместе с армией прошедший через оставляемую врагу Москву, рассказал о том страшном потрясении, испытанном всеми русскими воинами, когда они увидели с Рязанской дороги, как позади них, над Москвой, поднялось зарево пожара: «...внезапно раздался громовый грохот и вспыхнуло пламя... Быстро оглянулись воины наши на Москву и горестно воскликнули: «Горит матушка Москва! Горит!» Объятый тяжкою гробовою скорбью, я ринулся на землю с лошади, и ручьи горячих слез мешались с прахом и пылью»[85].

Но в этот грозный час испытаний, дошедших, казалось, до самой крайней, до последней черты, окрепла, закалилась воля народа, воля армии к сопротивлению, к продолжению борьбы, к доведению ее до изгнания врага, до полной победы.

Конечно, были различия, немалые и существенные, в образе мыслей и чувств, а главное, в образе действий между высшими кругами империи — придворной аристократией, вельможами, сановной знатью — и обыкновенными, рядовыми русскими людьми — теми, кто составлял Россию. Распри, скрытая, невидимая постороннему глазу борьба шли не только в недрах царской семьи; царь Александр, его помощники и советники, среди которых вновь обретал влияние вероломный Беннигсен и уже начинал завоевывать доверие императора показной холопской преданностью Аракчеев, вели низкую и мелочную борьбу против Кутузова. Не смея открыто выступить против главнокомандующего, пользовавшегося доверием армии и любовью народа, они каждодневно чинили ему препятствия и строили козни, перекладывая на него ответственность за промахи и неудачи, в которых он был неповинен, брали под сомнение или даже гласно осуждали принимаемые им мудрые решения, засылали к нему в штаб соглядатаев и лазутчиков, стремившихся опутать сплетаемою ими паутиной шепотков и слухов вождя армии.

Под стать высшей иерархии империи была и родовитая дворянская знать, изгнанная войной из своих дворцов и поместий и даже готовая побрюзжать за причиненные ей неудобства и издержки. Батюшков, приехавший в октябре в Нижний Новгород, куда «переселилась вся Москва», и встречавшийся здесь с Карамзиным, Пушкиными, Архаровыми и другими московскими барами, не мог скрыть неприглядного впечатления, которое оставляли московские сановники в изгнании: «...здесь я нашел всю Москву... Везде слышу вздохи, вижу слезы, и — везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах»[86].

Патриотизм народа был совсем иным. Народ не жаловался, не брюзжал. В час смертельной опасности, нависшей над Родиной, он встал на ее защиту: патриотизм народа выражался не в словах, а в действиях.

Еще не успели французские воинские части разместиться в Москве, как в подмосковных деревнях крестьяне взялись за оружие.

Ранее других поднялись крестьяне Звенигородского уезда, их руководителем стал крестьянин Павел Иванов. Партизанские отряды Иванова наносили чувствительный урон противнику. Крестьянские партизанские отряды были созданы в Рузском, Бронницком, Волоколамском и других уездах. Уже в сентябре, вскоре после вступления неприятеля в Москву, французы при первых попытках добыть продовольствие в прилегающих к Москве деревнях натолкнулись на яростное сопротивление крестьян. По свидетельству французского офицера Физенсака, отряды партизан с каждым днем атаковывали армию завоевателей все энергичнее. Попытки французского командования расширить зону оккупации в прилегающей к Москве сельской местности встречали возрастающее противодействие. Усилия французов овладеть Воскресенском и Новым Иерусалимом остались безрезультатными: оккупанты потерпели неудачу, оба города были удержаны главным образом силами партизан.

Город Верея, занятый ранее французскими и вестфальскими воинскими частями, был в сентябре в результате объединенных действий регулярных войск генерала Дорохова и партизанского крестьянского отряда, возглавляемого священником Иваном Скабеевым,

освобожден. Вражеский гарнизон был частью перебит, частью взят в плен. Народная, освободительная война набирала силу[87].

14 (2) сентября 1812 года французская армия во главе с Наполеоном вступила в Москву. Дивизии, полк за полком, шли через Дорогомиловскую заставу, через Арбат к Кремлю. Первую ночь Наполеон провел в faubourg de Dorogomilov — «Дорогомиловском предместье», как называют его французы. Он въехал в Москву в приподнятом настроении. Далекая, казавшаяся недостижимой цель этого бесконечного, загадочного, почти неправдоподобного похода достигнута. По крайней мере в течение нескольких часов, первых часов в Москве, Наполеон был счастлив и горд. Он давно вел счет столицам, в которые вступала его армия: Милан, Рим, Турин, Венеция, Неаполь, Каир, Брюссель, Амстердам, Мадрид, Лисабон, Мюнхен, Вена, Берлин, Варшава и вот наконец Москва! Он достиг того, чего еще никому не удавалось! Он уже предвкушал свое торжество. Все враги, тайные недруги, сомневающиеся — а их было много, он не обманывался! — должны будут опустить голову, прикусить язык. Карл XII, храбрый шведский король, этого не сумел; он потерпел поражение под Полтавой и не смог дойти до русской столицы; он должен был испытать позор отступления и бегства. Он, Наполеон, сумел достичь того, чего не удавалось самым выдающимся его предшественникам. И вот Москва у его ног!

Но это горделивое, волнующее чувство, когда с Поклонной горы он увидел огромную, простиравшуюся на необозримом пространстве, белокаменную, увенчанную золотыми куполами церквей древнюю столицу России, не было длительным. Тянулись долгие минуты, шло время, шел час, другой; громадный город казался безжизненным, вымершим. Никто не спешил, не торопился поднести победителю ключи от поверженной столицы.

Офицеры свиты видели, как сдвигались брови, как хмурилось лицо императора. Тщетно ждал он «бояр»; они не шли; никто не шел. Достигнута ли цель?

По приказу императора армия вступала в безмолвный, пустынный город, покинутый обитателями. Безлюдные улицы, зияющие провалы выбитых окон в оставленных домах, собаки, ищущие бросивших их хозяев, белые клавиши раскрытого клавесина в рас-

пахнутом настежь нежилом доме. Еще вчера здесь теплилась жизнь. Офицеры, вступая в просторные покои богатых барских особняков, вздрагивали, услышав в застывшей тишине мерное тиканье маятника стенных часов. Может, здесь кто-нибудь притаился? Но нет, анфилады комнат были пустынны — нигде ни души. Город был мертв. Нет, не это ожидал Наполеон увидеть в Москве.

Коленкур еще в Витебске отмечал крайнюю сумрачность императора[88]. В Москве она еще более возросла. С вечера 14 (2) сентября начались пожары; они продолжались всю ночь, расширяясь и охватывая все новые и новые кварталы города. Ветер разносил пламя; горела деревянная Москва, и пожар нельзя было остановить; он продолжался неделю, и Наполеону пришлось из окруженного огнями пожаров Кремля перебраться в Петровский замок. С первых дней возникли споры о происхождении московского пожара. В письме к Александру 20 сентября Наполеон писал: «Прекрасный, великолепный город Москва более не существует. Ростопчин его сжег. Четыреста поджигателей были застигнуты на месте преступления; они все заявили, что поджигали дома по приказу губернатора и начальника полиции»[89].

С тех пор вплоть до наших дней продолжают выяснять обстоятельства возникновения московского пожара[90]. Но зловещие отблески сентябрьского зарева 1812 года больше поразили чувства и воображение современников, чем оказали действительное влияние на развитие событий. Неделю спустя после неожиданного начала пожары в Москве прекратились. И что же? Изменилось ли что в положении французов в Москве? Улучшилось ли оно? Наполеон возвратился из Петровского дворца в Кремль, но стало ли менее сумрачным его лицо, внушавшее страх и тревогу всем, кто видел в те дни императора?

Позже, на острове Святой Елены, Наполеон сказал: «Я должен был бы умереть сразу же после вступления в Москву...»[91] За этими словами было скрыто многое. Предчувствие неотвратимо надвигавшейся гибели охватило его, видимо, в первые дни ожидания в пустой, безлюдной Москве. Он ждал, ждал с первых дней войны обращений Александра, предложений о мире, о перемирии, что угодно, любых поисков соглашения, исхо-

дящих от русской стороны. Он ждал их в Вильно после отъезда Балашова, ждал в Витебске, ждал в Смоленске, ждал после Бородина; все было напрасно. Вступив в Москву и увидев этот темный, безмолвный огромный город, он должен был сразу понять тщетность всех своих ожиданий и надежд.

В этой войне все шло вопреки его замыслам и расчетам. Он не сумел навязать противнику свою волю; не он управлял этой войной, не он направлял ее течение. 18 сентября из безлюдной и уже догорающей Москвы Наполеон послал Маре, герцогу Бассано, министру иностранных дел, письмо, предназначенное оповестить мир об одержанных им победах: «Мы преследуем противника, который отступает к пределам Волги. Мы нашли огромные богатства в Москве — городе исключительной красоты. В течение двухсот лет Россия не оправится от понесенных ею потерь. Без преувеличений их можно исчислить в миллиард»[92]. В этом послании все было преувеличением, все было вымыслом от начала до конца. Наполеон не мог уже обманывать самого себя; ему оставалось обманывать других.

Но Наполеон выдал свое истинное положение, выдал охватившие его тревогу, смятение; не будучи в силах выносить тягостное ожидание, он стал посылать предложения о мирных переговорах Александру, Кутузову [93]; он их возобновлял с каждой вновь подвернувшейся оказией.

Война вступала в новую полосу. Кутузов, осуществив свой знаменитый фланговый марш — маневр с Рязанской дороги на Калужскую, стал лагерем под Тарутином. Здесь армия остановилась; ряды ее пополнялись подходящими подкреплениями. В письме к калужскому городскому голове 22 сентября 1812 года Кутузов писал: «Государь мой Иван Викулович!.. прошу Вас успокоить жителей города Калуги и уверить, что состояние армии нашей как было, так и есть в благонадежном положении. Силы наши не только сохранены, но и увеличены, и надежда на верное поражение врага нашего нас никогда не оставляла»[94]. Это значило, что отступление окончено и армия готовится к контрнаступлению.

Наполеон тщетно ожидал в Москве ответа на свои многочисленные мирные предложения. С ним не хотели вести переговоров. Он отчетливо понимал, как близок переход от роли победителя к положению побежденно-

го. Война зашла в тупик. Его армия дошла до Москвы, но что это дало? Куда идти дальше? На Петербург? На Казань? В Сибирь? На верную гибель? Он не мог не ощущать возрастающую опасность своего положения.

Французская армия пробыла в Москве тридцать четыре дня. Она не отдохнула, не оправилась после долгих переходов, как Наполеон надеялся. Напротив, армия разложилась; день ото дня она становилась все менее боеспособной. Наблюдатель с обостренно-зорким взглядом, достоверный и точный в своих описаниях, военный интендант Анри Бейль, подписывавшийся иногда из озорства и осторожности ради «капитан Фавье», писал 4 октября из Москвы: «Я пошел с Луи посмотреть на пожар. Мы увидели, как некий Совуа, конный артиллерист, пьяный, бьет саблей плашмя гвардейского офицера и ругает его ни за что, ни про что...» И дальше: «Один из его товарищей по грабежу углубился в пылающую улицу, где он, вероятно, изжарился». Из того же письма: «Маленький г. Ж., служащий у главного интенданта, который пришел, чтобы маленько пограбить вместе с нами, начал предлагать нам в подарок все, что мы брали и без него... Мой слуга был совершенно пьян; он свалил в коляску скатерти, вино, скрипку, которую взял для себя, и еще всякую всячину. Мы выпили немного вина с двумя-тремя сослуживцами»[95]. Эти темы — грабеж и пьянство — проходят через все письмо Стендаля из Москвы.

Поражение корпуса Мюрата под Тарутином, нанесенное Кутузовым 18(6) октября, напомнило Наполеону, что счет времени идет против него. Бездействие, дальнейшая потеря времени в ожидании становились гибельными. А он все не мог найти верного решения. И было ли оно вообще? Можно ли было в сложившихся обстоятельствах найти спасительное решение?

19 октября французская армия выступила из Москвы. Накануне Наполеон принимал противоречивые решения. Наконец он точно определил: «Главная ставка будет перенесена в преддверие Калуги, где армия станет на бивуаках»[96]. Герцогу Тревизскому — Мортье был отдан приказ держаться как можно дольше в Кремле, а при отступлении взорвать его; этот бессмысленный варварский акт свидетельствовал одновременно и об ожесточении, и о крайнем смятении духа Наполеона. Ведь он искал соглашения с царем, он и Польшу боялся

провозгласить независимой, чтобы с ним не рассориться, а здесь бессмысленный, оскорбляющий русские национальные чувства приказ взорвать Кремль! Какая же во всем этом логика? Приказ этот Мортье был не в силах осуществить: 23 октября он должен был бежать из Москвы[97].

Уже 26-й бюллетень «великой армии», датированный 23 октября, давал крайне сбивчивое и противоречивое объяснение причин оставления Москвы; будущее изображалось весьма оптимистически, но неясно[98]. Но Наполеон оказался не в силах претворить в жизнь даже задуманный план отступления. Под Малоярославцем Кутузов преградил ему дорогу. Сражение 24 (12) октября под стенами Малоярославца имело большое значение. Бессьер, осмотрев расположение русских войск, доложил императору, что «позиции не атакуемы». Но император приказал принцу Евгению, возглавлявшему авангард, наступать. Кровопролитное сражение закончилось для французов безрезультатно. Они понесли большие потери. Русские по-прежнему преграждали путь на Калугу.

В описании сражения под Малоярославцем французские мемуаристы [99], а вслед за ними и историки выдвигали обычно на первый план драматическое происшествие на рассвете 25 октября, когда Наполеон, Бертье, Коленкур, Рапп, выехав на осмотр позиций, едва не были захвачены в плен казаками Платова. В течение недолгого времени, десяти — пятнадцати минут, действительно возникла реальная возможность захвата в плен Наполеона и Бертье; убить их было еще проще. Выхватив сабли из ножен, Наполеон и его спутники на конях хладнокровно ожидали своей участи. Их выручили подоспевшие французские эскадроны. Как справедливо заметил Коленкур, если в пятистах шагах от главной ставки, на главной дороге, на которой расположилась на бивуаках французская армия, могли незамеченно, безнаказанно пройти казачьи сотни, то это было грозным признаком ослабления боеспособности армии[100].

Но не это было самым важным в событиях под Малоярославцем. Покидая Москву 19 октября, Наполеон произнес грозные, устрашающие слова: «Горе тем, кто станет на моем пути!» В них собрана была вся горечь и ярость осознанных роковых просчетов. И вот неделю

спустя под Малоярославцем на его пути встала русская армия, встал Кутузов.

Вице-король Евгений, его пасынок, непосредственно руководивший атаками, дрался с крайним ожесточением. Он писал матери: «Я вчера сражался с восемью дивизиями противника с утра до вечера, и я сохранил позиции; император доволен»[101]. Но и русские не ушли. Они по-прежнему стояли на пути французской армии.

Наполеон долго обдумывал положение; он не мог найти решения. Он объявил, что идет на Калугу; он пригрозил, что сметет всех, кто встанет на его пути. И что же? Он не в силах осуществить принятое решение? Его угрозы остались пустым звуком? Он отдавал себе отчет в том, что тончайшая грань, отделявшая победителя от побежденного, может исчезнуть, растаять в зависимости от принятого решения. Отказаться от движения на Калугу значило признать противника сильнее, признать перед всей армией, что он, непобедимый Наполеон, подчиняется воле Кутузова и уже не определяет хода войны. Но сохранить инициативу в своих руках, идти на Калугу — это значило начинать завтра новое генеральное сражение, быть может новое Бородино.

Решиться на это Наполеон уже не мог. «Этот дьявол Кутузов не получит от меня новой битвы»[102],— сказал он наконец на рассвете 25 октября. Как ни драчливо звучали эти слова, то было признанием поражения. Наполеон уклонялся от битвы, предлагаемой Кутузовым. Он приказал армии двигаться на старую Смоленскую дорогу. Грань исчезла; он превратился в побеждаемого. Он отступал, преследуемый русской армией, перешедшей в контрнаступление.

Уже под Дорогобужем стало очевидным критическое состояние армии. Ней, командовавший арьергардом и сдерживавший оборонительными боями натиск русских войск, обеспечивая тем самым отступление шедших впереди корпусов, Ней лучше, чем кто-либо, мог видеть, во что превращалась «великая армия». Трупы, устлавшие всю дорогу, павшие лошади, коляски с награбленным и уже никому не нужным добром, распряженные повозки с ранеными, брошенными на произвол судьбы, отбившиеся от своих частей отряды еле плетущихся солдат — итальянцев, баварцев, немцев, французов, наконец, пушки, брошенные посреди дороги,

прямо в руки противника,— все это с неопровержимостью доказывало, что «великая армия» перестала быть не только «великой», она переставала быть армией: она теряла свою боеспособность.

Ней послал своего адъютанта — полковника Далбиньяка с донесением императору: он хотел высказать всю правду. Может быть, император, идущий во главе армии, не знает о том, что творится позади него. Командующий арьергардом не хотел ничего смягчать в ужасающей картине разложения армии. Он приказал Далбиньяку на словах разъяснить императору все размеры надвигающейся катастрофы.

Но Наполеон, приняв Далбиньяка, с полуслова понял, о чем пойдет речь. «Полковник, я вас не спрашиваю о подробностях»,— резко прервал он доклад посланца Нея. Он и сам не хуже Нея видел, что творится в армии. Но он знал, что есть вещи, о которых нельзя говорить вслух.

Армия продолжала поспешное движение на Смоленск. Из уст в уста передавали слова, будто бы сказанные императором: «В Смоленске мы отдохнем». Говорили, будто император приказал стать в Смоленске на зимние квартиры. Значит, в Смоленске армию ожидают полные до краев продовольственные склады, теплое жилье, сытная пища, спокойный сон в защищенных от ветра, от мороза, от вражеских пуль добротных домах.

Смоленск стал мечтой, надеждой, землей обетованной. К нему были обращены все ожидания. Измученные, падающие от усталости люди подбадривали себя надеждой: скоро Смоленск, скоро конец мучениям.

И вот после изнурительного, казавшегося нескончаемым пути по обледенелым, скользким дорогам вдалеке показались высокие крепостные стены Смоленска. Может быть, это был мираж? Но выглянуло солнце и ярко осветило заблестевшие золотом купола смоленских церквей.

Надежда, близость благостной земли, отдыха вдохнули в армию новые силы.

Но Смоленск обманул ожидания. Продовольственные склады были уже опустошены прошедшими ранее через город корпусами. Пополнения не прибыли. Того, что оставалось в городе, хватило лишь на старую и молодую гвардию; император заботился прежде всего о гвардии: в ней он видел единственную надежную си-

лу. Ее разместили в теплых домах, накормили. Немногие части, сумевшие сохранить относительный порядок, также получили временный отдых. Но бо́льшая часть армии, потерявшая строй, порядок, командиров, превратившаяся в хаотическую орду голодных и полузамерзших оборванцев, была обречена и в Смоленске испытывать те же страдания.

24—25 октября 1812 года были переломными для армии Наполеона, для хода кампании 1812 года, для судьбы империи. Русская армия перешла от обороны к наступлению. Отступление «великой армии» превратилось в бегство и закончилось ее гибелью.

Французские мемуаристы и историки, как уже говорилось, рассказывают о Малоярославце обычно торопливо, скороговоркой, обращая больше внимания на частности, чем на главное. Советские историки справедливо считают Малоярославец поворотным рубежом в ходе войны 1812 года[103]. С этого сражения начался новый этап Отечественной войны. Русская армия наступала, началось изгнание вторгшихся в пределы России завоевателей.

Но новый характер войны обнаруживался и в ином. Война все отчетливее, все явственнее принимала характер освободительной, народной войны. Уже в сражении под Бородином все ее участники осознанно или подсознательно почувствовали огромное историческое значение битвы. Люди понимали, и Лев Толстой это изумительно передал в образах Кутузова, Андрея Болконского, Пьера Безухова, капитана Тимохина, что на Бородинском поле будет решаться судьба родины. Уже со времени Бородина война стала национальной; это значило, что все слои русского общества объединились, сплотились в борьбе против иноземного нашествия. Михаил Андреевич Милорадович и Павел Иванович Пестель плечом к плечу дрались против общего врага; пройдет тринадцать лет, и они встретятся как непримиримые враги. В 1812 году Пестель, Никита Муравьев, Муравьев-Апостол еще были, конечно, далеки от тех взглядов, которые привели их позже к движению, вошедшему в историю под именем декабристского. Но Бородино, Отечественная война 1812 года подготовили их переход к декабризму; они были первой и, верно, важнейшей школой гражданского воспитания.

Этот дух гражданственности после Бородина день ото дня все явственнее чувствовался в войне. После Малоярославца, после первой неоспоримой победы и начавшегося отступления противника народный характер войны все более усиливался. Развитие и направление войны теперь зависели не только и не столько от самодержавного государя императора, его министров и сановников, сколько от народа. Народный дух войны проявлялся не только в армии. Конечно, армия в 1812 году в России, как и в Испании, представляла народ и выполняла высокую народную и национальную миссию; она отстаивала независимость и неприкосновенность родины; и маленький, робкий, красноносый капитан Тимохин, и блестящий адъютант главнокомандующего князь Андрей Николаевич Болконский в главном, жизненном вопросе тех дней — войны насмерть с врагом — мыслили и чувствовали одинаково. Но народный характер войны находил свое выражение и в новом, широком понимании патриотических задач русского общества, отнюдь не совпадавшем с той узкой, ограничительной его трактовкой, которая содержалась в парадно-казенных речах Александра I или лубочных бахвальствах Ростопчина.

Александр Петрович Куницын, адъюнкт-профессор Царскосельского лицея, оказавший немалое влияние на Пушкина, в «Послании к русским» пробуждал чувства гражданственности. Он призывал их следовать примеру испанцев. «Вы, которым благоденствие и слава Отечества драгоценны, мужайтесь! Испанцы, без правительства, при одной только помощи великодушных союзников, освободили страну свою от ига иностранного. Рассеянные дружины патриотов истребили стройные галльские легионы»[104]. Призыв следовать испанскому примеру означал призыв к народной войне *. «Москов-

* Борьба испанского народа против французских завоевателей была одной из самых популярных тем в русской печати 1812 года. В том же «Сыне Отечества» печатались большая статья о Севильской верховной хунте (№ 5, стр. 182—190; № 6, стр. 233—242), «Осада Сарагосы» (№ 8—9, 11—12) и др. Испанская тема 1812 года позже получила естественное продолжение в повышенном внимании к испанской революции 1820—1823 годов. Будущие декабристы дважды приобщались к испанскому опыту. Внимание декабристов к испанскому освободительному и революционному движению превосходно прослежено М. В. Нечкиной помимо указанных ранее работ в ее книге «А. С. Грибоедов и декабристы» (М., 1947).

ские ведомости», начавшие вновь выходить в ноябре после почти трехмесячного перерыва, в первом вышедшем по освобождении Москвы номере писали: «Наконец, благодарение всевышнему, мы вновь начинаем дышать свободно»[105]. Это еще недавно запретное слово теперь как бы обретало новую жизнь; оно было у всех на устах. «Освобождение от вражеских полчищ», «освобождение Москвы», «освобождение Вязьмы» — каждый день эти слова повторялись миллионами русских людей. Но разве не чувствовали они, что освобождение и свобода — это не только слова одного корня, это и родственные понятия.

Народный, национальный характер войны, по справедливости названной Отечественной, проявлялся и в небывалом по размаху подъеме партизанского движения. «Партии», как говорили в XIX веке,— партизанские отряды Дениса Давыдова, Сеславина, Фигнера, крестьянских вожаков Герасима Курина, Егора Стулова, Василисы Кожиной, Ивана Андреева, Павла Иванова и многих других — наносили огромный ущерб и вызывали большие потери в наполеоновской армии[106]. Денис Давыдов, ставший и одним из первых теоретиков партизанской войны, справедливо писал: «Партизанская война имеет влияние и на главные операции неприятельской армии... Преграды... воздвигнутые и защищаемые партиями (то есть партизанскими отрядами.— *А. М.*), способствуют преследующей армии теснить отступающую и пользоваться местными выгодами для окончательного ее разрушения»[107]. Давыдов считал, что более трети пленных и транспортов «великой армии» было отбито действиями партизан. Русская «гверилья» становилась еще более грозной для наполеоновской армии, чем испанская.

Именно этот народный дух и явился в конечном счете той великой силой, которая сокрушила и победила «великую армию» Наполеона. Народный дух, патриотизм, национальные чувства — то были категории, которые Наполеон, став императором, деспотическим повелителем огромной империи, пренебрежительно отказывался принимать во внимание — он их «не признавал». Их действительно нельзя было ни взвесить, ни измерить, ни пересчитать в батальоны. Но эта отрицаемая им «идеология», как теперь с раздражением говорил монарх, бывший в молодости сам «идеологом»-

вольнодумцем, эта третируемая им «идеология», овладев сердцами и умами миллионов людей, становилась неодолимой силой. Наполеон впервые почувствовал это под Байленом, затем под Смоленском, на Бородинском поле, под Тарутином, под Малоярославцем. И эта могучая сила воодушевляла армию Кутузова, преследующую по пятам отступавшую в беспорядке, внутренне сломленную армию Наполеона, она воодушевляла партизанские отряды, смело нападавшие на вражеские фланги, она поднимала крестьян и вела их с вилами и топорами против чужеземных завоевателей, вторгшихся на землю их отцов и дедов.

Поражение и гибель наполеоновской армии были предрешены. Позже, добравшись до Парижа, Наполеон первым создал легенду, охотно подхваченную другими побежденными генералами, о страшном противнике — «генерале-зиме». Эта легенда еще в свое время была опровергнута непосредственными участниками войны: с русской стороны — Денисом Давыдовым[108], с французской — Анри Бейлем (Стендалем)[109]. «Было бы ошибкой думать, что зима в 1812 году наступила рано; напротив, в Москве стояла прекраснейшая погода. Когда мы выступили оттуда 19 октября, было всего три градуса мороза, и солнце ярко светило»[110],— писал Стендаль. Наполеон также многократно писал Марии-Луизе о том, какая хорошая, теплая погода держится в Москве. И под Тарутином, и под Малоярославцем стояла хорошая погода, и она не помогла французам выиграть сражение. Напомним, что Наполеон, приняв решение ехать в Париж, выехал 5 декабря из города Сморгони еще на колесах. Он ехал в дормезе. Лишь более двух суток спустя, уже за Ковно, снега оказалось столь много, что пришлось пересесть в сани. Здесь наступил «ужасный мороз», как писал Коленкур, но, даже по его признаниям, он приближался к двадцати градусам *[111]. Но двадцать градусов — «ужасный» ли это мороз для русской зимы?

«Великая армия» Наполеона была побеждена не «генералом-зимой», а русской армией Кутузова, пар-

* Луи Мадлен в работе, вышедшей в 1949 году, продолжал повторять легенду о «страшных морозах», якобы сразивших французскую армию (*L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XII, p. 254). Но даже по официальным французским данным, мороз не превышал шестнадцати — восемнадцати градусов (Corr., t. 24, p. 325).

тизанскими отрядами, всем народом, поднявшимся на защиту родины.

Было время, в 1796 году, в первую итальянскую кампанию, когда Бонапарт вел войну против косной, рутинной армии Габсбургов, опираясь на поддержку народа, освобождаемого от иноземного и феодального гнета. Тогда его маленькая армия, поддерживаемая народом, одерживала великие победы — Монтенотте, Лоди, Риволи. Теперь император Наполеон во главе разноплеменной, разнородной огромной армии вел завоевательные войны против народов; он нес им порабощение, разорение, гибель. И народы поднялись против завоевателя. Первым сопротивление наполеоновской агрессии оказал испанский народ. Но у него не хватило сил одолеть французскую армию. В Отечественной войне 1812 года все живые силы России, сплотившиеся для защиты своей страны, сломили «великую армию» Наполеона.

Крушение и гибель «великой армии» Наполеона были глубоко закономерны. В. И. Ленин замечательно раскрыл эту диалектику исторического процесса: «...войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие *в свою очередь* национально-освободительные войны *против* империализма Наполеона»[112].

Отечественная война 1812 года была первой победоносной национально-освободительной войной, нанесшей решающее поражение наполеоновскому империализму. За Малоярославцем последовало стремительное отступление Наполеона, атакуемого армией Кутузова и партизанами, к Смоленску, затем вынужденное, поспешное отступление от Смоленска, жестокое поражение в трехдневном сражении под Красным, наконец, катастрофа французской армии под Березиной[113]. Уже в конце октября Кутузов имел все основания писать своей дочери: «Я бы мог гордиться тем, что я первый генерал, перед которым надменный Наполеон бе-

жит»[114]. То не было преувеличением: беспорядочное отступление от Смоленска после Березины превратилось в бегство. Армия, вернее, остатки армии, еще недавно называвшей себя великой, бежали почти в беспамятстве; если в армии еще оставалась какая-то боеспособная часть, так это была старая гвардия, крайне поредевшая в своем составе.

«Великая армия» Наполеона была побеждена и разгромлена русской армией, народом России, объединившимся в справедливой войне за освобождение своей родины. Наполеон обольщал себя надеждой, что, как только он перейдет за Неман, военное счастье вернется к нему. То была еще одна ошибка. Он все еще не понимал или, быть может, не хотел понять и признать основной причины своих фатальных просчетов и поражений. Созданный им режим и проводимая им политика насильственного установления французского господства в Европе, кровавые войны и завоевания, попиравшие права и свободу европейских народов, рождали столь могучее противодействие, втягивали в борьбу такие неисчислимые силы национально-освободительного движения, подчинить и обуздать которые он был не в силах. Император Наполеон с презрением говорил о «чувствах», о «сантиментах» — «национальном чувстве», «любви к свободе» и прочих «выдумках идеологов». В России он познал, что представляют собой эти «сантименты», когда они переплавляются в пушки, ружья, сабли и топоры, когда они ведут на бой десятки тысяч вооруженных людей.

Наполеон продолжал наивно считать в числе резервов, которые он сможет привести в движение, прусскую, баварскую, саксонскую армии, армии своих вассалов и союзников. Но едва лишь стало известно о поражении и гибели наполеоновской армии в России, как все изменилось. Еще остатки наполеоновской армии не добежали до Немана, как прусская армия генерала Йорка фон Вартенбурга, находившегося под командованием маршала Макдональда, вышла из повиновения и повернула штыки против французов[115]. 30 декабря в Таурогене было подписано соглашение о перемирии между прусскими и русскими войсками. Его действительное содержание было неизмеримо большим: то было соглашение о совместной борьбе за освобождение Германии.

Все это было только началом. Разгром наполеоновской армии в России должен был стать сигналом к общеевропейскому восстанию угнетенных народов против французского владычества. Наполеон не допускал даже мысли о чем-либо подобном. В беседах с Коленкуром он высказывал надежду на то, что армия, достигнув Вильно, сумеет здесь остановиться и с помощью подкреплений создать мощный барьер, о который разобьется русская волна. Но был ли он сам в том уверен? Подсознательно его терзали дурные предчувствия. Возможно, что его воображению рисовался уже трагический конец необыкновенной судьбы. В Варшаве он произнес фразу, ставшую знаменитой: «От великого до смешного — только шаг». Позже все ее повторяли. Эти слова были произнесены в запальчивом разговоре с французским послом в Варшаве де Прадтом, вызывавшим крайнее раздражение императора, и польским министром Станиславом Потоцким[116]. Но когда родилась эта мысль у Наполеона? Как он к ней пришел? И что же или кто же рисовался ему смешным в этой трагической, кровавой истории?

29-й бюллетень «великой армии», помеченный Молодечно, 3 декабря 1812 года, как ни преуменьшал и ни приукрашивал потери, произвел во Франции и в Европе потрясающее впечатление[117]. Война против России была крайне непопулярной в стране; всем было непонятно, зачем, ради чего она затеяна. Но пока правительственная печать сообщала о непрерывных победах, с ней както мирились, хотя, по свидетельству современников, всех не покидало чувство беспокойства[118]. 29-й бюллетень раскрыл глаза на действительное положение вещей; в нем не были названы цифры, но во Франции поняли, как велики жертвы. Жены, матери с ужасом спрашивали: кто же в числе погибших? Позже тот же вопрос звучал иначе: кто же остался живым? Тибодо, прочитав опубликованный в «Moniteur» бюллетень[119], воскликнул: «Вот, все мои предчувствия сбылись! Эта кампания станет роковой для империи, гибельной для Франции»[120]. Так думали многие. В зловещем свете сообщаемых печатью страшных фактов отступления армии особенно странной казалась заключительная фраза

бюллетеня: «Здоровье Его величества никогда не было лучшим»[121].

Наполеон испытал уже однажды горечь мучительного отступления. Тринадцать лет назад вслед за блистательными победами в Египте и Сирии он вынужден был возвращаться после неудачи под Сен-Жан д'Акром по выжженной солнцем, страшной дороге сирийской пустыни. Все повторялось. Тогда было только беспощадно палящее солнце и пески, теперь — холод и снег. Он помнил рождавший ужас пронзительный клекот огромных птиц, кружившихся над отступающей армией. Теперь в его ушах не умолкал вороний грай, и, оглядываясь, он видел сотни черных птиц, круживших над растянувшейся длинной, нестройной цепочкой армией в ожидании добычи. Все, все повторялось. Молча шагая в тяжелой медвежьей шубе, в меховой шапке по промерзшей земле, окруженной лесами, он, как тогда, тринадцать лет назад, уже приходил к мысли о том, что надо скорее бросать эту обреченную армию; надо, не медля ни дня, ни часа, уходить.

Правда, тогда он был молод, и жизнь была впереди, и он так много от нее ожидал. Теперь груз сорока трех лет и осуществленных желаний казался ему уже тяжелым. Он мечтал о покое, о тишине, о мире. Иллюзий больше не было, мечтаниям положен предел, пришла пора черных дум. Наедине с самим собой вряд ли он мог умалять огромность понесенного поражения. То был не Байлен; было проиграно не сражение — была проиграна война. Нетрудно было подсчитать все фатальные последствия проигрыша. Но еще можно внушать страх. Лев получил тяжелые ранения, но он не мертв, он еще сохранил силы, и он опасен. Берегитесь!

В этом был смысл последней фразы 29-го бюллетеня, показавшейся современникам столь мало уместной и странной. То было предостережение.

Через два дня после обнародования 29-го бюллетеня, 5 декабря, Наполеон в сопровождении Коленкура умчался в Париж, оставив армию на Мюрата *. В карете,

* В выборе главнокомандующего сказалось то же монархическое перерождение Бонапарта. В 1799 году он оставил египетскую армию самому способному из генералов — Клеберу. В 1812 году он поручил ее не Даву, наиболее крупному полководцу, даже не Евгению Богарне, а старшему по монархической иерархии — королю Неаполитанско-

затем в санях, затем снова на колесах он мчался, все увеличивая скорость, без эскорта, без охраны, инкогнито, под именем графа Коленкура, через Польшу, Пруссию, Саксонию, через всю Европу. То было путешествие на грани риска. Опасность была действительно велика. Выезжая 5 декабря из Сморгони, Наполеон не знал, что в этот же день Ошмяны, через которые он должен был проехать, были заняты отрядом Сеславина. Правда, дивизия Луазона вытеснила Сеславина из Ошмян, но его отряд расположился бивуаком слева, непосредственно у главной дороги. Под покровом темноты — уже было за полночь — экипаж Наполеона промчался незамеченным. Но опасность попасть в руки русского отряда была вполне реальной[122].

Когда позже Наполеон проезжал через Дрезден, он также не подозревал, что там была подготовлена группа, которая должна была захватить его при проезде через город[123]. Быстрота, с которой он ехал, обеспечила успех рискованного путешествия. Ему удалось миновать беспрепятственно все расставленные западни.

Как всегда в часы опасности, он испытывал прилив душевных сил, приподнятое состояние духа. На перегоне между Познанью и Глогау было много снега; пришлось снова ехать в санях; спать было неудобно, и он вел неторопливую беседу о вопросах, не относящихся к постигшей его катастрофе, трагическому положению армии,— он говорил о достоинствах Камбасереса, о пороках и преступлениях Фуше.

Лишь за Глогау, в самом сердце Пруссии, когда сани без эскорта, без охраны мчались по враждебной стране, он проверил, заряжены ли пистолеты, и заговорил о подстерегавшей их со всех сторон опасности. Что сделают с ним пруссаки, если они узнают его и задержат? «Вероятнее всего, они выдадут меня англичанам». Коленкур был в подавленном состоянии и со всем соглашался. А Наполеон посмеивался: «Коленкур, представляете ли вы, какое у вас будет выражение лица, когда вы окажетесь в железной клетке на одной из лондонских площадей?

— Если это для того, чтобы разделить вашу судьбу, государь, мне не на что будет жаловаться.

му — Мюрату. Впрочем, ни Даву, ни Евгений, как и Мюрат, уже ничего не могли изменить.

— Речь идет не о жалобах, а о том, что с вами случится и какой у вас будет вид в этой клетке, когда вы будете заперты, как несчастный негр, обмазанный медом, чтобы его съели мухи».

И Наполеон долго и весело смеялся над нарисованной им страшной картиной. И он продолжал подтрунивать над Коленкуром: «Тайное убийство, засада — все это легко осуществить». Позже, когда на одной из почтовых станций произошла задержка со сменой лошадей, он не удержался, чтобы не подразнить еще раз хмуро молчавшего Коленкура:

— А я было решил, что первое действие представления с клеткой уже началось[124].

Кто мог бы подумать, что этот оживленный, полный задора, так беспечно смеющийся человек только что потерпел величайшее, непоправимое поражение и мчится навстречу близкому уже концу?

Он продолжал этот бешеный аллюр; его не выдерживали ни лошади, ни экипажи; он менял те и другие и все гнал: «Живей!» В полночь 18 декабря, проехав за тринадцать суток всю Европу, он был в Тюильри[125].

Но куда он спешил? Зачем так гнал лошадей? Страница истории была перевернута, и ничто нельзя было изменить в неотвратимом ходе событий.

Перед концом

В Париже ему стали известны подробности дела генерала Мале. Общественному мнению оно было представлено как бредовая авантюра безумца, человека, бежавшего из дома умалишенных. Но Мале сохранял полную ясность мысли. Он доказал это 23 октября, когда в течение нескольких часов успешно осуществил государственный переворот и сумел поместить в тюрьму министра полиции герцога Ровиго и префекта парижской полиции. Фантастически дерзкий замысел Мале непостижимым образом оказался близким к полному успеху[1]. Наполеона более всего поразило в этом незавершенном государственном перевороте то, что, приняв без проверки выдумку Мале о смерти императора и о создании временного правительства, никто из высших сановников империи не вспомнил о «римском короле» — о законном наследнике престола. Все приняли как должное, как само собой разумеющееся, что со смертью императора кончаются все права династии. К чему же были все его старания?

Наполеон принял версию Савари, согласно которой драматические события 23 октября изображались похождениями сумасшедшего. Он еще в России, под Дорогобужем, когда ему было доложено дело Мале, понял его истинный смысл. То был республиканский заговор, в том не могло быть сомнения. Материалы дела, с которыми он прежде всего ознакомился в Париже, полностью укрепили его в этом мнении. Мале и его сообщники были расстреляны, и дело старались предать забвению. Талейран, зорко следивший из своего укрытия за всем происходившим, определил диагноз «кризиса Мале» сжато и точно: «Это начало конца»[2].

Может быть, Наполеон об этом тоже догадывался: суеверный корсиканец, он порой произносил фразы на своем причудливом, полумистическом языке: «Судьба от меня отвернулась». Он верил в судьбу, верил в тайные законы возмездия. До него доходили разговоры солдат-ветеранов: «Зачем он оставил старую и женился на австриячке! Старая приносила счастье!» Наверное, читая такие донесения, он быстрым, торопливым

жестом осенял себя крестом; в глубине души он сам, верно, так думал и страшился последствий.

Но он был человеком действия, огромной динамической силы, и не в его характере было терпеливо дожидаться, пока судьба смилостивится и взметнет над ним свой плащ: хватайся за него, если можешь! Он привык идти навстречу буре; в битве, в противоборстве укреплялась вера в счастливую звезду. Его суеверное, почти дикарское преклонение перед судьбой, перед роком, которые оставались для него своего рода тотемом, подсказывало ему, что надо быть достойным своей звезды.

Он развил в Париже кипучую деятельность по созданию новой армии. Его энергия и работоспособность вновь стали безграничны. Сознание опасности как бы утроило его силы. Каким-то чудесным образом он как бы перевел стрелку времени назад — он как-то сразу стал моложе на десять — пятнадцать лет. С удивлением протирая глаза, его сановные помощники вглядывались в этого живого, быстрого человека, за которым они не поспевали: то был не император Наполеон, а генерал Бонапарт эпохи Маренго. Он даже в обращении с людьми стал иным — проще, приветливее, доброжелательнее. Неудачи исправляют — Наполеон 1813 года казался и моложе, и живее, и лучше императора Наполеона 1811 года. Конечно, он все видел, все замечал; он хорошо понял двусмысленное поведение во время «кризиса Мале» второго лица империи — герцога Пармского, архиканцлера Камбасереса. Разве он не был готов без боя отречься от золотых пчел империи, от династии Бонапартов? Но он спрятал свою обиду — может быть, до поры до времени, может быть, навсегда — к чему загадывать? Он посмеивался над невинными пороками Камбасереса: подумать только, архиканцлер, первый юрист империи! — и в такой мере поддаться своей единственной страсти — обжорству, чтоб согласиться стать президентом общества гастрономов.

Он посмеивался; он снова казался полным веры в собственные силы, молодым, ласковым монархом. Что, собственно, произошло? В пространных письмах, направленных своим союзникам — королям Вестфалии, Баварии, Вюртемберга и другим германским государям, он разъяснял, что не следует верить русским бюллетеням, все идет прекрасно; конечно, и он и союзники по-

несли потери; но «великая армия» все еще остается могучей силой: «в своем настоящем состоянии она насчитывает 200 тысяч бойцов». Он сообщал далее, что двести шестьдесят тысяч солдат уже готовы принять бой и еще триста тысяч остаются в Испании[3]. Огромная армия — неодолимая сила. Но он все же просил союзных монархов принять все необходимые меры, чтобы увеличить свои армии. Чем сильнее будут объединенные союзные армии, тем вернее будет обеспечен почетный и прочный мир.

В этих письмах, как и в других его документах той поры, правда своеобразно сочеталась с намеренной ложью, желаемое с сущим.

Император писал и повторял в своих выступлениях, будто «великая армия» насчитывает двести или сто тысяч солдат. Но в январе 1813 года он уже твердо знал, и не из вторых рук, а непосредственно от Бертье, что армии больше нет. Всегда осмотрительный, осторожный в обращениях к императору, начальник главного штаба «великой армии» маршал Бертье на этот раз сообщил коротко и сухо: «Армии больше не существует»[4]. Наполеон не мог не знать — этот рассказ из уст в уста передавал весь Париж,— как в Гумбинен 15 декабря, в ресторан, где обедали французские старшие офицеры, вошел бродяга в рваной одежде, со спутанными волосами, с бородой, закрывшей лицо, грязный, страшный и, прежде чем его успели выбросить на мостовую, подняв руку, громогласно заявил: «Не торопитесь! Вы не узнаете меня, господа? Я — арьергард «великой армии». Я — Мишель Ней!»

Можно ли было после всего этого говорить о «великой армии»? Ни великой, ни армии — ничего не осталось. Из полумиллиона людей, полгода назад под лучами высокого июньского солнца ровным, мерным шагом по трем мостам перешедших Неман, кто же вернулся?

Наполеон все это знал, но он отгонял тревожащие его мысли. Его взор был обращен в будущее. Как из-под земли, как в сказке, за несколько недель родились новые полки и дивизии; они строились в походные ряды и шли на восток. Наполеону удалось создать к началу 1813 года новую армию в пятьсот тысяч бойцов. Но какой ценой? То были мальчики, почти дети, выданные послушным Сенатом из наборов будущих лет. Франция

обезлюдела: не осталось ни мужчин, ни юношей; теперь в страшную пропасть войны уходили отроки.

15 апреля 1813 года Наполеон выехал в расположение войск. Как всегда, он спешил, он гнал лошадей. Весной 1813 года еще оставалась возможность успешных переговоров о мире. Меттерних, как всегда всех обманывавший, лживый и вероломный, настойчиво предлагал свое посредничество в достижении мира. В речах и письмах Меттерниха весной 1813 года не все было ложью. Мир (надолго ли? — это иной вопрос) был тогда возможен. И Меттерниха, и австрийского императора, и царя Александра, и прусского короля страшила возрастающая роль народа в освободительном движении. Йорк фон Вартенбург не подчинился приказу короля. Но если завтра из повиновения выйдут крестьяне? Если народ возьмется за оружие? Из страха перед народом своей страны монархи феодальной Европы готовы были идти на компромисс с Наполеоном. Мир был возможен...

Но Наполеон не хотел идти на уступки. Он по-прежнему думал, что бог войны на стороне больших батальонов. Нагромождая ошибку на ошибку, он надеялся на успешное военное решение спорных проблем, на блистательный реванш. Он пребывал все в том же ослеплении: он не видел и не хотел видеть или не мог, что все вокруг изменилось: он уже не располагал преимуществом больших батальонов, да и батальоны были не те, а главное — против него поднималась могучая, неисчислимая и неодолимая сила — народ порабощенных им государств. Страшный удар, нанесенный империи Наполеона в России, был услышан в Германии, в Италии, в Голландии, в Испании. Всюду закипала великая освободительная война.

Наполеон не видел, не хотел видеть этого самого грозного противника. Он наивно полагал, что его приказы по армии в состоянии изменить становящееся с каждым часом все опаснее соотношение сил. Он должен был сражаться теперь со всей Европой: правительствами, армиями шестой коалиции, народом, поднявшимся на освободительную войну.

Поражение Наполеона было предрешено.

Первоначально он еще одерживал победы. Страх, внушаемый его грозным именем, был так велик, что генералы шестой коалиции проигрывали сражения, ко-

торые можно было выиграть. Кутузова уже не было. 19 апреля 1813 года на походном марше в силезском городе Бунцлау смерть настигла великого полководца, сломленного непомерным напряжением сил. Он умер, как и жил,— в боевом строю. Говоря словами Пушкина, «Кутузов один облечен в народную доверенность, которую так чу́дно он оправдал»[5]. Вся страна оплакивала его кончину. На пост главнокомандующего всеми армиями был назначен граф Витгенштейн; его главное преимущество видели в том, что он был на двадцать три года моложе старого фельдмаршала. Что из того? Молодой Витгенштейн не обладал и сотой долей талантов своего прославленного предшественника. Под Люценом 2 мая Витгенштейн, располагая первоначально численным превосходством над корпусом Нея, с которым он завязал бой, действовал нерешительно; он не сумел ни разобраться в обстановке, ни правильно оценить силы противника. Он затянул сражение до тех пор, пока не подошла армия во главе с Наполеоном. Витгенштейн потерпел поражение и должен был отступить. Войска Наполеона вновь заняли Саксонию; на дрезденский трон был опять возведен саксонский король.

20—21 мая под Бауценом Наполеон вновь встретился на поле битвы с армией Витгенштейна. У него было в строю сто пятьдесят тысяч против ста восьмидесяти тысяч в русско-прусской армии. Под командованием Витгенштейна состояли способные военачальники: Барклай де Толли, Милорадович, Блюхер, Йорк, Клейст. Сражение под Бауценом еще раз показало, как велика роль полководца. При всей стойкости русских и прусских солдат, дравшихся в 1813 году совсем иначе, чем в 1805 году, превосходство полководческого дарования Наполеона над Витгенштейном было неоспоримым. Битва закончилась поражением и отступлением союзников. Французские войска вступили в Бреславль. Союзники были вынуждены предложить перемирие. Армия Наполеона также нуждалась в отдыхе, и он охотно пошел на прекращение огня.

Витгенштейн после Люцена и Бауцена стал тяготиться высоким званием главнокомандующего союзными армиями; мысль о новой встрече на поле брани с грозным противником бросала его в дрожь. Он попросил освободить его от высокой должности. Его просьба была удовлетворена без возражений. Позже Витгенш-

тейну было пожаловано звание генерал-фельдмаршала, но лучше воевать он не стал.

Главнокомандующим союзными армиями был назначен австрийский фельдмаршал князь Карл-Филипп Шварценберг. Он принадлежал к родовитой аристократии и с молодых лет занимал высокие командные должности. Но был ли он способен скрестить с успехом оружие в поединке с Наполеоном?

18 июля истек срок перемирия. Время работало против Наполеона. К антифранцузской коалиции присоединилась Австрия, в борьбу вступали шведские вооруженные силы. Обе стороны готовились к решающему сражению. Оно произошло 14—15 августа (в день рождения Наполеона) под Дрезденом. Шварценберг располагал численным перевесом; у него были большие резервы. Но он проявил нерешительность, не сумел предугадать действий противника и позволил Наполеону полностью овладеть инициативой. Двухдневное сражение под Дрезденом завершилось жестоким поражением союзных войск. Наибольшие потери понесла австрийская армия.

Справедливости ради надо сказать, что Витгенштейн и Шварценберг испытывали не только трудности психологического порядка, сражаясь с таким противником, как Наполеон, но и иные. Со времени разгрома наполеоновской армии в России и перенесения военных действий в Центральную Европу в ставку главнокомандующего в ожидании золотых лучей победной славы зачастили августейшие персоны. Александр I, великий князь Константин, Фридрих-Вильгельм III, Франц I вспомнили про свой воинский долг: ведь все они были военные и без их советов, без их указаний вряд ли удастся обеспечить путь к победе. Вместе с монархами в главную ставку прибыли их адъютанты, генералы, великосветская дворцовая челядь. Походная простота кутузовской ставки была забыта. Главная ставка союзников лета 1813 года напоминала скорее придворный салон, где хлынувшие из всех европейских столиц штабные охотники за орденами и чинами соперничали в искусстве лести и искусстве интриг.

Наполеон, конечно, знал о том, что происходило в стане противника, и это лишь усиливало его презрение к врагу. Александра, Фридриха-Вильгельма, Витгенштейна, Шварценберга он не считал — и в этом он был,

разумеется, прав — достойными противниками. Он привносил в свои оценки, в свои политические решения личные мотивы. Странным образом, при своем огромном жизненном опыте, он сохранял до последней минуты труднообъяснимые иллюзии в отношении Австрии. Он считал невозможным, чтобы его тесть, его союзник, отец его жены — император Франц повернул против него оружие; в своих расчетах он продолжал числить Австрию союзницей Франции. Когда казавшееся ему немыслимым совершилось — в Рейхенбахе всех обманывавший Меттерних хладнокровно подписал договор о вступлении Австрии в антифранцузскую коалицию,— ярость Наполеона против «вероломных обманщиков» была беспредельна. Ему не терпелось как можно скорее проучить кичащихся тысячелетним троном лжецов, клятвопреступников из Шёнбруннского дворца. Но в политике, как и в военном деле, чувства личной обиды — плохой советчик! Наполеон как полководец сам знал, насколько важно трезво оценить силы противника, как опасно преуменьшать его возможности, не принимать в расчет его резервы.

Величайшим стратегическим просчетом Наполеона, просчетом, имевшим катастрофические последствия для империи, для его судьбы, была недооценка им в 1812 году сил русской армии, русского народа, недооценка силы России.

В кампании 1813 года он расплачивался за этот главный стратегический просчет 1812 года; все происходящее в 1813-м было лишь следствием предыдущей главной ошибки.

Но в трагическом ослеплении Наполеон и в 1813 году продолжал совершать те же ошибки: он снова недооценивал противостоящие ему силы. После Люцена, Бауцена, Дрездена, после трех побед, одержанных подряд, он вновь уверовал в свою счастливую звезду, в свое военное превосходство. Математик, он непостижимым образом разучился правильно считать: в его расчетах силы противника были явно приуменьшены. Он неверно оценивал и боевые качества армий, с которыми ему приходилось сражаться. Конечно, Витгенштейн или Шварценберг как полководцы немногого стоили. Он не хотел задумываться над тем, что последствия, военный эффект Бауцена или Дрездена были совсем иными, чем Аустерлица или Иены. Тогда, в 1805—1806 годах, по-

беда в генеральном сражении сокрушала армию противника, она предрешала исход кампании. Теперь, в 1813 году, проигранное сражение лишь ожесточало противника, армии отступали в полном порядке, чтобы через короткое время снова ввязаться в бой. Армии, регулярные войска, сражавшиеся с Наполеоном, стали иными. Они не только обрели боевой опыт и научились побеждать, гнать и уничтожать французские полки, как это было в 1812 году, они и в моральном отношении превосходили солдат наполеоновской армии, ибо они дрались за независимость своей родины, против завоевателей. Наполеон не видел, не хотел видеть эти очевидные каждому изменения.

Он никогда не говорил о страшном 12-м годе; он его хотел вычеркнуть из памяти; всякое напоминание о нем приводило его в бешенство; его не было; ничего не было; началась иная кампания — кампания 13-го года, и только о ней должна идти речь. Но то было суеверное, почти дикарское самоослепление: ведь освободительная война 1813 года была продолжением и следствием Отечественной войны 1812 года. Разгром наполеоновской армии в России привел к восстанию европейских народов против наполеоновской тирании. Россия и в 1813 году продолжала играть ту же ведущую роль; не случайно Пушкин, первый русский историк того времени, считал вершиной русской славы не 1812-й, не 1814-й, а именно 1813 год *[6].

Наполеон в 1813 году надел как бы шоры; он не видел ничего, кроме узко военных, точнее, чисто оперативных вопросов. Перечитайте его приказы, распоряжения, письма 1813 года — это распоряжения командующего, генерала блистательного таланта, но не императора, не государственного деятеля, не политика.

Но ведь в 1813 году именно политика, политические, идейные проблемы стали силой, определявшей ход борьбы. Наполеон не видел, что прусская армия 1813 года совсем не похожа на армию, сражавшуюся при Иене, которую он ставил невысоко. Не только реформы Шарнгорста и Гнейзенау, порожденные той же волей к национальному возрождению, но и моральная

* Пушкин в 1836 году писал: «Кутузов... вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году» (*А. С. Пушкин.* Полн. собр. соч., т. XII, стр. 134).

поддержка, соучастие всего германского народа, поднявшегося на освободительную войну, делали эту армию непобеждаемой. Победы, даже самые триумфальные, если бы они были, не могли спасти обреченный режим наполеоновской империи, поработившей народы Европы. Наступил час возмездия. Его противники — самодержавные главы европейских монархий, убедившись, что император французов не желает идти на уступки, пустили в ход самое опасное оружие. Калишский манифест 25 марта 1813 года призывал народы сражаться за свободу и независимость. Прусский король, лукавивший и обманывавший обе стороны, почувствовав, что военное счастье на стороне огромных сил коалиции, также заговорил о свободе. В лживых устах коронованных властителей феодально-абсолютистских монархий речи о свободе были сплошным лицемерием; они задумывались уже над созданием священного союза монархов против народа. Но в 1813 году, в атмосфере огромного патриотического подъема освободительной войны, слова о свободе обладали магическим действием; слова обмана были приняты за чистую монету. По всей Европе все выше вздымались волны народного гнева; французская армия была бессильна в противодействии могучей стихии.

В решающем трехдневном сражении под Лейпцигом (16—18 октября 1813 года) — знаменитой «битве народов» — армия Наполеона была разбита. Теперь вся Германия восстала против завоевателей. Баварцы, саксонцы, баденцы, которых Наполеон расценивал как своих самых надежных союзников, повернули оружие против французов; они чувствовали себя в большей мере немцами, чем подданными облагодетельствованных Наполеоном монархов[7].

В Италии Мюрат, изменивший Наполеону и перешедший на сторону коалиции, вместе с австрийцами вел наступление на позиции, обороняемые принцем Евгением. Итальянские крестьяне нападали на разрозненные французские гарнизоны. В Испании английские и регулярные испанские части, поддерживаемые партизанскими отрядами, повсеместно перешли в наступление; Сульт и Сюше оставляли провинцию за провинцией. Французы были изгнаны из Испании. Веллингтон подготавливал вторжение в южные департаменты Франции.

В 1814 году война была перенесена на территорию Франции. С точки зрения военного искусства кампания 1814 года была одной из самых блестящих в наследии Наполеона. Как отмечал Энгельс, Наполеон дрался с юношеской энергией. С остатками своих войск он бил противников поодиночке, нанося неизмеримо превосходящим силам коалиции тяжелые поражения. Он разбил 31 января прусскую армию Блюхера при Бриенне, в феврале он нанес поражение союзной армии при Шампобере, Монмирайле, Вошане и Монтеро. Но, как писал Лавалетт, тогда как «император, зажатый всеми армиями Европы, сражался, как лев, устремляясь от одной к другой, переигрывая их маневры быстротою движений, обманывая все их расчеты и заставляя их изнемогать от усталости, в Париже другие враги — еще более опасные, вступив в тайные связи с иностранцами, готовили его низвержение. Их главой был Талейран...»[8].

Наполеон чувствовал, как сужается вокруг него круг. Он видел опасности, подстерегавшие его и впереди, и позади. Поразительная энергия, с которой он вел последнюю кампанию, какая-то новая, яркая вспышка его полководческого таланта не была доказательством его хорошего физического состояния. Напротив, на него находили неожиданно приступы непреодолимой сонливости; во время битвы под Лейпцигом, в разгар сражения, он задремал. У него все чаще были сильные боли в желудке. Его уже не хватало на все. Как всегда, в часы опасности он обнаруживал хладнокровие, ясность ума. Но что это могло изменить?

Биографы Наполеона, историки той эпохи считали его ошибкой, что он не заключил во время Шатильонского конгресса (4 февраля — 19 марта 1814 года) мирного соглашения с союзниками[9]. Конечно, ошибки были допущены и в 1814 году, но главные ошибки были совершены раньше, и все происходившее в последний год империи было лишь их следствием. Может быть, если бы Наполеон принял предложения Коленкура, соглашение было бы достигнуто. Но надолго ли? В 1814 году соотношение сил на континенте определилось уже с полной ясностью. Движение союзных армий на Париж было ответной волной похода на Москву. Позже, на острове Святой Елены, Наполеон признал главной своей ошибкой войну против России[10].

В том безнадежном положении, в котором оказался Наполеон в 1814 году, он действовал с азартностью игрока, проигравшего сразу, за один вечер огромное, сказочное состояние и теперь игравшего только ва-банк: всё или ничего.

Шатильонский конгресс мог дать ему только временную отсрочку решения, наверное даже недолгую. Она его не устраивала, он по-прежнему вел безумную, фантастическую игру ва-банк: всё или ничего.

Вероятно, уже с 1813 года, когда за его плечами неотступно стояла зловещая тень поражения, он стал искать третье решение. Под Бауценом был убит Дюрок; это был сохранившийся с дней юности друг, последний друг, с которым он мог говорить как с самим собой. Наполеон плакал над трупом Дюрока, и, может быть, тогда он ему позавидовал. Он стал искать смерти. Но ее тоже нелегко было найти. Она была близко, рядом, но она ускользала, как и недававшаяся решающая победа над противником.

Страна, измученная, обессилевшая, обезлюдевшая, жаждала только мира, прекращения этой страшной, чудовищной, всепожирающей войны. Враги Наполеона — а их становилось с каждым часом все больше — умело использовали эти настроения; они боялись возмездия императора и хотели избавиться от него навсегда.

Наполеон предвидел опасность, грозившую ему с тыла,— удар ножом в спину. Из своей походной ставки он дал приказ Савари арестовать Талейрана и вывезти его из Парижа. Это было одно из самых обоснованных последних распоряжений Наполеона. Всегда послушный, герцог Ровиго посмел не выполнить приказа императора: Талейран сумел его оплести. Министр полиции не разобрался в политической линии Талейрана[11].

Кольцо сжималось. Сульт не сумел удержать Бордо; власть там захватили роялисты, а затем англичане. Ожеро отступал к Лиону. Союзные армии сплошной лавиной двигались на Париж.

Теперь, когда армии европейских полуфеодальных монархий вторглись во Францию, война снова изменила свое содержание. Современники это сразу поняли. 18 февраля 1814 года Байрон записал в дневнике:

«Наполеон! Эта неделя решит его судьбу. Кажется, все против него; но я верю и надеюсь, что он победит...»[12]

Участники тех событий, а затем историки долго спорили о том, что дало возможность союзникам подойти к Парижу и после боя 30 марта добиться капитуляции. Обвиняют, и с полным основанием, Жозефа, который, из мелкого тщеславия оставив за собой командование всеми силами под Парижем, растерявшись, дал не вынуждаемое необходимостью разрешение Мармону вступить в переговоры с неприятелем. Винят более всего, и также вполне обоснованно, герцога Рагузского — Мармона, который изменил воинскому долгу и открыл фронт противнику. Придают значение роковому стечению пагубных обстоятельств: письма — директивы Наполеона, излагавшие планы его операций, были перехвачены казаками и подсказали союзникам, что надо прямо идти на Париж.

Во всех этих частных объяснениях есть, несомненно, много верного. Их недостаток в ином: эти частные причины заслоняли порой в устах рассказчиков или в повествованиях историков главное. Главное же заключалось в том, что повлекшее столько жертв крушение режима империи было имманентно заложено в самой его природе. Наполеон пожинал в 1814 году плоды своей политики — ее преступлений и просчетов. Военно-деспотический режим империи с того момента, как наполеоновские войны, полностью утратив свойственные им ранее элементы прогрессивного, превратились в чисто захватнические, империалистические, вступил в конфликт с жизненными и национальными интересами всех порабощенных наполеоновской Францией народов, так же как и с жизненными интересами французского народа. Военно-деспотическая империя Наполеона стала силой, вступившей в противоречие с законами общественного развития; она пыталась сковать их и подчинить своей власти. То была попытка, обреченная на провал, и крушение 1814 года было закономерным результатом всей предшествующей политики. Поражение в войне 1812 года привело с неотвратимостью к крушению 1814 года.

Наполеон, сосредоточив свою небольшую армию за Марной, узнал лишь 27 марта о том, что союзники идут на Париж. Он двинулся им навстречу: Париж нельзя было отдавать. Но было уже поздно.

31 марта 1814 года союзные армии во главе с императором Александром I вступили в Париж. Верхом на белом коне, рядом с прусским королем и князем Шварценбергом, представлявшим Австрийскую империю, впереди блестящей свиты генералов, во главе несметной армии союзников, объединившей все державы Европы, Александр, как Агамемнон, царь царей, вступил в столицу побежденной страны. За ними полк за полком, дивизия за дивизией вступали в незнакомой парижанам, странной, как им казалось, форме разноцветные армии шестой коалиции. Многие тысячи жителей французской столицы, прижавшись к стенам домов, в безмолвии следили за вступлением иностранных войск в Париж.

Князь Беневентский, хромой бес, лукавый оборотень, прятавшийся все эти грозные дни где-то в тиши, невидимый, неслышный, почти дематериализовавшийся, вынырнул из неизвестности и вдруг оказался сразу на самом видном месте. Император Александр ночевал в его доме; ему сказали, что останавливаться в Тюильрийском дворце небезопасно, и он избрал особняк Талейрана. Престиж князя Беневентского сразу резко возрос.

Важный, степенный, медлительный в движениях, в напудренном белом парике, опираясь на старинную трость с дорогим набалдашником, князь Талейран вошел величественно в Сенат, как в собственный дом. В своих мемуарах он позднее писал: «На 2-е апреля я созвал Сенат»[13]. Все головы повернулись в его сторону, и было вполне естественно, что человек, так уверенно действовавший в эти смутные часы, был избран главой временного правительства. Правда, это правительство было составлено из неведомых французскому народу, да и обществу, лиц. Кроме Талейрана в его состав вошли Иозеф Дальберг, немецкий дипломат, представлявший долгое время Баденское герцогство, приятель Талейрана, бог весть за какие заслуги оказавшийся в составе правительства Франции, ничтожный и никому не известный Жокур, бывший аббат Франсуа Монтескью, старый роялист, извлеченный Талейраном из какой-то щели.

Наполеон задолго до трагических для него событий, весной 1814 года, догадывался об измене Талейрана, хотя не знал еще ничего достоверного. 10 ноября

1813 года, увидев Талейрана во дворце, он обратился к нему с резкими словами: «Что вы здесь делаете? Я знаю, вы воображаете при первом моем промахе стать главою совета регентства. Берегитесь, сударь! Сражаясь против меня, ничего не выигрывают. Я вас предупреждаю, что, если бы я был опасно болен, вы бы умерли раньше меня»[14].

Но Наполеон не успел привести свою угрозу в исполнение. Он не знал всех измен, всех предательств Талейрана. В 1813 году Наполеон говорил: «Вот уже шесть месяцев, как меня обманывает Талейран». Император ошибался — Талейран обманывал его шесть лет!

И все-таки интуиция подсказывала Наполеону, что надо принять меры против этого опасного человека, которого он не сумел до конца распознать. Наполеон в письме к Жозефу от 8 февраля 1814 года предупреждал об опасностях, исходящих от бывшего епископа Оттенского. Он настоятельно советовал брату не спускать глаз с Талейрана. «Это, несомненно, главный враг нашего дома»[15].

Все эти предупредительные меры не достигли цели, потому что не были доведены до конца. В трудное время Талейран ушел в тень, и, когда определилось поражение Наполеона, он вышел на яркий свет рампы. Доставшуюся ему наконец власть он решил прежде всего использовать для того, чтобы навсегда устранить возможность возвращения Наполеона в Тюильрийский дворец.

Наполеон, уединившись в замке Фонтенбло, следил издалека за происходившим в Париже. Он не хотел сдаваться без боя. Он собрал в Фонтенбло армию в шестьдесят тысяч солдат. «50 тысяч и я — это 150 тысяч»,— говорил он ранее. Он был полон решимости скрестить оружие с врагами. Солдаты его поддерживали.

4 апреля в Фонтенбло в покои императора явились прославленные маршалы Ней, Удино, Лефевр, Макдональд, Монсей; в кабинете у императора были уже Бертье, Маре, Коленкур. Наполеон изложил им план похода на Париж. Он призывал их к решительным действиям. Маршалы молчали. «Я призову армию!» — крикнул Наполеон, начиная догадываться о намерениях своих сподвижников. «Государь, армия не сдвинется

с места»,— ответил Ней. «Она повинуется мне».— «Государь, она повинуется своим генералам»[16].

Все становилось ясным. Бенвиль правильно заметил, что 4 апреля 1814 года — это было 18 брюмера в перевернутом виде[17]. «Что же вы хотите, господа?» — сухо спросил Наполеон. «Отречения»,— в один голос сказали Ней и Удино. Наполеон не стал спорить; он подошел к столу и быстро написал условный акт отречения в пользу своего сына при регентстве императрицы. Очевидно, он уже ранее обдумывал эту возможность. Маршалы откланялись. Через некоторое время Наполеон поручил Нею, Макдональду и Коленкуру ехать к императору Александру и достичь с ним соглашения. К трем уполномоченным он присоединил также маршала Мармона. «Я могу рассчитывать на Мармона; это один из моих давних адъютантов... У него есть принципы чести. Ни одному из офицеров я не сделал столько, как ему...»

Перед тем как явиться к императору Александру, трое уполномоченных Наполеона встретились с Мармоном; они передали поручение императора. У герцога Рагузского было крайне смущенное лицо. Не без труда он рассказал, что в то же утро 4-го к нему явился посланец князя Шварценберга, предложившего покинуть армию Наполеона и перейти со своими войсками на сторону коалиции. Мармон принял это предложение. Коленкур и Макдональд, сдерживая свои чувства, спросили, подписано ли уже соглашение со Шварценбергом. Мармон это отрицал. Как выяснилось позже, он лгал; он уже совершил акт предательства. Он был в большом смущении. Но он обещал Коленкуру и Макдональду по их предложению уведомить Шварценберга, что его намерения изменились. В присутствии посланцев Наполеона, как рассказывал Коленкур, он дал распоряжения своим генералам не двигаться с места, пока ведутся переговоры. Изменнический акт Мармона вызвал негодование маршалов; но он готов был исправить свой поступок, и в критических обстоятельствах это представлялось главным[18].

Александр принял маршалов любезно, даже ласково — то был цвет Франции; он в главном согласился с их предложениями, но окончательное решение было отложено на завтра; он должен был еще посоветоваться с союзниками.

На следующее утро, как было условлено, перед тем как идти к Александру, все встретились за завтраком у Нея в его особняке. Мармон тоже пришел. В середине завтрака герцога Рагузского вызвал офицер. Через несколько минут он возвратился с бледным, искаженным лицом: «Все потеряно! Я обесчещен! Мой корпус ночью по приказу генерала Суама перешел к врагу. Я отдал бы руку, чтобы этого не было...»

— Скажите лучше — голову, и то будет мало! — сурово оборвал его Ней.

Мармон взял саблю и выбежал из комнаты.

Когда позже Ней, Коленкур и Макдональд были приняты Александром, их ждал уже иной прием. У царя был новый аргумент: армия против Наполеона, корпус Мармона перешел на сторону коалиции. Союзники отказывались признавать права династии Бонапартов на престол, они требовали безоговорочного отречения.

6 апреля, в среду, в два часа ночи посланцы вернулись в Фонтенбло и были сразу приняты Наполеоном. По выражению их лиц он понял, что́ произошло, но потребовал полного отчета. Позже, утром, он снова пригласил маршалов. «Начнем все сначала. Кто пойдет со мною в Альпы?» — спросил он. Все промолчали. Наступила долгая пауза. Впрочем, он и сам понимал, что ни жизнь, ни даже итальянский поход не повторяются.

Он подошел к столу и торопливым, неразборчивым почерком подписал акт отречения.

Маршалы откланялись; генерал Бонапарт — он уже не был после этого росчерка пера императором — поблагодарил их. Дворец Фонтенбло быстро пустел.

Вечером 6 апреля курсы акций Французского банка, котировавшиеся неделю назад в пятьсот двадцать — пятьсот пятьдесят франков, поднялись до девятисот двадцати — девятисот восьмидесяти франков. Такого огромного скачка на бирже не было уже многие годы. Некоторые ловкачи заработали за один день миллионы. Среди них был и герцог Рагузский — маршал Мармон.

Наполеон Бонапарт в огромном замке Фонтенбло почти один бродил по пустынным залам. Он внимательно читал газеты, следил за сообщениями о присоединении к новой власти Бурбонов маршалов Нея, Удино, многих других.

12 апреля он принял яд — цианистый калий. Со времени Малоярославца он всегда имел его при себе. За два года яд, видимо, выдохся. Наполеон мучился всю ночь, к утру сильный организм его взял верх. Позже он никогда не вспоминал о происшедшем.

Он подписал договор, предоставлявший ему в пожизненное владение остров Эльбу и сохранявший за ним звание императора. 28 апреля он выехал на Эльбу.

Незадолго до этого, 9 апреля, Байрон в письме к Муру писал: «Увы, мой бедный маленький кумир, Наполеон, сошел с пьедестала. Говорят, он отрекся от престола. Это способно исторгнуть слезы расплавленного металла из глаз Сатаны». Через несколько дней, 19 апреля, он записал: «Пишу — «рвотным порошком» вместо чернил,— что Бурбоны восстановлены на престоле!!! К чертям всю философию!»[19]

Пьеса была доиграна до конца. Современникам осталось ждать нового представления.

Сто дней

Прошел год. Жизнь во Франции изменилась до неузнаваемости.

Когда 2 апреля 1814 года Талейран был «избран» или, вернее сказать, назначил сам себя главой временного правительства Франции, его государственная деятельность на этом высоком посту началась с несколько странных действий. Некоему Виллеру, человеку, пользовавшемуся личным доверием Талейрана, было поручено проникнуть в императорский дворец и там с помощью архивиста Барри изъять из личных бумаг Наполеона письма Талейрана. Виллер выполнил порученную ему миссию. Среди возвращенных князю Беневентскому бумаг были те, ради которых затевалась операция. То были письма, подтверждавшие прямую причастность Талейрана к аресту и казни герцога Энгиенского, а также его соучастие в похищении трона у испанских Бурбонов. Талейран, получив эти компрометировавшие его письма, предал их огню[1].

Но Талейран спешил; его занимали в те дни многие заботы, и он не удосужился проверить, не остались ли копии его писем. Всегда столь предусмотрительный дипломат просчитался. У Наполеона дело было поставлено солидно. Наиболее важные документы сохранялись не только в оригинале, но и в копии. Благодаря этим копиям историки (и не только они) смогли узнать позже о всех действиях князя Беневентского.

Но почему Талейран, добившись предоставления ему полноты власти, начал с такой на первый взгляд второстепенной операции, как изъятие личных писем к императору? Талейрану это было нужно, чтобы уничтожить все доказательства его причастности к убийству герцога Энгиенского — Бурбона и к свержению испанских Бурбонов. К тому времени он уже окончательно укрепился в мнении, что необходимо восстановить власть Бурбонов.

Еще совсем недавно ни один человек во Франции, если не считать членов роялистской партии, скрывавшихся где-то в подполье, не допускал мысли о восстановлении власти Бурбонов. Было бы неверным сказать,

что двадцать лет спустя после свержения монархии их ненавидели так же сильно, как в год, когда французский народ отправил на эшафот последнего короля этой династии Людовика XVI. Бурбонов просто забыли. Со времени свержения монархии прошло двадцать два года, старшее поколение не вспоминало о бывшей династии, новое поколение знало о ней лишь понаслышке. Большинству французского народа Бурбоны представлялись чем-то бесконечно далеким, перевернутой страницей далекого прошлого, седой стариной, столь же отдаленной, как время Пипина Короткого.

Трагический ход событий освободительных войн против наполеоновского господства заключался прежде всего в том, что, тогда как главные издержки борьбы выпали на долю народа, ее плодами воспользовались силы реакции. Национально-освободительное движение, поднявшееся против французского ига в Европе, никогда не было однородным. В антинаполеоновской борьбе причудливо сочетались две разные и в какой-то мере противоположные тенденции. Та двойственность — своеобразное сочетание национально-прогрессивного и реакционного, которое проявилось раньше всего и ярче всего в Испании, как справедливо подчеркивал Маркс, была присуща всем антинаполеоновским войнам за независимость. Народ был основной силой, сломившей военное могущество империи и низвергшей французское господство в Европе. Народ представлял главную силу испанской освободительной борьбы. Народ был главной силой Отечественной войны 1812 года, нанесшей поражение наполеоновской армии и уничтожившей «великую армию».

Со времени Фридриха Гентца иные из историков говорили: при чем здесь народ, если наполеоновская армия была разбита армиями европейских держав? Но армии европейских держав, раньше проигрывавшие сражения Наполеону, а теперь бравшие над ним верх, смогли достичь победы лишь потому, что они опирались на поддержку народа, представляли сами в значительной мере народ и, наконец, выполняли народное дело — освобождали свои страны от чужеземного гнета.

Совершенно несомненно, что именно национально-освободительное движение, поднявшееся против наполеоновского вторжения в 1812 году в России, а затем перекинувшееся на другие страны Европы, и было

основной и самой действенной силой, сокрушившей наполеоновское господство в Европе.

Но нельзя забывать, что одновременно с народом, вынесшим главную тяжесть освободительной борьбы, в этой борьбе участвовали, занимая ключевые, господствующие позиции, и правительства европейских монархий. В 1812 году, когда Наполеон стоял у Москвы, весь русский народ объединился для освобождения страны от поработителей. Осенью 1812 года на Бородинском поле, на подступах к Москве, плечом к плечу сражались генерал Милорадович и Пестель. Пройдет тринадцать лет, и Пестель и его друзья по декабристскому движению будут представлять будущую Россию, устремленную к свободе, генерал Милорадович (хотя лично он не был худшим из сановников) — царский режим, душивший все живые силы страны.

В 1812—1813 годах эти две разнородные по своей природе струи — народная и реакционная — как бы слились. Российская, прусская, австрийская монархии, торийская Англия диалектикой исторического развития были втянуты в борьбу с наполеоновской империей. Не случайно в 1812 и 1813 годах самодержавие или слуги феодально-абсолютистской монархии охотно прибегали к слову «свобода». Но чем дальше развертывалась борьба против наполеоновской Франции, чем явственнее определялась победа над наполеоновским гнетом, тем все отчетливее выявлялась противоположность этих разных устремлений.

В ходе событий 1813—1814 годов Европа была освобождена от чужеземного французского гнета. В историческом развитии общества это было шагом вперед. Но когда союзные армии вошли в пределы Франции, встала новая дилемма: в каком направлении пойдет отныне общественное развитие?

Диалектика исторического развития снова меняла содержание войны. Если в 1812, 1813, даже в начале 1814 года война против наполеоновского господства была исторически прогрессивной — она освобождала народы Европы от чужеземного гнета, то с момента, когда союзные армии двинулись на Париж, преследуя свои отнюдь не освободительные цели, война еще раз изменила свое содержание — она стала реакционной, несправедливой со стороны союзников.

Выше было рассказано, как в октябре 1812 года генерал Мале, предпринявший смелую попытку свергнуть наполеоновскую власть, противопоставил империи республику. Когда могущество наполеоновской империи было сломлено объединенными действиями народа и войск европейских монархий, встала во весь рост дилемма: куда пойдет Франция — вперед или назад? Идти вперед — это значило укреплять буржуазно-демократические преобразования, это значило идти вслед за генералом Мале по пути восстановления республики.

В критические часы французской истории народ был отстранен от участия в решении судеб страны. Будущность Франции определяли не европейские народы и не французский народ, а вступившие как победители в столицу французского государства главы союзных армий. Русский самодержец, австрийский император, прусский король, торийская Англия, давний враг Франции,— вот кто решал судьбу побежденной страны.

Когда Талейран осторожно первый раз рискнул намекнуть Александру I на возможность восстановления власти Бурбонов, он встретил отрицательное отношение царя. К Бурбонам, к французским эмигрантам за двадцать минувших лет пригляделись. В несчастье они не сумели сохранить ни благородства, ни достоинства; симпатии к ним были поколеблены, и Александр склонялся первоначально в пользу Евгения Богарне, пасынка Наполеона, либо Бернадота, либо в пользу кого-либо другого из членов династии Бонапартов, либо из любой другой династии, но не из дома Бурбонов[2].

Австрийское правительство, император Франц II и в особенности Меттерних не возражали против установления регентства Марии-Луизы. Меттерних надеялся через посредство дочери австрийского императора укрепить австрийское влияние в Париже. Но именно по этим же мотивам против этого плана возражали Англия и Россия. Талейрану повезло; в эти решающие часы у него не оказалось соперников: самый опасный и изобретательный — Фуше был вне Парижа, остальные выжидали. Умело используя разногласия и отсутствие определенных мнений у победителей, Талейран шаг за шагом, обманывая своих собеседников, сумел внушить мысль о неизбежности возвращения Бурбонов. Тогда-то этот человек, которого не без оснований считали гением беспринципности, выдвинул идею, что

нужно защищать прежде всего принцип. «Людовик XVIII — это принцип»,— утверждал Талейран, принцип легитимности, законности власти. Нет надобности разъяснять — это самоочевидно, что лично Талейрана принцип легитимизма интересовал так же мало, как и судьба Бурбонов. Но он столько раз предавал и продавал Наполеона, он так страшился возмездия этого сильного человека, что ему необходимо было сделать невозможным его возвращение когда-либо к власти. Бурбоны и принцип легитимизма в наибольшей мере соответствовали этой цели. И верно, принцип легитимизма пришелся по вкусу и Александру I, и прусскому королю, и австрийскому императору. То был принцип, способный объединить все монархии, стремившиеся подавить народные движения, пробуждавшиеся в Европе[3].

Талейран был не прочь создать еще более надежные гарантии. Хотя он и защитил себя от мести бывшего императора могущественной коалицией европейских держав, он все же чувствовал себя неспокойно; он не мог отделаться от непреодолимого страха перед повергнутым, но сохранившим жизненные силы противником. В его разговорах в апреле 1814 года все чаще стала прорываться фраза: «Если бы император был мертв, то...» В самом деле, насколько спалось бы лучше, если бы император был мертв. По-видимому, Талейран был склонен в ту пору перейти от мечтаний к практике. Некий граф де Мобрей, прожигатель жизни и головорез, с бандой таких же, как он сам, разбойников должен был направиться в Фонтенбло: ему поручалось выполнить то, что не удалось в свое время Кадудалю. Поклонники Талейрана и он сам утверждали позднее, что нет документов, подтверждающих причастность князя Беневентского к этому покушению. Но в делах такого сорта документы вообще не сохраняются; все же остальное заставляет думать, что Мобрей был орудием в руках Талейрана. На процессе Мобрея 1814 года он прямо утверждал, что предложения убить Наполеона были сделаны ему в особняке Талейрана на улице Сен-Флорентан; владелец особняка находился в соседней комнате, и предложения шли от его имени. От покушения в Фонтенбло по многим причинам пришлось отказаться. Но когда Наполеон был отправлен на Эльбу, Мобрей со своими бандитами был послан вдогонку. Он должен

был настичь экипаж императора. Возможно, Наполеон уже слышал нарастающий перестук копыт приближающейся погони. Но по пути Мобрею неожиданно представилась возможность овладеть бриллиантами бывшей королевы Вестфальской. Он предпочел синицу в руки... и Наполеон избег кинжалов убийц[4].

Когда задачи борьбы против Наполеона были решены, перед главами европейских правительств встали новые заботы: как ввести в русло разбушевавшуюся народную стихию, как избежать опасных последствий пробуждения народных масс в освободительной борьбе. Принцип легитимизма с этой точки зрения пришелся ко времени. Он отвечал именно этой задаче — обузданию либеральных, демократических, национально-освободительных сил.

Спекулируя на принципе легитимизма, используя противоречия в лагере союзников, не имевших ясного плана и программы, фальсифицируя общественное мнение, ибо Сенат не выражал ни в малейшей степени мнения народа, Талейран как глава временного правительства сумел добиться решения союзных держав о восстановлении во Франции династии Бурбонов.

Было заключено соглашение между союзниками и отрекшимся от престола императором — так называемый договор Фонтенбло. Наполеону был передан в постоянное владение маленький остров Эльба в Средиземном море. За ним сохранялось звание императора. Ему и его семье был установлен довольно высокий цивильный лист. 28 апреля Наполеон отправился на остров Эльба. 3 мая в Париж въехал новый король Людовик XVIII Бурбон, окруженный многочисленной свитой вернувшихся после двадцатилетнего изгнания эмигрантов.

Последние французские короли династии Бурбонов, как это показывает история царствования Людовика XIV, Людовика XV и в особенности Людовика XVI, являли картину упадка и вырождения. От короля к королю династия вырождалась, шла по нисходящей линии. Людовик XVIII, вернувшийся в обозе союзных армий во Францию, не опроверг этой закономерности. Брат казненного короля, двадцать лет скитавшийся по всем уголкам Европы, живший на содержании то у русского

императора, то у прусского короля, то у английского правительства, состарившийся в бесплодных ожиданиях возвращения на «законный» трон, неожиданно, когда уже, казалось, все надежды были исчерпаны, вернулся во дворец своих предков. Тучный, одутловатый шестидесятилетний подагрик, в лучшие дни не умевший сесть на коня, вялый и ко всему равнодушный, этот монарх «божьей милостью», усаженный на трон с помощью иностранных штыков, был менее всего способен завоевать симпатии нации.

Его брат граф д'Артуа, будущий король Карл X, взбалмошный и своенравный мракобес, главарь партии крайних роялистов — фанатичных врагов революции, головорезов и убийц, «дикий барин» — невежественный и высокомерный, грубиян и задира, солдафон, не знающий ремесло солдата, узкий и озлобленный ум, обуреваемый жаждой мести, с первых дней реставрации приобрел огромное влияние при дворе.

Под стать ему была и герцогиня Ангулемская, дочь казненного Людовика XVI. Стараниями роялистской пропаганды она была превращена почти в святую, в «ангела доброты». Тибодо хорошо о ней сказал: «Ангел явился — сухая, надменная, с хриплым и угрожающим голосом, с изъязвленной душой, с ожесточившимся сердцем, с горящими глазами, с факелом раздора в одной руке и мечом отмщения в другой»[5]. То был скорее демон, чем ангел. Вместе с ними вернулась и немногочисленная, но крайне озлобленная свора эмигрантов-ультра. То были люди, проведшие двадцать пять лет за пределами своей родины, запятнанные бесчисленными преступлениями против нее, никогда не знавшие свой народ, а теперь полностью отвыкшие от него, питавшиеся какими-то устарелыми воспоминаниями, представлениями давно минувшей эпохи, страшные и смешные привидения, вернувшиеся из потустороннего мира. По ставшему классическим определению, за двадцать пять лет революции и войн Бурбоны ничему не научились и ничего не забыли из прошлого. Они вернулись в Париж 1814 года так, как если бы это была столица Французского королевства 1784 года.

Король Людовик XVIII пытался повернуть стрелку часов назад. Если бы это зависело только от него и его ближайших помощников, вероятно, во Франции установился бы режим, близкий к монархии Людовика XVI.

Но царь Александр, да и другие союзники не хотели повторения истории сначала. Первое свидание Александра с Людовиком XVIII оставило у царя крайне неблагоприятное впечатление; он был готов раскаиваться в свершенном, но уже было поздно что-либо менять. Королю было дано ясно понять, что надо признать важнейшие изменения, происшедшие за годы революции.

Прежде чем вступить в столицу Франции, король должен был 2 мая подписать так называемый Сент-Уанский манифест. В нем говорилось: «Мы, Людовик, милостью божьей король Франции и Наварры, решив принять либеральную конституцию и не считая возможным принять такую конституцию, которая неминуемо потребует дальнейших исправлений, созываем на 10 число июня Сенат и Законодательный корпус, обязуясь представить на их рассмотрение работу, которую мы выполним вместе с комиссией, выбранной из состава обоих этих учреждений, и положить в основу этой конституции представительную форму правления, вотирование налогов палатами, свободу печати, свободу совести и неотменимость продажи национальных имуществ, сохранение Почетного легиона». После энергичного стиля коротких приказов Наполеона французы с удивлением прислушивались к этому набору витиеватых, длинных, сложных предложений.

Так называемой октроированной конституцией во Франции был установлен переходный режим. Восстановить полностью старую монархию оказалось невозможным. Это превышало силы даже ничего не забывших Бурбонов. Политический строй, образовавшийся при первой реставрации, знаменовал собой шаг по пути к созданию буржуазной монархии[6]. Людовик XVIII должен был считаться и с людьми, облегчившими ему восшествие на трон, остававшийся еще шатким. Первое правительство Людовика XVIII возглавлял Талейран, военным министром стал маршал Сульт. Большинство наполеоновских маршалов и генералов, признавших новую власть, сохранило командные посты. Но, почувствовав себя чуть прочнее в седле, король, в особенности его брат граф д'Артуа и крайние роялисты попытались осуществить реконкисту — отвоевание потерянного, возвращение утраченных позиций. Шаг за шагом была восстановлена власть церкви, ее приоритет в государ-

стве; высшие должности замещались эмигрантами, не обладавшими никакими талантами и не имевшими никаких заслуг, кроме двадцатилетней борьбы против французского народа. Овеянное славой, популярное в армии трехцветное знамя — знамя французской революции было заменено белым знаменем Бурбонов. Трехцветную кокарду заменили белой кокардой с лилиями. День 21 января, день казни Людовика XVI, превратился в день национальной скорби[7].

Народ сначала с удивлением, затем все с большим раздражением и негодованием следил за деятельностью этих странных господ, так заносчиво и высокомерно распоряжавшихся в стране, жившей столько лет без них и против них.

Из различного рода листков, газет, публицистики, всплывавших, как пена, на поверхность, можно было составить представление о том, к чему стремились вернувшиеся тени прошлого. Речь шла не только о восстановлении утраченных традиций, добрых обычаев старины. Вернувшихся эмигрантов привлекал не только белый цвет эмблемы вновь воцарившейся династии. Этим озлобленным людям, двадцать лет ютившимся в прихожих и подворотнях европейских столиц, при всем их показном презрении к реальным интересам века были в высшей степени свойственны прозаические побуждения, в том числе большой интерес к тому, что они высокомерно называли презренным металлом. Вернувшись в почти незнакомую им страну, они на правах первородства жадно вцепились зубами в государственный пирог. Король раздавал направо и налево синекуры — должности, приносившие большой доход и не сопряженные ни с какими обязанностями. Но этого было мало. Из всех дарований сословия они сохранили лишь одно — умение тратить деньги без счета. Денег им всегда недоставало. Общим требованием роялистов стало требование возвращения их бывших владений, имуществ, перешедших к новым собственникам. Королевским ордонансом ту часть национальных имуществ, то есть конфискованных в свое время земель, которая еще не была распродана, возвратили бывшим владельцам. Но и этого оказалось недостаточно. Подготавливался новый шаг — отчуждение владений, перешедших в новые руки, передача их старым владельцам. То была опасная тенденция — пересмотреть все материальные

итоги революции и наполеоновской эпохи. Задача эта едва ли была по плечу роялистам, но она вызывала беспокойство, общественное раздражение. Прошло немного времени, но за несколько месяцев новая власть, являвшаяся на деле возвратом к давно отвергнутой старине, сумела восстановить против себя весь народ. Крестьяне с должным основанием опасались, что помещики, старые сеньоры и церковники отнимут у них землю, восстановят ненавистную десятину, старые, феодальные поборы. Многие новые собственники боялись за свои владения: их права ставились под сомнение. Возникла угроза нового перераспределения собственности, на сей раз в интересах вернувшихся вместе с королем эмигрантов.

Армия была оскорблена пренебрежением к ее былым заслугам, подчеркнутым неуважением к подвигам и жертвам двадцатилетней эпохи. Многие боевые генералы и офицеры были уволены в отставку. Их места заняли дворяне-эмигранты, не имевшие в послужном списке ничего, кроме преступлений против французского народа. Столь же высокомерные, сколь и невежественные, заносчивые бездарности из окружения короля и его брата графа д'Артуа потребовали и получили высшие командные должности в армии. Прославленные полководцы, знаменитые маршалы должны были потесниться, чтобы уступить жадной до денег и чинов эмигрантской своре первые места. Дамы «высшего света» — так именовали себя приживалки эмигрантского королевского двора — осмеяли и оскорбили жену маршала Нея; в ее лице был оскорблен и «храбрейший из храбрых». «Герой Байлена» генерал Дюпон, преданный в свое время военному суду, был назначен членом правительства; армия усмотрела в этом странном назначении намеренный вызов. Бурьенн, изгнанный Наполеоном за взятки и казнокрадство, был назначен министром полиции. Нельзя было сомневаться в смысле этого назначения. Бывший товарищ и секретарь Бонапарта, превосходно осведомленный о положении в руководящем штабе бонапартистской партии, должен был обеспечить расправу над ней; приверженцы графа д'Артуа давно уже об этом мечтали.

Все классы общества в той или иной мере оказались задетыми политикой новых господ. За недолгое время первой реставрации Бурбоны и их приспешники смогли

обнаружить талант лишь в одном — поразительном даре восстанавливать всех против себя. Не прошло и полугода со дня воцарения Людовика XVIII, как в стране сложилась широкая оппозиция и, более того, заговоры против реставрированной королевской власти. Салон герцогини Бассано стал штаб-квартирой антироялистской оппозиции; комплименты красивой хозяйке здесь ценились меньше, чем насмешки над королевским двором. Мерилом общего недовольства могло служить поведение Фуше. При его непреодолимой склонности к интриге он не мог остаться сторонним наблюдателем событий. Он написал письмо Наполеону, рекомендуя ему перебраться в Соединенные Штаты Америки. Затем он сообщил об этом письме графу д'Артуа, изображая его как форму заботы о благе новой династии[8]. «Наполеон на острове Эльба будет для Италии, для Франции, для всей Европы тем же, что Везувий рядом с Неаполем»[9].

Но старания Фуше не были оценены. Герцог Отрантский трижды предлагал Бурбонам свои услуги, и трижды они были отвергнуты. Тогда всегда осмотрительный Фуше счел разумным открыто примкнуть к антиправительственной оппозиции. Он стал посещать салон герцогини Бассано; он приходил сюда не ради красивых женщин — в этом его никто не подозревал: он начал плести паутину нового заговора, на сей раз против династии Бурбонов. Не все в этих тайных переговорах зимой 1815 года можно считать выясненным до конца; мемуаристы, участвовавшие в этих секретных беседах, по вполне понятным мотивам старались запутать историю этой конспирации до крайности[10]. Все же можно считать установленным, что в той или иной мере к заговору или антироялистским переговорам были причастны Фуше, Тибодо, Лавалетт, Реньо де Сен-Жан д'Анжели, Эрлон, Лаллеман и другие. К чему они стремились? Общим, что их объединяло, была враждебность к режиму Бурбонов, сознание необходимости перемен. Но дальше начиналась область разногласий: одни хотели установления диктатуры Евгения Богарне, другие предлагали передать власть Лазару Карно, третьи мечтали о возвращении Наполеона. Последнего варианта опасались, однако, больше других, так как боялись, что он повлечет за собой новую войну. Но прежде чем решать вопрос о будущей власти, надо было сокру-

шить монархию Бурбонов — в этом все были единодушны.

Наполеон с далекого острова Эльба пристально следил за происходящим во Франции. У него были свои основания для недовольства. Обязательства, принятые по договору Фонтенбло, не были выполнены: он был разлучен с женой Марией-Луизой и с сыном. Меттерниха, роль которого возрастала час от часу, более всего заботило, чтобы сын Наполеона не был рядом с отцом. Он опасался будущего Наполеона II, и, чтобы сделать невозможным появление на французском троне продолжателя династии Бонапартов, было решено сына французского императора превратить в австрийского принца. Отца ему должен был заменить дед, австрийский император, во дворце которого воспитывался с 1814 года будущий герцог Рейхштадтский. Наполеон был оскорблен, он терялся в догадках. Он не знал, то ли сама жена его оставила, то ли ее заставили с ним разлучиться. Он предвидел многое, но никогда не допускал мысли, что у него отнимут сына и жену[11].

В конце мая в Мальмезоне умерла Жозефина. Она была окружена вниманием; после отъезда Марии-Луизы она осталась единственной императрицей — последним живым воплощением минувшей эпохи. К ней ездил и подолгу беседовал, прогуливаясь по парку, царь Александр; за ним потянулись все остальные — прусский король, великие князья Николай и Михаил, Бернадот, ставший наследником шведского престола, германские курфюрсты, маршалы. Она принимала всех с достоинством; она оставалась первой дамой Франции, к величайшему раздражению двора Людовика XVIII. Но знаки внимания, почести, оказываемые ей, не радовали ее. В двадцатых числах Жозефина заболела, и врачи затруднялись поставить диагноз. 29 мая в возрасте пятидесяти одного года она умерла. Когда позже Наполеон спросил пользовавшего ее доктора Оро, чем она болела, какова причина ее смерти, врач ответил: «Горе, тревога, тревога за вас»[12].

Наполеон на Эльбе остался совсем один.

Но не личные мотивы побуждали Наполеона к решающим действиям. Внимательно приглядываясь к событиям во Франции, Наполеон все более убеждался

в том, что реставрированную власть Бурбонов народ не приемлет. Эльба не стала для него «островом отдохновения», как он первоначально умиротворенно говорил. То была наблюдательная вышка, немного отдаленная, но вместе с тем и удобная: с нее легче было обозревать происходящее в стане противника. У него были верные помощники — Камбронн, Друо. Сведения, поступавшие к нему, были утешительны: все были недовольны — крестьяне, буржуа, армия. В то же время до него дошли точные сообщения о том, что в Вене обсуждают, не переправить ли опасного императора с Эльбы значительно дальше — в Америку или на остров Святой Елены.

Наполеон был человеком действия, время его еще не прошло, ему было сорок пять лет, в нем жил темперамент никогда не сдающегося раньше времени игрока; после недолгих раздумий он решился на смелый шаг.

1 марта 1815 года к безлюдному побережью бухты Жуан пристало несколько небольших кораблей. С них торопливо сошли группы людей. Император вместе с самыми верными, преданными ему солдатами и ближайшими помощниками (вся его армия составляла тысячу сто человек) высадился на южном побережье Французского королевства. Он оставил Порто-Ферайо 26 февраля, три дня был в пути, счастливо миновал все сторожевые корабли, попадавшиеся ему на пути, и беспрепятственно высадился на родной французской земле.

Стремительным маршем — по пятьдесят километров за двадцать часов — небольшой отряд горными тропами шел на север. Бонапарт избрал наиболее трудный путь — через Альпийское предгорье. Он тогда уже принял решение добиваться успеха, завоевать Францию, не произведя ни одного выстрела. Он не мог сражаться с французами, даже если бы они прикрывались белым флагом; путь к утраченному трону должен был быть бескровным. Он отдал команду всем солдатам своего отряда не открывать огня, не прибегать к оружию ни при каких обстоятельствах. Совершая большие переходы, ночуя в деревнях, где отряд встречали сочувственным удивлением крестьяне, Наполеон через горы 7 марта подошел к Греноблю[13].

Уже 3 марта в Париже, а затем в остальной Франции стало известно, что Наполеон покинул Эльбу и пробирается в неизвестном направлении. Это короткое сообщение потрясло страну, а за нею весь мир *.

Французскими войсками в южных областях Франции командовал старый маршал Массена. Верный долгу, присяге, Массена, узнав о высадке Наполеона у бухты Жуан, дал приказ генералу Миоллису остановить и обезоружить отряд Бонапарта — вначале мало кто верил в успех предприятия. Генерал Миоллис долгое время служил под начальством императора и пользовался в свое время его полным доверием. Крупное войсковое соединение генерала Миоллиса пошло наперерез отряду Наполеона. Но случилось так, что отряд Наполеона оказался впереди войск Миоллиса; поставленная задача не была выполнена. Современники терялись в догадках: то ли наполеоновский отряд шел очень быстро, то ли полки генерала Миоллиса шли слишком медленно, и если это так, то в чем причина? Но так или иначе, они не встретились на пути, и Наполеон со своими солдатами беспрепятственно дошел до Гренобля.

Меж тем в Париже уже били во все колокола. Королевский двор принимал спешные меры, чтобы обезвредить дерзкого корсиканца. Военный министр маршал Сульт отдал приказ тридцатитысячной обсервационной армии двинуться наперерез маленькому отряду Бонапарта. Сульт показался королевскому окружению недостаточно энергичным, и главное — его подозревали в тайных симпатиях к Наполеону. Его заменил на посту военного министра Кларк, герцог Фельтрский. Но разве Кларку не были свойственны те же недостатки, что и Сульту? Всегда самонадеянный граф д'Артуа поспешил в Лион, чтобы здесь преградить дорогу «дерзкому авантюристу», «людоеду», «корсиканскому чудовищу», как именовала Наполеона печать правящей династии.

Тактика Наполеона заключалась прежде всего в том, чтобы избегать вооруженных столкновений. Петляя по малоизвестным дорогам, продвигаясь гуськом по узким горным тропам, небольшой отряд сумел подойти к Греноблю. Здесь против него были двинуты значительные военные силы под командованием генерала Маршана.

* «Московские ведомости» № 25 27 марта 1815 г. со ссылкой на сообщения из Берлина от 14 марта передавали сенсационную весть, что Наполеон покинул Эльбу.

Избежать столкновения с регулярной армией было невозможно. У селения Лафре, прикрывавшего вход в ущелье, отряду Наполеона был прегражден путь. Авангардные части войск под командованием капитана Рандона, действовавшего по приказу генерала Маршана, преградили дорогу. Наполеон пошел на сближение с королевскими войсками. Когда он оказался в поле их видимости, он отдал приказ солдатам переложить ружье из правой в левую руку. Полковник Малле, один из его ближайших помощников, был в отчаянии от этой меры; он пытался отговорить императора от этого безумного, как ему казалось, шага. Но Наполеон умел рисковать; его солдаты приблизились к королевской армии в сущности безоружными, держа в левой руке ружье, опущенное вниз.

Не сбавляя шага, Наполеон спокойно шел навстречу нацеленным на него ружьям. Жестом руки остановив отряд, он выдвинулся вперед, пошел навстречу солдатам один, без охраны, и, подойдя на расстояние пистолетного выстрела, расстегнул свой сюртук и сказал: «Солдаты, узнаете ли вы меня? Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Я становлюсь под ваши пули». Это был верно рассчитанный ход. «Да здравствует император!» — воскликнули королевские солдаты, и отряд в полном составе перешел на сторону Наполеона. Во главе уже значительной армии, поддерживаемый крестьянами окрестных деревень, рабочими предместий, разбившими городские ворота, Наполеон триумфально вошел в Гренобль. Стремительным маршем, пополняясь гарнизонами малых городов, переходившими на его сторону, наполеоновская армия быстро продвигалась на север[14].

Кто поддерживал армию Наполеона, ибо теперь это уже был не отряд, а большая армия? Крестьяне, рабочие, солдаты, простые люди. Быстрое продвижение Наполеона в глубь страны стало возможным благодаря поддержке народа.

10 марта окруженная огромной толпой крестьян, рабочих, простых людей наполеоновская армия подошла к стенам Лиона. Надменный граф д'Артуа бежал из второго города Франции, передав командование Макдональду и чувствуя, что сопротивление было бы для него опасным[15]. Весь гарнизон Лиона и все его население перешли на сторону Наполеона.

Страна пришла в величайшее смятение. Ненависть к Бурбонам, роялистам прокладывала дорогу Наполеону на Париж. Французы не хотели войны — она стояла у всех поперек горла — и опасались, что возвращение Наполеона снова приведет страну к порогу войны. Луи Арагон в «Страстной неделе» превосходно запечатлел смятение противоречивых чувств той поры[16]. Но ненависть к Бурбонам брала верх. Народ приветствовал Наполеона.

Тогда против Наполеона во главе могущественной армии был двинут один из самых прославленных полководцев Франции — маршал Ней. Ней обещал королю привезти Наполеона в железной клетке. Обе армии шли навстречу друг другу. Армия Нея могла преградить путь Наполеону; она была неизмеримо сильнее. Король и его окружение возлагали на Нея все надежды. Но Наполеон знал хорошо своего боевого сподвижника. Он помнил, как в ноябре 1812 года за Смоленском, когда остатки корпуса Нея оказались полностью окруженными превосходящими силами, в ответ на предложение почетной сдачи Ней ответил: «Маршалы империи не вступают в переговоры под дулом пистолета». Ней, он тоже был из «железной когорты» Бонапарта, «храбрейший из храбрых» не мог выступить против Наполеона. И Нею была послана короткая записка от императора: «Ней! Идите мне навстречу в Шалон. Я Вас приму так же, как на другой день после битвы под Москвой». Ней колебался. Но когда обе армии встретились, Ней выхватил саблю из ножен и воскликнул: «Офицеры, унтер-офицеры и солдаты! Дело Бурбонов погибло навсегда!» И в полном составе армия Нея перешла на сторону Наполеона. Теперь уже могучий, неудержимый поток двигался на Париж, и ничто ему не могло противостоять.

В Париже на цоколе Вандомской колонны появился большой, от руки написанный плакат: «Наполеон — Людовику XVIII. Король, брат мой, не посылайте мне больше солдат, их у меня достаточно»[17]. Эта иронически звучавшая надпись раскрывала правду: армия перешла на сторону Наполеона.

В ночь с 19 на 20 марта Людовик XVIII, еще недавно хвастливо уверявший, что он навсегда остается в Париже, со всей своей семьей в паническом страхе бежал в карете по дороге в Лилль. Наполеоновская армия

лишь подходила к Фонтенбло, а в Париже с Тюильрийского дворца был уже сорван белый флаг и заменен трехцветным. Тысячные толпы народа высыпали на улицу. Парижане радовались, смеялись; сколько острых словечек было пущено вдогонку бежавшей королевской семье! Сторонники короля прятались по щелям, торопливо срывали с себя белые кокарды. Наполеон еще не вступил в Париж, а власть Бурбонов уже перестала существовать. В Тюильрийском дворце ковры с изображением лилий Бурбонов спешно заменялись золотыми пчелами империи[18].

20 марта, в девять часов вечера, Наполеон вступил в Тюильрийский дворец, встреченный восторженными возгласами.

После двух лет поражений, просчетов, провалов весенний день 20 марта, казалось, вновь возвращал его на дорогу удачи и побед. То был последний счастливый день его жизни. Стояла весна, время ожиданий, время надежд, и он снова вдыхал неповторимый весенний запах Парижа; его окружали радостные, возбужденные лица; он пожимал руки, он был среди своих товарищей; он снова чувствовал за плечами широкие крылья победы.

Двадцать дней марта 1815 года были и остаются одними из самых удивительных страниц в истории Франции. То, что произошло за двадцать дней, было воспринято современниками почти как чудо. Может быть, на самом деле это могло казаться чудом: горстка невооруженных людей, высадившись на берегу Франции, за три недели, не произведя ни одного выстрела, не убив ни одного человека, завоевывает целую страну! Биография Наполеона содержала немало ярких страниц, но, может быть, это последнее, самое дерзкое, самое рискованное из приключений его жизни, которое стали позже называть «полетом орла», было самым замечательным. Надо было обладать смелостью, решимостью Наполеона, его умением дерзать, его политическим глазомером, чтобы рискнуть на беспримерное предприятие и достичь успеха.

В те дни марта 1815 года во Франции и за ее пределами, во всех европейских городах и усадьбах с удивлением, граничащим с ужасом, а порой и с восторгом, обсуждали, спорили, строили догадки по поводу этого невероятного по своей смелости завоевания Франции

Наполеоном[19]. Еще не задумываясь над тем, чем все может кончиться, люди поражались этому почти неправдоподобному событию; оставалось загадкой, как сильная королевская власть, опиравшаяся на огромную армию, на поддержку всех европейских монархий, в течение трех недель была побеждена и повергнута в прах горсткой людей, шедших с ружьями, опущенными вниз.

Но можно ли было объяснить поразительный успех Наполеона в марте 1815 года только его личным талантом или личной популярностью в народе, в армии, как это делают многие из его восторженных биографов? Удивительная история ста дней возвращения Наполеона представляла собой сложное общественное явление. Наполеон мог совершить это чудо не только и не столько благодаря своей смелости и таланту (которые было бы, конечно, неправильно отрицать), сколько благодаря тому, что с первых своих шагов он был поддержан народом. Эта поддержка народа выражала не приверженность простых людей Франции к Наполеону лично или к режиму империи, а прежде всего их ненависть к Бурбонам. За десять месяцев своего царствования Бурбоны настолько разоблачили себя в глазах общественного мнения, предстали в столь неприглядном свете, оказались настолько антинациональной, антифранцузской котерией, что они восстановили против себя самые широкие слои народа.

Когда говорят о том, что армия перешла на сторону Наполеона, что успех его был обеспечен прежде всего поддержкой армии, против чего спорить не приходится, то забывают, что ведь и армия во Франции была в основном крестьянской по своему составу. Если определять социальную природу мартовских событий 1815 года, то следует признать, что Наполеон сумел достичь успеха потому, что был поддержан прежде всего крестьянством, видевшим в нем защитника против феодальной угрозы. Страх, боязнь феодальной реставрации, восстановления феодальных привилегий, ненавистной десятины, боязнь ликвидации социальных завоеваний революции, опасения за собственность толкнули большинство народа в сторону Наполеона.

При взятии Гренобля, в Лионе и в ряде других городов Наполеону оказывали энергичную поддержку и помощь рабочие. Рабочие, городская беднота поддер-

живали его и в Париже. Фуше сетовал на возрастание влияния «черни»[20]. Об этом же писали и русские газеты: «Всякая сволочь толпится теперь в Тюильрийском саду и вызывает к себе нередко Бонапарте, к коему прежде и подступиться не осмеливались»[21]. Плебейство городов не могло не поддерживать Наполеона, то была форма проявления непримиримой вражды к монархии Бурбонов.

Было замечено, что по мере того, как до Парижа доходили несомненные сведения о быстром продвижении Наполеона на север, во французской столице падал курс ценных бумаг. Это падение биржевых ценностей доказывало прежде всего беспокойство биржевых кругов в связи с надвигавшимися крутыми политическими переменами. Но оно же свидетельствовало, что какая-то часть буржуазии была против Наполеона или по меньшей мере, скажем осторожнее, не поддерживала начинание. Не подлежит, однако, сомнению, что значительная часть буржуазии, в том числе и круги ее, относившиеся критически к наполеоновскому режиму, в переломные дни марта 1815 года решительно поддержали Наполеона. Почему? Да прежде всего потому, как справедливо заметил в свое время Тибодо, что жизнь, требования момента «поставили их перед выбором между Наполеоном и Бурбонами, что означало выбор между революцией и контрреволюцией»[22].

Тибодо верно определил ситуацию, сложившуюся во Франции в марте 1815 года. К сказанному им следует лишь внести уточняющие добавления: выбор приходилось делать между буржуазной революцией и феодальной контрреволюцией. Употреблялись эти слова или нет, реальное содержание альтернативы, вставшей перед каждым французом в те дни, заключалось именно в этом. И не удивительно, что подавляющее большинство французского народа, поставленного перед необходимостью сделать выбор между буржуазной властью Наполеона и феодальной властью Бурбонов, выступило в пользу первой.

То, что произошло во Франции в марте 1815 года, если анализировать социальную природу этих удивительных событий до конца, должно быть определено как своеобразная буржуазная революция. Подавляющее большинство нации, то есть крестьянство, городское плебейство и буржуазия, поднялось, чтобы сбросить

гнет феодальной реакции, пытавшейся уничтожить материальные, социальные и политические завоевания революции. Специфическая особенность марта 1815 года — поддержка народного движения армией, вопреки всем приказам и угрозам перешедшей на сторону Наполеона и народа, лишь подчеркивала общенациональный характер революции 1815 года. Именно поэтому попытки некоторых авторов определить март 1815 года как своего рода пронунсиаменто должны быть отвергнуты. То был не верхушечный переворот узкого круга военных заговорщиков, а широкое народное движение, захватившее все классы общества. Март 1815 года был предвосхищением июля 1830 года. И казавшийся почти фантасмагорическим успех Наполеона в его безумно дерзком походе в конечном счете объяснялся тем, что он своевременно возглавил уже назревшую революцию против реставрированной монархии Бурбонов, пытавшихся повернуть историю вспять.

К слову сказать, современники так и понимали содержание событий весной 1815 года. Они называли мартовские дни, поход Наполеона на Париж «революцией 20 марта». Так писали Понтекулан, Тибодо, Лавалетт[23] и многие другие. И они справедливо подчеркивали, что то была успешно начавшаяся революция: первым и самым важным актом ее было свержение ненавистной народу власти Бурбонов.

Так же было понято значение происшедших во Франции событий и за границей. В них видели не столько личный успех Наполеона, сколько торжество революционного начала и ниспровержение принципов легитимизма, провозглашенных незыблемыми. «Московские ведомости», например, с тревогой писали о возрастании во Франции влияния якобинцев. «Для улучшения успехов своих замыслов Бонапарт подружился с якобинцами,— писала газета,— он и ныне почитает их для себя весьма нужными, дабы не лишиться вдруг своей силы в народе»[24]. Та же газета отмечала, что «якобинцы повсюду берут верх»[25].

Непримиримость европейских держав, собравшихся на Венском конгрессе, безоговорочное отклонение ими всех мирных предложений, исходивших от Наполеона, объяснялись прежде всего их страхом и ненавистью к революции. В 1815 году война коалиции европейских держав против Франции вновь обрела характер контр-

революционной интервенции. Еще не был подписан «Акт Священного союза», а по существу практика удушения силой штыков революции и революционного духа была впервые применена весной и летом 1815 года против Франции. Правительства европейских реакционных монархий вмешивались во внутренние дела Франции и силой оружия, вопреки воле народа вновь восстанавливали ненавистную французам власть Бурбонов.

В головокружительные дни и часы мартовского триумфа, когда под восторженные возгласы огромная народная толпа окружала и приветствовала Наполеона при входе в Тюильрийский дворец, понял ли, осознал ли он в полной мере значение и смысл происходящего?

Да, и в дни неудач и поражения 1812—1814 годов, и в удивительные мартовские недели Наполеон многое передумал, переосмыслил; он многому за это трудное время научился. Уже в первых заявлениях и прокламациях в Гренобле и Лионе он объявил, что восстанавливаемая им империя будет иной, чем раньше, что он ставит своей главной задачей обеспечить мир и свободу. Лионскими декретами он отменял все покушавшиеся на завоевания революции законы Бурбонов; все законодательство в пользу реэмигрантов и старого дворянства; была снова подтверждена незыблемость перераспределения собственности за годы революции и империи; была объявлена общая амнистия, из которой было сделано исключение только в отношении Талейрана, Мармона и еще нескольких изменников; их имущество объявлялось секвестрованным.

«История подтвердит,— говорил в Париже Наполеон,— и это будет моей славой,— что для свержения Бурбонов с престола мне не понадобились ни многочисленные армии, ни флот; мне не была нужна ни помощь Мюрата, ни поддержка Австрии. Революция 20 марта совершилась без заговора и предательств; я не хотел, чтобы была пролита хоть капля крови; я запретил произвести хотя бы один ружейный выстрел! Народ и армия привели меня в Париж! Это солдаты и младшие офицеры все совершили; народу и армии я обязан всем»[26].

Мысль о решающей роли народа и армии Наполеон подчеркивал в те дни неоднократно[27]. Он давал широкие обещания политических и социальных реформ;

первоначально он не предрешал даже вопрос о будущем строе Франции. Если верить Понтекулану (а ему в главном можно верить), то Наполеон говорил ему: «Франция может быть монархической, республиканской или императорской, и ни один из европейских государей не имеет права находить это плохим»[28]. Он решительно отстаивал право Франции самой определять свою судьбу и отвергал какую бы то ни было форму вмешательства иностранных держав в ее внутренние дела. Многократно и торжественно подтверждая, что Франция отказывается от всяческих претензий на европейское господство, он в то же время категорически отклонял чье бы то ни было вмешательство извне во внутренние дела страны.

Времена изменились! Раньше наполеоновская Франция навязывала свою волю европейским державам; теперь Наполеон должен был отстаивать суверенитет Франции, и эта задача была также нелегкой.

Правительство, сформированное Наполеоном при возвращении в Париж, отражало происшедшие перемены. Пост министра иностранных дел был поручен Коленкуру, военным министром стал маршал Даву, министром внутренних дел Наполеон пригласил знаменитого Карно. Остальные посты он поручил своим близким сотрудникам: морское министерство — Декре, почтовое ведомство — Лавалетту и т. д. Самым важным общественное мнение считало привлечение в состав правительства Карно; в нем видели акт примирения с республиканцами[29]. Но министерство полиции Наполеон доверил Фуше, перекинувшемуся к нему в последний момент. Это было, несомненно, ошибочным шагом; по выражению одного из современников, назначить Фуше министром полиции значило поселить измену в собственном доме.

Наполеон понимал, что прежний режим самодержавной деспотической власти уже невозможен. Была восстановлена империя, но либеральная империя; он пригласил Бенжамена Констана, человека, к которому никогда не питал личной симпатии, в Тюильрийский дворец и поручил ему составить дополнения к конституции. Этот так называемый Дополнительный акт, подготовленный Бенжаменом Констаном, представлял собой компромисс. Из конституции Бурбонов была заимствована верхняя палата — палата пэров. В консти-

туцию были внесены некоторые изменения: имущественный ценз был понижен по сравнению с конституцией Людовика XVIII. Но разница была сравнительно невелика. Правда, Наполеон восстановил национальный суверенитет и систему плебисцита, и «Дополнительный акт» был одобрен большинством голосов. Но этот «Дополнительный акт» — Бенжаменка, как его пренебрежительно прозвали,— никого не удовлетворял. Новая конституция, естественно, не могла удовлетворить и народ, ибо конституция по существу ограничивала инициативу и участие народа в политическом управлении; она устанавливала режим буржуазно-либеральной империи, тогда как народ ожидал не либеральной, а демократической организации власти.

Наполеон понимал, что если он сумел без выстрела завоевать власть, то этим обязан прежде всего народу. Но он уже в такой степени за годы своего царствования превратился в монарха, что он не рисковал, не смел, не решался опираться до конца на народ.

В сущности ему надо было все начинать сначала: вернуться к политике 1793 года, довериться народу, довериться простым солдатам, продолжать революцию с ее высшего, якобинского этапа. Никогда популярность Наполеона в народе, в армии не была так велика, как в эти весенние дни 1815 года. Все прежние обиды были забыты — забыты его непомерное честолюбие, опустошительные войны, на которые он обрекал французский народ и народы Европы; все ушло в прошлое. Для народа, для солдат он был по-прежнему «маленьким капралом», сумевшим одним мановением руки избавить Францию от ненавистных черных пауков, от эмигрантской нечисти, готовой высосать всю кровь французского народа. Его встречали возгласами: «Да здравствует император! Долой дворян и попов!» И в первые дни возвращения он понимал этот язык народного возмущения; он отвечал: «Я повешу на фонарях предателей и изменников» — то был язык эпохи штурма Бастилии, язык 1793 года.

Но это длилось недолго. Поселившись снова в Тюильрийском дворце с его роскошью и великолепием, проводя часы в совещаниях с министрами и политическими лидерами, он вновь ощутил себя монархом, императором. Наблюдательный, умный Понтекулан заметил, что в этих бесконечных разговорах с бывалы-

ми политическими дельцами он слабел; эти бесплодные политические разговоры опутывали его, как Гулливера в стране лилипутов, тысячами сетей[30]; вместо того чтобы действовать, он терял время в никчемных переговорах.

На торжественное открытие законодательных учреждений он явился вместе со своими братьями в странных и неуместных нарядах членов императорской семьи — в шелковых чулках, в расшитых золотом одеяниях. Этот ли костюм соответствовал народным представлениям о «маленьком капрале», о герое Монтенотте и Лоди?

То отражение счастья, чувства слитности с народом, веры в свою звезду, которое прочли на его лице в незабываемый вечер 20 марта, когда он возвратился в Париж, больше уже не появлялось. Его окружали теперь со всех сторон заботы, и он ясно видел огромность стоявших перед ним, перед страной задач.

Он обратился ко всем европейским державам — к России, Англии, Австрии, Пруссии — с предложениями мира — мира на условиях status quo. Он торжественно заявлял, что он отказывается от всех претензий, Франции ничего не нужно; ей необходим только мир. Он хорошо понимал, что сохранить власть, сохранить поддержку народа он может, лишь избавив его от ужасов войны. Но это было не в его власти. Он переслал Александру I забытый второпях французским королем секретный договор 3 января 1815 года Англии, Австрии и Франции против России и Пруссии. Он был оценен должным образом, но это ничего не изменило в отношениях держав к Наполеону; ему была объявлена война — насмерть[31].

У Наполеона в течение какого-то времени сохранялись иллюзии в отношении Австрии: он ждал возвращения Марии-Луизы и сына; он надеялся, что его тесть император Франц посчитается с интересами дочери, своего внука. И в этом ему пришлось разочароваться. Отрезвляющее письмо из Вены сообщило, что жена ему неверна, что она утешилась с каким-то ничтожным Нейпергом, что сына никогда не отдадут отцу, что герцога Рейхштадтского хотят воспитать как врага Франции[32]. Он принял и это страшное для него известие внешне спокойно. Ни взрыва ярости, как это бывало в прежние годы, ни даже лишнего жеста. Жизнь на-

учила его многому. Он отдавал себе, видимо, отчет в том, что надеяться вовне больше не на что; напротив, все его враги, враги новой Франции объединяют свои силы. Он отчетливо понимал и роль Австрии. Вероломный, лживый Меттерних, объединившийся с давним злобным врагом Бонапарта, с Поццо ди Борго, проводил дни и ночи, обдумывая сатанинские планы, как вернее накинуть удавную петлю на шею Наполеону.

Декларация 13 марта, принятая главами европейских правительств, объявляла Наполеона вне закона, «врагом человечества»[33]. Это означало, что Франции предстояла беспощадная борьба против всех объединившихся сил европейской реакции. 25 марта была юридически оформлена седьмая коалиция. Все или почти все государства Европы двинулись военным походом против наполеоновской Франции.

Хотел того Наполеон или нет, Франция снова должна была воевать; на этот раз ей навязывали войну, и она не могла от нее уклоняться; решение ее судеб вновь переносилось на поле сражений.

Весной 1815 года положение Франции стало вновь угрожающим. Неисчислимые силы коалиции европейских монархий по разным дорогам двигались к французским границам. Соотношение сил было явно не в пользу Франции. Но разве в 1793 году положение было лучше? Тогда Франции тоже приходилось сражаться со всей Европой, и она побеждала.

Вместе с Даву, на посту военного министра, как и в армии, обнаружившего замечательное организаторское дарование, вместе с Карно, в котором никогда не умирал великий «организатор победы» 1793 года, Наполеон спешно формировал новую армию. Карно предлагал чрезвычайные меры: вооружить ремесленников, все беднейшие слои общества, создать из них многотысячные отряды Национальной гвардии. Наполеон не принял это предложение: он боялся возврата к революционным методам 1793 года; он остановился на полпути[34].

Наполеон проявлял колебания и в определении плана кампании. Дождаться ли, когда союзные армии вступят в пределы Франции, разоблачив себя в глазах всего мира как агрессоры? Или захватить инициативу

в свои руки? Эти колебания были чем-то новым, появившимся в характере Наполеона. Это было замечено не только во Франции. «Московские ведомости» со ссылкой на сообщение из Лейдена писали: «Вообще во всех поступках его приметна нерешительность и совершенная зависимость. Он отменяет сегодня то, что вчера предпринял, и не знает более сам, чего хочет»[35]. Может быть, в таком утверждении было преувеличение, но что-то давало пищу для подобных обобщений. Близкие к нему люди, наблюдавшие его в 1815 году, отмечали происшедшие в нем перемены. Лавалетт с удивлением рассказывал: однажды из соседней комнаты он слышал, как Наполеон спокойным, рассудительным тоном говорил Фуше: «Вы предатель, герцог Отрантский; у меня есть тому неопровержимые доказательства». Лавалетта более всего поразило, что Наполеон был спокоен и что позже, зная об измене Фуше, о его тайных связях с Меттернихом, он не только не расстрелял его, но оставил на той же должности министра полиции[36].

Что-то изменилось в характере, в поведении, даже во внешнем облике Наполеона. Внешне он, казалось, стал более спокоен, более сдержан. Исчезли прежняя резкость, динамичность. Но вместе с ними исчезла — или так только казалось? — подавлявшая собеседников напористость непреклонной воли, непоколебимая самоуверенность, вера в свою звезду.

И все-таки при всех колебаниях, при всех сомнениях Наполеона в мае — июне 1815 года он принял наконец решение: идти навстречу противнику. Армии неприятеля должны были быть разбиты по частям в Бельгии, на подступах к Брюсселю.

10 июня вечером, накануне отъезда в армию, Наполеон ужинал с немногими близкими ему — Гортензией, братьями, генералом Бертраном и его женой. Наполеон был совершенно спокоен, даже весел. Разговор шел преимущественно о литературе; то была тема, всегда его увлекавшая, и вечер прошел непринужденно и незаметно. О будущем не говорили; лишь прощаясь с женой генерала Бертрана, Наполеон шепотом сказал ей: «Будет хорошо, если мы не пожалеем о нашем острове Эльба».

11-го утром он выехал в армию. 15 июня французская армия перешла Самбру у Шарлеруа и появилась там, где ее никто не ждал. План Наполеона заключался

в том, чтобы разъединить прусскую армию Блюхера и англо-голландскую армию под командованием Веллингтона и разгромить их по очереди. Кампания началась успешно. 16 июня Ней по приказу Наполеона атаковал англичан у Карт-Бра и нанес им поражение. Но Ней действовал медлительно и вяло и дал англичанам уйти. В тот же день при Линьи Наполеон нанес тяжелое поражение армии Блюхера, но у него не хватило сил, чтобы полностью ее уничтожить. Дабы избежать соединения остатков армии Блюхера с Веллингтоном и полностью вывести прусскую армию из борьбы, Наполеон приказал маршалу Груши с тридцатью пятью тысячами солдат преследовать по пятам Блюхера.

Хотя оба сражения не дали Наполеону полной победы, он был доволен началом кампании. Противник потерпел дважды поражение, и французская армия прочно удерживала инициативу в своих руках.

Считая пруссаков Блюхера уже побежденными, Наполеон двинулся главными силами против Веллингтона, окопавшегося возле селения Ватерлоо. 17 июня разразилась гроза огромной силы, сопровождаемая проливным дождем. Все дороги размыло. Люди, лошади вязли в раскисшей земле. Атака в таких условиях была невозможной. Наполеон дал армии день передышки. Сам он ночевал в замке возле Флерюса — название, навсегда вошедшее в историю Франции как напоминание о величайшей победе, одержанной в июне 1794 года. В этом вынужденном случайными обстоятельствами ночлеге у Флерюса Наполеон видел доброе предзнаменование.

Восемнадцатого утром дождь перестал. Наполеон дал приказ начать сражение против армии Веллингтона. «Последние солдаты последней войны» начали в одиннадцать часов утра атаку позиций противника.

В обширной литературе, посвященной историческому сражению под Ватерлоо[37], тщательно взвешиваются и анализируются все ошибки, допущенные Наполеоном в сражении. Действительно, если сражение было проиграно, то, естественно, проигравшей стороной были допущены ошибки. Некоторые из них вполне очевидны. Ошибки были допущены Неем, не сумевшим достичь успеха при неоднократных атаках высоты Сен-Жан, где прочно укрепился Веллингтон. Фатальную ошибку допустил Груши. Преследуя пруссаков, он не заметил, как

основные силы Блюхера оторвались от него и пошли на соединение с Веллингтоном. Он сбился с пути и шел по пятам небольшого отряда Тильмана, ошибочно полагая, что он преследует Блюхера. Даже когда корпус Груши услышал звуки канонады сражения при Ватерлоо, вопреки настояниям своих старших офицеров Груши, выполняя букву приказа, продолжал следовать прежним неверным курсом, удалявшим его от места решающего сражения. Ошибки допустил Сульт, плохо справлявшийся с обязанностями начальника штаба. В разгар битвы Наполеон, тщетно ожидавший подхода корпуса Груши, спросил Сульта: «Вы послали гонцов к Груши?» «Я послал одного»,— ответил Сульт. «Милостивый государь,— с негодованием воскликнул Наполеон,— Бертье послал бы сто гонцов!»

Битва при Ватерлоо была как бы повторением сражения при Маренго, но в перевернутом виде и с несчастным исходом. Военный перевес был на стороне французов, дравшихся с крайним ожесточением. Все слышали, как Ней крикнул Друэ д'Эрлону: «Держись, дружок! Если мы здесь не умрем, то меня с тобой завтра повесят эмигранты». Атаки конницы Нея были сокрушительны.

Веллингтон не был военным гением, как его позднее изображали. Маркс с должным основанием говорил о нем как о посредственности. Но у него была бульдожья хватка. Он вгрызся в землю, и его было трудно вышибить с занятых им позиций. Все же французы уже повсеместно брали верх и уже почти достигли победы, когда на правом крыле показалась быстро двигавшаяся масса солдат.

Наполеон впервые после нескольких часов этой небывало напряженной битвы почувствовал облегчение. Он давно уже вглядывался на восток, с минуты на минуту ожидая корпус Груши, который, подобно Дезе, должен был подоспеть в последнюю минуту и обеспечить решающий перелом в сражении.

Но то были не полки Груши. На правый фланг французских войск ударила армия Блюхера. Сбитые с толку, деморализованные неожиданным ударом с флангов в момент, когда ожидали поддержку, французские полки дрогнули и откатились. Отступление превратилось в бегство. Кто-то крикнул: «Спасайся, кто может!» И этот лозунг паники довершил деморализа-

цию войск. Управление боем было потеряно. Армия в беспорядке бежала с поля боя. Тщетно Ней с искаженным лицом бросался на коне на врага. «Смотрите, как умирают маршалы Франции!» — воскликнул Ней. Но пули его обходили, и смерть бежала от него. Под ним было убито пять лошадей, а он остался невредим.

Перешедшие в контрнаступление англичане и пруссаки преследовали и добивали разбегавшуюся французскую армию. Разгром был полным. Только старая гвардия под командованием Камбронна, построившись в каре, в строгом порядке, спокойно, как всесокрушающий таран, прокладывала себе дорогу сквозь неприятельские ряды. Английский полковник Хельнетт, восхищенный твердостью и героизмом этих железных людей, предложил гвардии почетные условия сдачи. Тогда Камбронн произнес свою знаменитую фразу, вошедшую навсегда в летописи истории: «Merde! Дерьмо! Гвардия умирает, но не сдается».

И сквозь бушующее море огня, грохот орудий, стоны раненых, под убийственным огнем противника старая гвардия все тем же мерным, неторопливым шагом, ровными рядами каре прошла через расступавшиеся перед нею линии вражеских войск.

Спустилась поздняя ночь. Битва под Ватерлоо закончилась. Армия Наполеона была разгромлена.

21 июня Наполеон возвратился в Париж. Всю дорогу в карете он был в дремотном состоянии. Иногда он просыпался, смотрел в окно, оглядывал, не узнавая, местность и снова засыпал. Он чувствовал себя нездоровым, испытывал сильные боли в желудке, его постоянно клонило ко сну.

В Париже он поехал не в Тюильри, где его всегда ждали, а в пустой, безлюдный Елисейский дворец. Приехав, он приказал приготовить горячую ванну, «горячую, как только можно терпеть». После ванны сонливость прошла; к нему вернулись хладнокровие, спокойствие, энергия.

Сражение под Ватерлоо было проиграно, это было бесспорно. Но проиграна ли была война? Она лишь только начиналась[38], и все еще можно было переиграть, все еще могло пойти иначе. Разве в 1792—1793 годах положение на фронтах не складывалось много хуже? И что же? Поражения были лишь преддверием побед.

«Ганнибал у ворот». Враг находится на расстоянии восьми дней перехода от Парижа. Что сделано для спасения родины? Он обрушил эти вопросы на Лавалетта, старого, верного Лавалетта, одного из немногих, кому он еще доверял и кого захотел сразу же увидеть. Лавалетт был последним, кто уцелел из «когорты Бонапарти» 1796 года.

«Я их так приучил к великим победам, что они не знают, как пережить один день неудачи. Что станет с бедною Францией? Я делал для нее все, что мог»[39] — этими словами он встретил Лавалетта. Наполеон был готов продолжать борьбу. Но он был уже предан в 1814 году в Париже. И он должен знать, на что он может рассчитывать сегодня, на другой день после Ватерлоо. В 1814 году человеком, сыгравшим зловещую, губительную роль, был Талейран. Кто заменит его в июне 1815 года? Впрочем, не надо было спрашивать, ответ напрашивался сам собой: он почти зрительно видел узкую, подвижную, как бы расплывавшуюся тень Фуше.

Лавалетт не мог, не захотел скрыть от императора настроений, царивших в палате депутатов и палате пэров. Фуше сделал все, что мог; всюду, куда он ступал, он сеял ядовитую поросль неверия, сомнений, готовности к измене. Как всегда прячась в тени, он выдвинул на первый план Лафайета. Палаты поклялись спасать свободу, тогда как требования момента диктовали спасение отечества.

Наполеон сразу же понял смысл этих маневров, и Лавалетт не хотел ничего смягчать — большинство палат по разным мотивам ждало его отречения. Фуше шептал каждому на ухо: «Мы все погибнем вместе с ним»; он заразил всех депутатов стадным чувством страха. Корабль идет ко дну; спасти его можно, освободившись немедленно от груза, тянущего ко дну. Не задумываясь над завтрашним днем, потеряв способность трезвой оценки положения, депутаты нетерпеливо требовали отречения. По предложению Лафайета, подсказанному Фуше, палаты объявили свои заседания непрерывными, косвенно угрожая императору и предрешая его подчинение их воле.

Наполеон принял все услышанное спокойно, почти равнодушно. Он не проявил даже ни раздражения, ни негодования поведением Фуше. Его это как бы не трогало. Много позже, на острове Святой Елены, он сказал:

«Если бы я в свое время повесил Талейрана и Фуше, я бы еще оставался на троне». В июне 1815 года он не сказал и этого. Со стороны могло показаться, что все совершающееся вокруг мало трогает его, что для самого себя он уже решил что-то главное и ему остается лишь доигрывать роль до конца.

Народ оказался выше тех, кто называл себя его представителями. Весь следующий день с утра к Елисейскому дворцу одна за другой являлись депутации народа: рабочие Сент-Антуанского предместья, рабочие предместья Сен-Марсо, простые люди со всех окраин столицы, народ Парижа. Трудовой люд Франции шел к Елисейскому дворцу, чтобы воспрепятствовать отречению Наполеона: он видел в нем последнее, что осталось от революции, и готов был его поддерживать и защищать. Улицы Парижа оглашались возгласами: «Да здравствует император! Долой Бурбонов! Долой аристократию и попов!»

Лазар Карно 21 июня предложил в палате пэров чрезвычайные меры: провозгласить отечество в опасности и учредить на время диктатуру; в грозный для Франции час он с полным доверием протягивал руку Наполеону. То, что предлагал Карно, означало возврат к политике Комитета общественного спасения с Бонапартом вместо погибшего Робеспьера во главе.

Ни требования народа Парижа, ни предложения Карно не были поддержаны ни представителями законодательных учреждений, ни самим Наполеоном.

С расстояния полутораста лет, спокойно, трезво оценивая ситуацию, сложившуюся во Франции в июне 1815 года, можно ответить на вопрос, так волновавший участников тех бурных событий: возможно ли было после Ватерлоо продолжение борьбы против могущественной коалиции европейских держав, навязывавших Франции Бурбонов, ютившихся в их обозе?

Я видел поле Ватерлоо, бескрайний зеленый ковыль, колеблемый ветром, и высокий холм Сен-Жан, и каменную лестницу с бессчетными рядами ступенек, ведущих к вершине, и на гребне холма скульптурное изображение грозного британского льва — символ британской победы. Внизу, у подножия холма, в кафе «Ватерлоо», немногочисленные туристы пили: кто — джин, кто — прозрачное легкое бельгийское пиво; здесь бойко шла торговля сувенирами — перочинными но-

жами, пепельницами, чашками; на всех был изображен золотой свирепый британский лев, торжествующий победу. Англия выиграла последнее, решающее сражение; британский лев сокрушил наполеоновского орла — в этом смысл символической скульптуры на вершине холма Сен-Жан.

Но ведь в подлинной истории, истории возвышения и падения Наполеона, действовали иные силы. Путь к Ватерлоо шел от Бородина. Падение наполеоновской империи было предрешено, когда против него поднялся народ, вставший на защиту своей независимости. И в 1815 году, как и раньше, судьба Наполеона в конечном счете зависела от народа. На поставленный выше вопрос можно и должно ответить со всей ясностью. Да, конечно, продолжение борьбы и после Ватерлоо было вполне возможно, и эта борьба могла бы иметь шансы на успех. Но лишь при одном условии: если бы это была народная война, революционная война, поддерживаемая всем народом и осуществленная революционными методами, если бы 1815 год мог стать своего рода повторением 1793 года.

Французский народ или, скажем осторожнее, передовые люди французского народа были готовы в 1815 году сплотиться вокруг Наполеона и начать справедливую, освободительную войну против иностранных интервентов, навязывавших Франции ненавистную власть Бурбонов. Такая война имела бы шансы на успех потому, что она отвечала бы жизненным интересам французского народа: народ, и прежде всего крестьянство, защищал бы в этой войне свою землю, все завоеванное за годы революции от посягательств помещиков, реэмигрантов, церковников.

Но Наполеон Бонапарт — и в этом сказывались закономерности истории — в 1815 году не мог уже вести революционную, освободительную войну по образу 1793 года. Он сам был в дни своей молодости, в дни «Ужина в Бокере» и дружбы с Огюстеном Робеспьером, якобинцем. Но за минувшие двадцать два года был пройден большой и долгий путь, изменилось столь многое, что император Наполеон I уже не мог и не хотел быть ни императором жакерии, ни императором якобинцев, ни императором революционной войны. Отвергнув революционную войну, Наполеон исключал продолжение борьбы.

Выбора не было. Иного пути не было дано. Не споря, не пререкаясь по частностям, он подписал акт отречения в пользу своего сына Наполеона II. Но ведь и сына не было с ним, и не в его власти, не в его возможностях было что-либо изменить в судьбе мальчика, складывавшейся так несчастливо.

Несколько дней он еще пробыл в Елисейском дворце. Огромный дворец был пуст; он медленно ходил из комнаты в комнату, прислушивался к гулу неторопливых, одиноких шагов. Наверно, он думал во время этих долгих прогулок по безлюдному дворцу о минувшем времени, о прошедшей жизни.

В утренние часы он навестил Гортензию в Мальмезоне. Разговор шел только о ее матери — о Жозефине. Он спрашивал, как она жила последнее время, без него, трудно ли ей было? О сегодняшнем дне, о завтрашнем не говорили. Потом он прошелся один по парку, посидел на хорошо знакомой ему скамейке под платаном. Был снова июнь, неповторимая пора начала лета.

Может быть, он думал о том, что по случайному, по странному совпадению солнечный, зеленый июнь был в его жизни всегда самой важной порой. Июнь 1796 года — время решающих побед в Италии; июнь 1800 года — Маренго; июнь 1807 года — счастливые дни Тильзита; июнь 1812 года — начало рокового похода и вот последний июнь — июнь Ватерлоо, он его провожает на скамейке парка в Мальмезоне.

Уходя из парка, он, наверно, бросил последний взгляд на молодой, пышно цветущий кедр — кедр Маренго; он был посажен 15 лет назад маленьким деревцом — на память о счастливом дне 14 июня 1800 года. Все тогда еще начиналось...

Дерево это и сейчас стоит в парке Мальмезона; ему без малого двести лет; я видел его зимой 1973 года без листвы, темным. Огромное, разросшееся дерево, с могучим, в четыре обхвата, стволом, снизу замшелым, частью потерявшим кору, с разветвленными гигантскими сучьями, тянущимися к небу, оно высится одиноким великаном среди ровных молодых деревьев как напоминание о далеком, давно отшумевшем времени.

Он возвратился снова в Елисейский дворец, в безмолвие пустынных комнат. К нему никто не приходил, кроме Лавалетта; бывший император, кому он теперь нужен? Он ходил молча по комнатам, у него было вре-

мя обдумывать минувшее. Но вскоре к нему пришли. В неловких выражениях, сбивчиво ему дали понять, что присутствие бывшего императора во дворце создает некоторые трудности, что временное правительство стеснено в своих действиях, что...

Не надо было продолжать, все было понятно. С Парижем все покончено. Он выехал в Рошфор, к морю.

А что же дальше? Куда же ехать? На этой огромной, бескрайней земле он не находил себе места. В Австрию? В Пруссию? В Россию? В Италию? Нет, нет, нет! Он не хотел быть пленником этих монархов. В Соединенные Штаты Америки, как советовали его братья? Тоже нет. Но и во Франции нельзя оставаться ни часу. Завтра он будет пленником Бурбонов. Тогда он принял решение, неожиданное и дерзкое, как он это часто делал в своей жизни, самое невероятное из всех возможных решений. Он решил доверить свою судьбу самому непримиримому, самому беспощадному своему врагу — Англии. «Как Фемистокл, я ищу приюта у очага британского народа»,— писал он в письме принцу-регенту, датированном 13 июля 1815 года в Рошфоре.

В субботу 15 июля 1815 года, в утренний час, когда солнце уже высоко поднялось на небе, Наполеон вышел на берег, с тем чтобы на бриге «Ястреб» добраться до английского корабля «Беллерофонт», стоявшего на рейде. Все было кончено. Игра была завершена. «Finita la comedia» — так говорили на родном ему итальянском языке. «La comedia»? Но о чем идет речь? «La divina comedia» Данте осталась в прошлом; «La comédie humaine» — «Человеческая комедия» Бальзака еще не была создана. Герой этого повествования Наполеон Бонапарт явился в мир на рубеже двух эпох, чтобы сыграть роль, которую нельзя было ни исправить, ни изменить.

Сопровождавшие его люди, описавшие жизнь этого необыкновенного человека, отмечали, что перед тем, как подняться по трапу на покачивающийся на зыбкой волне бриг, Наполеон Бонапарт в последний раз оглянулся, бросил взгляд назад. Что он увидел? Высокое синее небо, яркую зелень травы, легкий голубоватый дымок, подымавшийся над крестьянскими домиками прибрежной деревни. Это и была Франция, его жизнь.

Он повернулся и сделал решительный шаг вперед — шаг по дороге, уводящей в никуда, шаг в небытие.

Эпилог

Великий полководец, знаменитый государственный деятель, человек необыкновенной судьбы Наполеон Бонапарт сошел с исторической сцены в июле 1815 года.

Шесть лет после этого на затерянном в океане скалистом острове еще теплилась жизнь человека, пережившего свою славу. Это была растянувшаяся на долгие месяцы агония узника, обреченного на медленную смерть. Английское правительство, на великодушие которого рассчитывал Наполеон, не оправдало его ожиданий. Оно поставило своего пленника в тяжелые и унизительные условия мелочной и придирчивой опеки, отравлявшей последние годы его жизни. В эти долгие дни испытаний и несчастья он показал мужество и твердость духа, заставившие забыть о многих его прежних преступлениях.

Оторванный от страны, с которой столько его связывало, от всего мира, он жадно прислушивался к голосам, доходившим с далекой от него земли, на которую он никогда не вернется. Он смог убедиться в том, как ошибочны были расчеты тех, кто надеялся, избавившись от него, перехитрить историю и не допустить возвращения Бурбонов. Они были вновь посажены на престол штыками иностранных интервентов, и их вторичное возвращение знаменовало начало мстительной, злобной расправы со всеми, кто их не хотел. После того как был расстрелян Мишель Ней — расстреляна слава Франции! — все поняли, что наступает глухая пора беспощадной, не останавливающейся ни перед чем реакции. Маршал Брюн был убит в Авиньоне без суда. Генерал Рамель был убит в Тулузе, генерал Лагард — в Ниме. Наступило время белого террора. Карно, Друэ д'Эрлон, Лаллеманы спаслись бегством за границу. Даже человек, больше других содействовавший возвращению Бурбонов, Жозеф Фуше, несмотря на все старания, все вероломство и предательство, должен был умереть в изгнании в Триесте, всеми отвергнутый и забытый. Рассказывали, что, когда его хоронили, неожиданно поднялась буря необыкновенной силы; вихри ветра, ливень смели гроб Фуше с катафалка на мосто-

вую, и останки герцога Отрантского в гробу долго еще швыряла из стороны в сторону разбушевавшаяся стихия.

Но узника на острове Святой Елены это уже не трогало. Его дни были сочтены, и он торопливо диктовал свои воспоминания — пристрастные, личные, порой неточные, но которые — он был в том уверен — будут прочитаны всеми последующими поколениями. Он теперь осознавал и отчетливо видел допущенные им ошибки — не все, но некоторые. Одной из главных своих ошибок, имевших для него фатальные последствия, он признал войну против России. Многое он понимал теперь иначе, чем в дни кипучей жизни. Но было уже поздно. 5 мая 1821 [1]года он умер; ему был пятьдесят один год.

Уже в последние годы жизни — годы заточения на острове Святой Елены — его имя в противопоставлении с мелкими низостями и преступлениями власти Бурбонов, беспощадной политической реакцией и мракобесием Священного союза стало обрастать легендами.

Пушкин в стихотворении «Наполеон», написанном в 1821 году, не забывая о том, что «до последней все обиды отплачены тебе, тиран», все же заканчивал его так:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал[1].

Эти последние строки заслуживают особого внимания. В глухую пору аракчеевщины, в преддекабрьское время Наполеон представлялся Пушкину как имя, связанное с борьбой за свободу. По сходным мотивам, как антитезу Бурбонам, Меттерниху, Кестльри, неаполитанским Бурбонам, Наполеона прославляли Байрон и Мицкевич, Стендаль и Беранже, Генрих Гейне и Михаил Лермонтов.

Но время шло, вчера еще кипевшие страсти остывали, и им на смену шли иные споры; жизнь ставила новые задачи; и то, что для поколения первой половины девятнадцатого столетия еще представлялось полити-

ческой злободневностью, для следующих поколений стало уже далекой историей.

С расстояния в сто пятьдесят — сто восемьдесят лет голоса минувшей эпохи доходят до нас приглушеннее. Но историк, восстанавливающий картину давно ушедшего времени и его героев, уже свободен от пристрастий и предубежденности ушедшей эпохи; проверенные строгой мерой времени исторические явления и исторические герои обретают свои истинные размеры; история каждому отводит свое место.

Наполеон Бонапарт с этого дальнего расстояния предстает во всей своей противоречивости. Он воспринимается прежде всего как сын своего времени — переломной эпохи, эпохи перехода от старого, феодального мира к новому, шедшему ему на смену буржуазному обществу. Его исторический образ воплотил все противоречия той поры. Его имя ассоциируется с безмерным честолюбием, с деспотической властью, с жестокими и кровавыми войнами, с ненасытной жаждой завоеваний, оно рождает в памяти ужасы Сарагосы, ограбление порабощенной Германии, вторжение в Россию. Но оно же напоминает о смелости и отваге, проявленных в сражениях при Монтенотте, Арколе, Лоди, о таланте, умевшем дерзать, о государственном деятеле, нанесшем сокрушающие удары старой, феодальной, рутинной Европе.

Наверно, будет правильно сказать, что Наполеон Бонапарт был одним из самых выдающихся представителей буржуазии в пору, когда она была еще молодым, смелым, восходящим классом, что он наиболее полно воплотил все присущие ей тогда сильные черты и все свойственные ей даже на ранней стадии пороки и недостатки.

Представляется вполне очевидным, что все наиболее значительные успехи Наполеона Бонапарта были достигнуты им на первом, начальном этапе его деятельности, когда он еще опирался на передовые социальные силы и когда в основном, в главном выполняемая им роль на сцене европейской и мировой политики объективно была в той или иной мере прогрессивной. Тулон, Монтенотте, Лоди, Риволи, Маренго, даже Иена — сражения, навсегда прославившие его имя: то были удары огромной силы, наносимые старому, феодальному миру,

его исторически реакционным учреждениям, рутинным взглядам, обветшалым концепциям и канонам.

До тех пор пока в действиях Наполеона Бонапарта, несмотря на возраставшие с каждым годом наслоения, элементы прогрессивного оставались преобладающими, удачи, победы сопутствовали ему. Когда же наполеоновские войны, полностью утратив свойственные им ранее, несмотря на их завоевательный характер, элементы прогрессивного, превратились в чисто захватнические, империалистические войны, несшие народам Европы порабощение и гнет, тогда никакие личные дарования Наполеона, ни огромные усилия, прилагаемые им, не могли уже принести победу. Он с неотвратимостью шел к крушению своей империи и личному своему крушению. Его восхождение и его падение были вполне закономерны.

Наполеон Бонапарт был сыном своего времени и запечатлел в своем образе черты своей эпохи. Все последующие деятели буржуазии, претендовавшие на роль Наполеона, отражая историческую эволюцию класса, который они представляли, мельчали, вырождались в злую пародию или карикатуру на образ, который они пытались имитировать.

Иная эпоха, иные проблемы, другие герои привлекают ныне внимание. Жизнь идет вперед и ставит новые задачи, неизмеримо более величественные и грандиозные. Неистовый корсиканец, волновавший когда-то умы и сердца, отодвинут в далекое прошлое. В Париже, в Доме Инвалидов, перед склепом Наполеона при всем его языческом великолепии теперь малолюдно; здесь слышна нефранцузская речь — то иностранцы, изучающие достопримечательности столицы, считают долгом посетить и могилу императора. Вечером на бульваре Мадлен, когда зажигаются огни, на золотом фоне витража возникает знакомый, резко очерченный черный силуэт в треугольной шляпе. Увы, то лишь одно из рекламных объявлений. Все проходит...

И все-таки из летописей истории не вычеркнуть имени Наполеона Бонапарта. В 1969 году был отмечен его двухсотлетний юбилей: сотни книг и статей, конгрессы, конференции, телепередачи — и снова споры. Общественный интерес к человеку, полководцу, государственному деятелю давно минувшего времени все еще велик.

О чем же спорят? Одни хулят и клянут Бонапарта, другие возносят хвалу, третьи стараются найти объяснение противоречивости жизненного пути, столь непохожего на все остальные. Впрочем, сколь резко ни различаются мнения, все сходятся на том, что то был человек неповторимой, удивительной судьбы, навсегда запечатлевшейся в памяти поколений.

Примечания

От автора

[1] *Стендаль.* Собр. соч. в пятнадцати томах, т. 11. М., 1959, стр. 5.

Под знаменем идей Просвещения

[1] *Жан-Жак Руссо.* Избр. соч., т. III. М., 1961, стр. 331.

[2] См. *Д. И. Фонвизин.* Собр. соч., т. II. М.— Л., 1959, стр. 440—449.

[3] *J. Proust.* Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1962, p. 81.

[4] См. *В. П. Волгин.* Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1958; *J. Ehrard.* L'idée de nature en France dans la première moitiè du XVIII s., t. I—II. Paris, 1963; *R. Mauzi.* L'idée du bonheur au 18 siècle. Paris, 1960.

[5] *D. Mornet.* Les origines intellectuelles de la Révolution française. Paris, 1947; *F. Rocquain.* L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. 1715—1789. Paris, 1878.

[6] *Жан-Жак Руссо.* Эмиль. М., 1896, стр. 255.

[7] Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d'état sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, I'Empire et la Restauration (далее — *Bourrienne.* Mémoires), t. I. Paris, 1830, p. 30—40; *A. Assier.* Napoléon I à l'école royale militaire de Brienne. Paris, 187 4; *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Napoléon inconnu. Papiers inédits, t. I. Paris, 1895.

[8] *Roi Joseph.* Mémoires et correspondance politique... publiés par A. du Casse, t. I. Paris, 1853, p. 32.

[9] Этот период жизни Бонапарта лучше всего освещен в работах: *De Coston.* Biographie des premières années de Napoléon, t. I—II. Paris — Valense, 1840; *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. I—III. Paris, 1897—1899; *Georges-Roux.* Monsieur de Buonaparte. Paris, 1964; *J. Godechot.* La jeunesse de Bonaparte.— «Napoléon et l'empire» sous la direction de Jean Mistler (далее — *Mistler*), t. I. Paris, 1968.

[10] *Coston.* Op. cit., t. I, p. 30.

[11] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. I, p. 141—144; «Nouvelle Corse»; «Lettres sur la Corse à M. l'abbé Raynal»; «Lettre à Matteo Buttafuoco».— Ibid., t. II, p. 75—83, 127—179, 180—194.

[12] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. I, p. 145. Массон приводит дату — 1787 год; по-видимому, это ошибка и следует читать «1786».

[13] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. I, p. 146.

[14] *Стендаль.* Жизнь Наполеона. Воспоминания о Наполеоне.— Собр. соч., т. 11.

[15] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. I (Brienne), p. 494; t. II (la Révolution), p. 388; t. III (Toulon), p. 332; *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I—XVI. Paris, 1937—1954.

[16] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 12, 299.

[17] *Bourrienne.* Mémoires, t. I, p. 33.

[18] *Coston.* Op. cit., t. I, p. 86; *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. I, p. 138.

[19] *Roi Joseph.* Mémoires, t. I, p. 32.

[20] «Notes tirées du Mémoire de M. le marquis de Vallière...»; «Principes d'Artillerie»; «Traité concernant l'histoire de l'artillerie»; «Mémoires

sur la manière de disposer les canons pour le jet de bombes».— *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I, p. 241—248, 249, 278.

[21] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I, p. 285—314, 315—334; t. II, p. 1—16, 216—225, 253—257.

[22] Ibid., t. I, p. 293.

[23] «Dialogue sur l'amour».— *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 282.

[24] Начало этому было положено тридцатидвухтомным изданием: *Napoléon I*. Correspondance (далее — Corr.), t. 1—32. Paris, 1858—1870. Из этого издания, осуществлявшегося под руководством Наполеона III, были полностью исключены все материалы Бонапарта до 1795 года, то есть все его политические, философские и литературные произведения.

[25] Основными изданиями, в которых собраны собственно литературные произведения Бонапарта, остаются: *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit.; *Fr. Masson*. Napoléon. Manuscrits inédits. Paris, 1908; *S. Ascenazy*. Manuscrits de Napoléon (1793—1795) en Pologne. Varsovie, 1929; роман «Glisson et Eugénie», являющийся в значительной мере автобиографическим (в его основу положено увлечение молодого Бонапарта Дезире Клари), был обнаружен в 1920 году в Вене. Он был опубликован, но не полностью, позднее перепечатывался.

[26] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I, p. 122.

[27] «Lettre de N. Buonaparte à M. Matteo Buttafuoco, député de la Corse à L'Assemblée Nationale».— *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 180—193.

[28] «Le souper de Beaucaire», 1793. Массон, ссылаясь на изыскания Шарве, указывает, что в 1793 году вышло два разных издания «Le souper de Beaucaire», а в 1821 году — первое переиздание (есть в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина), текст см.: *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 479—497.

[29] «Le comte d'Essex, nouvelle anglaise».— *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I, p. 415—419; «Le masque prophète».— Ibid., t. II, p. 17—19.

[30] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I p. 67, 113—116; *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. I, p. 388—478.

[31] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 53.

[32] *F. G. Healey*. Rousseau et Napoléon. Genève — Paris, 1957. Автор справедливо подчеркивает большое влияние Руссо на юного Бонапарта.

[33] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I, p. 141.

[34] Ibid., p. 147—158.

[35] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 280—284; *F. G. Healey*. Op. cit.; *N. Tomiche*. Napoléon écrivain. Paris, 1952.

[36] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 282—283.

[37] Ibid., p. 282.

[38] Годшо (*Mistler*, t. I, p. 30) справедливо указывает, что Бонапарт излагал в этом несерьезном произведении «принципы века».

[39] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. I, p. 231.

[40] *Roi Joseph*. Mémoires, t. I, p. 32.

Солдат революции

J. Godechot. La prise de la Bastille 14 juillet 1789. Paris, 1965, p. 366—418; *A. Soboul*. 1789. L'An un de la Liberté. Paris, 1950, p. 147—172; «Révolutions de Paris» N 1, 25 juillet 1789 и др. (библиоте-

ка Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС располагает полным комплектом этой газеты).

[2] Цит. по: *Г. Ландауэр.* Письма о французской революции, т. 1. М., 1925, стр. 151.

[3] *J. Godechot.* La prise de la Bastille..., p. 319.

[4] *J. Bainville.* Napoléon. Paris, 1969, p. 28—29. Это одно из последних изданий; книга переиздавалась десятки раз.

[5] *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I, p. 70—71. В этой связи стоит напомнить, что одна из основных идей, красной нитью проходящих через шестнадцатитомное сочинение Мадлена, как раз и заключается в том, чтобы противопоставить Наполеона революции.

[6] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 33.

[7] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. I. p. 144.

[8] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. II, p. 54—59.

[9] *A. Decaux.* Létizia, mère de l'Empereur. Paris, 1949; *F. H. Larrey.* Madame Mère, t. 1—2. Paris, 1892.

[10] *Roi Joseph.* Mémoires, t. I, p. 36—44.

[11] Ibid., p. 37—39, 111—117.

[12] *Général Bertrand.* Cahiers de Sainte-Hélène. Journal 1818—1819. Manuscrit déchiffré et annoté par Paul Fleuriot de Langle. Paris, 1959, p. 142.

[13] *P. Ordioni.* Pozzo di Borgo, Diplomate de l'Europe française. Paris, 1935. Эта работа, хотя и апологетически освещает деятельность Поццо ди Борго и не свободна от фактических ошибок, имеет значение, так как автор использовал архив Поццо ди Борго.

[14] См. *А. И. Тургенев.* Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М., 1964, стр. 337.

[15] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 78—80.

[16] Полный текст адреса см. в кн.: *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. II, p. 90; см. также: *J. Marcaggi.* La génèse de Napoléon. Paris, 1902, p. 191—192.

[17] *J. Marcaggi.* Op. cit., p. 192—194.

[18] *Roi Joseph.* Mémoires, t. I, p. 46—47, 111—117; *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 92.

[19] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. II.

[20] Ibid., p. 64—66.

[21] *A. Saitta.* Filippo Buonarroti. Contributi alla storia della sua vita e del suo pensiero, v. 1—2. Roma, 1950—1951.

[22] *А. И. Тургенев.* Хроника русского, стр. 74—75.

[23] *Général Bertrand.* Cahiers de Sainte-Hélène, p. 225.

[24] *P. Arrighi.* Histoire de Corse. Paris, 1966, p. 98—100; *J. Marcaggi.* Op. cit., p. 194—214.

[25] *Roi Joseph.* Mémoires, t. I, p. 44; *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. II, p. 115—116; *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I, p. 115—116.

[26] *Roi Joseph.* Mémoires, t. I.

[27] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. II, p. 119, 122.

[28] Ibid., p. 118.

[29] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 101; полный текст письма Ферандиера дан Шюке в приложении (Ibid., p. 305—306) с ошибочно указанной датой — 26 декабря 1792 года вместо «1789».

[30] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 310—311; *P. Ordioni.* Op. cit.

[31] В этом полностью убеждает текст трактата «Le discours de

Lyon» (*Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 292—332), написанный, видимо, во второй половине 1791 года.

[32] «Lettre de N. Buonaparte à M. Matteo Buttafuoco, député da la Corse à l'Assemblée Nationale». Первое издание вышло в количестве ста с небольшим экземпляров в 1791 году и не сохранилось. Было переиздано в 1821 году и затем вновь опубликовано Фр. Массоном: *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 125—126, 180—193.

[33] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 196.

[34] Ibid., p. 199.

[35] Ibid., p. 201.

[36] *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 164.

[37] Ibid., p. 201—210.

[38] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 275—276.

[39] Ibid., p. 277—284.

[40] «Quelles verités et quels sentiments il importe le plus d'inculquer aux hommes pour leur bonheur?» — *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 292.

[41] Ibid., p. 314.

[42] *N. Tomiche*. Op. cit., p. 110—111. Автор справедливо отмечает, что в этой работе чувствуется также влияние Дидро и Кондильяка.

[43] *P. Ordioni*. Op. cit., p. 32—52; *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 244—295; t. III, p. 59—153.

[44] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 387.

[45] Ibid., p. 385—386.

[46] Ibid., p. 387, 389, 393.

[47] Бурьенн (Mémoires, t. I, p. 49) рассказывал, будто Наполеон обозвал короля нецензурным словом и неодобрительно отозвался также о народе.

[48] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 390, 394.

[49] Ibid., p. 439—441.

[50] Corr., t. 32, p. 381—383; *Las-Cases*. Le Mémorial de Sainte-Hélène (далее — *Las-Cases*. Mémorial), t. I. Paris, 1961, p. 681—682; *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. III, p. 131—147; *Georges-Roux*. Monsieur de Buonaparte, p. 155—158.

[51] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II.

[52] *M. Robespierre*. Oeuvres complètes, t. X. Paris, 1967, p. 353.

[53] Ibid., p. 274.

[54] *A. Maurois*. Napoléon. Paris, 1964, p. 16.

[55] *Fr. Masson* et *G. Biagi*. Op. cit., t. II, p. 489.

[56] Саличетти назначил его командиром батальона при штабе армии Юга (*Roi Joseph*. Mémoires, t. I, p. 54—55). В литературе указывалось на связи между Жозефом и Саличетти по франкмасонским ложам (*H. Fleischmann*. Napoléon et la Franc-Maçonnerie. Paris, 1908).

[57] Corr., t. 29, p. 5; *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 100—103.

[58] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 103.

[59] *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. III, p. 292.

[60] Corr., t. 29, p. 1—26; *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. III, p. 169—252; *Colin*. Formation militaire de Napoléon. Paris, 1900, p. 172—215; *P. Maurel*. Histoire de Toulon. Toulon, 1943.

[61] *A. Chuquet*. La jeunesse de Napoléon, t. III, p. 229.

[62] *Л. Н. Толстой*. Собр. соч. в двадцати томах, т. 4. М., 1961, стр. 219.

[63] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 109.

[64] Mémoires de duc de Raguse (далее — *Marmont*. Mémoires), t. I. Paris, 1856.

[65] *Gabriel Girod de l'Ain.* Désirée Clary. Paris, 1959. Эта работа заслуживает внимания, так как ее автор широко использует многие ранее неизвестные письма Бонапарта к Дезире Клари и ее письма к Бонапарту и Бернадоту, обнаруженные в 1948 году в фамильном архиве шведского королевского дома.

Генерал Директории

Archives Nationales, F^7, 4432, plaq. 6. Copie littérale des Délibérations du comité civil de la Section de Lombards... du 8 thermidor jusqu'à ce jour, p. 4.

[2] Archives Nationales, F^7, 4432, plaq. 6. Section des Gravilliers. Assemblée générale, p. 3.

[3] Archives Nationales, F^7, 4432, plaq. 3, p. 34 et suite Section du Mont-Blanc; plaque 2, la Section du Muséum.— Ibid., p. 14; Section du Bondy.— Ibid., pl. 32—35.

[4] *A. Mathiez.* Robespierre à la Commune le 9 thermidor; idem. La politique de Robespierre et le 9 thermidor expliqués par Buonarroti.— «Etudes sur Robespierre». Paris, 1958, p. 185—214, 251—280.

[5] Journal de la liberté de la presse» N 2, 19 fructidor, an II (5 sept. 1974); *G. Babeuf.* Textes choisis. Paris, 1965, p. 160—161; «Babeuf et les problèmes du babouvisme». Paris, 1963, p. 73—105.

[6] *Ф. Буонарроти.* Заговор во имя равенства, т. I. М., 1948, стр. 110.

[7] См. *К. П. Добролюбский.* Термидор. Одесса, 1949; *Е. В. Тарле.* Жерминаль и прериаль. М., 1957; *А. Матьез.* Термидорианская реакция, пер. с франц. М., 1931; *K. Tönesson.* La défaite des sansculottes. Mouvements populaires et réaction bourgeoisie en l'an III. Oslo — Paris, 1959.

[8] *R. Levasseur de la Sarthe.* Mémoires, t. III. Paris, 1831.

[9] *J. Reynaud.* Vie et correspondance de Merlin de Thionville; *M. A. Baudot.* Notes historiques sur la Convention Nationale. Paris, 1893, p. 144—145.

[10] *R. Levasseur de la Sarthe.* Mémoires, t. IV; *M. A. Baudot.* Notes historiques sur la Convention Nationale; *A. C. Thibaudeau.* Mémoires sur la Convention et le Directoire, t. I. Paris, 1829; *P. R. Choudieu.* Mémoires et Notes... Paris, 1897; *A. Aulard.* Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire. Recueil de documents, t. I. Paris, 1898.

[11] *P. R. Choudieu.* Mémoires, p. 292—295. Свидетельства Шудье, одного из самых чистых якобинцев, бесстрашного противника термидорианцев, особенно ценны для этого времени.

[12] *Gabriel Girod de l'Ain.* Op. cit., p. 66.

[13] *Roi Joseph.* Mémoires, t. I, p. 130.

[14] Ibid., p. 132 (в Corr., t. 1, p. 60 оно датировано 6 июля).

[15] Ibid., p. 79.

[16] *A. Castelot.* Bonaparte. Paris, 1967, p. 138.

[17] *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 56.

[18] *Coston.* Op. cit., t. II, p. 256.

[19] *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I, p. 307.

[20] *A. Kuscinski.* Dictionnaire des conventionneles. Paris, 1916, p. 372—373.

[21] *A. Aulard.* Actes du Comité de Salut public..., t. XV. Paris, 1905, p. 778.

[22] *Coston.* Op. cit., t. II, p. 285.

[23] *Gabriel Girod de l'Ain.* Op. cit., p. 41.

[24] Corr., t. 1, N 40, p. 59.

[25] Письмо к Жюно (12—19 августа 1794 года).— Corr., t. 1, N 35, p. 54; *Marmont*. Mémoires, t. I, p. 55.

[26] *Bourrienne*. Mémoires, t. I, p. 61—64.

[27] *A. Aulard*. Actes..., t. XVI, p. 327—328; *Bourrienne*. Mémoires, t. I, p. 65—66.

[28] *Bourrienne*. Mémoires, t. I, p. 66. Это прямо подтверждает и Мармон: «Саличетти был к нему дружествен и способствовал его освобождению» (*Marmont*. Mémoires, t. I, p. 54).

[29] *M. Reinhard*. Le grand Carnot, t. II. Paris, 1952, p. 161; *Colin*, Op. cit., t. I, p. 289.

[30] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. I, p. 309.

[31] Corr., t. 1, N 27, p. 33—41; N 30, p. 44—53.

[32] «Affiches placardées sur le murs de France pendant la période révolutionnaire 1789—1795 rassemblées par André Rossel». Paris, 1967, N 121.

[33] *Marmont*. Mémoires, t. I, p. 16—17.

[34] *Gabriel Girod de l'Ain*. Op. cit., p. 50.

[35] Corr., t. 1, N 42.

[36] *Duchesse d'Abrantès*. Mémoires ou Souvenirs historiques sur Napoléon..., t. I. Paris, 1831.

[37] Corr., t. 1, N 50—53, 57, 60, p. 71—80, 81—82, 83—85.

[38] *Comte de Pontécoulant*. Souvenirs historiques et parlementaires, t. I—IV. Paris, 1861—1865.

[39] Corr., t. 1, N 61, 63—72, p. 84—91.

[40] Ibid., N 65, p. 87.

[41] *A. Mathiez*. La révolution française, t. III. Paris, 1963, p. 163.

[42] *A. Kuscinski*. Op. cit., p. 577.

[43] *Général Bertrand*. Cahiers de Sainte-Hélène, t. II, p. 453.

[44] *A. Kuscinski*. Op. cit., p. 577.

[45] *Gabriel Girod de l'Ain*. Op. cit., p. 54—59.

[46] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 108—110, 780—781.

[47] Corr., t. 1, N 71, p. 90—91.

[48] *J. Godechot*. La grande Nation. L'expansion de la France dans le monde, 1789—1799. Paris, 1956; *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. V. Пер. с франц. СПб., 1905.

[49] *P. Bailleu*. Preussen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische Korrespondenzen. Bd I. Leipzig, 1880; текст договора см.: *A de Clercq*. Recueil des traités de la France, t. I. Paris, 1864, p. 232—236.

[50] *A. de Clercq*. Op. cit., t. I, p. 245—249.

[51] *L. Legrand*. La Révolution française en Hollande. La République Batave. Paris, 1894.

[52] Цит. по: *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. V, стр. 20.

[53] *A. Mathiez*. La réaction thermidorienne. Paris, 1929.

[54] *Montgaillard*. Mémoires concernant la trahison de Pichegru dans les années III et IV; *Pierret*. Pichegru, son procès, son suicide. Paris, 1826; *Ch. Cousin*. Histoire du général Pichegru. Paris, 1802.

[55] Corr., t. 29, p. 50.

[56] Лучшей работой о событиях в вандемьере остается монография Зиви (*H. Zivy*. Le 13 vendémiaire an IV. Paris, 1898). Воспоминания Наполеона о 13 вандемьера (Corr., t. 29, p. 48—60), как и все написанное им в изгнании, крайне неточны.

[57] Corr., t. 1, p. 91.

[58] *M. H. Weil.* I. Murat, roi de Naples, t. 1—5. Paris, 1909—1910; *I. Chavanon* et *G. Saint-Yves.* I. Murat. Paris, 1905 (2éd.); *I. P. Garnier.* Murat, roi de Naples. Paris, 1959; *S. Lucas-Dubreton.* Murat. Paris, 1944; *Angela Valente.* Gioacchino Murat e l'Italia meridionale. Turin, 1965 (2 éd.).

[59] «Mémoires du général baron Thiébault», t. I. Paris, 1894 (2éd.), p. 532, 533.

[60] *H. Zivy.* Op. cit., p. 85—96; Corr., t. 1, N 73, p. 91—94; t. 29, p. 53—55.

[61] *H. d'Estre.* Bonaparte. Les années obscures (1769—1795). Paris, 1942, p. 194. Автору этой работы нельзя отказать в знании предмета, но крайне правые взгляды придают его произведениям весьма тенденциозный характер.

[62] *E. Tersen.* Napoléon. Paris, 1959, p. 35.

[63] *H. Zivy.* Op. cit., p. 101—102; *P. Fleriot de Langle.* La Paoline, soeur de Napoléon. Paris, 1946; *B. Nabonne.* Pauline Bonaparte, la vénuse impériale. Paris, 1963.

[64] *Mistler,* t. I, p. 44.

[65] Corr., t. 1, N 74, p. 94, 96.

[66] *M. Reinhard.* Le grand Carnot, t. II, p. 200—202.

[67] *L. Goldsmith.* The Secret History of the Cabinet of Bonaparte (1810); *Jean Tulard.* L'Anti-Napoléon, la légende noire de l'Empereur. Paris, 1965, p. 52.

[68] *A. Aulard.* Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire..., t. II. Paris, 1889, p. 553.

[69] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 113.

[70] Corr., t. 1, N 83, p. 103—104.

[71] *M. Reinhard.* Le grand Carnot, t. II, p. 200—212; *F. Bouvier.* Bonaparte en Italie 1796. Paris, 1899.

Итальянский поход 1796—1797 годов

Napoléon I. Campagnes d'Italie (1796—1797).— Corr., t. 29, p. 81—89; К. Клаузевиц в книге «Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года» (М., 1938, стр. 9—10) приводит иные цифры, но он исходит из данных 1795 года. Наиболее точные подсчеты даны Бувье: *F. Bouvier.* Op. cit., p. 3—29.

[2] *Napoléon I.* Campagnes d'Italie.— Corr., t. 29, p. 61, 318; *К. Клаузевиц.* Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года; *Жомини.* Политическая и военная жизнь Наполеона, ч. I. СПб., 1844; *G. Fabry.* Histoire de l'armée d'Italie, t. 1—2. Paris, 1900—1901; *F. Bouvier.* Op. cit.; *J. Capitaine.* Etudes sur la campagne de 1796—1797 en Italie. Paris, 1898; *Colin.* Etude sur la campagne 1796—1797. Paris, 1898.

[3] *К. Клаузевиц.* Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года, стр. 14.

[4] *Napoléon I.* Campagnes d'Italie.— Corr., t. 29, p. 61; *F. Bouvier.* Op. cit., p. 184—206.

[5] Эту мысль не раз подчеркивал Энгельс (см., например, *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Соч., т. 7, стр. 513).

[6] *G. Ferrero.* Aventure. Bonaparte et Italie (1796—1797). Paris, 1936.

[7] *C. Huard.* Cambronne. Paris; *R. Valentin.* Le Maréchal Massena (1758—1817). Paris, 1960; *Général V. D. Derrécagaix.* Le Maréchal Berthier, t. 1—2. Paris, 1904—1905.

[8] *R. Valentin.* Op. cit., p. 72.

[9] *A. Chuquet.* La jeunesse de Napoléon, t. II, p. 12, 299.

[10] *Général Koch.* Notice sur la vie et les Campagnes de M. Massena.— «Mémoires de Massena...», t. I. Paris, 1848; *A. Augusten-Thierry.* Massena. Paris, 1947; *R. Valentin.* Op. cit.

[11] *Augustin Thierry.* Op. cit., p. 85—86.

[12] *Thiebault.* Mémoires, t. II, p. 29.

[13] *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 147.

[14] Corr., t. 29, p. 108; *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 149; *Thiébault.* Mémoires, t. II, p. 29; *R. Lehmann.* La vie extraordinaire de Pierre Augeraux... Lille, 1945.

[15] *L. Tuetey.* Un général de l'armée d'Italie, Sérurier. Paris, 1899.

[16] Архив внешней политики России (далее — АВПР). Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, Стакельберг Павлу I 22 июля — 2 августа 1797 г., л. 46. Все донесения и все документы АВПР, кроме оговоренных в примечаниях, на французском языке.

[17] *J. Tulard.* L'Anti-Napoléon. La légende noire de l'Empereur, p. 53.

[18] *G. Fabry.* Histoire d l'armée d'Italie, t. I—III; idem. Rapports historiques sur la campagne d'Italie. Paris, 1905; оба этих издания содержат много документов из Военного, Национального и других архивов Франции.

[19] *J. Godechot.* Les commissaires aux armées sous le Directoire, t. I—II. Paris, 1937. Это превосходное, основанное на богатейшем архивном материале исследование остается лучшей работой по этому вопросу.

[20] *Massena.* Mémoires, t. II, p. 11. Это, собственно, не мемуары, а изложение документальных материалов, изученных Кохом.

[21] Archives Nationales, 212 A. P. Buonarroti à Salicetti et Moltedo 24 pluviôse an II etc.

[22] *J. Godechot.* Les commissaires..., t. I, p. 259—261.

[23] *Napoléon I.* Campagnes d'Italie.— Corr., t. 29, p. 85; *Massena.* Mémoires, t. II, p. 24—29; *F. Bouvier.* Op. cit., p. 243—257.

[24] АВПР. Сношения с Австрией, 1796, дело № 849, депеши посла графа А. Разумовского 12(23) апреля 1796 г., л. 12.

[25] Corr., t. 29, p. 86.

[26] Ibid., p. 89—93; *R. Guyot.* Le Directoire et la paix de l'Europe. Paris, 1911, p. 164—166.

[27] АВПР. Сношения с Францией, 1796, дело № 519а. Симолин Остерману 29 апреля/10 мая 1796 г., л. 70.

[28] Corr., t. 1, N 234, p. 187; в Campagnes d'Italie (t. 29, p. 91—92) этот приказ дан с сокращениями.

[29] *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 314.

[30] *J. Godechot.* Les commissaires..., t. I, p. 269.

[31] *Massena.* Mémoires, t. II, p. 47.

[32] *Napoléon I.* Campagnes d'Italie.— Corr., t. 29, p. 84.

[33] *К. Клаузевиц.* Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года, стр. 62.

[34] Там же, стр. 63.

[35] Corr., t. 1, N 383, p. 262.

[36] *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 176—178; *Massena.* Mémoires, t. II, p. 66—70; Corr., t. 1, N 425, 437, p. 281, 285—286; *F. Bouvier.* Op. cit., p. 567—568.

[37] *Стендаль.* Собр. соч., т. 3, стр. 9.

[38] Corr., t. 29, p. 103—104.

[39] Corr., t. 1, N 437, p. 286; *R. Guyot.* Op. cit., p. 159—171.

[40] *J. Godechot.* Les commissaires..., t. I, p. 122, 128, 219—228.

АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 3 (14) января 1797 г., л. 5 об.

[42] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 31 мая/11 июня 1797 г., л. 75.

[43] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело №. 182, Моцениго Павлу I 21 октября 1797 г., л. 29.

[44] Corr., t. 1, N 453, p. 297.

[45] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 3 (14) января 1797 г., л. 6.

[46] АВПР. Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, реляции полномочного министра в Турине Стакельберга Павлу I 11 (22) июля/8 (19) августа 1797 г., л. 13—63; АВПР. Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, Стакельберг Павлу I 25 июля/5 августа 1797 г., л. 49.

[47] Это хорошо понимали современники. Сулковский видел в военных событиях 1796 года «торжество свободы над рабством» (*M. Reinhard.* Avec Bonaparte en Italie. D'après les lettres inédites de son aide de Camp. J. Sulkovski. Paris, 1946, p. 208).

[48] См. *К. Клаузевиц.* Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года, стр. 15 и др.

[49] Среди множества описаний сражений при Арколе и Риволи, видимо, самыми правдивыми являются письма Сулковского (*M. Reinhard.* Avec Bonaparte en Italie..., p. 176—183, 199—207).

[50] См. *Стендаль.* Собр. соч., т. 11, стр. 373.

[51] АВПР. Сношения с Тосканой, оп. 88/3, дело № 182, реляция гр. Моцениго Павлу I 2 (13) октября 1797 г., л. 13 об.

[52] *Général Derrécagaix.* Le Maréchal Berthier..., v. 1—2; *S. I. Watson.* By Command of the Emperor. A Life of Marshal Berthier. London, 1958.

[53] *M. Reinhard.* Avec Bonaparte en Italie...

[54] *Lavalette.* Mémoires et Souvenirs, t. 1—2. Paris, 1831.

[55] «Procès de M. Marie Chamans de Lavalette...». Paris, 1815; «Procèes du gén. sir Robert Wilson et autres compris dans l'accusation de m. de Lavalette». Paris, 1816 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).

[56] «Lettres de Napoléon à Joséphine pendant la première campagne d'Italie», t. I. Bruxelles, 1833.

[57] Corr., t. 1, N 366, p. 251.

[58] *Стендаль.* Собр. соч., т. 11, стр. 293.

[59] *Napoléon I.* Campagnes d'Italie.— Corr., t. 29; *F. Bouvier.* Op. cit.

[60] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, гр. Моцениго Остерману 21 февраля/4 марта 1797 г., л. 35.

[61] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 182, реляция гр. Моцениго Павлу I 2 (13) октября 1797 г., л. 13 об.

[62] *M. Reinhard.* Avec Bonaparte en Italie..., p. 25.

[63] *Napoléon I.* Campagnes d'Italie.— Corr., t. 29, p. 106—107.

[64] Corr., t. 1, N 420, p. 277—278.

[65] *F. Bouvier.* Op. cit., p. 607.

[66] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 30, стр. 5.

[67] *F. Bouvier.* Op. cit., p. 581—582.

[68] Corr., t. 1, N 453.

[69] Corr., t. 1, N 233, 253, 257.

[70] АВПР, 43/1338, IX, 1799—1800, из докладной записки Дюмурье Павлу I, л. 33.

[71] Corr., t. 2, N 1035, p. 13.

[72] Corr., t. 1, N 453, p. 297; N 493, p. 325; t. 2, N 1074, p. 40; N 1258, p. 157 etc.

[73] *A. Franchetti.* Storia d'Italia del 1789 al 1799. Milano, 1878; *Д. Канделоро.* История современной Италии, т. I. М., 1958.

[74] Corr., t. 2, N 1095, p. 58—59.

[75] Corr., t. 2, N 1101, p. 64; N 1114, p. 75.

[76] Ibid., p. 65.

[77] См. *Ф. Буонарроти.* Заговор во имя равенства, т. II; *C. Mazauric.* Babeuf et la Conspiration pour l'Egalité. Paris, 1962.

[78] *M. Reinhard.* Le grand Carnot, t. II, p. 212—215.

[79] Archives Nationales, 212 A. P. Президент Директории Карно в письме к Саличетти от 23 мессидора IV года (11 июля 1796 года), признавая, что заговорщики рассчитывали на поддержку Саличетти, тем не менее выражает ему полное доверие Директории.

[80] Corr., t. 29, p. 211.

[81] См. *К. Клаузевиц.* Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года, стр. 160—168; Corr., t. 29, p. 210—212; *Massena.* Mémoires, t. II, p. 268—316.

[82] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 13 (24) января 1797 г., л. 22.

[83] АВПР. Сношения с Францией, 1797, дело № 522, Симолин Остерману 10 (21) февраля 1797 г., л. 22.

[84] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 13 (24) января 1797 г., л. 22 об.

[85] Corr., t. 29, p. 214—219.

[86] *P. Barras.* Mémoires, t. II, p. 318.

[87] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 7 (18) февраля 1797 г., л. 27.

[88] Corr., t. 29, p. 229—230; Corr., t. 2, N 1511, p. 344—347.

[89] Corr., t. 2, N 1510, p. 342.

[90] *Miot de Melito.* Mémoires, t. I. Paris, 1858, p. 131—133; Corr., t. 2, N 1096—1097, p. 58—62; *D. Diani.* La Corse française sous l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire.— «Corse action», 1968, N 35, p. 90—91.

[91] *D. Diani.* Op. cit., p. 91—92.

[92] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 182, реляция Моцениго Павлу I 15 (26) декабря 1797 г., л. 65.

[93] Там же, л. 65 об., 66.

[94] АВПР. Сношения с Тосканой, 1798, дело № 195, дешифрованная реляция Моцениго Павлу I 6 (17) ноября 1798 г. на русском языке, л. 21—21 об.

[95] Там же, л. 22.

[96] АВПР. Сношения с Францией, 1797, дело № 522, Симолин Остерману 24 марта/4 апреля 1797 г., л. 40—40 об.

[97] Corr., t. 29, p. 231—242.

[98] Corr., t. 2, N 1700, 1703, p. 464, 465; Corr., t. 29; *R. Guyot.* Op. cit., p. 337—364.

[99] АВПР. Сношения с Францией, 1797, оп. 9316, дело № 522, Симолин из Франкфурта Остерману 25 апреля/6 мая 1797 г., л. 58, 59 об.; текст прелиминариев и секретных статей (Corr., t. 2, N 1743, 1744, p. 497—500).

[100] Corr., t. 2, N 1745, p. 500—503.

[101] АВПР. Сношения с Францией, 1797, дело № 522, Симолин Остерману 25 апреля/6 мая 1797 г., л. 59 об.

[102] Corr., t. 29, p. 273—279.

[103] *D. Cantimori.* Utopisti e riformatori italiani. Firenze, 1943; *E. Rota.* Le origini del Risorgimento, t. 1—2. Milano, 1948.

[104] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, Моцениго Остерману 22 апреля/3 мая 1797 г., л. 58, 69.

[105] Цит. по: *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 158.

[106] *Стендаль.* Собр. соч., т. 11, стр. 383.

[107] О лете в Монбелло: *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 173—376; *Bourrienne.* Mémoires, t. I, p. 138—143; *Miot de Melito.* Mémoires, t. I, p. 158.

[108] АВПР. Сношения с Тосканой, дело № 182, реляция гр. Моцениго Павлу I 4 ноября 1797 г., л. 29 об.

[109] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 115.

[110] *Fr. Masson.* Napoléon et sa famille, t. I. Paris, 1897, p. 211.

[111] *Miot de Melito.* Mémoires, p. 159—165.

[112] АВПР. Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, Стакельберг Павлу I 8 (19) августа 1797 г., л. 69.

[113] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 740.

[114] Corr., t. 29, p. 248—252, 254—271, 312—318.

[115] *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, t. II, p. 211.

[116] Ibid., p. 231—242.

[117] *P. Barras.* Mémoires, t. II, p. 496.

[118] Corr., t. 3, N 2010, p. 180—181.

[119] Corr., t. 29, p. 296—299; *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, t. II, p. 242—267.

[120] Цит. по: *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 169.

[121] *P. Barras.* Mémoires, t. II, p. 502; Луи Мадлен (Op. cit., t. II, p. 171) ошибочно приписывает эти слова Ребелю.

[122] Подробности о портфеле д'Антрега см.: *Е. В. Тарле.* Соч., т. VII, стр. 57.

[123] «Journal de Francfort», 13 sept. 1797; АВПР. Сношения с Францией, 1797, дело № 521а, приложение к реляции Симолина.

[124] *Lavalette.* Mémoires et souvenirs, t. I, p. 190—209. Лавалетт был послан Бонапартом наблюдателем в Париж.

[125] *P. Barras.* Mémoires, t. III, p. 40.

[126] Цит. по: *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 187.

[127] Corr., t. 3, N 2255, p. 337—338.

[128] АВПР. Сношения с Сардинией, 1797, дело № 131, Стакельберг Павлу I 8 (19) августа 1797 г., л. 63.

[129] Corr., t. 29, p. 308—316; *Las-Cases.* Mémorial, t. II, p. 417—421; *R. Guyot.* Op. cit., p. 537—538.

[130] АВПР. Сношения с Тосканой, 1797, дело № 186, л. 62.

[131] Corr., t. 29, p. 309—310.

[132] Ibid., p. 315—316; *Las-Cases.* Mémorial, t. II, p. 418.

[133] *F. Luckwaldt.* Der Frieden von Campo-Formio. Innsbruck, 1907, S. CXCVII.

Египет и Сирия

«Moniteur», 22, 23 frimaire an VI; «Journal de Francfort», 13 sept. 1797.

[2] *P. Barras.* Mémoires, t. III, p. 120—121.

[3] АВПР. Сношения с Францией, 1797, дело № 521а, Симолин Павлу I 23 октября/3 ноября 1797 г., л. 91 об.

[4] Цит. по: *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 205.

[5] *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 8.

[6] *P. Barras.* Mémoires, t. III, p. 184, 192.

[7] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 751.

[8] *Талейран.* Мемуары. М., 1959, стр. 151.

[9] *Baron de Barante.* Souvenirs, t. I, p. 45; *P. Barras.* Mémoires, t. III, p. 184.

[10] *G. Lacour-Gayet.* Bonaparte, membre de l'Institut. Paris, 1918.

[11] *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. I. Paris, 1928, p. 219—255.

[12] Об отношениях госпожи де Сталь и Бонапарта лучшим является исследование Гийемена (*H. Guillemin.* Madame de Staël, Benjamin Constant et Napoléon. Paris, 1959).

[13] *Las-Cases.* Mémorial, t. II, p. 174.

[14] *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. I, p. 273.

[15] *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 32.

[16] *M. Reinhard.* Le grand Carnot, t. II, p. 216—218.

[17] См. *Е. Б. Черняк.* Массовое движение в Англии и Ирландии в конце XVIII — начале XIX в. М., 1962, стр. 490—590.

[18] *A. Chuquet.* Journal de voyage du général Desaix. Paris, 1907, p. 209, 254. Я сохраняю принятую русскую транскрипцию — Дезе; французы произносят его имя — Десекс.

[19] Corr., t. 3, N 2103, p. 235.

[20] *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 37.

[21] *Fr. Charles-Roux.* Les origines de l'Expédition d'Egypte, 2-me éd. Paris, 1910; *C. Lokke.* France and the Colonial Question. A Study of Contemporary French Opinion (1763—1801). New York, 1932.

[22] *Fr. Charles-Roux.* Les origines de l'Expédition d'Egypte, p. 336.

[23] Ibid., p. 6; *M. Deherain.* L'Egypte turque. Paris, 1935; *Fr. Charles-Roux.* L'Angleterre et l'expédition française en Egypte, vol. 1—2. Caire, 1925; *La Jonquière.* L'expédition d'Egypte, t. I. Paris, 1900.

[24] *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. I, p. 215—218.

[25] *J. Darcy.* France et Angleterre. Cent ans de rivalité coloniale dans l'Afrique. Paris, 1904; *Fr. Charles-Roux.* L'Angleterre et l'expédition française en Egypte, vol. 1—2.

[26] *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 356.

[27] *Талейран.* Мемуары, стр. 152—153.

[28] *P. Barras.* Mémoires, t. III, p. 141.

[29] *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 349.

[30] *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 44—45.

[31] Ibid., p. 62—67; *Marmont.* Mémoires, t. I, p. 354—356 etc.

[32] Corr., t. 4, N 2620—2703, p. 126—177.

[33] *Barrow.* Life and Correspondence of Sir William Sidney Smith. London, 1897.

[34] Corr., t. 4, N 2723, p. 191; АВПР. Сношения с Австрией, дело № 873. Разумовский Павлу I 28 августа 1798 года, л. 134—135.

[35] *Fr. Charles-Roux.* Bonaparte, gouverneur d'Egypte. Paris, 1936; *La Jonquière.* Op. cit., t. II—III; см. также интересные воспоминания генерала Беллиара: Mémoires de comte Belliard, t. III. Paris, 1842, p. 101—270.

[36] См. публикацию К. А. Антоновой в журнале «Азия и Африка», 1962, № 4, стр. 113—128.

[37] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 141.

[38] Corr., t. 29, p. 449—451.
[39] *A. Amato.* Abukir. Nelson e l'Inghilterra in lotta nella spedizione d'Africa. Milano, 1936; *A. T. Machan.* The Life of Nelson, the Embodiment of the Sea-Power of Great Britain. London, 1898.
[40] Corr., t. 4, N 3015—3019, 3045, p. 339—343, 357—361.
[41] Corr., t. 4, N 3046, p. 361, 19 août 1798.
[42] *J. Miot.* Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en Egypte et en Syrie, 2-eme ed. Paris, 1814; *Bourrienne.* Mémoires, t. II.
[43] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 142.
[44] *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 135.
[45] Corr., t. 29, p. 493—515; *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 188.
[46] Corr., t. 30, p. 15.
[47] Ibid., p. 14.
[48] *Bourrienne.* Mémoires, t. II, p. 211—214.
[49] Ibid., p. 243.
[50] Corr., t. 5, N 4146, p. 433—434, 20 mai 1799.
[51] *J. Miot.* Mémoires, p. 219—226; *Bourrienne.* Mémoires, t. II.

Накануне брюмера

Archives Nationales, 284 A. P. 6, 8, 13, 14, 15, 16 (чрезвычайно богатый и важный для истории эпохи фонд Сиейеса).
[2] *E. Sieyès.* Essai sur les privilèges. Paris, 1789; *его же.* Qu'est ce que le tiers état. Paris, 1789.
[3] *Duchesse d'Abrantès.* Histoire des Salons de Paris, t. VI. Paris, 1838, p. 9.
[4] *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. I, p. 120—121.
[5] *A. Aulard.* Les orateurs de la Révolution, t. II. Paris, 1907, p. 558.
[6] *A. Kuscinski.* Op. cit., p. 566.
[7] *Neton.* Sieyès. 1748—1836. D'après des documents inédits. Paris, 1900; Archives Nationales, 284 A. P. 13, dos. 1.
[8] «Moniteur» N 259, 19 prairial an VII (7 juin 1799).
[9] *Талейран.* Мемуары, стр. 156.
[10] «Moniteur» N 266, 26 prairial an VII (14 juin 1799).
[11] *P. Bastid.* Sieyès et sa pensée. Paris, 1939; *J. Koung.* Théorie constitutionelle de Sieyès. Paris, 1934; *A. Biglon.* Sieyès — L'homme, Le constituant... Paris, 1893.
[12] «Moniteur» N 330, 30 thermidor an VII (17 août 1799); N 335, 5 fructidor (22 août); N 348, 18 fructidor (4 sept. 1799).
[13] *R. Valentin.* Le maréchal Jourdan (1762—1833). Paris, 1956.
[14] *M. J. Lafayette.* Mémoires, correspondances et manuscrits..., t. IV—V. Paris, 1838; *E. Charavay.* Le général Lafayette 1757—1834. Paris, 1898.
[15] *E. Chevrier.* Le général Joubert, étude sur sa vie..., 2 éd. Paris, 1884.
[16] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 735—736; t. II, p. 215—216.
[17] *E. Chevrier.* Op. cit.
[18] *P. Barras.* Mémoires, t. III, p. 361.
[19] *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 299—301.
[20] См. *А. В. Суворов.* Документы, т. 4, 1799—1800. М., 1953; *Д. А. Милютин.* История войны между Россией и Францией в царствование имп. Павла I, изд. 2, т. 1—5. СПб., 1857 (эта работа, основанная на огромном документальном материале, остается самым капитальным исследованием истории кампании 1799 года); *К. Клаузевиц.* 1799 год. М., 1938.

[21] «Moniteur» N 228, 18 messidor (6 juillet 1799).

[22] Archives Nationales, 284 A. P. 15, dos. 4 (многочисленные документы архива Сиейеса о Жубере).

[23] *B. Lavigne*. Histoire de l'insurrection royaliste de l'an VII. Paris, 1887.

[24] *Bourrienne*. Mémoires, t. III, p. 45; *L. Gohier*. Mémoires, t. II. Paris, 1824, p. 326—333. Ф. В. Ростопчин в мае 1799 года писал С. Р. Воронцову о сделке Барраса с Бурбонами как вполне достоверном факте (Архив кн. Воронцова, т. 8. М., 1876, стр. 215).

[25] *P. Barras*. Mémoires, t. III, p. 498—501.

[26] АВПР. Сношения России с Францией (Princes et Emigrés Français, IX, 1799), оп. 93/7, дело № 1341, письмо от 20 сентября 1799 г., л. 54—55.

[27] Там же, донесение от 22 сентября 1799 г.

[28] Archives Nationales, 284 A. P. 13, dos. 7 (Переписка Сиейеса 1799 г.).

[29] *Boulay de la Meurthe*. Le Directoire et l'expédition d'Egypte. Paris, 1880, p. 240—242.

[30] «Moniteur» N 311, 11 thermidor an VII (29 juillet 1799); N 349, заседание в зале манежа 8 термидора.

[31] «Moniteur», 29 fructidor (15 sept. 1799).

[32] «Moniteur» N 363, jour comp. (19 sept. 1799).

[33] *К. Клаузевиц*. 1799 год, ч. II, стр. 234.

[34] «Moniteur» N 23, 23 vendémiaire an VIII (15 oct. 1799).

[35] «Санкт-Петербургские ведомости» № 88, 4 ноября 1799 г.

[36] «Московские ведомости» № 92, 16 ноября 1799 г.

[37] *P. Barras*. Mémoires, t. IV, p. 29; Archives Nationales, 284 A. P. 15, dos. 3.

[38] «Moniteur» N 24, 24 vendémiaire; N 33, 3 brumaire an VIII.

[39] «Moniteur», vendémiaire — brumaire an VIII.

[40] *Оноре де Бальзак*. Шуаны, или Бретань в 1799 году.— Собр. соч. в пятнадцати томах, т. 11. М., 1954, стр. 11—12.

[41] *Baronne de Staël*. Des circonstances actuelles, qui peuvent terminer la Révolution... publ. par. J. Viénnot. Paris, 1906, p. 250; *Madame de Chastenay*. Mémoires. Paris, 1896.

[42] *E. Herriot*. Madame Récamier et ses amis. Paris, 1924, p. 35.

[43] *M-me de Staël*. Oeuvres complètes..., t. I, 1844; *B. Munteano*. Les idées politiques de Madame de Staël et la constitution de l'an III. Paris, 1931.

[44] «Moniteur» N 313, 13 thermidor an VII (31 juillet 1799).

[45] *B. Constant*. Journal intime... et lettres à sa famille et à ses amis... Paris, 1895, p. 233.

[46] *A. Vandal*. L'avènement de Bonaparte. 19 éd., t. 1. Paris, 1915, p. 242.

[47] *Е. В. Тарле*. Соч., т. VII, стр. 74.

[48] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 314—318.

[49] *A. Castelot*. Bonaparte, p. 358.

[50] Corr., t. 5, N 3952.

[51] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 31—32; *Bourrienne*. Mémoires, t. II, p. 304—307.

[52] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 388—391.

[53] Corr., t. 5, N 3488, 17 oct. 1798; N 3649, 21 nov. 1798; N 3952, 10 fevr. 1799.

[54] «Санкт-Петербургские ведомости» № 80, 11 ноября 1799 г.

[55] См. *ал Джабарти Абдар Рахман*. Египет в период экспедиции Бонапарта (1798—1801), пер. с араб. М., 1962.

[56] Corr., t. 5, N 4374, p. 572—575; N 4375, p. 576. Приказ Клеберу 22 августа 1799 года. На эту инструкцию в свое время обратили внимание враги Бонапарта, в частности Гойе (*L. Gohier*. Mémoires, t. I, p. 412).

[57] Corr., t. 5, N 4374, p. 573.

[58] Ibidem.

[59] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 36; *Bourrienne*. Mémoires, t. II, p. 313.

[60] Письмо Клебера полностью воспроизведено Гойе: *L. Gohier*. Mémoires, t. I, p. 181—190.

[61] *A. A. Ernouf*. Le général Cleber... Paris, 1867; *H. Claeber*. Leben und Taten des französischen Generals J. B. Cleber. Dresden, 1900.

[62] Corr., t. 5, N 4376, p. 576—577, 5 фрюктидора VII года (22 августа 1799 года).

[63] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 32—33.

[64] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 315—316; *A. Castelot*. Bonaparte, p. 358; Corr., t. 30, p. 93.

[65] *Bourrienne*. Mémoires, t. III, p. 32.

[66] Ibid., p. 2—3.

[67] Corr., t. 5, N 4382, p. 578—579.

[68] *P. Barras*. Mémoires, t. IV, p. 24; *L. Gohier*. Mémoires, t. I, p. 196—215.

[69] *Général baron Thiebault*. Mémoires. 1792—1820, t. III.

[70] «Moniteur» N 23, 23 vendémiaire an VIII (15 oct. 1799).

[71] «Moniteur» N 25, 25 vendémiaire (17 oct. 1799).

[72] «Moniteur» N 27, 27 vendémiaire an VIII (19 oct. 1799).

[73] *Bourrienne*. Mémoires, t. III, p. 40—68; *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 56; *Roederer*. Oeuvres, t. III. Paris, 1854, p. 296.

[74] *P. Barras*. Mémoires, t. IV, p. 37.

[75] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, t. I, p. 3.

[76] *Bourrienne*. Mémoires, t. III, p. 59; *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, t. I, p. 12.

[77] *L. Gohier*. Mémoires, t. I, p. 202.

[78] *Napoléon I*. 18 brumaire.— Corr., t. 30, p. 309.

[79] *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. I, p. 352—355.

[80] *Талейран*. Мемуары, стр. 377.

[81] См. *Е. В. Тарле*. Соч., т. XI, стр. 59—60.

[82] *A. Vandal*. Op. cit., t. I, p. 230—232 со ссылками на рукописные заметки Трувелля.

[83] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, t. I, p. 15—16.

[84] *Napoléon I*. 18 brumaire.— Corr., t. 30, p. 310.

[85] *Lucien Bonaparte*. Révolution de Brumaire. Bruxelles et Leipzig, 1845, p. 55—58. Факты, приведенные в воспоминаниях Люсьена Бонапарта, требуют критического отношения.

[86] *Ed. Herriot*. Op. cit., p. 43—48.

[87] *Lucien Bonaparte*. Révolution de Brumaire, p. 55—62; *Ch. Jung*. Lucien Bonaparte et ses mémoires..., t. 1—3. Paris, 1882—1883.

[88] Corr., t. 6, N 4384, p. 1.

[89] Об этом писал даже «Moniteur» N 46, 16 brumaire an VIII.

[90] *G. Lefebvre*. Le Directoire.

[91] *Napoléon I*. 18 brumaire.— Corr., t. 30, p. 309; *L. Madelin*. Fouché, t. I. Paris, 1955, p. 262—275.

[92] Об отношениях Бонапарта и Колло см.: *Boulay de la Meurthe*.

Observations sur le 18 brumaire. — «Bourrienne et ses erreurs», t. II, p. 13.
[93] «Санкт-Петербургские ведомости» № 93, 22 октября 1799 г.
[94] «Moniteur» N 46, 16 brumaire (6 nov. 1799).

18—19 брюмера

[1] *A. Vandal.* L'avènement de Bonaparte, t. II.
[2] *Bourrienne.* Mémoires, t. III, p. 68—82; *Marmont.* Mémoires, t. II, p. 92—98.
[3] *L. Gohier.* Mémoires, t. I, p. 237—238.
[4] *Bourrienne.* Mémoires, t. III, p. 40—55; *Boulay de la Meurthe.* Observations sur le 18 brumaire.— «Bourrienne et ses erreurs», t. II, p. 40—52.
[5] «Moniteur» N 49, 19 brumaire an VIII (9 nov. 1799); *Napoléon I.* 18 brumaire.— Corr., t. 30, p. 315.
[6] *P. Barras.* Mémoires, t. IV, p. 76—78; *Bourrienne.* Mémoires, t. III, p. 67—68.
[7] «Moniteur» N 50, 20 brumaire (10 nov. 1799).
[8] *Napoléon I.* 18 brumaire.— Corr., t. 30, p. 317.
[9] Заявление об отставке Барраса было тотчас же опубликовано в «Moniteur» N 50, 20 brumaire (10 nov. 1799).
[10] *P. Barras.* Mémoires, t. IV, p. 79—81; *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. I, p. 357—359.
[11] «Moniteur» N 52, 22 brumaire an VIII (12 nov. 1799).
[12] «Moniteur» N 51, 21 brumaire an VIII (11 nov. 1799).
[13] «Moniteur» N 50, 20 brumaire an VIII (10 nov. 1799).
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] «Moniteur» N 51, 21 brumaire an VIII (11 nov. 1799).
[17] См. *Стендаль.* Собр. соч., т. 11, стр. 33.
[18] *В. М. Далин.* М.-А. Жюльен после 9 термидора.— «Французский ежегодник». М., 1959.
[19] *F. Rocquain.* L'Etat de la France au 18 brumaire. Paris, 1874; *Ch. Morazé.* Les bourgeois çonquérants. Paris, 1957; *O. Festy.* L'agriculture française sous le Consulat. Paris, 1952; *M. Payard.* Le financier Ouvrard. Paris, 1958; *O. Festy.* Les délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat. Paris, 1956.
[20] «Moniteur» N 55, 25 brumaire an VIII (15 nov. 1799); *A. Aulard.* Le Lendemain de 18 brumaire.— «Etudes et leçons sur la Révolution». 2-me série. Paris, 1898, p. 223—225; «Mémoires du général baron Roch Godart (1792—1815)», publiés par J. V. Antoire. Paris, s. a., p. 75; *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. III, p. 8—12.
[21] *A. Vandal.* Op. cit., t. I, p. 424, ссылка на Тревизский архив. «Ça ira» — здесь: «это пойдет».
[22] «Moniteur» N 52, 22 brumaire an VIII (12 nov. 1799).
[23] Цит. по: *H. Guillemin.* M-me de Staël, Benjamin Constant et Napoléon, p. 7.
[24] «Moniteur» N 54, 24 brumaire an VIII (14 nov. 1799).
[25] Ibidem.
[26] *A. Soboul.* Le Directoire et le Consulat. Paris, 1967, p. 83; *A. Soboul.* La 1[re] République. Paris, 1968, p. 278—310.
[27] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Соч., т. 2, стр. 137.
[28] *Л. Н. Толстой.* Собр. соч., т. 4, стр. 9.

[1] *L. Gohier*. Mémoires, t. I, p. 421.
[2] Corr., t. 6, N 4397.
[3] *M. Reinhard*. Le grand Carnot, t. II, p. 245—259.
[4] Corr., t. 6, N 4404, p. 14.
[5] *M. Ch. Gaudin*. Mémoires, souvenirs, opinions et écrits, v. 1—2. Paris, 1826.
[6] См. *Б. А. Воронцов-Вельяминов*. Лаплас. М., 1937.
[7] Corr., t. 6, N 4398, p. 11.
[8] Corr., t. 6, N 4422, p. 25.
[9] *В. М. Далин*. М.-А. Жюльен после 9 термидора.— «Французский ежегодник». М., 1959, стр. 219.
[10] *R. Stourm*. Les finances du Consulat. Paris, 1902, p. 57—58.
[11] *Las-Cases*. Mémorial, t. II, p. 10; *L. Gohier*. Mémoires, t. II, p. 3—6.
[12] *L. Gohier*. Mémoires, t. II, p. 5.
[13] Ibid., p. 18—20.
[14] См. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 48—52, 66—69, 75—89 и др.
[15] См. там же, стр. 83.
[16] Текст конституции см.: *Dufau, Divergier* et *Guadet*. Collections des constitutions, v. I. Paris, 1930, p. 193—204.
[17] Ibidem.
[18] *J. Bourdon*. La Constitution de l'an VIII. Paris, 1942; *J. Godechot*. Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. Paris, 1951; *F. Pietri*. Napoléon et le parlement. Paris, 1955.
[19] *М. Прело*. Конституционное право Франции, стр. 118.
[20] *E. d'Hauterive*. La contre-police royaliste en 1800. Paris, 1931, p. 110—112.
[21] АВПР. Сношения России с Францией, дело 43/1338, IX, 1799—1800, обширная переписка Людовика XVIII, графа Д'Аваре с их агентами и с русским двором. Это собрание документов выходит по своему содержанию за рамки данной работы, и мы не можем поэтому в должной мере привлекать здесь его богатства.
[22] Corr., t. 6, N 5090, 20 fruct. an VIII (7 sept. 1800), p. 454.
[23] Corr., t. 6, N 4775, p. 119—121.
[24] Corr., t. 6, N 4536, p. 97.
[25] *В. М. Далин*. М.-А. Жюльен после 9 термидора.— «Французский ежегодник». М., 1959.
[26] *Стефан Цвейг*. Собр. соч., т. 4, стр. 485.
[27] Там же, стр. 487; *L. Madelin*. Fouché; *Fouché*. Mémoires, publ. par A. de Beaudramp, v. 1—2. Paris, 1824. В 1816 году в Лондоне вышла книга «Le Précis de la vie publique du duc d'Otrante», ее авторство приписывали самому Фуше.
[28] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 472, 490.
[29] *H. Guillemin*. Op. cit., p. 22—37; см. также: *Benjamin Constant* et *m-me de Staël*. Lettres à un ami... Neuchâtel, 1949.
[30] *R. Stourm*. Op. cit., p. 57—58.
[31] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 107—108.
[32] *G. S. Ouvrard*. Mémoires sur sa vie et ses diverses opérations financières, 3 éd., t. I. Paris, 1826, p. 44—49.
[33] См. *Е. В. Тарле*. Континентальная блокада.— Собр. соч., т. III, гл. I, II, III; см. также *Ю. Ратиани*. Промышленность и внешняя тор-

говля Франции после 18 брюмера.— «Ученые записки Ленинградского государственного университета». Л., 1939, вып. 3.

[34] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Соч., т. 8, стр. 210.

[35] Corr., t. 6, N 4618, 4686, 4692, 4702.

[36] Цит. по: *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. VI, стр. 30.

[37] *J. Cugnac*. Campagne de l'armée de réserve de 1800, t. 1—2. Paris, 1900—1901. Это весьма ценное собрание документов.

[38] *Napoléon I*. Marengo.— Corr., t. 30, p. 368—393.

[39] Ibid., p. 369.

[40] Ibid., p. 370. Напомним, что в Генуе с апреля 1800 года была осаждена армия Массена, до этого с успехом оборонявшая Лигурийское побережье (*E. Gachot*. Histoire militaire de Massena. Le siège de Gênes. Paris, 1908).

[41] *E. Gachot*. La deuxieme campagne d'Italie. Paris, 1899.

[42] *J. Cugnac*. La campagne de Marengo. Paris, 1905. Эта старая работа крупного знатока документов эпохи остается лучшим трудом по истории этой кампании.

[43] *Napoléon I*. Marengo.— Corr., t. 30, p. 371—374; *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 115—121; *Cagliani*. Il passaggio di Bonaparte per il grande San-Bernardo. Torino, 1892.

[44] *Bourrienne*. Mémoires, t. IV, p. 110.

[45] *Д. Канделоро*. История современной Италии, т. I, стр. 357; *M. Roberti*. Milano capitale napoleonica la formazione di uno Stato Moderno, t. I. Milano, 1946.

[46] Corr., t. 6, N 4864, p. 328; N 4882, p. 336—337.

[47] *Napoléon I*. Marengo.— Corr., t. 30, p. 380—381; *J. Cugnac*. Campagne de l'armée de réserve de 1800, t. II, p. 175.

[48] Corr., t. 6, N 4896—4899, 4901, 4905, 8—10 juin 1800.

[49] Corr., t. 6, N 4910, p. 361.

[50] *Rovigo*. Mémoires du duc de Rovigo pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon (далее — *Rovigo*. Mémoires), t. I. Paris, 1828, p. 274—275.

[51] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 123—139; *Bourrienne*. Mémoires, t. IV, p. 120—131; *Rovigo*. Mémoires, t. I, p. 268—283; *J. Cugnac*. La campagne de Marengo; *H. Huffer*. Die Schlacht von Marengo und der italianische Feldzug des Jahres 1800. Leipzig, 1900; *V. Pittaluga*. La battaglia di Marengo, v. 1—2. Alessandria, 1900.

[52] Corr., t. 6, N 4909, p. 359—360.

[53] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 920, реляция Колычева имп. Павлу I, 17 (28) июня 1800 года, л. 9.

[54] Кн. *Адам Чарторижский*. Мемуары, т. I. М., 1912, стр. 194.

[55] *Bourrienne*. Mémoires, t. IV, p. 171.

Поиски союза с Россией

[1] *Napoléon I*. Campagnes l'Italie.— Corr., t. 29, p. 312.

[2] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 383.

[3] *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. VI, стр. 25.

[4] «Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I». Под ред. профессора Ал. Трачевского, т. I (1800—1802).— «Сборник императорского Русского исторического общества» (далее — Сб. РИО), т. 70. СПб., 1910, стр. 647—649.

[5] Сб. РИО, т. 70, стр. 647.

[6] Сб. РИО, т. 70, стр. 648.

[7] См. *В. П. Безобразов.* О сношениях России с Францией. М., 1892; *A. Vandal.* Louis XV et Elisabeth de Russie... Paris, 1882; *A. Sorel.* Essais de critique et d'histoire Louis XV et l'impératrice russe Elisabeth. Paris, 1883; Записки гр. Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. Пер. с франц. СПб., 1865.

[8] См. «История дипломатии», изд. 2, под ред. В. А. Зорина, В. С. Семенова, С. Д. Сказкина, В. М. Хвостова, т. I. М., 1954, стр. 373.

[9] *G. Grosjean.* La France et la Russie pendant le Directoire. Paris, 1896, p. 18—103; *Д. А. Милютин.* История войны между Россией и Францией, т. 3, стр. 58—59; сб. РИО, т. 70, стр. 633—642; Архив кн. Воронцова, т. 14. М., 1879, стр. 81—82 (сообщение русского посла в Константинополе князя Кочубея о демаршах Директории через испанского поверенного в делах в целях сближения с Россией).

[10] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 920, реляция Колычева Павлу I 26 июня/7 июля 1800 г., л. 14.

[11] *А. Сорель.* Европа и французская революция, т. VI, стр. 24.

[12] О миссиях Дюрока и Бернонвилля, назначенного послом в Берлин, не раз рассказывалось в специальной литературе; миссия же Лавалетта менее известна. Она прослеживается в материалах архива Российской коллегии иностранных дел. В дешифрованном донесении Колычева Ростопчину 26 января (6 февраля) 1800 года из Дрездена он сообщает об активной деятельности «агента Бонапарте — Лавалетта» (АВПР. Сношения с Австрией, дело № 923, л. 140).

[13] *Д. А. Милютин.* История войны между Россией и Францией, т. 5, стр. 498.

[14] Подробнее см. превосходное в целом при спорности некоторых положений исследование: *А. М. Станиславская.* Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья 1798—1807. М., 1962.

[15] Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде (далее — ОРГПБ), фонд Шильдера, картон 29, дело № 3, Уитворт — лорду Гренвилю 18 марта 1800 года из Санкт-Петербурга («The Emperor ist literally not in his senses»), л. 74.

[16] *Д. А. Милютин.* История войны между Россией и Францией, т. 5, стр. 199—200.

[17] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 921, Колычев Ростопчину 14 (25) января 1800 г., приложение № 2 «État de la France», 25 oct. 1799, л. 74.

[18] Там же.

[19] Там же, л. 74 об.

[20] *Д. А. Милютин.* История войны между Россией и Францией, т. 3, стр. 439.

[21] См. *А. Брикнер.* Материалы для жизнеописания гр. Н. П. Панина (1770—1837), т. I—VII. СПб., 1888—1892; *его же.* Граф Н. П. Панин.— «Русская старина», 1874, кн. 7.

[22] «Русский архив», 1876, № 10, письма Ф. В. Ростопчина С. Р. Воронцову, письмо от 30 июня 1801 г., стр. 427. Эти же письма на французском языке были позже опубликованы в Архиве кн. Воронцова, т. 8.

[23] См. мнение Кочубея (посла в Турции): Архив кн. Воронцова, т. 18, стр. 119; Ф. В. Ростопчина — Архив кн. Воронцова, т. 8.

[24] АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, IX, 1799—1800, письмо Дюмурье Павлу I, л. 1.

[25] Там же, л. 23.

[26] АВПР. Сношения с Францией, XIV, IX, 1800, гр. д'Авре Пав-

лу I 3 февраля; 15 и 16 февраля 1800 г., л. 69—74 (письма с изложением просьбы короля о награждении орденами ряда офицеров).

[27] АВПР. Сношения с Францией, IV, IX, 1799, л. 16—23 (переписка д'Авре с графом Ростопчиным 5, 10, 14 февраля 1799 г.).

[28] АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, л. 3.

[29] Самое полное издание: «La vie et les mémoires du général Dumouriez... par Bérville et Barrière», t. I—IV. Paris, 1822—1823 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).

[30] *A. Chuquet*. Dumouriez. Paris, 1914; *A. von Boguslawski*. Das Leben des Generals Dumouriez, Bd I—II. Berlin, 1879; *Pouger de Saint André*. Le général Dumouriez... Paris, 1914.

[31] «Voyage à Saint-Petersbourg en 1799—1800... par l'abbé Georgel». Paris, 1818, p. 279—295; тот же текст в его «Mémoires pour servir à l'histoire des événements», t. VI. Paris, 1818, p. 280—294 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина). Жоржель сообщает, что он жил в той же гостинице, что и Дюмурье. Это и является главным «источником» его знаний.

[32] «Русский архив», 1876, № 10, стр. 416.

[33] АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, л. 4. Дюмурье — Ростопчину 30 декабря 1799 года.

[34] Corr., t. 6, N 4777, p. 266.

[35] АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, IX, 1799—1800, л. 5—7, 9—10.

[36] Там же, л. 7.

[37] ОРГПБ. Фонд Шильдера, картон 29, дело № 3, л. 71.

[38] АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, IX, 1799—1800, л. 13—14.

[39] Сб. РИО, т. 70, стр. XV, XVIII, 655—664.

[40] АВПР. Сношения с Францией, 43/1338, IX, 1800, л. 10.

[41] Там же, л. 23.

[42] Там же, л. 16.

[43] АВПР. Сношения с Англией, д. № 526, Павел I — С. Р. Воронцову, л. 6.

[44] *Д. А. Милютин*. История войны между Россией и Францией, т. 3, стр. 637.

[45] Сб. РИО, т. 70, стр. 651.

[46] Там же, стр. 1 (все неоговоренные переводы с французского принадлежат Трачевскому).

[46а] См. там же, стр. 2.

[47] Там же, стр. 3—4.

[48] ОРГПБ, дело № 7. Спренгпортен, 11 тетрадей его записей на французском языке; там же, фонд Шильдера, картон 24, дело № 2, донесения Спренгпортена Павлу I, 1800—1801, л. 1—73.

[49] Сб. РИО, т. 70.

[50] *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. VI, стр. 108.

[51] Сб. РИО, т. 70, стр. XXVI.

[52] Corr., t. 6, N 5232, p. 538.

[53] Кларк Талейрану 22 фримера IX г., 1 (12) декабря 1800 г.— Сб. РИО, т. 70, стр. 23.

[54] Там же, стр. 11 (инструкция от 28 сентября/9 октября 1800 года).

[55] Архив кн. Воронцова, т. 8, стр. 288—289; Ростопчин Воронцову 30 июня 1801 г. (на французском языке).

[56] *Rovigo*. Mémoires, t. I, p. 232.

[57] Записка гр. Панина 9(20) сентября 1800 г.

[58] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 920, дешифрованная реляция Колычева Павлу I 26 июня/7 июля 1800 г., л. 8—9.

[59] Там же, письмо Кобенцля Колычеву 1 июля 1800 г., л. 13—14; см. также реляции Колычева Павлу I 1(12) и 18(29) сентября 1800 г.— Там же, л. 32—33, 58—60, 63—64.

[60] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 923, дешифрованное донесение Колычева Ростопчину 2(13) августа 1800 г.

[61] АВПР. Сношения с Тосканой, донесение гр. Моцениго Ростопчину 14(25) января 1800 г., л. 121—124.

[62] Сб. РИО, т. 70, стр. 27.

[63] АВПР. Сношения с Францией, IX, 1800, 43/1338, л. 33 об.

[64] Сб. РИО, т. 70, стр. 30—83, 669—679.

[65] АВПР. Сношения с Францией, XIV, IX, 1800.

[66] Текст и варианты записки Н. П. Панина 9(20) сентября 1800 г. даны у Трачевского (сб. РИО, т. 70, стр. 4—10, 658—659).

[67] Сб. РИО, т. 70, стр. 9—10.

[68] Там же, стр. 33—35; две инструкции Колычеву 15(27) января 1801 г.

[69] Сб. РИО, т. 70, стр. 36—37. Талейран Ростопчину 9(20) декабря 1800 г.

[70] «Русский архив», 1878, т. I, стр. 103—110.

[71] Там же, стр. 109—110.

[72] Corr., t. 6, N 5327, p. 590—592.

[73] «Русский архив», 1878, т. I, стр. 104.

[74] Там же.

[75] *E. Dard.* Napoléon et Talleyrand. Paris, 1947, p. 46—59.

[76] *P. Bailleu.* Preussen und Frankreich 1795 bis 1807. Diplomatische Correspondenzen, Bd I.

[77] *А. С. Трачевский.* Испания в XIX в. М., 1872, гл. I; *Geoffroy de Grandmaison.* L'ambassade française en Espagne pendant la Révolution... Paris, 1892.

[78] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 920, 1800, дешифрованная реляция Колычева, л. 33 (на русском языке).

[79] *J. Steven Watson.* The Reign of George III... Oxford, 1960.

[80] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 920, дешифрованная депеша Колычева Павлу I 26 июня/7 июля 1800 г., л. 9.

[81] *Талейран.* Мемуары, стр. 163.

[82] *E. d'Hauterive.* La contre-police royaliste en 1800. Paris, 1931, p. 70.

[83] *Hyde de Neuville.* Mémoires et souvenirs, t. I. Paris, 1892.

[84] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 921, приложение № 1 (Paris, 15 nivôse an VIII) к депеше Колычева 2(13) января 1800 г., л. 34.

[85] Там же, л. 38.

[86] *E. d'Hauterive.* La contre-police royaliste en 1800, p. 101—115.

[87] *E. Picard.* Hohenlinden. Paris, 1909.

[88] *Rovigo.* Mémoires, t. I, p. 346—353; *L. Madelin.* Fouché, t. I, p. 326—330.

[89] Текст договора см.: *A. de Clercq.* Recueil des traités de la France, t. I. Paris, 1880, p. 424—429.

[90] Corr., t. 6, N 5211, p. 524.

[91] Corr., t. 6, N 5315, p. 585.

[92] *А. М. Станиславская.* Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья 1798—1802, стр. 144—155.

[93] *Д. А. Милютин.* История войны между Россией и Францией, т. 5, стр. 255.
[94] «Русский архив», 1878, кн. 4, стр. 491; все письмо — стр. 490—493.
[95] Цит. по: *Н. К. Шильдер.* Император Павел Первый, стр. 416 (на французском языке).
[96] Там же, стр. 417.
[97] Там же, стр. 419.
[98] Corr., t. 6, N 5263, 5264, 5279, 5283.
[99] Протоколы конференций см. сб. РИО, т. 70, стр. 59—93.
[100] Corr., t. 6, N 5327, p. 590.
[101] *А. Г. Брикнер.* Смерть Павла I. СПб., 1907 (первое издание под инициалами «Р. Р.» на немецком языке в 1892 году); *Е. С. Шумигорский.* Павел I.— Русский биографический словарь, т. 7 (одна из лучших биографий Павла).
[102] Corr., t. 30, p. 485.

Пожизненный консулат

[1] Corr., t. 6, N 4915—4951, p. 368—389.
[2] Corr., t. 6, N 4817, p. 295.
[3] АВПР. Сношения с Австрией, дело № 921.
[4] *A. Aulard.* Paris sous le Consulat, t. I, p. 318—348; *E. Dard.* Napoléon et Talleyrand, p. 42—45; *M. Reinhard.* Le grand Carnot, t. II, p. 255—265; *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de L'Empire, t. III, p. 294—295.
[5] В Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина имеется ряд литературных сочинений Люсьена: «La tribu indienne ou Edouard et Stella». Paris (1799); *La Girneide.* Roème épique. Paris, 1819, и др.
[6] *A. Aulard.* Paris sous le Consulat, t. I, p. 419—435.
[7] *Bourrienne.* Mémoires, t. IV, p. 189—196; *L. Goldsmith.* Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparte... London, 1810 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).
[8] *E. d'Hauterive.* L'Enlèvement du sénateur Clément de Ris. Paris, 1931.
[9] Corr., t. 6, N 5114, p. 467; *Povigo.* Mémoires, t. I, p. 336—341.
[10] *Bourrienne.* Mémoires, t. IV, p. 197—206; *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 25—27; *A. Aulard.* Paris sous le Consulat, t. II, p. 82—109.
[11] *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 28—29.
[12] *E. d'Hauterive.* La contre-police royaliste en 1800.
[13] То есть восстановить власть Людовика XVIII.
[14] *Roederer.* Oeuvres, t. I, p. 353.
[15] *J. Baelen.* Benjamin Constant et Napoléon. Paris, 1965.
[16] Corr., t. 7, N 5922, p. 364; *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 66—69.
[17] *A. Marquiset.* Napoléon sténographié au Conseil d'État... Paris, 1913.
[18] См. *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 17, стр. 273—274.
[19] *S. Girardin.* Journal et souvenirs, discours et opinions, t. 3. Paris, 1828, p. 190.
[20] *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 59.
[21] *Las-Cases.* Mémorial, t. I, p. 227—229, 805—809.
[22] *J. Chaptal.* Mes souvenirs sur Napoléon. Paris, 1893, p. 236.
[23] *Boulay de la Meurthe.* Documents sur la négociation du Concordat

et sur les autres rapports de la France avec le Saint-Siège, v. 1—6. Paris, 1891—1905; *abbé G. Constant*. L'Eglise de France sous le Consulat et L'Empire. Paris, 1928; *S. Delacroix*. La réorganisation de L'Eglise de France (1801—1809). Paris, 1962.

[24] *Ernouf*. Maret, duc de Bassano. Paris, 1931.

[25] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 364.

[26] «Lettres de Napoléon à Joséphine...», t. I (éd. 1833), p. 26.

[27] *Cénéral Bertrand*. Cahiers de Sainte-Hélène, 1818—1819, p. 223.

[28] «Mémoires de Madame la Duchesse d'Abrantés», t. XIII. Paris, 1839, p. 64.

[29] *Стефан Цвейг*. Собр. соч., т. 4, стр. 395—623.

[30] *G. S. Ouvrard*. Mémoires, t. I, p. 52.

[31] *E. Jac*. Bonaparte et le Code Civil. Paris, 1848; *L. Adolphe*. Portalis. Paris.

[32] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. IV, p. 200.

[33] *Chaptal*. De l'industrie française, t. I—II. Paris, 1869; *Е. В. Тарле*. Континентальная блокада.— Собр. соч., т. III, стр. 9—122 (в особенности гл. III); *A. Soboul*. La I République, p. 310—339.

[34] Текст договора: *A. de Clercq*. Recueil des traités de la France, v. I, p. 484—491; с французской стороны договор был подписан Жозефом Бонапартом (см. его мемуары).

[35] Corr., t. 7, N 6026, p. 430, 15 germinal an X (5 avril 1802).

[36] Corr., t. 7, N 5933, 5934, 5938, p. 370—373, 374; «I comizi nazionali di Lione per la constituzione della Republica Italiana», v. 1—5. Bologna, 1934—1940; *A. Pingaud*. Bonaparte président de la République itallienne, v. 1—2. Paris, 1914.

[37] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 64.

[38] *A. Dumas*. Napoléon. Berlin, 1841, p. 89.

[39] Corr., t. 7, N 6083, 6084, p. 461—467.

[40] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 75—92.

[41] Corr., t. 7, N 5900, p. 352, 3 nivôse an X (24 dec. 1801).

[42] *Roederer*. Op. cit., t. III, p. 428.

[43] *J. Thiry*. Cambasérès. Paris, 1935.

[44] Corr., t. 7, N 6079, p. 460, message au sénat conservateur, 19 floréal an X (9 mai 1802).

[45] Corr., t. 77, N 6081, p. 461.

[46] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 322—330; Corr., t. 7, N 6230, p. 562—563.

Империя

[1] См. новейшую интересную работу о Годене: *Fr. Latour*. Le grand argentier de Napoléon. Paris, 1962.

[2] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 93—105; *Duchesse d'Abrantès*. Mémoires, t. VI; *P. Bondois*. Napoléon et la société de son temps. Paris, 1895.

[3] *A. Soboul*. La 1 République.

[4] Цит. по: *А. Олар*. Политическая история французской революции. М., 1938, стр. 936; *M. Reinhard*. Le grand Carnot, t. II, p. 269—270; *P. Chanson*. Lafayette et Napoléon... Lyon, 1958, p. 161—186.

[5] *E. Guillon*. Les complots militaires sous le Consulat et l'Empire. Paris, 1894.

[6] *E. Picard*. Bonaparte et Moreau... Paris, 1905; эта старая, осно-

ванная на архивных материалах работа все еще остается лучшей по данному вопросу.

[7] *G. A. Thierry*. La mysterieuse affaire. Donadieu... Paris, 1902.

[8] *Bourrienne*. Mémoires, t. IV—V; Мемуары Жозефа (*Roi Joseph*. Mémoires, t. II, III) вопреки его намерениям свидетельствуют против него самого. О братьях Бонапарт лучшим остается труд Фр. Массона: *Fr. Masson*. Napoléon et sa famille, t. II.

[9] *Cênêral Bertrand*. Cahiers de Sainte-Hélène, 1816—1817, p. 46—48.

[10] *Napoléon I*. Lettres à Joséphine, rec. par. J. Bourgeat. Paris, 1941; *H. Cole*. Joséphine. Londres, 1963.

[11] Corr., t. 8, N 6322, p. 32.

[12] *F. Bernardy*. La reine Hortense. Paris, 1968.

[13] *Е. В. Тарле*. Континентальная блокада; *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. VI; *P. Coquelle*. Napoléon et l'Angleterre (1803—1813). Paris, 1904; *R. Mowat*. Diplomacy of Napoléon. London, 1924; *B. Stroh*. Das Verhältnis zwischen Frankreich und England in den Jahren 1801—1803. Berlin, 1914; *O. Brandt*. England und die napoleonische Weltpolitik, 1800—1803. Heidelberg, 1916; *M. Philipson*. Die äussere Politik Napoléons I. Leipzig, 1913; *O. Browning*. England and Napoléon in 1803. London, 1887; *Ed. Driault*. La politique extérieure du premier Consul. Paris, 1910.

[14] *Napoléon I*. Textes inédits et variantes, publ. par Nada Tomiche. Geneve, 1955, p. 43—50.

[15] *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. VI, стр. 233.

[16] *Ed. Driault*. La politique extérieure du premier Consul; *J. Saintoyant*. La colonisation française pendant la periode Napoléonienne. Paris, 1931.

[17] Сб. РИО, т. 70, стр. 176—182, 189—193.

[18] Министерство иностранных дел СССР. Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Рос. мин. иностр. дел (далее — ВПР), т. I. М., 1960, стр. 95—97. Весьма ценная публикация документов.

[19] ВПР, т. 1, стр. 98—102.

[20] Там же, стр. 221—230.

[21] Там же, стр. 188—191.

[22] «Московские ведомости» № 18, 2 марта 1804 г., стр. 348.

[23] Corr., t. 9, N 7499, 7557, 7558 etc.; *E. Desbrière*. Projets et tentatives de débarquement aux îles Britanniques..., t. 3—4. Paris, 1902; *F. Nicolay*. Napoléon au camp de Boulogne. Paris, 1907.

[24] «Code civil des français». Paris, 1804; «Le code civil (1804—1904)». Livre de Centenaire. Paris, 1904; *E. Jac*. Bonaparte et le code civil. Paris, 1898.

[25] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Соч., т. 1, стр. 112.

[26] *Gosselin Lenotre*. Georges Cadoudal; *P. Hyde de Neuville*. Souvenirs, т. I.

[27] *O. Fauriel*. Les derniers jours du Consulat. Paris, 1886, p. 202—216.

[28] «Московские ведомости» № 20, 9 марта 1804 г., стр. 387.

[29] «Московские ведомости» № 21, 12 марта 1804 г., стр. 403.

[30] «Московские ведомости» № 24, 23 марта 1804 г., стр. 458.

[31] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. V, p. 46—47.

[32] «Московские ведомости» № 24, 23 марта 1804 г., стр. 458.

[33] *A. Aulard*. Paris sous le Consulat, t. IV, p. 678—686.

[34] «Московские ведомости» № 24, 23 марта 1804 г., стр. 457.

[35] *A. Aulard*. Paris sous le Consulat, t. IV, p. 684.
[36] «Московские ведомости» № 20 (9 марта 1804 г.), 22, 23 (16, 19 марта) 1804 г.
[37] *G. Lefebvre*. Op. cit., p. 159.
[38] Corr., t. 9, N 7629, p. 295, 27 ventôse an XII (18 mars 1804).
[39] *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II; *Caulaincourt*. Op. cit., t. II, p. 253.
[40] *Las-Cases*. Mémorial, t. II (éd. 1951), p. 881.
[41] Corr., t. 9, N 7614, p. 285.
[42] *Marguerit*. De l'assassinat de Monseigneur le duc d'Engien et de la justification de M. de Caulaincourt. 2-me éd. Orleans, 1814 (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).
[43] *Л. Н. Толстой*. Собр. соч., т. 4, стр. 9, 10.
[44] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. V, p. 92; *Barante*. Souvenirs, t. I, p. 118—126.
[45] ВПР, т. I, стр. 692.
[46] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de L'Empire, t. V, p. 93.
[47] *G. Lefebvre*. Napoléon, p. 170.
[48] «Mémoires de Madame de Rémusat 1782—1808» (далее — *Madame de Rêmusat*. Mémoires), t. I. Paris, 1810, p. 340.
[49] Ibid., p. 359—360.
[50] Corr., t. 9, N 7754, p. 363.
[51] *S. Girardin*. Op. cit., p. 340.

От Аустерлица до Тильзита

«Московские ведомости» № 20, 9 марта 1804 г., стр. 387; *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 210.
[2] «Московские ведомости» № 25, 26 марта 1804 г., стр. 480.
[3] Corr., t. 9, N 7528, 7535, 7634—7635, 7640, 7643.
[4] «Московские ведомости» № 24, 23 марта 1804 г., стр. 458.
[5] ВПР, т. II № 20 (стр. 52—53), 49—51 (стр. 131—154), 72 (стр. 195—199), 73 (стр. 200—202), 79 (стр. 219—246), 87 (стр. 255—259).
[6] Corr., t. 9, N 7832, p. 406, 13 messidor an XII (2 juillet 1804).
[7] Corr., t. 10, письма из Милана с 9 мая по 9 июня 1805 года, p. 391—506; *A. Fugier*. Op. cit., p. 159—170.
[8] Corr., t. 10, N 8642, 8654, 8670, 8671, 8685, 8698, 8700, 8713, 8716, 8730, 8757, 8770, 8778, 8783, 8802, 8809, 8830, 8846, 8869, 8892, 8897, 8938, 8958.
[9] *P. Bailleu*. Königin Luise. Leipzig, 1908, p. 277.
[10] *Ed. Driault*. La politique extérieure du premier Consul, t. II, p. 18—44, 238—246.
[11] *М. Ю. Лермонтов*. Собр. соч. в 4-х томах, АН СССР, т. I. М., 1958, стр. 46.
[12] Corr., t. 9, N 7982, 7987, 7992, 7996, 8014, 8033, 8062, 8064, 8065.
[13] Corr., t. 11 N 9037, 9040, 9043, 9058, 9063, 9071—9073, 9076, 9083, 9101, 9107, 9112, 9114, 9138, 9160, 9177. Наполеон был в Булонском лагере с 3 августа по 2 сентября 1805 года.
[14] *B. Valentin*. Napoléon I und die Deutschen. Berlin, 1926; *Ed. Driault*. Austerlitz, p. 247—267.
[15] *Marmont*. Mémoires, t. II, p. 336—359.
[16] *Desbrières*. La campagne maritime de 1805. Trafalgar. Paris, 1907; *R. Maine*. Trafalgar. Paris, 1955; *A. T. Machan*. The Life of Nelson, v. 2. London, 1897.

[17] *Rovigo.* Mémoires, t. II, p. 174—196; сб. РИО, т. 82, № 54, 55.

[18] *Ed. Driault.* Austerlitz, p. 265—267; см. также *С. М. Соловьев.* Император Александр I. Политика. Дипломатия. СПб., 1877, стр. 92—93.

[19] См. «Мемуары кн. А. Чарторижского», т. I. М., 1913, стр. 360—361. «Конечно, его (Кутузова) мнение во внимание принято не было».

[20] *Л. Н. Толстой.* Собр. соч., т. 4, стр. 351.

[21] *P. C. Alombert, J. Cilin.* La campagne de 1805 en Allemagne, v. 1—5. Paris, 1902—1904; *J. Thiry.* Napoléon Bonaparte. Ulm, Trafalgar, Austerlitz. Paris, 1962.

[22] «Санкт-Петербургские ведомости» № 104, 22 декабря 1805 г.

[23] *G. Ramon.* Histoire de la Banque de France, p. 64—72.

[24] Corr., t. 11, N 9541, p. 446—454; *Rapp.* Mémoires, p. 49—51; *Rovigo.* Mémoires, t. II, p. 199—210; *Général Marbot.* Mémoires, t. I. Paris, 1891, p. 257—266.

[25] Memoires posthumes du feldmaréchal comte de Stedingk... (далее — *Stedingk.* Mémoires), t. 3. Paris, 1847, p. 310.

[26] Corr., t. 11, N 9542, 9546 (31 Bulletin).

[27] «Санкт-Петербургские ведомости» № 100, 15 декабря 1805 г.

[28] «Санкт-Петербургские ведомости» № 104, 29 декабря 1805 г.

[29] Corr., t. 11, N 9537, p. 444.

[30] *Ed. Driault.* Austerlitz, p. 270—274.

[31] *A. de Clarcq.* Op. cit., t. II, p. 135—137, 138—140, 142.

[32] Corr., t. 11, N 9599, p. 494 (21 dec. 1805).

[33] *Fr. Masson.* Napoléon et sa famille, t. II—III; *A. Levy.* Napoléon intime. Paris, 1893.

[34] *Ed. Driault.* Austerlitz, p. 274—275.

[35] Corr., t. 11, N 9577, 9578, 9582.

[36] Corr., t. 11, N 9625, p. 509.

[37] Corr., t. 11, N 9685, p. 546; t. 12, N 9911, p. 110—121; N 10311—10312, p. 430—431.

[38] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Соч., т. 2, стр. 137.

[39] *Fr. Masson* et *G. Biagi.* Op. cit., t. II, p. 53.

[40] *А. Сорель.* Европа и французская революция, т. VII, стр. 15.

[41] *С. М. Соловьев.* Император Александр I, стр. 94.

[42] *Madame de Rémusat.* Mémoires, t. II, p. 406—410.

[43] ВПР, т. III, № 5, стр. 25—27; № 35, стр. 106—110; № 39, стр. 122—124.

[44] Цит. по: *А. Сорель.* Европа и французская революция, т. VII, стр. 12.

[45] Сб. РИО, т. 82, № 100—102, стр. 362—364; № 104—106, стр. 366—376; № 108—116, стр. 376—386.

[46] См. *Л. Н. Толстой.* Собр. соч., т. 5, стр. 17—26.

[47] Сб. РИО, т. 82, № 121—133, стр. 396—434; *E. Heymann.* Napoléon und die grossen Mächte im Früjabr 1806. Berlin, 1910.

[48] ВПР, т. III, № 89, стр. 226—231; см. также *В. Г. Сироткин.* Дуэль двух дипломатий. М., 1966, стр. 35—39.

[49] ВПР, т. III, № 90, стр. 231—234, 696—697.

[50] Сб. РИО, т. 82, № 140, стр. 451—459; № 141—143, стр. 456—461; ВПР, т. III, стр. 700—701.

[51] Corr., t. 13, N 10730, p. 140; N 10700, p. 112.

[52] Corr., t. 13, N 10730—10732.

[53] *P. Bailleu.* Königin Luise, S. 170.

[54] *E. Dard.* Napoléon et Talleyrand, p. 103—120.

55 *P. Bailleu.* Königin Luise.

56 *O. Tschirch.* Geschichte der öffentlichen Meinung in Preussen in Friedensjahrzehnt vom Baseler Frieden bis zum Zusammenbruch des Staates. Bde I—II. Weimar, 1933.

57 Corr., t. 13, N 10683, 10696, 10764.

58 Corr., t. 13, N 10776, p. 179.

59 *К. Клаузевиц.* 1806 год. М., 1939.

60 «Вестник Европы» № 15, август 1807 г., стр. 227—228.

61 *К. Клаузевиц.* 1806 год; *P. Foucart.* Campagne de Prusse 1806, v. 1—2. Paris, 1889—1890 (ценное собрание документов военного архива); *H. Houssaye.* Jena et la campagne de 1806. Paris, 1912; *E. Leydolph.* Die Schlacht bei Jena. Jena, 1901.

62 Corr., т. 13, N 11004—11008, p. 350—353.

63 Corr., t. 13, N 11009. 5e Bulletin de la grande armée, 15 octobre; *Rapp.* Mémoires, p. 63.

64 *И. В. Гёте.* Собр. соч., т. XII. М., 1949, стр. 306—309.

65 *Э. Людвиг.* Гёте. М., 1965, стр. 359—365.

66 «Вестник Европы», август 1807 г., стр. 230.

67 Там же, стр. 231.

68 *Marbot.* Mémoires, t. I, p. 309.

69 *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de L'Empire, t. VI.

70 Corr., t. 13, N 11283, décret 21 novembre 1806, p. 555—557.

71 *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de L'Empire, t. VI, p. 214—215.

72 *Е. В. Тарле.* Континентальная блокада, стр. 11—314; *М. Ф. Злотников.* Континентальная блокада и Россия. М., 1967; *А. Л. Нарочницкий.* Об историческом значении континентальной блокады.— «Новая и новейшая история», 1965, № 6; *E. Hekscher.* The Continental System. Oxford, 1922; *B. de Jouvenel.* Napoléon et l'économie dirigée... Paris, 1942; *M. Dunan.* Napoléon et L'Allemagne... Paris, 1949; *F. Crouzet.* L'économie britannique et le blocus continental, t. 1—2. Paris, 1958.

73 Corr., t. 14, N 11379, p. 28.

74 *J. Bainville.* Napoléon, p. 412.

75 Corr., t. 13, N 11044, p. 381; см. также № 11045 (письмо Талейрану 22 октября о том же).

76 Corr., t. 12, N 10528, 10529, 10530, 10536, 10539 etc.

77 *M. Choury.* Les Grognards et Napoléon. Paris, 1968, p. 109, 121—123 etc.

78 *Marbot.* Mémoires, t. I, p. 327.

79 Здесь и далее материалы архива Валевских, приведенные в кн.: *A. Castelot.* Le Grand empire. Paris, 1971, p. 13—35.

80 *Талейран.* Мемуары, стр. 177.

81 *A. Castelot.* Le Grand empire, p. 29.

82 Corr., t. 13, N 11881, 11600, 11841, 11679, 11690, 8—26 janv. 1807.

83 Corr., t. 13, N 11630.

84 См. фундаментальное исследование: *B. Lesnodorski.* Les jacobins polonais. Paris, 1965.

85 Corr., t. 13, N 11153, p. 463.

86 См. *А. Р. Иоаннисян.* Присоединение Закавказья к России и международные отношения в начале XIX столетия. Ереван, 1958.

87 *Л. Беннигсен.* Записки о войне с Наполеоном 1807 г. СПб., 1900; Corr., t. 14, N 11785—11796; *P. Grenier.* Etudes sur 1807... Paris, 1901.

88 *Marbot.* Mémoires, t. I, p. 334—341.

[89] Ibid., p. 349—354.

[90] Corr., t. 14, N 11787, 11793 (9 fév.), 11798 (11 fév.), 11813 (14 fev.).

[91] Corr., t. 14, N 11786.

[92] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VI, p. 275.

[93] Архив кн. Воронцова, т. 8, стр. 297.

[94] «Русская старина», 1899, т. 98, стр. 592—595; ВПР, т. III, стр. 614—615, 752; *J. Thiry*. Eylau — Friedland — Tilsit. Paris, 1964, p. 200—212.

Союз с Россией

См. *С. М. Соловьев*. Император Александр I; *Н. К. Шильдер*. Император Александр I, т. II; *Е. В. Тарле*. Наполеон; *А. Вандаль*. Наполеон и Александр I, т. I. СПб., 1910; *H. Batterfield*. The Peace Tactics of Napoléon I. 1806—1808. Cambridge, 1929; *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VI; *J. Thiry*. Eylau — Friedland — Tilsit.

[2] «Проект инструкций представителям, уполномоченным вести переговоры о заключении мира с Францией» и «Проект дополнения к инструкциям».— ВПР, т. III, стр. 754—760; *А. Ф. Миллер*. Мустафа-паша Байрактар. М., 1947, гл. 10; *А. М. Станиславская*. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья. 1798—1807; *В. Г. Сироткин*. Дуэль двух дипломатий.

[3] ВПР, т. III, стр. 467—468, 471—472, 752.

[4] Corr., t. 15, N 11890.

[5] Corr., t. 14, p. 440; *E. Dard*. Op. cit., p. 147—152.

[6] *А. Вандаль*. Наполеон и Александр I, т. I, стр. 5.

[7] *G. Lefebvre*. Napoléon, p. 185, 249—251; *E. Ludwig*. Napoléon, p. 224—225.

[8] *И. Фейнберг*. Незавершенные работы Пушкина. М., 1962, стр. 396.

[9] См. *М. В. Нечкина*. «Общество соединенных славян». М., 1927; *ее же*. Движение декабристов, т. 1. М., 1955.

[10] Corr., t. 15, N 12825; *Caulaincourt*. Mémoires, t. II, p. 327—328; *Gênéral Bertrand*. Cahiers de Sainte-Hélène. 1818—1819, p. 292.

[11] *А. Р. Иоаннисян*. Присоединение Закавказья к России и международные отношения в начале XIX столетия.

[12] *А. Ф. Миллер*. Мустафа-паша Байрактар.

[13] Сб. РИО, т. 83, 88, 89; ВПР, т. IV; Corr., t. 15; *A. Vandal*. Op. cit.; *Tatistsheff*. Op. cit., и др.

[14] ВПР, т. III, стр. 631—649.

[15] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 828—830; *Cênéral Bertrand*. Cahiers de Sainte-Hélène. 1816—1817, p. 306—307; *P. Bailleu*. Königin Luise.

[16] Corr., t. 15, N 12875, p. 395—396, 8 juillet 1807.

[17] Ibidem.

[18] См. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 20—23.

[19] Mémoires du chancelier Pasquier (далее — *Pasquier*. Mémoires), t. 1. Paris, 1893, p. 308.

[20] *Duchesse d'Abrantès*. Histoire des salons de Paris, t. VI, p. 207.

[21] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 95.

[22] *Rovigo*. Mémoires, t. III, p. 153.

[23] *Stedingk*. Mémoires, t. 2, p. 355.

[24] Письма и донесения Савари Наполеону и Талейрану 6 авгу-

ста — 8 октября 1807 г.— Сб. РИО, т. 83, стр. 2—49, 55—92, 97—109.

[25] *Stedingk*. Mémoires, t. 2, p. 341.

[26] Ibid., p. 355.

[27] Ibid., p. 356.

[28] *Rovigo*. Mémoires, t. III, p. 191.

[29] Сб. РИО, т. 83, стр. 73.

[30] *А. С. Пушкин*. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 127.

[31] См. *И. Фейнберг*. Незавершенные работы Пушкина, стр. 244.

[32] *Вел. кн. Николай Михайлович*. Переписка императора Александра I с сестрою вел. кн. Екатериной Павловной (далее — Переписка императора Александра I). СПб., 1910.

[33] См. Переписка императора Александра I, стр. 18—19, 34—36, 40—61.

[34] *Stedingk*. Mémoires, t. 3, p. 97.

[35] *Rovigo*. Mémoires, t. III, p. 192.

[36] Сб. РИО, т. 83, стр. 61.

[37] *Rovigo*. Mémoires, t. III, p. 148.

[38] *Е. В. Тарле*. Континентальная блокада.— Соч., т. III (в особенности гл. XIX); *М. Ф. Злотников*. Континентальная блокада и Россия (в рукописи осталась вторая часть ценного труда этого безвременно умершего исследователя. Она давно уже ждет опубликования).

[39] См. *С. М. Соловьев*. Император Александр I; *А. В. Предтеченский*. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. Л., 1957.

[40] АВПР. Сношения с Францией, XIV, IX, 1799, 1800, переписка с д'Авре и «Митавским двором»; см. также: *М. Степанов*. Жозеф де Местр в России.— «Литературное наследство». М., 1937; *E. Vermall*. Joseph de Maistre émigré. Paris, 1927.

[41] См. *М. Корф*. Жизнь графа Сперанского, т. 1—2. СПб., 1861; *А. В. Предтеченский*. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в.

Вверх и вниз

[1] Corr., t. 15, N 13063, 24 août 1805, p. 515—542; N 126, p. 243—344.

[2] *J. Chaptal*. De l'industrie française. Paris, 1819; *Ф. В. Потемкин*. Промышленная революция во Франции. М., 1972 (наиболее капитальное исследование вопроса); *Ch. Ballot*. L'introduction du machinisme dans l'industrie française. Lille, 1923.

[3] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Соч., т. 8, стр. 210.

[4] *J. Morvan*. Le soldat impérial (1800—1814), t. I—II. Paris, 1904.

[5] *M. Choury*. Les grognards et Napoléon. Paris, 1968.

[6] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 502.

[7] *L. Madelin*. Fouché, t. II, p. 29—33.

[8] *E. d'Hauterive*. La police secrète du premier Empire, t. III.

[9] *Е. В. Тарле*. Талейран; *E. Dard*. Napoléon et Talleyrand, p. 136—161; *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, p. 204—222.

[10] *Madame de Rémusat*. Mémoires, t. III, p. 201—202.

[11] *Madame de Rémusat*. Mémoires, t. II, p. 315—316; *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VII, p. 17—18.

[12] *Las-Cases*. Mémorial, t. II, p. 14—16.

[13] *Bourrienne*. Mémoires, t. VII, p. 330—331.

[14] Corr., t. 16, N 13340, au gén. Junot, 8 november 1807.

[15] *A. de Clercq*. Op. cit., t. II, p. 235—237; *L. Picard*. Expédition du Portugal (1807). Paris, 1812.

[16] *P. Marmottan*. Elisa Bonaparte. Paris, 1898; *Ed. Driault*. Napoléon en Italie; *E. Rodocanadri*. Eliza Napoléon (Bachiocchi) en Italie. Paris, 1900.

[17] A. *de Clercq*. Op. cit., t. II.

[18] Corr., t. 16, N 13477, p. 265; 22 janv. 1808.

[19] Corr., t. 16, N 13536, 13555, 13572.

[20] *Lecestre*. Op. cit., t. I, N 207, p. 130—132.

[21] *L. Picard*. Op. cit.

[22] Corr., t. 16, N 13406, 13412—13413, 13416, 13429, 13443, 13446, 13495, 13578, 13588, 13589, 13608, 13624.

[23] АВПР. МИД, канцелярия, дело № 7513. Мадрид, 1808, донесения посланника барона Строганова.

[24] Corr., t. 16, N 13696, p. 450—453; оригинал письма не был найден; впервые опубликован Лас-Казом.

[25] Сб. РИО, т. 89, М., 1893, стр. 379 (№ 19); стр. 396—402 (№ 32); стр. 402—403 (№ 33); стр. 419—423 (№ 44).

[26] Corr., t. 17, N 13750, p. 10.

[27] Цит. по: *А. Сорель*. Европа и французская революция, т. VII, стр. 218.

[28] Corr., t. 17, N 13778, 25 avril 1808, p. 39; *E. Ducéré*. Napoléon à Bayonne, d'après les contemporains et des documents inédits. Bayonne, 1897; *P. Conard*. La constitution de Bayonne, 1808. Paris, 1910; *A. Fugier*. Napoléon et l'Espagne..., v. 2. Paris, 1930.

[29] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 108.

[30] Ibid., p. 108—109.

[31] См. *Е. В. Тарле*. Печать во Франции при Наполеоне I.—Соч., т. IV. М., 1958.

[32] Цит. по: *G. Lefebvre*. Napoleon, p. 381.

[33] Ibidem.

[34] Ibid., p. 410.

[35] *J. G. Fichte*. Reden an die deutsche Nation. Berlin, 1808; *J. G. Fichte*. Briefwechsel, Bd 2. Leipzig, 1925.

[36] *W. Hohlweg*. Carl v. Clausewitz. Berlin, 1957; *H. Heitzer*. Insurrectionen zwischen Weser und Elbe... Berlin, 1959.

[37] Corr., t. 17, N 14239, 13 juillet 1808 à Joseph.

[38] АВПР. МИД, канцелярия, дело № 7513. Мадрид, 1808; в бумагах Строганова имеется обширная рукопись «О похищении испанского трона» (перевод с испанского), показывающая, как велико было негодование испанского народа по поводу Байонны.

[39] Corr., t. 17, N 13760 (Депре из Байонны 18 апреля 1808 года), N 13884 (Эмерио из Байонны 14 мая 1808 года), N 14014—14017 (Мюрату, Розили, Шампаньи 28—29 мая 1808 года).

[40] Corr., t. 17, N 13835, 13885, 13908, 14015.

[41] АВПР. МИД, канцелярия, дело № 7513. Мадрид, 1808, донесения Строганова и приложение — приказ Мюрата.

[42] *M. Leproux*. Le général Dupont... Paris, 1939.

[43] АВПР. МИД, канцелярия, дело № 7516. Мадрид, 1808.

[44] *E. Cabany*. La capitulation de Baylen. Paris, 1902; *A. Grasset*. La guerre d'Espagne, v. I. Paris, 1914; *L. Larchey*. Les suites d'une capitulation... Paris, 1884; *P. Metzger*. La capitulation de Baylen... Paris, 1909; *E. Titeux*. Le gén. Dupont et la capitulation de Baylen, v. 1—3. Puteaux sur Seine, 1903 (эта работа не лишена интереса как попытка оправдания Дюпона).

[45] *Lecestre*. Op. cit., t. I, N 333, 336, 341, 342.
[46] Corr., t. 17, N 14243, à Joseph, Bordeaux, 3 août 1808.

Перед решающим столкновением (1808—1811 годы)

Сб. РИО, т. 89, № 186, стр. 655—656; см. также его донесения от 6 (18) августа 1808 года, стр. 644—646.

[2] АВПР. МИД, канцелярия, дело № 1251. Paris, 1808. Tolstoi, Exped.; сб. РИО, т. 89.

[3] *Lecestre*. Op. cit., t. I, N 336, p. 229—230.

[4] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Соч., т. 4, стр. 471.

[5] *Fouché*. Mémoires, t. II. Paris, 1824, p. 180—182.

[6] «Aus Metternich's nachgelassenen Papieren», Bde 1—8. Wien, 1880—1884 (я пользуюсь чаще французским переводом: Paris, 1880—1889); *A. O. Meyer*. Fürst Metternich. Berlin, 1929; *Bertier de Sauvigny*. Metternich et son temps. Paris, 1959; см. также интересную, но спорную работу Г. Киссинджера: *H. A. Kissinger*. A World restored (Europe after Napoleon). New York, 1964.

[7] Полный отчет о беседе 15 августа 1808 года дан в приложении к донесению Толстого (сб. РИО, т. 89, стр. 646—649).

[8] АВПР. МИД, канцелярия, 1808, дело № 422, Штакельберг Куракину из Кёнигсберга 4 (16) июня 1808 г., л. 9.

[9] *J. Godechot*. Napoléon. Paris, 1969, p. 123.

[10] АВПР. МИД, канцелярия, 1808, дело № 422, Штакельберг Куракину 6 (18) июля, л. 13; Толстому 1 (13) августа 1808 г., л. 32.

[11] Сб. РИО, т. 83 (СПб., 1893), № 1, 17—19, 28, 37, 39, 40—41, 46—47, 55, 74; т. 88 (переписка с июня 1807 по апрель 1808 года), 89 (переписка до Эрфурта); *Caulaincourt*. Mémoires, t. I.

[12] АВПР. МИД, канцелярия, 1808. Erfurt, дело № 3239, бственноручные записи Александра I, л. 2, 3.

[13] *A. de Clercq*. Op. cit., t. II, p. 270—273.

[14] Об эрфуртском свидании см.: ВПР, т. IV. М., 1968, № 155, 158—162, стр. 645—647, 649—650; сб. РИО, т. 89, № 209—213; «Дипломатические сношения России и Франции... 1808—1812», т. I—II. СПб., 1905; «Русская старина», 1899, т. 98, кн. IV; Corr. t. 17, N 14348—14354, 14364—14374; *R. Savary*. Mémoires, t. III; *Caulaincourt*. Mémoires, t. I. Paris, 1933, p. 244—276; *Талейран*. Мемуары, стр. 183—218; *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, p. 238—254; *E. Dard*. Op. cit., p. 203—217 etc.

[15] *Талейран*. Мемуары, стр. 198—205; *Э. Людвиг*. Гёте, стр. 416—422 и др.

[16] «Lettres de Napoléon à Joséphine...», t. I (éd. 1833), 9 octobre 1808, p. 232; *А. Вандаль*. Наполеон и Александр I, т. I. СПб., 1910, стр. 445—446.

[17] «Lettres de Napoléon à Joséphine», t. I (éd. 1833), p. 233.

[18] *Las-Cases*. Mémorial, t. I, p. 435.

[19] *Caulaincourt*. Mémoires, t. I, p. 273.

[20] *E. Dard*. Op. cit., t. 207; *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, p. 246—247.

[21] *А. Вандаль*. Наполеон и Александр I, т. I, стр. 426.

[22] См. «Русская старина», 1899, т. 98, кн. IV.

[23] Текст конвенции и первоначальные ее редакции: АВПР. МИД, канцелярия, 1808, Erfurt, дело № 3251, л. 1—10; ср. ВПР, т. IV (М., 1965), № 161, стр. 359—363.

[24] ВПР, т. IV, стр. 361.
[25] АВПР. МИД, канцелярия, 1808, Erfurt, дело № 3251, л. 1—13; см. также АВПР. МИД, канцелярия, 1808, Erfurt, дело № 3250, Румянцев — Александру 17 (29) сентября 1808 года, л. 4—6; ср. ВПР, т. IV, № 158.
[26] Corr., t. 17, N 14289, p. 482—486, 1 septembre 1808.
[27] *Roederer*. Oeuvres, t. III, p. 536.
[28] Corr., t. 17, N 14293, p. 487—488; Message au Sénat, 4 septembre 1808.
[29] *G. Lefebvre*. Napoleon, p. 303.
[30] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VII, p. 228.
[31] *Caulaincourt*. Mémoires, t. I, p. 247—249.
[32] *Lecestre*. Op. cit., t. I, N 289, Bayonne, 13 juin; *B. Melchior-Bonnet*. La conspiration du général Malet. Paris, 1963; *H. Gaulert*. Conspirateurs au temps de Napoléon I. Paris, 1962.
[33] *Lecestre*. Op. cit., t. I, N 290, 292, 295, 297.
[34] Ibid., N 310, p. 212.
[35] Ibid., N 315, 13 juillet 1808.
[36] *А. С. Пушкин*. Полн. собр. соч., т. II, стр. 63.
[37] Corr., t. 18, N 14301, 14387, 14430, 14440, 14444, 14460, 14499, 14518, 14522; *И. Майский*. Испания 1808—1917. М., 1957.
[38] Первая оборона Сарагосы шла с июня по август 1808 года (*Général Lejeune*. Sièges de Saragosse. Paris, 1810).
[39] Corr., t. 18, N 14658—14731; *Lecestre*. Op. cit., t. I, N 389—402.
[40] См. интересные наблюдения Лауры д'Абрантес, состоявшей с 1806 года фрейлиной при государыне-матери (*Duchesse d'Abrantès*. Mémoires, t. IX, p. 29—65).
[41] Эта знаменитая сцена была описана рядом мемуаристов (с некоторыми разночтениями); наиболее достоверными считаются: *E. D. Pasquier*. Mémoires de Chancelier..., t. I. Paris, 1892, p. 358; *N. F. Mollien*. Mémoires d'un ministre du trésor publique. 1780—1815, t. II. Paris, 1898, p. 334; наиболее точно изучена она историками: *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, ch. XVIII; *E. Dard*. Op. cit., ch. XII; *L. Madelin*. Talleyrand. Paris, 1944, p. 230—238.
[42] *E. Dard*. Op. cit., p. 227.
[43] Ibid., p. 228.
[44] Ibid., p. 227.
[45] *La Reine Hortense*. Mémoires, t. II, p. 29; *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, p. 274—275.
[46] АВПР. МИД, канцелярия, дело № 715.
[47] Наполеон это знал и принял все необходимые подготовительные меры (Corr., t. 18, N 15043, 15044—15048, 15050, 15053).
[48] Бертье — в Аугсбург, Евгению — в Италию, Луи — в Амстердам, Жерому — в Брауншвейг (Corr., t. 18, N 15059—15066, p. 465—470).
[49] *В. П. Федоров*. Австро-французская война 1809 г.— «Отечественная война и русское общество», т. 2. М., 1911; *Ch. Saski*. Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche, t. 1—3. Paris, 1899—1902; *Ed. Gachot*. La Campagne de 1809, t. I. Paris, 1913; *Général Bounal*. La Manoeuvre de Landshut. Paris, 1890; *Marbot*. Mémoires, t. II, p. 174—207.
[50] *Metternich*. Mémoires, t. II, p. 240.
[51] *G. Lacour-Gayet*. Talleyrand, t. II, p. 276—277.
[52] *K. Paulinn*. Das Leben Andreas Hofers und der Tiroler Freiheit. Insbruck, 1959.
[53] Corr., t. 19, N 15246, p. 34—38 (10-me bulletin).

[54] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VIII, p. 40.
[55] Corr., t. 19, N 15871, p. 527—528, Наполеон — Сульту из Шёнбрунна 26 сентября 1809 года с резкой критикой действий Сульта.
[56] *Grandmaison*. Op. sit., t. II, p. 129—153.
[57] *H. Chotard*. Pie VII à Savone. Paris, 1887; *A. Latreille*. Napoléon et le Saint-Siège. Paris, 1935; *Mayol de Lupe*. La cáptivité de Pie VII. Paris, 1912.
[58] Corr., t. 19, N 15383—15384.
[59] Corr., t. 18, N 15192, 15193, 15201; *Lecestre*. Op. cit., N 451—452, 457, 461, 464, 478, 479, 485, 504, 507, 527.
[60] Corr., t. 19, N 15489—15492; *Marbot*. Mémoires, t. II, p. 239—263; *A. C. Lassale*. D'Essling à Wagram, correspondance... Paris, 1891; *A. Strall*. Aspern und Wagram. Wien, 1897; *Général Camon*. La manoeuvre de Wagram. Nancy — Paris, 1926.
[61] *O. Criste*. Erzherzog Karl. Bde I—III. Wien — Leipzig, 1912.
[62] *A. de Clercq*. Op. cit., t. II, p. 293—299.
[63] *A. Castelot*. Le grand empire, p. 231 (ссылка на архив Валевских).
[64] *Las-Cases*. Mémorial, t. II, p. 24—25.
[65] *A. Castelot*. Napoléon. Paris, 1968, p. 297—299.
[66] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 278.
[67] *Barante*. Souvenirs, t. I, p. 320.
[68] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 124—125.
[69] *Fr. Masson*. L'Impératrice Marie-Louise. Paris, 1902; *его же*. Napoléon et son fils. Paris, 1922; *его же*. Napoléon et sa famille, t. IX—XI; *de Bourgoing*. Marie-Louise. Impératrice des Français. Paris, 1938; *Ed. Driault*. Le roi de Rome. Paris, 1932; *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VIII.
[70] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VIII—IX.
[71] Corr., t. 18, N 14657, 6 janvier 1809, p. 179.

Поход на Россию и крушение империи

[1] *Caulaincourt*. Mémoires, t. I, p. 343—345; *Ségur*. Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812, t. I, p. 140; *J. Morvan*. Le soldat impérial, t. II, p. 177—179.
[2] Corr., t. 24, N 18878, p. 1—4; Vilna, 1 juillet 1812.
[3] ОРГПБ. Фонд Шильдера, картон 27, дело № 12, Александр Наполеону, апрель 1809 г., л. 19.
[4] См. интересную статью Н. И. Казакова в журнале «История СССР», 1969, № 6.
[5] Corr., t. 20, N 16177, p. 147—149; ВПР, т. V, стр. 685; «Дипломатические сношения России и Франции. 1808—1812», т. IV, стр. 233—289.
[6] *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VIII, chap. XII—XVIII etc.
[7] Corr., t. 20, N 16341, p. 270 (письмо к Шампаньи 16 марта 1810 г.).
[8] Corr., t. 23, N 18363, p. 359.
[9] См. *Е. В. Тарле*. Континентальная блокада.— Соч., т. III, стр. 362—369.
[10] ВПР, т. V, № 191, стр. 406—409; № 207, стр. 448—449.
[11] *Caulaincourt*. Mémoires, t. I, p. 303—306.
[12] *Стендаль*. Собр. соч., т. 11, стр. 124—125.

[13] См. *Е. В. Тарле*. Континентальная блокада.— Соч., т. III, стр. 448—476.
[14] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 311, 312.
[15] «Московские ведомости» № 50, 22 июля 1812 г., стр. 1345.
[16] «Санкт-Петербургские ведомости» № 43, 28 мая 1812 г., стр. 674.
[17] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 309.
[18] Corr., t. 22, N 17751, p. 191—192; N 18171, p. 505.
[19] *L. G. Suchet*. Mémoires sur mes campagnes en Espagne, v. 1—2. Paris, 1834; *L. B. Jourdan*. Mémoires militaires... Paris, 1899.
[20] Цит. по: *L. Madelin*. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XII, p. 8.
[21] Corr., t. 23, N 18266, p. 21, à Eugène — Napoléon, 18 nov. 1811.
[22] Corr., t. 23, N 18678, p. 393, à Eugène — Napoléon, 30 avril 1812.
[23] Corr., t. 20, N 16113, p. 101—102; N 16133, p. 121; N 16148, p. 132; N 16177, p. 235; N 16352, p. 275—276; N 16641, p. 465; N 16692, p. 518.
[24] АВПР. МИД, канцелярия, 1811, Vienne, дело 1160, Александр I Штакельбергу 13 февраля 1811 г., л. 22об.
[25] Цит. по: *J. Bainville*. Op. cit., p. 379.
[26] *Caulaincourt*. Mémoires, t. I, p. 306—322.
[27] Corr., t. 22, N 17813, p. 243, Discours... à l'ouverture du corps legislatif.
[28] Corr., t. 22, N 17819, 17825, 17826; в особенности N 17946, 17957, 17965.
[29] *Général Bertrand*. Cahiers de Sainte-Héléne, t. II, p. 258—259.
[30] *Caulaincourt*. Mémoires, t. I, p. 281—302.
[31] ВПР, т. VI, № 134, стр. 330; № 160, стр. 400; № 177, стр. 442. Александр Наполеону; Corr., t. 23, N 18523, p. 253; N 18669, p. 388; t. 24, N 18878, p. 1—4; N 19213, p. 221—222; Наполеон — Александру.
[32] «Московские ведомости» № 36, 4 мая 1912 г., стр. 1008.
[33] «Московские ведомости», февраль 1812 г.
[34] *J. Fouché*. Mémoires, t. II, p. 111.
[35] Ibid., p. 113—114.
[36] Цит. по: *С. М. Соловьев*. Император Александр I, стр. 208.
[37] *Talleyrand*. Mémoires, t. I, p. 429.
[38] *Rovigo*. Mémoires, t. II, p. 226.
[39] ОРГПБ. Фонд Шильдера, картон 27, дело № 10, Бернадот — Александру 20 марта/1 апреля 1812 г., л. 14.
[40] *B. Nabonne*. Bernadotte. Paris, 1946.
[41] ОРГПБ. Фонд Шильдера, картон 27, дело № 10. Стокгольм, декабрь 1810 г., л. 3—4; см. также: *Paivio Tommila*. La Finlande dans la politique européenne en 1809—1815. Helsinki, 1962.
[42] ОРГПБ. Фонд Шильдера, картон 27, дело № 10, Александр Бернадоту 26 февраля/9 марта 1812 г., л. 10.
[43] ОРГПБ. Фонд Шильдера, картон 27, дело № 10, Александр Бернадоту 9 (21) апреля 1812 г.
[44] Corr., t. 23, N 18855, p. 258.
[45] Corr., t. 23, N 18782. Евгению — Наполеону — командующему 4-м и 6-м корпусами «великой армии» из Данцига 10 июня 1812 г.
[46] *Metternich*. Mémoires.
[47] Corr., t. 23, N 18734, p. 441—447, 28 mai 1812.
[48] Укажем здесь лишь на важнейшие: *Д. И. Ахшарумов*. Описание войны 1812 г. СПб., 1819; *Д. П. Бутурлин*. История нашествия

императора Наполеона на Россию в 1812 г., т. I—II. СПб., 1837; *А. И. Михайловский-Данилевский.* Описание Отечественной войны 1812 г., ч. I и IV. СПб., 1890; *М. И. Богданович.* История Отечественной войны 1812 г., т. I—III. СПб., 1859—1860; «Отечественная война и русское общество», т. 1—7. М., 1912; документ. издание: *П. И. Щукин.* Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г., ч. 1—10. М., 1897—1908; «Отечественная война 1812». Материалы военно-ученого архива, т. 8—21. СПб., 1907—1914, и др.

[49] *Е. В. Тарле.* Нашествие Наполеона на Россию 1812 г.— Соч., т. VIII, стр. 435—737 (изд. 1. М., 1938); *его же.* Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат (там же, стр. 763—832).

[50] *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России. М., 1968; *его же.* Контрнаступление русской армии в 1812 г. М., 1953.

[51] *Л. Г. Бескровный.* Отечественная война 1812 г. М., 1962.

[52] Archives Nationales, серия A IV, картоны 1098, 1100, 1642—1652.

[53] Archives Nationales, 138, A. P., 102.

[54] Corr., t. 24, N 18878, p. 1—4; Napoléon à Alexandre I. Vilna, 1 juillet 1812 (в этом ответном письме важно не столько его содержание, сколько впервые появляющийся покровительственно-снисходительный тон).

[55] Corr., t. 24, N 18926, p. 61—62; N 18971, p. 68—70; N 18994, p. 87—89.

[56] Corr., t. 23, N 18855, p. 529 (воззвание к «великой армии» 22 июня 1812 года).

[57] «Московские ведомости» № 51, 26 июня 1812 г.

[58] «Moniteur» N 174, 175, 22, 23 juin 1812.

[59] «Moniteur» N 190, 8 juillet 1812; в этом же номере был опубликован 1-й бюллетень «великой армии».

[60] Corr., t. 24, N 18879—18881, p. 4—6; N 18885—18897, p. 7—14.

[61] Corr., t. 24, N 19016, 19024, p. 103, 109. Наполеон — министру иностранных дел Маре 29 и 31 июля 1812 года из Витебска.

[62] «Moniteur» N 207, 25 juillet 1812.

[63] «Moniteur» N 235, 22 août 1812.

[64] Цит. по: *С. М. Соловьев.* Император Александр I, стр. 234.

[65] «Сын Отечества», 1812, № 7, стр. 155; это же подтверждали беспристрастные наблюдатели вроде немецкого врача Рооса *(Генрих Роос.* С Наполеоном в Россию. Перевод с немецкого. М., 1912, стр. 37).

[66] *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 319.

[67] *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XII, p. 153.

[68] Corr., t. 24, N 19044, p. 123.

[69] Corr., t. 24, N 19389, p. 342.

[70] *Caulaincourt.* Mémoires, t. I, p. 370—386; *Е. В. Тарле.* Соч., т. VII, стр. 520—531.

[71] Corr., t. 24, N 19097, p. 156. Наполеон Маре 15 августа 1812 года, под Красным.

[72] См. *Е. В. Тарле.* Наполеон; *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России; *Л. Г. Бескровный.* Отечественная война 1812 г.; *М. Свечников.* Бородино. М., 1955; *А. В. Геруа.* Бородино. СПб., 1912; *К. Клаузевиц.* 1812. М., 1937; Corr., t. 24, N 19155, 19204; *Caulaincourt.* Mémoires; *P. Ségur.* Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812, v. 1—2; *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XII.

[73] *Л. Н. Толстой.* Собр. соч., т. 6, стр. 276, 299.

[74] *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России, стр. 142.

[75] «Московские ведомости» № 69, 28 августа 1812 г.
[76] Цит. по: *С. М. Соловьев.* Император Александр I, стр. 230—231.
[77] *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России, стр. 148.
[78] См. Переписка императора Александра I..., стр. 83.
[79] Там же.
[80] Там же, стр. 84.
[81] Там же.
[82] Там же, стр. 90—91.
[83] Там же, стр. 95.
[84] *К. Н. Батюшков.* Сочинения, т. 3. СПб., 1886, стр. 205, 206.
[85] *С. Глинка.* Записки о 1812 годе. СПб., 1836, стр. 74.
[86] *К. Н. Батюшков.* Соч., т. 3, стр. 206.
[87] *Л. Г. Бескровный.* Партизаны в Отечественной войне 1812 г.— «Вопросы истории», 1972, № 1, 2; *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России, стр. 202—219; *De Fisensac.* Journal de la campagne de Russie en 1812. Paris, 1850, p. 58—65.
[88] *Caulaincourt.* Mémoires, t. I, p. 379.
[89] Corr., t. 24, N 19213, p. 221.
[90] См., например: *В. М. Холодковский.* Наполеон ли поджег Москву? — «Вопросы истории», 1966, № 4; *Daria Olivier.* L'incendie de Moscou. Paris, 1964.
[91] *Général Gourgaud.* Journal de Sainte-Hélène, t. I. Paris, 1944, p. 50.
[92] Corr., t. 24, N 19208, p. 219.
[93] Corr., t. 24, N 19213, p. 221—222; N 19277, p. 267; *A. Chuquet.* 1812, t. I. Paris, 1911, p. 84—85.
[94] «Сын Отечества», 1812, IX, стр. 122.
[95] *Стендаль.* Собр. соч., т. 15, стр. 114.
[96] Corr., t. 24, N 19287, p. 274.
[97] Ibid., N 19286, p. 273—274; N 19292, p. 278—279.
[98] Corr., t. 24, N 19304, p. 287—290.
[99] *Caulaincourt.* Mémoires, t. II, p. 93—96; *Fain.* Manuscrit de 1812, t. II, p. 249—250.
[100] *Fain.* Manuscrit de 1812, t. II, p. 250.
[101] «Lettres de Napoléon et de Joséphine», t. II (éd. 1833), p. 372.
[102] *Caulaincourt.* Memoires, t. II, p. 93.
[103] *Е. В. Тарле.* Соч., т. VII, стр. 676—682; *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России, стр. 220—242.
[104] *А. Куницын.* Послание к русским.— «Сын Отечества», 1812, № 5, стр. 178.
[105] «Московские ведомости» № 71—94, 23 ноября 1812 г.
[106] См. *А. Г. Елчанинов.* Народная война и герои из народа в 1812 г. М., 1912; см. упоминавшиеся работы Е. В. Тарле, П. А. Жилина, Л. Г. Бескровного.
[107] *Денис Давыдов.* Сочинения. М., 1962, стр. 455.
[108] *Денис Давыдов.* Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году? — Соч., стр. 407—423.
[109] *Стендаль.* Собр. соч., т. 11, стр. 136—138; см. также его письма из России (т. 15).
[110] *Стендаль.* Собр. соч., т. 11, стр. 136.
[111] *Caulaincourt.* Mémoires, t. II, p. 205—211.
[112] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 30, стр. 5—6.
[113] *Е. В. Тарле.* Соч., т. VII; *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России, гл. 8—13; *L. Madelin.* Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XII, ch. XIV—XVI.

[114] *П. А. Жилин.* Гибель наполеоновской армии в России, стр. 269.
[115] *Macdonald.* Souvenirs. Paris, 1892, p. 182—196.
[116] *Vitrolles.* Mémoires, t. I, p. 195; *Caulaincourt.* Mémoires, t. II, p. 271; *A. Castelot.* Napoléon, p. 501.
[117] Corr., t. 24, N 19365, p. 325—329.
[118] *Lavallette.* Mémoires, p. 272—274; *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 318—329.
[119] «Moniteur», 16 décembre 1812.
[120] *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 322.
[121] Corr., t. 24, p. 329.
[122] *Fain.* Manuscrit de mil huit cent treize..., t. 1. Paris, 1824, p. 3.
[123] Ibid., p. 2.
[124] *Caulaincourt.* Mémoires, t. II, p. 286—288.
[125] *Bourgoing.* Souvenirs militaires. Paris, 1897; *Caulaincourt.* Mémoires, t. II, p. 205—348.

Перед концом

[1] О «деле Мале»: *Lavallette.* Mémoires, p. 273—281; *Caulaincourt.* Mémoires, t. II, p. 337—347; *B. Melchior-Bonnet.* La conspiration du général Malet. Paris, 1963; *Duruy.* Malet et l'affaire de 1812. Paris, 1953; *Gigon.* Le général Malet. Paris, 1915.
[2] *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. II, p. 306—307.
[3] Corr., t. 24, N 19462, 18 janv. 1813, p. 405—406.
[4] *A. Castelot.* Napoléon, p. 508.
[5] *А. С. Пушкин.* Полн. собр. соч., т. XII, стр. 134.
[6] Corr., t. 24, 25; *Fain.* Manuscrit de 1813..., t. I—II.
[7] «Освободительная война 1813 г. против наполеоновского господства». М., 1965; «Das Jahr 1813...», hrsg. V. H. Scheel. Berlin, 1963.
[8] *Lavallette.* Mémoires, p. 290.
[9] *A. Fournier.* Der Congress von Chatillon... Wien — Prag, 1900.
[10] *Général Bertrand.* Cahiers de Sainte-Hélène, t. II, p. 258—259.
[11] *Lavallette.* Mémoires, p. 292.
[12] *Байрон.* Дневники. Письма. М., 1963, стр. 81.
[13] *Талейран.* Мемуары, стр. 297.
[14] *E. Dard.* Op. cit., p. 317.
[15] *Roi Joseph.* Mémoires, t. X, p. 30.
[16] *Caulaincourt.* Mémoires, t. III, p. 179—180; *Macdonald.* Souvenirs, p. 263—268.
[17] *J. Bainville.* Op. cit., p. 438.
[18] *Caulaincourt.* Mémoires, t. III, p. 192—220; ср. *Macdonald.* Souvenirs.
[19] *Байрон.* Дневники. Письма, стр. 98, 93.

Сто дней

[1] *E. Dard.* Op. cit., p. 355—357; *Ch. Dupuis.* Le Ministére de Talleyrand en 1814, v. 1—2. Paris, 1919—1920; *S. Fahmy.* La France en 1814 et le gouvernement provisoire. Paris, 1939.
[2] См. *Л. А. Зак.* Монархи против народов. М., 1967; *J. Delebecq.* La première Restauration et les «Fourgons de l'étranger». Paris, 1814.
[3] *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. II, p. 376—429.
[4] *Fr. Masson.* L'affaire Maubreil. Paris, 1907; *G. Lacour-Gayet.* Talleyrand, t. II, p. 402—406; *E. Dard.* Op. cit., p. 357—358, и в многочисленных мемуарах эпохи (Паскье, Лавалетта и других).
[5] *A. C. Thibaudeau.* Mémoires, p. 408.
[6] Из работ, посвященных истории первой реставрации, лучшей

с точки зрения фактических данных остается старая работа: *H. Houssaye*. 1815, v. I. Paris, 1899, по своему общему тону крайне апологетическая.

[7] *S. Charlety*. La Restauration. Paris, 1921.

[8] *Fouché*. Mémoires, t. II, p. 256—291.

[9] Ibid., p. 289.

[10] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 430—441; *Lavallette*. Mémoires, p. 326—342; *Fouché*. Mémoires, t. II, p. 296—309.

[11] *Vincenzo Mellini*. Ponce de Leon. Napoléon I all'isola d'Elba. Firenze, 1969 (éd. 1, 1962).

[12] *Ed. Driault*. L'imperatrice Joséphine. Paris, 1929, p. 314—322.

[13] *A. Chuquet*. Le départ de l'île d'Elbe. Paris, 1921; *C. Cauvin*. Le retour de l'île d'Elbe. Digne, 1920.

[14] *G. de Bertier de Sauvigny*. De l'île d'Elbe à Sainte-Hélène. Napoléon et l'Empire, t. II, p. 260—265.

[15] *Macdonald*. Souvenirs, p. 331—349.

[16] *Л. Арагон*. Собр. соч., т. 8. М., 1960.

[17] *A. Castelot*. Napoléon, p. 741.

[18] *Lavallette*. Mémoires, p. 343—395.

[19] См. «Московские ведомости» № 26, 31 марта 1815 г.; № 41, 22 мая 1815 г., отводящие большое место «походу Наполеона».

[20] *Fouché*. Mémoires, p. 348.

[21] «Московские ведомости» № 39, 15 мая 1815 г.

[22] *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 452.

[23] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 297, 324; *A. C. Thibaudeau*. Mémoires, p. 461; *Lavallette*. Mémoires, p. 334—352. Хотя слово «революция» в XVIII и начале XIX века порой употреблялось в более широком понимании, в данном случае его смысл был вполне точен.

[24] «Московские ведомости» № 39, 15 мая 1815 г.

[25] Там же.

[26] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 327.

[27] Ее приводил в близких выражениях Фуше в своих мемуарах (*Fouché*. Mémoires, t. II, p. 319). Е. В. Тарле ссылался на аналогичные свидетельства Флери де Шабулона (*Е. В. Тарле*. Соч., т. VII, стр. 353).

[28] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 327—328.

[29] *M. Reinhard*. Le grand Carnot, t. II, p. 310—314.

[30] *De Pontécoulant*. Souvenirs, t. III, p. 329.

[31] *Л. А. Зак*. Монархи против народа; *K. Griewank*. Der Wiener Kongress und die europäische Restauration 1814—1815. Leipzig, 1954; *J. H. Pirenne*. La Sainte-Alliance, v. 1—2. Neuchâtel, 1946.

[32] *Lavallette*. Mémoires, p. 355.

[33] См. «Московские ведомости» № 26, 31 марта 1815 г.

[34] *M. Reinhard*. Le grand Carnot, t. II, p. 323.

[35] «Московские ведомости» № 43, 29 мая 1815 г.

[36] *Lavallette*. Mémoires, p. 357—359.

[37] *R. Aron*. Victoire à Waterloo. Paris, 1937; A. *Becke*. Napoléon and the Waterloo. London, 1936; *G. Burral*. L'épopée de Waterloo... Paris, 1895; *R. Margerit*. Waterloo. Paris, 1965 etc.

[38] См. письмо Наполеона Жозефу 19 июня 1815 г. (*Lecestre*. Op. cit., t. II, N 1225, p. 357—358).

[39] *Lavallette*. Mémoires, p. 365.

Эпилог

А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. II. М., 1957, стр. 65.

Оглавление

Манфред А. З.

М24 Наполеон Бонапарт.— 4-е изд.— М.: Мысль, 1987.— 735 с.

В пер.: 2 р. 80 к.

Книга доктора исторических наук А. З. Манфреда — это политическая биография французского буржуазного государственного деятеля и полководца Наполеона Бонапарта. Опираясь на обширный, во многом малоизвестный документальный материал, автор рассказывает об основных событиях и фактах того времени, об окружении Наполеона, о секретах его триумфов и причинах поражений.

М $\frac{0506000000\text{-}138}{004(01)\text{-}87}$ без объявл. ББК 63.3(0)52

Альберт Захарович Манфред

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Четвертое издание

Заведующий редакцией А. Л. Ларионов
Редакторы Н. И. Калашникова и З. В. Макарова
Младший редактор А. П. Овсепян
Художественный редактор Н. В. Илларионова
Технический редактор Л. В. Барышева
Корректоры Т. М. Шпиленко, О. П. Кулькова

ИБ № 3346

Сдано в набор 17.02.86. Подписано в печать 11.05.86. А09661. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжн.-журн. Школьная гарнитура. Высокая печать. Усл. печатных листов 38,64. Усл. кр.-отт. 38,64. Учетно-издательских листов 40,6. Доп. тираж 50 000 экз. Заказ № 847. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136. Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

2р. 80к.

